3

Юрий Бондарев

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ТРЕТИЙ

ТИШИНА

РОМАН

РОДСТВЕННИКИ

ПОВЕСТЬ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

Р2
Б81

Оформление художника
В. ЛЮБИНА

Б $\frac{4702010200-039}{028(01)-85}$ подписное

ТИШИНА

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1945

ГЛАВА ПЕРВАЯ

...Выбиваясь из сил, он бежал посреди лунной мостовой, мимо зияющих подъездов, разбитых фонарей, поваленных заборов. Он видел: черные, лохматые, как пауки, самолеты с хищно вытянутыми лапами беззвучно кружили над ним, широкими тенями проплывали меж заводских труб, снижаясь над ущельем улицы. Он ясно видел, что это были не самолеты, а угрюмые гигантские пауки, но в то же время это были самолеты, и они сверху выследили его, одного среди развалин погибшего города.

Он бежал к окраине, там, на высоте — хорошо помнил,— стояла единственная неразбитая пушка его батареи, а солдат в живых уже не было никого.

Задыхаясь, он выбежал на каменную площадь, и вдруг впереди, в освещенном луной пролете улицы, возникли новые самолеты. Они вывернулись из-за угла, неслись навстречу ему в двух метрах над булыжником мостовой.

Это были черные кресты с воронеными пулеметами на плоскостях.

Он ворвался в подъезд какого-то дома — все пусто, темно, вымерло. Все квартиры на этажах закрыты. Лифтовая решетка затянута паутиной. Не оборачиваясь, спиной ощутил ледяной сквозняк распахнувшейся двери и понял: позади — смерть.

Хватая кобуру на бедре непослушными пальцами, с тщетной попыткой дотянуться к ТТ, он, мертвея от своего бессилия, обернулся. В проеме парадного горбато стоял плоский крест самолета, щупающими человеческими зрачками глядел на него, и этот крест из досок должен

был сделать с ним что-то ужасное. Тогда, всем телом прижимаясь к стене, напрягаясь в последнем усилии, он ватной рукой охватил ускользающую рукоятку пистолета, лихорадочно торопясь, поднял онемелую руку и выстрелил. Но выстрела не было...

— А-а!.. Где патроны?..

Сергей закричал и, сквозь сон услышав задушенный, рвущийся крик, вскочил на диване, сел на смятой простыне, потный, с изумлением озираясь: где он находится?

— Черт! — сказал он и облегченно, хрипло рассмеялся.— Вот черт возьми!..

И сразу почувствовал сухую теплоту комнаты.

Было морозное декабрьское утро. На полу, на занавесках, на диване — везде солнечный снежный свет, везде блеск ясного белого утра. Толсто заиндевевшие, ослепляли белизной окна с узорчатой чеканкой пальм по стеклу; на столе мирно сиял бок электрического чайника. И в комнате пахло дымком, свежим горьковатым запахом березовых поленьев.

Жарко и ровно гудело пламя в голландке. Старая Мурка лежала возле печи в коробке из-под торта, купленного Сергеем в день приезда в коммерческом магазине; кошка, жмурясь, старательно облизывала беспомощно пищащие серые тельца котят, тыкавшихся слепыми мордочками ей в живот.

Сергей увидел и солнечный свет, и Мурку, и новорожденных котят и с радостным приливом свободы улыбнулся оттого, что он в это декабрьское утро проснулся у себя дома, в Москве, что только что ощущаемая им опасность была сном, а действительность — это уютное солнце, мороз, запах потрескивающих в голландке поленьев.

В квартире тихо по-утреннему. Он, испытывая наслаждение, услышал в коридоре серебристый голосок сестры; затем мерзло хлопнула наружная дверь, проскрипел снег на крыльце.

— Сережка, спишь? Газеты!

Вошла Ася, худенький подросток в стареньком отцовском джемпере, посмотрела живо и чуть заспанно на Сергея, весело заулыбалась, кинула газету ему на грудь.

— Проснулись, ваше благородие? Лучше вот... почитай. Наверно, от жизни совсем отстал?

Сергей потянулся на постели в благостном оцепенении покоя, развернул газету, свежую, холодную с улицы —

она пахла краской, инеем,— и тотчас отложил: читать не хотелось. Он лежал и курил. И так лежа, с особым удовольствием видел, как Ася, присев перед печью, раскрыла дверцу, обожгла пальцы, смешно поморщилась, лицо было розовым от огня. Потом подула на пальцы и засмеялась, косясь на Мурку, лениво и безостановочно лижущую своих котят.

— Знаешь, я стала затапливать печку, наложила дров, зажгла, вдруг — раз! — кто-то как метнется из печки, только дрова полетели! Смотрю — Мурка, глаза дикие, в зубах котенок пищит. Оказывается, она хотела детенышей в печь перенести, устроить их потеплее. Вот дура-дура! Дурища, а не мамаша!

Ася со смехом погладила утомленно мурлыкающую кошку, одним пальцем нежно провела по головам ее мокрых, жалко некрасивых котят.

— Не такая уж она дура,— улыбнулся Сергей.— По крайней мере, шла на риск.

«Ведь все это мне тоже снилось,— подумал Сергей,— и морозное утро, и кошка с котятами, и печь, и Ася...»

Он сказал:

— Ася, брось папиросу в печку. Я встаю.

— Интересно, это приятно? — Ася взяла папиросу, покраснев, поднесла к губам, вобрала дым и закашлялась.— Ужасно! Как ты куришь?!

— Ты это зачем?

— У нас в школе некоторые девчонки пробуют. Ты знаешь, я два раза вино пила.

— Это такие соплячки, как ты? Бить вас некому. Марш в другую комнату! Я оденусь.

— Подумаешь! — Ася дернула плечами, вышла в другую комнату, оттуда сказала обиженным голосом: — Ты грубый. В тебе осталось благородного только твои ордена и довоенная фотокарточка.

— Ладно, Аська,— миролюбиво сказал Сергей и потянул со стула обмундирование.

В этот час утра кухня, залитая морозным светом, была пустынной. Солнце ярко сияло, и на цементном полу в ванной, колючие веселые лучики играли, искрились на инее окна, на пожелтевшем глянце раковины. Старое, еще довоенное зеркало над ней отражало потрескавшуюся стену, облупленную штукатурку этой старой маленькой комнаты, в которой летом всегда было прохладно, зимой — тепло.

Он мечтал об этой ванной в те дни, когда думать о доме было невозможным.

Сергей брился, радуясь переливу солнца на пузырях в мыльнице, легкой пене мыла, щекочущей подбородок, мягкой и острой безопасной бритве. Впервые за этот месяц он ощущал, что обыкновенный процесс бритья — разведение душистой пены, намыливание горячей пеной щек, прикосновение лезвия к распаренной коже лица, которая становится чистой, молодой,— приносит несказанное удовольствие.

После бритья он по обыкновению вставал под душ в ванной, ровный шум прохладной воды, теплые иголочки по всему телу, махровое полотенце — и Сергей чувствовал себя в отличном настроении, когда казалось, что все прекрасное в жизни он бесповоротно и счастливо понял и оно никогда не должно исчезнуть.

Он знал, что это ощущение до сумерек.

Вечером или особенно декабрьскими мглистыми сумерками, когда фонари горели в туманных кольцах, это чувство полноты жизни исчезало, и боль, странная, почти физическая боль и тоска охватывали Сергея. В доме и во дворе, где он вырос, его окружала пустота погибших и пропавших без вести: из всех довоенных друзей в живых остались двое.

Когда он уже стоял под душем, оживленно растираясь под колючими струями, послышались быстрые шаги из коридора, стукнула дверь на кухне, потом возле ванной раздался голосок Аси:

— Сережка, к тебе Константин. Что ему сказать?

— Пусть подождет. Без штанов я к нему не выйду.

— Фу, какой грубиян! — сказала Ася за дверью.

Минут через пять он вышел, надевая на ходу китель,— мокрые волосы были зачесаны назад,— спокойно, насмешливо и твердо поглядел на сестру. И Ася, будто не узнавая, с удивлением и восторгом провела мизинцем по длинному ряду зазвеневших орденов, по кружочкам медалей, спросила то, что спрашивала уже не раз:

— Сережка, за что ты получил все это?

— За грубость.

— Пожалуйста, ты не городи, а скажи серьезно. Опять какую-то чепуху отвечаешь!

— За грубость, честное слово, Аська.

Он вошел в комнату, чувствуя, как после душа горячо звенит все тело, сел к столу, не здороваясь, сказал шутливо:

— Давай, Костька, завтракать. Вот этот омлет из яичного порошка жарила моя сестра. Проникся, какие у нас сестры? Ася, раздели нам это пополам.

Константин, высокий, худощавый, с узким лицом, с темными усиками, докуривая сигарету, сидел на маленькой скамеечке подле печки, брезгливо и заинтересованно разглядывал тоненько пищащих котят. С хрипотцой в голосе он говорил сквозь затяжку сигаретой:

— Красивое создание кошка, а? Что-то есть от женщины. Или, наоборот, в женщине — от кошки.— Он покосился на Асю.— Ася, вы меня не слушайте, я по утрам болтаю чушь, когда не высплюсь. А, черт, трещит башка после вчерашнего!

— Не потрясай болезнями,— сказал Сергей.

— Оставьте в покое котят! — сердито проговорила Ася.— Я просто не знаю, чем я буду теперь кормить их — молока нет, ничего нет...

— Ася, у меня остаются иногда талоны на хлеб. Будете менять на какой-нибудь кошачий продукт.

— Вы просто богач.

— Иногда.— Константин по-военному одернул кремового цвета пиджак с щегольским разрезом сзади, потер двумя руками голову, коротко засмеялся, показывая из-под усиков великолепные белые зубы. Вышел в коридор и тотчас вернулся, подбросил на ладони бутылку, всю залепленную цветной этикеткой.

— Под твой омлет с салом или наоборот — ямайский ром!

Вынул из кармана немецкий ножичек, отделанный перламутром, ногтем подцепил штопор. Не спеша вытащил пробку, разлил по стаканам, приготовленным для чая, подмигнул Асе.

— Вам бы рюмочку, а? — И тут же продекламировал: — О донна Ася, донна Ася, как я люблю твои глаза, когда глаза твои большие ты подымаешь на меня.

— Пошлость! — заявила Ася.— И никакой рифмы!

— Нет, за твои параллели я тебе сегодня накостыляю по шее,— сказал Сергей прежним тоном и посмотрел стакан на свет.— Неужели ты, Костька, обыкновенную родную водку можешь променять на какой-то паршивый ром?

— После войны решил попробовать все вина мира — своего рода идея фикс!

— Аська, ты слышала? — спросил Сергей.— Он тебя не поражает идеями?

— Давайте рюмку, Асенька,— сощурясь, предложил Константин.— Вы единственная женщина среди нас. Правда ведь?

Немного подумав, Ася достала из буфета рюмку, поставила ее на стол, сказала с виноватым выражением:

— Немножечко... капельку...— И взглянула на удивленного Сергея протестующе.— Не воспитывай меня, пожалуйста!

— Видишь? — Константин поощрительно и щедро налил Асе полную рюмку.— Какого лешего лезешь в личную жизнь сестры?

Сергей молча вылил из ее рюмки себе в стакан, взял бутылку из рук Константина, накапал в рюмку несколько капель, точно лекарство, сказал тоном, не терпящим возражений:

— Одному из вас я в самом деле нахлопаю по шее, другую, соплячку, выставлю за дверь!

— Где нет доказательств — там сила! — Константин захохотал, чокнулся с рюмкой Аси, выпил, крякнул ожесточенно. Опять подмигнул сердито нахмурившейся Асе, поймал вилкой ускользающий на сковородке кусочек сала, зажевал с аппетитом.

— Аська, выйди,— приказал Сергей.— У нас мужской разговор.

— Нет, Сергей, ты... невозможный! — Ася, краснея, швырнула полотенце на стул.— Просто ужасный грубиян!

— Так ты можешь продать часы? — спросил Сергей после того, как она вышла.

— Подожди,— сказал Константин.— Твои часы? Какая марка?

Сергей снял часы — черный с фосфорической синевой циферблат, тоненькая, как волосок, пульсирующая секундная стрелка — отличные швейцарские часы, которые носили немецкие офицеры, положил их на скатерть.

— Трофейные. Взял в Праге. Лежали в ящиках. В немецкой комендатуре.

Константин взвесил часы на ладони.

— На фронте я никогда не брал часы. Часы напоминают человеку, что он смертен. Полторы косых дадут за эти часы. Повезет — две. Постараюсь.

Сергей разлил ром в стаканы, поинтересовался:

— Что это за «полторы косых»?

— Полторы тысячи рублей. О наивняк! Привыкай к понятиям «карточки», «лимит», «коммерческий магазин», «Тишинский рынок».

Константин, еще жуя, достал коробку «Казбека», придвинул Сергею, чиркнул зажигалкой-пистолетиком, закуривая, договорил по-домашнему:

— К вечеру у меня будет солидная пачка купюр. Вернут долг. Можешь часы не продавать. На шнапс бумаг хватит. Оставь часы для худших времен. Зачем тебе деньги, когда у меня есть?

— Надо купить костюм. Отцовский не лезет.

— Купим! Деньги — это парашют, дьявол бы их драл! — сказал Константин.— Пустота под ногами — и тогда открываешь парашют! — От выпитого вина смуглое лицо его стало дерзко-отчаянным.— На Тишинку поедем хоть сейчас. К спекулянтским мордам визит сделаем.

В его манере говорить, в его движениях ничего сходного не было с прежним аккуратным Костей — всегда умытым, застегнутым на все пуговички сшитой из теткиной юбки курточки, всегда приготовившим уроки, всегда детски красивеньким, чинно и пряменько сидевшим за партой. Был он робок перед учителями, жаден той особой жадностью прилежного ученика («свою резинку надо иметь», «задачу списывать не дам — сам решай»), которая постоянно раздражала Сергея. Они жили в одном доме, но прежде не были друзьями. Даже в десятом классе Константин ходил в своей аккуратной курточке, был замкнут, тих, нелюдим.

Они встретились полмесяца назад, и было странно видеть на Константине офицерскую шинель, спортивный пиджак с двумя нашивками ранений, с тремя орденами под лацканами и гвардейским значком, и странными казались как бы чужие темные усики. Он изменился так, как будто ничего, даже смутных воспоминаний, не оставалось от прежнего.

— Наш план на сегодня? — спросил Сергей, испытывая знакомое по утрам чувство легкости, оттого что жизнь вроде бы только начиналась.

— Рынок и танцы с девочками,— ответил Константин беспечно, спрятал часы в карман и тут же пропел задумчиво: — «О поле, поле! А что растет на поле? Одна трава — не боле. Одна трава — не боле...» Пошли...

Асенька, привет! — крикнул он из коридора в кухню, когда, надев шинели, они вышли.— Плюньте на мелочи и берегите нервы! Сережка — известный бурбон!

Ася выглянула из кухни, озабоченно стягивая тонкой тесемочкой передник на муравьиной талии; темные длинные глаза скользнули по лицу Сергея беспокойно.

— Опять до ночи, Сережа?

— Как получится,— ответил он с нарочитой грубостью и поцеловал ее в лоб.— Я позвоню.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Двор без заборов (сожгли в войну) и весь маленький тихий переулок Замоскворечья были завалены огромными сугробами — всю ночь густо метелило, а утром прочно ударил скрипучий декабрьский мороз. Он ударил вместе с тишиной, инеем и солнцем, все будто сковал в тугой железный обруч. Ожигающий воздух застекленел, все жестко, до боли в глазах сверкало чистейшей белизной. Снег скрипел, визжал под ногами; звук свежести и крепости холода был особенно приятен после теплой комнаты, гудевшей печи.

Этот жестокий мороз с солнцем, режущий глаза сухой блеск были знакомы Сергею по сталинградским степям — наступали на Котельниково; звон орудийных колес по ледяной дороге, воспаленные лица солдат, едва видимые из примерзших к щекам подшлемников, деревянные, негнущиеся пальцы в продутых стужей рукавицах; и снова скрип шагов, и звон колес, и беспредельное сверкание шершавого пространства... Хотелось пить — обдирая губы, ели крупчатый снег. Где же конец этой степи? Где? Он шагал как в полуяви, и представлялась ему парная духота метро, шумящие эскалаторы, лица, смех, а он ест размякшее эскимо, пахнущее теплым шоколадом... Очнулся от глухих, сдавленных звуков, вскинул голову, не понимая: рядом, держась за обледенелый щит орудия, толчками двигался заряжающий Капустин, сморщив обмороженное лицо, тихо стонал, всхлипывая: слезы сосульками замерзали на подшлемнике: «Не могу... не могу... Умереть лучше, под пули лучше, чем мороз».

Ничего этого не было сейчас. Вспомнилось же неожиданно — просто вдохнул запах холода, и все возникло перед глазами. Вспомнилось тогда, когда он шел по ули-

це бодрый, сытый, шинель, облегавшая его, хранила домашнее тепло, руки мягко грелись в меховых перчатках.

Дыша паром, плотнее натягивая перчатки, Сергей сказал:

— На фронте ненавидел зиму. После Сталинграда на передке возил с собой железную печку даже летом.

— «Мороз и солнце — день чудесный»,— поглядывая по сторонам, пробормотал Константин.— Какую-нибудь машину бы, дьявола, поймать. Хорошо было дворянам раскатывать на тройках, под волчьей полстью! — Он похлопал себя по бокам, говоря быстро: — Я тоже под разрывными вспоминал милую старину. Тепло, настольная лампа, вьюга за окном, папироса и томик Пушкина... Сто-ой! — заорал он и махнул рукой.— Стой, бродяга!

«Эмка», плотно заиндевевшая от радиатора до крыльев, пронеслась мимо, покатила в глубину белого провала — улицы. Там, в конце этого провала, над снежной мглистостью, над мохнатыми трамвайными проводами висело оловянное декабрьское солнце.

— На кой тебе машина? — сказал Сергей.— Доберемся пешком. Потопаем по морозцу, Костька.

— В такую погоду хорошо ослам топать,— захохотал Константин, усики его поседели от инея, лицо, ошпаренное холодом, стало красным.— Идет себе и занимается гимнастикой ушей. Я, к сожалению, двигать ушами не в силах.

— Опусти ушанку. Не на полковом смотру.

— Иди ты... знаешь куда? Видишь, попадаются хорошенькие женщины. После войны стало больше красивых женщин... Я прав, девушка?

Константин ласково подмигнул бегущей навстречу по тротуару высокой девушке — полы длинного пальто колыхались, мелькали узкие валенки, под шерстяным платком — бело опушенные инеем ресницы, нажженные морозом щеки. Она не ответила, только улыбнулась и пробежала мимо.

Константин заинтересованно оглянулся, потирая ухо кожаной перчаткой.

— Природа иногда создает, а, Сережка? Иногда смотрю, и грустновато становится, ей-богу. Меня хватило бы на всех.— Он взглянул на Сергея оживленно.— Ладно, заскочим в забегаловку. Симпатичный павильончик. Тут, недалеко. Погреемся.

Деревянный павильончик, синея крышей, виднелся в аллее заваленного метелью бульвара. На пышных от вчерашнего снегопада липах каркали вороны, сбивали снег — белые струи стекали по ветвям. Забегаловка в этот утренний час была свободной, разрисованные морозом стекла сумеречно ее затемняли; кисло пахло устоявшимся табачным перегаром, холодным пивом. За стойкой, опершись локтями, в халате поверх пальто стояла широкая в плечах продавщица, игривым голосом разговаривала с молодым парнем, пьющим пиво,— шинель без погон горбилась на его спине, к столику прислонен костыль.

— Привет, Шурочка! — воскликнул Константин на пороге.— Холодище адово, а вроде посетителей нема! Один Павел тебя, что ль, тут веселит? А ну-ка налей нам по сто граммов коньячку для приличия!

— Здравствуй, Костя! На работку собрался с самого ранья? Мороз-то надерет сегодня...

Женщина, не без кокетства улыбаясь подкрашенными губами, зазвенела на мокрой стойке стаканами, повернувшись толстым телом, погрела ладони над огненной электрической плиткой, красными пальцами взяла коньячную бутылку. Парень поставил недопитую кружку, детски светлые глаза настороженно обежали фигуру Сергея, задержались на его погонах.

— Познакомьтесь — мой школьный друг Сергей! Капитан артиллерии, весь в орденах, хлебнул дыма через край,— представил Константин, перчаткой смахивая крошки со стола.— Шурочка, мы торопимся!

Парень подхватил костыль, ковыльнул к Сергею, протянул жилистую руку, сказал:

— Павел. Сержант. Бывший шофер. При «катюшах».— И озадаченно спросил: — А ты капитан? Когда же успел? С какого года? Лицо-то у тебя...

— С двадцать четвертого,— ответил Сергей.

— Счастли-и-вец! — протянул Павел и повторил с завистью: — Счастливец... Повезло.

— Почему счастливец?

— Я, брат, по этим врачам да комиссиям натаскался,— заговорил Павел с хмурой веселостью.— «С двадцать четвертого года? — спрашивают.— Счастливец вы. К нам, говорят, с двадцать четвертого и двадцать третьего года редко кто приходит». А я с двадцать третьего... Ранен был, капитан, нет?

— Три раза.

— Все равно счастливец,— упрямо повторил Павел.— Только оно, капитан, счастье-то, по-разному выходит...

— Эй, хватит там про счастье! Его как подарки на елке не раздают! — крикнул Константин, раскладывая на тарелке бутерброды.— Садись, Сережка! А ты, Павел?

— Нет, не буду я. Пива можно,— ответил Павел, садясь против Сергея, и вытянул левую ногу.— Нельзя мне с градусами пить. Спотыкнешься еще. Я ногу лечу. По утрам часа два гимнастику ей делаю.

— А что с ногой? — спросил Сергей.

— Так. Ничего. Осколком под Кенигсбергом. А работать надо?..— вдруг спросил он высоким голосом.— Работать-то надо? Как же жить? И вот тебе оно, капитан, мое счастье... Куда ни кинь — везде клин. Ни в грузовые, ни в такси не берут. Кому нужен я? Нога... Как жить? Вот и говорю: счастливец ты, капитан,— проговорил Павел, жадно осушил кружку, перевел дух, раздувая ноздри коротенького носа.

— Завидовать мне нечего,— сказал Сергей.— Профессии никакой. Десять классов и четыре года войны.

— Ты бы, дорогой Павлик, на курсы бухгалтеров поступал. Сам читал объявления,— сказал Константин.— Милая, тихая профессия. Счеты, накладные, толстая жена. У бухгалтеров всегда уютные жены, много детей. Верно, Шурочка? — Он подошел к стойке, бросил новенькую, шуршащую сотню перед улыбающейся продавщицей, ласково потрепал ее по розовой щеке.— Сдачу потом, Шурочка.

— Счастливцы,— упорно бормотал Павел, глядя в пол.— Эх, счастливцы вы...

— Ты хочешь сказать — ни пуха ни пера? — спросил Константин.— Тогда — к черту!

Они вышли на морозный воздух, на яркое зимнее солнце.

Рынок этот был — горькое порождение войны, с ее нехватками, дороговизной, бедностью, продуктовой неустроенностью. Здесь шла своя особая жизнь. Разбитные, небритые, ловкие парни, носившие солдатские шинели с чужого плеча, могли сбыть и перепродать что угодно. Здесь из-под полы торговали хлебом и водкой, полученными по норме в магазине, ворованным на базах пенициллином и отрезами, американскими пиджаками и пре-

зервативами, трофейными велосипедами и мотоциклами, привезенными из Германии. Здесь торговали модными макинтошами, зажигалками иностранных марок, лавровым листом, кустарными на каучуковой подошве полуботинками, немецким средством для ращения волос, часами и поддельными бриллиантами, старыми мехами и фальшивыми справками и дипломами об окончании института любого профиля. Здесь торговали всем, чем можно было торговать, что можно было купить, за что можно было получить деньги, терявшие свою цену. И рассчитывались разно — от замусоленных, бедных на вид червонцев и красных тридцаток до солидно хрустящих сотен. В узких закоулках огромного рынка с бойкостью угрей скользили, шныряли люди, выделявшиеся нервными лицами, быстрым мутно-хмельным взглядом, блестели кольцами на грязных пальцах, хрипло бормотали, секретно предлагая тайный товар; при виде милиции стремительно исчезали, рассасывались в толпе и вновь появлялись в пахнущих мочой подворотнях, озираясь по сторонам, шепотом зазывая покупателей в глубину прирыночных дворов. Там, около мусорных ящиков, собираясь группами, коротко, из-под полы, показывали свой товар, азартно ругались.

Рынок был наводнен неизвестно откуда всплывшими спекулянтами, кустарями, недавно демобилизованными солдатами, пригородными колхозниками, московскими ворами, командированными, людьми, покупающими кусок хлеба, и людьми, торгующими, чтобы вечером после горячего плотного обеда и выпитой водки (целый день был на холоде) со сладким чувством спрятать, пересчитав, пачку денег.

Морозный пар, пронизанный солнцем, колыхался над черной толпой, все гудело, сновало, двигалось; выкрики, довольный смех, скрип вытоптанного снега, крутая ругань, звонки продаваемых велосипедов, звуки аккордеонов, возбужденные, багровые от холода лица, мелькание на озябших руках коверкотовых отрезов, пуховых платков — все это, непривычное и незнакомое, ослепило, оглушило Сергея, и он выругался сквозь зубы. На какое-то мгновение он почувствовал растерянность.

Тотчас его сжала и понесла толпа в своем бешеном круговороте, чужие локти, плечи, оттеснив, оторвали Кон-

стантина, уволокли вперед, голоса гудели в уши назойливо и тошно:

— Коверкот, шевиот, бостон, сделайте костюмчик — танцуйте чарльстон! Даю пощупать, попробовать на спичку!

— Кто забыл купить пальто? Граждане! Сорок восьмой размер!

— Полуботинки, не будет им износу! Эй, солдат! Не натерли те холку сапоги? Бросай их к хрену! Наряжайся в полуботинки! Гарантирую пять лет!..

— Что-о? Это кто спекулянтская морда? Сволочь!.. Я Сталинград защищал — вон смотри: двух пальцев нет! Осколком... Я тебе дам «спекулянт»! Так морду и перекосорылю!

— Штаны, уважаемые граждане, кому теплые ватные женские штаны? Прекрасны в холодную погоду!.. Я, гражданочка, вполне русским языком ответил: за вашу цену я их сам сношу! Все! Закон!

— Вы, товарищ капитан, на костюмчик, вижу, смотрите? Глядите, пожалуйста. Модные плечи. Двубортный, на шелку. Прошу вас... Я дешево...

Стиснутый кипевшей сутолокой, криками людей, Сергей очнулся от искательного простуженного голоса, увидел перед собой морщинистое, виноватое лицо, красноватые веки, несвежее кашне, торчащее к подбородку из облезлого воротника; через руку как-то робко был перекинут темно-серый костюм. Сергей резким движением освободился от сковавшей его тесноты, продвинулся ближе к этому человеку, сказал:

— Да, мне нужен костюм. Вы, кажется, продаете?

— Очень дешево,— забормотал человек,— именно вам, товарищ капитан... Именно вам...

— Почему именно?

— Костюм носил сын... Лейтенант... Два раза надел перед фронтом... Не вернулся...

— Нет,— сказал Сергей.

— Что вы?

— Костюм не возьму.

— Товарищ... Я прошу. Вы посмотрите костюм! — заговорил человек с мольбой.— Мне нужны деньги... Я прошу очень маленькую цену. Я даже ее не прошу. Вы назначьте...

— Я не возьму костюм,— повторил Сергей.

Ничего он не сумел объяснить этому человеку. Он никогда не брал и не носил вещей убитых. Преодолевая брезгливость, мог снять оружие с трупа немецкого офицера, просмотреть документы, записные книжки — это было чужое. Но особенно после боя под Боромлей он не испытывал любопытства к непрожитой жизни своих солдат. Убитый под станцией Боромля лежал лицом вверх в смятой пшенице, все тело, лицо были неправдоподобно раздуты от жары, будто туго налиты лиловой водой, вздыбленная грудь покрыта коркой засохшей крови — следы пулеметной очереди,— и трудно узнать возраст погибшего. Сергей достал из кармана его гимнастерки слипшуюся красноармейскую книжку и тотчас почувствовал, что задыхается... «Сержант Аксенов Владимир Иванович... 1923 года рождения... Домашний адрес: Москва, Новокузнецкая улица, дом 16, кв. 33...»

Он, Сергей, жил рядом. В переулке. Пять минут ходьбы. Может быть, они встречались на улице. Может быть, учились в одной школе... И в том, что убитый был москвич, жил совсем рядом, но они не знали друг друга, было нечто противоестественное, разрушающее веру Сергея в то, что его не убьют.

— Товарищ... Товарищ... вы посмотрите, вы осмотрите со всех сторон... костюм... Я не спекулянт. Вы лучшего не найдете. Это довоенный материал,— лихорадочно убеждал человек и все виновато, робко, теснимый толпой, совал костюм в руки Сергея.— Вы отказываетесь не глядя. Так нельзя. Это костюм сына...

— Эй, чего прилип к человеку? — хрипло крикнул кто-то за спиной, протискиваясь к Сергею.— «Костюм, костюм»! Может, военному брючки надо. Есть. Стальные. Двадцать девять сантиметров! Ну? По рукам? Твой рост! Проваливай, папаша!

Он локтем оттолкнул человека с костюмом.

— К черту! — сквозь зубы сказал Сергей, увидев перед собой сизое хмельное лицо.— Я сказал — мотай со своими брюками!

— Но, но! Здесь не армия, а рынок... Не черти́! Сам умею!

— Я сказал — к черту!

Впереди, в гудении голосов, послышался возбужденный оклик Константина; он бесцеремонно — против крутого движения людей — проталкивался к Сергею; шарф на шее развязан, меховая шапка сдвинута со лба: каза-

лось, было ему жарко. И, сразу все поняв, оценивающе окинув взглядом робкого человека, затем нагловатого торговца брюками, он сказал, усмехаясь:

— Уже атаковали? Я сам тебе выберу роскошный костюм. Пошли!

Место, куда вывел он Сергея, было тихое — в стороне от орущей толпы, закоулок за галантерейными палатками, где начинался забор. Несколько человек с поднятыми воротниками топтались около забора, перед ними на зимнем солнце блестели кожей чемоданчики. Эти люди были похожи на приезжих. Двое в армейских телогрейках сидели, как на вокзале, на чемоданах, от нечего делать лениво играли в карты.

— Подожди здесь,— сказал Константин.— Твои офицерские погоны могут навести панику. Там иногда ходят патрули. Я сейчас.

Он подошел к забору, сейчас же двое в телогрейках поднялись и не без уважения пожали руку Константину. Тот, прищурясь, оглянулся на Сергея, по сторонам, потом все трое полезли через дыру в заборе — на пустырь. Люди возле чемоданчиков не обратили на них никакого внимания: притопывали сапогами, хлопали рукавицами, крякая от мороза, солидно переговаривались простуженными голосами.

«Черт его знает какая таинственность»,— подумал Сергей.

Рынок своей пестротой, своей накаленной возбужденностью вызывал в нем раздражение и одновременно острое любопытство к этому скопищу народа.

Рядом с галантерейными палатками, за которыми непрерывно валила, текла толпа, метрах в тридцати от забора заметен был высокий, узкоплечий человек в солдатской шинели; он потирал руки над многочисленными ящичками с блюдечками и подставкой, похожей на мольберт, обращаясь к смеющейся толпе, зазывно-бойко выкрикивал:

— Граждане, не что иное, как эврика! Послевоенное открытие! Мыльный корень очищает все пятна, кроме черных пятен в биографии!

В двух метрах от него на раскладном стульчике за разостланным на снегу брезентом сидел парень-инвалид (рядом лежал костылек), ловко и быстро трещал колодой карт, перебирал ее пальцами, метал карты на брезент,

приглашая к себе хрипловатой скороговоркой и нагловатыми черными глазами:

— Моя бабка Алена подарила мне три миллиона, два однополчанам раздать, один — в карты проиграть! Подходи, однополчане, фокусом удивлю, много не возьму! Подходи, друга не подводи! Туз, валет, девятка... По картам угадываю срок жизни!

В толпе, сгрудившейся вокруг парня, ответно посмеивались, вытягивали шеи, все любопытно следили за картами, однако никто не просил показать фокус: видимо, не доверяли.

Со смешанным чувством грусти и любопытства к этому зарабатывающему на хлеб инвалиду Сергей долго глядел на худое зазывающее лицо парня, наконец сказал:

— Что ж... покажи фокус.

— Трояк будет стоить, товарищ капитан. Загадывайте карту! — обрадованно воскликнул парень.— Враз назову невесту!

— Загадал.

Сергей знал нехитрый госпитальный фокус, но виду не подал, когда проворный парень этот стремительно выщелкнул из колоды карту на брезент; под его распахнутой телогрейкой зазвенели медали на засаленных колодках.

— Дама! — сказал парень.— Червонная. Ваша невеста.

— Дама-то дама. Да не моя невеста. Давай следующий фокус.

— На десятой карте угадываю срок жизни.

— Угадывай.

Парень выложил карту с неуверенным азартом.

— Три года!

— Ба-атюшки светы, такой молодой! — ахнул в толпе голос.— Грехи наши тяжкие!..

Сергей невольно оглянулся, увидел в черном пуховом платке сморщенное старушечье личико, жалостливо мигающие веки, ему стало смешно.

— Не беспокойтесь, бабушка. Я сто лет проживу. Сто лет и три года.

— Сдается мне, товарищ капитан...— неожиданно проговорил парень и наморщил лоб.— Мы с вами нигде не встречались? Голос и лицо вроде знакомы... А?

— Слушай, и мне кажется, я тоже тебя где-то...— вполголоса ответил Сергей, вглядываясь в дрогнувшее

лицо парня.— Ты был на переправе в Залещиках? На Днестре? Был?

Бросив колоду карт, тот медленно привстал, не отрывая от Сергея растерянного взгляда. По толпе прошелестел шумок удивления; кто-то прерывисто-длинно вздохнул, старушка в пуховом платке набожно зашевелила губами, мелко перекрестилась; засуетившись, локтем пощупала, прижала к боку свою кошелку, и тотчас начали расходиться люди, улыбаясь с сомнением,— все могло быть здесь разыграно: рынок не вызывал доверия.

— Не был я на Днестре,— выговорил парень.— Может, на Одере, на Первом Белорусском. В разведке. Я в полковой разведке...

— Мы шли через Карпаты, в Чехословакию,— ответил Сергей, еще минуту назад веря, что они где-то встречались.

— Обознались! — засмеялся парень и разочарованно повторил: — Обознались, значит! Эх, елки-палки!..

Сергей смотрел на его узкий, решительный, с горбинкой нос, на его медали под распахнутой телогрейкой — был он похож на тот заметный на войне тип людей, о которых говорят: такой не пропадет.

— Сколько зарабатываешь тут в день?

— Полсотни.— Парень запахнул телогрейку.— Инвалид второй группы. Пенсия — с воробьиный нос. Чихнуть дороже!

— У меня только тридцатка. Возьми,— проговорил Сергей.— На кой тебе этот цирк! Придумать что-то нужно.

— Ежели бы эту тридцатку на год! — едко хохотнул парень.— С тебя, капитан, денег не возьму. С тыловиков беру.

— Сергей, давай сюда!

От забора к палаткам быстро шел Константин, с веселым видом призывно помахивал снятыми перчатками.

— Ну как? — спросил Сергей.

— Все в порядке. Можешь швырять чепчик в воздух. Не полторы, а две косых дали за твои часики.— Константин перчатками похлопал по боковым карманам.— Здесь твои — две, здесь мои — пять. Вернули долг.

— Кто вернул? — Сергей взглянул на забор, где стояли люди возле чемоданчиков.— Те двое, в телогрейках?

— Долго объяснять. Не все ли равно? Пошли, вы-

беру костюм. Только прошу — в торговлю не лезь. Все испортишь. Кстати, тебе пойдет строгий цвет. Ну, темно-серый. Верно?

— Не знаю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В комнате Константина было жарко натоплено.

Сергею нравилась хаотичная теснота этой комнаты с ее холостяцкой безалаберностью, старой мебелью: громоздкий книжный шкаф, широкий диван, на котором валялись кипы английских и американских военных журналов, голливудских выпусков с фотографиями снежнозубых кинозвезд, и везде были беспорядочно разбросаны книги, на креслах, на спинках стульев висели галстуки, раскрытый патефон стоял на тумбочке, заваленной пластинками,— веяло от всего чем-то полузабытым, мирным, довоенным.

Сергей лежал на диване, распустив узел нового галстука, рассеянно листал затрепанный иллюстрированный журнал сорок второго года. Константин в белейшей, свежей майке брился перед зеркалом, задирая намыленный подбородок, говорил, указывая глазами на книги:

— Все это покупал на Центральном рынке, когда вернулся. Два месяца лежал на этом диване и читал, как с цепи сорвался. Хотелось копнуть жизнь по книгам. Запутался к дьяволу — и пошел в шоферы. То, что говорили нам в школе о жизни,— примитивная ерунда. Помнишь, думали только о подвигах на пулеметной тачанке. «Если завтра война...» Красиво несешься на тачанке в чапаевской папахе и полосуешь из пулемета. «Полетит самолет, застрочит пулемет, и помчатся лихие тачанки...»

Константин усмехнулся, сделал жест бритвой, изображая пулеметные очереди.

— Какими романтичными сопляками мы были! — снова заговорил он, разбалтывая кисточкой пушистую, лезущую из стаканчика пену.— Сейчас мне ясно почему. Вспомни: везде побеждали — челюскинцы, рекорды летчиков, Стаханов. В этом-то и дело. О, все легко, все доступно! И наше школьное поколение жило как на зеленой лужайке стадионов. Нас приучали к легкой победе. Но зачем? А, бродяга! — Константин наклонился к зеркалу, пощупал щеку.— Режется, кочерга несчастная!

Выпускают лезвия как для лошадей. А войну выиграли, леший бы драл, большой кровью. Не дай бог нам этих зеленых лужаек!

— Противоречишь сам себе,— сказал Сергей, рассматривая на обложке молодого светловолосого оберста [1], из бронетранспортера глядящего в бинокль на солнечно-снежный пик Эльбруса.— Мне хочется, чтобы вернулось то время. Но без криков «ура». По каждому поводу. Я хотел бы еще пожить в то время, среди ребят...

Он отбросил журнал, заложил руки под голову и стал глядеть в потолок на абажур, наполненный зеленым огнем. Было тихо, тепло. Сквозь зашторенное окно отдаленно, слабо донесся шум и звон трамвая. Сергей с размягченным задумчивым лицом прислушался к этому зимнему стихшему шуму, долетавшему сюда, во двор, через вечерние заснеженные крыши замоскворецких переулков, сказал:

— Иногда вот так, как сейчас, лежишь ночью, а на улице где-то прозвенел трамвай, и вдруг вспомнишь школу, метель, сидишь у окна, дребезжит стекло, последний урок... Витька Мукомолов сидит рядом, рисует яхты. Хотели пойти в мореходку, в торговый флот... Черт знает о чем только мы с ним не мечтали.

Константин в зеркале посмотрел на Сергея, двумя пальцами погладил выбритый подбородок.

— Я понял так: ты хотел, чтобы то вернулось?

— Может быть,— ответил Сергей.

— А мне кажется — только начинаю жить. Понял, Сережа? Только начинаю!

Рывком Константин стянул майку, перекинул полотенце через плечо, вышел на кухню. Было слышно в тишине, как зашепелявила вода в кране, звонко полилась, заплескала в раковину, как принялся фыркать, звучно шлепать себя ладонями по телу Константин, восклицая: «Ах, хорошо, дьявол! Отлично! Превосходная штука — вода!» Видимо, он испытывал возбуждение и удовольствие не только потому, что был здоров, крепок, но и оттого, что многое было отчетливо ясно ему, раз и навсегда понято в жизни, точно все знал, что надо делать,— и Сергей подумал с удивлением: Константин в чем-то опытнее его, может быть, потому, что вернулся с войны

---

[1] Полковника. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, переводы с немецкого языка. — *Ред.*)

сроком раньше. И от этой его обретенной уверенности возникало ощущение покоя, не хотелось думать, о том, что не было решено и было туманно, непонятно.

— Долго будешь плескаться? — сказал Сергей задумчиво, хотя сам все время чувствовал странную тягу к воде, как будто хотелось смыть прошлую окопную грязь, пот, едкую гарь — порой даже мнилось, что от рук все еще дымно пахнет порохом.

— Ах, дьявол! Ах, здорово, ах, вундершён [1]! — ахал Константин, умываясь, и крикнул из кухни: — Я тебе покажу сегодня, Серега, роскошную жизнь! Завалимся в ресторан. В «Асторию»! Будем жить по коммерческим ценам!

Сергей снял со спинки стула, надел легкий, шелестящий серебристой подкладкой пиджак и, затягивая галстук, подошел к зеркалу. Он разглядывал себя внимательно: костюм шел ему, был лишь немного тесен в плечах, облегал фигуру, как китель; это ощущение (нехватало тяжести пистолета на боку) было ему знакомо.

Было незнакомо лицо — сильно обветренное, с новым, чуть смягченным выражением, от которого за четыре года он, пожалуй, отвык, белая сорочка подчеркивала грубую темноту лба, шеи, темноту глаз.

— Комильфо, вернувшийся в свет,— сказал Сергей, с грустным интересом узнавая и не узнавая себя.

Никогда в жизни он не носил ни галстуков, ни хороших костюмов, вернее, не успел до войны, и сейчас в этом шелковом галстуке, модном костюме, чудилось ему, было нечто полузабытое, далекое, когда-то вычитанное из книг.

— Костя! — позвал Сергей неуверенно.— Оценивай и рявкай «ура».— И рукой провел по поясу, будто машинально поправлял на ремне кобуру пистолета.— Ну как?

Причесывая мокрые волосы, вошел Константин, весь обновленный, свежий, смуглый румянец проступал на скулах, очень серьезно осмотрел Сергея, дунул на расческу, сказал:

— Наверно, и перед свадьбой, если когда-нибудь женимся, то, целуя невесту, будем хвататься за пистолет на заду... А костюм великолепный. И сидит здорово. Ты в нем красив. Девочки будут падать направо и налево.

---

[1] Замечательно.

Только галстук, галстук! — воскликнул Константин и захохотал.— Нелепость в квадрате! Не то коровий хвост намотал на шею, не то шею на коровий хвост. Дай-ка завяжу.

— Ладно, действуй,— согласился Сергей, подставляя шею.

Константин ловко завязал Сергею галстук, застегнул пуговицы на его костюме и посоветовал:

— Ты не скромничай. Надень ордена. Все, до последней медали. Сейчас их носят все.

— Обязательно портить костюм?

— Принципиально это добровольно.

— Хорошо. Надену все — те, что дороги, и те, что не дороги!

Константин пожал плечами.

— У тебя есть такие?

— Трудно заработать первый орден.

Они вышли на улицу. К вечеру заметелило. Снег порывисто вместе с дымом сметало с крыш, густой наволочью стремительно несло вдоль домов, заметенных подъездов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Огромный зал «Астории» встретил их нетрезвым шумом, жужжанием голосов, суетливой беготней официантов между столиками — той обстановкой зимнего вечера, когда ресторан полон, оркестр устал и музыканты, неслышно переговариваясь, курят, сидя за инструментами на эстраде.

Они, скинув шинели в вестибюле, вошли после холода улицы в теплое сверкание люстр и зеркал, в папиросный дым, и эта обстановка гудящего под блеском огней зала оглушила, ослепила в первую минуту Сергея, как и утром сегодня хаотичная толпа Тишинского рынка.

Стоя среди прохода, он оглядывал столики, эту пестроту ресторана с чувством ожидания и растерянности. Здесь было много военных всех званий — от лейтенанта до генерала, были здесь и безденежные штатские в потертых, но отглаженных костюмах, и полуголодные студенты, получившие стипендию и скромно делящие один салат на четверых, и темные личности в широких клетчатых пиджаках, шумно пьющие водку и шампанское в

компании медлительных девушек с подведенными бровями.

Свободных мест не было. Константин, слегка прищурясь, скользнул взглядом по залу, сейчас же уверенной походкой подошел к наблюдавшему у крайнего столика седому метрдотелю и тихо и внушительно сказал что-то. Метрдотель как бы проснувшимися глазами скосился из-за плеча в направлении Сергея, кивнул издали и, солидно откинув голову, повел их в глубину зала.

— Прошу вас сюда,— сказал он бархатным баритоном, передвигая чистый прибор.— Единственный столик. У нас в эти часы очень много посетителей. Кондеев! — строго окликнул он пробегавшего мимо сухопарого официанта.— Обслужите, будьте любезны, фронтовиков... Располагайтесь.

— Прекрасно,— сказал Константин.— Благодарю вас.

Они сели.

— Как тебе удалось в такой толкучке?— спросил Сергей, когда метрдотель с достоинством занятого человека отошел к своему месту.

Константин развернул меню, ответил улыбаясь:

— Иногда не нужно умирать от скромности. Я сказал, что ты только что из Берлина. И как видишь, твой иконостас произвел впечатление. Результат — вот он. Как говорится, шерсти клок.

— И это неплохо,— сказал Сергей.

Он посмотрел на ближние столики. Багровый, потный человек с налитой шеей (на лацкане нового пиджака — орденские колодки) быстро жевал, одновременно разговаривая, наклонялся к двум молоденьким, вероятно только что из училища, младшим лейтенантам. Младшие лейтенанты, явно смущенные бедностью своего заказа, отхлебывали из бокалов пиво, растерянно хрустели убогой соломкой; сосед их, этот багровый человек, пил водку, аппетитно закусывал ножкой курицы и, доказывая что-то, дирижировал ею.

Сергей перевел взгляд, мелькнули лица в дыму, и ему показалось — недалеко от эстрады девушка в сером костюме поглядела в его сторону с чуть заметной улыбкой и тут же снова заговорила о чем-то с молодыми людьми и полной белокурой девушкой, сидевшими рядом за столиком возле колонны. Сергей сказал серьезно:

— Посмотри, Костя, у меня слишком пресная вывеска? Или идиотское выражение?

— Не нахожу,— произнес Константин, деловито занятый изучением меню.— А что? Обращают внимание? Пожинай славу. Молодой, красивый, весь в орденах. И с руками и ногами.— Он проследил за взглядом Сергея, спросил вскользь: — Вон та, что ли, со вздернутым носиком? Ничего особенного, середняк. Впрочем, не теряйся, Серега.

— Циник чертов.

Лавируя между столиками, подошел сухопарый официант, озабоченно махнул салфеткой по скатерти, сказал с приятностью в голосе:

— Слушаю, товарищи фронтовики...

— Бутылку коньяку — это во-первых... Какой у вас — «старший лейтенант», «капитан»?

— Есть и «генерал»,— ухмыльнулся официант, вынимая книжечку для записи заказов.— Все сделаем.

— Тащите сюда «генерала». И сочините что-нибудь соответствующее. От вашей расторопности зависит все дальнейшее.

— Одну минутку.— И официант понесся в тесном проходе среди столиков.

— У меня такое впечатление, что ты целыми днями торчишь в ресторанах,— сказал Сергей.— Пускаешь пыль в глаза, как миллионер!

— А, гульнем, Сережка, на всю катушку, чтоб дым коромыслом. Не заслужили, что ли?

— Когда ехал от границы по России,— проговорил Сергей,— почти везде керосиновые лампы, разрушенные станции, сожженные города — страшно становилось.

— Мы победили, Сережка, и это главное. Что ж, придется несколько лет пожить, подтянув ремень.

— Несколько лет?..

Внезапно заиграла музыка, зазвучали скрипки, говоря о печали мерзлых военных полей; в тени эстрады стояла певица с худеньким, бледным и стертым лицом, ее руки были подняты к груди.

Я кручину никому не расскажу,
В чистом поле на дорогу упаду.
Буду плакать, буду суженого звать,
Буду слезы на дорогу проливать.

В зале нервно покашливали. «Что это? Кажется, еще и война не кончилась?» — подумал Сергей, сжатый волнением, видя, как внимательно вглядывались в эстраду

молоденькие младшие лейтенанты и, уставясь в одну точку, размеренно жевал багровый человек.

— «Буду плакать, буду суженого звать». Ничего гениального. А просто нервы у нас никуда,— услышал он голос Константина.

Тот разливал коньяк в рюмки, покусывая усики, поставил преувеличенно твердо бутылку на середину стола.

— Я понял одно: прошли всю войну, сквозь осколки, пули, сквозь все. И остались живы. Наверно, это счастье, а мы его не ценим. Так, может быть, сейчас, когда мы, счастливцы, остались живы, она нас подстерегает, глупая случайность подстерегает. На улице, за углом, на самолете, в какой-нибудь неожиданной встрече ночью. Остерегайся случайностей. Не летай на самолетах — бывают аварии. Не рискуй. Только не рискуй. Мы всю войну рисковали. Только не рискуй по-глупому.

Сергей, нахмурясь, выпил коньяк, сказал:

— Если бы я понял, что должен сейчас делать! На войне я рисковал, и в этом была цель. Я часто иду по улицам и завидую дворникам, убирающим снег. Уберет снег во дворе и войдет в свою жарко натопленную комнату, к семье. Что ж, пойти в институт? В какой? Да мне кажется, я не смогу учиться. Я завидую людям с профессией, каждому освещенному окну по вечерам. У тебя бывает такое?

— У меня? — Константин засмеялся.— Ты счастливец. Остался жив. Вся грудь в орденах. В двадцать два года — капитан. Перед тобой все двери распахнуты! У меня!— повторил он, хмыкнув.— Я, очевидно, не обладаю тем, чем обладаешь ты. Мы живы. Разве это не счастье, Сережка? Слушай, ну ее к дьяволу, болтовню. Пойдем танцевать. Танго. Здесь вперемежку — военные песни и танго. Выбирай любую, кто понравится. Кого бы мне выбрать на сегодня?

Константин подтянул спущенный узел галстука, загадочно оглядел соседние столики. Сергей видел его гибкую походку, его небрежную беспечность, когда он приблизился к выбранному столику, и то, как наклоном головы он смело пригласил тонкую темноволосую женщину, и она охотно пошла с ним. «Он живет ясно и просто,— подумал Сергей.— Он понял то, чего не понял я. Да, мы остались живы,— это, вероятно, счастье. Странно, я об этом не думал даже после боя. А вот когда нет опасности, мы думаем об этом. Случайность?.. Какая

случайность? Ерунда! Вся жизнь впереди, что бы со мной ни было. Мне только двадцать два...»

И он с острым, пронзительным сквознячком ожидания взглянул на женщин, которые еще не танцевали.

Девушка в узком сером костюме сидела спиной к эстраде, говорила что-то, пальцами поглаживая высокую ножку бокала, молодые люди слушали молча, глядели на ее оживленное лицо.

«Я сейчас приглашу ее...» — подумал Сергей и, когда решительно подошел к столику, произнес негромко: «Разрешите?» — она повернулась, со вниманием посмотрела снизу вверх прозрачно-зелеными глазами, спросила мягким голосом, обращаясь к молодым людям:

— Вы мне разрешаете?

Они, не отвечая, натянуто вежливо разглядывали Сергея, и он, понимая, что помешал им, все же сказал самоуверенно:

— Простите, но, думаю, они разрешат.

— Тогда танцуем все,— проговорил один из молодых людей.— Если уж...

— Правда, я плохо танцую,— с улыбкой сказала она Сергею и встала.

Когда она, положив руку ему на плечо, пошла с ним, подчиняясь ему, слабо прижавшись грудью, задевая его коленями, он удивился условности людских взаимоотношений, эти когда-то выдуманные людьми танцы неуловимо разрушали человеческую разъединенность; он чувствовал ее сильные пальцы, сжимавшие его руку, будто была она давно знакомой, близкой ему, и вместе с тем чувствовал некоторую ее и свою неловкость от этих движений близости. Он видел морщинку на ее лбу, глаза чуть-чуть настороженно смотрели ему на грудь.

— Странно...— проговорил он.

— Что же странно?

Она вопросительно подняла взгляд. «Может быть, это и есть то, чего я хотел? — подумал он, увидев ее зрачки.— Ничего не надо. Только это. Только вот так...»

И вдруг все исчезло. Это было мгновение, которое он не уловил. Он только посмотрел в зал, желтый от дыма, и тотчас же, как от удара, оборвалась, смолкла музыка, и он словно мгновенно опустился в вязкую глухоту, чувствуя, как пальцы в его руке шевельнулись, мягкий голос спрашивал о чем-то. Он даже улыбнулся этому голосу, что-то сказал, не понимая слов, и когда говорил и

улыбался, то подумал: «Еще раз повернуться... возле крайних столиков, посмотреть. Я не мог ошибиться...»

Около крайних столиков он повернулся.

К этим столикам левее колонны шел человек в кителе без погон, белело при свете люстр холеное полное лицо, гладко зачесанные светлые волосы, ранние залысины над высоким лбом. Человек сел к столику, с краю женская сумочка блестела лаком на скатерти, и Сергея удивило то, что столик этот был вблизи стола, за которым только что сидели молодые люди, а он раньше не заметил такое знакомое лицо. И сейчас, облокотившись, человек этот, казалось, в рассеянности подносил папиросу ко рту, следил за танцующими.

Нет, он не мог ошибиться, не мог. Это — командир батареи капитан Уваров. Это он...

«Я сейчас подойду к нему, сейчас все кончится — и я подойду к нему,— вспышкой мелькнуло у Сергея.— Я подойду, как если бы...»

— Что вы?

И он очнулся, будто вынырнул из горячей пустоты, ощутил нажатие чужих пальцев на своем плече, и опять его словно обдуло ветерком — ее смеющийся голос:

— Вы перестали танцевать. Мы ведь стоим. Это что — новый стиль?

— Да, да...— машинально выговорил он, так же машинально отпустил девушку, договорил почти беззвучно: — Простите...— И не увидел, а почувствовал, как кто-то ее тотчас пригласил.

Всего пять метров, несколько шагов было до того столика, где сидел человек с полным белым лицом, было несколько шагов осенней карпатской грязи, засосавшей орудия, тела убитых, сброшенные в воду лотки со снарядами. Там среди убитых лежал на станинах раненый лейтенант Василенко...

Крупная рука этого человека поднесла папиросу ко рту, потом он, раздумчиво сдвинув брови, налил в бокал боржом. Не отводя глаз от танцующих, выпил, медленно вытер губы салфеткой. Помнил ли он сожженную деревню Жуковцы? Ночь в окружении и страшное серое октябрьское утро в Карпатах, когда орудия увязли на лугу и немецкие танки расстреливали их?..

Он курил и отхлебывал боржом, лицо исчезало в дыму, маленькая лаковая сумочка лежала на краю стола

рядом с его локтем. Чья это сумка — жены, знакомой? Она, наверное, танцевала с кем-то.

— Капитан Уваров!..

Сергей не услышал своего голоса, только понял, что сказал это после того, как человек, вскинувшись, двинул локтем по столу, от нерассчитанного движения бокал с боржомом опрокинулся на скатерти.

— А, ч-черт! — выругался он и, перекосив губы, закрыл мокрое пятно салфеткой.— Что вам? — спросил громко, обтирая сумочку.— В чем дело?

— Не узнаете?— сказал Сергей чрезмерно спокойно.— Правда, я не в военной форме. Трудно узнать.

— Подожди... Подожди, что-то я припоминаю... что-то в тебе знакомое...— заговорил Уваров, голубые его, покрасневшие глаза сверху вниз метнулись по лицу Сергея, и что-то дрогнуло в них.— Капитан Вохминцев? Ты?! — голосом, налитым изумлением, воскликнул Уваров, вставая, и раскатисто захохотал, протянул через стол руку.— Ты — здесь? Демобилизовался? Из Германии?..

Сергей стоял не шевелясь; глядел на уверенно протянутую ему широкую кисть, и в ту же минуту в его сознании мелькнула мысль, что Уваров все забыл, и, чувствуя холодный, колющий озноб на щеках, стянувший кожу, сказал тихо:

— Сядем. Поговорим. Я демобилизовался,— хрипло добавил он.— Из Германии.

И Уваров, отдернув руку, опустился на стул, сказал резким, командным голосом:

— Что за чепуха, хотел бы я знать! Ты это что? Контужен?

— Мы никогда не были на «ты»,— сказал Сергей, напряженно, неторопливо закуривая, с удивлением видя, что пальцы его дрожат.— Мы не были друзьями.

— Ах, дьявол! — качнув головой, преувеличенно весело засмеялся Уваров и откинулся на стуле.— Обиделся? Все ерунда это! Давай выпьем за встречу, за то, чтобы на «ты». А? И не будем показывать свою интеллигентность!

Уваров поставил перед Сергеем рюмку, потянулся за графинчиком, добродушно морщась, но в то же время голубизна глаз стала жаркой, мутноватой, и по тому, как он внезапно захохотал и потянулся за графинчиком, угадывалось в нем настороженное беспокойство.

— Не пью,— проговорил Сергей, отодвинув рюмку.

— Да ты что? Трезвенник? Нич-чево не понимаю! — огорчился Уваров.— Встречаются два фронтовика, один не пьет, другой обижается, у третьего печенки, селезенки. Что происходит с фронтовиками? — Он накрыл своей рукой руку Сергея, спросил с доверительным простодушием: — Может, перехватил уже. Давно здесь веселишься?

— Брось, Уваров! Ты все помнишь! — сухо произнес Сергей и высвободил руку из горячей тесноты его ладони.

Уваров с судорожной усмешкой медлительно спросил:

— Ты пьян?

— Помнишь, на станинах лежал Василенко, когда я со взводом вытаскивал орудия из окружения? Помнишь?

— Ты пьян,— через зубы выговорил Уваров и, оглядываясь, позвал зычно: — Метрдотель, подойдите ко мне!

Он встал, застегивая китель.

За соседними столиками посмотрели в их сторону. Сергей твердо сказал:

— Если ты позовешь метрдотеля, я выйду на эстраду и скажу, что ты убийца. Я это сделаю.

— Ты это что! — злым шепотом спросил Уваров, опять тяжело садясь.— Будешь вспоминать Жуковцы? Будешь перечислять фамилии убитых? Обвинять меня? Нет, милый, надо обвинять войну. Так ты можешь обвинить половину строевых офицеров, в том числе и себя. У тебя гибли солдаты? А? Гибли?

— В одну могилу врагов и друзей не положишь,— ответил Сергей с трудом.— Братской могилы не получится.— Он глубоко затянулся дымом, чтобы перевести дыхание, договорил отчетливее: — Ты сам взялся поставить батарею на прямую наводку, не зная, где немцы. Когда Василенко сказал тебе в глаза, что ты дуб и ни хрена не смыслишь, ты пригрозил ему трибуналом...

— Не было этого! Вранье!

— Вспомни еще — утром танки окружили Жуковцы и прямой наводкой расстреляли людей и орудия. Всех — двадцать семь человек и четыре орудия. Но Василенко даже в болоте стрелял. А ты притворился больным и как последняя шкура просидел сутки в блиндаже. Бросил людей... А потом? Все свалил на Василенко — под трибунал его! Мол, он, командир первого взвода, погубил батарею. В штрафной его! Ты, конечно, знаешь, что Василенко погиб в штрафном.

— Вранье!

— Ты отправил Василенко в штрафной. А в штрафной должен был пойти ты.

— Вранье!

Уваров стукнул кулаком по столу, лицо его туго набрякло, точно постарело мгновенно, потемнели мешки под веками, лоб и залысины облило потом; голубые, с красными прожилками глаза скользили то по груди Сергея, то по залу, и затем он качнулся вперед, кулаком потирая крутой подбородок, неожиданно со сдержанной досадой заговорил:

— Ну чудак ты, ей-богу! Если была какая неразбериха — на то война. Не косись, брат, на меня; я не хуже и не лучше других. Ты считаешь меня своим врагом, я тебя — нет. Просто думаю: ты хороший парень. Только мнительный. Выпьем, Вохминцев, за примирение, за то, чтобы... ко всем матерям это!.. Глупых смертей было много. Война кончилась — бог с ним, с прошлым. Предлагаю выпить за новую дружбу и все забыть!

Он повторил «все забыть», и в последней фразе голос набрал осторожную фамильярную мягкость, ладонь его быстро вправо-влево погладила скатерть, и эти движения будто хотели пригладить, сравнять все, что было осенью сорок четвертого года в Карпатах. Будто не было того октябрьского рассвета, залитого дождями луга, неудобно и страшно затонувших в грязи трупов солдат, четырех орудий, в упор разбитых танками. Василенко корчился на станинах, одной рукой прижимая скомканную, потемневшую пятнами шинель к плечу, в другой судорожно со всей силы стискивал масленый ТТ, дико выкрикивал: «Где он?.. Я прикончу эту шкуру... В штрафной пойду, а прикончу!..» — и плакал по-детски беспомощно.

Была тишина. Она пульсировала в ушах. Сергей почти физически почувствовал сырой запах гнилой воды луга, гнилого тумана, размокших шинелей, крови и чесночный запах немецкого тола... Тишина оборвалась.

Играл оркестр оглушающе беспрерывно, бил очередями барабан, вибрировала труба.

— Тебя не судили потому,— как сквозь ледяную стену, пробился к Сергею собственный голос,— что меня ранило на второй день на перевале. Я знал цену Василенко и цену тебе. Ты всегда боялся меня, когда стал командовать батареей.

— Я? Боялся тебя? Я тебя никогда не боялся и сейчас не боюсь, сопляк! — не сдержался Уваров, и щеки его стали молочно-бледными.— Все понял? Или не понял?

— Нет. Теперь я тебя нашел.

Молчание. Оркестр не играл. Как из-за тридевяти земель, просачивались ватные голоса. Мимо столика тенями шли люди. Говорили... Отодвигались стулья... Что это, кончился танец? Скорее... Сейчас подойдет эта женщина, чья сумочка блестела лаком на столе. Скорее... Это мужское, не женское дело. Здесь никто не должен вмешиваться...

— Теперь я тебя нашел,— повторил Сергей, разделяя слова.— Я ничего не забыл.

Тогда Уваров вдруг навалился грудью на стол, глаза сузились озлобленно.

— Если ты... если ты встанешь... поперек моей дороги... Я тебя сотру! Понял, Вохминцев? Понял? Ты меня знаешь!..

Сергей видел, как совсем немо шевелились узкие губы Уварова, и крупная его рука нервно соскользнула со стола, потянулась к заднему карману. «Что ж, у него может быть оружие... он мог не сдать оружия»,— мелькнуло в сознании Сергея, и с какой-то внезапно возникшей ненавистью к шевелению этих узких губ, к его полным щекам он сказал тихо, презрительно:

— Для этого... ты трус.— И добавил еще тише: — Встань!

— Что-о?

— Встань!

Уваров поднялся, и в то же мгновение Сергей резко и коротко, снизу вверх, ударил его по лицу, вкладывая всю силу в удар, ощутив на миг мясистое и скользкое, тотчас увидел отшатнувшееся мелово-бледное лицо, запрыгавший подбородок Уварова. С треском отлетел из-под его большого тела стул к соседней колонне, от толчка со звоном опрокинулись рюмки на столе. Уваров, охнув, хватая руками воздух, упал на ковер в проходе, ошеломленно провел пальцами по носу, глянул на них бессмысленным, тупым взглядом и, переводя глаза на Сергея, издав горлом захлебнувшийся звук, прохрипел рыдающе:

— Держите его... Держите его...

Сергей стоял подле столика не отходя. Он стоял как в пустоте и лишь видел в этой туманной пустоте круг-

лые глаза Уварова, ожидая, когда он встанет. Уваров не вставал. Размазывая кровь по трясущимся щекам, он лежал на боку на ковре и, раскачиваясь, повторял задыхающимся слабым криком:

— Он меня изуродовал... Держите его!.. Он меня изуродовал! Держите его!..

— Подлец и сволочь! — отчетливо проговорил Сергей, повернулся и спокойными, очень спокойными шагами пошел к своему столику.

Он смутно различал чернеющую толпу перед собой, какое-то движение, крики, возмущенные взгляды, обращенные на него. Кто-то с багрово-красным лбом цепко охватил его локоть, старательно повис сбоку, засопел в ухо. Сергей вырвал локоть, взглянул в пьяные зрачки этого негодующего багрового человека, сказал: «Не лезьте не в свое дело, разберется милиция»,— и тотчас услышал за спиной женский плач, оглянулся: толстая белокурая девушка, исказив сдерживаемым плачем губы, наклонилась над Уваровым, что-то спрашивала его, смятым платочком вытирала ему щеки. И с неприятным ощущением увидел он в толпе возле нее ту, с которой только что танцевал. Уваров замедленно поднялся. Тут же кто-то схватил Сергея за плечо, послышался голос Константина: протиснувшись сквозь толпу, он, потный, стал перед ним; в лице его, в блестящих глазах — волнение, готовое мигом обернуться помощью.

— Что случилось? Ты кого или кто тебя?

— Ничего,— сказал Сергей.— Пошли.

— Хулиган! — крикнул кто-то в спину ему.— Орденов полна грудь, а хулиганит! Безобразие! Позовите милицию! Убил человека... Здесь не фронт — кулаками махать! Фронтовиков позоришь!

Он увидел багрово-коньячное лицо того человека, который минуту назад цепко удерживал его за локоть; багровый кричал басом, бровки гневно взлетали — он забегал вперед, толкаясь, сновал среди людей, жаждал деятельности, возмущения, наказания. Сергей со злостью оглядел его рыхлую фигуру — от новеньких тупых полуботинок до фальшивой рубиновой булавки в немецком галстуке,— молча оттолкнул его.

Они сели за свой столик. Сергей был бледен, внешне спокоен, только горячие струйки пота скатывались из-под мышек, он подтянул галстук и, чтобы не вздрагивали пальцы, выдернул папиросу из коробки, сильно сжал ее.

Константин, как бы все поняв, чиркнул спичкой, дал прикурить, проговорил с успокаивающей невозмутимостью:

— Потом все расскажешь. Вытри пот с висков. Полное спокойствие. Придется иметь дело с милицией.

— Я этого и хочу,— сказал Сергей.

Он жадно выпил бокал ледяной фруктовой воды и снова отчетливо представил лежащего на ковре Уварова, искривленные плачем губы толстой некрасивой девушки — вспомнил и чуть поморщился. «Кто она ему—сестра, жена?»— подумал он без жалости к Уварову, с болезненной жалостью к ней, к ее некрасивому, искаженному болью лицу. «Что это я?— спросил себя Сергей.— Нервы размотались? Я готов пойти ее успокаивать, просить извинения?» И, помедлив, ответил самому себе: «Нет. Она ничего не знает».

— Закажи еще фруктовой,— сказал Сергей.

Зал гудел голосами, возникло какое-то движение в проходе слева и около вестибюля; оркестр не играл, музыканты, переговариваясь, с любопытством поглядывали на столик, за которым сидел Сергей; донесся сзади чей-то крутой голос:

— Куда смотрит милиция?

«Почему люди осуждают по внешним признакам? — подумал Сергей.— Конечно, не он, а я ударил... Значит, ясно: виноват я... Видели кровь на его лице, его беспомощность, слышали его крик. Люди иногда судят просто: ударил человека — ты подлец, а не он; есть внешний факт, этого достаточно...»

— Почему вы его ударили, вы можете это объяснить? Что такое? Вы ведь фронтовик? И тот человек тоже фронтовик, судя по наградам!

Подошли двое к столику — молодой сухощавый подполковник, рядом — майор лет сорока, квадратный в плечах, неприязненно насупленный.

— Вы можете объяснить? — потребовал подполковник.— В чем дело?

— Нет. Это не объяснишь так просто. Если вы встречали на фронте подлецов, все станет ясным.

— Но драться в общественном месте...— строевым басом пророкотал майор, разводя руками; белый подворотничок врезался в его налитую шею.— Нашли бы другие меры...

— Побить морду — не самое страшное,— вежливо заметил Константин.

— Другая мера — суд,— вполголоса ответил Сергей и, ответив так, на какое-то мгновение подумал, что страстно хотел бы этого суда, где мог сказать то, что знал. И добавил, подняв глаза на майора: — Собственно говоря, разговор произойти у нас не может. Смешно объяснять здесь причины.

— Леший ногу сломит! — сказал подполковник недоуменно.— Идите в вестибюль, здесь неудобно. Как я понял, вызвали милицию. Идемте, кажется, вы не пьяны?

— Думаю, нет. Пошли. Так будет удобнее.

Он привычно, как китель, одернул пиджак.

В холодноватом вестибюле с натасканным снегом на коврах полулежал на диване под тусклой пальмой Уваров: лицо умыто, бледно, чистым батистовым платком зажимал нос, веки полузакрыты, как у больной птицы. Некрасивая белокурая девушка — глаза красные, запухшие — что-то сбивчиво объясняла всхлипывающим голосом низкорослому капитану милиции, стоявшему посреди вестибюля с сизым, нахлестанным метелью лицом. Шинель была густо завьюжена, на плечах — пласт сухого снега. От него несло стужей улицы. Здесь же стоял с солидно-удрученным видом седой метрдотель, вокруг него в распахнутом пальто, в сбитой на ухо каракулевой шапке суетился возбужденно багровый человек, басовито выкрикивал:

— Это что же, а? Изуродовали человека!

Сергей, увидев столпившихся вокруг Уварова людей, капитана милиции, молчаливо расстегивающего забитую колючим снегом сумку, шагнул к нему, сказал:

— Вот документы.— Вынул и показал офицерское удостоверение.— Это я ударил.

Капитан милиции мрачно повел на него мокрыми бровями, полистал удостоверение, недобро глянул в лицо Сергея, затем — попросил Уварова:

— Ваши документы, гражданин.

Уваров, все так же придерживая одной рукой скомканный платок на носу, другой достал из кармана кителя удостоверение. Капитан развернул его, посмотрел неторопливо.

— Понятно. Студент...

— Слушайте, капитан,— глухо сказал Уваров.— Произошло недоразумение. Я не вызывал милицию. Мы фронтовые друзья. Повздорили, и только.— Помолчал и повторил спокойно: — Это недоразумение.

В вестибюле студено дуло от дверей, широкие стекла окон искрились от уличного фонаря. Метрдотель покосился в сторону багрового человека, а тот рванулся к капитану милиции, вскрикивая с одышкой:

— Без-зобразие, фронтовиков поз-зорят!..

— Я вас дружески предупреждаю: лечиться надо от глупости, у вас серьезный недуг,— ровно и ласково отозвался Константин.— Поверьте уж мне...

— Разойдитесь, граждане, по своим местам! — скомандовал капитан, пряча документы в сумку.— Прошу!

Сергей смотрел на Уварова; Уваров как бы не замечал его, не повернул головы — сел на диван, со злой брезгливостью наблюдая за зыбким покачиванием на холодном сквозняке жестких пальмовых листьев; нервный румянец пятнами заливал молочно-белые его щеки.«Кто он сейчас — студент? Он — студент?» — почему-то не веря, соображал Сергей и отчетливо подумал, что ничего между ними не кончено, не может быть кончено, и сказал, обращаясь к капитану:

— Я могу быть свободным?

— Н-да,— неохотно взмахнул перчаткой капитан милиции.— Однако разберемся. Мы вызовем обоих.

— Пожалуйста. Я могу хоть сейчас...

— Нет, особо, гражданин, особо.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Кто этот хмырь?

— Капитан Уваров. Я тебе о нем рассказывал. Командовал батареей в Карпатах. Не думал встретить его здесь. Испортил весь вечер. Ну где твои левые машины?

— Метель, наверно, разогнала. Все «эмки» на вокзалах, ждут ночных поездов. А ты все же молодец, Сережка.

— Поди к черту! Идиотство все это!

Они стояли возле подъезда ресторана, возле высоких, ярко освещенных окон, проступавших среди темной улицы Горького. Около фонарей тротуары плотно завалило снегом, снежный дым несло вдоль огрузших в ночи

домов. Сергей поднял воротник, сунул руки в карманы шинели, сказал:

— Пойдем к Охотному ряду. Метро до часу.

— Глупо, но истина.— Константин затоптался, щурясь от снега, летящего в лицо.— Мне, Сережка, мешают деньги. Две тысячи. Их хочется вышвырнуть, иначе сожгут карман. К тому же я ничего не сказал Зоечке. Танцевал, раскидывал сети... Предлагаю втроем завалиться куда-нибудь...

— Езжайте куда хотите! — сказал Сергей раздраженно.— Мне осталось пятнадцать минут — закроют метро.

— А может?..

— Ничего не может. Пока!

— Физкульт-привет! До завтра!

Константин стряхнул кожаной перчаткой белые пласты с груди и, оставляя следы на снегу, быстро зашагал к подъезду ресторана; завизжала промерзшая дверь, со стеклянным звуком захлопнулась.

Сергей шел вниз по улице Горького, чувствуя упругие толчки метели в спину; справа, мутно темнея, медленно проплыло здание Центрального телеграфа. Улица спускалась к Манежной площади, и впереди в мелькании, в движении снега кругло засветились электрические часы на углу — без десяти час. Под часами бесшумно проскользил оранжевыми окнами поздний пустой троллейбус.

Были прожиты сутки и пятьдесят минут новых суток. В этот день он не чувствовал одиночества. Он почувствовал его лишь тогда, когда встретился с Уваровым,— люди, о которых помнил он и которых не было в живых, были, казалось, ближе, дороже, роднее ему, чем отец и сестра...

Да, вот он дома: зима, снег, фонари, тихие замоскворецкие переулки, свободные утра, горячая голландка, улица Горького, довоенный телеграф, метро — ночное; заваленные снегом подъезды. Он все время ждал прежней мальчишеской легкости, теплых июльских дней, всплеска весел и фонариков на Москве-реке в сумерках, спорящего голоса Витьки Мукомолова, который любил носить белую майку, обтягивающую сильные плечи. И была Надя в летнем платьице, с загорелыми коленками. Это было. Витька Мукомолов пропал без вести. И Нади нет. Погибли почти все, кого он знал в девятом и десятом классах. Жизнь сделала крутой поворот, как машина, на этом крутом повороте многие, почти все,

вылетели из машины, и он остался один. Только он и Константин...

Сунув руки в карманы, Сергей шел по улице, порывы метели пронизывающим холодом хлестали по груди, по лицу, и он невольно опять вспомнил о сталинградских степях, о тех дьявольских морозах сорок второго года.

Потом близко зажелтел сквозь снег освещенный изнутри вход в метро на другой стороне.

Он перешел улицу, услышал впереди женский смех и поднял голову. Перед входом в метро, под широкими окнами, двое мужчин с веселым оживлением придерживали за локти тонкую высокую девушку; она, смеясь, прокатилась по зеркально-черной, продутой ветром ледяной дорожке на тротуаре, и они стали прощаться. Девушка в мужской меховой шапке, размахивая планшеткой на ремешке, кивнула этим двум, провожавшим ее, исчезла в вестибюле метро. Морозный пар вылетел из махнувших дверей.

Сергей отогнул жесткий от инея воротник шинели, вошел в электрический свет пустынного вестибюля, машинально поглядел на часы — без пяти час. Вчера он вернулся в три часа ночи. На какую-то долю минуты он увидел себя как бы со стороны — человек, ведущий ночную жизнь, после четырех лет разлуки редко бывающий дома,— и, чувствуя внезапную жалость к Асе, к отцу, распахнул дверцу в крайнюю автоматную будку с запотевшими стеклами, поискал гривенник в кармане. Дома, конечно, могли не спать — ждали его.

— Досада какая... Разъединили. У вас не будет десяти копеек? — послышался звучный голос, и он взглянул, проталкивая гривенник в гнездо,— девушка в мужской меховой шапке, выставив одну ногу в белом ботике из соседней будочки, рассматривала на кожаной перчатке мелочь; офицерская планшетка на ремешке свешивалась через ее плечо.

Он опустил трубку, монета звонко ударилась в коробке возврата. Он сказал полусерьезно:

— Пожалуйста. Рад, что могу вам помочь.

— Спасибо.

Она задержала на его лице взгляд, и он узнал ее. Но не было уже той странной близости, рожденной ее послушными движениями, сильным пожатием руки при поворотах, когда они танцевали. Они были чужими, не знающими друг друга людьми, разделенными этим вести-

бюлем, этими автоматными будочками и намерениями, с которыми они подошли к телефонам. «Кому она звонила? — подумал он.— Кто были те двое? И, кажется, Уваров сел около них за соседний столик?.. Но, может быть, это показалось?»

Она улыбнулась несмело.

— Я вас не ограбила?

— Звоните, я найду ещё гривенник,— сухо сказал Сергей и снова вошел в будку.

Она вошла в свою, однако не закрыла плотно дверь, оставив щелочку, как бы не стесняясь Сергея,— он видел меховую шапку, белую от снега, по-мальчишески сдвинутую со лба, край глаза, пар дыхания. Она набрала номер привычно, быстро, послушала и, задумчиво водя пальцем в перчатке по стеклу, повесила трубку. Он заметил это.

— Вам нужен еще гривенник?

— Нет. Никто не подходит.

В его трубке были длинные гудки.

— У меня тоже. Нам, кажется, не везет сегодня обоим.

Не ответив, она вышла, начала застегивать расстегнувшуюся планшетку, никак не могла справиться с кнопками, он тоже вышел из своей будки и усмехнулся:

— Разрешите, я помогу? Здесь нужно уметь. Я четыре года носил эту штуку. Может быть, что-нибудь получится.

И преувеличенно развязно взял планшетку, новенькую, гладкую,— такие новые, неисцарапанные, не потертые в траншеях никогда не носил он. Легко застегнул кнопки, с четкостью услышав в пустом вестибюле резкие щелчки в тишине, и выпрямился — она неспокойно и вопросительно глядела на него. Он спросил:

— Вы что, боитесь меня?

— Нисколько. Но зачем это? Я сама сумею щелкнуть кнопками. Спасибо.

— Пожалуйста.

Он надел перчатки, небрежно козырнул, пошел по гулкому безлюдному вестибюлю к лестнице, ведущей вниз, в теплоту огней подземного коридора метро. И тотчас приостановился на повороте, задержанный простуженным окриком:

— Гражданин, придется вернуться, последний поезд отошел!

Навстречу, покашливая, шмыгая валенками, шел милиционер вместе с усталой курносенькой девушкой в форме.

— Черт! — сказал Сергей.

— Без всяких чертей, товарищ,— наставительно произнес милиционер.— Ничего не поделаешь. По рельсам домой не потопаете. Вертайтесь.

— Черт! — повторил Сергей.— Не повезло!

Он начал подыматься по лестнице назад, заметил бегущие по ступеням вниз белые боты, полы расклешенного пальто, с досадой сказал:

— Возвращайтесь назад. Могу вас обрадовать. Метро закрыто.

— Как закрыто?

— Закрыто, закрыто! — на весь вестибюль начальственно крикнула курносенькая девушка в форме.— Освобождайте, граждане! Не задерживайте, я закрываю.

Возле метро снег закрутился на тротуаре, ожег кипящим холодом, ветер ударил Сергея в бок, подхватил, замотал планшетку девушки. Она, щурясь на Манежную площадь, придерживая пальто у сдвинутых колен, проговорила беспомощно:

— Хоть бы одна машина!..

Он увидел ее белое лицо, покрасневший нос, зажмуренные от ударов снега глаза, и это лицо показалось ему тусклым и жалким.

— Вы далеко живете? — отрывисто спросил Сергей, но ответа не последовало.— Я спрашиваю: далеко живете? Где ваш дом?

— Вам-то что? — Она из-за воротника прижмурилась на него.— Вам-то что до этого?

— Бросьте! — проговорил Сергей почти грубо.— Замерзнете к черту в своих ботиках, в этих перчатках. Где вы живете? Чего вы боитесь? Говорите...

Она молчала, сжав губы. Он сказал по-прежнему грубовато:

— Ну? Вы думаете, провожать вас мне доставляет колоссальное удовольствие?

Стоя боком, она засмеялась и вдруг повернулась к нему:

— Ну, положим, я живу на Ордынке. Это вам что-нибудь говорит?

— Говорит: полчаса ходьбы. Вам повезло. Нам почти по дороге. Идемте!

— Спасибо! — Она с насмешливой гримасой наклонилась, поправила застежку бота, потом сказала: — Ну что ж...

— Тогда пошли!

Когда миновали Исторический музей, чернеющий мрачной громадой, и когда зачернел угрюмо-пустой храм Василия Блаженного на краю Красной площади, по которой катились волны метели, оба замедлили шаги — ветер здесь, на открытом пространстве, наваливался со злой неистовостью; над головой в стремительных токах сухого снега гремели, дергались вдоль тротуара обмерзлые ветви деревьев. Полы ее пальто, планшетка, подхваченные ветром, жестко хлестали Сергея по затвердевшей шинели.

— Идемте быстрей! — поторопил он.

Оттого, что он говорил с ней дерзко, как с мужчиной, и оттого, что она, сопротивляясь, пошла за ним, он почувствовал какое-то грубое превосходство над ней, но одновременно возникала и неловкость.

— Не торопите меня, пожалуйста! — невнятно проговорила она в воротник, остановилась и опять поправила бот уже раздраженно.— Я не хочу бежать, это мое дело! Мне вовсе не холодно, а жарко!

На мосту окатило их жгучим пронзительным паром, несло снизу запахом ледяной стужи — стало невозможно дышать. Они ускорили шаги — была видна через накаленные ветром перила черная вода незамерзших закраин у берегов. Но когда, минуя поток стужи на мосту, вышли по сугробам на угол Ордынки, Сергей почувствовал, что она споткнулась, и механически, непроизвольно, взял ее за рукав, покрытый наростом снега.

— Ну что?

— Ничего,— ответила она.

И, задыхаясь, сняла его руку с локтя. Спросила:

— Просто интересно — сколько сейчас градусов мороза?

— Двадцать пять, по крайней мере.

Метель с гулом ударила по крыше дома, загремело железо, в снежном воздухе пронеслось гудение проводов.

— Придется подождать. На правой ноге жмет туфля...— Она пошевелила ногой в ботике.— Господи, кажется, онемела нога. Это просто анекдот,— сказала она,

стараясь улыбаться.— Бывают в жизни глупые вещи. Можно не обморозиться в Сибири и обморозиться в Москве. Что вы так смотрите? Смешно?

— Не вижу ничего смешного. Заходите в какой-нибудь подъезд. И ототрите ногу! Иначе вам долго не придется носить туфельки. Идите сюда! — приказал Сергей.— Слышите? Идите сюда!

Он подошел к первому подъезду, рванул заваленную сугробами дверь. Дверь подалась, завизжала, и, еще держась за обледенелую ручку, он оглянулся. Она, хромая, с напряжением улыбаясь, все-таки вошла в подъезд, а он, пропустив ее вперед, крепко захлопнул дверь и, очутившись в настуженной темноте, отвернул жестяную от мороза полу шинели, принялся шарить спички.

— Ищите место, садитесь,— снова приказал он и едва зажег спичку окоченевшими пальцами.

Она посмотрела на него настороженно, дунула на огонек, сказала:

— И так видно. Не мешайте своими спичками...

Подъезд был темен, грязен, с сизо искрящимися от инея стенами, пахнущий подвалом и кошками; обшарпанная лестница уходила наверх, в потемки этажей, безмолвных, мрачно ночных.

Сергей, отвернувшись, нетерпеливо ждал. Он слышал, как она щелкнула застежкой бота, стукнула о лестницу туфлей, стала что-то делать, и тотчас словно увидел, как, неловко сидя на ступенях, она озябшими руками осторожно растирает пальцы на онемевшей ноге, держа ее на весу,— и с мгновенной жалостью сел рядом с ней на ступеньку.

— Кладите ногу ко мне на колено! — сказал он тихо.— Давайте я разотру. Мне приходилось это делать.

— Я закричу,— сказала она неуверенно.— Слышите, закричу! И разбужу весь дом...

— Кричите,— ответил он.— Сколько хотите.

И уже совсем решительно откинул полу шинели, положил ее ногу на колено — ладонями почувствовал тонкий шелковый чулок, скользкий, ледяной от холода, твердую и крепкую икру. Он ровно, сильными движениями начал растирать ей ступню, все время ощущая в потемках настороженный взгляд на своем лице.

— Ну как, лучше? — выговорил Сергей.

— Мне... неудобно сидеть,— прошептала она.

— Потерпите,— сказал он.— Еще немного.

— Порвете чулок,— выдохнула она жалобно и замолчала.

Тогда он спросил, задохнувшись:

— Что ж вы не кричите?

Она прошептала:

— Мне больно... хватит...

Было какое-то движение: искала рукой бот или туфлю, вплотную подвинулась к Сергею — он неожиданно ощутил своей щекой холодную влагу меха воротника, смешанную с теплотой дыхания, почувствовал на плече тяжесть ее опершейся руки и, чувствуя этот сырой, слабо пахнувший морозом мех, видя ее мокрое лицо, порывисто и неуклюже поцеловал ее в дышащий теплом рот.

Она тряхнула головой, отстранилась изумленно.

— Ого! Салют! Вы это что — в армии так?

— Именно...— пробормотал Сергей растерянно и встал, от внезапного волнения, от неловкости этой злясь на себя, уже плохо слыша, как рядом скрипнула застежка ее надетого бота, но, когда она ветерком прошла мимо, задев его полой пальто, снова в сумеречном воздухе подъезда его коснулся запах сырого меха.

— Как вас звать? — негромко спросил Сергей.— Я с вами почти целый вечер... и не знаю.

Прислонясь к перилам, она ответила насмешливо:

— Вы всегда так знакомитесь?

Он плечом толкнул дверь парадного.

Преодолевая порывы метели, шли по сугробам. Она шагала, наклоняясь, смотрела под ноги, дыша в мех воротника, и Сергей спрашивал себя: «Зачем? Что это я?»

На углу он приостановился, молча закурил, прикрыв ладонями огонек спички.

Она тоже молча подняла голову, зажмурилась, на лице тенями мелькнуло отражение снега. Вверху, окутанный метелью, в белом кольцевом сиянии горел фонарь. Она спросила:

— Что вы остановились?

— Далеко ваш дом? — спросил Сергей.

— Можете злиться, но не надо курить на морозе,— сказала она, вытянула из его пальцев папиросу, бросила в снег, затоптала каблуком.— Во-первых, меня зовут Нина. Надо было раньше спросить. Ну ладно! — Она засмеялась и своей снятой перчаткой стряхнула снег с его шапки и плеч.— Посмотрели бы на себя — весь в снегу,

как индюк в муке! Называется — допровожались! Идемте ко мне, погреетесь. Я отряхну вас веником. Так и быть.

Он только еле кивнул.

Вошли во двор, тихий, весь заваленный сугробами.

— Вот здесь,— сказала Нина, взглядом показав на окна, темнеющие над крышами сараев.

Она открыла забухшую на морозе, обитую войлоком дверь, и оба вошли в темноту парадного.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Сергей проснулся от странного безмолвия в незнакомой комнате, лежал в постели с тревожным, замирающим ощущением, не смог сразу понять, где он.

Стекла окон золотисто горели. Была тишина утра. За стеной в соседней квартире передвигали стулья, слабо доносились голоса. Над головой звеняще тикал будильник. И он вдруг все вспомнил до ясности отчетливо, все то, что было вчера.

Он помнил, как они поднялись на второй этаж и она ввела его в свою комнату. Метель обдувала дом, ударяла по крыше, свистела в чердачных щелях, но ветер не проникал сюда, в тишину, в ночной уют, в запах чистоты, покоя, где веяло теплом, домашней устроенностью и зеленым куполом в полумраке светилась настольная лампа.

Потом они сидели подле открытой дверцы печи, в которой неистово кипело, трещало пламя, было паляще-жарко коленям, сидели без единого слова, и он украдкой смотрел на Нину, а она смотрела на огонь... После того как он вел себя с ней нарочито грубо, после того как он вошел в эту маленькую, незнакомую комнату, ему трудно было нащупать нить разговора, преодолеть неловкость, быть прежним, каким недавно был на улице и в том подъезде; он еще чувствовал на спине холод озноба, боялся — голос его будет вздрагивать.

— Кто вы? — наконец спросил он.— Военная медсестра, врач? Как вы очутились в ресторане?

— Закройте дверцу. Так будет лучше,— попросила она, а когда он закрыл, взглянула с шутливой благодарностью.— А то сгорят мои шелковые чулки. То есть как — кто я?

Она, смеясь, откинула волосы.

— Да нет,— сказал он, усмехнувшись.— Кто вы вообще?

— Ну, положим, я геолог. И вернулась с Севера. И очутилась в ресторане. Отмечали мой приезд. А вы как там очутились? — Она поставила ногу на полено, глядя на огненное поддувало.

— Просто так,— сдерживая голос, сказал Сергей. И договорил: — Просто так. Без всякой цели.

Она спросила минуту спустя:

— Зачем вы его ударили? Мстили за кого-то? Мне показалось...

— Не будем об этом говорить,— сказал он.

— Но я хорошо знаю Таню.

— Какую Таню?

Засунув руки в карманы, он с хмурым лицом прошелся по комнате, прохладной после колючего жара печи, постоял у окна, прижался лбом к веющему острым холодом стеклу, повторил:

— Сейчас не хочется говорить.

Он опять присел к печке, раскрыл дверцу, выбрал самое большое полено и, взвесив его на ладони, положил в огонь. Полено захрустело, горячо и буйно закипело в пламени, выделяя пузырящиеся капли сока на торце, и в этот миг охватившего его тепла и тишины он заметил сбоку двери свою шинель, висевшую рядом с ее пальто, заметил мокрый мех воротника и тогда особенно стыдно вспомнил, как неуклюже поцеловал ее в подъезде. И, вспомнив ее изумленно отклонившееся лицо, быстро сказал, пытаясь шутить:

— Кажется, я выполнил свою миссию. Простите. Мне пора.

Было тихо в комнате; ветер с гудением проносился за стенами дома.

Она не ответила. Только повернулась и посмотрела как бы просящими помощи глазами, и он совсем близко увидел виновато подрагивающие уголки ее губ.

— Нина, что ты хотела сказать? Что ты хотела сказать?..— вдруг с трудом, вполголоса заговорил он, видя виновато и робко вздрагивающие губы, и не договорил, и так порывисто и неловко обнял за плечи, целуя ее — стукнулся зубами о ее зубы.

«Кто она? Как это получилось?»

Он оделся, и тут ему бросилось в глаза: прижатая ножками будильника, на тумбочке белела записка.

Он осторожно взял ее — мелкий круглый почерк, бисерные буквы:

«Сережа! Я ушла. Всё на столе. Делай что хочешь. До вечера. Нина».

Звонко тикал будильник, и этот единственный звук подчеркивал безмолвную пустоту квартиры.

Сергей ходил по комнате, в смолистом свете утра теплел воздух, становился розовым, и вещи Нины — ее серый свитер на спинке стула, ее узкие туфли под тахтой — тоже мягко теплели от зари. Это были ее вещи, которые она носила, надевала, которые прикасались к ее телу.

«Кто она? Как это получилось?»

Он долго глядел в окно.

После вчерашней метели двор, крыши сараев были наглухо завалены розовеющим свежим снегом, на крышах четкими крестиками чернели по чистой пелене следы ворон... И эти следы на утреннем снегу тихим и сладким толчком тревоги стискивали горло.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Он вернулся домой в десятом часу утра.

Сквозь сон смутно донесся возмущенный шепот Аси, ворчливое бормотание отца — голоса жужжали, колыхались где-то рядом, а он в полудреме старался вспомнить, что было вчера — неожиданное, оглушающее, счастливое,— все, что случилось с ним.

И, уже очнувшись от сна, Сергей с минуту еще лежал, не размыкая глаз, слыша около себя голос Аси, и почему-то хотелось улыбнуться от звенящего и горячего чувства радости.

— Папа, он сопьется — каждый день возвращается на рассвете! Уверена, ходит к каким-то гадким женщинам. Его пиджак пахнет отвратительными духами. Ты чувствуешь? Именно не одеколоном, а духами...

— Не замечаю,— скрипуче отвечал отец.— Вообще, скажи, пожалуйста, откуда это у тебя — «гадкие женщины»? В твои годы странные познания! Духи... какие духи?

— У тебя нет нюха,— со слезами в голосе выговорила Ася.— Я давно говорила. Тебе что керосин, что духи — одно и то же! — И с негодованием воскликнула: — Ужас какой!

Сергей вздохнул, как будто только сейчас просыпаясь, громко затрещав пружинами, повернулся от стены — и снова, как вчера, светло ударило по глазам уютным солнцем морозного утра, ослепительной белизной окна.

В комнате топилась печь, попискивали котята в коробке, отодвинутой от багровеющего поддувала. Ася, заспанная, аккуратный передник повязан на талии, стояла посреди комнаты, зеркально-черные глаза возмущенно смотрели на пиджак Сергея, висевший на стуле.

— Ах, ты проснулся! — воскликнула она даже испуганно как-то.— Здравствуйте, донжуан несчастный!

Отец, в очках, с сосредоточенным выражением занятого человека, ползал на четвереньках перед дверью, держал галошу в руке и, нацеливаясь, щелкал этой галошей по полу, по солнечным полосам, кряхтел от усилий.

— Э, паршивцы! Пошла прочь!

Исхудавшая кошка зевала, следила за взмахами галоши, изредка мягко вытягивала лапу, лениво играя.

И Сергей, не поняв, в чем дело, засмеялся беззаботно, откинул одеяло, сказал с счастливой веселостью:

— Что у вас здесь? Клопов щелкаете? А ну, Аська, марш в другую комнату, одеваться буду!

— Он еще командует! Лучше бы молчал! — Ася вспыхнула, выбежала, мелькнув передником, в другую комнату, крикнула за дверью:— Просто какой-то кошмар!

Отец, нацелясь, хлопнул галошей, досадливо забормотал, обращаясь не к Сергею, а вроде бы к кошке:

— Мураши. Откуда эти мураши зимой? Брысь, окаянная, все б тебе играть, а котята голодные. А ну — геть! Лезь к своим чадам.— Он подтолкнул кошку к коробке, где возились котята, потом снял очки, взглянул на Сергея близорукими глазами.— Доброе утро, сын...

— Доброе утро... Николай Григорьевич!..— живо ответил Сергей и запнулся с неловкостью человека, заговорившего фальшивым тоном.

Он часто ловил себя на этой фальшиво-фамильярной интонации в разговоре с отцом, которая не позволяла назвать его ни «отцом», ни «папой», создавала некоторую натянутость в их взаимоотношениях, заметную обоим.

Отец смущенно бросил галошу к двери, сел на стул, на спинке которого висел пиджак Сергея, протер, повертел в пальцах очки. Густая серебристость светилась в его волосах; и было почему-то нечто жалкое в том, как

он протирал и вертел очки, в том, что его вылинявшая, довоенная пижама была не застегнута, открывала неширокую грудь, поросшую седым волосом.

Был он до войны статен, темноволос, удачлив во всем; поздним вечером приходил с работы, кидал портфель на диван, целовал мать — красивую, сияющую весело-приветливыми глазами; маленькие сережки, как две капли росы, сверкали в ее ушах; затем отец садился за стол, часто рассказывая о разных смешных случаях на комбинате, которым руководил, при этом хохотал заразительно, молодо.

Во время войны сразу и навсегда кончилась молодость отца, и возник новый его облик, в который Сергей не мог поверить. Из писем знакомых стало известно, что на фронте отец сошелся с какой-то женщиной — медсестрой из полевого госпиталя, и тогда Сергей, ошеломленный, с бешеной злостью написал ему, что не считает его больше своим отцом и что между ними все кончено.

Он узнал, что отец, комиссар полка, выводил два батальона из танкового окружения под Копытцами, прорвался к Вязьме, был тяжело ранен в грудь и позже тыловым госпиталем направлен на окончательное излечение в Москву. Николай Григорьевич застал Асю одну в полупустом, эвакуированном доме, мать умерла. Отец неузнаваемо постарел, обмяк и как бы опустился: лежал целыми днями на диване в своей комнате, плохо выбритый, безразличный ко всему, не ходил на перевязки, с утра до вечера читал старые письма матери, но не говорил ничего. После излечения его уволили в запас.

Он долго не работал. У Николая Григорьевича были серьезные неприятности, осенью его вызывали несколько раз в высокие инстанции — всплыло дело о потере сейфа с партийными документами полка во время прорыва из окружения, отец жил в состоянии равнодушия и беспокойства одновременно и наконец устроился на тихую, совершенно не соответствующую его прежнему характеру работу — бухгалтером на заводе «Диафото», объясняя это своим нездоровьем.

Третьего дня вечером Сергей, вернувшись от Константина, вошел к себе и, раздеваясь, услышал из другой комнаты раздраженные голоса — отца и соседа по квартире Быкова. Он прислушался, удивленный.

— Никакой рекомендации я тебе не дам, никогда не дам! — говорил отец, взволнованно покашливая.— Я от-

лично помню шестнадцатое октября. Ты сказал мне:«Конец! Погубили страну, дотанцевались!» И посоветовал порвать партийный билет, бросить в уборную! Так это было? Так! Мол, революция погибла! Так и расскажи в партбюро своей текстильной фабрики: был момент, когда не верил ни во что!

— Ты болен!..— донесся надтреснутый голос Быкова.— Ты болен тогда был, болен! В бреду все привиделось. И ты не чистенький, Николай Григорьевич! Я твою коммунистическую совесть наизнанку знаю, как вот пять пальцев. На фронте с бабой спутался, из-за этого, может, и жена твоя умерла, а? По себе о людях судишь?

— Вон отсюда... вон! — шепотом выговорил отец.

Дверь распахнулась — Быков толкнул ее плотной, обтянутой кителем спиной, вышел, пятясь, щеки розовые, глаза неподвижно остекленели, остановились на сжатых кулаках отца, наступавшего из комнаты.

— Ты... ты убил свою жену, вот где твоя совесть старого коммуниста...— бормотал Быков и, перекатив глаза на Сергея, возвысил голос, замахал перед грудью отца пальцем.— Во-от каков твой отец, коммунист, во-от, смотри на него!..

— Вы что, с ума сошли? — спросил Сергей, видя болезненное лицо отца и багровое лицо Быкова, озлобленно махавшего пальцем в воздухе.

Сергей, едва сдерживая себя, двинулся к Быкову, взял его за ворот, коснувшись толстой шеи, и, тряхнув так, что затрещал китель, вывел его, грузного, потного, в коридор и тут предупредил:

— Еще одно слово — и я вас вытряхну из кителя. Поняли?

— Пусти! Рукам воли пе давай! — удушливо выкрикнул Быков и, одергивая китель, оглядываясь зло, засеменил новыми, обшитыми красной кожей бурками по коридору к своей двери.

— Ты все слышал? — спросил потом отец, осторожно поглаживая левую сторону груди.— Все?

— Нет. Но я понял.

После Николай Григорьевич, казалось, все время испытывая неловкость и неудобство, помнил эту сцену, и сейчас, в это солнечное морозное утро, присев возле быстро одевавшегося Сергея, он спросил с некоторой заминкой:

— Как дела, сын? Настроение как?

— Настроение великолепное. Перспективы шоферские. Умею водить «виллис», «студебеккер», «бээмвэ»,— ответил Сергей. Вчера слышал по радио — набирают на курсы шоферов; Шаболовка, пятнадцать. И говорил об этом с Костей, он старый шофер. Подучусь, буду водить легковую или грузовую, все равно. Аська, входи, я уже в штанах! — крикнул он, перекинув мохнатое полотенце через плечо.

— Это, конечно, перл остроумия! — отозвалась из-за двери Ася.— Просто все падают от смеха! Ха-ха!

Она вошла, худенькая фигурка очерчена солнцем, взгляд немигающий, ядовитый.

— Ты прожигаешь жизнь! Поздравляю! Ты вращаешься в светском обществе! Поздравляю! Твой новый костюм пахнет отвратительными духами. На нем был женский волос — отвратительный, золотистого цвета. Покрашенный, конечно.

— Не думаю,— сказал Сергей.— Что касается волоса, то это наверняка Костькин. Вчера он щеголял по Москве без шапки. Был ветер, волосы летели с него, как с одуванчика. Он страшно лысеет.

Ася презрительно возразила:

— С каких пор Константин стал золотистый? Оставь, пожалуйста! Я не дальтоник. Не морочь мне голову. Все очень остроумно. Были пострадавшие от смеха.

— Мороз. Потрясающе действует мороз.

Он звучно поцеловал ее в щеку, Ася отстранилась, произнесла неприступно:

— Я не люблю эти неестественные нежности. Обращай их, пожалуйста, к... своему пиджаку.

— Ася, при чем здесь пиджак? — вмешался Николай Григорьевич.— Что это такое? Хватит, пожалуйста.

— Ничего не хватит, папа! — ревниво перебила Ася, блестя глазами.— Он нас не видит и не хочет видеть. Он, видите ли, скуча-ает!..

— Аська, только не молоти чертовщину,— сказал Сергей.— Не хочу ссориться, честное слово. Когда двое ссорятся по мелочам, оба виноваты. Я хочу быть правым.

Николай Григорьевич в раздумье потер о колено дужки очков.

— Значит, в шоферскую школу? Н-да. Ничего советовать не могу, ты взрослый человек. Только одно: у тебя ведь десять классов, капитан артиллерии. Доволен будешь? В институт не тянет?

— Все забыл, что учил в школе. Таблица Менделеева, бином Ньютона — тень в безумном сне. Не хочется начинать все сначала, с детских штанишек. Не усижу за партой.

— Зато усидишь в грузчиках,— вступила Ася.— Это ужасно находчиво и современно!

— Когда меня оскорбляют родные сестры, я ухожу в ванную.

Сергей засмеялся, приподнял Асю, опустил на стул и вышел в коридор коммунальной квартиры.

Ванная была занята, ровный плеск воды, кашель, кряхтение доносились оттуда. Сергей, не задумываясь, постучал, узнав по сопению и вздохам соседа Быкова.

— Здесь очередь, уважаемый товарищ!

Из кухни, освещенной солнцем сквозь замерзшее окно, пахну́ло теплом — духом соленой поджаренной рыбы, картошки и жирным ароматом тушенки, кофе,— запахами недавних квартирных завтраков. Около плиты с обычным запозданием (вставали поздно) шумно и бестолково возились со сковородкой соседи по квартире: художник Федор Феодосьевич Мукомолов, высокий человек с бородкой клинышком, и его жена — художница Эльга Борисовна, женщина худенькая, спокойная, поблекшая, совсем седая уже. Мукомолов дымил торчащей в сторону набивной папиросой, держал за ручку шипящую сковородку, Эльга Борисовна сыпала из пакета яичный порошок в баночку, говорила усталым голосом:

— Ты ничего не понимаешь, Федя, ты на редкость бестолков в этих делах. Надо сначала маргарин. Все сгорит. Отпусти, пожалуйста, сковородку. И вынь папиросу. Ты сыплешь пепел в разные стороны.

— Не может быть! — Мукомолов согнулся к плите, затряс бородкой над сковородой.— Надо искать, Эленька, искать. Вода заменит маргарин. Я утверждаю. Маргарин — это каноны. Надо ломать каноны. Совершенно верно.

Он постоянно придумывал новшества в кулинарном искусстве, потрясая и убеждая всю квартиру: мясо надо жарить на воде, можно жарить и варить маринованную селедку, поджаривать овес и грызть его, как семечки,— великолепное средство от гипертонии, укрепляет физические силы, удлиняет жизнь.

С вечной папиросой в зубах, он при встречах старомодно снимал шляпу, раскланивался, зимой и летом

носил демисезонное пальто, никогда не болел, по утрам гремел в своей комнате гантелями и гирями; порой, идя в ванную или уборную, появлялся на пороге кухни в галошах на босу ногу и в трусах, а вслед ему несся оклик Эльги Борисовны:

— Федя, Федя, ты меня удивляешь! Вернись! Оденься приличнее!

Считали его безвредным человеком, с чудинкой, что и должно быть, разумеется, свойственно художнику, и тем более бросалось в глаза, что Мукомолов-отец ничем не был похож на своего сына Виктора, довоенного друга Сергея.

— Добрый день, здравствуйте, Сергей Николаевич! — воскликнул радостно Мукомолов, не выпуская из левой руки держак дымящейся сковородки и выкидывая Сергею правую руку, будто даря ее.— Гимнастику делали? Нет? Плюньте на ванную. М-м... Петр Иванович Быков подолгу, знаете... Слабость. Идемте ко мне. Нет, нет, идемте ко мне! У меня гири, гантели. Эля, держи сковородку. Я убегаю. Прошу вас, Сергей Николаевич.

Он выпустил сковородку, подхватил Сергея под локоть, потащил по коридору к своей двери, провожаемый упрекающим взором Эльги Борисовны.

Комната Мукомолова, большая, очень светлая от снега и солнца, с кучей дров подле голландки, была увешана и заставлена картинами: портрет беловолосой веснушчатой девочки — губы изогнуты наивной улыбкой полумесяцем; крымские пейзажи; летнее росистое утро на лугу; глубинный мрак чащи с редкими пятнами на листьях; застывшая осенняя вода, затянутая туманцем в ожидании дождя. Сергей провел взглядом по стенам — и внезапно повеяло жарой, палящим солнцем у белых стен крымских домиков, до ощутимости запаха понесло прохладой из мрачной чащи близ тусклой осенней воды,— спросил удивленно:

— Это все ваше?

— Вот великолепные гири, вы только обратите внимание, разного достоинства — от килограмма до пуда, вот вам! — торопливо говорил Мукомолов, сбрасывая со стула измазанные красками потрепанные штаны, и показал стоявшие здесь гири.— Берите и занимайтесь. Я — каждое утро и даже вечером.— И, смеясь глазами, погладил

бородку.— Видите ли, чтобы сделать что-нибудь полезное на этом свете, надо колоссальное здоровье иметь. Особенно в искусстве. Титаническое здоровье Льва Толстого. Несокрушимое здоровье.

— Это все ваше? — опять спросил Сергей, оглядывая картины, и улыбнулся.— Кажется, я все это видел. Через такой луг шли под Лисками. Здесь нас бомбили. В этом урочище под Боромлей... Орудия стояли на опушке.

— Вы ошибаетесь, это... это не Лиски и не... как это, Боромля,— оживляясь, шаря по карманам спички, заговорил Мукомолов.— Но это так, так... ассоциации. Так, так... Вы правы. Садитесь, садитесь.

Торопясь, зажег спичку, прикурил, помахал спичкой, гася, бросил на пол, будто стряхнул нечто, обжегшее пальцы. В волнении начал искать свободный стул — свободных не было: два около мольбертов неряшливо завалены тюбиками красок, кусками пестро заляпанного картона, заставлены чашечками с мутной водой. Мукомолов фыркнул дымом в бородку, сказал виновато-весело:

— Простите, все стулья сожгли в войну. Сухие венские стулья отлично разжигали печь. Пустяки. Минуточку, минуточку. Вот сюда. Вот сюда, сюда зайдите. Как это вам? А?

Взяв за локоть Сергея, завел его за мольберт, повернул спиной к окнам и, скрестив на груди свои большие руки, склонил голову набок, словно бы прицеливаясь.

На мольберте на холсте — задавленный сугробами московский двор без забора, часть улицы, снег на мостовой; солдат, опустив вещмешок, растерянно стоит у двух столбов, где прежде были ворота, в нерешительности ищет номер дома, мальчишка с санками, задрав голову, впился глазами в молодое лицо солдата, рот приоткрыт.

Мукомолов сжал локоть Сергея и тотчас замахал погасшей папиросой, рассыпая в разные стороны пепел, бросил ее в чашечку с водой.

— Нет, нет, мальчишка не его сын! Нет, нет! Это еще до конца не выражено. Нет.

Он снова схватил толстую папиросу из коробки на стуле и заходил по комнате чуть прыгающей, возбужденной походкой.

— Мне один критик говорит: у вас серая гамма! Нет света оптимизма. Вы понимаете? Но чувства, чувства, человеческие эмоции! «Серая гамма»! Все люди делятся на две половины: больных и здоровых. Для одних —

диета, для других — нет. Так вот, этот критик относится к тем, кто кушает только белый хлеб. Черный несъедобен для него: боится, расстроится желудок! Он бы уничтожил Левитана, растряс бы Саврасова в клочья! Вот вам!

Мукомолов трескуче закашлялся, глянул на Сергея, слушавшего и не совсем его понимавшего, лицо неожиданно подобрело, засветилось беззащитно, мелкие морщинки звездочками собрались на висках.

— Простите, Сергей Николаевич, меня ужасно кусают эти критики.— И сейчас же спохватился, вскричал: — А гири? Возьмите себе пудовую! Прекрасно по утрам. Вы молоды, но молодость проходит — не успеешь по сторонам посмотреть. А как нужно здоровье! Для того чтобы кое-что сделать в искусстве, титаническое здоровье надо иметь. Да, да! Хотя бы чтоб доказать, что ты недаром жил, недаром!

Раздался громкий стук из коридора. Дверь приоткрылась, в щель просунулся Быков, весь распаренный, младенчески-розовый после ванны, пророкотал жирным баритоном:

— Ванна свободна. Эльга Борисовна сказала: тут вы. Пожалуйста.— Он улыбнулся одной щекой Мукомолову.— Молодость, Федор Феодосьевич. Не терпится. Очередь, говорит, собралась...

— Входите, входите, Петр Иванович,— пригласил Мукомолов широким жестом.— Что вы в дверях?

— А, показываете новенькое что?

Быков солидно внес свое небольшое упитанное тело, был по-воскресному — в полосатой пижаме, чисто выбритые щеки лоснились, запахло цветочным одеколоном.

— Всё рисуете, всё образы рисуете,— заговорил Быков, туманным, как бы размякшим после ванны взором глядя не на Мукомолова, а на Сергея, и приблизился к мольберту, расставил ноги в широких штанах пижамы.— Н-да... Так... Хм, н-да... Нравится вам, Сергей Николаевич?

Сергей промолчал — общество Быкова было неприятно ему.

— Вы отойдите, отойдите от картины, Петр Иванович.— Мукомолов смущенно потеребил бородку.— Так нельзя... Когда Рембрандт показывал своего «Блудного сына», все подошли близко и ничего не увидели. Рембрандт сказал, чтобы отошли от картины — краски дурно

пахнут. Все отошли и изумились. Я не прошу, разумеется, изумляться, но нужно уметь смотреть картины.

Быков насмешливо обежал глазами комнату, поинтересовался:

— А для кого же картины эти рисуете, Федор Феодосьевич? Для музея иль для себя... так, для удовольствия? Деньги-то платят? Ну вот этот солдат сколько стоит?

— Я не оцениваю своих картин! Я не продаю их даже в музеи, как вы говорите! Их не покупают! Сейчас не покупают. Но я не гонюсь за деньгами, нет, нет! Я очень давно не продавал... не выставлялся! Но у меня около тысячи законченных акварелей, и, если каждую оценят минимум по две тысячи рублей, это два миллиона. Вот вам! Съели? — Мукомолов едко засмеялся.

— Эт ты, ого! — выговорил Быков и хлопнул себя по ляжкам.— Выходит, с миллионщиком в квартире живем! Лады, лады... Разбогатеете — миллион займу.

Быков понимающе поглядывал на Мукомолова, на скупую обстановку комнаты, будто снисходительно сочувствуя, жалея и этого неудачника Мукомолова, и эту обстановку, и картины его. И Сергею стало неприятно, зло на душе.

— Вы знаете, что такое реле? — спросил он.

— Что? Какой реле?

— В машине есть реле, которое должно срабатывать.

— Хм,— произнес Быков, настораживаясь.— Как так?

— Оно у вас не срабатывает!

Мукомолов ходил, почти бегал по комнате, наталкиваясь на разбросанный в углах багет.

— Да, да, у меня, может быть, тысяча акварелей!

Вошла Эльга Борисовна, неся сковородку, поставила на маленький столик и, раскрасневшаяся от жара плиты, пальцами отвела волосы со лба, проговорила упрекающе:

— Федя! Ты всех заговорил. Ты просто удивляешь. Как не стыдно! Человек шел в ванную, ты затащил его... Человек стоит с полотенцем. Петра Ивановича тоже задержал.

— Я зайду к вам позже,— сказал Сергей и пошел к двери.

Мукомолов бросился за ним, на пороге схватил за руку, заговорил с веселой доказательностью:

— Сергей Николаевич, мы должны с вами по утрам рубить дрова, пилить дрова в сарае. На свежем воздухе.

Это лучшая гимнастика. Если вы составите компанию...

— Сережа,— тихо позвала Эльга Борисовна,— зайди к нам вечером. Я прошу тебя, очень прошу.

— Да, я зайду обязательно,— ответил Сергей.— Я зайду обязательно,— повторил он.

— Я никакие секреты не слушаю,— ухмыльнулся Быков значительно.— Валяйте, валяйте, я ухожу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

До войны Быков с женой вселился в девятиметровую комнату в конце коридора, затем, в сорок первом году, в «клетушку» эту, как называли ее жильцы, въехал инженер-холостяк. Работавший тогда в московском интендантстве, Быков по ордеру райисполкома занял большую светлую комнату, принадлежавшую прежде Мукомоловым. Она пустовала. Мукомоловы не входили в нее, точно пугало их пыльное безмолвие нежилья, школьные дневники на столе, книги Паустовского и Грина в шкафу, запыленные гири и гантели возле дивана. До вселения Быкова все здесь оставалось так, как в тот день, когда Витька Мукомолов уходил в ополчение. Были только вынуты из ящиков стола школьные дневники, и стояла на подоконнике чернильница-непроливайка, покрытая пылью, с засохшими по краям чернилами. И тишина в этой комнате не стирала, не притупляла боль Мукомоловых. Боль была тем сильнее, что никто не сообщил, не написал, не рассказал, где и когда погиб сын. Эльга Борисовна была уверена дикой, не соглашающейся ни с чем верой, что погиб сын в плену осенью сорок второго года, что прошел он и окончил свой путь той ночью, физически ощутимой ею.

В ту октябрьскую ночь мокро шлепал, шумел по крыше дождь, ветер пищал, гудел, проникая в ходы голландки, и в мрачно-холодной темноте комнаты было слышно, как старая липа во дворе, наваливаясь, корябала стены дома.

Ей казалось, кто-то рядом, знакомый и незнакомый, приходил и уходил из зеленого мира, из шума деревьев, улыбался ей, смотрел в глаза, а она сквозь мучительную тяжесть полусна старалась вспомнить: чей это такой знакомый, такой родной облик, и не могла вспомнить, ощу-

тить его. И вдруг отчетливо и вместе бестелесно выплыл из темноты внятный голос: «Мама!..» Она очнулась — дергалось судорожно горло, села на постели, пальцами вцепилась в подбородок, лихорадочно вспоминая: «Боже мой, кто это? Кто это?..»

Она дрожала, озираясь на черные стекла.

Влажно плескал, стучал дождь, мокро шуршало в углах, скребло и ходило за стеной дома, будто шаги хлюпали в грязи, по лужам, широко и фиолетово вспыхивали окна, и она внезапно увидела среди этого света очертания человеческой головы, прильнувшей к стеклу.

«Мама!..» — послышалось ей.

— Витя?!

Она вскочила с постели, упала, больно ушибла ногу, босая выбежала в коридор, в пронизанный сыростью тамбур, плача, распахнула дверь в темноту ночи, хлюпающую, двигающуюся, крикнула с мольбой:

— Витя!.. Витя!..

С плеском лил дождь, ветер резко, сильно ударял дверью о стену тамбура. Никто не подходил к ней. Ей стало страшно.

— Витя, Витя, — шепотом звала она, трясясь от рыданий.

Федор Феодосьевич, перепуганный ее криком, ничего не понимая, выскочил следом за ней в одном белье, едва увел в комнату, кашляя, тяжело дыша, зажигал спички — никак не мог прикурить,— спрашивал только:

— Что? Что?

— Витя... Витя... Заглянул в окно. Я... слышала его голос...

Мукомолов говорил растерянно:

— Что ты, Эля, что ты! Это же листья, смотри, прилипли к стеклам. Листья... Эля, успокойся. Где у нас валерьянка?.. Что с тобой?

— Это он... он, я слышала,— повторяла она.— Я видела его... Он звал меня...

— Что ты, Эля, что ты!.. Это осенняя гроза...

Потом, уже в постели, она проговорила тихо:

— Он погиб.— И, как бы прося пощады, уткнулась в худую волосатую грудь мужа.— Он погиб сегодня... в плену...

На фронте странно было читать Сергею в письмах Аси, что Витька Мукомолов пропал без вести.

И, сопротивляясь этому, не верил, не хотел верить в его смерть.

С гибелью Витьки уходило что-то, отрывалось навсегда — и исчезал прежний зеленый и летний мир школы.

Вечером Сергей пришел.

Сидели, пили чай с конфетами драже, полученными по карточкам; абажур низко светился над столом, покрытым старенькой скатертью.

Мукомолов молчаливо отхлебывал чай и после каждого глотка набивал над табачной коробкой толстые гильзы, шумно сопел, двигал под столом ногами. Эльга Борисовна маленькой сухой рукой все время распрямляла уголок скатерти, взглядывая на Сергея беспомощно спрашивающими глазами, говорила ровным голосом:

— Я помню его в последний раз... прислал нам письмо, мы совершенно не знали, где он находится. Просил сухарей, папирос. Совершенно случайно на открытке мы прочли штамп: «Бутово». Я пошла пешком до Красной Пахры. А там — леса... Я искала целый день. Везде солдаты... Не знаю, как меня не задержали. Я его нашла. Он был в какой-то грязной майке и очень бледный. Как он был удивлен! «Мама, как ты меня нашла? — спросил он.— Ты ходила, искала в лесах?» Ты знаешь Витю! Я спросила: «Почему ты грязный?» Он ответил: «Учимся стрелять».— «А почему ты такой бледный?» — «Мама, ты знаешь, какое время...» Он отпросился от вечерней поверки и пошел меня провожать — я торопилась в Москву. Я помню, он шел со мной слева, на голову выше меня, и грыз орехи. Я привезла ему орехи. А вечер был хороший такой, тихий... Витя смотрел куда-то, и глаза его были одинакового цвета с небом. Он уже смотрел по ту сторону мира. Он попрощался со мной, поцеловал меня в щеку, я и сейчас ощущаю... «Ничего, мама, все пройдет...» Это было последний раз, когда я его видела. На следующий день поехал Федор Феодосьевич, там уже никого не было. Валялись консервные банки, одежда, их там переодели...

Эльга Борисовна погладила чайную ложечку, переложила ее, переставила сахарницу и по тому месту, где была сахарница, провела пальцами.

— Он погиб в сорок втором году, в плену. Двадцать седьмого октября.

— Эля! — Мукомолов задвигался на стуле, поднял бородку, нацелясь на синее окно.— Нам никто не сооб-

щил, что Витя погиб в плену. По всей вероятности, из-под Бутова их направили под Ельню. Да, да, видимо, так. Там были страшные бои, самолеты ходили по головам, танки. А они, ополченцы — мальчишки, художники, профессора,— с винтовкой на двоих... против этих танков. Вот как было. Их окружили, несколько тысяч... Художник Севастьянов был в ополчении, бежал из плена, из Норвегии, Эля. Жив сейчас. Если Витя в плену...

— Если бы он был жив, он бы вернулся. Нет, теперь я ничему не верю. Я помню его глаза, когда он поцеловал меня.

Наклонив голову, Эльга Борисовна осторожно тронула правую бледную щеку, где будто жил не тронутый временем тот поцелуй в Бутове, скорбно улыбнулась Сергею влажными глазами. Сергей с хмурым вниманием помешивал ложечкой в стакане.

Он знал, что говорить сейчас о том, что пропавшие без вести возвращаются, как говорил об этом неловкими намеками Федор Феодосьевич, убеждать, что Витька жив и может вернуться,— значило лгать.

Мукомолов закашлялся, не вынимая папиросы из зубов, и, задохнувшись кашлем, заходил по комнате мимо синевших окон, стиснул до хруста руки за спиной.

— Ополчение...— заговорил он вскрикивающим шепотом, оглядываясь на дверь.— О, это московское ополчение! Школьники, студенты, профессора. Там погибли — я уверен, да, да! — Лев Толстой, Репин, Эйнштейн...

Эльга Борисовна заплакала, по-детски закрыв узенькими ладонями лицо.

— Простите, Сережа, простите! Федя, прошу тебя, не кричи,— умоляюще, сквозь слезы попросила она, поднялась, плотнее закрыла дверь, постояла у двери, вытирая глаза, стараясь через силу улыбнуться Сергею.— У нас Быков, когда поругается на кухне, то всегда кричит: «Я тебя посажу!» Странно как-то... Ведь коммерческий директор большой фабрики... Все же он был майор, воевал...

— Быков? — проговорил Сергей.— Какой он майор! Заведующий складом в Германии. Возле складов не воюют!

— Эля! — вскрикнул Мукомолов.— Не переводи разговор, мне нечего бояться. Я пуганый воробей, старый, поживший пес. Я хочу знать. Я хочу спросить у Сергея Николаевича. Он был другом моего сына, и я спрашиваю

его как сына, да, да... Сережа, как вы думаете, знал ли это Сталин?

— Не знаю,— ответил Сергей.

Мукомолов, сконфуженный, пробормотал вроде про себя: «Да, да»,— ткнул недокуренную папиросу в пепельницу на столе, в несколько глотков жадно допил остывший чай и после молчания, продолжая набивать гильзы табаком, снова пробормотал: «Непонятно это, да, да». Эльга Борисовна по-прежнему гладила, теребила уголок скатерти, голубые жилки выделялись на ее маленькой руке. Сергей взглянул на грустное лицо Мукомолова, спросил:

— Вы не договорили, Федор Феодосьевич?

Мукомолов в задумчивости не отводил глаз от коробки с табаком, ноздри широкого носа раздувались.

— Ваше поколение было прекрасно и благородно воспитано. Вы ни в чем не сомневались, вы верили — и это отлично. Ваши прекрасные школьные учителя вас прекрасно воспитали.— Мукомолов покашлял, нервно подергал бородку.— Странно... Странно и страшно получилось... Дети умерли, погибли в бою, в плену, а родители живут... Это непонятная, чудовищная несправедливость — старшее поколение не должно переживать молодое, никогда!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Час спустя Сергей лежал на диване в своей комнате, погасив свет,— был лимит на электроэнергию. Топилась на ночь голландка.

Разнеженная теплом кошка дремала возле постреливающей печи, блаженно вытянувшись, мурлыкая. Котята, вылизанные ее языком, с мокрой шерсткой, жалобно пищали, искали ее открытый мягкий живот, нажимали лапами вокруг сосков.

Сергей взял одного из котят, влажного, теплого, растопырившего лапы, пустил его себе на грудь: существо это беспомощно зашевелилось, дрожа слепой мордочкой, оскальзываясь лапами, заползло к горлу, тоненько пища, тыкалось дрожаще-нежно мокрым носом в шею и подбородок Сергея.

Он погладил его по шершаво-слипшейся спинке.

— Дурак ты, дурак.

В слоистых потемках однотонно щелкали костяшки отцовских счетов в соседней комнате.

Сергей, лаская, гладил котенка, и было ему неспокойно, грустно, как ни разу не было с тех пор, как он вернулся. Лежа на спине, он вспоминал встречу с капитаном Уваровым в «Астории», Нину, сегодняшний вечер у Мукомоловых — и чувствовал, что был растерян и не хватало ему ясности и простоты; не было того, что представлялось месяц назад в гремящем прокуренном вагоне, мчавшемся домой, чего ожидал и хотел он.

— Ну что пищишь, дурак ты, дурак? — шепотом сказал Сергей и положил в коробку растопырившего лапы котенка.

Вечерняя тишина стояла в квартире. Розовое пятно — отсвет печи — суживалось и расширялось на стене, еле слышно щелкали в тишине счеты, шуршала бумага, и как сквозь теплую толщь слабо пробивалась едва уловимая музыка — то ли радио, то ли заводил кто-то патефон. Константин?.. Он дома?

«Жить как Константин? — спрашивал себя Сергей.— А что потом? А дальше как? А завтра, а через год? Да что задавать вопросы? Видно будет... Все будет видно... Главное, я дома... Но почему именно мне повезло, Константину, двум из школы — случайность?»

Звонок в прихожей. Три раза. Движение в глубине квартиры, шаги в коридоре, туго бухнула замерзшая дверь, голоса. Опять бухнула дверь, зазвенела пружиной. Тишина. Щелкнул выключатель, вкрадчиво постучали — и голос:

— Сергей Николаевич!

— Войдите! — Сергей скинул ноги с дивана.

Желтая полоса света из коридора легла на пол комнаты. В дверь протиснулась освещенная сзади фигура Быкова, голос сытый, после ужина, он еще жевал что-то.

— Темнотища-то, ба-атюшки! Вам письмо или повесточка, шут разберет. Что же свет не зажигаете? Экономите?

— Давайте сюда,— сказал Сергей грубовато и при свете из коридора прочитал — это была повестка из милиции, уведомляющая его явиться завтра в одиннадцать часов утра к майору Стрешнекову.— Вы мне что-то хотите сказать? — спросил он Быкова, заглядывающего умиленно-ласково в коробку с котятами.

— К счастью, говорят, котята-то. Одного бы у вас взял,— сказал Быков.— Люблю малышей, даже детеныши безобразного бегемота — прелесть как симпатичны. Видели? Я в Лейпцигском зоопарке видел.

— Слушайте, милый Петр Иванович, это вы, кажется, грозитесь тут пересажать всю квартиру? — Сергей посмотрел на него с неприязнью.— Вы? Интересно, как вы это сможете сделать?

Быков, возмущенный, выпрямил свое короткое, плотное тело.

— Глупости, какие глупости люди собирают! Я понимаю, я погорячился, ваш отец погорячился, но зачем глупости собирать? Вы меня еще не знаете, Сергей Николаевич, что ж, вы до войны вот как этот котенок были. Поживем — притремся, делить нам нечего. Нечего нам делить-то. В одной квартире.

— Будьте любезны...— сказал Сергей сдержанно.— Будьте любезны, прикройте дверь с другой стороны.

— Кто там у тебя? — послышался голос отца из смежной комнаты.

— Напрасно вы, напрасно. Покойной ночи, Сергей Николаевич,— заспешил, с озабоченностью наклоняя голову, Быков, затем деликатно закрыл дверь; заглохли шаги в коридоре.

Сергей при свете печи вторично прочитал веющую морозной улицей повестку.

В другой комнате загремел отодвигаемый стул, зашмыгали тапочки.

— С кем ты разговаривал? — спросил отец на пороге, устало снимая очки.— Кто заходил? Можно с тобой посидеть? Мы с тобой почти не видимся, сын.

— Заходил Быков. Передал повестку.

— Какую повестку? Опять в военкомат?

— Нет. Меня вызывают в милицию. Тебя это пугает?

— Но зачем в милицию?

— Вчера я ударил одну сволочь.

— Был пьян?

— Нет.

— Бить по физиономии — не так уж действенно, сын.

— Ты так думаешь? — усмехнулся Сергей.

Отец протер очки, спрятал их в карман пижамы, жесты были спокойно-заученными, а глаза близоруко и утомленно приглядывались к полутемноте в комнате, озаренной гудящими вихрями огня в голландке. И все это раз-

дражало Сергея своей добротой, домашностью, какой-то слабостью даже, которую он не хотел видеть в отце; и, не в силах подавить возникшее раздражение, Сергей заговорил неожиданно для себя:

— Вот ты, старый коммунист, даже старый чекист, скажи, почему ты терпишь Быкова? Не думал ли ты, что мы даем всяким хмырям взятки, именно взятки, чтобы они не беспокоили нас,— улыбаемся им, молчим, здороваемся, хотя знаем всё? Так, что ли?

— Почему ты о Быкове?

— Ты знаешь, что он орет на кухне? Он что, пугает вас всех — и вы лапки кверху?

— Его не подведешь под статью Уголовного кодекса, Сергей. Он никого не убил,— ответил, опираясь на колени локтями, отец.— К сожалению, бывают вещи труднодоказуемые, сын. В августе сорок первого года я выводил полк из окружения, и мой растяпа политрук потерял сейф с партийными документами. Политрук погиб, а я едва не поплатился партбилетом. И хожу с выговором до сих пор. И ничего не сделаешь. Вот так, сын: не было четких доказательств. Не было. И ответил я как комиссар полка. А пятно трудно смыть.

— Что же тогда делать? — спросил Сергей вызывающе.— Терпеть, молчать? Так? Не-ет! Лучше ходить с выговорами! Может быть, ты вину политрука тоже по доброте душевной взял на себя? Ты что — добр ко всем?

— Во-первых, Сережа, на мертвых свалить легко. Во-вторых, я не советую тебе связываться необдуманно.— Николай Григорьевич неуверенно коснулся рукой колена Сергея.— Только терпение и факты. Мерзавцев надо уничтожать фактами, доказательствами, а не эмоциями. Эмоции не докажут состава преступления. У тебя есть какие-нибудь доказательства против того, кого ты ударил?

— Доказательства для военного трибунала.

— А свидетели есть у тебя, сын?

— Только один свидетель — это я...

— Тогда этот человек может обвинить тебя в клевете. И легко привлечь тебя к суду за физическое оскорбление, за хулиганство. Здесь закон оборачивается против тебя.

Сергей встал, раздраженный.

— Ты, кажется, трусишь? Или чересчур осторожничаешь?

Отец тоже встал, сожалеюще-печально взглянул в лицо Сергея, сказал вполголоса:

— После смерти матери мне уже ничего не страшно. Страшно только за тебя. И то после того, как ты вернулся и живешь непонятной мне жизнью.

И пошел в свою комнату, шлепая стоптанными тапочками, горбясь, перед дверью задержался, смутно видимый в темноте, договорил:

— Вот уже месяц ты никак не называешь меня. Слово «папа» ты перерос, я понимаю. Называй меня «отец». Так легче будет и тебе и мне.

«Зачем я так с ним? Он не заслужил этого! — несколько позже думал Сергей, уже на улице, вдыхая щекочущие горло иголочки морозного воздуха.— Я не имел права так говорить. Я раздражен все время... Почему я раздражен против него?»

На углу он зашел в автоматную будочку, насквозь промерзшую, до скрипа накаленную стужей, снял скользкую от инея трубку; подышав на пальцы, набрал номер Нины. Долго не подходили, и неопределенно длинные гудки в пространстве вызывали у него тревогу.

Когда щелкнуло в трубке и женский прокуренный голос пропел «алю-у», он попросил:

— Мне Нину Александровну.

— Нету ее, голубчик, нету.— Голос этот нехорошо фыркнул.— Ушла Нина Александровна.

Сергей резко повесил трубку. Некоторое время стоял в нерешительности — в раздумье глядел, как пар дыхания ползет по обледенелой стене, испещренной номерами телефонов, по инею на стекле, на котором кто-то гривенником вычертил рожицу с выпяченными губами, с комично длинным носом.

Стиснув зубы, он набрал номер Константина, и сразу же отозвался приятно-веселый голос: «На проводе»,— потом громкое чавканье; тоненькой струйкой влился фокстрот, как из другого мира.

— Пошел... со своим проводом,— проговорил Сергей.— Что у тебя там — патефон, компания?

— Прошу государственную тайну не разглашать! — Константин преспокойно жевал.— Никакой компании, за исключением патефона и бутербродов на столе. Ты что звонишь, а не зашел? Подняться на второй этаж — дороже плюнуть.

— Ты мне нужен. Приходи к метро «Павелецкая».

— Что стряслось? Деньги? Женщина? — Константин перестал жевать.— Мгновенно надеваю штаны. Нет таких крепостей, которые...

Возле метро в морозном пару, вылетающем из дверей,— беспрестанное движение толпы. Подземные скоростные поезда приносили людей из теплых недр туннелей; толпа спеша растекалась от метро, металлический скрип снега раздавался в студеном воздухе; поднятые воротники, голоса, огоньки зажигаемых спичек, простуженно-бодрые выкрики продавцов папирос около входа — развязных парней в телогрейках:

— «Казбек», «Казбек», покупай с разбегу! Запасайся к Новому году! — И бормотание озябшими губами: — Штучный «Беломор», штучный «Беломор»!

Сергей всматривался в эту растекающуюся от дверей толпу, искал на лицах мужчин, даже в походке женщин каких-то особых примет взаимного понимания. Он заметил вдруг немолодого мужчину, несущего елку, завернутую в мешковину, и рядом с ним женщину, молодую, живо говорившую ему что-то, и тогда вспомнил о близком Новом годе, но без праздничного ожидания, а с холодком неопределенного беспокойства.

— Категорический привет! Ты давно?

Подошел Константин в роскошной пыжиковой шапке, в кожанке на меху, красный шерстяной шарф по-модному подпирал подбородок. Сказал, протягивая руку, нагретую меховой перчаткой:

— Э-э, мордализация нахмуренная, решаешь мировые проблемы? Плюнь, не решишь. Пойдем куда-нибудь пиво пить.

— Подышим свежим воздухом,— хмуро сказал Сергей.

Когда отошли на сотню шагов от метро, уже не дуло банным воздухом из дверей вестибюля, острые лезвия мороза резали по лицу, иней оседал на воротнике.

— Американские миллиардеры для сохранения здоровья придерживаются гимнастики дыхания,— не выдержал молчания Константин.— На счет «четыре» — вдох, на счет «четыре» выдох. Делай, братцы, вдох с левой ноги... Сделаем, братцы, по-армейски. Не желаете, товарищ Вохминцев, изображать миллионера? Напрасно.

— Помолчи, Костька...

— Ясно. Готов слушать. Что стряслось?

— Ничего. Иди и молчи.

— Не могу! — взмолился Константин плачущим голосом и перчаткою остервенело потеребил ухо.— Приятно прогуливаться весной с хорошенькой девочкой под крендель, а у меня обморожены руки и уши — нахватался сталинградских морозов, хватит! Зайдем куда-нибудь! Хоть в этот знакомый павильончик.

В закусочной, кивая на все стороны знакомым, Константин бесцеремонно-вежливо растолкал стоявших и сидевших за стойками, потеснил кого-то шутя («Братцы, всем место под солнцем»), очистил край столика в углу, крикнул через головы:

— Шурочка, принимай гостей — две кружки!

Пили из толстых кружек, залитых пеной, подогретое пиво; Константин густо посыпàл края кружки солью, отхлебывал, вдыхая через ноздри, испытывая явное удовольствие.

— Ей-богу, Сережка, здесь клуб фронтовиков!

Было здесь многолюдно, тесно, накурено. Задушенная сизым дымом лампочка мутно горела под потолком. Голоса гудели, сталкивались в спертом пивном воздухе, пахло селедкой, оттаявшей в тепле одеждой, и перемешивались разговоры, смех, крики, не прекращающиеся среди серых шинелей; уловить можно было лишь недавнее, военное, знакомое: «Плацдарм на Одере...», «Под Житомиром двинул танки Манштейна...», «В сорок третьем стояли на Букринском плацдарме, через каждые пять минут играли «ванюши»...», «Бомбежка — чепуха, самое, брат, неприятное — мины...». Мужские голоса накалялись, гул становился густым, хлопали промерзшие двери, впуская морозный пар, он мешался с дымом над головами людей; из-за столпившихся перед стойкой спин появилось игривое, румяное лицо Шурочки, звенящей кружками.

— Клуб,— повторил Константин, подул на шапку белой пены, спросил наконец: — Что все-таки случилось? Чего ощетинился?

— Ерундовое настроение.

— Почему «ерундовое»? Может быть, угрызения совести, что морду набил этому... в «Астории»?.. Плюнь! Но должен тебя предупредить: ты тактически вел себя неосторожно — на рожон лез, пер грудью, как паровоз.— Константин отпил глоток пива, покрутил пальцами в воздухе.

Сергей поморщился, расстегнул на груди шинель (здесь было душно, жарко), сдвинул назад шапку, вынул папиросу и, прикуривая, чиркая зажигалкой, с ощущением раздражения против Константина, против этой опытной его осмотрительности сказал:

— Ну а дальше?

Константин возвел глаза к потолку.

— Мы еще не живем при коммунизме, и в наше время, как это ни горько, еще волшебно действуют справки и прочие свидетельства. У тебя их нет. Бумажных доказательств. Чем ты можешь козырнуть против него, Сережка? Сейчас орут: все воевали! Докажешь, что не все воевали честно? Не докажешь! Хорошо, что хорошо кончилось. Плюнь на все это!..

— Еще ничего не кончилось,— перебил Сергей.— Меня вызывают в милицию. Завтра. Я постараюсь доказать.

Гул голосов все нарастал, двери закусочной беспрестанно хлопали, впуская и выпуская людей, пар, желтея, вздымался от порога, обволакивал лампочку.

— Не советую! Вот этого не советую! — убежденно произнес Константин.— Ни хрена не докажешь. Мы победили, война кончилась, ну кто будет разбираться в перипетиях? Тебе ответят: война — на войне убивают. Кто прав, кто виноват — разбираться поздно. Поверь, Сережка, просто я вернулся на год раньше тебя, пообтерся. Ты еще не обгорел. Этот хмырь не так прост. И на кой он тебе?

— Иногда мне хочется послать тебя подальше со всей твоей опытностью! — сказал зло Сергей. — И уж совсем мне непонятна твоя дружба с нашим милым соседом Быковым!

— Напомню: я работаю у него шофером на фабрике. Следовательно, он — мое начальство. С начальством ссориться — плевать против ветра.

— Идиотство!

Константин с грустным выражением посыпал солью на край кружки.

— Ничего не навязываю. Сказал, что думал. Знаю, знаю,— несколько ревниво проговорил он.— Если бы тебе посоветовал Витька Мукомолов, ты бы с ним согласился. Я для тебя друг второго сорта. Со штампом — «второй сорт». Так ведь? — Константин разминал на пальцах соль.

— Пошли отсюда,— сказал Сергей с неприятным и едким чувством к себе, к Константину.— Надоело.

Они вышли на улицу, изморозь мельчайшей слюдой роилась, сверкала в ночном воздухе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Я пришел вот по этой повестке. Мой военный билет у вас.

— Так. Вохминцев Сергей Николаевич, одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года рождения... Капитан запаса. Так. Ну что ж... За нарушение порядка в общественном месте вы оштрафовываетесь на двадцать пять рублей.

— И только-то? За этим вы меня и вызвали?

— Вас не устраивает, гражданин Вохминцев? Та-ак! Может быть, вас устроит письмо в военкомат, в партийную организацию, где вы работаете? Произвели безобразие, скандал, избили человека — за это по статье привлекают, судят! Ваше счастье, что человек, ваш товарищ, которому вы нанесли физические увечья, не возбуждает дело. Вы это сознаете?

Майор милиции был молод, пухлощек, холоден, на ранней лысине ровно и гладко начесаны волосы; сидел он, углами расставив локти на столе, отгороженном от Сергея деревянным барьером. Неприязненный голос, отчужденно-официальное лицо его не вызывали острого желания доказывать свою правоту: видимо, дежурный майор этот выполнял свои обязанности, верил одним фактам, а не словам, как верит большинство людей, и Сергей сказал сухо:

— Как раз я хотел бы суда. И не хотел бы никакого прощения со стороны этого человека.

— Так, значит? — Майор в некотором недоумении вложил пальцы меж пальцев.— Так... Не больны, гражданин? Или думаете: милиция — игрушечка? Можно говорить, что в голову лезет? Ты посмотри, Михайлов, какие фронтовики приехали! — крикнул он милиционеру, молчаливо стоявшему сбоку дверей.— Ему штрафа мало, ему суд подавай! Да вы понимаете, гражданин, что говорите? Отдаете отчет?

— Я понимаю, что говорю,— ответил Сергей.— Очевидно, вам кажется, что я ударил этого человека, потому что был пьян или мне просто хотелось ударить...

— Факт есть факт. Не он вас ударил. Простите, гражданин. У меня нет времени... Кажется, все ясно,— служебным тоном прервал майор и положил на барьер военный билет Сергея.— Благодарите судьбу за счастливую звезду. Этакую несерьезность наворотили и оправдываетесь. Неприлично. Вы свободны, гражданин Вохминцев. Я вас не задерживаю. И советую быть разумнее. Не советую портить репутацию офицера.

В интонации майора, в скучном туманном взгляде его появилось сожаление, усталость от этого надоевшего дела, похожего, вероятно, на десятки других дел; и Сергей уже понял это — и все стало мелким, унизительным и неприятным.

— Хотел бы вам напомнить, товарищ майор, что дерутся не только по пьянке,— совсем нехотя сказал Сергей.— И тут никакая милиция, никакие штрафы не помогут!

Он вышел на улицу, зашагал по тротуару, вдыхая после кислого канцелярского запаха крепкую свежесть морозного воздуха. Звенели трамваи, и снег, и белизна солнечных сугробов, и толкотня, и пар на троллейбусных остановках, и новогодние игрушки в палатках, и маленькие пахучие елки, которыми везде бойко торговали на углах,— все было предпраздничпо на улицах. «Что ж,— думал он неуспокоенно, вспоминая разговор с майором.— У меня свои счеты с Уваровым. Это мои личные счеты! Нет, еще ничего не кончено...»

Он сел в автобус и поехал на Шаболовку, в шоферскую школу, куда по рекомендации Константина несколько дней назад подал документы.

Когда ему сказали, что его приняли на курсы, что вечерние занятия начнутся со второго января, он не испытал радости, какой ожидал, только облегчение возникло на минуту. Но едва вышел он из одноэтажного — в конце двора — домика школы, ощущение это утратилось, и было такое чувство, что он обманул самого себя.

Он доехал на автобусе до Серпуховки, слез и пешком пошел до Зацепы по каким-то неизвестным ему тихим переулочкам. В безветренном воздухе декабрьских сумерек падал редкий снежок, легко и щекотно скользил по лицу, остужал. Под отблеском холодного заката розовели вечерние дворы, грустно заваленные снегом до окон, за

воротами виднелись тропки меж сугробов; дворники свозили на волокушах снег.

Мальчишки в глубине темнеющих переулков бегали на коньках, крича, стучали клюшками по заледенелой мостовой. Не зажигались еще огни, был тот покойный час зимнего вечера, когда далекие звонки трамваев долетают в замоскворецкие переулки как из-за тридевяти земель.

Сергей остановился на углу против витрины фотографии.

Фотографии незнакомых людей тянули его, как чужая и неразгаданная жизнь. Долго рассматривал улыбающиеся в объектив и вполоборота девичьи лица, грубоватые лица солдат, каменное рукопожатие вечной дружбы — онемело стоят, сжав друг другу руки.

Задумчивое лицо молодого капитана, рядом наклонена к его плечу завитая, в мелких колечках голова девушки, светлые брови, невинно застывший взгляд — и Сергей с ощущением какой-то томительной тайны начал угадывать по фотографии характеры этих людей, их судьбы... Кто они? Где они? Кого они любили или любят?

«Что же я, несчастлив? — думал он.— Не то слово — несчастлив... Работать шофером, жить покойно, тихо, жениться — счастье ли это? Вот этот капитан счастлив?»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Заходи, раздевайся. Я рада, что ты пришел!

Она стала поспешно расстегивать холодные пуговицы его пахнущей зимней улицей шинели.

— Только я не одна. Ты не обращай внимания, заходи.

— Кто же у тебя? — обняв и не отпуская ее, спросил он.— Кто у тебя?

— Идем,— поторопила Нина,— в комнату. Ты меня заморозишь. Шинель повесишь там...

Она раскрыла дверь, и он шагнул через порог в теплый после холода запах чистоты, уюта и покоя, тотчас увидел в углу комнаты зеленоватое от света настольной лампы женское лицо с опущенными на щеку волосами. Она сидела на тахте, и Сергей быстро обернулся к Нине, спросил шепотом:

— Кто это?

— Сережа!..— испуганно-сниженным голосом воскликнула Нина.— Это Таня, познакомься, пожалуйста,— уже в полный голос сказала она и быстро подошла к женщине, выпрямившейся на тахте.— Это Сергей!

— Мы знакомы, кажется,— сказал Сергей.

Он сразу узнал ее: белокурые волосы, выпуклый лоб, полные руки; отчетливо вспомнил ее метнувшееся в толпе, искаженное плачем лицо, скомканный платочек, которым она тогда в ресторане, всхлипывая, вытирала щеки Уварова, полулежащего на полу, и вспомнил то ощущение виноватости перед ней, какое появилось у него при виде ее заплаканного лица.

— Здравствуйте,— официальным тоном произнес Сергей.— Я не хотел бы...

Она дернулась на тахте, губы ее перекосились.

— Не надо! Не надо! Не говорите, пожалуйста... Я не могу! Не могу слышать...

— Я извиняюсь не перед ним, а перед вами,— сказал Сергей, хмурясь.

— Вы... вы молчите лучше!..

Она вскочила, полная в талии и почему-то жалкая в этой полноте, и, кусая губы, бросилась к вешалке, срывая пальто, пуховый платок. Она протолкнула руки в рукава, оглянулась затравленно.

— Удивляюсь тебе, Нина!

И выбежала, стукнув дверью в передней.

— О господи! — со вздохом проговорила Нина и сжала ладонями виски.— Как странно все, господи!

Сергей стоял посреди комнаты, не снимая шинели.

— Что это значит? — спросил он.— Ты можешь объяснить?

Нина подняла глаза умоляюще, по лбу пошли морщинки, сейчас же щелкнула ключом в двери, сказала виновато:

— Не дуйся, слышишь?

Потом, не приближаясь к нему, подошла к зеркалу, передразнивая его, нахмурила брови и, надув щеки, сделала смешное лицо, показала язык, затем, исподлобья глядя в зеркало, сказала тихонько:

— Ну посмотри... Ну иди и посмотри на себя... Какое у тебя холодное лицо! Ну подожди. Я тебе объясню. Таня — моя подруга, еще с института. Это тебе ясно?

И тут же с улыбкой сняла с него шапку, бросила ее на полочку, после этого стянула шинель, посадила Сергея на тахту подле себя.

— Ну что тут особенного? Вообще, я не люблю объясняться, доказывать то, что ясно и не докажешь. Это напрасная трата душевных сил. Таня ушла, и все. Ну? Ясно? Да?

Он сказал:

— Я хотел спросить: Уваров тоже заходит к тебе?

— Нет! — решительно ответила она.— Почему Уваров? Мы отмечали мой приезд в Москву, Таня привела его в ресторан — так это было. И больше ничего... Ну хватит, пожалуйста! Я ведь не задаю тебе никаких вопросов о твоих знакомых.

— Я хочу, чтобы все было ясно.

— Для чего?

— Потому что просто хочу ясности.

— Какой ясности, Сережа?

— Ты понимаешь, о чем я говорю.

— Не совсем, Сережа. Неужели война делает людей жестокими?

— Нина, кто были те, в ресторане... с тобой?..

— Это были мальчики, Сережа,— сказала она протяжно,— мои знакомые по экспедиции. Геологи. Они не такие, как ты... Просто не такие. Они не воевали...

— Но ты ведь меня не знаешь.

— Я догадываюсь. А разве ты меня знаешь, Сережа?

Они помолчали.

— Ты всегда такая? — спросил он неловко.— Не представляю тебя где-нибудь в Сибири, в телогрейке. Наверно, рабочие только тем и занимались, что пялили на тебя глаза.

Она опять с улыбкой посмотрела ему в лицо.

— Ну нет! Ошибаешься! Разве можно пялить глаза вот на такую женщину? — Нина строго свела брови над переносицей, сказала притворным хрипловатым голосом: — «У вас, товарищ Сидоркин, опять лоток не в порядке? Где ваши образцы? Почему не промыли?» Ну как? Интересная женщина? Не очень!

Она засмеялась, наклонясь к нему, отвела за ухо завиток каштановых волос, и он, с любопытством наблюдая за непостижимым изменением ее лица, засмеялся тоже, привлек ее за плечи, сказал:

— Услышишь твой голос — и хочется встать «смирно». Еще не хватает: «Вы что, первый день в армии, устава не знаете?» Хотел бы быть под твоей командой.

— Как иногда мы все ошибаемся! — растягивая слоги, проговорила Нина.— Нет, ты меня знаешь чуть-чуть, капельку.

— Я просто подумал: чтó ты любишь и чтó ненавидишь? Подумал — не знаю почему.

— Я ненавижу то, что и ты.

— Нина, я не имею права задавать вопросы. И этого не надо.

— Да. Я до сих пор ненавижу ночной стук в дверь, Сережа. И голос: «Откройте, почта...» Самые жуткие слова в мире.

— Почему?

— В войну мне принесли две похоронки. И обе — ночью. На отца и старшего брата. Мать умерла в Ленинграде. Это тебе понятно?

— Да.

— Что же ты еще не понимаешь во мне? — спросила Нина и, помолчав, сама ответила: — Когда вижу почтальонов, я обхожу их. Я ненавижу ночь, я боюсь войны. И то, что многие женщины еще носят телогрейки и сапоги, а я платья и туфли,— это тебе понятно? Мне не так легко жилось... И живется. Как хочется тишины, Сережа!..

— Как ты могла подумать, что я осуждаю тебя? За что? — Он обнял ее, увидел на ее плече, на сером свитере темное пятнышко грубой штопки, выговорил шепотом, задохнувшись от нежной жалости к ней: — Я не осуждаю тебя. Ты так подумала?..

Она потерлась щекой о его подбородок и молчала, закрыв глаза.

Потом он услышал ровные и отстукивающие звуки, они казались все отчетливее, громче, и Сергей невнятно понял — тикал на тумбочке будильник. Будильник шел, спокойно и четко отсчитывая секунды, как в то утро. И, на миг пронзительно ясно ощутив оглушительную тишину в комнате, Сергей подумал, что нечто важное вот придвинулось и происходит в его жизни, чего он хотел и ждал,— и, подумав об этом, почувствовал дыхание Нины на своей шее, и ослабленно прозвучал ее голос:

— Но ведь тебя могли убить на войне, и ты бы никогда...

— Нет...— сказал он.

— Нет?

— Меня не могли убить на войне.

Она прижалась к нему и замерла так, глядя через его плечо на черное занавешенное окно.

— Подожди. Ох, иногда как страшно подумать...

— Но видишь, со мной ничего не случилось. Я не верил, что меня убьют.

— Как ты думаешь теперь жить, Сережа?

— Я тебе говорил — шоферская школа. Буду шофером, плохо? Мне кажется, это тебе не особенно нравится.

— Ты можешь быть и шофером,— сказала Нина.— Но я знаю, в Горнометаллургическом институте открылось подготовительное отделение. Охотно принимают фронтовиков. У меня есть знакомые в этом институте.

— Нина, я забыл таблицу умножения, пятью пять для меня сорок. Забыл все к чертям. Не усижу за партой. А что это — шахты?

— И шахты.

— Понятия не имею. В шахтах добывают уголь, так?

— Просто блестящие знания, тебя примут без экзаменов. Но я сужу, конечно, только со своей колокольни. Ты подумай. Я не могу тебе ничего советовать.

— Я сейчас не хочу об этом думать... Я просто не могу.

Он нетерпеливо притянул ее к себе, чувствуя горячую колючесть ее свитера и почему-то видя все время то пятнышко грубой штопки на плече, осторожно поцеловал ее в теплые волосы.

— Не знаю, что же это...— проговорил он неровным голосом.— Кто ты такая? Зачем я к тебе пришел? Ты это знаешь? Понятия не имею, кто ты такая. И вообще — что происходит?

— Обыкновенная и некрасивая женщина, Сережа. Восемнадцать лет уже миновало, как говорят теперь мужчины. И больше ничего.

— Ты этого, конечно, не понимаешь, и я сам не понимаю,— сказал Сергей намеренно шутливым тоном.— Но я бы все понял, если бы ты пошла за меня замуж. Пойдешь?

— Нет.— Она, смеясь, провела пальцем по его груди.— А кто ты такой?

— Кто я? Бывший командир батареи, а сейчас человек без определенных занятий. Беден. Холост. Но без

памяти тянет меня к одной женщине. И сам не знаю почему. Вот и все. Кратчайшая биография. Не нужно анкеты.

Она, не смеясь уже, проговорила полусерьезно:

— Это я знаю. А дальше?

— Что ж... Значит, ты сама не знаешь, что это такое...

— А если это нельзя?

«Что я говорю? Зачем я стал говорить об этом?» — подумал он с мгновенно кольнувшей тревогой, однако преувеличенно спокойно договорил:

— Значит, ты меня не очень любишь, а?

— Сережа-а,— шепотом сказала Нина, снизу взглядывая ему в глаза.— Я тебя вот так...— И наклонилась, чуть прикоснулась губами к своей руке.— Не понял?

— Нет.

— Хорошо. Ты хочешь, я тебе скажу?..— проговорила она, легонько дернув за борт его пиджака.— Хочешь?

— Я этого хочу.

— У меня есть муж, Сергей. Геолог. Он в Казахстане. В Бет-Пак-Дале. Но я ушла...

— Муж? И ты ушла? — спросил Сергей, следя за тем, как она все распрямляла, теребила борт его пиджака.

— Не будем портить друг другу настроение.— Ее ладонь уместилась на его рукаве, погладила ласково.— Не будем думать об этом, Сережа. Разве тебе не все равно?

— Я просто этого не знал,— сказал Сергей вполголоса.

Два часа спустя он возвращался домой; он быстро шел один по улице, ночной, снежной, безмолвной, ледяными вспышками сверкал иней на карнизах, на ручках парадных; лунный свет накалял воздух синим холодом.

«Мне все равно, был у нее муж или не был и есть ли он сейчас,— думал он.— Я люблю ее. Да, я люблю ее. И больше ничего не надо... Я хочу, чтобы мне везло. Во всем везло. Как везло на войне...»

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Константин увидел его на трамвайной остановке, затормозил машину и, опустив стекло, замахал ему из кабины со свистом и криком:

— Серега! Куда тебя несет? Садись! Тысячу лет тебя не видел!

— А ты куда? Привет шоферам! — Сергей залез в кабину, приятно пахнущую теплым маслом, вопросительно глянул на Константина.— Кажется, не виделись неделю? Как жизнь?

— Кой там неделю? Куда исчез? Заходил раз десять. Ася в расстроенных чувствах: дома нет. В чем дело? Женщина?

— Чувствуется служба в разведке.

— Кто она?

— Если помнишь ту, с которой я танцевал в «Астории»...

— Ох ты!.. Вздернутый носик! Неужто она? Когда представишь?

— Когда захочешь.

— Принято. Так слушай сюда, Серега. Тут в Новый год я собираю в одном интеллигентном месте теплую компанию. Дым коромыслом, милые люди. Приходи с ней. Но ты все же меня забыл, бродяга! Забыл вдрызг! Неужели мужская дружба вдребезги, когда появляется женщина?

Он со скрежетом передвинул рычаг, насупленно покусал усики; машина, набирая скорость, неслась по снежной улице, вдоль трамвайных рельсов; подскакивая, трясся, гремел кузов, на стекло сыпалась изморозь. Откинувшись на спинку сиденья, Сергей смотрел на торопливо щелкающий по стеклу «дворник». Константин бешено засигналил на перекрестке, не поворачивая головы, крикнул высоким голосом:

— А, Сережа? Вдребезги? Всё вниз макушкой? Стойка на лысине?

— Если есть время, давай на Большую Московскую. Мне туда,— ответил Сергей.— Есть время?

— Вот ты уже и откололся! — заключил Константин, всматриваясь в дорогу через стекло.— Ты уже... А все же старых друзей не забывай. Друзей не так много. Их почти нет! Сейчас к ней?

Сергей хорошо знал: все, что он должен был и мог ответить, будет обидным для Константина; и также знал — особено обидным могло быть то, что он бросил шоферские курсы и что этот новый толчок в его жизни исходил от Нины. Однако ему самому еще не представлялось ясным, что такое подготовительное отделение за-

гадочного и смутно воображаемого Горнометаллургического института, о котором все время напоминала она. Это неизвестное и новое вызывало лишь беспокоящее любопытство, поэтому Сергей ответил наконец:

— Сейчас на Большой Московской ты пойдешь со мной, и мы посмотрим! Вместе, понял, Костька? Ты куда едешь, на базу?

— Что посмотрим? Что ты из меня лепишь? — Константин с сомнением хохотнул.— Куда вместе? Я зачем?

— Останови у бульвара. Там видно будет.

— Не понял. Я зачем?

— Стоп здесь,— нетвердо приказал Сергей.— Зайдем в одно заведение. Посмотрим.

На худощавых щеках Константина набухли желваки, но все же с видом независимости он затормозил машину в конце бульвара, выжидающе спросил:

— Ну? Без пол-литра не разберешься? А теперь что?

— Пошли.

Это была тихая улица Москвы с домами, обшарпанными войной. Огромное серое здание возвышалось за бульваром.

Длинные коридоры института были пустынны, солнечны, синеватый папиросный дымок плавал в плоских лучах света. Они поднялись на второй этаж, наугад пошли по коридору, мимо дверей аудиторий, одна из которых была приоткрыта, в щелку тек красиво-бархатистый размеренный голос, виднелся глянцевитый край доски, испещренный формулами,— и повеяло на Сергея чем-то далеким, давно знакомым, как четыре года назад в полузабытой школе перед экзаменами.

Константин, пожевывая незакуренную папиросу, заглянул в аудиторию, сказал с ядовитым недоумением:

— Синусы, косинусы, тангенсы. Боже мой, убийство ночного сторожа днем! А что, из них можно сшить костюм? Ты меня не пуж-жай, а скажи — я уважаю образованность.

— Прекрати к черту! Скажите, где здесь... подготовительное?

Навстречу по коридору бежал ныряющей походкой чрезвычайно высокий, худой, в длинном пиджаке, в помятых брюках человек, сутулясь, как все высокие люди;

лицо молодое, нервное, маленькие зоркие глаза его светились строгостью.

— Направо. За угол. Вторая дверь,— ответил он, уставив подбородок на Константина.— Это что, папироса? Вы кто такой? Студент? Рано изображаете из себя горняка! Бросьте папиросу! Не курите! Зарубите на носу: здесь не фронт, не атаки, не «ура!», а Горнометаллургический институт... Шагом марш! Вторая дверь!

— В детстве, надо полагать, его мышеловкой напугали,— заметил Константин после того, как человек этот исчез в солнечных полосах нескончаемого коридора.— Куда попали, бож-же мой! В филиал зоопарка?

В небольшой комнате деканата — сдержанный говор, смех и теснота. Здесь сидели на диванах, толпились грубоватые на вид парни в шинелях, в старых, с чужого плеча пальто, в армейских кирзовых сапогах, очередью стояли у столика. За столиком — свежее взволнованное личико белокурой девушки-секретаря; тонкий ее голос звучал с выражением неуверенности и испуга:

— Товарищи, товарищи, всех декан не примет! Вы понимаете? Не примет! Я вам сказала: подготовительное отделение переполнено! Ну что вы, товарищи, все в этот институт бросились? Мало других институтов? Приходите завтра с документами: аттестат или справка об образовании, биография... Ну и все остальное.

Тогда Сергей спросил излишне громко:

— Кто последний к декану?

На него оглянулись. Толстоватый, как бы весь круглый паренек в кургузой шинели с нелепо пришитым заячьим воротником подвинулся на диване, сияя широким лицом, выкрикнул приветливо:

— Я крайний. За мной, кажись, никого.

— Дерёвня! — сказал Константин.— А ну еще подвинься, «крайний»! Еще в институт, как паровоз, прешь! Сэло, сэло!

— А тебе что? — забормотал круглолицый, подвигаясь к самому краю.— А ты зачем ругаешься?

И тут секретарша с вытянутым растерянным личиком обратилась уже к Константину, как за помощью:

— Я предупредила товарищей. Всех декан не примет. Сдайте документы и приходите завтра с утра. Вот вы, новенькие... Вы тоже слышали?

— Милая девушка, мы подождем,— ответил игриво Константин.— Как видите, нас — рота.

— Вперед! Пополнение прибыло! Давай вливайся в нашу роту, братцы!

Вокруг засмеялись охотно.

Высокий парень в танкистской куртке, распираемой налитыми плечами, повернулся от стола; смелые его золотистые глаза глядели прямо, дружески, в зубах — пустая трубка с железной крышечкой; парень этот спросил Сергея не без любопытства:

— Из каких родов?

— Семидесятишестимиллиметровая. Дивизионка.

— Тю, земляк!

На трубке вырезана голова Мефистофеля — змеистые волосы, зловещие брови, узкая бородка; трубка была трофейная; такие не раз попадались Сергею на фронте.

— С Первого Украинского,— сказал Сергей и также не без любопытства показал взглядом на трубку.— Дейтчланд, дейтчланд юбер аллес? [1]

— Яволь [2].— Танкист расплылся в улыбке.— Где закончил? В каком звании?

— В Праге. Капитан.

— Ого!— танкист одобрительно крякнул.— Нахватал чинов! Лейтенант Подгорный, командир «тридцатьчетверки». В Карпатах под Санком вам прокладывали дорогу. Як стеклышко...

— Кто кому прокладывал, не будем уточнять. Особенно в Карпатах,— сказал Сергей.— Если помнишь Санок, то не будем.

— Не будем! — блеснул глазами Подгорный.

— Земляки-и! — усмешливо протянул Константин, ревниво наблюдая за Сергеем и танкистом.— Дело доходит до лобызания. Братцы! — в полный голос сказал он.— Кто хочет лобызаться, ко мне! Я тоже с Первого Украинского!

На него не обратили внимания; вокруг Сергея и танкиста сгрудились несколько человек в шинелях; кто-то крикнул оживленно:

— Кто сказал с Первого Украинского, тому жменю табаку дам!

— А с Третьего Белорусского? Есть?

К ним бесцеремонно заковылял маленького роста морячок в распахнутом черном бушлате, под бушлатом на выпуклой груди разрезом фланельки открыт малиново

[1] Германия, Германия превыше всего?
[2] Конечно.

накаленный морозом треугольник кожи. Весь этот слитый из мускулов, в огромных клешах паренек очень заметно выделялся среди армейских шинелей, и выделялся особенно своими пронзительно яркими синими глазами.

— Из Австрии есть кто? Признавайся, братва, ищу земляков! Ну кто? Или ни одного?

— Морячков как будто нема,— сказал танкист и оглянулся.— Сплошь пехота, танки и артиллерия. Сушь и земля.

— Вижу,— согласился морячок.— Ориентиров нет.— И без стеснения уставился светлыми глазами на трубку танкиста.— У тебя много таких дьяволов, лейтенант?

— Пара.

Переваливаясь с ноги на ногу, морячок сунул руку в карман бушлата, на миг лицо его стало загадочным.

— Махнем, как после войны на голубом Дунае? Есть?

— Махнем, как в Праге.

Морячок, не раздумывая, вынул блестящий никелевый портсигар-зажигалку, протянул его танкисту, танкист с веселым видом отдал ему трубку. И вдруг таким знакомым, теплым маем конца войны, паркóм над голубыми лужами на мостовых Праги, тишиной без выстрелов повеяло на Сергея, что он задохнулся от волнения, от того недавнего, незабытого, что не исчезало из памяти каждого.

— Накурили! Дым коромыслом! Кто курил? Это почему у вас трубка? Людмила Анатольевна, почему разрешили? Это все ко мне?

— К вам, Игорь Витальевич... Я предупреждала... Здесь просто какой-то базар образовался!

На пороге деканата стоял, почти касаясь головой притолоки, чрезвычайно высокий человек в длинном пиджаке, тот самый, с нервным молодым лицом, которого встретили в коридоре; он, принюхиваясь, оглядел комнату, ткнул пальцем по направлению морячка в бушлате.

— Почему дымите как труба? Вы кто — журналист, корреспондент, художник? Кто разрешил? Если пытаетесь поступить на горный факультет, запомните: курить бросать! Горняк — это жизнь под землей. Сколько вас тут? Взвод? — И, не ожидая ответа, с неуклюжей стремительностью махнул длинной рукой.— А ну заходите в кабинет. Все! До одного! Выясним отношения!

В кабинет, располосованный лучами солнца, с высоким окном на бульвар, вошли осторожно, не шаркая сапогами, без шума расселись в кожаных креслах, на стульях вокруг письменного стола. Все озирались на стены, завешанные разрезами шахт, чертежами врубовых машин, глядели на модель отбойного молотка на стенде — многое здесь отдаленно напоминало кабинет матчасти военного училища. Константин мигнул Сергею, смешно скривив щеку, будто зуб болел, прошептал:

— Разумеется, занятные игрушки, а я без дыма горю. Мне на базе в два часа быть, как часы. Закон. А я тут болван болваном. Ужасаюсь твоей наивности.

— Езжай,— сказал Сергей.

— Нет уж! — Константин скривил другую щеку.— Страдаю. За друга готов я хоть в воду...

Декан между тем потрогал пресс-папье на чистеньком столе, пощупал стекло, изучающе посмотрел на пальцы, есть ли пыль, после чего внушительно повернул ко всем табличку на чернильном приборе: «Курение для шахтера — вред».

— Вы что там кривитесь, товарищ в кожаной куртке? Мух отгоняете? — четко спросил он, вытянув худощавую шею с заметным кадыком.— Это что ж, по-фронтовому?

— Совершенно верно,— смиренно ответил Константин.

Засмеялись, но декан, не улыбнувшись даже, сцепил на столе руки, уперся в них подбородком, заговорил:

— Так вот. Подготовительное отделение заполнено, забито, мест нет. Нет их. И не понимаю, почему вы атаковали наш институт. Во имя чего? Профессия горного инженера тяжелейшая. Это всем понятно? Половина жизни эксплуатационников проходит под землей — каменноугольная пыль, мокрые забои, газ метан. Грохот. Все время грохот, шум конвейера, машин. Частенько — жизнь в медвежьих уголках. За тридевять земель. И все время опасность, риск — бывают завалы и подземные пожары. Есть из вас такие, которые хотят рисковать жизнью после войны? Есть? Молчите? Так вот...

Декан отнял руки от подбородка, торопливыми щелчками сбил пылинки мела с бортов пиджака, продолжал тем же тоном:

— Так вот. Другое дело — бухгалтер. Отработал восемь часов — портфель под мышку, а дома жена, горячие

щи и не потрескивающая кровля, а крыша над головой. Хочешь — жену под руку и в кино, хочешь — валяйся на диване с газеткой, слушай радио. Заманчиво? Весьма! — Декан одернул галстук, рывком привалился грудью к столу.— А куда рветесь вы? Ни сна, ни покоя! Только насел на щи, тут тебе звонок: бросай щи, беги в шахту — конвейер остановился. Только жену собрался поцеловать, ан нет — стук в дверь, телефонные звонки, паника: завал! Ну как, радостно? Оптимистично? Нравится? Вот вы, например, товарищ в кожаной куртке, что вас манит именно в этот институт, что греет? Какое солнышко?

Константин вздохнул, заложил ногу за ногу, рассматривая кончик покачивающегося сапога, невинно поинтересовался:

— Меня лично, товарищ декан?

— Вас лично. Именно вас. Меня зовут Игорь Витальевич. Фамилия Морозов. Вот так вот.

— Очень приятно, Игорь Витальевич,— вежливо склонил голову Константин.— Моя фамилия Корабельников. Меня лично ничто не манит.

— Не манит? Вас? Лично? Не манит? — переспросил Морозов и стремительно выкинул свою длинную руку в сторону двери: — Тогда прошу вас выйти вон немедленно! И взять у секретаря документы. Если вы их сдали!

— Спасибо. Но я не сдал документы.— Константин воспитанно, невозмутимо поклонился, шепнул Сергею на ухо: — Веселенькое дело... Я все же подожду тебя. Пропадай база!.. Прошу прощения, Игорь Витальевич. Меня ждут производственные показатели.

И не спеша вышел, поскрипывая кожаной курткой, самоуверенно покачивая широкой спиной.

Танкист, сидевший справа, взглянул на Сергея, в золотистых зрачках заиграл отчаянный огонек, коленом толкнул морячка. Морячок полировал рукавом бушлата трубку: открыл крышечку, щелкнул ею и снова закрыл раздумчиво. Парнишка в кургузой шинели, заметной нелепым заячьим воротником,— белесое круглое лицо было влажно,— глядел на декана с испуганным и уважительным заискиванием. И в эту минуту Сергей понял, что все они пришли сюда с такой же неясностью и неопределенностью, как и он сам.

А Морозов говорил, кулаком отстукивая по краю стола:

— Смею заметить, профессию выбирают, как жену, один раз. И на всю жизнь. В вашем возрасте это следует зарубить на носу. Вариант случайности отпадает. Добавлю к этому: открываются подготовительные отделения в Строительном и Авиационно-технологическом институтах. Тем более, повторяю, что подготовительное отделение нашего института переполнено. И тем более что на ваших лицах я вижу вариант случайности. С удовольствием выслушаю вопросы. На вашем лице я вижу вопрос, товарищ в бушлате. Ваша фамилия?

— Косов. Григорий. Разрешите вопрос?

Морячок, оттолкнувшись от кресла, прочно расставил ноги — огромные клеши накрывали носки ботинок, — и когда заговорил, казалось, напряглась грудь под расстегнутым бушлатом, синие глаза вспыхнули усмешливой недобротой:

— Конечно, я извиняюсь, но вы воевали, товарищ декан?

— Мое имя-отчество Игорь Витальевич. Декан не военное звание. Я воевал две недели под Смоленском. Остальное время воевал с породой, с водой, с углем. В Караганде. Вопрос неисчерпывающ. Но добавлю: в этой войне, Косов, воевали все, и я не разрешу прикрываться шинелью, как броней. Так-то. И никаких поблажек. И никакого размахивания фронтовыми заслугами. Для меня все равны. Все!

— Значит, все равны? А вас не хоронили, товарищ декан, в день вашего рождения? — низким баском спросил Косов.— Ваша мать не получала на вас похоронку? И после войны грузчиком и носильщиком вы не работали?

— Конкретнее! — оборвал Морозов.— Вас устраивает профессия горняка, уважаемый товарищ Косов?

— Конкретнее при всем к вам уважении я могу трахнуть кулаком по столу! — договорил Косов и сел плотно на свое место, откинул борт бушлата.

— Благодарю вас. Вы можете идти, Косов,— сказал Морозов.

Косов пососал трубку, ответил независимо:

— Я посижу.

— Ну что ж? — Морозов обежал взглядом комнату.— Все разделяют точку зрения Косова? Все будут стучать кулаком по столу? Все будут требовать? И звенеть медалями? Может быть, кто-нибудь скажет о «тыловых кры-

сах», о «тыловых бюрократах»? Вот вы, что думаете вы? Вот вы, в офицерской шинели. Ну, ну! Давайте!

Было декану лет за тридцать, на бледном лице морщинки утомленности; его колючая манера говорить и неприязненно отталкивала, и в то же время притягивала: все менял взгляд — подчас иронически-умный, живой, подчас усталый, как у человека, хронически страдающего бессонницей. И Сергей, увидев жест Морозова в свою сторону, ответил:

— Наши медали здесь ни при чем. Хотя мы можем требовать.

— Вы тоже будете требовать?

— Я — нет,— сказал Сергей уже спокойнее.— Если у вас в институте все переполнено, зачем сюда рваться? Нет смысла. Вы сказали: есть другие подготовительные отделения. Мне все равно.

Он не лгал ни самому себе, ни Морозову, но, сказав это, заметил повернувшиеся к нему удивленные лица и вдруг почувствовал, что ответом своим разрушил сейчас что-то.

Морозов быстро спросил:

— Зачем вы пришли сюда? Ваша фамилия?

— Пришел из любопытства. Узнать. Моя фамилия Вохминцев.

— Адрес подготовительного отделения Авиационно-технологического института: Москва, Земляной вал. Запомнили? Впрочем, разговор идет к концу. Можете посидеть, Вохминцев. Многое проясняется. Так. Прекрасно. Великолепно,— заговорил он размышляюще.— Так, прекрасно,— повторил он, барабаня пальцами по столу.— Просто великолепно.

— Я говорил только о себе,— сказал Сергей.

В комнате — молчание; потоки солнца лились в окна, и белым потоком сыпались пылинки, струились в световых столбах над плечами Морозова, а пальцы его все барабанили по краю стола — всем слышен был их стук.

— Нет, нет, не слушайте их! — раздался из глубины комнаты похожий на петушиный вскрик голос, и вскочил в углу парнишка с заячьим воротником на шинели, и, вскочив, рукой махнул по сразу вспотевшему носу, растерянно вытаращил глаза.— Это что же? Все тут говорят?.. Героев из себя ставят! А сами небось... Кулаками ишь будут трахать! Знаю таких! А я из Калуги... Пусть они не хотят. А я хочу! У меня отец на шахте...

И, оборвав бестолковую свою речь, парнишка утер влажные округлые щеки, исчез в углу, представился оттуда:

— Морковин моя фамилия.

— А я бы с тобой, мальчик, в разведку вдвоем не пошел! — внятно, однако не вынимая трубку изо рта, произнес Косов.

— Та у него ж мыслей гора,— сказал Подгорный.

— А я — с тобой! Пусть я не воевал! — по-петушиному колюче выкрикнул из угла Морковин.— Вы здесь не командуйте! Думаете, только вы воевали!

Морозов краем пластмассового пресс-папье звонко постучал по железному стаканчику для карандашей. С лица его сошла усталость, оно оживилось.

— Так! Все ясно. Все хотят курить? Озлобились, не куривши? Вынимайте папиросы. С вами бросишь курить — голова распухнет! А ну, у кого табак?

Он неуклюже выдвинулся из-за стола, вытянув длинную шею, выискивая, у кого бы взять папиросу, тут же перевернул объявленьице перед чернильным прибором — вместо «Курение для шахтера — вред» появилась надпись «Можно курить»,— достал у кого-то из пачки дешевую папиросу, веселея, сказал:

— Гвоздики курите? Небогато, но зло!.. Можете сдавать документы. Все. До свидания. Ничего не обещаю. До свидания. Зайдите послезавтра.

И, закашлявшись, с отвращением смял папиросу, бросил ее в чистейшую пепельницу, скомандовал:

— А ну курить в коридор! Марш!

Сергей вышел. В приемной Константин, по-хозяйски разместившись на диване перед столом секретарши, поигрывая линейкой, таинственно рассказывал ей что-то, видимо, «выдавал светский анекдот». От улыбки полукруглые бровки секретарши всползли на лоб, но тотчас, заметив выходивших из кабинета, она сделала строгое лицо, сказала Константину:

— Оставьте меня смешить.— И отобрала у него линейку.— Вы меня заговорили.

— Я вас оставляю и приветствую, Людочка! До встречи!

Константин запахнул куртку, победно щелкнул «молнией».

«Очередной флирт»,— подумал Сергей и сказал:

— Поехали, Костька. Все.

Когда вновь прошли пустые, пахнущие табачным перегаром институтские коридоры и вышли из подъезда на студеный декабрьский воздух, Константин сплюнул, хохотнул:

— Ну цирк! И что ж ты решил?

— Это сложное дело.

— А именно?

— Посмотрим.

— Запутал ты все, Сережка,— сказал Константин, залезая в кабину,— то, се, пятое, десятое. Сам запутался и меня вдрызг запутал. Куда тебя прет? Что тебе, шофером денег не хватило бы?

— Перестань убеждать! Как-нибудь сам разберусь!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Тебя к телефону. Женский голос. Это та твоя... фифочка.

— Нужно говорить сразу, а не расспрашивать, кто и что.

— Возьми трубку, а то брошу.

Ася недовольно передернула плечами, а он стал к ней спиной, тихо сказал в трубку «да», и в спине его, в слегка оттопыренных светлых волосах на затылке и в голосе было что-то настораживающее, новое, чужое, незнакомое ей, будто Сергей обманывал всех и обманывать заставлял его этот мягкий голос в трубке, ласково попросивший: «Пожалуйста, Сергея».

— Его спрашивает женщина, радуйтесь! — Ася закрыла дверь в другую комнату, сердито оправила джемпер.— Вы ее знаете?

— Асенька, посидите со мной. Несмотря на каникулы, я вам устрою новогодние экзамены, есть? — сказал Константин, небрежно полистав толстый учебник по литературе.— А ну, Евгений Онегин — продукт какой эпохи?

Ася, точно не замечая Константина, переступила через коробку с игрушками, подумала, вытащила огромный серебряный шар, отразивший на блестящей поверхности ее лицо, и держала шар на весу двумя пальцами, ища на елке место.

— Какой еще экзамен? — спросила она.

Был праздничный вечер, морозно пахло в комнате хвоей — свежим негородским духом леса, наступающего Нового года.

Константин сидел на диване, костюм тщательно выглажен; новый галстук, тупые полуботинки, носки в полоску — весь модный, выбритый,— и, положив ногу на ногу, раскрыв на колене учебник, взглядывал на Асю загадочно.

— Значит, продукт какой эпохи? А, Ася Вохминцева? Продукт кр-репостничества... Не знаете? Садитесь, Ася, вкатываю двойку в дневник за нерадивость.

В этот новогодний вечер был он в отличном расположении духа, говорил шутливо, с игривой веселостью, и Ася обернулась от елки, разглядывая его непонимающими глазами.

— Сами фронтовики, а разоделись, галстуки заграничные, надушились одеколоном... Евгении Онегины какие нашлись — рестораны, компании, дома не бываете! Куда вы идете встречать Новый год? И откуда у вас деньги? Говорят, вы их очень любите? Халтурите на машине? У вас какие-то делишки с Быковым? — строго спросила она.— Это правда?

Константин отложил учебник, несколько удивленный, хмыкнул.

— Ненавижу деньги, Ася... Но без денег — пропасть. Галстук действительно заграничный. Куплен на Тишинке. Ничего особенного, обыкновенная тряпка, украшающая мою довольно некрасивую рожу. Вообще, Ася, разве вы не знаете, почему некоторых фронтовиков потянуло к костюмам и галстукам?

— Захотелось необыкновенного, захотелось форсить, вот что.— Ася с настороженностью покосилась на дверь, из-за которой слышался голос Сергея.— И он разрядился, без конца носит новый костюм. Это вы влияете?

— О, Ася, нет! — Константин покачал головой. — На Сергея не повлияешь, вы ошибаетесь. Просто фронтовиков потянуло к тряпкам для придания огрубевшим мордасам интеллигентности, которую они потеряли за четыре года. Но хорошие ребята, понюхавшие пороху, знают недорогую цену этим тряпкам. Не уверены? Ах, Асенька, вы другое поколение. Мы — отцы, вы — дети. Вечный конфликт. Вы в восьмом классе учитесь?

— Вы всегда шутите, всегда цинично говорите! И распускаете хвост, как павлин! — заговорила Ася

быстро.— Вон усики какие-то противные отпустили, для цинизма, да? Фу, противно смотреть, и бакенбарды косые — все как у парикмахера! Это все вы сделали, чтобы легче быть наглым, да?

Он на мгновение встретился с ее огромными, нелгущими, черными, чуть раскосыми глазами, подпер подбородок, некоторое время грустным спрашивающим взглядом смотрел на нее, наконец сказал:

— За что же вы меня так ненавидите, Асенька? Вы меня очень ненавидите? За что?

Она молчала с независимой строгостью и ходила вокруг елки, все еще держа двумя пальцами блестящий шар, привстала на носках, напрягая ноги, решительно отводила ветви локтем, угловатая, неловкая в этом широком зеленом джемпере. И Константин, вздохнув, поднялся с дивана, подавляя в себе растерянность оттого, что она молчала, затем дружески заулыбался, желая смягчить ее непонятную неприязнь к нему.

— Давайте я повешу, Асенька, у меня длиннущие руки. И улыбнитесь, пожалуйста. Девочкам не идет хмуриться, ей-богу!

— Уйдите! Я вас не просила!

Она отдернула руку, спрятала шар за спину, и Константин, словно натолкнувшись на что-то острое и жесткое, помолчал в озадаченности, опять вздохнул.

— Что ж, Асенька... У вас такое лицо, что вы можете меня побить. Ну что я должен сделать, чтобы заслужить ваше расположение?

— Как вам не стыдно! Не думайте, что я девочка, ничего не понимаю! — торопливо заговорила она.— Мы получаем хлеб по карточкам. Все получают, а вы мандарины приносите! Откуда они у вас? Быков дал? Я видела... видела, Быков утром мандарины на кухне мыл! Вы у него взяли!

Константин посмотрел на маленький чемодан, на мандарины возле елки — мандарины эти он принес вместо новогоднего подарка — и воздел руки, блеснули запонки на манжетах.

— Ася, у меня достаточно денег, чтобы купить на Тишинке мандарины. Боже, за что вы меня упрекаете?

Она перебила его:

— Тогда откуда у вас деньги? Я знаю, как плохо живут люди, а у вас откуда? Значит, вы нечестно живете! Разве шофер столько денег получает? Нет, нет, я знаю!

Если бы папа узнал, что вы принесли эти ужасные мандарины! Он бы вас выгнал!..

Все лицо ее источало брезгливость, презрительно опустились края рта; она мотнула косой по спине и, вешая шар на елку, договорила через плечо стеклянным голосом:

— Не ходите к нам больше! Поняли?

— А-ася,— жалобно сказал Константин.— Зачем резкости?

Нарочито громко вздыхая, он стоял позади нее и, пытаясь нащупать путь примирения, обескураженный ее злой прямотой, не знал, что говорить этой девочке.

Когда он услышал голос вошедшего в комнату Сергея: «Н-да, черт побери!» — и увидел, как тот рассеянно, хмуро зачем-то похлопал себя по карманам, Константин вторично попробовал растопить ледок неприязни, повеявшей от Аси, засмеялся:

— Твой разговор по телефону напоминал доклад. Ася, его часто рвут и терзают по телефону? — спросил он, снова обращаясь к Асе, еще не в силах преодолеть инерцию трудного разговора с ней, и тут же понял — говорить этого не стоило.

— Ася, выйди в другую комнату,— сухим тоном приказал Сергей.— Ну что ты стоишь? Выйди. У нас мужской разговор,— повторил он резче, и Константин заметил, как при каждом слове Сергея замирала худенькая, в широком джемпере спина не отвечавшей ему Аси, как все ниже наклонялась ее тонкая шея.

— Давай мы оба выйдем, погутарим в коридоре,— миролюбиво предложил Константин.— Не будем мешать.

И вихрем мимо него мелькнул зеленый джемпер Аси — подбородок прижат к груди, глаза опущены,— и дверь в другую комнату хлопнула, потом донесся ее непримиримый голос:

— Папа сказал, чтобы ты был сегодня дома, а не в компании с Константином! Понятно тебе?

Они переглянулись.

Досадливо пожав плечами, Сергей в новой белоснежной сорочке, с новым галстуком, съехавшим набок, прошелся по комнате, сказал прежним резковатым тоном:

— Все не так, как задумано! Едем через полтора часа к Нине. Она не может приехать. Потом, кто-то там

хочет видеть меня. Люди, в чьих руках моя судьба. Понял? Это даже интересно! — Сергей заложил руки в карманы, круто повернулся на каблуках к Константину.— Ну? Ясно? Звони в свою компанию, скажи — не сможем, не будем. Поедем к Нине. Ну что задумался? Давай к телефону!

— Решил, Серега, за меня? Как в армии?

— А что тут решать!

— Не считаешь ли ты, Серега, меня за мумию? —поинтересовался Константин.— Спросил бы, куда меня душа тянет — в ту компанию или в эту? Или эгоизм разъел уже и твою душу? А, Серега?

— Хватит, еще будем разводить нежности! Решай по-мужски: туда или сюда?

— Сюда. Конечно сюда.— Константин с заалевшими скулами пощипал усики.— Поедем. Только вот хлопцев обидим. Хорошие ребята собираются на Метростроевской. Ладно. Снимаю предложение. Согласен к Нине.

— Другое дело. Звони!

Когда на Ордынке вышли из троллейбуса и, как бы освобожденные, вырвались из тесноты, запаха морозных пальто, из толчеи новогодних разговоров, из окружения уже оживленных и красных лиц, вся улица была в плывущей карусели снегопада.

На троллейбусной остановке свежая пороша была вытоптана — здесь чернела длинная очередь, загорались огоньки папирос; компания молодых людей с патефоном, будто завернутым в белый чехол, весело топталась под фонарем: наперебой острили, хохотали. Был канун 1946 года. И везде — в скользящих под снегопадом огнях троллейбуса, в окнах домов, в красновато-зеленоватом мерцании зажженных елок — была особая предновогодняя легкость, чистота, ожидание. Это чувствовалось и в запахе холода, и в фигурах редких прохожих, которые бежали навстречу, завьюженные, в побеленных шапках, все несли авоськи со свертками, с торчащими из газетных кульков бутылками полученного по карточкам вина — и сейчас хотелось верить в долгие дни этой праздничной возбужденности и доброты.

— «Мне-е в холо-одно-ой земля-нке-е тепло-о»,— затянул Константин глубоким басом.

— «От твоей негасимо-ой любви-и...» — подхватил Сергей.

Огромные окна аптеки на углу были пустынно-желтыми; снежные бугры перед подъездами темнели следами.

Переходили улицу: около тротуара завиднелась какая-то изгородь, сплошь забитая снегом, там мутно блестел красный фонарь, и фигура, укутанная в тулуп, в женском, намотанном на голове платке двигалась возле фонаря, лопатой расчищала горбатый навал сугроба, наметаемого к изгороди: видимо, замерзли водопроводные трубы, и шли тут работы в эту новогоднюю ночь.

— С Новым годом, мамаша! — сказал Сергей, шутливо козырнув с чувством освобожденной доброты ко всем.

— Какая я т-те, к шуту, мамаша? — густо прохрипела фигура, закутанная в тулуп, выпрямилась, мужское лицо недовольно глядело из-под платка.— Глаза разуй, поллитру хватил?

— А платок, платок зачем? — захохотал Константин.— У жены напрокат взял? Тебя, дядя, в упор в бинокль не различишь!

— Ладно, ладно! — обиженно загудел тулуп.— Давай дуй, справляй! К девкам небось бежите? Чего хохочете-то, ровно двугривенный нашли? — И, сплюнув себе под валенки, с сердцем метнул облако снега в сторону тротуара, под длинные полосы электрического света, разлитые из мерзлых окон.

Оба снова засмеялись, овеянные на тротуаре колючей снежной пылью, и Константин, с улыбкой удовольствия стряхнув налипший пласт на рукава кожанки, посмотрел на часы.

— «Уж полночь близится, а Германна...» — И, ударив Сергея по плечу, фальшиво пропел: — Мы рано премся! Не люблю приходить до разгара!

Когда через темную арку ворот, дующую сквозным холодом, вошли в маленький двор и остановились под шумевшими на ветру липами, когда Сергей нашел над дымящимися крышами сараев ярко-красное окно в стар採еньком трехэтажном домике Нины, он с внезапной остротой почувствовал сладкое, тревожное и горькое давление в горле, как в первое утро после проведенной у Нины ночи, когда, проснувшись в ее комнате, он увидел четкие крестики вороньих следов на розовой крыше сарая. И то, что Константин вошел в этот обычный замоскворецкий дворик лишь с некоторой заинтересован-

ностью гостя, не зная того, что помнил, ощущал сейчас Сергей, буднично отдаляло его и принижало его чем-то.

— Куда идти? Какой этаж? Однако твоя Ниночка живет не в хоромах...— Константин, задрав голову, прижмурясь от снега, летящего ему в глаза, оглядывал горевшие во дворике окна.— Не вижу карет и швейцара у подъезда.

И Сергей ответил:

— За мной! Не упади на лестнице, наступив на кошку. Лифта не будет!

По полутемной лестнице поднялись на второй этаж, позвонили и, стоя в ожидании под тусклой лампочкой на площадке, услышали из-за обитой клеенкой двери смешанное гудение голосов, смех, потом возглас: «Ниночка, звонят!» — и затем побежал к двери перестук каблуков вместе со знакомым голосом:

— Сейчас открою!

Щелчок замка, свет неестественно яркой передней, из квартиры на лестничную площадку вырвались звуки патефона, в проеме двери вырисовывались узкие плечи Нины.

— Вы просто молодцы!

Весело улыбаясь, она воскликнула: «Быстрей, быстрей!..» — и втащила Сергея в переднюю, и уже в передней, заставленной галошами, женскими ботами, заваленной пальто, он заметил в открытую дверь за ее спиной незнакомые ему мужские и женские лица и, оглушенный хаосом смешанных голосов, на какое-то мгновение почувствовал растерянность оттого, что в этой комнате с ее обычной зимней тишиной было нечто непривычное. И он, пересиливая себя, улыбнулся Нине.

— Ну раздевайтесь, быстро! Хотя есть время... Сами знаете, мужчины не умеют терпеть, когда стоит вино на столе! Быстро, быстро! — Она засмеялась, протянула Константину руку.— Мы еще незнакомы. Нина. Я, кажется, чуть-чуть вас знаю со слов Сергея...

— Костя... Константин. Я тоже чуть-чуть,— попав в луч ее взгляда, произнес Константин, бережно сжал ее пальцы и тотчас вынул из карманов две бутылки вина, поставил их на тумбочку, меж валявшихся кучей мужских шапок, договорил шутливо-галантно: — Прошу вас, Нина, без ненужных слов. Живем в тяжелое время карточек, лимитов и прочее... А кажется,— он моргнул на дверь,— мужчин здесь хватает. Простите, вы на меня не сердитесь?

— Нет, нет, что вы! — воскликнула Нина.— Хорошо, идемте. Я вас сейчас познакомлю со всеми.

— Только ни с кем нас не знакомь,— остановил ее Сергей.— Мы сами познакомимся.

Их встретили оживленным гулом, обрадованными возгласами полушутливых приветствий, как встречают даже в незнакомой компании новых гостей; в плавающем папиросном дыму лица повернулись к ним; и тут молоденький паренек в очках, как-то неудобно сидя у края стола, неизвестно зачем зааплодировал, глядя на Нину, заорал ожесточенно:

— Горько!

И в полутени абажура пара, топтавшаяся в углу комнаты под звуки патефона, обернулась с любопытством; и кто-то приподнялся с дивана, помахал им в знак приветствия. Стоя среди говора, смеха, шума, Сергей мгновенно понял, что их ждали здесь, в этой, видимо, давно знавшей друг друга компании; и он, неприятно оглушенный, скованный и шумом и многолюдством, не очень ловко представился всем сразу вместе с Константином:

— Сергей.

— Костя, он же Константин.

И Нина, встав между ними, спросила: «Все познакомились?» — после чего взяла обоих под руки, подвела к столу, поворачивая голову то к одному, то к другому, сказала ласково:

— Мы сядем здесь. Я — посредине. Будете за мной ухаживать оба.— И добавила шепотом: — Видите, я уже многих усадила за стол: негде танцевать. Пусть сидят. Я сейчас. Садитесь! — Она посадила их и, улыбаясь, скользнула глазами по толкотне в комнате.— Товарищи геологи и горняки, прошу всех к столу! Мальчики, посмотрите на часы. Свиридов, оставьте патефон и включите радио!

Патефон захлебнулся и смолк, перестала шипеть пластинка, потом загремели стулья, пододвигаемые к столу, послышались со всех сторон возгласы:

— Пора, пора, терпежу нет! Включить радио!

И сейчас же за столом стало теснее, заколыхались незнакомые лица, девушки со смехом стали разбирать разномастные, собранные, по-видимому, у всех соседей тарелки, парни с бывалым видом пьющих людей взялись за бутылки, изучающе рассматривая этикетки; кто-то потребовал рокочущим басом:

— Штопор мне, Ниночка, штопор! Дайте мне орудие производства!

— В углу! Сдерживайте Володьку и отберите у него селедку! Сожрет все в новогоднем восторге! — крикнули в конце стола.

Возникло то оживление, когда садятся за стол, и прежней растерянности, появившейся вначале у Сергея при виде этой толчеи совсем незнакомых людей, уже не было. Он закурил, поискал глазами пепельницу, не нашел ее поблизости, но сосед справа, паренек в очках, некстати заоравший давеча «горько», пододвинул к нему чистое блюдечко, сказал с нетрезвой вескостью:

— Сойдет! В этой компании сойдет, верно, Сергей?

Был он возбужден; похоже, выпил перед тем, как идти сюда, выглядел смешно, наивно, неряшливо, очки странно увеличивали его по-мальчишески косящие глаза, и лицо, худое, остроносое, имело обалделое выражение.

— Я вас знаю и понимаю! — сказал он с категоричной хмельной прямотой.— Огонь, дым, смерть... и студенческая скамья, карточки и профессора в пальто на кафедре. Поколение, выросшее на войне, и поколение, выросшее в тылу. Вы воевали, мы учились. Два разных поколения, хотя разница в годах... с воробьиный нос. Вы презираете наше поколение за то, что оно не воевало?

— Пожалуй, нет,— сказал Сергей.— А к чему этот вопрос?

Локоть паренька, как по льду, оскальзывался на краю стола, стекла его очков ядовито сверкали.

— Бросьте! — Паренек в очках взъерошился, хлопнул несильным кулачком по столу.— Поколение, испытавшее дыхание смерти, не может быть объективным к тем, кто не воевал! А я не воевал!

— И что же?

— Откровенность за откровенность. Отвечайте мне!

— Только на равных началах. Вы уже громите стол кулаком. Равенства нет,— ответил Сергей.— Вы меня запугиваете.

Взрыв смеха раздался за дальним концом стола — разговор, вероятно, был услышан там. И, удивленный вниманием к себе, Сергей поднял голову и неясно увидел в полутени абажура, среди молодых возбужденных и смеющихся лиц, чье-то очень знакомое лицо — оно, чудилось, ободряло и кивало ему, а рядом было женское

лицо, которое искоса смотрело в направлении Сергея, кривилось вымученной гримасой.

«Уваров?.. Он здесь?» — мелькнуло у Сергея, и его словно обдало горячим парным воздухом. Было нелепо и противоестественно, что, войдя в эту комнату, он в первую минуту не заметил их — Уварова и его девушку, кажется, ее звали Таня... Но вдвойне бóльшая противоестественность была в том, что, зная друг о друге то, чего не знали другие, они сидели за одним столом, и Уваров, как если бы между ними ничего не было, даже ободряя, кивал ему сейчас, а он, нахмурясь, еще не знал, чтó надо было делать и как ответить на это участие.

— Тиш-ше!

— Радио, радио включите!

— Петька, поставь бутылку, кто открывает вилкой?

— Ша, пижоны, как говорят в Одессе!

Крики эти, смех, толчея в комнате уже проходили мимо, не касались сознания Сергея, и он, соображая, что ему делать, видел, как Уваров с настойчивой требовательностью стучал ножом по бутылке. Он устанавливал порядок на своем конце стола, и две девушки, сидя напротив Уварова, что-то весело говорили через стол, а он отрицательно качал головой.

«Что это? Зачем это? Как он здесь?..— спрашивал себя Сергей.— Его знают здесь?» — соображал он, ища решения, и тут же услышал удивленный шепот Константина над ухом:

— Ты ничего не видишь? Куда мы попали, маэстро? Ты видишь того хмыря, ресторанного? Твой фронтовой дружок? Что происходит?..

— Сиди и молчи, Костя, посмотрим, что будет дальше,— вполголоса ответил Сергей.

— Так что ж вы замолчали? — просочился сбоку из папиросного дыма нетерпеливо задиристый тенорок, и придвинулось к Сергею ядовитое сверканье очков.

— Мы разве с вами не доспорили? — плохо вникая в смысл своих слов, ответил Сергей.— Кажется, все ясно.

В это время прозвучал за спиной жестковатый голос:

— Прошу прощения, разрешите с вами лично познакомиться?

Сергей обернулся: позади него стоял невысокий старший лейтенант средних лет, лицо сухое, болезненно желтое, с глубоко впалыми щеками. Новый китель аккуратно застегнут на все пуговицы, свежий подворотничок пе-

дантично чист, темные цепкие глаза глядели в упор; левой рукой старший лейтенант опирался на палку.

— Свиридов. Рад познакомиться с фронтовиком. Тем более — со своим будущим студентом.

— Не понимаю.— Сергей почувствовал, как плотно и сильно сжал его плечо Свиридов, и вместе с тем, слыша смутный шум за столом, там, где сидел Уваров, спросил: — Но почему «студентом»?

Губы Свиридова немного раздвинулись, улыбался он неумело, некрасиво, и, выговаривая фразы прочно, округляя их, он сказал:

— Вы подавали документы в Горнометаллургический институт и разговаривали с доцентом Морозовым. Вчера списки утверждались. Я присутствовал от партбюро и отстаивал фронтовиков. Я преподаю в институте военное дело. Вас отстояли. Поздравляю. Списки сегодня утром вывешены.

— Отстояли? Меня? От кого отстояли?

Свиридов скупо улыбнулся изгибами рта, взгляд был немигающ, внимателен, голос, отделенный от улыбки, звучал по-прежнему увесисто:

— Это неважно сейчас.

— Что ж... Спасибо, если отстояли,— сказал Сергей.

И через минуту, когда он сел, чья-то рука мягко легла сзади на его плечо,— Нина наклонилась над ним и, заглядывая ему в глаза, сказала тихонько:

— С тобой хочет поговорить один человек. Иди сюда, пересядь на тахту. Он хочет... Здесь никто не будет мешать.

— Кто он?

— Узнаешь...

Сергей пересел на тахту с неприятным чувством перед вовсе ненужным новым знакомством — не хотелось сейчас отвечать кому-то на вопросы или спрашивать, желая казаться вежливым, общительным человеком, как это надо было делать в гостях.

— Здорово, Сергей! Очень рад тебя встретить здесь!

Этот знакомый рокочущий басок будто толкнул Сергея, и, еще не веря, он увидел: рядом опустился на тахту Уваров в очень просторном клетчатом, с толстыми плечами пиджаке, синего цвета галстук выделялся на свежей полосатой сорочке, на тесном воротничке, сжимавшем крепкую шею.

Сергей быстро взглянул на неопределенно улыбаю-

щееся лицо Нины, на излишне веселое лицо Уварова и, криво усмехнувшись, выдавил:

— Ну?

Уваров, наморщив брови, бодро заговорил примирительным тоном:

— Ну как, Сережа? Будем физиономию друг другу бить или брататься? Ну... здорово, что ли? Ниночка, вы можете нас не знакомить. Мы знакомы. Верно?

Он со скрытым напряжением, с нарочитой уверенностью засмеялся, а Сергей все смотрел в его лицо, как бы отыскивая следы после той встречи в ресторане, вспомнил его вскрик: «Он изуродовал меня!» — поморщился, ответил сдержанно:

— Однажды я тебе сказал... я не люблю братских могил. Это, наверно, ты помнишь!

— Так.— Уваров вроде бы в раздумье потер лоб длинными пальцами; вдруг, обращаясь к Нине, проговорил: — Мира не получается. Что ж будем делать? Может быть, кому-нибудь из нас нужно умереть, чтобы другому было свободнее? Остроумнее не придумаешь!

Нина взяла Сергея за локоть, вздыхая просительно, и затем взяла за локоть пожавшего плечами Уварова, легонько толкнула их друг к другу, прошептала обоим:

— Ну, мир? Перемирие? Сидите.

— Я готов,— принужденно сказал Уваров.— Но перемирие может состояться тогда, когда его хотят обе стороны.

— Он прав,— ответил Сергей, в то же время думая: «Мелодрама! Чем кончится эта мелодрама? Зачем он хочет говорить со мной? И зачем вмешивается Нина?..»

Он договорил:

— Братание вряд ли у нас получится.

— Нет, нет, только мир,— уверительно повторила Нина.— Мир, мир. Прошу вас обоих, Сережа.

Уваров расстегнул пиджак, удобнее развалился на тахте, полное лицо его выражало добродушную обезоруженность.

— Боюсь наболтать банальщины, Ниночка, но один в поле не воин.

Сильный, голубоглазый, в своем клетчатом, сшитом, видимо, в Германии костюме, Уваров бесцеремонно начал разглядывать полочки сбоку тахты, стал трогать фигурки тунгусских богов, образцы кварца, говоря своим рокочущим баском:

— Геологи, в особенности женщины,— удивительные

люди. Стоит им хотя бы на полгода обосноваться в городе, как окружают себя тысячами вещей. Это что же — тяга к уюту? А, Ниночка? Или — ха-ха! — геологическое мещанство? Хм, что это за сопливый слон? Не положено. Мещанство. На партийное собрание вас.

— Я беспартийная, Аркадий.

— На суд общественности вас. Экую настольную лампу в комиссионном оторвали! Мещанство высшей марки!.. Да, да, Ниночка! Верно, Сергей? — обратился он к Сергею дружелюбно и просто, как к близкому знакомому, от его манеры гладко говорить повеяло чем-то новым. Этот Уваров не был похож на того капитана Уварова, который три месяца командовал батареей и которого он встретил в ресторане недавно.

Широкая фигура Уварова в просторном немецком костюме раздражающе лезла в глаза, и какая-то непонятная сила сдерживала Сергея, заставляла сидеть, наблюдать за ним с особым едким интересом. «Нет, в ресторане он был другим. Тогда в нем было то, фронтовое: взгляд, осанка, тогда он был в кителе...» И чувствуя неприятную испарину на висках, Сергей не вытирал ее — не хотел выказывать скрытого волнения.

— Мещанство надо понимать иначе,— когда человек трясется только за свою шкуру,— сказал Сергей.— Это известная истина.

— Сережа,— робко остановила его Нина и вздохнула.— Ну я прошу... Я не буду мешать. Я лучше уйду.

Уваров, однако, со спокойным видом покатал на ладони кусочек кварца, спросил:

— Не остыл еще? Ну скажи, Сергей, признаешь объективный и субъективный подход к вещам? Мы с тобой оба воевали, но некоторые штуки оцениваем по-разному.

— Ты воевал? — Сергей раздавил окурок в пепельнице на тумбочке.— Правда одна. Ты хочешь две!..

— Значит...

— Значит, братская могила?

— Какая могила?

— Вали всё в одну яму? Все, кто был там, воевали?

— Вот что, Сережа...— медленно проговорил Уваров, положив кусочек кварца на полочку, и, так же медленно и вроде без охоты шутя, вынул военный билет.— Может, ты посмотришь мой послужной список?

— Я знаю его,— сказал Сергей.— Ты пришел к нам из запасного полка и ушел в запасной полк.

— У каждого судьба складывается по-своему. В войну — особенно.

Слыша голос Уварова, Сергей опять потянулся за сигаретами — было горько, сухо во рту, но сигарету не достал, рука осталась в кармане пиджака, и, сидя так, в полутени, в этом неудобном положении ощущая возникшую во всем теле тяжесть, он думал с раздражением на самого себя: «Не так, не так говорю с ним! Он уверен, спокоен... И мне надо говорить... Только спокойно!..» С коротким усилием он изменил неловкую позу, посмотрел неприязненно в ждущие глаза Уварова.

— Не забыл лейтенанта Василенко? Надеюсь, ты помнишь его?

— Но откуда ты все можешь знать? — Уваров сделал изумленное лицо, шумно выдохнул воздух, как спортсмен после длительного бега.— Тебя ведь увезли в госпиталь, насколько я помню.

— Я встретил в госпитале писаря из трибунала. Это тебе ничего не говорит?

— Ох, Сережа, Сережа,— сказал Уваров с выражением тяжелейшего утомления.— Ниночка,— позвал он расслабленно,— я уже бессилен... Я уже не могу!..

Сергея особенно злило, что Уваров обращался к Нине, точно в верном поиске у нее поддержки и точно заранее зная, что эта поддержка будет. Она подошла, осторожно улыбаясь обоим, и Сергей, нахмуренный, отвернулся, подумал: «Почему она вмешивается в то, во что не должна вмешиваться?»

За столом хаотично шумели, кричали, крики, смех смешивались в оживленный гул, заглушая разговор на тахте, но ожидаемого мира не было в этой комнате. Он был и не был. Мир был фальшив.

— Мальчики, садитесь за стол! — поспешно сказала Нина и погладила обоих по плечам.— Хотите — для вас я найду водку? Старую бутылку. Привезла из Сибири. С довоенной маркой!

— Подождите, Ниночка! — мягким баском произнес Уваров, взглядом задерживая Сергея.— Мы не договорили.

— Мы договорили,— сказал Сергей.

— Нет, Сережа,— перебил Уваров все так же мягко.— Простите, Ниночка, можно нам еще минутку один на один?

— Да, да, я ухожу, говорите.

Сергей сознавал всю глупость, всю неестественность своего положения и хорошо понимал, что не может, не имеет права быть сейчас здесь, сидеть на одной тахте с Уваровым, но что-то сдерживало его, и он, как бы помимо воли своей, старался дать себе отчет, чего же он не понимал в этом новом, все забывшем, казалось, Уварове, а знакомое и незнакомое его лицо было потно, голубые глаза чуть покраснели, в них по-прежнему искрилось добродушие, веселое желание мира.

— У тебя, Сергей, странные подозрения. Основанные на слухах. У тебя нет никаких доказательств. Остынь и рассуди трезво. Я не хочу с тобой ссориться, честное слово. То, что было — черт с ним, забудем. Я не навязываю тебе дружбу, хотя был бы рад... Пойми, Сережа, нам учиться в одном институте, только на разных курсах. Я стою за то, чтобы фронтовики объединялись, а не разъединялись. Нас не так много осталось. Ей-богу, ты во мне видишь другого человека. Хотя я понимаю, что бывает... Я хочу, чтобы ты объективно понял... Я сам себя часто ловил на том, что сужу о людях не так, как надо.

— Товарищи фронтовики, прекращайте секреты! — крикнул Свиридов из-за стола, неумело изображая на худом своем лице комическое нетерпение.— Занимайте места!

И в эту минуту Сергей понял, что надо прекращать этот разговор. Слова, которые говорил сейчас Уваров, и то, что они сидели сейчас здесь, на тахте, близко друг к другу,— все с противоестественной нелепостью соединяло, сближало их, и Сергей резко поднялся, сказал:

— Значит, дело в психологии? А я-то не знал!

Уваров встал следом за ним, вроде бы нисколько не задетый открытой этой насмешкой, проговорил тоном серьезного и дружеского убеждения:

— Подумай обо всем трезво, честное слово, ты не прав. Ну подумай.— И бодрым голосом ответил Свиридову, глядевшему на них: — Иду, иду, Павел! Нам необходимо было поговорить!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«Я знал, что надо делать, тогда, в ресторане, но что делать сейчас? Улыбаться, разговаривать с соседями, с парнем в очках? Развлекать девушек, как это делает

Константин, показывая какой-то фокус с рюмкой и вилкой? Новый год — я разве забыл об этом? Тогда зачем я пришел сюда? Что я делаю? Знаю, что нельзя прощать, но сижу здесь, за одним столом с ним?.. Значит, прощаю?»

Уваров сел справа от Свиридова, закурил, потом с почти обрадованной улыбкой кивнул Сергею, и тот, испытывая вязкий холодок отвращения к самому себе, внезапно подумал, что после ресторана, после этого разговора он почему-то не ощущал прежней ненависти к Уварову, а оставалось в душе чувство усталости, неудовлетворения и горечи.

Он искал в себе прежней острой ненависти к Уварову — и не находил. Он не мог определить, понять точно, почему так произошло, почему это недавнее, жгучее незаметно перегорело в нем, как будто тогда, встретив Уварова впервые после фронта, он вылил и исчерпал всю ненависть, и постепенно ее острота притуплялась, чудилось, против его желания. Но, может быть, это и произошло потому, что никто не хотел верить, не хотел возвращаться назад, к прошлому, которое было так близко,— ни Константин, ни майор милиции, ни те люди в ресторане, ни все те, кто смеялся, разговаривал теперь в этой комнате с Уваровым; они не поверили бы в то, что произошло в Карпатах. Он спрашивал себя: что же изменилось — время или наша победа отдаляли войну? Или было желание плюнуть на все, что не давало покоя ему, мешало жить? Он еще сопротивлялся, не соглашался с этим, но замечал, как люди уже неохотно оглядывались назад, пытаясь жить только в настоящем, как вот и сейчас здесь... Если бы каждый из сидящих за этим столом помнил о погибших — о разорванных животах, о предсмертном хрипе на бруствере окопа, о фотокарточках, залитых кровью, которые он после боя вместе с документами доставал из карманов убитых,— кто бы смеялся, улыбался сейчас? Но улыбаются, острят, смеются... И он тоже четыре года так жадно мечтал о какой-то новой жизни, полновесной, праздничной, которая в тысячу раз окупила бы прошлое... Уваров... Разве дело только в Уварове? Никто не хочет копаться в прошлом, и нет у него доказательств... Но есть настоящее, есть жизнь, есть будущее, а прошлое в памяти людей стиралось...

— Ты что хмуришься? Перестань курить.

Легкие Нинины пальцы легли на руку, потянули из

его пальцев сигарету, бросили в блюдечко — и она повторила шепотом:

— Ну? Будем сидеть букой?

— Нет,— сказал Сергей.

И она на миг благодарно прижалась к нему плечом.

— Ты посмотри на Костю. Вот он молодчина.

Константин в это время, взяв на себя команду на своем конце стола, возбужденный новой компанией, вниманием девушек, которые уже называли его Костенькой, подмигнул, как давнему приятелю, пареньку в очках, налил в его рюмку водки, после чего весело прищурился на Нину.

— Вам? — И спросил так галантно, что Нина засмеялась.

— Конечно, водку, Костя. Пожалуйста.

— Нина — не женский монастырь, нет! — пробормотал паренек в очках.— Не монастырь кармелиток!

— Пе-етень-ка-а,— протяжно сказала Нина и ласково взъерошила ему волосы.— Петенька, ты пьян немножко? Да, милый?

Тот мотнул головой, угрюмо отшатнулся на стуле.

— Не надо... не хочу... ты не надо... так... Не люблю...

— Братцы! Разговорчики! Внимание, даю площадь!..

Все замолчали. В тишине комнаты возник приближенный, отчетливый шум Красной площади: гудки автомобилей в снегопаде, шорох шин — звуки новогодней ночи, знакомые с детства, и там, в метели, рождаясь из снежного шелеста, из гула пространства, мощным великолепием раскатился, упал первый бой курантов.

— Тише приемник! У всех налито? Сергей, у тебя налито? Приготовиться, братцы! Сережа, налито у тебя? Ухаживайте за фронтовиками там, на том конце! Первый тост фронтовикам!

И неожиданно командный голос Уварова, перекрикивая мощность приемника, опять будто окунул Сергея в ледяной сумрак октябрьского рассвета в тусклых Карпатах — этот командный голос был связан только с тем, в нем было только то...

«Нет! Не хочу думать о том! Все — новое, надо жить новым»,— стал убеждать себя Сергей, и, стараясь найти это непостижимое новое, он с надеждой посмотрел на праздничное последнее приготовление, вызванное командой Уварова.

А Уваров стоял за противоположным концом стола,

держал, сосредоточенно серьезный, стакан, наполненный водкой; снизу поднял к Уварову цепкий взгляд Свиридов; глядела в ожидании, подперев пальцем щеку, белокурая девушка, которую, кажется, звали Таня...

Лицо Уварова изменилось — губы его на секунду каменно сомкнулись.

— Я предлагаю тост... Первый тост...

Губы Уварова разжались, слова, тяжелые и железные, срывались с них, падали в тишину. Все напряженно молчали, лишь посапывал досадливо, гася папиросу в блюдечке, парень в очках.

— Я предлагаю тост... как бывший солдат. Тост за того... с именем которого мы ходили в атаку... стреляли по танкам, умирали... С именем которого мы защищали Родину и победили...— Уваров помедлил, из-за плеча остро глянул на Свиридова, закончил страстно зазвеневшим голосом: — За великого Сталина!

И в следующий момент, скрипнув палочкой, распрямился над столом обтянутый новым кителем худощавый Свиридов, без улыбки, безмолвно чокнулся с Уваровым. Все неловко вставали, отодвигая стулья; потянулись друг к другу стаканы,— и Сергея вдруг хлестнуло едкое чувство чего-то фальшивого, неестественного, исходящего от Уварова; он тоже встал со всеми, сжимая в пальцах рюмку,— стекло ее стало скользким. Рядом — сдержанное шевеление голосов, шорох одежды, потом еле различимый шепот и прикосновение Нининых теплых волос к его щеке:

— Сережа... Я с тобой чокнусь, милый...

И стакан Константина ударился об его рюмку.

— Старик, давай... Что думаешь?

Он ясно увидел под светом абажура потный лоб Уварова, строгий взор, впалые щеки Свиридова, опущенные глаза белокурой девушки и подумал со злым ожесточением к себе: «Зачем я шел сюда? Зачем мне нужно было приходить сюда?»

— Я хотел сказать...— внезапно проговорил Сергей, едва узнавая свой голос, отдаленный, чужой, отдававшийся в ушах, и, глядя на Уварова, на его крепкое лицо, от которого словно пахнуло болотной сыростью карпатского рассвета, договорил сухо: — Я с тобой пить не буду! Не тебе говорить от имени солдат!

Была плотная тишина, неясно желтели лица в оранжевом свете абажура, и лицо Уварова сейчас же откло-

пилось за круг абажура, потеряв резкость черт, лишь были очень ясно видны в одну полоску собранные губы.

— Послушайте, послушайте, что он говорит!.. Вы все слышали? Он преследует Аркадия! Он сводит свои счеты,— с отчаянием, рыдающим взвизгом выкрикнула полная белокурая девушка.— Он ненавидит Аркадия!..

— Товарищи дорогие, прекратите свои распри! — умиротворяюще громко сказал кто-то.— Новый год! Портите всем настроение.

— Браво! — пьяно воскликнул парень в очках и зааплодировал.— Это я люблю! Драма в благородном семействе!

— А может, помолчишь ты, друг любезный в благородных очках! — выплыл вежливо-недобрый голос Константина, и его локоть толкнул локоть Сергея.— Садись, Сережа, посидим и выпьем ради приличия...

Сергей, не двигаясь, сказал только:

— Подожди, Костя.

— Все это оч-чень странно! — донесся от того конца стола скованный и тяжелый голос Уварова.— Особенно для фронтовиков... Но если, друзья, у кого-то не в порядке нервы... Я здесь не несу никакой ответственности и объясняю все только непонятной подозрительностью и неприязнью Сергея ко мне.— Голос его перестал быть тяжелым, зазвучал тише, и, пытаясь улыбаться, он закончил со снисходительным спокойствием человека, не желающего обострять случайное недоразумение.— Я не буду сейчас выяснять наши фронтовые отношения. Не стоит портить праздник, друзья. Понимаю: бывает неосознанная неприязнь...

Увидев эту улыбку, Сергей вспомнил, ощутил знакомое чувство, испытанное им тогда в ресторане, когда он ударил Уварова и когда люди позже осуждали его, а не Уварова, и, подумав: «Ему стоит позавидовать — умеет себя держать в руках...» — и напряженным усилием сдерживаясь, сказал тем же тоном, каким говорил сейчас Уваров:

— Да, конечно, не стоит портить праздник. Но я не буду мешать всем.

Он повернулся, увидел перед собой увеличенные глаза Нины и крупными шагами вышел в переднюю, решительно перешагнул через кучу галош, женских бот, сорвал с вешалки шапку; в этот миг оклик из комнаты остановил его:

— Сергей, подожди! Подожди, я говорю!

Нина выхватила у него шапку, спрятала за спину и вся подалась к нему, загораживая путь к двери.

— Подожди, подожди! Ты только подожди...

— Ты хочешь помирить меня с ним? — грубо выговорил Сергей.— Зачем? Для чего, я спрашиваю?

— Я ничего не хочу,— сказала она.

— У нас с тобой прелестные общие знакомые! Но тебе придется выбирать.

— Что выбирать?

— Знакомых.

— Но ты не должен...

— Ты не должна! Но тебе придется выбирать. Не хочу понимать твоей доброты ко всякой сволочи,— жестко сказал он, выделяя слово «доброты», и рывком потянул шинель со спинки стула, заваленного грудой пальто.

Она по-прежнему держала шапку за спиной и, теперь не останавливая, удивленно глядела на него, покусывая губы.

Он повторил:

— Тебе все ясно?

Она молчала.

— Дай, пожалуйста, шапку,— сказал он и неожиданно для себя сделал шаг к ней, сразу отдалившейся, как бы ставшей чужой, с силой притянул ее к себе.— Пойдем со мной или оставайся! Слышишь? Не хочу, чтобы ты оставалась здесь. Ты это понимаешь?

— Ничего не слышу, ничего не вижу, где мои галоши? — раздался предупреждающий голос, и Сергей, недовольный, обернулся к вышедшему в переднюю Константину.— Я с тобой, Сережка,— пробормотал он, деликатно вперив взор в потолок.— Потопали. Разбит выпивон вдрызг.

— Костька, подожди там! Если нетрудно — выйди!

— Ясно,— с огорчением щипнул усики Константин и, насвистывая, поспешно прошел в комнату, тщательно закрыл за собой дверь.

— Ты будешь раздумывать? — И Сергей резко притянул ее за плечи.— Ну?

— Это все? — спросила она.

— Где твое пальто?

— Вон там...

Отпустив ее, он с непонятной самому себе грубой уверенностью начал снимать, кидать на тумбочку, на

спинку стула холодноватые чужие пальто, и в этот момент послышался сзади сдавленный смех — Нина, прислонясь затылком к стене, уронив руки, странно, почти беззвучно смеялась, говорила шепотом:

— Они останутся здесь, а я... Просто девятнадцатый век! Тройка, снег, новогодняя ночь... Ты понимаешь, что делаешь? Вон там мое пальто, Сережа...

Он выдернул из тесноты одежды на вешалке ее пальто и, помогая одеться, увидел на ее шее, над шерстяным воротом свитера, светлые завитки волос и, до спазмы в горле весь овеянный всепрощающей мучительной нежностью, прижался к ним губами.

— Нина, быстрей!

— Хорошо. Иди вперед, я закрою...

Она с таинственным видом пошла на цыпочках, щелкнула замком, пропустила Сергея вперед на лестничную площадку, и здесь, исступленно обнявшись, они несколько секунд стояли и целовались в тишине под неяркой, запыленной лампочкой перед дверью. Дом праздновал; где-то на нижнем этаже приглушенно звучала музыка.

— Идем...

— Быстрей! Внизу тройка, медвежья полсть и бубенцы!

Тихо смеясь, она схватила его за руку, они ринулись вниз, перепрыгивая через обшарпанные ступени лестницы, наполняя лестницу гулом, и только на первом этаже, не освещенном лампочкой, Нина, переводя дыхание, едва выговорила, наклоняя голову Сергея к своему лицу:

— Куда ты хочешь меня вести?

— А ты куда хочешь?

— Куда ты.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Константин вернулся на рассвете, уже серели окна,— пошатываясь, ощупью поднялся по лестнице спящей квартиры, с пьяной осторожностью открыл дверь в комнату и, не зажигая света, долго пил из графина воду жадными глотками. Затем упал на диван, не сняв костюма, лежал неподвижно в темноте, его отвратительно подташнивало, и он не скоро уснул.

Проснулся поздним утром — болело, ломило в висках, мерзкий, пороховой вкус был во рту.

— Э-э, идиот! — сказал он вслух, застонав, будто в чем-то был смертельно виноват.

Угнетало его, не давало покоя то, что остаток ночи провел в совершенно незнакомой компании — возвращаясь после встречи Нового года домой, неожиданно вспомнил адрес Зои, с которой познакомился недавно, поехал на окраину Москвы. Там, в чужой компании, много пил, ругался с хмельными крикливыми парнями, потом вывел робко отталкивающую его Зою в переднюю, целовал ее шею, грудь сквозь расстегнутую кофточку, она говорила ему, что сейчас не нужно, что сюда войдут, а он убеждал ее куда-то вместе поехать.

«Что я там наделал? Что я там натворил?» —ворочаясь на диване, стал вспоминать Константин, но помнил лишь смутные лица этой чужой компании, крик, хохот, ощущение своих плоских, тогда казавшихся блистательными острот, и эту переднюю, испуганно сопротивляющиеся глаза Зои, ее испуганный шепот: «Костенька, потом, потом...»

«Что я наделал, что натворил, идиот в квадрате! Зачем? — подумал он, испытывая брезгливость к себе, ко всему тому, что было в конце ночи.— Зачем я живу на свете таким непроходимым ослом? Именно ослом, животным!..»

С наслаждением уничтожая себя, он сам казался себе глупым, плоским, ничтожным и не искал, не находил оправдания тому, что было вчера. В его памяти одним ясным пятном задерживалось начало вечера: елка, Ася, мандарины, снегопад на улице, приход в студенческую компанию. Но все это затмевалось, все было убито поздним, черным, ядовито-черным, уже пьяным, бессмысленным.

Хотелось пить. Он потянулся к графину, который почему-то стоял на полу, начал пить, разливая воду на грудь, глотками сбивая дыхание, обессиленно поставил графин на пол. Не вставая, долго искал по карманам папиросы, пачка оказалась разорванной, смятой, пустой. Он швырнул ее без облегчения, вспоминая, где можно найти окурок. «Бычки» могли быть на книжных полках, где-нибудь в уголке: читая перед сном, загасил папиросу, оставил на всякий случай.

Константин приподнялся, пошарил на полках над диваном и не нашел «бычка». Потом, расслабленный, он лежал в утренней тишине дома, слушал его звуки с болезненной отчетливостью, силясь понять смысл вчераш-

ней пьянки, этого утра, тишины и этой омерзительной минуты похмельного лежания на диване.

«Что делать? Что делать?» — думал он, глядя в потолок, на однообразную простоту электрического шнура, на сеть извилистых трещинок, освещенных тихим зимним солнцем.

Внизу, в безмолвии дома, на кухне глухо, как из-под воды, загремела кастрюля или сковорода, донеслись голоса: должно быть, художник Мукомолов жарил обычную свою утреннюю яичницу из американского порошка, нежно ссорился с женой. Константин представил запах подгоревшей яичницы, и его затошнило.

Он застонал, озирая комнату: громоздкий книжный шкаф, пожелтевшие от табачного дыма шторы, разбросанные американские и английские журналы на стульях, увидел валявшиеся на полу окурки, обугленные спички и тоскливо потер лицо, обросшее, несвежее. «Побриться бы, помолодеть, почувствовать надо уверенность. Надеть свежую сорочку, галстук...»

С трудом встал, покачиваясь, отыскал на подоконнике бритвенный прибор, налил в мыльницу холодной воды из графина (в кухню за горячей не было сил идти). Подошел к зеркалу, вгляделся: непонятно чужое, непроспанное, с тонкими усиками и косыми бачками лицо глядело на него неприязненно, мутно.

«Зачем? Для чего я живу? Что делать?» — опять спросил он себя и бросил бритву на подоконник, упал грудью на диван, мысленно повторяя в пыльную духоту валика: «Зоенька, не ломайтесь, не надо осложнять, дорогуша!» «Дорогуша? Как я сказал: не надо осложнять? Пошляк, глупец! «Зоенька, не ломайтесь!..»

Не сразу расслышал — не то поскреблись, не то слабо толкнулся кто-то в дверь из коридора. Затем преувеличенно громко постучали, и он, даже вздрогнув, крикнул:

— Не заперта! Вваливайтесь! — И, вскочив на диване, проговорил осевшим, фальшивым голосом: — Ася? Зачем вы ко мне?..

Ася вошла боком, каблучком решительно закрыла дверь, молча повернулась к нему.

И, ощутив ее внимательное молчание, он на миг с ненавистью снова почувствовал свое лицо, вспомнил ее слова о парикмахерских бачках, растерянно метнул взгляд по беспорядочно разбросанным вещам в комнате, наступил ногой на окурок около дивана. Сказал отрывисто:

— Уходите, Ася! Закройте дверь с той стороны! («И сейчас острю с плоскостью болвана».) Уходите! — попросил он.— Пожалуйста!

Она не уходила, смотрела, нахмурив брови.

— Где Сергей? — спросила она.

— Не знаю. А что стряслось? Пожар? Потоп?

— Он опять не ночевал дома,— сказала она подозрительно.— Я не знаю, что... происходит, не понимаю... Где вы с ним были вчера? Ответьте, пожалуйста, Константин. Где Сергей? Может быть, случилось что?.. Пожалуйста, ответьте прямо! Отец послал меня к вам... Я и сама хочу знать! Почему вы дома, а его нет?

— Случилось? Ну что с ним может случиться, Ася? — сказал Константин наигранно-смешливым тоном, однако ощущая все время, как он противен, неприятен ей, в этой неприбранной комнате, сидящий на диване с помятым лицом.— Ну, может, он влюбился, Ася. Вероятно? Вполне. Какие могут быть тут испуги, опасения и прочая дребедень? Асенька, не надо волноваться. Может быть, он встретил такую женщину... девушку, с которой можно броситься куда угодно очертя голову! И если такую встретил — его счастье. Вы должны просто радоваться, в воздух чепчики бросать...

— Влюбился?

Она приблизилась к дивану, худенькая ее фигурка ожидающе напряглась, а он, проклиная себя, понял, что его защита Сергея была неловка, неубедительна, и, прикрыв руками небритые щеки, проговорил почти беспомощно в ладони:

— Асенька, родная, вы ведь знаете, что я крупный осел и остряк-самоучка. Ничего не знаю, наболтал не думая. Но только с Сергеем все в порядке. Это я знаю.

— До свидания!—Она отошла и через плечо высокомерно сказала ему: — И побрейтесь хоть! И не обманывайте меня. Я люблю правду, а вы всё врете! Почему вы врете?

Константин отнял ладони от лица, вытянул окурок из переполненной пепельницы, но курить его уже было нельзя — раскрошился в пальцах.

И он вдруг почувствовал пустоту оттого, что она уйдет сейчас.

— Ася, подождите,— тыча окурок в пепельницу, хрипло проговорил Константин.— Посидите, а? Ну посидите просто, и все. Не глядите на мою противную рожу, я сам готов по своей витрине трахнуть кулаком, поверь-

те, я отношусь к ней без удовольствия. А вы просто посидите, полистайте журналы, ведь никогда у меня не были. А я побреюсь, и — хотите? — эти баки к черту! Вы ведь ненавидите эти гвардейские баки. Посидите. Хотите, я эти баки... Посидите, Ася...

Слова привычно подбирал полусерьезные, ернические, но голос звучал просительно-мальчишески: нет, ему нужно было живое дыхание в комнате. Он боялся одиночества, боялся остаться сейчас один, казнясь воспоминаниями вчерашней липкой нечистоты, которую хотелось содрать с себя.

Ася независимо отвернулась, разглядывая полки, заставленные пыльными книгами, тихонько, настороженно шевелилась темная коса за спиной.

— Как вы живете странно! Как будто вы здесь не живете! Поставьте графин на тумбочку, ему не место на полу. Возьмите и поставьте! — приказала она.— Это ведь ужас какой-то!

Он поставил. И она спросила так же строго:

— У вас есть какой-нибудь тазик, тряпка, швабра? Ну какие-нибудь орудия производства? — прибавила она тем тоном, который не разрешал ему улыбнуться.

— Ася, ничего не надо!

— Это мое дело. Не командуйте.

— Там, в коридоре, под столом, кажется.

— Я сейчас. А вы брейтесь хоть. У вас ужасно неприятное лицо. Наверно, так и думаете, что вы нравитесь женщинам? — спросила она дерзко и покраснела.

— Асенька, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны,— ответил Константин, привычно пытаясь обратить все в шутку.

Но она пошла к двери, покачивая за плечами косой, стукнула дверью, и наступила тишина.

— Неприятное лицо...— бормотал он, делая злые гримасы в зеркале, намыливая щеки.— Пакостная физиономища... Парикмахерская вывеска... О, как я тебя ненавижу! Баки косые отпустил, болван!

Когда послышался скрип двери, он даже задержал дыхание — увидел в зеркале Асю: она внесла ведро, швабру, милое лицо неприступно хмурилось, и Константин готов был на то, чтобы она хмурилась, презирала, ненавидела его, но только была бы, двигалась, что-то делала здесь. Он смотрел на нее в зеркало, все медленнее водя бритвой по щекам,— и неожиданно ее голос:

— Думаете, я все делаю это с удовольствием? Нет! Мне просто жаль вас — погрязли, утонули в окурках!

— Ася, я сбрил баки, видите, я вас послушался,— с грустным весельем проговорил Константин.— Я не такой уж пропащий человек.

— Поздравляю! Бурные аплодисменты, все встают. Кстати, у вас есть какие-нибудь тапочки? Вы думаете, я буду портить свои единственные туфли?

С намыленной щекой он чрезвычайно поспешно кинулся к дивану, вытащил из-под него стоптанные тапочки, неуверенно покрутил их в руках. Ася, стоя возле ведра, поторопила его:

— Ну давайте! Что вы их разглядываете? Брейтесь!

Он с непривычным замешательством покорно подошел к зеркалу; в глубине его было видно: она, опираясь на швабру, быстро сняла туфли, надела тапочки; потом подтянула юбку, заправила ее за поясок. Он заметил, ноги у нее были прямые, высокие, с сильным подъемом,— и тотчас узкие черные глаза испуганно-гневно скользнули по его лицу в зеркале. Она крикнула, одергивая юбку:

— А ну отвернитесь! Как вам не стыдно!

— Ася, милая...— сказал Константин.

— Какая я вам еще «милая»?

— Ну хорошо, просто Ася, почему вы меня так терпеть не можете? — спросил Константин, уставясь мимо зеркала в стену, с опасением ожидая треска двери позади.

Она помолчала. Она как будто замерла, всматриваясь в его спину.

— Вот что. Идите к окну и добривайтесь наизусть! — подумав, по-взрослому опытно приказала Ася.— И не смейте смотреть в зеркало, что я буду делать! Я не люблю, когда за мной наблюдают.

— Я буду так... как приказано... Только приказывайте.

Он послушно двинулся к окну, сияющему морозно-солнечной насечкой на стекле, вздохнул облегченно, стал добриваться «наизусть», ощупью, слыша ее несильные шаги, плеск воды, мокрый шорох швабры по полу; ее возмущенный голос звучал в его комнате:

— Понимаю: у вас пол заменял пепельницу! Журналы — половую тряпку. А это что за бутылки у стены? Это вы всё выпили? К вам что — приходили всякие женщины?

— Ася!..— взмолился Константин, делая попытку обернуться.

— Пожалуйста, молчите! Я вас не спрашиваю, я все знаю. Если бы я была вашей сестрой, я бы всех ваших знакомых разогнала на четыре стороны. Не разрешила бы гадостей!

«Она девочка! — подумал он с тоской.— Сколько лет мне и сколько ей? Страшная разница!»

— Если бы вы были моей сестрой, Ася!

— Я не хочу быть вашей сестрой!

Она отодвинула с грохотом стул, швабра стукнула о плинтус возле ног Константина, зловеще зашуршала бумага в углу, снова стукнула швабра о плинтус — и сейчас же удивленный голос Аси заставил его обернуться от окна:

— Кто это?

Прислонив швабру к подоконнику, Ася бережно, кончиками пальцев сняла с этажерки маленькую пожелтевшую фотокарточку.

— Ваша мама? Я ее не знала такой... Это ваша мама?

— Мама. Тоже не помню ее такой. Фотокарточку отодрал от какого-то старого документа,— сказал Константин.— Двадцать шестого года.

— Где ваши отец и мать?

— Исчезли.

— Куда исчезли? — еле внятно спросила Ася, не отрывая взгляда от молодой женщины с оживленным лицом, коротко подстриженной под мальчика.— Она очень красивая, мама ваша... Куда они исчезли?

— Люди исчезают тогда, когда умирают или когда их заставляют умирать,— сказал Константин.

— Костя, Костя, Костя, здесь что-то не так, вы что-то не говорите, вы что-то скрываете! — заговорила торопливо Ася.— Пожалуйста, объясните, слышите? Это секрет? Секрет? Я никому...

— Ася, спасибо за полы,— вдруг тихо, преодолевая хрипотцу, выговорил Константин, несмело взял ее руку, смуглую, худенькую, прижал к губам, повторил: — Спасибо. С Новым годом, Асенька!..

— Зачем? — задохнувшись, прошептала Ася.— Вы... зачем? — И, краснея, крикнула уничтожающе: — Никогда этого не делайте! Не смейте!

Он молчал, глядя в пол. Она выбежала, не закрыв дверь.

Он проверил все карманы старых брюк в шкафу — в это утро у него не было денег.

Так начинались все утра после праздников.

Спустя полчаса он надел чистую сорочку, галстук, насвистывая, небрежной походкой сошел по узкой лестнице на первый этаж.

Было одиннадцать часов. Было солнечное утро нового года. На кухне около крана стоял художник Мукомолов в стареньком халате, испачканном красками, скреб ложкой по сковородке. Вода хлестала в раковину, брызгала на халат. Пахло жареной селедкой, от этого запаха Константина чуть подташнивало.

— А-а! — воскликнул Мукомолов, улыбаясь как бы одними заспанными, припухшими веками.— Добрый день, здравствуйте! С Новым годом! С Новым годом, Костя! Как праздновали?

— Все так как-то,— ответил Константин и повернул в коридор, полутемный, теплый, пахнущий пальто и галошами, постучал к Быковым.

Быковы еще завтракали. Сам Петр Иванович, красный, распаренный, в не застегнутой на волосатой груди пижаме, пил, отдуваясь, короткими глотками крепкой заварки чай и одновременно заглядывал в газету. Жена, Серафима Игнатьевна, женщина довольно полная, не первой молодости, намазывала сливочное масло на край пирога, умытое лицо было умиротворенно-добрым, благостным. На столе — графинчик с водкой, колбаса, сыр, раскрытые банки консервов, начатое рыбное заливное — остатки вчерашнего новогоднего вечера.

— Костенька! — певуче сказала Серафима Игнатьевна.— Родной вы наш, голубчик, я вас таким холодцом угощу, вы что-то к нам не заходите! Забыли нас совсем?

Быков поверх газеты глянул на Константина, поставил стакан на блюдце, значительно подвигал кустистыми бровями.

— Немчишки-то опять шевелятся. Н-да-а! А, Константин, голова-то небось трещит? Перегулял, что ли? Не за холодцом он, мать, знать надо,— с пониманием добавил Быков.— Завтракал? Дай-ка, мать, чистую рюмку. У добра молодца глаза красные.

— При виде водки я говорю «нет»,— сказал Константин.— Чаю выпью. Пришел за папиросами. Знаю, у вас где-то были папиросы.

Быков почесал бровь, крякнул с укоряющим удивлением.

— Значит, прогорел, деньги в трубу пустил? Эх, легкая твоя жизнь! Была бы мать, конечно, жива — деньги-то для нее бы берег. Ну ладно, ладно, ничего, я тоже в молодости на боку дырку крутил! Кури, дыми на здоровье!

Быков обтер салфеткой пот с красного лица, шумно отпыхиваясь, вытащил плотное тело из-за стола, склонился к этажерке, достал откуда-то из-под книг коробку папирос, раскрыл ее перед Константином.

— Кури, дыми, «Северная Пальмира». Что, неужто денег-то на папиросы нет? Это как же ты ухитрился деньги-то прогудеть? Эх, беззаботность, беззаботность, Константин! Пей, да голову имей. Налить, что ли? Чтоб хмельная дурь прошла...

Закуривая душистую папиросу, Константин только промычал отрицательно, с отвращением сморщившись при мысли о водке, кивнул рассеянно Серафиме Игнатьевне (она налила ему в огромную чашку горячего крутого чая, придвинула сахарницу).

В комнате Быковых было ощущение тепла, довольства, недавнего праздника, по-зимнему пахло хвоей, серебрилась густой мишурой елка в углу меж окнами; вокруг, теснясь, сияла под солнцем старинная полированная мебель. На полу — толстый и пушистый немецкий ковер зеленел травой, цветистый и тоже немецкий ковер — на диване, повсюду антикварные фарфоровые статуэтки, хрустальные вазы на буфете, бронзовая, комиссионного вида настольная лампа: немецкая овчарка задранным вверх носом поддерживает голубой купол абажура — безвкусица и неумелое стремление к крепкой и прочной красоте создавали этот странный добротный уют.

— А где ж твой приятель, неразлейвода, Сергей-то твой? — спрашивал Быков, истово прихлебывая из стакана.— Иль врозь?

— Сегодня — да. Сегодня я в одиночестве,— сказал Константин, положил папиросу на край блюдечка, стал размешивать сахар в чашке.

Быков между тем аккуратно взял папиросу, переложил ее с той же аккуратностью в пепельницу, благодушно закряхтел.

— Оно, приятели-то, конечно, хорошо, да семья лучше. Жениться бы тебе надо. А то деньги туда-сюда мота-

ешь, а цели нет. Когда жена в доме, есть куда деньги-то нести. Помочь, что ли, жениться-то? — Быков, весь вспотев, промокнул багровый лоб салфеткой.— Я тебе на фабрике кралю такую подыщу — пальчики пообкусишь. У нас девчат хороших — табунами ходят. Комната у тебя есть. Да вот глаза родительского на тебя нет. А я родителев твоих прекрасно знал. (Серафима Игнатьевна вздохом подняла, опустила над краем стола полную грудь.) Знал, м-да... Интеллигентные были люди...

— Превосходно, благодетель вы мой! — воскликнул Константин, делая вид, что от радости захлебнулся чаем.— Как это прелестно — коммерческий директор сват у своего шофера! Это демократично. Я заранее троекратно благодарю вас!

И, сдерживая подмывающую веселую злость, притворяясь через меру растроганным, пустил папиросный дым кольцами к потолку; разговор этот занимал его.

— Смеешься, никак? Или в себя не пришел после похмелья-то? — сурово спросил Быков.— У меня образование не такое, как у тебя, классов, институтов не кончал. У меня опыт вот где! — Он похлопал звучно по своей толстой короткой шее.— Все из практической жизни, из уважения к хорошим людям, к государству. Вот как оно складывалось. Большого не достиг, в министры не вышел, а по хозяйственной части, сам знаешь, конкурентов у меня мало. У меня фабрика ни разу без материалов, сырья не простаивала. Нету у меня на поприще снабжения конкурентов. А все от опыта. Так или не так? Так что ж ты дураком лыбишься? Мало я тебе добра сделал? Только все ведь в трубу пускаешь! Денег огребаешь кучу! Левачить разрешаю... И все в трубу.

Константин с притворным ужасом округлил глаза.

— Да что вы, Петр Иванович! Какие тут улыбки? Смех сквозь слезы. «Над кем смеетесь?» Мне хочется хохотать над собой до слез. Добра вы мне сделали много. Действительно. Соглашаюсь. Но, как говорят одесситы, разрешите мне посмотреть в ваше доброе, честное, открытое лицо и, вы меня очень простите, спросить: а вы плохо живете, голодаете?

Серафима Игнатьевна прекратила грызть чайный сухарик, заморгала веками на Константина, на медленно багровеющего Быкова, вмешалась обеспокоенно:

— Петя... Костя... поговорили бы о чем-нибудь дру-

гом. Костя, вы всегда интересно рассказываете... Где вы праздник встречали? Мы вчера хотели вас пригласить. Петя поднялся к вам, постучал — вас не оказалось. Мы были одни. Дочь обещала на праздники из Ленинграда приехать — не приехала...

— Эх, шалопут ты, шалопут! Ты посмотри на него! Полюбуйся нахальством,— укоризненно покрутил головой Быков.— Я ль тебе добра не желаю? Вот она, благодарность! Спасибо. Я, значит, плох? С фронта без профессии вернулся, я тебя в шоферы устроил. На машине на своей, как на собственной, ездишь. Левака зарабатываешь — разрешаю, а? Потому что я тебе заместо отца. Или этот,— он неприязненно пошевелил в воздухе пальцами,— Сергеев папаша помогал тебе? Ведь этому дай волю, с дерьмом меня съедят и фамилию не спросят. А все от зависти: мол, честно, хорошо живу. И ты туда же... Смешочки!

— Бывает прорыв юмора... Психология — вещь тонкая, не будем бросаться в дебри, заплутаемся в трех соснах,— вежливо возразил Константин.— Я слегка запутался и — упаси боже — никого не вывожу на чистую воду. Знаком с человеческими слабостями. Благодарю за папиросы. Мне очень было приятно...

Он чрезмерно ласково улыбнулся.

— Запутался? У тебя что — машину задержали? — Быков не без тревоги посмотрел Константину в усики, под которыми блестели ровные зубы.— ОБХСС?

— О нет, не это!

— Смеешься, значит, щенок эдакий,— обозлился Быков.— А ты запомни — даю жить всем. А на ногу наступишь — меня не узнаешь. Клевету не прощаю.

— О Петр Иванович! Я ведь люблю жизнь. Я ведь три года мерз в окопах! — засмеялся Константин.— А с вами — как за каменной стеной!

Он вышел от Быковых с ненавистью к своей наигранной веселости и вместе чувствуя облегчение оттого, что не попросил денег, за которыми шел.

Был первый день тысяча девятьсот сорок шестого, уже невоенного, года.

Вечером он зашел к Сергею.

— Слушай, осточертело мне все. Обрыдло, плешь переело. Может быть, рвануть в твое высшее учебное заведение? А как там отношение к фронтовикам? Соответствующее?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1949

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На углу под фонарем Константин прочитал название улицы, потом уверенно подошел к низкому забору; за ним одноэтажный домик смутно белел в зарослях акаций, желтоватый свет едва просачивался сквозь листву. Здесь, на Островидова, пахло сладковатым теплом, как пахло на всех ночных улицах Одессы, когда он от вокзала шел в лунной тени безлюдных тротуаров, нагруженный двумя чемоданами.

Он приехал из Москвы, бросив все, приехал загореть на южном солнце, забыв обо всем, поваляться на прокаленном песке пляжей и, обсыпаясь горячим песком, глядеть на постоянно меняющееся под светоносным небом теплое море, а вечером, надев белую сорочку, подчеркивающую черноту лица, фланировать по знаменитой Дерибасовской, знакомясь с темноволосыми одесситками, и пить холодное вино, и есть мороженое на террасах летних, увитых плющом кафе.

Он приехал сюда, думая об этой беспечной курортной жизни, которую во всей полноте своей представлял в раскисшей дождями Москве. Его потянуло сюда потому, что был в Одессе однажды после войны, и еще потому, что Быков в разговоре с ним настоятельно посоветовал поехать именно в Одессу, поселиться у хорошо знакомых людей, дальних родственников, и сам помог Константину добиться скорого получения плацкартного билета — в московских кассах стояли нескончаемые очереди.

Константин нашел этот домик на Островидова, 19, во втором часу ночи и, потный, уставший от дорожных разговоров, от длительной ходьбы по городу, от тяжести че-

моданов, свистнул с облегчением, ногой пнул провинциально скрипнувшую калитку, вошел во двор. Внятно потянуло сыростью деревянных сараев, этот запах тотчас смыло влажно-теплой струей воздуха — мягко и душисто дуло из глубины черного сада.

В тишине, гремя цепью по проволоке, огромная собака выскочила из-за сарая, начала прыгать, яростно вставать на задние лапы, залилась хриплым лаем.

— Ах ты, милая моя, сволочь ты эдакая! Брысь отсюда! — Константин угрожающе махнул чемоданами, шагая по тропке меж кустов.

— Томи, цыц! На место! — крикнул голос от крыльца, и оборвался лай, тише зазвенела цепь; и этот же голос спросил: — Кто там?

— Я не ошибся — Островидова, девятнадцать? Что у вас за город? Сплошной кошмар — ни одного такси! — сказал фамильярно Константин.— Пер от вокзала пешком. Здравствуйте. Будем знакомы. Константин,— прибавил он, завидев фигуру человека на крыльце: забелела в темноте рубашка.

— Прошу.— Человек сошел со ступенек; разгорелся, погас уголек папиросы, осветив мясистый нос.— Заходите! Я вас давно жду.

— Спасибо за гостеприимство. Одесса всегда славилась... Благодарю!

Человек этот пропустил Константина на террасу, закрыл на ключ дверь, затем сказал: «Идите прямо»,— и через закоулок коридора ввел его в низкую, неярко освещенную запыленной люстрой комнатку со старым письменным столом, потертым диваном, на котором лежали свернутая простыня и подушка. Константин, испытывая удовлетворение, бросил в угол чемоданы, с полуулыбкой поклонился хозяину.

— Как разрешите вас?..

Высокого роста, в несвежей сатиновой рубашке, висевшей на худых плечах, хозяин дома был медлителен, стоял у двери, заложив одну руку за подтяжку, на угрюмо-небритом лице его было выражение нетерпения. Он сказал наконец прокуренным голосом:

— Аверьянов. Это ваша комната. Устраивайтесь. Получил телеграмму днем. Я к вашим услугам.

Константин сел на диван, закинул ногу на ногу.

— Ну прекрасно! Эта комнатка мне подойдет. Насчет платы договоримся. Далеко отсюда море?

Аверьянов мимолётно покосился на Константина.

— Море вы найдете.— И остановил внимание на чемоданах.— Петр Иванович писал мне...

— Ах да! Вот этот чемоданчик в чехле прислал Быков,— спохватился Константин.— Кажется, здесь консервы, масло... Что-то в этом роде. У вас тут плохо с продуктами? Просто цирк — ведь в Одессе никогда плохо не жили! Кошмары!

— А я думал, балагуры только у нас в Одессе...

Аверьянов угрюмо скомкал улыбку, поставил чемодан в сером зашитом чехле на письменный стол и, вынув из кармана перочинный ножичек, ловким движением полоснул лезвием по швам чехла. Спросил:

— А ключ позвольте?

— Его у меня нет. Я не открываю чужие чемоданы,— ответил Константин, засмеявшись, и порылся в кармане.— Попробуйте. Может, мой подойдет. Ключи — стандарт. Жалкий примитив.

— Попробуем.— Аверьянов взял у Константина ключик, не торопясь примерил его к замочкам — они щелкнули,— откинул крышку, заглянул с мрачным интересом.

— Фу-ты, ну-ты...— выдохнул он, роясь в чемодане.— Все не то, все не то... Неужели нельзя понять, что Одесса — южный город? — Он еще раз ковырнул пальцем внутри чемодана, захлопнул крышку, недовольный.— Петр Иванович живет как на Марсе. Не догадывается, как трудно! Чесуча, чесуча идет!

Аверьянов со сдержанным раздражением выговорил это, и Константин, несколько озадаченный, спросил:

— Что трудно? Какая чесуча?

— Совсем обыкновенная. На нее спрос.— Аверьянов, казалось, усиленно соображая что-то, заскреб щетину на подбородке.— А что прикажете мне делать с бостоном? Не сезон, совсем не сезон!

— Каким еще бостоном? — спросил Константин.— Что вы меня, как лопуха, за нос тянете?

— Э-э, подождите,— пробормотал Аверьянов.— Я сейчас.

Он приоткрыл дверь, на цыпочках вышел, унося чемодан, и Константин, весь напрягаясь от охватившего его беспокойства, уловил ватные шаги в тишине дома, вязкий шепот, мышиную возню за стеной и потом, чувствуя холодок по спине от мысли, мелькнувшей в его голове, оцепенело сидел на диване — веселое ощущение приезда

мгновенно стерлось, давило мертвенное безмолвие дома. «Значит, чесуча, чесуча? Ах, чесуча!..» — подумал он, ужасаясь острой своей догадке; и здесь без стука вошел на носках Аверьянов, протянул толстый пакет — сверток в газете,— сказал своим прокуренным голосом:

— Это Петру Ивановичу. У вас есть надежный карман?

— Карманы как карманы. Давайте!

Константин пощупал плотный пакет, кинул его на крышку чемодана и спросил с усмешкой:

— Надеюсь, это не бриллианты, не золото ацтеков? Если бриллианты по два карата, то завтра впломбируйте их мне в зубы. Так делают международные контрабандисты-спекулянты. Что в этом пакете?

Аверьянов выкатил выцветшие стоячие глаза, лицо его стало подозрительным, обрюзгшим.

— Вы шутник.— Вытянул из шкафчика на стол начатую четвертинку, хлеб, тарелочку с нарезанной колбасой.— Десять тысяч. Это мало, считаете?

— Что-о? — Константин встал.— А ну принесите сюда чемодан!

Во дворе залаяла собака. Под окном, в саду, прозвенела, заскользила по проволоке цепь, донесся близкий топот собачьих лап. Аверьянов, прислушиваясь к лаю во дворе, тяжело задышал носом: было слышно, как кто-то завозился, по-женски протяжно вздохнул за деревянной стеной.

Собачий лай смолк. Звенели цикады в саду.

Аверьянов поправил занавеску на окне, засипел шепотом:

— Вы что, маленький? Сорок девятый год — не сорок шестой. Не понимаете? Опасно! Вчера взяли с бостоном Кутепова... На вокзале взяли...

— Я сказал: принесите сюда чемодан! — уже бешено крикнул Константин и нечетко, как сквозь дым, увидел сгорбленную и боком семенящую к двери узкоплечую фигуру Аверьянова — и сразу сомкнулась тишина, будто дом опустился в глубокую, сдавившую дыхание воду. «Чесуча и бостон — ах, как здорово!»

Затем шорох шагов за стеной, и так же боком протиснулся в дверь Аверьянов, без уверенности поставил чемодан перед Константином, зашептал:

— Вы что, сумасшедший? Кто считает копейка в копейку до реализации?

— Идите к...— грубо выругался Константин.

И ударом ноги раскрыл крышку чемодана, увидел на дне его, за смещенными банками консервов, свернутые отрезы черной материи и сейчас же вспомнил, как Быков при нем, аккуратно укладывая эти банки, говорил ворчливо, что дальний родственник его рад будет этому продуктовому подарочку из столичных магазинов.

— Так! — сказал Константин и, подхватив с крышки чемодана плотный пакет, втиснул его в боковой карман.— Все ясно. Ну что ж, прекрасно живем. Может быть, вы мне объясните, далеко ли мне топать до ОБХСС?

— Шутите, шутите, да знайте меру! — Аверьянов судорожно попытался улыбнуться.— Вы шутите, как сумасшедший...

— Я был идиот, когда считал, что везу продукты голодающему родственничку,— произнес Константин, чувствуя, как все тело его окатило нервным знобящим холодком.— Не думал, что буду сбывать нецензурный товарик. Вот так, господин Аверьянов. Наивняков нет. ОБХСС оплакивает вас и толстячка Быкова. Куда денешься — закон!

Аверьянов в растерянности жевал губами, машинально оттягивая подтяжки, внезапно небритое морщинистое лицо его задергалось, запрыгал подбородок,— и он бессильно, напрягая жилистое горло, заплакал; слезы потекли по щекам, застревая в щетине. Он умоляюще и жалко глядел на Константина сквозь влагу, наползающую на глаза.

— Что? Что с вами такое? — крикнул Константин.

— Я прошу, прошу,— кусая пальцы, придушенно стал вскрикивать Аверьянов, отклоняясь к стене.— Я прошу... Прошу... У меня жена, семья...

Константин поднял свой чемодан, скомандовал Аверьянову:

— А ну откройте дверь! Куда выйти?

— Я прошу вас... У меня жена, дети... не хватает на жизнь, поймите!..

— Ваня! Ванечка! — взвизгнул пронзительный голос за стеной.

— Это жена... Я прошу вас, прошу...

Аверьянов порывисто впился как бы закостеневшими пальцами в рукав Константина, потянул его к двери, во тьму сыро пахнущего плесенью коридора, говоря с задышкой:

— Я умоляю, не надо, не надо... Я сейчас выведу вас... я сейчас...

Наступая в проходе на заскрипевшие корзины, задев плащом за что-то тупое на стене, Константин ринулся за ним по коридору, ослепнув в потемках; потом спереди хлынул из раскрытой двери серый свет, мелькнули там искаженные щеки, губы Аверьянова, и Константин вывалился в мокрые кусты у крыльца, захлеставшие по голове, по плечам ледяным ливнем росы.

Он кинулся по саду напрямик, к забору, утопая в рыхлых клумбах, плохо видя в кустах; заросли проволокой цеплялись за ноги, влажные ветви били по коленям, хватали, отбрасывали назад чемодан, ставший стопудовым.

«Неужели так глупо, так глупо? Нет, нет! Не может быть, чтобы так глупо!.. Что же это я?» — задыхаясь, думал Константин и почти наткнулся на штакетник за акациями, различил деревянную калитку и ударил по ней носком ботинка. Крик Аверьянова толкнул его в затылок:

— Я умоляю, прошу!..

— Черт с вами... Живите...— ответил со злостью Константин, не оборачиваясь.— Черт с вами...

И вышел на сумеречную перед рассветом улицу, темно заросшую каштанами, зашагал по пустынному тротуару под чужими окнами, оглушая себя стуком своих шагов; и только когда впереди заблестел росой незнакомый, сплошь заросший травой пустырь, каркас разрушенного дома, тут только он остановился, обливаясь пóтом, не зная, куда пойти.

«Куда? Где переночевать? Куда теперь?..» — соображал он и, поспешно отряхнув мокрые, облепленные лепестками брюки, двинулся торопливыми шагами наугад — к вокзалу.

Когда он подходил к вокзалу, небо над домами краснело, нежно золотились кроны каштанов вдоль улицы, заспанные дворники звучно шаркали метлами по брусчатке мостовых.

И это тихое летнее утро с легчайшей розоватостью прозрачного воздуха немного освежило Константина.

Среди толчеи, смешанных звуков и запахов утреннего вокзала Константин окончательно пришел в себя — длинная очередь шумно толпилась у кассы на Москву; окошечко было наглухо закрыто, висело объявление:

«Касса справок не дает». В очереди ему сказали, что билетов на сегодня нет, что стоят за семь суток, что, возможно, будет на сегодня лишь несколько мест за час до отхода ночного поезда. А он твердо знал, что должен был уехать отсюда, уехать сегодня, чего бы это ни стоило, уехать хоть в тамбуре, хоть на крыше, хоть на тормозной площадке товарного вагона.

Четверть часа спустя он сдал чемодан в камеру хранения и теперь со спокойным лицом вышел на привокзальную площадь, уже людную, уже южно блестевшую солнцем, жарким лаком вымытых такси, стеклами ранних и еще свободных автобусов, и некоторое время постоял на площади, окаймленной кипевшей зеленью.

Еще не зная, что делать, он перешел площадь, затем на привокзальной улице сел в маленький полупустой трамвай, поехал к морю, в Аркадию. Трамвайчик, гремя, проворно катился в утренне-прохладном зеленом туннеле каштанов, из открытых окон упруго дул в лицо легкий душистый ветер, и Константин думал: «Убить время до вечера»...

Он заплыл далеко от берега в теплой полуденной воде.

Впереди на море серебрились солнечные поля, темные и сияющие косяки уходили до туго натянутой нити горизонта; там шел, дымил в синей бесконечности белейший пароход, постепенно опускался за край знойной синевы.

Константин плыл не спеша, наслаждаясь запахом воды, движением своего сильного тела, своим дыханием; зеркальное сверкание солнца на мелких волнах щекочуще ослепляло его. Он с фырканьем окунался в это игривое сверкание, в эту свежесть и влагу; лицо, волосы были мокрыми, мокрыми были ресницы, и все сияло вокруг, расплывалось в мягкой радуге. Он увидел, как зеленая вода обтекала его покрасневшие от долгого лежания на песке плечи, и вдруг задохнулся от полновесного ощущения молодого здоровья, от удовольствия жить, дышать, чувствовать свое послушное тело.

«Неужели все так могло кончиться?» — подумал он, и на секунду исчез радужный блеск волн, сразу почувствовал под собой черную, холодную толщу глубины. Тогда он перевернулся на спину, отдыхая, и его охватило безграничное летнее небо с белыми дымкàми облаков в выси,

«Что я хочу и что я вообще хочу?» — спросил он себя и, вспомнив ночь, озяб в воде и злыми рывками, шумно выплевывая воду, поплыл к берегу в неосознанном порыве к людям.

Толчок необъяснимого одиночества гнал его к берегу — он плыл все быстрее, потеряв ровное дыхание; приближались ажурные здания санаториев, белизна тентов на пляже, накатывало оттуда теплым ароматом зеленых парков, а он, отплевываясь, чувствовал только рвотный вкус воды во рту и лихорадочно торопился ощутить твердое дно под ногами.

Когда, обессилев, пошатываясь, выходил из моря, здесь на мели пестрела, переливаясь под зеленой водой, галька, шуршала и звенела, перекатываемая волной, ударяла по ногам. А он лег животом на горячий песок, думая: «Мне бы еще раз встретиться с Быковым! Доехать до Москвы!..»

Он минут пять полежал так лицом вниз и повернулся на бок.

Стало немного легче. Вокруг гудение пляжа, прокаленные солнцем теневые зонтики, нагие шоколадные тела, смех девушек в купальных костюмах и резиновых шапочках, играющих в волейбол на песке, визг детей, барахтающихся в воде, знойное море, запах мокрых топчанов, на которых сидели во влажных плавках парни, стучали костяшками домино, из репродуктора над санаторием лились песенки джаза — все говорило о жизни праздной, курортной, южной.

В репродукторе защелкало, кашлянуло, ломкий голос заговорил солидно и бесстрастно:

— Внимание! Алик из Москвы, у входа на пляж вас ждет Надя с улицы Горького.

— Гражданка Желтоногова, у входа в санаторий вас ожидают муж и товарищ. Повторяю...

«Одесса»,— подумал Константин.

Тогда он встал, поправил облепленные песком плавки, подошел к загорелым девушкам в купальных шапочках, обвораживающе усмехнулся:

— Среди вас нет гражданки Желтоноговой? Ах нет! Тогда разрешите постучать с вами в волейбол?

Ему не удалось достать билет, но удалось сесть на ночной поезд — его улыбка, вид разбитного парня, его

ордена смягчили неприступную суровость проводницы. Его даже впустили в купированный вагон, на сидячее место, и он, довольный, радостный, потом уже, далеко за Одессой, сидя в купе этой молодой проводницы, сказал с иронически игравшей под усиками улыбкой:

— Не имей сто рублей, не имей сто друзей, а имей одну нахальную морду. Как вы считаете, дорогуша, у меня крупно наглая морда?

— Ну что вы! — Она прыснула стыдливым и намекающим смехом.— Вы очень интересный мужчина!..

Поезд несся сквозь ночную тьму; тьма эта густо шла за черными стеклами, в ярко освещенном спальном вагоне было комфортабельно, чисто, тепло, стрекотал вентилятор, вбирая папиросный дым, цветной коврик вдоль всего вагона мягко и приятно пружинил, из открытых купе уютно, сонно зеленели настольные лампы, дребезжали там ложечки в пустых стаканах, шуршали газеты, в одном играли в преферанс, звучали голоса, смех, а непроглядная темнота мчалась и мчалась мимо света окон, и шевелились от дрожания вагона белые занавески.

Константин, заглядывая в купе, улыбаясь, прошел до конца коридора и здесь, в туалете с качающимся от скорости полом, опершись плечом о зыбкую стену, зло вынул толстый пакет из внутреннего кармана пиджака — он точно жег ему грудь, этот пакет.

Он нетерпеливо разорвал газету, увидел пачку сотен, тут же проверил замок в туалете и бегло сосчитал деньги. Здесь было десять тысяч.

— Так,— сказал он,— все точно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Москве хлестал по улицам дождь, сильный, грозовой, неистово-летний, свинцово кипела вода на тротуарах, буйно плескала в канализационные колодцы. Потоки, бурля, катились по мостовой, мутными реками залили трамвайные рельсы, и трамваи, потонувшие колесами в наводнении, остановились на перекрестках; гроза согнала людей в ворота, к подъездам, прижала к витринам магазинов.

Константин, не доехав остановку, сошел с троллейбуса на Зацепе и целый квартал бежал под дождем, не разбирая луж, проваливаясь по щиколотку в дождевые

озера, но, когда, до нитки промокший, вбежал в свой переулок, тяжко отпыхиваясь, насильно замедлил шаги, повторяя мысленно: «Привет, привет, Петр Иванович! Вот я, кажется, и вернулся».

Он был рад, что маленький их двор, весь в пелене летящей сверху воды, был пуст,— никто не стоял, не прятался от дождя под навесом крылец и никто не видел его, он был рад, что дверь парадного была открыта, не надо было звонить. Он шагнул через порог в полутемный коридор, стремительно прошел мимо двери кухни и, не постучав, вошел к Быковым, на пороге выговорил, раздувая ноздри:

— Где Петр Иванович? Где он?

Серафима Игнатьевна в ситцевом переднике сидела около обеденного стола, грустно, медленно протирала полотенцем посуду. В комнате было сумрачно, и сумрачно было на улице; быстрые струи барабанили, стекали по стеклу; бурлило, шепелявило в водосточной трубе под окном.

Увидев в дверях Константина, промокшего, в помятом плаще, облепленном влажными пятнами грязи, увидев его набухшие грязные ботинки, набрякшие водой брюки, она ахнула, уронила полотенце на посуду, зашевелила мягким ртом:

— Костенька... Костя... Что это?.. Что это?

— К дьяволу «Костенька»! — крикнул он, швыряя заляпанный грязью чемодан на ковер.— Где этот паук? Я спрашиваю — где? Где эта харя?

— Костя... Костенька, что ты? Что ты... на работе он...— поднеся к подбородку пухлые руки, как бы защищаясь, выговорила Серафима Игнатьевна.— Что, что ты?.. Разденься! Мокрый весь, господи!

— Ладно,— сказал Константин, посмотрел на свои ноги и вытер один ботинок о ковер на полу.— Ладно,— обещающе повторил он и вытер о ковер другую ногу.— Эта тряпка, кажется, стоит тысяч пять. Все равно — ворованная. Ясно? Дошло? А я подожду вашего супруга! — Он схватил чемодан, оглянулся бешеными глазами.— У меня есть время, милая Серафима Игнатьевна. Я подожду!

В коридоре он тоскливо замялся против двери Вохминцевых, не решаясь войти, пытаясь успокоиться, потом все же постучал несильно.

— Можно?

— Войдите.

Сергей лежал на диване, листал толстый учебник по горным машинам и одновременно, наматывая волосы на палец, сбоку заглядывал в тетрадь. Константин сначала, чуть-чуть приоткрыв дверь, увидел его утомленное лицо и пепельницу на стуле, заваленную окурками, вошел совсем бесшумно, спросил шепотом:

— Здорóво. Ты один?.. Один?..

Отбросив книгу, Сергей пристально взглянул на Константина, опустил ноги с дивана, изумленный.

— Подожди, насколько я понимаю, ты удрал в Одессу? Ты откуда? Ну и видик у тебя, хоть выжимай! Что там, землетрясение? Раздевайся!

— Один? Больше... никого?.. — переспросил шепотом Константин, скашивая брови на дверь в другую комнату.— Аси и отца нет?

— Никого. Да раздевайся! Чихать начнешь завтра, как лошадь. Вон влезай в отцовскую пижаму! — грубовато приказал Сергей.— Ну что случилось? И вообще, что напорол с институтом?

— Плащ сниму, пижаму не надо, а под копыта дай старую газету — твоя Ася насмерть убьет за лужи! — И Константина передернуло.— Вот, Серега! Если я сегодня не изобью Быкова,— понял? — буду последняя сволочь. Я влип, как цыпленок...

— Что? Куда влип? — Сергей нахмурился.— Говори яснее!

— Чемоданчик, который он мне сунул для дальнего родственничка, был не с маслом, не с хлебом — с отрезами бостона! И этот домик, куда я приехал,— спекулянтский. Удрал, как заяц, фамилию свою забыв!

— Дурак ты чертов! — выругался Сергей.— Совсем ошалел, милый? Чемодан чужой повез... Ты что, не знал, что такое Быков?

— Пойдем,— попросил Константин, пощипывая усики.— Пойдем в павильон к Шурочке. Пообедаем. И поговорим...

— Никуда не пойдем!

Сгущались в комнате сумерки, дождь перестал, и лужи во дворе, влажный асфальт, мокрые крыши домов блестели, отражая после грозы тихое вечереющее небо.

Сергей открыл форточку, свежо потянуло речной сыростью, звучно шлепались об асфальт редкие капли, обрываясь с карнизов. Он повторил:

— Никуда не пойдем. Пообедаем здесь. И поговорим здесь. Ты мне еще ни черта не объяснил, почему удрал из института. Завтра сдавать горные машины. Знаешь это? Или спятил?

Константин с ироническим выражением полистал толстый учебник, насмешливо заглянул в записи Сергея, сделал движение головой, будто кланяясь в порыве светской благодарности.

— Целую ручки, пан студент, целую ручки... Вечер добрый. Желаю пятерку. Что ж,— он вежливо улыбнулся,— каждый умирает в одиночку. Но если уж ты стал равнодушным — наступил конец света. Целую ручки.— И, язвительно кланяясь, потоптался на газете, зашуршавшей под его грязными ботинками.

Сергей, не расположенный к шуткам, ударил его по плечу, заставил сесть на стул.

— Иди... знаешь куда? Гарольд Ллойд, юморист копеечный! Сиди, никуда не уйдешь. Пока сам не выгоню, понял? Будем обедать.

Но он не прогнал Константина ни через час, ни через два — сидели после обеда и разговаривали уже при электрическом свете, когда вспыхнули первые фонари на улице и во дворе зажглись в лужах оранжевые квадраты окон.

— Так где эти деньги? — спросил Сергей.

— Вот. Десять тысяч.— Константин достал из внутреннего кармана пачку, положил на стол.— Вот они, десять косых.

— Спрячь,— быстро приказал Сергей,— кажется, отец!..

Хлопнула дверь парадного, шаги послышались в коридоре, потом — покашливание за стеной, стук снимаемых галош подле вешалки.

— Отцу ни слова,— предупредил Сергей.— Ясно?

— А! Знакомые все лица, и Костя у нас! — сказал Николай Григорьевич, входя с потертым портфелем и газетой в руке и близоруко приглядываясь.— Что-то ты редкий у нас гость! Обедаете? Отлично. Я перекусил в заводской столовой.

— Что значит «перекусил»? — возразил Сергей.— Когда?

Николай Григорьевич как-то постарел, и особенно заметна была после работы болезненная бледность, тени усталости вокруг глаз, и густо серебрились виски, сединой были тронуты волосы. В последние дни был он

молчалив, рассеян, замкнут, тайно пил утром и перед сном какие-то ядовито пахнущие капли (пузырек с лекарством прятал за книгами в шкафу). По вечерам подолгу читал газеты, а ночью, ворочаясь, скрипел пружинами, при свете настольной лампы все листал красные тома Ленина, делал на страницах отметки ногтем, засыпал поздно.

— Ты сел бы с нами, отец,— сказал Сергей недовольно.— Я сам готовил обед. Консервированый борщ.

— И я вас давно не видел,— сказал Константин.

— Не стоит, я сыт. Не буду мешать.— Николай Григорьевич с предупредительностью кивнул обоим, прошел в другую комнату, за дверью тихо скрипнул стул, зашелестели листы газеты.

— Старик, кажется, болен, но виду не подает,— сказал Сергей вполголоса.— Все время молчит.

— Так, может, для старика схлопотать профессора? — предложил Константин.— Завозил одному дрова в сорок пятом. Телефон есть. Терапевт. Из поликлиники Семашко. Блат. А-а, вот и мой шеф! С фабрики приперся. Наконец-то!..— вдруг сказал он и, привставая, словно бы поставил кулаком печать на столе.

Донеслись бухание парадной двери, громкое перхание, топот ног, с которых сбивали грязь, грузные шаги по коридору — и тотчас медленный темный румянец пятнами пошел по скулам Константина.

— Это он. Я пошел!

— Подожди! — задержал его Сергей и вылез из-за стола.— Что ему скажешь? Что будешь делать? Бить морду?

— Н-не знаю!.. Может быть. Здесь я не ручаюсь! — Константин блеснул заострившимися глазами на Сергея.— Что это за осторожность, Сереженька? Кажется, тогда, в «Астории», этой осторожности не было?

— Подожди! Вместе пойдем!..

В это время раздался басовитый, раскатистый голос из коридора: «Костя, Константин!» — затем вибрирующий стук в дверь, и в комнату суетливо втиснулся в неснятом, защитного цвета полурасстегнутом пальто Быков; от свежего уличного воздуха квадратное лицо розово; брови расползались в настороженно-радостном удивлении; развязанный шарф болтался, свисал с короткой его шеи.

— Константин, вернулся, шут тебя возьми? Ты чего же от Серафимы Игнатьевны удрал, шалопай эдакий? —

вскричал Быков, весь излучая добродушие, приятность, одни складки морщин неспокойно затрепетали над бровями.— А ну идем, идем! Обедать идем!

Он схватил Константина за локоть, потащил к двери, возбужденно посмеиваясь, и тогда Константин высвободился сильным рывком и, загораживая дверь, стал перед Быковым.

— Я пообедал, благодарю вас,— выговорил он.— Вам привет от Аверьянова. И благодарность... За подарочек. Просил передать вам, что Кутепов засыпался с бостоном. А мне позвольте доложить: чесуча, чесуча идет! А не ваш бостончик!

— Что? Ты зачем?.. Зачем?.. Что такое? — задыхающимся басом проговорил Быков, дернул Константина за лацкан пиджака и начал багроветь — с полнокровного лица багровость эта переползла на глаза, на белках проступили жилки.— Какую ты глупость говоришь! О чем болтаешь?..

— Спокойно, Петр Иванович, без нервов! — Константин стряхнул руку Быкова с лацкана пиджака, нежно-фамильярно потрепал его по чугунно напряженному плечу.— Я хочу вас спросить: значит, вы хотели, чтобы я транспортировал в Одессу ворованный вами бостон в чемоданчике и привозил вам денежки? И сдавал в сберкассу? Или вам лично? Вы хотели сделать меня коммивояжером?

— Какая сволочь, какая паршивая сволочь! — с презрительным изумлением выдавил Быков и засмеялся.— Вы посмотрите на него — какая сволочь! — выдохнул он, обращаясь не к Константину, а к Сергею.— Вытащил его из дерьма, устроил... поил, кормил, как сына... Сволочь паршивая!.. Клевещешь? Клеветой занялся? А, Сергей? Послушай только!

— Когда моих друзей называют сволочью, я даю в морду! — резко сказал Сергей.— Это обещаю...

— Та-ак! — протянул Быков, опустив сжатые кулаки; щеки его затряслись от возбуждения.— Оклеветать захотели? Грязью облить? Сговорились? Вы в свидетели не подойдете, не-ет!.. Со мной — не-ет! Оклеветать?

— Вот свидетель! Вот ворованный бостончик! Держи-и... десять тысяч!

Константин выхватил из кармана пачку денег, со всей силой швырнул ее в грудь Быкову, пачка разлетелась, сотенные ассигнации посыпались на пол; Быков

попятился, делая отряхивающие жесты руками, прохрипел горлом:

— Подлог? Деньги? Подкладываете? Ах вы гниды! Оклеветать?.. Оклеветать?

Константин, надвигаясь на Быкова, топча грязными ботинками деньги на полу, выругался сквозь зубы:

— Я... могу... попортить вывеску!.. Не шутя! Заткнись, идиот! Думаешь, не кумекаю, как делаются эти отрезики? Объясню!..

— Костя, подождите! Не троньте его!..

Они оба оглянулись. Николай Григорьевич стоял в дверях, лицо было бледно. Он серыми губами выговорил:

— Не надо, Костя, не марайте рук! С этим человеком надо говорить не так. Не здесь... В прокуратуре. Оставьте его.

— Та-ак! Оклеветать?.. Меня?..— задохнулся Быков, выкатив белки, и потряс в воздухе пальцем.— Поймать! Свидетелей сфабриковали? Не-ет! Деньги не мои! Номерок не пройде-ет, Николай Григорьевич!.. Я вам... вы меня семьдесят лет помнить будете! Я вас всех за клевету потяну, коммунистов липовых! Вы меня запомните... На коленях будете!.. Я законы знаю!

Он попятился к двери, распахнул ее спиной, задыхаясь, крикнул на весь коридор накаленным голосом злобы:

— Клеветники! За клевету — под суд! Под суд!.. Честного человека опорочить? Я законы знаю!..

И все стихло. Тишина была в квартире.

Константин со смуглым румянцем на скулах закрыл дверь, посмотрел на Сергея, на Николая Григорьевича. Тот, по-прежнему бледный до серизны губ, проговорил шепотом:

— Этот Быков... дай волю — разграбит половину России, наплевав на Советскую власть. Когда же придет конец человеческой подлости?

— Ты ждешь указа, который сразу отменит всю человеческую подлость? — спросил Сергей едко.— Такого указа не будет. Ну что, что ты будешь делать, когда тебя оплевали с ног до головы? Утрешься?

— Не говори со мной, как с мальчишкой.— Николай Григорьевич слабо потер левую сторону груди, сказал Константину обычным своим негромким голосом: — Соберите деньги, Костя. Ах, Костя, Костя, не подумали? Не надо было объясняться с Быковым, выкладывать ему

карты, это все напрасно. Это мальчишество. Соберите деньги и немедленно отнесите их в ОБХСС или в прокуратуру. Это нужно сделать. Иначе к вам прилипнет грязь, не отмоетесь. Вы меня поняли, Костя?

— Я идиот! — яростно заговорил Константин, собирая с пола деньги, и постучал себя кулаком по лбу.— Экспонат из зоопарка! Слон без хобота! Зебра с плавниками!

— Хватит! Началось самоедство! — прервал Сергей раздраженно.— Будем кричать «караул»? Действуй, и все! Это отец, старый коммунист, боится, что к нему прилипнет грязь.

— Сергей! — с упреком произнес отец, и лицо его дернулось.— Замолчи! — И очень тихо, виновато добавил: — Пожалуйста, замолчи...

Сергей увидел седину в его волосах, землистое, дернувшееся лицо и оторванную пуговичку на его поношенной и застиранной пижаме, сказал, отворачиваясь:

— Прости, если это тебя...

И Николай Григорьевич стесненно и грустно улыбнулся:

— Когда-нибудь ты поймешь, что значит для коммуниста душевная чистота.

Дверь захлопнулась — исходило безмолвие из другой комнаты, не доносилось шуршания газеты, лишь скрипнули пружины: должно быть, он лег.

И этот звук пружин, и нахмуренное лицо Сергея, и видимое нездоровье Николая Григорьевича, и отвратительная сцена с деньгами, и ощущение своей легкомысленности и глупости — все это вызвало в Константине чувство стыда, неприязни к себе, будто пришел и грубо разрушил здесь хрупкий мир.

— Наворотил я тут у вас! — проговорил он.— Гнал бы ты меня к такой хорошей бабушке. Сам виноват — какая тут... философия? По уши в дерьмо провалился, так самому и расхлебывать это дерьмо! Не невинная девочка. Ладно, пойду.

— Подожди! — остановил Сергей.— Подожди меня. Накурился и зазубрился до тошноты. Ночь не спал над конспектами. Пойдем подышим воздухом... Отец! — позвал он, подойдя к двери.— Мы пошли. Слышишь?

Было молчание.

— Отец! — снова позвал Сергей и уже обеспокоенно распахнул дверь в другую комнату.

Отец сутулился возле письменного стола, позванивала ложечка о пузырек, в комнате пахло ландышевыми каплями.

— Иди, иди, я слышу.

— Тебе бы полежать надо, отец. Вот что!

— Оставь меня.

Сергей вышел.

Прижатая к крышам чернотой туч узкая полоса неба просвечивалась водянистым закатом. Было зябко, мокро, от влажных заборов несло запахом летнего ливня.

Они шли по тротуару под темными и тяжелыми после дождя липами.

— Ну, что думаешь делать? — спросил Сергей.— Как дальше?

— Не знаю. В наш железный двадцатый век длинные диалоги не помогают.

— Понимаешь, что ты наерундил? Решил бросить институт? Три года — и все зачеркнул?

— Сам, Серега, не знаю! Сяду опять за баранку. Надоело мне все! Вот та̀к надоело! — Константин провел пальцем по горлу, оступился в лужу, выскочил из нее, потряс ногой с остервенением.— Везет! Все лужи — мои. Есть счастливцы, которым вся пыль — в глаза! Не проморгаешься... Ну а ты... Ты институтом доволен? Только откровенно. Или так — не чихай в обществе? Привычка?

— Привык. Уже привык. Даже больше, чем привык. Что морщишься?

— Ну?

— Что ну?

— Размышляю. Туды бросишь, сюды. Куда? Куда бедному мушкетеру податься? Откровенно? Баранку крутить — убей, надоело! Тоска берет, хочется лаять, как вспомнишь! Институт? Конспекты, учебнички — жуткое дело вроде разведки днем. Сидеть за партой — седина в волосах. Денег была куча, сейчас одна стипендия в кармане. Идиллия! А хочется какой-то невероятной жизни.

— Какой жизни?

— Вон, читай — дешево, выгодно, удобно! Это относится к таким, как я...

Константин рассмеялся, моргнул на рекламу авиационного агентства — неоновые буквы над корпусом электрического самолета вспыхивали, перебегали по высоте восьмиэтажного дома.

Они шли безлюдным переулком, в сыром воздухе отдавались шаги.

— Тогда что тебя тянет? — спросил Сергей.— Что тебя тянет в конце концов?

Константин сплюнул под ноги, ответил полувесело:

— Ничего, Серега, ничего. Я как-нибудь... Я как-нибудь... Не в таких переплетах бывал. Было шоферство. Хотел создать эту, как ее, независимость. Деньги — они дают независимость. А денег больших не скопил. А что было — вроде швырнул в уборную. Четвертый год в институте — и не могу зубрить, не могу сидеть с умным видом за столом и изображать будущего инженера. Мне чего-то хочется, Сережка, сам не пойму — чего? Ладно, кончено! Давай в кино рванем, что ли. Или куда-нибудь выпить!

— Ты как ребенок, Костька,— сказал Сергей.— Брось сантименты, не сорок пятый год. Мы только начинаем жить. Это после войны все было как в тумане. Пойдем пошляемся по Серпуховке, может, что нибудь придумаем.

— Да, Серега, сорок девятый — не сорок пятый...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Они оба сдавали экзамены последними.

В опустевшей лаборатории горных машин было горячо и тесно от ярого солнца: блестели на столах металлические детали разобранных врубовых машин, маслено отливала новая модель горного комбайна; чертежи на стенах ослепляли сияющими световыми пятнами.

Доцент Морозов в белых брюках, в белой, распахнутой на шее рубашке сидел поодаль экзаменационного стола, на подоконнике, со скрещенными на груди руками и не глядел ни на Сергея, ни на Константина — заинтересованно следил за игрой бликов на потолке, был, казалось, полностью занят этим.

Здесь была тишина, и в лабораторию отчетливо доносился крик воробьев среди листвы бульвара, звон трамваев, за дверью гудели голоса, колыхался тот особый

неспокойный шум, который всегда связан с летними экзаменами.

На столах перед Константином и Сергеем лежали билеты.

— Ну,— сказал Морозов,— кто готов? Кто первый ринется в атаку? Кстати, подготовка по билету — фактор чисто психологический. Это не ответ по истории, по литературе, представьте. Там требуется оседлать мысль, влить в железную форму логики. Я признаю даже косноязычное бормотание. Без риторических жестов, без ораторских красот. Горные машины — это практика. Рефлекс. Привычка, как застегивание пуговиц. Знание, знание, а не ораторская бархатистость голоса. Ну, полустуденты, полуинженеры, кто ринется первый? Вы, Корабельников? Вы, Вохминцев?

— Разрешите немного подумать? — сказал Сергей, набрасывая на бумаге ответы по билету, и усмехнулся: — У меня нет желания очертя голову идти в атаку, Игорь Витальевич.

После вчерашней сцены с Быковым, после долгого разговора с Константином он сел за конспекты и учебник поздно ночью, когда уже все спали, лег в четвертом часу, совершенно не выспался, встал, чувствуя тяжелую голову, и не было в сознании той утренней ясности перед экзаменом, когда накануне пролистан учебник и прочитаны конспекты.

Однако ему, наверное, повезло: неисправности угольного комбайна, металлические крепления, область применения их — он это помнил, но не в силах был нащупать точной и прямой последовательности, записывал на бумагу ответы, знал: Морозов по предмету своему ставил только или двойку, или пятерку.

— Может быть, вы, Корабельников, решитесь?

Морозов, продолжая с любопытством следить за бликами на потолке, помял пальцами тщательно выбритый подбородок, внезапно крикнул, словно бы обращаясь к матовой люстре над головой:

— Будьте любезны, Корабельников, выньте книгу из стола, не шуршите страницами! Не нарушайте академическую тишину! Вы где служили, в разведке? Плохо конспирируете! Я не признаю такой конспирации! Позор! Что, времени не хватило? Зуб болел? Или вечером когонибудь провожали? Кладите учебник на стол и читайте в открытую! Это меня не пугает!

Морозов оттолкнулся от подоконника, прошагал длинными ногами мимо Константина в конец лаборатории, задержался перед дверью, зачем-то послушал гудение голосов в коридоре, и Сергей, не закончив писать ответы, с беспокойством посмотрел на Константина.

С потным лицом, покрытым смуглыми пятнами, Константин сидел, устремив взгляд на билет, одна рука лежала на столе, другая была искательно опущена. По всей его позе, по опущенной этой руке было видно: он «велико́ горел без дыма». Затем Константин быстро вынул учебник из стола, положил поверх билета, решительно встал.

— Нет смысла, Игорь Витальевич.

По тому, как сказал это он, но более по тому, как проследовал по аудитории к Морозову и подал ему зачетную книжку, чувствовалась готовность на все.

— Ставьте двойку. По билету на пятерку не знаю.

Морозов сунул зачетную книжку в карман брюк, прочитал вопросы в билете Константина, бесстрастно спросил:

— Значит, по билету на пятерку не знаете? Ну что ж, я вам поставлю двойку, и вас снимут со стипендии. Это знаете?

Константин сделал неопределенный жест, и Морозов с убийственным спокойствием поинтересовался:

— Как будете жить? Что будете есть?

— Сапоги,— проговорил Константин.— Они помогут.

— Что-о?

— Продам великолепные яловые армейские сапоги. Разрешите идти?

— Вот как? Сапоги? И портянки тоже?

Морозов размашистой походкой зашагал по лаборатории, пересекая солнечные столбы; он шагал и при этом нервно ударял ладонью по тупому корпусу комбайна, по столам, по деталям врубовой машины, говоря вспыльчиво:

— Какой из вас, к друзьям собачьим, инженер, если вы свое... свое... не знаете? Стыд и позор! Конец света! Буссоль небось знали? Знали! Иначе бы какой разведчик! Как вы приедете на шахту без знания техники? Стыд! Как? Что? Можете мне не знать ни искусство, ни литературу, но техника... техника! Что будете делать? Как уголь рубать — ручками, кайлом, топором, зубами?

Великолепно! Просто великолепно! Милейший студент, слов не нахожу от восторга!

Морозов сел к столу, выкинул перед собой зачетку Константина.

— Значит, двойку хотите или кол вам влепить за легкомысленность? И по всей справедливости... Учитывая ваше пролетарское происхождение и фронтовые заслуги!

— Как хотите, Игорь Витальевич,— равнодушно произнес Константин.

Морозов забарабанил пальцем по билету, заговорил внятно:

— Вот, вот у вас первый вопрос — крепления в лаве! Что ж, не знаете? Значит, что же? Поставите крепления, на них кто-нибудь из шахтеров плюнет, харкнет, высморкается с чувством — и рассыплются ваши крепления в пыль! Завал! Людей погубите? Нет, убийц я из института не выпущу! Нет! Это уже за гранью! Нет и нет! Таких инженеров в нашем государстве не надобно! Может быть, вы не хотите учиться в институте? Вам надоело?

Стало тихо. Слышно было жужжание голосов из коридора; сквозь листву бульвара пробился в лабораторию весенней трелью трамвайный звонок.

— Игорь Витальевич! — громко сказал Сергей.— Разрешите отвечать? Я готов.

Он не был готов, но уже не вникал в смысл билетных вопросов,— смотрел на смугло-красное лицо Константина, на раздраженное лицо Морозова, хорошо помня вспыльчивость и небыструю отходчивость доцента, который жестоко не прощал незнания системы креплений; был в связи с этим известен всему институту случай, когда он добился исключения студента на середине четвертого курса.

— Вы хотите отвечать? — отделяя слова, спросил Морозов.— Прекрасно! Давайте ваш билет. Корабельников, подойдите ко мне, не изображайте недвижимое имущество! Вы, Корабельников, и вы, Вохминцев, будете отвечать без билетов. Все вопросы в билете можете забыть. Вот так-то! Жалуйтесь хоть самому министру высшего образования, хоть богу, хоть дьяволу!

Морозов засунул билеты под экзаменационный лист, обвел Константина колющими зрачками, показал подбородком в сторону металлических стоек — креплений для угольного комбайна.

— Будьте любезны, подойдите к этим штуковинам, Корабельников. Що цэ такэ? Зачем вона, цэ гарна овощь? Ась?

Константин подошел к стойкам.

Сергею была знакома эта манера Морозова в моменты неудовольствия и раздражения коверкать язык, «гонять» по всему курсу, недослушивать, перебивать ответы, понял, что Константин сейчас «поплывет», и, чувствуя в себе какую-то злую, подмывающую уверенность, опять сказал настойчиво:

— Игорь Витальевич, разрешите мне.

Морозов откинулся на спинку стула не без интереса.

— Прекрасно! Значит, хотите своим телом закрыть амбразуру? Ну что ж, это даже любопытно. Посмотрим, широка ли у вас грудь. Корабельников, походите возле креплений, пощупайте болты и подумайте. Вохминцев, прошу вас. Представьте такую петрушку. Вообразите на мгновение: вы — главный инженер шахты. Сняли трубку, звоните в лаву. Спрашиваете: «Как комбайн, сколько заходов?» Бригадир гундит, он всегда будет гундеть в таких случаях: «Стоит, хоть черта дай, проверяем».— «Как стоит?» Вы каскетку на макушку, напяливаете робу — и в лаву. Там возня и кутерьма возле комбайна. Машинист сопит и, как всегда, лезет ключом в редуктор. В это время рабочие лавы, вполне возможно, могут в десять этажей материться и сыпать неприличные выражения на голову бригадира. А бригадир гундит: «Ребята молодые, неопытные», туда, сюда и всякие лирические слова... Ваше решение? Без развернутого ответа. Без подлежащих и сказуемых. Конкретнее! Работа остановилась, вся лава стоит!

Вот она, излюбленная манера Морозова предлагать вольный вопрос. Сказав это, довольно ухмыльнулся, мелькнула лихая щербинка меж передних зубов, и Сергей на мгновение почему-то подумал, что вот так он, Морозов, бегал в войну по лавам Караганды, и, уже точнее подбирая слова, внутренне готовясь к следующему вопросу, ответил намеренно неторопливо:

— Проверить цепь, нужный для нового пласта наклон зубков. Возможна заштыбовка. Это первое... Самое же примитивное — соседняя лава перебивает напряжение. А второе...

— Стоп, стоп! — не утверждая, не отрицая, оборвал Морозов и остро уколол зрачками Константина.— А вы как думаете-полагаете?

Константин затоптался около стоек, покусал усики.

— Вполне возможно...

Морозов хмыкнул, не дал договорить:

— Почему этак неуверенно? Вохминцев, покажите, как это делается. Детально покажите. И быстро. На вас глазеют рабочие лавы. Ошибетесь — ваш инженерский авторитет превратится в пшик! В мыльный шарик!

Сергей ожидал иного каверзного вопроса, однако ему вторично повезло. Но теперь, сознавая, что он, не ошибаясь, объяснит все детально и точно, Сергей нарочито замедлил движение, прокручивая цепь комбайна, не спеша отвечал и одновременно надеялся, что эта его неторопливость поможет Константину сосредоточиться, но вместе с тем вдруг показалось ему, что после невезения с билетом было уже Константину все равно.

— Стоп, стоп! — Морозов опять перебил Сергея.— Медленно! Медленно закрываете грудью амбразуру. Все, все! С вами все! Где ваша зачетная книжка! Дайте ее сюда. Оставьте ее здесь. И прошу вас выйти из аудитории!

Сергей не ожидал этого.

— Я думал, вы зададите третий вопрос,— проговорил он, невольно уже испытывая раздражение к декану, к его нервному тону, будто Морозов намеренно взвинчивал, дергал и его и Константина.— Вы не даете сосредоточиться, Игорь Витальевич. Дайте Корабельникову подумать. Сколько он хочет. Здесь не мотоциклетные гонки.

— Вон ка-ак! — Морозов привстал, вытянул шею из воротника апаш.— Гонки? Я иного мнения. Противоположного. Чушь ерундите! В жизни вам некогда быть тугодумом! Двадцатый век с его планами стремителен. Инженер-эксплуатационник должен с быстротой молнии принимать решения. Должен знать производство, как родинки на лице жены. Возражаете, нет? Наши недостатки идут от тугодумства, из негибкости, из незнания! Больше поворотливости, больше инициативы, находчивости — вот основное для инженера! Покиньте аудиторию, Вохминцев! Немедленно! И в болото ваш либерализм! Не ожидал от вас!.. Выйдите!

— Выйди,— попросил Константин и азартно и зло обернулся к Морозову.— Что ж, спрашивайте, Игорь Ви-

тальевич, задавайте вопросы. Хуже чем на тройку не отвечу. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей... Задавайте вопросы.

— Боитесь потерять стипендию?

— Я не миллионер, Игорь Витальевич.

— Ну что ж, попробуем! Слова не мальчика, но мужа! Готовьте боеприпасы к контратаке!

Сергей, удивленный внезапной решимостью Константина, положил в молчании на стол перед Морозовым зачетную книжку, увидел какое-то отрешенное, улыбающееся лицо друга и вышел из лаборатории.

В коридоре шумно, сильно накурено.

Уже сдавшие экзамен студенты толпились возле окон, сидели на подоконниках, залитых солнцем, ходили по коридору компаниями, ожидая последних, кто еще мучился над билетами в опустевших аудиториях, договаривались всем вместе, собравшись, пойти в ближний прохладный бар в подвале, с чувством сброшенного груза и обретенной свободы выпить, закусывая сосисками, по кружке холодного пива,— так обычно завершались экзамены.

Как только Сергей вышел, к нему, спрыгнув с подоконника, вразвалку подошел низкорослый Косов, в морской фланельке, тесной на крутых плечах, и следом Подгорный, небритый, добродушно суживая золотистые глаза; спросили почти одновременно:

— Ну как? Порядок, Сережка? Или нулевая позиция?

— Пока не знаю. Кажется, Костя сыплется с великим треском. Морозов вскипел, когда Костя добровольно согласился на двойку. У него — система креплений. Морозов больше читал нотаций, чем спрашивал.

— Признак не шибко.— Подгорный озадаченно почесал редкую щетину на щеках.— Влепит чи не влепит двойку?

— Возможно,— ответил Косов.— Обрати, Сергей, на этого танкиста внимание. За бритву не брался все экзамены. Под Льва Толстого работает. Эпигон.

— Та я ж и на фронте перед боем не брился,— не сердясь, сказал Подгорный.— Такая привычка. Не можу! Уверенность должна быть. Як же Костька-то, поплыл?

— Подождем.

Косов протянул Сергею пачку «Беломора», дорогую, не по студенческим деньгам, купленную, видимо, в честь

завершения последнего экзамена. Закурили около распахнутого окна, на теплом ветерке, рядом с тяжелой дверью лаборатории — оттуда не доносилось ни бегло спрашивающего голоса Морозова, ни ответов Константина, а тут в коридоре гудели голоса, солнце по-летнему припекало подоконники, открывались и закрывались двери аудиторий, потные, счастливые, сдавшие экзамен студенты победно потрясали зачетками, хлопали друг друга по плечам, облегченно хохотали. И тогда Сергей с отчетливой ясностью подумал: если Константин сейчас не сдаст Морозову горные машины, то немедленно, не раздумывая ни минуты, бросит институт.

— Братцы, пончики! В буфет привезли, горячие! Рубль штука. Расхватывают!

Подошли — весь круглый, с белесым лицом и желтыми островками конопушек на лбу Морковин, за ним Лидочка Алексеева, высокая, темноволосая. Оба они в бумажках держали поджаристые пончики; Морковин жевал, двигая набитыми щеками, моргал светлыми коровьими ресницами.

— Сдал? — спросила Лидочка, смело приблизилась к Сергею, улыбаясь, поднесла к его губам пончик.— Подкрепись, бедненький... Голодный, наверно?

— Не видишь разве, я курю? — сказал Сергей, отводя лицо.

— О боже мой, когда ты перестанешь хмуриться, ужасно надоело! — сказала со вздохом Лидочка и дернула плечиками.— Кого вы ждете? Все сдали или кто-нибудь плывет?

Сергей не ответил.

— Наш Морозец сегодня ужасно не в духе, наверно, с женой поссорился,— весело сказала Лидочка Сергею.— Заставлял меня раз десять включать врубовку и все называл «уважаемая». А Володьку, милого нашего Морковина, совершенно замучил трагическим описанием завала. «Ваши действия?»

Морковин, возбужденный, уселся на подоконнике; несмотря на жару, был он одет в полную студенческую форму, украшенную горными погончиками, сообщил, радостно ужасаясь:

— А знаете, братцы, когда пятерку ставил, такое лицо стало! Ну ровно тысячу рублей одалживал! Свирепствует!

— Не надо сдавать, кореш, экзамен вместе с женщиной,— наставительно заметил Косов, снизу вверх взглядывая на высокую Лидочку ясно-синими глазами.— Морозов не терпит женщин-горнячек. Нервы не те, писк, визг, батистовые платочки, а тут тебе — грубый уголь. Дошло?

— Что это? Что это у тебя за мозаика? — Лидочка стремительно отогнула край тельника, выглядывавшего из раздвинутого ворота косовской рубашки, и оттопырила губы, читая синюю татуировку на выпуклой его груди:— «Не забудь мать свою». Ха-ха! Кто это тебя разукрасил? Мне казалось, ты парень из интеллигентной семьи.

— О, женщина! — Косов взглянул снизу вверх — она была на голову выше его.— Женщина, тебе известно, что я командовал взводом морской разведки? А во взводе у меня были и блатники. А я был мальчишкой, салагой, ходил, путаясь в соплях.

— Ну и что? И разрешил себя расписать? Какое художество!

— Женщина, мне нужно было держать их в руках. И я ходил на голове.

— Та що ты ей объясняешь? — заторопился Подгорный и, ухмыляясь, поднял лицо к лучам солнца.— Та я знаешь що в танке возил, Лидочка? О, скажу — и не поверишь! В сорок первом. Я возил четыре мешка денег. Две недели я был миллионер. Похоже?

— А деньги куда же? — спросил Морковин, перестав жевать.

— Как куда? В какой-то штаб сдал. Выкинул из танка, и все.

— Фронтовые воспоминания в перерыве между экзаменами,— засмеялась Лидочка.— Чудны́е вы, мальчики.

В это время дверь лаборатории распахнулась, в коридор шумно вышел Морозов с кожаной папкой под мышкой, следом Константин — смуглый румянец горел на скулах, темные волосы прилипли к потному лбу; его пухлая полевая сумка не застегнута, распирая ее, открыто торчали оттуда конспекты.

— Вохминцев, возьмите зачетку! — громко сказал Морозов.— Вы свободны, можете пить пиво и досыта наслаждаться жизнью. Ваша же зачетка, дорогой товарищ Корабельников, останется у меня как моральный задаток.

Завтра в половине третьего зайдете ко мне домой. Предварительно позвоните. Все. Будьте здоровы.

И, раскланиваясь, зашагал по солнечному коридору, сквозь голубые полосы дыма, мимо группок толпившихся студентов, неуклюже рослый, в белой рубашке апаш, как бы смешно подчеркивающей его неловко длинную шею.

— Боже мой, какое все же золотце Морозов! — восхищенно воскликнула Лидочка, вытерла пальцы о бумажку, но никто не обратил на ее слова внимания — все окружили Константина.

Тот стоял несколько взволнованный, блестели капельки пота на запачканном маслом лбу, говорил, посмеиваясь, охрипшим голосом:

— Братцы, это был грандиозный кошмар! Лобное место времен Ивана Грозного! Гонял по всему курсу, не давая отдышаться. «Почему это? Для чего это? Зачем это?», «Представьте такое положение», «Вообразите следующее обстоятельство». Лазил на карачках возле комбайна и врубовки, нащупался болтов на всю жизнь.— Посмотрел на свои руки, темные от смазки, с изумлением.— В годы своего шоферства никогда так лапы не замазывал. Ну и Морозец! Он, ребята, одержимый. Он в темечко контуженный техникой. Фу-у, дьявол! Чуть живьем не съел.

Он, отдуваясь, все посмеивался, все разглядывал свои руки, и ясно было, что он зол, с трудом скрывает неприятное ему волнение; и Сергей сказал, оживленно хлопнув Константина по плечу:

— Пошли на бульвар. Выпьем газированной воды. Идемте, я угощаю,— предложил он, подмигивая Косову и Подгорному.

— Меня ты, кажется, не приглашаешь? — спросила Лидочка безразличным тоном.— Как это благородно!

— Даже учитывая эмансипацию, у нас мужской разговор,— сказал Сергей.— Фракция женщин может оставаться на месте.

— Не лезь к ним, Лидка. У них фракция фронтовиков,— проговорил Морковин, сидя на подоконнике.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Бульвар был полон студентов всех курсов, успевших и еще не успевших сдать экзамены: везде сидели на скамьях, разложив конспекты на коленях, лихорадочно

долистывали недочитанные учебники, и везде ходили группами посреди аллей, загораживая путь прохожим, разговаривали взбудораженными голосами, охотно смеялись, радуясь тому, что «свалили экзамен», что уже было лето.

Возле тележки с газированной водой в пятнистой тени лип вытянулась очередь, звенела мокрая монета, шипела, била струя воды в пузырящиеся газом стаканы. И от мокрых двугривенных, от этого освежающего шипения, от прозрачного вишневого сиропа в стеклянных сосудах веяло совсем летним: знойным и прохладным.

С удовольствием и расстановками выпили по два стакана чистой, режущей горло газировки; Константин, раздувая ноздри, вылил второй стакан на испачканные в машинном масле руки, вымыл их, вытер о молодую траву, сказал превесело:

— Так что, в Химки, братва, купаться поедем? Или куда-нибудь в Кунцево?

— Пока сядем здесь,— предложил Сергей.— Позагораем.

Сели на горячую скамью, и Константин освобожденно расстегнул на груди ковбойку, отвалился, глядя на испещренную слепящими бликами листву над головой, дыша глубоко, с медленным наслаждением.

— Братцы, а жизнь-то все-таки хороша,— сказал Косов. Он подкидывал в воздух влажный двугривенный и ловил его.

— Особенно потому, что райской не будет,— пробормотал Константин.

Подгорный, нежась на солнце, весь обмякший от жары, размягченный, хитро и благостно зажмуривался, наверно, хотел сказать что-то и не говорил.

— Оптимисты, дьяволы,— опять пробормотал Константин.— Жертвы суеверия.

— Нет, хлопцы, я вам должен сказать,— заговорил Подгорный с блаженной ленцой.— Скоро планета Юпитер вспыхнет солнцем, научно доказано, много водороду. Появятся над нами два солнца — вот тогда будет жизнь!

— Деваться будет некуда,— сказал Косов.

— Да вы что, температурите? — спросил зло Константин.— Градусники купили в аптеке?

— Вот что, Костька,— проговорил Сергей,— Морозову ты должен сдать. Что бы это ни стоило. Беру на себя всю теорию. Буду гонять тебя по системе креплений

весь вечер. Завтра утром ты, Костька, приедешь в институт, запрешься с Косовым в лаборатории, и он погоняет тебя по деталям и неисправностям. Он запарится — поможет Подгорный. Приемлем план?

— Куда ж денешься,— сказал Подгорный, сладостно, лениво позевывая.— Таки дела в танковых частях...

— Ну, устроим утром аврал? — Косов поймал в воздухе монету, зажал ее в кулаке, прицелился в Константина жарко-синим глазом: — Ну, орел или решка?

— Вы что меня атаковали? — произнес Константин, все наблюдая пеструю путаницу солнца и теней на листве.— Нажим партийной группы на беспартийного большевика? Но таким образом я превращусь в фикус с желтыми листьями. Плюньте на все — поедем в Химки!

— Брось,— сказал Сергей.— Поехали домой. Поехали, Костька.

— А ну, р-раз — майна, вира! От-торвем от предмета!

Косов захохотал, сильным локтем сдвигая со скамьи разомлевшего на солнцепеке Константина, и тотчас Подгорный с другой стороны начал подталкивать его в бок, заговорил убедительно:

— Та що мы тебе, подъемные краны? Соображаешь чи ни?..

— Хватит тут меня щупать, я вам не болт крепления. Уцепились — в рукавицах не оттащить! Вы что, святые?

Константин поднялся в расстегнутой до пояса ковбойке, с видом плюнувшего на все человека засвистел сентиментальный мотивчик, но сейчас и этот свист, и обычная его полусерьезность раздражали его самого, как раздражали слова Сергея, лениво-добродушные взгляды Подгорного, и низкорослая фигура Косова, и эта их вынужденная уверенность в том, что с ним будет как надо.

И вдруг Константин особенно почувствовал, что у него пропал, стерся интерес к завалам, креплениям, комбайнам, штрекам, лавам, циклам — ко всему тому, к чему был интерес у них. «Что же делать? Что делать тогда?»

— Что ж, Сережка, приду домой, включу радиолку, и все будет в ромашках и одуванчиках,— с обычной своей беспечностью сказал Константин.— И все великолепно.

— Это как раз не удастся,— ответил Сергей.— Поехали.

— Привет коллегам! Как дела? Свалили?

От группы студентов, идущих навстречу по аллее, отделился Уваров. Его синяя шелковая тенниска облегала чуть покатые плечи; его мускулистые, со светлым волосом руки, крепкое лицо были тронуты первым загаром — вид спортсмена, приехавшего с юга.

— Свалили машины, гордость третьего курса? — спросил он приветливо обоих.— Все в полном порядке или не хватило одной ночи? Ты, я слышал, Сергей, сразу поставил Морозова в нулевую позицию — пять с плюсом отхватил? Ходят слухи в кулуарах.

— Миф,— ответил Сергей.— Нулевых позиций и плюсов не было. Ну а на четвертом курсе?

— Всё в кармане.— Уваров, улыбаясь, похлопал себя по карману тенниски, где лежала зачетная книжка; был он, видимо, в отличном, как всегда, настроении, доволен этими экзаменами, своим здоровьем, прочным душевным равновесием.— Вы куда спешите, хлопцы?

— По хатам.

— Да вы что? — весело поразился Уваров.— Мы собрались отпраздновать это дело, присоединяйтесь! Пойдем в бар: здесь жарища, а там свежее пиво, раки, сосиски, а? Третьекурсники! Я против всяческой субординации. Даже Павел Свиридов пойдет. Как говорят, глава партийной организации будет держать на пределе, все будет в норме. Объединим два курса — ваш и наш — и тихо, мирно атакуем бар. Павел! — крикнул он.— Присоединяем к себе третьекурсников?

— Я не пью пиво.— Константин брезгливо провел ребром ладони по горлу.— Меня тошнит от пива. Отрыжка. Икота.

— К сожалению, привет,— сказал Сергей.— Спешим домой. Обед стынет.

— Вы меня удивляете! Просто гранитные скалы! — захохотал Уваров.— Значит, тренируете силу воли?

— Что поделаешь — воспитываемся,— вздохнул Константин дурашливо.— Режим. Экзамены. Соседи по квартире.

— Жаль, хлопцы, просто на глазах гибнут лучшие люди,— сказал Уваров и тут же вновь шутя крикнул в сторону группы студентов, стоявших сбоку аллеи: — Слушай, Павел, выяснилось: в нашем институте есть студенты, нарушающие обычаи экзаменов! Предлагаю разобрать на партбюро со всей строгостью! Жаль, хлопцы!

Свиридов, отрывистым своим голосом разговаривавший в группе студентов, сухощавый, прямой, в очень плотно застегнутом новом кителе без погон, с нездорово желтым лицом, приблизился к Сергею, опираясь на палку-костылек.

— Куда вы, Вохминцев? Подождите минутку. Такой день... Разрешается пятерки отпраздновать. Что уж там!

— Ждут дома,— сказал Сергей.— Это невозможно.

Прежде, когда Свиридов преподавал военное дело, он не всегда носил китель, изредка появлялся на занятиях в черном, нелепо сшитом и неудобно сидевшем на нем гражданском костюме, но после того, как ушел по болезни в запас и стал освобожденным секретарем партийной организации, военную форму носил постоянно, именно это его упрямство нравилось Сергею: вероятно, Свиридов не мог забыть армию, в которой ему не повезло. Ему было тридцать два года, а внешне он выглядел гораздо старше — давняя желудочная болезнь высушила, источила его.

— Есть люди,— сказал Константин уже на автобусной остановке, — есть люди, которые утром вместе с костюмом надевают на себя лицо. Не замечал?

— Ты о ком?

— Вообще. Некоторые всю жизнь носят маску. Цирк! Скрывают застенчивость — развязностью, наглость — смущением, эгоизм — ложным альтруизмом... А нужно ли вообще сдирать эти маски, Сережка? Зло сразу выскочит, как поплавок из воды. А?

— Не пожалел бы половины жизни, чтобы содрать эти маски.

— Тогда в первую очередь, Сережка, сдери эту маску с себя.

— Не понял. Какого черта!

— Часто тебе приходится терпеть? Или вы уже друзья с Уваровым?

— Ты весьма наблюдателен, Костенька!

— Но вы уже два года улыбаетесь друг другу. Философия случайности? Впрочем, Уваров — первостатейный малый: пятерочник, член партийного бюро, общественник, со Свиридовым — неразлейвода. Не кажется ли тебе, что этот парень вместе с костюмом надевает на лицо улыбку? — Константин щелкнул пальцами, подыскивая слова.— Улыбочка душевного парня — одежда! Ни с кем не хочет ссориться — мил всем! Голову наотрез —

идет верным путем. На улыбочки и общительность клюют все! И ты клюнул.

— Хватит.

— А что хватит? Полагаешь, он забыл, как ты ему набил харю?

— Ерунда. Не хочу сейчас об этом!.. Давай садись в автобус, едем!

...Он каждый день встречался с Уваровым в институтских коридорах, вместе сидел на партийных собраниях, вместе в перерывах курили около подоконников, и Сергей вроде бы привык к нему, смирился с этим, и уже не хотелось думать о прошлом — мысль об Уварове всегда вызывала тупую усталость, и каждый раз, когда он начинал думать о нем, появлялось злое ощущение недовольства собой. При встречах Уваров был простодушно-приветлив, подчеркивал свою особую расположенность и, открыто выказывая радость, улыбался ему: «Привет, старик!» Был он неузнаваемо другим, выглядел, казалось, моложе, чем пять лет назад, на фронте,— похудели щеки, отчего обострилось, но помягчело лицо. И Сергей уже постепенно погас, притерпелся к этому новому, непохожему на того, встреченного после фронта Уварова, не было желания и сил возвращаться к прежнему и не было той непримиримости, которую он чувствовал в себе три года назад.

Только раз прошлой зимой на студенческом собрании он, сидя позади Уварова, увидел вблизи его сильную, упрямую неподвижную шею, край пристального, в задумчивости устремленного глаза — и тогда что-то оборвалось, сместилось в душе. И вновь кольнула прежняя ненависть. Тот, видно, ощутил это внимание — шея ослабла, край голубого глаза стал покойно-улыбчив, Уваров оглянулся назад, сказал доверительно: «Старик, не болит у тебя башка от этих бесконечных собраний? Я уже готов». Сергей молча и твердо смотрел на него, и было такое чувство, точно замешан был в чем-то отвратительном и противоестественном.

Через несколько дней это ощущение прошло.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Конец, Сережка, конец,— сказал Константин, и, перегибаясь через подоконник, вылил из графина воду на голову.— Перестарались. Я уже перенасыщенный

раствор, из меня сейчас начнут выделяться кристаллы. Я на пределе.

— Абсолютно?

— Окончательно. Нет, Сережка, хорошо все-таки поживали в каменном веке — никаких тебе шахт, никаких машин, сиди, оттачивай дубину и поплевывай на папоротники.

— Кончаем.— Сергей развалился в старом кресле, устало и не без удовольствия вытянул ноги.— Да, Костька, неплохо было в эпоху первобытного коммунизма. Мечтай только об окороке мамонта — прекрасная жизнь. И все ясно. Ну и духота...

Все окна и двери были раскрыты, но вечерний сквозняк слабо тянул по комнате, папиросный туман вяло шевелился под потолком.

— Все ясно! Где вы, мамонты? — Константин, дурачась, ударил учебником по столу.— Все! С этим все! Перерыв, перекур, проветривание помещения. Виват и ура! Как будем разлагаться — радиолу крутанем и по случаю жары тяпнем жигулевского пива? Или наоборот?

— Сначала к Мукомоловым — на нас обида. Встретил утром. Приглашал обязательно зайти. Ясно?

— Согласен на все.

В комнате-мастерской Мукомолова по-прежнему пахло сухими красками, холстами, табачным перегаром, по-прежнему возле груды картин, накрытых газетами, белели стойками два мольберта перед окнами (к свету), бедно жались по углам старые, покорябанные стулья, на заляпанных сиденьях повсюду валялись тюбики красок, стояли баночки для мытья кистей; была все та же аскетическая обстановка в комнате. Но странно, она не казалась пустой — со стен внимательно и отрадно смотрела иная жизнь: наивное лицо беловолосой некрасивой девочки с большим ртом и удивительно умными, мягкими глазами; рядом — знойный лесной свет солнца сквозь листву берез; первый снег в московском переулке, на снегу грязный след проехавшей машины; луговая даль после дождя. Сергея поражало это противоречие, несоответствие запущенности мукомоловской мастерской с полнозвучной жизнью картин, неужели здесь, в комнате, жили лишь начерно, а на стенах — набело, ярко, счастливо?

Когда они вошли, Мукомоловы сидели при свете настольной лампы на диване, Федор Феодосьевич занимался тем, чем обычно занимался по вечерам,— сопя, подобрав под себя ногу, набивал табаком папиросные гильзы; Эльга Борисовна вслух, ровным голосом читала газету, то и дело поправляла черные, с проседью волосы, падавшие на висок.

— Эля! Кто к нам пришел! Ты посмотри — Сережа, Костя! Эля, Эля, давай нам чай! — Мукомолов вскочил, смеясь, долго двумя руками тряс руки Сергею, Константину.— Эля, Эля, Эля, посмотри, кто к нам пришел! Ты посмотри на них!

— Очень рада вас видеть, Сережа и Костя,— со слабой улыбкой проговорила Эльга Борисовна, свернула газету, сунула ее куда-то на полочку; смущенно запахнула мужскую, очень широкую на ее маленькой девичьей фигурке рабочую куртку, запачканную старой краской на рукавах.— Я одну секундочку... Только поставлю чай.

— Ну зачем беспокоиться,— сказал Сергей.

— Садитесь, садитесь на диван, садитесь! Вот коробка с папиросами, это крепкий табак! — вскрикивающим голосом заговорил Мукомолов и забегал подле дивана, спотыкаясь, задевая за подвернувшиеся края коврика на полу, и вдруг сильно закашлялся, сотрясаясь телом, прикурил папиросу, с жадностью вобрал дым.— Да, да, да! Ничего, ничего. Главное — вы пришли. Спасибо. Я рад. Это главное... Это большая радость!

Мукомолов задержался около дивана, тоскливыми глазами обежал лица Сергея и Константина, сконфуженный, вытер носовым платком пот со лба и выдавленные кашлем слезы в уголках век.

— Фу, жарко... Вы чувствуете — ужасно душные вечера,— проговорил он извиняющимся тоном и сел, сгорбясь, теребя бородку.— Ну как вы поживаете? Что новенького у молодежи? Как успехи?

— Все по-старенькому, если не считать экзамены и всякую мелочь,— сказал Константин.

— А как вы? — спросил Сергей.— Что у вас нового, Федор Феодосьевич?

Мукомолов подергал бородку, рассеянно разглядывая стершийся коврик под ногами, и как будто не расслышал вопроса.

— Простите, Сережа. Что у меня? Что у меня, вы спрашиваете? Дайте-ка мне газету, Костя! — встрепенувшись,

воскликнул Мукомолов с деланной, вызывающей веселостью.— Там, на полочке, куда положила Эля! Вы читали газеты? Нет? Вот послушайте, что пишется. Вы только послушайте.

Он, торопясь, развернул газету, оглянулся на дверь, помолчал некоторое время, пробегая по строчкам.

— Ну вот, пожалуйста! Вот что говорит один наш деятельный художник: «Космополитам от живописи, людям без роду и племени, эстетствующим выродкам нет места в рядах советских художников. Нельзя спокойно говорить о том, как глумились, иезуитски издевались эти антипатриоты, эти гнилые ликвидаторы над выдающимися произведениями нашего времени. Мы выкурим из всех щелей людей, мешающих развитию нашего искусства... Странно прозвучало адвокатское выступление художника Мукомолова, пейзажики и портреты которого напоминают, мягко говоря, вкус раскусанного гнилого ореха, завезенного с Запада. Однако Мукомолов с издевкой пытался...» Ну, дальше этот отчет читать не нужно, дальше идут просто неприличные слова в мой семейный адрес... Во как здорово! А вы как думали!

— Не понимаю. Это... о вас? — проговорил Сергей.— Я читал зимой о космополитах. Но при чем здесь вы?

— При чем здесь я, Сережа? Меня просто обвиняют в космополитизме, в отщепенстве. В чуждых народу взглядах... Вот и все.

Мукомолов быстро стал зажигать спички, ломая их, глубоко затянулся, выдохнул дым, вместе с дымом выталкивая слова:

— Началось с того, что я пытался защитить одного критика-искусствоведа, его обливали грязью. Но я его знаю. Все неправда. Этому нельзя поверить. Шум, свист, топанье — ему не давали говорить. Ему кричали из зала: «Ваши статьи — это плевок в лицо русского народа!» А это культурный, честный, с тонким вкусом человек, коммунист, уважаемый настоящими художниками, смею сказать. Кстати, он тяжело заболел после этого полупочтенного собрания. И что, вы думали, было сказано после этого? — Мукомолов отсекающе махнул зажатой в пальцах папиросой.— Один наш монументалист на это сказал: «Нас инфарктами не запугаешь». Вот вам!..

Константин, с грустным вниманием слушая Мукомолова, положил ногу на ногу, слегка покачивал носком ботинка.

Сергей, хмурясь, спросил:

— Но почему... в чем обвиняют вас? Именно — в чем?

— Не знаю, не могу понять! Чудовищно все это! Мне кричат, что мои пейзажи — идеологическая диверсия. Что я преклоняюсь перед западным искусством, что я эпигон Клода Моне! Но где, в чем влияние Запада? — Мукомолов недоуменно повел бородкой по картинам на стенах.— Не знаю, не понимаю. Ничего не понимаю.

Мукомолов сказал это уже с тихим отчаянием и тотчас, спрятав газету на полочке, преобразился: через порог, поправляя одной рукой волосы, мелким шагом переступила Эльга Борисовна, неся чайник. Мукомолов кинулся к ней, неловкий в своей старой расстегнутой куртке, подхватил чайник, с излишним стуком поставил на стол — тень Мукомолова качнулась на стене, по картине,— воскликнул с оживлением:

— Спасибо, Эленька! Будем чаевничать напропалую. Чай великолепно действует против склероза и, несомненно, омолаживает организм.

И тут же, энергично опережая жену, начал молодо бегать от низкой застекленной тумбочки, заменявшей буфет, к столу, ставя чашки, бросая ложечки на старенькую скатерть, а Эльга Борисовна, все прикасаясь к волосам, как бы прикрывая седые пряди, сказала смущенно:

— Почему вы сидите без света? Со светом веселее и лучше.

И повернула выключатель — оранжевый, еще довоенный абажур над столом наполнился огнем. В комнате стало теснее: портреты, лесные и полевые пейзажи, чудилось, придвинулись со стен, раскрытые окна превратились в черные провалы.

Сергей смотрел на Мукомолова, вытирал пот на висках. Теплые струи воздуха, запах нагретого асфальта вливались в духоту комнаты. Мукомолов наклонился к столу, нацеливая дрожащий носик чайника в чашку. Было тихо, жарко, все молчали. Крутой чай с паром лился в чашку. От пара, ползшего по скатерти, от молчания, от застенчивой улыбки Эльги Борисовны было еще жарче, теснее, неудобнее, и еще более неудобно было Сергею оттого, что он не понимал до конца злой смысл того, о чем говорил сейчас Мукомолов, лишь чувствовал, что

где-то рядом совершалось противоестественное, неоправданное, ненужное. Ради чего?.. Зачем?

— Идеологическая диверсия...— вспоминающим голосом заговорил Мукомолов, наливая чай в другую чашку.

— Федя! — с испуганной мольбой проговорила Эльга Борисовна и прикрыла глаза сухонькой ладонью.— Умоляю, оставь эту тему... Федя, я тебя прошу...

— Эленька, я старый человек, и мне нечего бояться,— рассерженно фыркнул носом Мукомолов.— О, наше молчание, равнодушие не приводят к добру! Ну хорошо, я не скажу ни слова. Я буду молчать, как старый шкаф!

И Мукомолов неуспокоенно засопел.

— Я знаю, что с тобой будет,— чуть слышно сказала Эльга Борисовна.— За вчерашнее выступление, Федя, тебя исключат... выгонят из Союза художников. Что мы будем делать? Что?

В голосе ее внезапно зазвенели слезы, и сейчас же Мукомолов трескуче закашлялся, преувеличенно живо, бодро заходил вокруг стола; наконец, преодолев приступ кашля, он забежал в угол, где лежали гантели и гири, там вытянул руку, согнул в локте и, сощурясь, с детской наивностью пощупал свои мускулы.

— Ну и что? У меня хватит силы! Пойду в декораторы. Нам много не надо — проживем!

— Вы видели этого сумасшедшего? — тихо спросила Эльга Борисовна.

Мукомолов присел к столу, покрутил ложечкой в стакане, потом благодарно покивал Эльге Борисовне и, видимо, утоляя жажду, выпил в несколько глотков весь стакан, сказал:

— Ах, как хорош космополитский чай!

— Все это пройдет,— неотрывно глядя на чашку, к которой не притронулась, произнесла Эльга Борисовна.— И не надо портить настроение мальчикам. Витя бы тебя тоже не понял... Просто, Федя, произошла ошибка... Все пройдет, все успокоится.

— Ошибка, Эленька? Может быть! Но никто не хочет таких ошибок! — воскликнул Мукомолов и протестующе отодвинул стакан.— Чудовищно все! Чудовищно, потому что несправедливо!

Громко закашлявшись, Мукомолов вскочил, подошел к окну и, сгорбясь, закинул руки за спину, но вдруг сутулые плечи его поежились, он плечом неловко стер что-

то со щеки и снова, решительно распрямив спину, сцепил пальцы на пояснице.

Сергей и Константин переглянулись; этот жест Мукомолова, это движение плеча к щеке и неуверенные слова Эльги Борисовны «все пройдет» неприятно и остро ожгли Сергея, и он сказал вполголоса:

— Что бы ни было, Федор Феодосьевич, я бы боролся... Здесь какая-то ерунда и ошибка.

Он произнес это, злясь на себя за чужие, ненужно бодряческие слова, за то, что ничем не мог помочь и еще не мог полностью осознать все. Он знал только одно — была открытая и жестокая несправедливость в отношении безобидно тихой семьи Мукомоловых, всегда связанной в его памяти с именем Витьки. И, сказав об ошибке, он верил, что это не может быть не ошибкой.

— Я не такими представлял космополитов, как вы, Федор Феодосьевич,— добавил он.— Ерунда ведь это.

— И на этом спасибо, Сережа,— пробормотал Мукомолов.

Но он не отошел, не повернулся от окна, все сильнее сцепливая за спиной пальцы. Эльга Борисовна, опустив глаза, трогала морщинки скатерти на углу стола, Константин ложечкой рисовал вензеля по блюдечку.

Молчали. Они поняли, что им нужно уходить.

— Спокойной ночи, Федор Феодосьевич.

— Спокойной ночи, Эльга Борисовна.

Когда несколько минут спустя они поднялись на второй этаж в комнату Константина, Сергей упал в кресло, вздохнул через ноздри и грубо выругался; Константин извлек откуда-то из недр буфета две бутылки пива, заговорил с усмешкой:

— Н-да, успокоили, называется, старика... Ему наши жалости — до лампочки. Нет, у нас не соскучишься! — И он поставил бутылки на стол, отчаянно щелкнул пальцами.— Все равно жизнь продолжается. Выпьем, Сережа? Остались две последние. Из энзэ. Остатки студенческой роскоши.

— Давай выпьем. Что происходит, Костька?

— Обычный перегиб палки! Подожди. А что от Нины? Письма, телеграммы? Мне хотелось бы ее сейчас увидеть. Улыбка женщины успокаивает. А, чушь говорю, из какой-то оперетты.

— Нина на Урале, Костька.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В конце июня Сергей шел один из института к метро.

В глубине узких заросших переулков особенно чувствовался летний вечер с жарковатым запахом пыли.

Он шел мимо высокого забора, над которым в зеленеющем небе висел среди верхушек лип острый, как волосок, молодой месяц; доносились из-за деревьев крики, удары мяча задержавшейся волейбольной игры. Возле одного крыльца вспыхивал огонек, темнели силуэты: девушка в белых босоножках сидела на раме прислоненного к перилам велосипеда, парень, обнимая ее, зажигал и гасил ручной фонарик; девушка взглянула на Сергея, помотала ногой, отвернулась с улыбкой.

Ему некуда было торопиться. Он любил в поздние сумерки бродить по москворецким переулкам.

Он вышел к метро, долго стоял перед витриной «Вечерки», потом долго читал объявления на афишной будке: не хотелось домой, не хотелось спускаться в метро, в сквозняковый подземный воздух, уходить сейчас от этих тихих летних сумерек, от пыльного заката, угасающего за площадью.

В институте было собрание перед каникулами и практикой, длинная речь директора, студенческий капустник, танцы, буфет, дешевые бутерброды, суета, разговоры. Он устал, и после разговоров, и после духоты институтского зала было приятно ощущать будоражащий воздух вечера, и была свобода и совсем неожиданное одиночество. Он испытывал неясное удовлетворение — все кончилось, цель достигнута, экзамены сданы. «А дальше? А дальше что? Летняя практика на шахтах? Да, практика. А дальше? А Нина? Когда же я ее увижу?»

Он знал, что скоро увидит ее.

И ему хотелось побыть здесь, близ метро, читать заголовки газет вперемежку со свежими афишами: об испытании американцами атомной бомбы на островах Тихого океана, о солдатских сборах западногерманского «Стального шлема», о начавшихся концертах Московской филармонии, о летних гастролях Аркадия Райкина в саду «Эрмитаж» — заголовки газет кричали, рекламы концертов успокаивали, возвращали к жизни обычной, мирной. К этому теплому вечеру лета, к прозрачному умиротворению, покою во всем.

Нина должна была приехать в начале июля. Он знал, что скоро ее увидит.

В конце марта ранним утром он проводил Нину до такси и, не стесняясь шофера, поцеловал ее.

— Это вообще какая-то глупость: ты должна уезжать каждый год? И всегда к черту на кулички — Урал, Сибирь, Бет-Пак-Дала.

— На вокзал не провожай. За минуту на вокзале можно возненавидеть друг друга. В Бет-Пак-Далу еду первый раз — ты это знаешь. После Урала заеду туда на неделю. Меня посылают. Вот и все.

— Кажется, твой муж там? — спросил Сергей излишне спокойно.

— Его снимают и переводят.

В уголках ее губ проступили морщинки, и эти морщинки, впервые увиденные им, были сейчас неприятны ему, но он ответил с нежностью:

— Мне не важно это. Я жду тебя, Нина. Счастливо, в общем.

Когда она поцеловала его, села в такси и машина, завывая мотором, свернула за угол, улица стала неправдоподобно пустынной, серой, на подсыхающих мостовых стояла ранняя мартовская тишина. В этой тишине белым, усталым за ночь светом горели фонари, и далеко на вокзалах перекликались гудки паровозов. Он представил: где-то на окраинах Москвы начиналось полное утро, мокрые от тумана поезда пришли на рассвете, ожидая, шипели на путях; и крыши вагонов, и платформы холодны, влажны по-весеннему.

И он представил, как она вошла в теплое купе вагона Москва — Свердловск, уже вся отдалившись от него, от прошедшей ночи, когда они оба ни часу не спали,— и безнадежно опустошенный зашагал по гулкому тротуару Ордынки.

«Его снимают и переводят». Раз — прошлой осенью — муж ее прислал непонятную срочную телеграмму, состоявшую из трех слов: «Поздравь счастливой охотой»,— и Нина, прочитав вслух ее и обратный адрес «Почтовое отделение Жумбек»,— сказала:

— Значит, у него не ладится с экспедицией. Тогда — страшная, истребительная охота. А потом плов и водка... Я ненавидела эту охоту. Но он там полный хозяин и это

ценит больше всего. Набрал себе в экспедицию каких-то головорезов. А ведь, знаешь, он способный геолог, только разбросанный, несдержанный человек.

Он молчал, делая вид, что это не касается его.

Три года продолжалась их связь, и он хорошо знал Нину, но порой она казалась старше, опытнее его, и он чувствовал едва заметную настороженность по ее чересчур внимательному взгляду в упор; по тому, как иногда звонила вечером из геологического управления, робко объясняя усталым голосом, что задержится сегодня и нет смысла ему приходить, только не нужно обижаться; по тому, как, идя с ним по улице, она задерживала глаза на лицах детей, мальчиков — и он видел, как становилось беззащитно-нежным ее лицо.

Однажды он спросил ее:

— Что с тобой, Нина?

— Ты действительно меня любишь? Ты никого не сможешь любить так, как меня?

— Я люблю тебя. Я не представляю, что бы со мной было, если бы я не встретил тебя тогда. Я прихожу к тебе и забываю все.

— И только-то, Сережа?

— Нина, мне даже приятно, когда ты молчишь. Наверное, такое бывает... к жене.

— И ты ни разу не сомневался, Сережа?

— В чем?

— Ну, в том, что я нужна тебе? Именно я...

— Ты спрашиваешь это?

Поднявшись на тахте, чуть наклонясь вбок, подобрав ноги, она пальцем кругообразно водила по стеклу звонко стучащего на тумбочке будильника и наконец сказала полусонным голосом:

— Как-то не так у нас, Сережа.

— Что же не так? — спросил он.

— Пойми меня только правильно, я никогда не говорила об этом,— начала она с неуверенностью.— Нам нужно что-то делать, Сережа, что-то решать окончательно. Меня иногда унижает... вот это... то, что между нами три года уже. Я сама себе кажусь седьмым днем недели. Я хочу, чтобы ты понял меня... Я устала жить как на перекрестке, Сережа.

Он понял, о чем говорила она, и понял, что никогда серьезно не задумывался над этим. Он привык к тем от-

ношениям, которые сложились между ними за эти годы. Нина сказала:

— Сережа, я иногда думаю, что тебе просто так удобно: приходить ко мне, когда тебе нужно. А я уже так не могу.

В то раннее мартовское утро, когда он провожал Нину в экспедицию, когда она сказала, что ненавидит последние минуты на вокзале, Сергей возвращался с чувством внезапной и мучительной пустоты, он сознавал: все, что было связано с Ниной, должно быть решено им, а не ею.

Сергей вошел в вестибюль метро, постоял в очереди у кассы.

Впереди тоненькая, с выгоревшими волосами девушка звенела мелочью на вытянутой ладошке, и паренек в тенниске отсчитывал, застенчиво перебирал деньги, отсчитал и просунулся к кассе:

— Два билета, пожалуйста.

Лето в полную силу чувствовалось и под землей: рокот эскалатора, летящий сквозняк, пестрые платья, белые брюки, панамы, спортивные майки, молодые лица, кофейно покрытые загаром,— все напоминало о золотистом песке дачных пляжей, о водной станции, накаленной солнцем, о взмахах весел, прохладном дуновении свежести по реке.

Эскалатор равномерно опускал Сергея, и он наслаждался механической плавностью движения.

Он стоял рядом с тоненькой девушкой: у нее были теплые, без блеска глаза, с нижней ступеньки она неподвижно смотрела на парня в тенниске, а он, облокотившись на поручень, смотрел на нее таким же долгим, размягченным взглядом, медленно краснея.

И Сергей невольно отодвинулся, как бы не замечая их робкой близости, которой они еще стеснялись: им, видимо, было по восемнадцати...

Полз, стрекотал эскалатор, сзади шуршал «Вечеркой», по-домашнему зевал в газету дачный мужчина в соломенной шляпе и, зевая, толкал в ноги Сергея сеткой, набитой консервными банками; спеша подымались, плыли навстречу, перемещались лица на соседнем эскалаторе, веяло струей подземной прохлады, и Сергей думал: «Им по восемнадцати, а мне уже двадцать пять...»

— Простите, молодой человек! Вы что, не спешите?

Тугая сетка, набитая консервными банками, жестко нажала в бок, прошуршала, задев его, соломенная шляпа, и Сергей посторонился, навалясь на поручни. И в ту же секунду что-то знакомое, светлое мелькнуло среди лиц на соседнем эскалаторе — он не ясно увидел, а почувствовал это знакомое, мелькнувшее там,— обернулся. Но тут ступеньки эскалатора ушли из-под ног, кончились, и силой движения вниз его толкнуло на каменный пол.

Вырвавшись, он протиснулся сквозь хаос бегущих от перрона к соседнему эскалатору толп, еще не совсем веря, скользя глазами по быстро подымающемуся потоку людей на ступенях, увидел удаляющийся вверх белый плащик, повернутое в профиль загорелое лицо, рванулся к перилам.

— Нина!..

«Она вернулась?!»

Он крикнул, она не услышала его — эскалатор заглушил голос,— она только сняла серенький берет, тряхнула головой — волосы рассыпались по плечам. И улыбнулась стоявшему слева человеку в кожаной куртке — была видна спина его, прямая шея. Он склонился к ней, и Сергей успел заметить незнакомое, дочерна выдубленное солнцем большое лицо, крупный и твердый подбородок... И Нина и лицо это поплыли вверх, смешались в сплошном черно-белом потоке.

Сергей, с двух сторон стиснутый текущими к эскалатору людьми, уже чувствовал, что не мог обмануться, хотя увидел их так коротко, нереально, как будто их и не было.

— Гражданин, не мешайте!

— Вы что... заснули? Растопырился!

Его толкали к эскалатору, его повлекло, как в водовороте. Он плечами попытался высвободиться из этой потянувшей его вперед тесноты, сделал несколько шагов вперед, и тугой людской поток понес его за собой на ползущие вверх ступени, и он стал подыматься, соображая: «Кто это, ее муж? Это он? Она вернулась с ним?..»

В вестибюле он сбежал с эскалатора, вглядываясь в толпу, в движущиеся лица, но здесь их не было. Он вышел из метро, торопливо достал сигареты, оглядываясь, сдерживая сбившееся дыхание. Площадь кипела легковыми машинами, переполненными троллейбусами, чернеющими около остановок пешеходами, неоновый свет лился на асфальт, на головы людей.

И он увидел их. Они ждали на переходе через площадь, пропуская вереницу машин,— Нина без берета, в коротком плащике, широкоплечий, даже грузный, человек в куртке, держа чемодан, уверенно охватив ее плечо, что-то говорил ей, а она чуть-чуть кивала.

«Значит, она вернулась с ним? Но она дала телеграмму: «Выезжаю днями»... Почему она дала неточную телеграмму? Значит, он вернулся?..»

Он уже твердо знал, что этот человек с дочерна загорелым лицом — ее муж, что она вернулась из экспедиции не одна. Он теперь увидел его и против желания чувствовал, что грубовато-резкая внешность этого незнакомого человека не вызывала в нем неприязни, и первое его неосознанное решение — подойти сейчас к Нине — мгновенно показалось ему непростительным мальчишеством.

Вереница машин пронеслась, и он видел, как они перешли площадь, как человек в куртке поддерживал Нину под локоть, как в такт шагам волновался ее плащик, потерялся в сумраке вечера на той стороне площади.

Только тогда он двинулся по улице, и словно бы из пелены доходили до него гудки автомобилей, шум троллейбуса, кипение вечернего города, и возникала мысль, что вот здесь все кончилось: неужели три года он подымался по лестнице, счастливо торопился, затем с размаху открыл последнюю дверь, а за ней — провал, мертвенная пустота?..

«Нет! Не может быть! Не может быть!..»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Я, ей-богу, умею держать утюг в руках, я не такой уж негодный парень, Асенька. И не пижон, поверьте. Наглаживал себе брюки с юных лет, научился этому мастерству в совершенстве.

— Ну что вы врете, Костя! — сказала Ася строго.— Ясно по вашим брюкам: вы их на ночь кладете под матрас. Не пускайте пыль в глаза. Вот пепельница. Можете сидеть, и курить, и наблюдать молча. Вы поняли?

Было десять часов вечера.

В комнате тихо, по-домашнему пахло снежной свежестью выглаженного белья, белейшей стопкой сложенного на краю стола. Ася в ситцевом сарафанчике, в тапочках на босу ногу — смуглые плечи обнажены — послюнила

палец, осторожно потрогала зашипевший на подставке утюг, помотала пальцами, стала гладить, от старательности высунув кончик языка; лицо озабоченное, капельки пота выступили над верхней губой.

— Ах, Ася, как вы жестоки ко мне! Ни в чем не доверяете. Вы смотрите на меня как на не приспособленного ни к чему балбеса. Прошу вас, не надо.

Константин ходил вокруг стола, смешливо косил брови, говорил жалобно, полусерьезно, однако не пытаясь, как обычно, вызвать у нее улыбку, смотрел на ее разгоряченное лицо, видел дрожащие росинки пота на верхней губе, втайне наслаждаясь нежностью к этим чистым капелькам и легкостью ее жестов — она не прогоняла его, как прежде, а снисходительно разрешала быть здесь, и он был рад этому.

— Ася, ей-богу, очень жарко сегодня, и еще ваш утюг... Дайте же мне. Я помогу. Я умру от безделья.

— Да, давайте говорить о погоде. Какой душный вечер! — смеясь, сказала Ася и сдунула волосы со щеки.— Действительно: просто какая-то Сахара! Я, например, чувствую себя бедуинкой.

Она постриглась недавно, и как-то незнакомо, без кос, обнажилась ее шея, от этого Ася казалась выше ростом, и было что-то новое, взрослое в ее плечах, спине, голых руках, даже в интонации голоса.

Ася вопросительно посмотрела на Константина, опять сдунула волосы со щеки — наверно, не привыкла к новой прическе, короткие волосы мешали ей,— потом спросила с легкой насмешкой:

— Лучше скажите, как вы там сдали свои горные машины? Всякие свои штреки, копры? Наверно, было бормотание, а не ответ?

— Крупно плавал, но потом прибило к берегу. Сдал. Не будем касаться грустных воспоминаний.

— Теперь, конечно, на практику?

— Ох, придется, Ася.

— А я так похудела за экзамены, даже тапочки сваливаются. Чертовски трудный был первый курс. В медицинском вообще трудно учиться. Впрочем, это не жалобы, а факт. Я довольна.

И Ася набрала в рот воды из стакана, надув щеки, брызнула на белье, спросила неожиданно:

— Вы, кажется, хотели удирать из института?

— Была чудовищная попытка, Ася.

— «Попытка»! Вы просто патологический тип,— сказала Ася с осуждением и блеснула на Константина глазами.— Сами не знаете, чего хотите! Ну чего вы хотите вообще?

— Ася, есть вещи, которые долго объяснять. Просто у меня сохранились животные признаки. Иногда сам себя не понимаю. Потом — я ведь чуточку старше вас.

— Не козыряйте старостью. Как можно не понимать себя? Просто не Костя, а Гамлет, принц датский!

— Ася!

— Тише, не кричите, как в гараже, папа спит! Будете кричать тут, я вас прогоню немедленно.

Он увидел на спинке стула пижаму Николая Григорьевича и понял — его нет дома, она обманывала.

— Ася, я шепотом...

— Ну?

— Ася...

— Я знаю, что я Ася. Уже девятнадцать лет знаю. Ну что вы, честное слово! — Она настороженно поглядела на него.

— Ася... Я... буду брызгать вам... водой. Клянусь, сумею, вы будете довольны. Вот через неделю уеду на практику, и такого усердного дурака не найдете, который будет вам брызгать водой. Я сделаю это талантливо.

Константин с дурашливой и умоляющей гримасой потянулся к стакану, но тотчас Ася проворно повернулась к нему, выхватила стакан, гладкое стекло скользнуло в ее пальцах, и Константин торопливым движением подхватил стакан на лету, расплескивая воду на ее сарафанчик. От неожиданности Ася ахнула, поспешно двумя руками отряхивая намокший подол, взглянула быстро — чернота глаз будто от головы до ног уничтожающе перечеркнула Константина.

— Терпеть не могу, когда мужчина лезет в женские дела! Ну что с вами делать? Облили меня талантливо, вот что! Уходите сейчас же, вы мне не нужны со своей помощью!

Она наклонилась, сдвинув колени, начала выжимать намокший подол, лицо стало сердитым, а когда она наклонилась, Константин увидел трогательную нежную округлость ее груди в разрезе сарафанчика и сейчас же отвел глаза, растерянный, боясь, как бы она не перехватила его случайный взгляд, боясь ее стыда и гнева.

Ему хотелось поцеловать ее в худенькую склоненную шею.

— Ася, я сейчас на кухню... я сейчас воды...— пробормотал Константин, с неуклюжей осторожностью поставил стакан на стол и, не решаясь оглянуться на нее, почему-то на цыпочках подошел к раскрытому окну. В черноте двора сопело, хлюпало, шелестело, точно ломали веточки на кустах: сквозь световой конус сыпались капли дождя, свежего, обильного, летнего.

— Ася, я сейчас...— повторил он виновато.— Я сейчас...

И с решимостью подставил голову быстрым теплым струям, покрутил головой в этой льющейся сверху влаге, сдавленно говоря туда, в дождь, точно убеждая и казня себя:

— Мне на кухню... мне на кухню... О, болван!

— Что вы там делаете? — крикнул Асин голос за его спиной.— Купаетесь? Тогда идите в ванную! — И она, не сдержавшись, засмеялась.— У вас такой вид, будто вас из бочки с водой вынули! Возьмите мой зонтик!

Он, чувствуя на своем лице глупую улыбку, сказал:

— Ваш зонтик, Ася, нужен мне как рыбе галоши. Просто мне хочется набить себе физиономию, глупую, развратную физиономию. Не смейтесь, я себя знаю! Великолепно знаю!

— Что, что? — шепотом спросила Ася и, покраснев, машинально провела руками по влажному сарафану.— Что вы так смотрите? Вы совершенно мне гладить не даете. Вы что это сказали?

И она, вроде рассерженная его словами и тем, что он мешал ей, задернула на окне половину занавески, заявила уже полуснисходительно:

— Когда вы начинаете говорить, всегда что-нибудь ужасное ляпнете.

— Ася, я сам знаю, что я не ангел, но вы обо мне думаете очень уж плохо,— глухо сказал Константин.— Вы почему-то все что угодно можете мне говорить. А я ведь не мумия.

— Лжете, в глаза лжете! Вы сами какую-то глупость сказали!

Из темноты окна наносило плеск дождя, стук капель о подоконник, брызги летели на худенькие плечи Аси, они были неподвижны, она смотрела, замерев, только покусывала нижнюю губу,— и снова его охватило жела-

ние поцеловать ее в подбородок, в тонкую обнаженную шею.

И, боясь этого, боясь и себя и ее, он сделал веселое выражение, по-дурацки бодро, как показалось ему, выговорил:

— Я ухожу, Ася.

— Уходите! — сказала она.— Буду рада!

Когда несколько дней он не видел ее, ему тревожно было на душе, и он ждал спешащий стук Асиных каблуков по коридору, звук ее голоса заставлял его вздрагивать, он даже на слух определял, когда она набирала воду из крана — создавая на кухне хозяйственный шум, зачем-то отворачивая кран до отказа. Порой ему хотелось встретить Асю не дома, не в коридоре, а одну на улице, серьезно, отчаянно сказать ей: «Ася, если бы вы меня знали, все было бы иначе. Я могу быть другим... Просто была война. Я могу все забыть... Я даже могу быть серьезным, только поверьте мне. Только поверьте».

И по вечерам, лежа на диване, он думал об этом: то, что она была моложе его на шесть лет, жила, думала иначе, чем он, не знала всего, что знал он, и то, что она была сестрой Сергея, очерчивало нечто непреодолимое между ним и ею.

Он повторил отрывисто:

— Я ухожу, Ася... Вы только на меня не сердитесь.

— Уходите, пожалуйста! Я не задерживаю! Буду очень рада!

Он подошел к двери и, пересиливая себя, спросил грустно:

— Вам со своей холодностью легко жить на свете? Почему вы такая холодная, Ася?

— Холодная? Пусть я лед, снег, камень! Не читайте мне нотации. Лучше быть холодным, злым, чем легкомысленным! — заговорила Ася с непонятной мстительностью.— Вы себя достаточно показали! Терпеть не могу грязных людей!

Ее голос толкнул его в спину, и он не сказал ни слова, распахнул дверь и, торопясь, закрыл ее, вышел в коридор.

— Костя!

Он услышал, как сильным толчком раскрылась дверь, сразу же обернулся — в проеме двери стояла Ася, вся напряженная, глаза встревоженно увеличены, и он видел одни глаза, огромные, блестящие, сплошной чернотой.

— Костя, Костя,— прошептала она.— Подождите! Идите сюда, в комнату, в комнату!.. Костя, Костя!

И втянула его в комнату, схватив за руку, дрожь сухих пальцев передалась ему, он непроизвольно порывисто сжал их с нерассчитанной нежностью, и внезапно она испуганно выдернула кисть и стала перед ним, почти касаясь его груди, опустив голову,— он чувствовал чистый запах ее волос,— теребила на узенькой талии поясок сарафанчика, как бы опасаясь посмотреть ему в лицо. Потом тихонько отошла от Константина в угол комнаты, оттуда поглядела пристальным взглядом, вдруг, зажмурясь, ладонью шлепнула себя по одной щеке, затем по другой, говоря:

— Вот тебе, вот тебе!

— Ася...— только произнес Константин.

— Костя, вы ничего не спрашивайте. Хорошо? Хорошо? Дайте слово ничего не спрашивать! — ожесточенно, едва не плача, проговорила Ася и топнула ногой.— Ах, какая я дура! Сама себя ненавижу! Это ужасно! Мне надо было мужчиной родиться, брюки носить. Просто ошиблась природа... Ненавижу себя!

И резко отвернулась, беспомощно и косо глядя на темное, сыплющее дождем окно. Константин на цыпочках приблизился к ней, помолчав, сказал шепотом:

— Если бы вы были мужчиной, я бы умер, Ася...

— Что? — с ужасом спросила она.— Что?

— Я бы умер, Ася...

В двенадцатом часу вечера пришел Сергей.

Во второй комнате молча сбросил намокшие ботинки, надел старые тапочки и, выйдя к Асе и Константину, спросил угрюмо:

— Где отец? Опять торчит в своей бухгалтерии? Великий бухгалтер наших дней! — добавил он раздраженно.— У самого сердце ни к черту, а сидит до двенадцати часов. Наверно, думает, без его подсчетов весь мир перевернется. Государственный деятель!

— Не смей так говорить об отце! — сказала Ася сердито.— Ты очень грубо говоришь об отце. И грубо разговариваешь с ним всегда! В тебе жестокость какая-то! Прекрати, пожалуйста, эти глупости!

Морщась, Сергей лег на диван, закрыл глаза; лицо было осунувшимся, отчетливо проступала морщинка на переносице, и Константин спросил медлительно:

— Что у тебя, Серега?

— Так. Ничего. Дождь идет. Ладно. Я спать хочу. Пошли все к черту!

Он чуть покривился, подбил под голову маленькую диванную подушку, уже стараясь не слушать ни голоса Константина, ни Аси, ни плеска дождя, усилием воли заставляя себя заснуть.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В его сознание, замутненное сном, тупо ворвалось мгновенно возникшее движение — как будто рев танкового мотора за окном, как будто голоса людей, шаги, дребезжание стекол над самым ухом,— и, ничего не понимая, он открыл глаза, вскочил на диване.

Темнота недвижно стояла в комнате, глухо, с сопением, с бульканьем хлестал дождь, звенел по стеклам, бил по железному козырьку парадного.

«Фу-ты черт! — подумал он облегченно.— Откуда танки? Что за чушь лезет в голову! Который час? Рассветает?»

Он потер кисть, замлевшую от неудобного лежания во сне, потянулся за часами на столе, но тотчас отдернул руку, словно ударили по ней: сильное дребезжание стекол над головой заставило его разом повернуться к темному окну, плотно слившемуся со стенами.

— Кто там? — крикнул Сергей.

— Быстро, откройте!

Кто-то стучал, по-чужому настойчиво, было слышно хлюпанье ног по лужам во дворе, но странно: в коридоре не звонил звонок, чужой голос не повторил «откройте» — все стихло. Сергей соскочил с дивана, на бегу зажег электричество и, открывая дверь в коридор, на какую-то долю секунды замедлил поворот ключа — внезапно пронеслась мысль о воровской банде «Черная кошка»: ходили слухи, что она появилась в Москве. Но сейчас же, почему-то сомневаясь в этом, вышел в коридор, и здесь, перед дверью, переспросил громко и недовольно:

— Кто там? К кому?

— Откройте! Проверка документов!

— Попытаюсь.

Он щелкнул замком, отступил в сторону.

Ворвалась дождевая свежесть, облила холодом грудь

Сергея. Шаги по ступеням, топот ног, приглушенный голос: «Мамонтов, вперед!» — и, еще не увидев людей, их лиц, Сергей понял, что это не то, о чем подумал он. Слепящий свет карманного фонарика полоснул его по лицу, по глазам, скакнул вперед, в коридор, выхватил мокрый воротник плаща, погон, лакированный козырек фуражки мягко прошедшего вперед человека, и другой человек, остановившийся возле Сергея, посветил фонариком, спросил:

— Вы кто? Фамилия?

— Вам кого нужно? Вы кто? Из милиции? Уберите фонарик, что вы светите мне в лицо? — нахмурясь, сказал Сергей, невольно подумав, что это могли прийти за Быковым, и повторил: — К кому?

— Я спрашиваю вашу фамилию! — властно произнес голос.— Фамилия?

— Положим, Вохминцев.

— Идите вперед, Вохминцев. Зажгите свет в коридоре. Вперед, вперед. В комнату, гражданин Вохминцев! — скомандовал начальственный голос, и до Сергея ясно донеслись из комнаты тревожные голоса Аси, отца, и он увидел: вспыхнул свет в коридоре, в комнате, к настежь раскрытой двери, стуча каблуками, подошел, сделал поворот кругом, застыл с белобровым негородским лицом солдат в шинели, по-уставному поставил винтовку у ног.

Увидев все это, он вошел в комнату, еще полностью не сознавая, убеждая себя, что происходит, произошла страшная ошибка, невероятная обжигающая нелепость, и, еще не веря в это, остановился, вздрогнув от голоса,— низенького роста сухощавый капитан в плаще с погонами государственной безопасности (на погонах блестели капли дождя) держал в желтых пальцах какую-то бумагу, говорил спокойно, тусклым, гриппозным голосом:

— Вохминцев Николай Григорьевич? Вот ордер на арест. Собирайтесь.

Отец в нижнем белье, только пиджак накинут на плечи,— все это делало его жалким, незащищенным, лицо болезненно-небритое, будто в одну минуту постаревшее на десять лет,— мелко подрагивая бровями, даже не взглянул на бумагу, взгляд перескочил через голову капитана, встретился с глазами Сергея и непонимающе погас. Он мелкими глотками два раза втянул воздух, согнулся и сразу ставшей незнакомой, старческой походкой, не говоря ни слова, вышел в другую комнату. Капитан

двинулся за ним, оттуда, из второй комнаты, донесся его носовой голос:

— Быстро, гражданин Вохминцев. Прошу быстро!

Было видно в открытую дверь, как он, оставляя следы грязи на полу, прошел к письменному столу, вприщур окинул стол, стены, потолок, неторопливо набрал номер телефона, сказал в трубку негромко:

— Да. Мамонтов. Мы здесь. Да. Слушаюсь. Хорошо. Слушаюсь.

В комнату из коридора испуганно выдвинулась толстая, укутанная в платок дворничиха Фатыма — понятая, как догадался Сергей. Второй офицер, старший лейтенант, ручным фонариком указал ей на стул, Фатыма села, робко озираясь. Старший лейтенант, с круглым деревенским лицом, тонкогубый, со светлыми степными глазами, глядел на Сергея в упор, расставив ноги.

«Отец вернулся поздно ночью. Я не слышал, когда он вернулся»,— мелькнуло у Сергея, и приглушенные голоса в коридоре, и чужие голоса в квартире, и Фатыма, и следы на полу, и разнесшийся запах армейских сапог, мокрых плащей, наклоненная к телефону худая и чужая шея низенького капитана, и его слова, произнесенные в трубку, и эта вся грубо заработавшая машина вдруг вызвали в нем бессилие, злость и страх перед страшным, неотвратимым, беспощадно что-то ломающим в жизни его, отца, Аси. И в то же время не исчезала мысль о том, что все это нелепое недоразумение, что сейчас капитан, разговаривавший по телефону, положит трубку, извинится, объявит, что произошла ошибка... Но капитан положил трубку, потом, внимательно разглядывая стол, бумаги на нем, скомандовал, не поворачивая головы:

— Поторопитесь, поторопитесь, гражданин Вохминцев! Быстро! Прошу.

И Сергей бросился в другую комнату, туда, к отцу, которого торопил, подхлестывал этот чужой голос. Отец не спеша одевался, но никогда так неловко, угловато не двигались его локти, его руки искали и сомневались, словно бы вспоминали те движения, которые нужны были, когда человек одевается. И то, что он стал повязывать галстук, как всегда, задрав подбородок, опустив веки,— и этот задранный подбородок, опущенные веки бросились в глаза Сергею своей жалкой, унижающей ненужностью. И его снежно-седые виски, крепко сжатые губы, небритые щеки показались Сергею такими род-

ными, такими своими, что, задохнувшись, он выговорил хрипло:

— Отец...

— Что, сын? — спросил отец, и непонятно затеплились его глаза. И повторил: — Что, сын?

Ася лежала на постели, судорожно натягивая одеяло до подбородка, в огромных блестящих зрачках ее плавал ужас, и в шевелящихся бледных губах был тоже ужас. Она повторяла, вздрагивая:

— Папа, папа, папа... Что ж это такое? Папа...

— Э-э, интеллихенция, халстуки завязывает. Хватит! — раздался сзади приказывающий голос — старший лейтенант с деревенским лицом, со светлым пронзительным взглядом проследовал к отцу, выхватил из его рук галстук, швырнул на стул.— А ну кончай, давай выходи. Давай прощайся.

— Ваша работа не исключает вежливости,— сухо сказал отец.

— Папа! — вскрикнула Ася, дрожа, вся потянувшись к отцу с постели так, что одеяло сползло, открыло голые руки, и отец с каким-то новым, незащищенным выражением наклонился к ней, поцеловал в лоб, сказал едва слышно:

— До свидания, дочь... Обо мне плохого не думай... Прости... Вот оставляю вас одних...

А когда обернулся к Сергею в своем старом, потертом пиджаке, не успев застегнуть воротник сорочки — на сорочке нелепо блестела запонка,— когда в глазах его будто толкнулась виноватая улыбка, Сергей сильно обнял отца, ткнулся виском в колючую щеку, выговорил с ожесточением и надеждой:

— Отец, это ошибка! Все выяснится. Ошибка, я уверен — ошибка, я уверен, уверен, отец...

— Знаю, ты не любил меня, сын,— серым голосом проговорил отец.— Я для тебя был чужой... Почти чужой...

И отец как-то странно, болезненно, обняв Сергея, беспомощно поглядел на с ужасом прижавшую ко рту одеяло Асю, на стены комнаты, на письменный стол, проговорил:

— Живите как надо.

— Давай, пошли! — прервал старший лейтенант, нетерпеливо кивая на дверь, и отец быстро пошел и только задержался на пороге, на секунду дрогнув плечами,

точно еще хотел повернуться, и не повернулся, исчез в коридоре, в его сумрачном колодце.

Все было унижающим, противоестественно оголенным в присутствии этих людей в защитных плащах: и прощание отца, слова его, и то, что Сергей, глотая спазму, застрявшую в горле, не крикнул в эту минуту ему: «До свидания, папа!..»

— Ася...— зачем-то тихо позвал Сергей и не договорил.

В это время низенький капитан, аккуратно расстегивая плащ, подошел к книжному шкафу, растворил дверцы, вынул книгу, потряс, полистал ее, бросил на стул, гриппозно хлюпнув остреньким носом, достал другую... Ася, бледная, комкая на груди одеяло, со страхом смотрела на книжный шкаф, на листающего без стеснения страницы капитана, и Сергей заметил: бескровные губы, брови ее вдруг задрожали, она придавила одеяло к подбородку и сжалась, застонала, подавляя рыдания.

— Ася... я прошу тебя... Оденься,— глухим голосом проговорил Сергей.

И в тот момент, когда в другой комнате он сдернул с вешалки летнее Асино пальто, зычный окрик остановил его:

— Ку-уда?

Старший лейтенант, прочно загородив дорогу, рванул из его рук Асино пальто, торопливо начал ощупывать карманы, подкладку, и Сергей почувствовал чужую силу, чужие пальцы, хватающие карманы, и внезапно, стиснув зубы, выговорил:

— Уберите руки!

Старший лейтенант изо всей силы держал пальто, Сергей видел, как упруго набухли желваки, стали мучными скулы старшего лейтенанта, твердо впились ему в лицо светлые глаза. Со сжавшей его злобой Сергей упорно смотрел в побелевшие, жесткие, готовые на все глаза, в его сознании скользнула мысль, что он никогда еще не видел такое мучное, видимо, жившее ночной жизнью лицо. Сергей произнес с трудом:

— Отпустите пальто! Я пока не арестован!

— Сидеть! В комнате сидеть! Никуда не выходить! Вот здесь сидеть! — яростным шепотом крикнул старший лейтенант.— Ясно?

— Князев! — окликнул капитан невнятно.

Видимо, тот вынужден был сдержаться: не отводя от Сергея белого взгляда, отпустил пальто, узловатой кистью привычно провел по боку, где под плащом оттопыривалось, мотнул головой.

— А ну на место! Скаж-жи, быстряк!

Потом с ощущением бессилия Сергей сидел на диване, чувствовал: рядом ознобно вздрагивала Ася, укутанная в пальто, полулежала, прислонясь затылком к стене, мертво вцепившись пальцами в его руку. Он не знал уже, сколько времени шелестели страницы книг, выбрасываемых из шкафа, сколько времени ходили по комнатам чужие люди, упорно отодвигая шкафы от стен, заглядывая в щели; не знал, зачем трясли книги над полом, ища в них что-то.

Ему хотелось курить, непреодолимо хотелось втянуть в себя горький ожигающий дым, помнил, что сигареты в правом кармане пиджака, оставленного в другой комнате на спинке стула перед диваном, но не вставал, не желая выказать волнения, которое унизило бы его, лишь успокаивающе стискивал ледяные пальцы Аси и слегка отпускал, гладил их.

А они делали, видимо, привычную свою работу, не снимая плащей, фуражек, не разговаривая. Капитан сидел на краешке стула, по-птичьему согнувшись, опустив острый носик, желтыми, прокуренными пальцами шевелил страницы книг, тряс их, кидал на пол, изредка лез за скомканным платком, трубно сморкался, промокал носик, вытирал губы, глаза его, покраснев, гриппозно слезились. И Сергею казалось, что его желтые пальцы оставляют следы гриппа на книгах, на стекле шкафа, на вещах, к которым он прикасался.

Дождь плескал по асфальту двора, и было чудовищно странно, что в окне, как всегда, жидко светился дворовый фонарь, трясущийся от дождевых струй.

Старший лейтенант, широко, по-деревенски хозяйственно раздвинув ноги в хромовых, слегка собранных в гармошку сапогах, обрызганных грязью, в сдвинутой на затылок фуражке, сидел за письменным столом, порой настороженно косясь на Сергея, читал бумаги отца, листал их, послюнив палец; с излишним стуком выдвигал ящики, в которых лежали письма, документы, ордена, конспекты Сергея, недоверчиво нахмуриваясь, выкладывал ордена, документы, письма перед собой. И были ненавистны Сергею его цепкие руки, плоская спина, плоская

широкая шея, светлые степные волосы, заляпанные сапоги, собранные щеголеватой гармошкой. Старший лейтенант тщательно и подробно просмотрел документы, сложил их стопкой отдельно, хмыкнув, достал из ящика какую-то бумагу.

— А ну... иди-ка сюда!

С усмешкой держа в одной руке исписанный листок бумаги, он поднял другую руку, из-за плеча поманил Сергея.

— А ну-ка сюда иди! Это твое? — И локтем толкнул документы, ордена в сторону, установил локоть на столе, читая про себя, шевеля губами.— Твое, а?

По медлительности, нехорошей усмешке его, с какой он мог глядеть на непристойность, по мелкому почерку на тетрадном листке бумаги Сергей сейчас же догадался, что, очевидно, у него письмо Нины, и, испытывая желание встать, выхватить письмо из этой цепкой узловатой кисти, сидел на диване, стиснув зубы,— заболело в висках.

— А? Как же? Любовью занимаешься? Кто она? — различил он негромкий голос.— А?

Сергей проговорил:

— Прошу не тыкать! Кто она — не ваше дело! Идите руки вымойте с мылом, протрите спиртом, прежде чем касаться чужих писем!

— Как не стыдно! Как вам не стыдно! — сдерживая плач, крикнула Ася, вонзив пальцы в ладонь Сергея.— Вы ведь советский человек!

— Встать!

— Вот как? А дальше что? — спросил Сергей и, как в темной дымке, встал, смутно видя перед собой посветлевшие добела глаза, готовый при первом движении этого человека сделать что-то страшное, готовый ударить его, уже не сознавая последствий, уже не думая, чем это кончится. И он снова спросил: — Ну? Дальше что?

— Князев! — простуженным голосом позвал капитан и поднес платок ко рту, гриппозно чихнул, утомленно, с выражением страдания склонился над книгой.

— Освободить диван! Что тут в диване? — тише, подчеркивая в голосе злую вежливость, проговорил старший лейтенант.— Ну-ка, посмотрим!..

И Ася, не понимая, пошатываясь, испуганно поднялась, прижимая к груди полу пальто, и старший лейтенант тотчас сдернул одеяло, простыню, отбросил ногой матрас, стал выкидывать из ящика пересыпанную нафталином зимнюю одежду. Потом выпрямился, обратил

набрякшее краснотой широкое лицо и вдруг, даже с видом странного заискивания, сбоку заглянул в глаза Сергея.

— Так где же хранится троцкистская литература, а?

— Что?

— А ну оденьтесь-ка, покажите, где у вас сарай! Пройдемте,— неестественно улыбаясь, приказал старший лейтенант. И когда Сергей прошел мимо неподвижно сидевшей с положенными на коленях руками Фатымы, мимо застывшего солдата в коридоре, когда толкнул дверь из парадного на улицу, старший лейтенант включил карманный фонарик, ободряя заискивающе-вежливо:

— Прошу, прошу...

Лил дождь, но темнота ночи поредела, в водянисто посеревшем воздухе чувствовался близкий рассвет, проступали силуэты домов, мокрый асфальт, мокрые крыши. Из водосточных труб хлестали потоки воды, дождь глухо шумел в черных, едва различимых вдоль забора липах, когда шли к ним по лужам от крыльца, и затем мягко застучал, забарабанил над головой по толю сараев, после того как Сергей резко, с каким-то мстительным щелчком откинул мокрую холодную щеколду, и оба — он и старший лейтенант — вошли в горько пахнущую березовыми поленьями тьму.

— Вот наш сарай,— сказал Сергей.— Ищите!

Капли, просачиваясь сквозь дырявый толь, с тяжелым однообразным звуком падали в щепу.

Желтый луч фонарика пробежал по белым торцам поленьев, сложенных штабелем, скакнул вниз, вверх; вспыхнула влажная щепа на полу, изморосно замерцала отсыревшая стена за штабелем поленьев, свет прямым коридорчиком уперся в стену, настойчиво поискал по углам.

— А ну отбрасывайте поленья от стены! — скомандовал лейтенант.— В угол — дрова!

— Что-о? — спросил Сергей.— Дрова перекидывать? Хотите искать — перекидывайте! Нашли идиота! Ищите!

Старший лейтенант круто выругался, откинул несколько поленьев в угол, внезапно луч фонарика впился в пол возле заляпанных грязью сапог, Сергей увидел перед собой ртутно скользнувшие глаза, едкий табачный перегар коснулся губ.

— О себе не думаешь, ох, много болтаешь, парень. Ты институт кончаешь, Сергей... Видишь, имя даже твое знаю. Давай по-простому, я тоже воевал,— с неумелой мягкостью заговорил он.— О себе подумай, тебе институт

закончить надо, инженером стать. А можешь его и не закончить... Я воевал, и ты воевал. Я коммунист, и ты коммунист. Жизнь свою не порть. Я в лагерях видел всяких. Где у отца троцкистская литература?

Сергей молчал; крупные капли шлепались в щепу, одна остро и неприятно попала ему за ворот, ледяным холодом поползла по спине. Он проговорил насмешливо:

— Вот здесь, за дровами, в подвале с подземным ходом. Ну ищи, откидывай дрова! Найдешь!

— Смеешься, Сергей?

— Плачу, а не смеюсь.

— Та-ак.

Старший лейтенант вплотную приблизил белеющее свое лицо к лицу Сергея, заговорил, тяжеловесно разделяя слова:

— Смотри... другими... слезами... умоешься.— И жестко возвысил голос: — А ну выходи из сарая!

В комнатах все носило следы чужого прикосновения — валялись книги на стульях, на диване, на полу; настежь были открыты дверцы буфета, книжного шкафа, шифоньера, выдвинуты ящики стола — все как будто насильственно сместилось, сдвинулось, зияло неопрятно обнаженным нутром.

Капитан, обтирая покрасневший носик, уже устало ссутулился за обеденным столом, писал что-то автоматической ручкой, слезящиеся глаза его на сером немолодом лице моргали страдальчески — он дышал ртом, лоб морщился, короткие брови изредка вздымались, как у человека, готового чихнуть и сдерживающего себя.

Перед ним на скатерти блестели на свету два обручальных кольца — отца и матери, хранимых почему-то отцом, наивно светились позолоченные старинные серьги матери, кажется, подаренные ей молодым Николаем Григорьевичем еще в годы нэпа, слева стопкой лежали телефонная книжка, документы, бумаги, старые письма.

— Есть еще золотые вещи и драгоценности?— спросил капитан, обращаясь к Асе утомленно.

— Нет,— шепотом ответила Ася.— Нет, нет...

Капитан склонился над бумагой — светлая капелька собралась на кончике носа, звучно упала на бумагу. Он через силу сделал нахмуренное лицо, вместе с кашлем продолжительно высморкался — вся маленькая сухая фигурка заерзала, зашевелилась, скулы покраснели, и было жалко, неприятно видеть его старательно скрываемое

смущение. По-прежнему хмурясь, он смял платок, сунул его в карман, сказал тихим голосом старшему лейтенанту:

— Кончайте.

Тот, упершись кулаками в стол, напружив плоскую шею, медлительно, вроде не слыша капитана, читал то, что было написано на бумаге, облизывал губы, думал сосредоточенно.

— Буфет,— наконец сказал он и показал бровями на буфет.— Входит в опись?

— Пожалуй.

Капитан опустил матового оттенка веки, взял ручку; терпеливо проследив за движением сухонькой кисти капитана, старший лейтенант, крепко ступая, вышел в другую комнату, скоро собрал на письменном столе бумаги Сергея — записную книжку, письма,— вернулся, положил все это перед капитаном, сказал что-то коротко ему на ухо.

— Пожалуй,— ответил капитан, помедлил и маленькой желтой рукой стал складывать бумаги в кожаный портфель.

Он встал.

И Сергей понял, что, несмотря на свое звание, капитан этот тайно побаивается старшего лейтенанта, его наглой решительности и что вследствие этого старший лейтенант, несмотря на низшее свое звание, имеет бо́льшую власть, что они оба, делая одно дело, остерегаются, не любят друг друга. И, поняв это, чувствуя злое отвращение к ним обоим, сказал:

— Вы взяли мою записную книжку, мои письма. Они не имеют никакого отношения к отцу.

Старший лейтенант поиграл желваками, глянул на ручные часы; капитан застегнул плащ, надвинул фуражку так, что выпукло выделился бугорок затылка, и первый последовал к двери, неся портфель.

— Выходи,— махнул пальцем старший лейтенант Фатыме, и она, чудилось, все время ареста и обыска дремавшая на стуле, в углу комнаты, взметнулась в полусне, заспешила, переваливаясь толстым телом, в коридор.

Выходя последним, старший лейтенант распрямил грудь, задержав воздух в легких, зорко прицелился зрачками на Сергея, затем проговорил обещающе:

— Еще встретимся, Сергей Николаевич.

И перешагнул порог, не закрыв двери.

Все было кончено. Даже в коридоре потушили свет. Все неожиданное и насильственное ушло с ними, исчезло вместе с затихшими шагами на крыльце. Все смолкло, только дверь еще была открыта в темноту коридора.

Сергей вскочил с дивана и так бешено, изо всей силы хлопнул дверью, что посыпалась от косяков штукатурка, зазвенели стекла в окнах. Он заходил по комнатам, наступая на книги, на разбросанную по полу бумагу, будто жадно искал выхода и не находил, потом бросился к окнам, распахнул рамы в серую муть утра, глотнул сырой воздух, как воду.

— Проветрить, проветрить! Проветрить, к чертовой матери! — говорил он.— Всё к чертовой матери! Ася, Ася, дай мне папиросы, у меня в кармане!.. Или есть у нас водка, есть водка? Что-нибудь выпить...— заговорил он срывающимся голосом, глотая воздух около окна.

Ася крикнула со слезами:

— Сергей, что с тобой?.. Сережа!

Она шарила в его пиджаке, висящем на стуле, не попадая в карманы; ее расширенные глаза, налитые ужасом не отрывались от спины Сергея.

— Сережа, миленький...

Она приблизилась к нему, протягивая папиросы, стуча в нервном ознобе зубами.

— Сережа, миленький... Что же это? Как же теперь?

Горячий колючий комок унижения и бессилия застрял в горле, и он не мог проглотить этот комок, и слезы душили, не давали дышать, мешали ему улыбнуться Асе — губы были как каменные. Он потер горло, точно сдирая на нем что-то липкое, проговорил с усилием:

— Ничего... я с тобой. Я буду с тобой...

И обнял ее за худенькие трясущиеся плечи.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Не раздеваясь, уже в конце ночи он задремал на диване, неудобно прикорнув на боку, и в дреме не покидало его острое, тоскливое ощущение неудобства, какое-то беспокойство, как будто воровски спал на краю вокзальной лавки среди беззвучно кричащих вокруг людей.

— Сергей, Сережа!..

Он рывком сел на диване — и сразу почувствовал свинцовую тяжесть в болевшей голове.

Было утро, солнце висело над мокрыми крышами.

Ася, собравшись комочком, лежала на своей кровати, укрывшись не одеялом, а пальто, дышала часто, жалобно всхлипывая во сне; синие тени проступили в подглазье. И Сергей, вспомнив все, подумал, что она звала его во сне, что он очнулся от ее голоса, позвал шепотом:

— Ася!..

Она не ответила. И тотчас громкий стук в дверь повторился, и вместе с ним — громкий голос Константина в коридоре:

— Сергей, открой! Открой!

С тошнотворным отвращением к этому стуку Сергей встал, медленно повернул ключ, увидел на пороге Константина, заспанного, в расстегнутой на груди ковбойке, молча потянул из пачки сигарету, зажал ее зубами.

— Сережка! Отца? Ночью? — Константин обежал взглядом комнату со следами беспорядка — книги, бумаги еще валялись на полу.— Сережка... ночью взяли... отца? Я слышал возню — ни дьявола не понял! Что молчишь, т-ты?..

— Да,— сказал Сергей.— Не все ли равно когда.

— И Ася?.. — Константин на цыпочках подошел к кровати, где, свернувшись калачиком, лежала она под пальто, наклонился с желанием помочь, прошептал: — Асенька...

Она на секунду посмотрела на него со страхом и повернула голову к стене, застонав, как от боли.

— Быков! — вдруг охрипшим голосом проговорил Константин. — Сволочь Быков! — крикнул он.

И рванул дверь, выскочил в коридор, и тут же Сергей услышал грохот его бега, бешеное хлопанье дверью в глубине квартиры и бросился следом за Константином в конец темного коридора, где была комната Быкова.

— Костя! Сто-ой!..

Он не успел догнать его — увидел в распахнутую дверь стол, белую скатерть, чайную посуду и куда-то в потолок обращенное страшное, налитое лицо Быкова. Константин, вцепившись в его шелковую пижаму, подняв его со стула, яростно тряс его так, что рыхло колыхалось короткое плотное тело, а тот, не отбиваясь, только толстыми складками съежив шею, багровый, вздымал голову к потолку, хрип вырывался из его трубкой вытянутых губ.

— Па-аскуда! Сволочь!.. Это ты... это ты, б..., доносы строчишь? Ты людей мараешь?.. Чай пьешь, сволочь, когда тебе каяться нужно! На коленях ползать! — Константин, крича, перекосив неузнаваемое лицо, сумасшедше дернул Быкова к себе, затрещала, лопнула, расползлась пижама на нем, обнажила пухлую волосатую грудь. И в это же мгновение Сергей, напрягая мускулы, со всей силы оторвал их друг от друга. Быков в расползшейся до живота пижаме отлетел к этажерке, ударился о нее спиной, от удара полетели на ковер фарфоровые слоники. Он тяжело сполз на пол, рыская по лицам обоих глазами загнанного зверя.

— Костя, подожди! Костя, стой! — крикнул Сергей, став между Быковым и Константином.— Подожди, я тебе говорю!

— Живет мразь на земле: ест, спит, ворует, ходит в сортир! — задыхаясь, еле выговорил Константин.— Ну что с ним делать? Что с ним делать? Убить, чтоб не вонял! За такую сволочь отсидеть не жалко! Подумать только, человеческим голосом говорит! А? Все берет от жизни, а сам копейки не стоит! Гроша не стоит!

— Ответите... за все ответите... я вас всех... ответите... истязание...— судорожным горлом сипел Быков и зло заплакал, слезы побежали по щекам, он рванулся, пошарил вокруг по полу, потом лихорадочно схватился по-бабьи за щеки, закричал удушливым шепотом: — Люуди! Люди-и! На помощь, на помощь!

— Люди, помогите этой мрази, поверьте этой шкуре! Люди-и! — передразнил Константин.— А ведь этой проститутке кто-то верит, а? Верят, а?

А Быков, все покачиваясь из стороны в сторону, сдавливал щеки ладонями, с одышкой выталкивал сиплый крик:

— Люди, люди-и!..

Моргали влажные пухлые веки, выражение злости в его лице не соответствовало жалкой бабьей позе, неуверенному крику, разорванной на волосатой груди пижаме, и Сергей, испытывая отвращение к его голосу, грузному телу, к его хриплому дыханию, ко всему тому, что он знал о нем и не знал, спросил самого себя: «Мог ли он оклеветать отца? — И ответил почти твердо: — Мог...»

Он ответил сам себе «мог», но все же не поверил так, как без колебаний поверил этому Константин, и,

чувствуя боль в голове, не оставлявшую его после ночи, сказал:

— Пошли, Костя.

— Я еще доберусь до тебя, паук! — выговорил Константин с ненавистью и пинком отшвырнул валявшегося на полу фарфорового слоника.— Заткнись, самоварная харя!..

— Петя, что ты? Что они с тобой сделали? — взвизгнула жена Быкова на пороге комнаты.

— Люди-и!.. Люди-и!.. На помощь! — все нарастая, все накаляясь, переходя в сиплый рев, неслось из комнаты Быкова.

— Ты встанешь завтракать, Ася?

— Мне не хочется, Сережа. Я полежу.

— Что у тебя болит?

— Ничего.

— Ну что-нибудь болит?

— Нет.

— Ну что-нибудь?

— Нет. Немножко озноб. Это грипп. Дай градусник. Пожалуйста...

— Ася, я принесу тебе в постель завтрак. Или, может быть, ты встанешь?

— Я не хочу есть. Возьми градусник. У меня просто грипп.

Он взял градусник, влажный, согретый ее подмышкой, долго всматривался в деления: температура была пониженной — тридцать пять и четыре. Ася лежала, укрытая одеялом, голова повернута к стене, освещенной низким ранним солнцем; белизна ее лба, в ознобе посиневшие веки, худенькая, жалкая шея вызывали в Сергее чувство опасности. Никогда он не испытывал такого страха за нее, такой близости к ней, к ее ставшему беспомощным голосу, будто только сейчас понял, осознал, что это единственно родной человек, которому был нужен он. «Я любил ее всегда, но не замечал ее жизни, не видел ее, был груб, равнодушен...» — подумал он, ни в чем не прощая себе, и проговорил вполголоса, нежно, как никогда не говорил с ней:

— Сестренка, не хочу слышать слово «не хочу». Ты должна позавтракать. Я сделал великолепную яичницу. Попробуй. Армейскую яичницу.

— Я спать... Больше ничего. Спать...— прошептала Ася, не поворачиваясь от стены, и, когда говорила это, край рта ее начал вздрагивать и сквозь сжатые веки медленно стали просачиваться слезы. Потом с закрытыми глазами кончиком одеяла она вытерла щеку, спросила по-прежнему шепотом: — Костя здесь? Пусть уходит, пусть уходит! И ты уйди... Я одна. Мне одной...

Сергей посмотрел на Константина. Тот стоял у двери, плечом к косяку, тоскливо покусывая усики, и, разобрав ее шепот, мрачно, с хрипотцой сказал:

— Асенька, я ухожу. Да, мы уходим, Асенька.

Они оба вышли в соседнюю комнату, Константин после тягостного молчания спросил:

— Она видела все?

— Да.

— Ну что мы стоим как идиоты? — непонимающе воскликнул Константин.— Ну что, чем, как лечить ее? Что ты думаешь?

— Не надо орать.— Лицо Сергея было серо-бледным, заострившимся, как от болезни.— Я попросил бы тебя,— добавил он мягче,— говорить потише.

В другой комнате была полная тишина.

— Жизнь бьет ключом,— произнес Константин ядовито.— И все по головке. Все норовит по головке. Н-да, стальную головенку нужно иметь. Ну что мы стоим дураками?

Сергей не узнавал его — шла от Константина какая-то непривычная для него и раздражающе нетерпеливая сила, когда он спросил опять:

— Слушай, ответь мне одно: ты хоть знаешь — он на Лубянке?

Сергей был разбит, опустошен ночью, не было сейчас желания говорить о том, что было несколько часов назад, в ушах, как во сне, звучал стук в дверь, чужие голоса, шаги — и горькое удушье подступало к горлу; хотелось лечь, закрыть глаза.

— Костька, уйди, я полежу немного,— проговорил он и лег на диван, стараясь забыться.

И тотчас нечто скользкое, вызывающее тошноту заколыхалось перед ним, и среди этого скользкого, неприятного мелькала не то пола плаща, намокшая от дождя, не то козырек фуражки, лакированно блестевший за мутной тьмой, в которой почему-то пахло мокрыми березовыми поленьями, и звонко стучали капли, били в висок

металлическими молоточками, и оттуда черное, бесформенное непреодолимо надвигалось на него. И, пытаясь уйти от этого, что вбирало, всасывало его всего, пытаясь не видеть козырек фуражки среди удушающего запаха березовых поленьев, он, глотая слезы, застонал и сам, как сквозь железную толщу, услышал свой стон...

«Что это? Что это со мной?»

Он судорожно вскинулся на диване,— слепило в окно солнце, под его пронзительной яркостью четко зеленела листва лип. Был полдень, тишина, жара на улице.

— Что это я? — вслух сказал Сергей, чувствуя мокрые щеки, вспоминая, что он сейчас плакал во сне, и стыдясь себя.— Что это я? — повторил он с ощущением беды, и тут только дошли до него голоса из глубины комнаты.

В углу комнаты на краю стула сидел Мукомолов, против него — сумрачный Константин; Мукомолов подергивал, пощипывал бородку, смотрел в пол, говорил с возбужденным покашливанием:

— Это ужасно, чудовищно! Зачем это, зачем это, кому это нужно? Ужасно! Николай Григорьевич — честный коммунист. Я верю, я знаю. Кому нужен его арест?

— Таким сволочам, как Быков,— ответил Константин.— Вот вам ответ на все ваши вопросительные знаки. Чему вы удивляетесь? Подлецам верят! Верят их словам, доносам! А вам — нет!

— Не делайте обобщений, Костя! Стыдно! — шепотом вскрикнул Мукомолов.— Что значит верят? Ложь, цинизм! Я живу, вы живете, живут другие люди, миллионы советских людей. Подлецы — накипь! Именно — грязная накипь! Мы должны счистить эту грязь, да, да! Так, чтобы от нее брызги полетели, брызги! Это жаль, это горько! Но не все подлецы! Нельзя! Кроме того, эти органы — да, да — контролирует Берия!..

— А кто его знает? — неохотно проговорил Константин.— Я с ним чай не пил.

Сергей, закрыв глаза, слушал голос Константина и думал, что все это было: его, Сергея, грубовато-ядовитые разговоры с отцом, и открытая насмешка, и грустные, что-то особо знающие глаза отца — сознавал теперь, что не мог ему простить усталости после войны, после смерти матери, его замкнутости, похожей на равнодушие, его ранней седины. Он не мог простить ему старости.

«Болен... Он был уже болен, болен! — подумал он и даже замычал, стискивая зубы,— вспомнил долгие лежания отца на диване по вечерам, тишину, шуршание газеты, молчаливую возню с позванивающими пузырьками за дверью и запах лекарств из другой комнаты.— У него все время болело сердце! Что я сделал? Как помог? Раздражался, злился!.. Один вид отца раздражал меня...»

Он пошевелился, весь в поту, прежнее удушье в горле, что было во сне, не отпускало его. «Что мне делать?» — подумал он, глубоко глотнул воздух и, преодолевая это незнакомое оцепенение тела, спросил:

— Как Ася?

Мукомолов, с яркими пятнами на щеках, сутулый, в своем длиннополом пиджаке, нелепой прыгающей походкой приблизился к дивану, бородкой повел на дверь в другую комнату.

— Там Эльга Борисовна. Ничего, ничего... Это, как говорится...— забормотал он неопределенно и чуть исподлобья посмотрел выцветшими глазами как бы сквозь Сергея, точно видел особое, свое.— Там они, да, да, женщины...— все бормотал он и вынул чистый клетчатый платок, высморкался и, вроде не зная, что сказать, долго вытирал мясистый нос, бородку, покашливая.— Вам, Сережа... это полагается, да, да, члену партии... Это необходимо... здесь никого не обманешь... и нет смысла... Заявление в партком... Поверьте... так лучше. В партком института вам надо...

Мукомолов жадно закурил папиросу; казалось, задымилась вся голова.

— Николай Григорьевич арестован органами МГБ, и в этих случаях... да, да...

Сергей проговорил отчужденно:

— Это ошибка, Федор Феодосьевич. Отец будет дома. Зачем мне заявление?

— Да, да, да,— согласился грустно Мукомолов и подергал бородку так, что папироса затряслась в зубах.

— Никаких заявлений, пока своими ушами не услышу правду! — сказал Сергей, вставая с дивана.— Пока все не узнаю об отце. Я на Лубянку пойду, к министру пойду — все узнаю. Заявление! Зачем? Какое заявление?

— Сережка-а,— протянул Константин,— не будь наивняком. До министра ты не дойдешь. А осторожность — часть мужества, как сказал один умный человек. Не лезь

напролом, Сережа... Напиши. Бумаги не жалко. На всякий случай.

Сергей проговорил:

— Такая осторожность — это мужество для сволочей. «Знать ничего не знаю, отца арестовали, я к этому отношения не имею». А я знаю, что отец не виноват.

Мукомолов рассеянно глядел в окно, на солнце, которое в оранжевой пыли садилось за крыши домов, Константин угрюмо рассматривал ногти, и Сергею было сейчас больно оттого, что они слушали его невнимательно.

— Фамилия министра МГБ Абакумов,— напомнил Константин.— Рад, если ты дойдешь до него.

— Я все узнаю. Я потрачу на это все время, но узнаю все,— повторил Сергей.— Я все узнаю!.. Иначе не может быть.

— Действуйте, действуйте, Сережа, дорогой! — Мукомолов рывками заходил по комнате, рассыпая вокруг себя пепел от папиросы.— Нужно бороться, нужно не опускать голову! Простите, Сережа, мы здесь мешаем, мешаем!.. Вам надо побыть одному, обдумать все! Эля! — окликнул Мукомолов, замявшись перед дверью.— Эля, Эля!

Дверь приоткрылась, и бесшумно вышла Эльга Борисовна, маленькая, хрупкая, тихая; темные близорукие глаза озабоченно прищурены; вечернее солнце красновато озаряло ее лицо.

— У нее не грипп, никаких признаков,— шепотом сказала она.— У нее нервы, Сережа... Она бредит, плачет, бедная девочка. Ее преследуют какие-то ужасы... О, как это понятно, как понятно... Я позвоню на Петровку, у нас знакомый врач... Федя, перестань курить, пожалуйста, и не кричи! Девочке нужны покой, тишина... Сережа, если ты позволишь, я буду с Асей. Бедная девочка сжимала мне руку, когда я сидела рядом... Боже мой, боже мой...

— Это... это серьезно? — спросил Сергей, желая сейчас только одного — чтобы с Асей не было серьезно.— Это... быстро проходит?

— Как я могу знать, Сережа? Надо вызвать хорошего врача.

— Уже,— мрачновато вмешался Константин.— Я вызвал профессора из Семашко. В тяжелые времена завозил ему дрова. Это не забывают. Будет через час.

— Спасибо, Костя,— сказал Сергей.

— Пошел... со своим спасибо! — ответил Константин, отмахиваясь.— Еще лобызаться, может, полезешь с благодарностью?

Мукомолов и Эльга Борисовна посмотрели на них удивленно и не проронили ни слова.

В комнате пронзительно затрещал телефонный звонок. Сергей, вздрогнув, сорвал трубку, сказал «да»,— и мягкий, чудовищно знакомый теплый голос прозвучал в мембране, как будто из другого, несуществующего мира:

— Сере-ежа...

— Его нет дома.— Он опустил трубку, слыша удары сердца.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Справочная МГБ находилась на Кузнецком мосту — Сергей точно узнал адрес и быстро нашел ее.

После жары полуденной улицы, запаха бензина, гудения машин, горячего света стекол, после душного асфальта тревожно было войти в пахнущий холодным бетоном подъезд, в полутемную от запыленных окон приемную с кабинетно-темными дубовыми панелями, с застывшей здесь больничной тишиной. Люди сидели возле стен молча, не выказывая друг к другу любопытства, подобрав ноги под стулья, лица выделялись тусклыми пятнами.

Когда Сергей вошел сюда, охваченный преувеличенной решимостью, неисчезающим желанием действовать, и спросил громко: «Кто последний?» — и когда послышался бесцветный ответ: «Я», он почувствовал ненужность своего громкого голоса — сидящие на крайних стульях взглянули на него не без опасливого недоверия. Женщина в белом пыльнике, с усталым красивым лицом вздохнула; беззвучно захныкала у нее на коленях, кривя большой рот, девочка лет пяти, придавливая к груди соломенную корзиночку; лысый, начальственного вида мужчина, бесцветно ответивший «я», помял кепку в руках и замер, держа ее меж колен.

— Я за вами,— уже вполголоса проговорил Сергей, и этот кисловатый казенный запах приемной, этот чужой запах неизвестности сразу обострил ощущение беспокойства.

Лампочка сигналом зажглась, погасла над дверью, обитой кожей, и человек в углу растерянно вскочил, лихорадочно-спешно засовывая газету в карман пиджака, и мимо него из серых тайных глубин комнаты одиноко простучала каблуками к выходу высокая женщина, непослушными пальцами скомкала на лице носовой платок, высморкалась, всхлипывая. Человек с газетой оглянулся на нее, оробело ссутуленный, открыл дверь, обитую кожей, и тихая, словно бы пустая, без людей, комната поглотила его.

Все молчали, прислушиваясь к слабо возникшим, зашуршавшим голосам за толстой дверью. Лысый мужчина начальственного вида тискал кепку, глядел в пол. С улицы, залитой солнцем, глухо — сквозь двойные пыльные стекла — доносились гудки автомобилей на Кузнецком мосту. Девочка стеснительно завозилась на коленях красивой женщины, растянула губы, крохотные сандалики ее, белые носочки задвигались над полом.

— Тетя, пи-ить,— захныкала она тоненько и жалобно.— Тетя Катя, я хочу пи-ить. Я хочу-у...

— Подожди, родная, потерпи, деточка,— заговорила женщина, обняв худенькое тельце девочки, просительно посмотрела на соседей.— Сейчас наша очередь, и мы пойдем домой. Потерпи, потерпи, маленькая...

Все отчужденно молчали, не обращая внимания на красивую женщину и девочку в новеньких сандаликах. Лысый мужчина, неотрывно, тупо уставясь себе под ноги, мял кепку. Мальчик лет пятнадцати, в футбольной безрукавке, испуганно расширенными глазами следил за лампочкой над дверью, ерзал на стуле, весь напряженный, пунцовый. Рядом с женщиной старуха в темном платке, в новых сапогах, около которых темнел узел, старательно жевавшая из кулечка, заморгала на девочку красными веками, вынула из кулечка деревенский пирожок, бормоча тихонько:

— Покушай, покушай, милая. Ить я тут третий раз... Из Бирюлева... Вот зятю велели одежду привезти. И двести рублей... Две сотельных можно... В дорогу-то... О господи, грехи наши...

«Все они... так же, как я? — подумал Сергей, оглядывая сидящих в приемной, угадывая в них то, что было в нем самом.— Кто они? Как у них случилось это? Когда?»

Вспыхнула лампочка. Немой свет, сигналя, потух над дверью; вышел тот человек с газетой, торчащей из кармана, сутуло зашагал к выходу, обтирая ладонью взмокший лоб.

— Валенька, пошли, Валенька... Бабушка, она не голодная... Спасибо...

Красивая женщина, бледнея, суетливо встала, потащила девочку за руку к двери, девочка протянула другую руку к пирожку, косо, нетвердо переступая сандаликами, и ее маленькое тельце оказалось точно распятым между дверью и этим пирожком. Девочка в голос заплакала, упираясь сандаликами в каменный пол, и женщина, с рассерженным лицом, силой втащила ее за дверь.

— О господи, грехи... — всхлипывающе забормотала старуха, аккуратно завернула пирожок в газету, по-мужски сложила на коленях большие темные руки.

«Они ведь узнают так же, как я... — думал Сергей, остро чувствуя эту появившуюся нить, которая связывала его и с лысым мужчиной, и со старухой, и с красивой женщиной, и с девочкой, ушедшими за толстую дверь.— Как у них случилось это? Так же, как с отцом? Или, может быть, муж этой красивой женщины или отец девочки в сандалиях — враг?»

Он мог и хотел поговорить со старухой, с лысым мужчиной и беспомощным подростком в безрукавке, выяснить обстоятельства ареста, сравнить их и обстоятельства ареста отца. Но отчужденно разъединяющее людей молчание давяще стояло в этой тусклой от пыльных стекол приемной.

В дверь входили и выходили люди — пустела приемная. Она теперь гулко и каменно отдавала шаги. Никто не задерживался там, за обитой кожей дверью, более пяти минут. Время продвигало Сергея все ближе к сигналам лампочки, и со все возрастающим ожиданием он пересаживался на опустевшие стулья. И вдруг свет коротко зажегся вверху, словно резанул по зрачкам, но что-то, казалось, темно и душно надвинулось из безмолвия таинственной комнаты; широкой фигурой, шумно сопя, тенью прошел мимо лысый мужчина, расправляя смятую кепку на голове; и Сергей, как через очерченную границу, перешагнул за этот свет лампочки в чрезвычайно узкую, тесную, освещенную сбоку окном, похожую на коридор комнату.

За огромным — на половину кабинета — письменным столом, лишь с двумя тоненькими папками на углу, выпрямившись, сидел средних лет, уже полнеющий майор МГБ, ранние залысины были заметны над высоким лбом, он небрежно держал папиросу у полных, с поднятыми уголками губ, близко поставленные к переносице карие глаза весельчака глядели сейчас заученно-покойно. Эту бесстрастность, как показалось Сергею, немолодой майор умел терпеливо сохранять в течение дежурства, потом, видимо, взгляд его мигом менял выражение, тотчас веселел, готовый к своей и чужой остроте.

— Слушаю, слушаю,— сказал он приятным бархатистым голосом с выражением официальной заинтересованности.— Садитесь, молодой человек. Слева от вас стул.

— Я пришел выяснить насчет отца,— сказал Сергей, не садясь.— Я хотел бы узнать...

— Фамилия?

— Вохминцев.

— Имя и отчество?

— Николай Григорьевич.

Майор потянул папку с угла стола, раскрыл ее бледными интеллигентными пальцами, полистал, обволакиваясь дымом папиросы. И хотя в эту минуту ничего не выражающий взгляд его пробежал по бумаге и он все выше подымал брови, листая, щелкая страницами в папке, Сергей стоял перед столом, с задержанным дыханием ожидая внезапной виноватой улыбки на полукруглых губах майора, его вежливого извиняющегося голоса: «Простите, произошла ошибка, ваш отец уже освобожден. Он, возможно, ждет уже вас дома. Так что, молодой человек, простите за ошибку...»

— Вохминцев Николай Григорьевич?.. Ваш отец, Вохминцев Николай Григорьевич, одна тысяча восемьсот девяносто седьмого года рождения, находится под следствием.

— Под следствием?

Этот спокойный голос майора вдруг сдвинул, смял все в Сергее — все еще живущую в нем надежду, и тоскливая, сосущая пустота холодком озноба охватила его. Он сказал через силу:

— Мой отец не может находиться под следствием, он не виноват ни в чем. Его арестовали по ошибке...

— Следствие все покажет, гражданин Вохминцев. По

ошибке никого не арестовывают в Советском государстве, смею заметить. Заходите. Узнавайте.

Светлые волосы над залысинами были успокоительно влажны, гладко блестели после утреннего умывания и причесывания, лицо мучнисто-белое, холеное, только темнота заметна была под близко поставленными к переносице глазами весельчака,— похоже, он плохо спал ночь. И голос его прозвучал слегка заспанно:

— Я вас не задерживаю, гражданин Вохминцев.

Рука майора заученно потянулась к кнопке. И на миг, приостанавливая это движение, Сергей подался к краю стола, где чернела маленькая кнопка сигнализации, проговорил голосом, заставившим майора взглянуть любопытно-зорко:

— Объясните, пожалуйста, в чем его обвиняют?

Майор безмолвно разглядывал Сергея.

— Где он находится? В тюрьме? Можете ответить? Почему отца арестовали — я могу знать?

Майор не нажал кнопку и, выждав, сказал официально,— в голосе прозвучал оттенок раздражения:

— Ваш отец находится под следствием. Повторяю.

— Долго оно будет продолжаться... это следствие? — проговорил Сергей не в меру громко.

Он испытывал то прежнее ощущение непроницаемой стальной стены, притиснувшей его, то бессилие и отчаяние от противоестественной человеческой несправедливости, которую почувствовал тогда в сарае один на один со старшим лейтенантом, и, уже не веря даже в уклончивый ответ майора, спросил еще:

— Вы что-нибудь знаете о деле моего отца?

Голос майора был чрезвычайно сух, вежлив:

— Ничего не могу ответить вам положительного, гражданин Вохминцев.

И Сергей почувствовал, будто летит в черный провал каменного колодца без дна, сдавленный подступавшими со всех сторон душными стенами, нескончаемо уходящими вверх,— он падал в эту неправдоподобную глубину, цепляясь за стены, срывая ногти, и с оборвавшимся сердцем он закричал в бездну колодца: «В чем обвиняют отца? В чем?» Потом из глубины проступило покойное лицо, близко поставленные к носу карие глаза человека веселого нрава; человек этот, вероятно, привык здесь ко многому. Он торопился покончить с этим неожиданно

затянувшимся посещением. Его рука лежала на кнопке сигнала.

— Ваш отец находится под следствием. Я вам сказал об этом русским и ясным языком. Больше ничего не могу добавить. Вы задерживаете посетителей, гражданин Вохминцев.

— Тогда разрешите все же спросить, зачем... на кой черт ходить к вам? Ходить для того, чтобы ничего не узнать?

— Вы, кажется, забываетесь,—внезапно откинувшись, не без любопытства во всей позе полнеющего сорокалетнего человека произнес майор и, обежав глазами лицо Сергея, добавил с выражением улыбки: — Иногда легко войти, трудно выйти. Не будьте чересчур уж смелым, это бывает очень опасно. Это абсолютно ваше личное дело — ходить или не ходить,— увидев вошедшую посетительницу, корректно проговорил майор и привычным жестом отодвинул папку на угол стола.— Вы ко мне? Прошу вас. Садитесь. Слева от вас стул.

— Спасибо за откровенность,— сказал Сергей.

Он вышел на улицу; везде был пестрый хаос толпы, поток машин стекал по Кузнецкому, была парная духота, и Сергей пошел по тротуару, как в жаркой печи, не ощущая внешних толчков жизни.

То, что он говорил майору в справочной МГБ, представлялось теперь глупым мальчишеством, ненужным вызовом, не имеющим никакого смысла. Все шло от растерянности перед страшной, где-то вблизи неумолимо заработавшей машиной, той машиной, о существовании которой он изредка слышал, но работу которой не видел раньше. Железные шестерни с хрустом прошлись рядом, задели, смяли его, и прежняя уверенность в себе, что была так необходима ему, оборачивалась теперь беспомощной наивностью. Он с жадной надеждой еще искал точку опоры и, не находя ее, чувствовал, что, вот-вот переломав кости, насмерть разобьется; и все колебалось, рушилось, ускользало из-под ног.

«...Мы еще встретимся, Сергей Николаевич...», «Иногда легко войти, трудно выйти...». Нескрытый намек, предупреждение звучали в этом. Только наивной своей смелостью он заставил их говорить так. Кому нужна его смелость? Или что-то произошло, изменилось — и нет доверия, никому не нужна откровенность? Не лучше ли молчать и терпеть — это выход? Это выход? Но зачем тогда жить? «Не будьте чересчур уж смелым, бывает это

очень опасно». Если б в войну кто-нибудь сказал так, он набил бы морду. Что ж, мера человеческой ценности изменилась? Кто мог это сделать? Кому нужно было арестовать отца? Зачем? Где истина? Кто ее знает? Знает и терпит? Во имя чего? В чем тогда смысл?

«Что я должен делать? Что делать?»

«Измениться. Взять себя в руки. Надеть маску милого, доброго парня. Со всем соглашаться».

«Не могу! Не могу!»

«Тогда тебе сломают судьбу, дурак! Не будь чересчур смелым. Будешь искать истину? Она давно найдена».

«Не могу, не могу, не могу! Не могу быть камуфляжным. Есть вещи, понятые раз и навсегда. С детства. С войны».

«Можешь, можешь! Должен. Иначе гибель!»

«Не могу, не могу!»

«Можешь! Сначала заставь себя, потом привыкнешь!»

«Не могу!»

«Можешь!»

Он приостановился на тротуаре, мокрый от пота, в ноги дышало жарой асфальта, пекло голову, и улица, оглушая визгом тормозов, гудками, летела, неслась перед ним — мимо сквера, мимо Большого театра, и от этого гула, блеска солнца стучало, колотило в висках.

«Под следствием... Я должен сейчас же поехать в институт. Я должен сегодня отказаться от практики. Что я должен еще сделать?»

...Теплые сквозняки продували троллейбус, охлаждая лицо, пестрота улиц скользила сбоку, пропеченное зноем кожаное сиденье пружинило, кидало Сергея вниз-вверх, а позади шевелился в тесноте, в ровном шуме мотора, пробивался чей-то дребезжащий голос:

— Не смотрите, что я деревенская женщина, говорю, а я за вас, дохторов, ухвачусь. Что хотите делайте, а его не упусти́те. А он все на фронте животом мучился. А как вернулся, поест — схватится за живот. «Ой, мама, пропадаю!» Я говорю: «На фронте самые главные врачи были, чего ж ты у них не полечился?» — «Был я у профессора, говорит, мама, сказал: «Неизлечимо».— «Врешь, говорю, не был».— «Нет, говорит, не был. Я, говорит, как они зашуршат это, сердце рвется. Ничего, я вином вылечусь». Три раза раненный он был, весь фронт провоевал. Ну вот, поехал он в аккурат перед Октябрьскими к дяде, чистое белье надел, гимнастерку новую, медали надел, а назад

его мертвого привезли. Когда, значит, у него случилось, его сразу в больницу, а у них чего-то неправильно перед самой операцией. Его на самолет — и в Куйбышев. А летчик молоденький, в пути сбился да вместо Куйбышева в Кинели сел. А когда в Куйбышев прилетели, рассвет уже. Семь минут он пожил... и рвало все... лучше б на фронте его убило! Как вспомню я...

Сергей услышал хрипловатый визгливый плач и оглянулся: темное морщинистое лицо пожилой женщины, сидевшей сзади, было искажено судорогой, слезы ползли по трясущимся морщинам; грубые, с рабочими буграми пальцы прижимали кончик черного головного платка к распухшему носу. Вся в черном, эта женщина деревенски и траурно выделялась здесь.

И Сергей почувствовал жгучую жалость к ее морщинистому лицу, к ее изуродованным работой рукам: эта женщина, выделявшаяся черным платком, грубыми руками, была ненужной, чужой в этом городском троллейбусе, было чужим, некрасивым ее горе, и возникла вдруг связь, как из колючей проволоки сплетенная связь между ним и ею — и как будто опаляющим зноем повеяло ему в глаза...

Если на фронте солдат был убит не в бою, а возле окопа, выйдя по своей нужде, то даже тогда он погибал для родных героически; но вот сейчас солдат умер в тылу обычной смертью, от болезни, и смерть его была ничтожной, никому не заметной, кроме матери его. Нет, он не хотел такой смерти спустя четыре года после войны — смерти от случайности...

— Лучше бы на фронте его убило. Знала бы я...— не смолкали визгливые рыдания женщины, и ее вскрики резко подняли его с сиденья, подтолкнули вперед, к выходу, и он спросил кого-то:

— Простите, вы не сходите?

И испугался звука своего голоса.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Секретарь деканата сказала ему, что в кабинете у Морозова идет партбюро, он нахмурился, постоял в нерешительности перед дверью, спросил:

— Это долго будет?

— Не знаю. А что вы такой бледный, Сережа? Какая-нибудь любовная история?

— Почему, Иннеса? И почему — любовная?

Секретарь деканата, испанка, была чрезвычайно подвижна, худа, наркотически блестящие, с черным отливом, яркие, во все лицо глаза; на ней была всегда клетчатая юбка, спортивная блузка с кармашками; она курила, пачка сигарет постоянно лежала в черной ее сумочке. Иннеса была из Каталонии, ее привезли в тридцать седьмом году в Россию, и говорила она с какой-то наивной, замедленной интонацией, выделяя слова довольно заметным акцентом.

Сергей сказал:

— Худеют разве только от любовных историй?

— Конеч-но. Но я шучу! — Иннеса взглянула на него живо.— Вы говорили, у вас жена. Жена? У вас дети, ребенки? — Она подмигнула.— Сколько?

— У меня много детей, Иннеса,— усмехнулся Сергей.— Один в Рязани, другие в Казани.

— Молодец! Это хорошо!

Смеясь, Иннеса стала перед ним, расставив крепкие ноги, узкая юбка натянулась на коленях, туфли на каблучках носками врозь, весело показала от пола воображаемый рост детей.

— Так, так и так? О, я люблю детей. У меня будет много детей. Так, так и так. Когда я выйду замуж за большого, сильного русского парня. Вот с такими плечами, с такими мускулами! А зачем нахмурился, Сережа?

Она, вглядываясь в лицо Сергея, смешно сморщилась, с ласковостью провела мизинцем по его бровям, разглаживая их, сказала:

— У мужчины должны быть прямые брови. Он мужчина. Надо всегда быть веселым.

— Мне очень весело, Иннеса,— ответил Сергей.

Он особенно, как никогда раньше, ощущал летнюю пустоту института, везде на этажах безлюдные аудитории, накаленные глянцем доски — и одновременно слышал голоса из-за двери кабинета, неясные, беспокоящие его чем-то. Он смотрел на Иннесу и чувствовал в естественной интонации ее голоса, в смешно наморщенных губах, во всей ее мальчишеской фигуре легкую непосредственность, которой не было у него сейчас. И, слыша голоса за дверью и ее голос с милым акцентом, он неожиданно подумал, что хорошо было бы уехать с ней,

бросив все, в какой-нибудь тихий приречный городок на горе, работать и ждать, как праздника, вечера, чтобы в каком-нибудь деревянном домике, затененном деревьями, чувствовать ее нежность и доброту к нему...

Он вспомнил о Нине, и ему стало душно. «Я устал?» — подумал он, и тотчас — стук открываемой двери, приблизился говор голосов, шарканье отодвигаемых стульев, и он понял: там кончилось.

Тут же из кабинета Морозова начали выходить члены партбюро, знакомые и малознакомые лица, кивали бегло, закуривали в приемной, и почудилось Сергею нечто настороженное, отталкивающее в их кивках, в коротком рукопожатии, в повернутых равнодушно спинах. Косов, с красной, сожженной, видимо, в Химках шеей, открытой распахнутым воротом, вплотную подошел к нему, переваливаясь по-морскому, железно стиснул локоть:

— Слушай, старик...

Сергей заметил, как пронзительно засинели его глаза, и, ни слова не отвечая Косову, шагнул в кабинет, готовый к тому, что могло быть, и не желая этого.

— Я к вам, Игорь Витальевич,— сказал он ровным голосом.

Морозов в комнате был не один. Он неуклюже возвышался над столом, собирая бумаги в портфель, полы чесучового помятого пиджака задевали разбросанные листки, узкое книзу лицо было угрюмо-сосредоточенно. Возле стоял Уваров, в расстегнутой белой тенниске, с сильной, покрытой золотистым волосом грудью, подавал бумаги и объяснял что-то сдержанным тоном, декан слушал его.

В дальнем конце стола замкнуто сидел Свиридов, болезненно желтый, с провалившимися щеками, подбородок упирался в кулаки, положенные на палку-костылек.

Все это успел заметить Сергей, от всего этого дохнуло холодом, повеяло подсознательно ощутимой опасностью, увидел, как при его словах: «Я к вам»,— Морозов резче стал защелкивать и никак не мог защелкнуть замочки портфеля, как приветливо и широко, как всегда при встречах, заулыбался Уваров и затем вскинул голову Свиридов, оторвав подбородок от палки. «Что ж,— успокаивая себя, подумал Сергей,— он улыбнулся мне как равный равному».

— Знаю, что вы устали, но мне обязательно надо с вами поговорить, Игорь Витальевич,— выговорил Сергей,

подчеркивая «с вами», давая понять, что хочет остаться один на один.

— А-а, так-так,— суховато произнес Морозов.— Поговорить? Ну что ж. Садитесь. Здесь два члена партбюро, секретарь партбюро.— Он глянул на Свиридова и, садясь, вроде обвалился на кресло, глубоко запустил пальцы в волосы.— Ну что ж. Говорите.

Была минута замешательства — и в эту минуту Уваров, улыбаясь с какой-то особой значимостью, пожал Сергею руку, сказал:

— Садись. Все свои. Поговорим, если ты не возражаешь.

— Спасибо. Я сяду.

И непонятная чужая сила заставила Сергея улыбнуться ему, когда он произнес это «спасибо», когда ощутил почти неподчиненное движение своих пальцев в ответном рукопожатии — и, готовый ударить себя, содрать свою улыбку с губ, заговорил, обращаясь к Морозову:

— Я не могу поехать на практику, Игорь Витальевич. У меня сложились тяжелые семейные обстоятельства. Я не могу... Как бы я ни хотел, я не могу.— Голос его ссыхался, спадал, он договорил: — Не могу...

— Какие же семейные обстоятельства, Сергей? Если это не секрет? — спросил Уваров тихим и сочувствующим тоном.— Говори откровенно, здесь все коммунисты. Говори, если можно.

— У меня тяжело больна сестра.

Морозов встрепенулся, привскочил в кресле, взгляд, исподлобья устремленный на Сергея, загорелся гневом. Он звонко шлепнул линейкой по столу и, вытянув длинную шею, крикнул:

— Стыд и позор! Стыд и позор! С вашими студентами не умрешь от скуки, не позагораешь — цепь новостей! Сложные семейные обстоятельства, больна сестра — грандиозная причина, чтобы отказаться от главного! Вы, фронтовик, ответьте мне: в бой тоже не ходили, когда заболевал ваш друг? А? Что? Не объясняйте, я сам за вас объясню. Знаете, что такое для инженера практика? Хлеб, воздух, жизнь! Ясно? Рассиропились, опустили руки, не нашли выхода! Безобразие, женское решение. Не узнаю, не узнаю, не хочу узнавать вас, Вохминцев!

— У меня больна сестра,— сказал Сергей, находя только эту причину, понимая, что она зыбка, недоказа-

тельна, но упорно ее повторяя, потому что это была правда.

— А, Вохминцев! — произнес Морозов, досадливо теребя взлохмаченные волосы.— Что же вы?..

— У тебя, кажется, семья состоит из трех человек: ты, отец и сестра,— сказал Свиридов своим обычным, округляющим слова голосом, упираясь подбородком в набалдашник палки, зажатой коленями.— Так, может, отец побыл бы с сестрой? Возможно это?

«Вот оно, главное, вот оно»,— проскользнуло в сознании Сергея, и лицо Свиридова как бы приблизилось к нему, и ввалившиеся щеки Свиридова сдвинулись, точно его пытала изжога,— он отставил палку, налил из графина в стакан воды, потом послышались жадные щелчки глотков. Морозов, приложив ладонь ко лбу, из-под этого козырька наблюдал за Сергеем, а ему нужно было вытереть пот на висках, но он не вытирал, с усилием не меняя прежнего выражения лица.

— Отец не может быть с сестрой.

— Отец в Москве, Сергей? — спросил тихо Уваров.

— Да. Но какое это имеет значение? — возразил Сергей и тотчас увидел, как Уваров, удивленно улыбаясь, развел загорелыми руками.

— Я имею право поинтересоваться как коммунист у коммуниста.

— Имеешь.

Морозов, заслоняя ладонью глаза, из стороны в сторону качал головой и уже гневно не смотрел на Сергея, а словно бы страдальчески прислушивался к его голосу.

— Ах, Вохминцев, Вохминцев! — проговорил он.— Что же вы, что же вы!..

— Вот, Игорь Витальевич! Вот работа нашего партийного бюро, вот он — наш либерализм!

Свиридов с треском оттолкнул стул и, опираясь на палку, восково-желтый, двигая прямыми плечами, быстро захромал по кабинету.

— Вот, Игорь Витальевич! — Он выкинул сухой, подобно пистолету, палец в направлении Сергея.— Вот они, ваши коммунисты! Ложь! Эт-то же страшно, коли есть такие коммунисты и иже с ними! Страшно! Ты знаешь? Знаешь?..— И порывисто перегнулся через стол.— Вчера ночью был арестован студент первого курса Холмин. За стишки, за антисоветские стишки, которые строчил под нашей крышей! Вот они, смотри,— сочинения! — Он за-

стучал ребром ладони по листу бумаги на столе.— Вот они. «А там, в Кремле, в пучине славы, хотел познать двадцатый век великий, но и полуслабый, сухой и черствый человек!» Понимаешь, что мог... мог написать этот... этот гад, который учился с нами!

— Я бы и не читал эту подлость вслух,— заметил Уваров.— Противно...

— При чем здесь я? — спросил Сергей с сопротивлением.— Знать не знаю никакого Холмина! Какое это имеет отношение ко мне?

— Отношение? Нужно отношение? Хорошо! — Свиридов съежил плечи, оперпшсь на палку, и плечи его превратились в острые углы.— Ты врешь нам, врешь недостойно коммуниста!

— Прошу поосторожней со словами...

— Брось! Ты не женщина! Слушай правду. Она без дипломатии! Ты врешь нам, трем членам партийного бюро, коммунистам, врешь! Не так? Твой отец арестован органами МГБ! И ты приходишь сюда и начинаешь врать, выкручиваться, загибать салазки! Как ты дошел до жизни такой, фронтовик, орденоносец! Кому ты врешь? Партии врешь! Партию не обманешь! Не-ет! — Он затряс пальцем перед подбородком.— Не обманешь!

Морозов перебил его:

— Павел Михайлович! — И добавил несколько тише: — Прошу, не горячитесь.

— Я говорю правду, Игорь Витальевич! Я не перестану бороться с гнилым либерализмом, который развели в институте! Мы коммунисты и должны говорить правду в глаза! — не так накаленно, но жестко выговорил Свиридов и заковылял к Сергею.— Ты знал, что, как коммунист, обязан был написать в партбюро о том, что отец арестован? Или ты первый день в партии?

— Мой отец невиновен. Произошла ошибка.

— Ты что — гарантируешь? Подумай трезво — органы ошибочно не арестовывают. Может быть, гарантируешь невиновность Холмина, а? Давай не будем разговаривать по-детски. Факты — упрямая вещь. Ты что же — органам МГБ не доверяешь?

Сергей встал, и что-то горячо повернулось в нем, как в самые ожесточенные минуты боя, он уже не хотел оценивать отдельные слова Свиридова, бьющие в лицо сухой пылью, он только твердо понимал общий смысл близкой опасности. Он еще ждал, что Морозов вступит в

разговор, но тот, заслонив глаза рукою, молча глядел в окно.

— Может быть, ты скажешь, что и Холмина арестовали по ошибке? — цепко и зло спросил Свиридов.— Вот наш коммунист, твой товарищ Аркадий Уваров, сам нашел эти поганые стишки в его столе. Ты понял, чем пахнут эти стишки?

— Нехорошо, Сережа, нехорошо,— мягким голосом заговорил Уваров.— Сын за отца, конечно, не отвечает. Но ведь были у тебя, Сережа, личные контакты с отцом, разговоры откровенные были. Чего уж скрывать. И если ты замечал что-либо — надо быть бдительным... И тем более ты обязан был сообщить об аресте отца в партбюро.

Все время, пока говорил Свиридов, он сидел опустив веки, лишь при словах его о найденных в столе стихах он глянул из-под век на Свиридова с короткой ненавистью, но, заговорив, сейчас же перевел взгляд на Сергея — голубизна глаз была непроницаемо улыбчивой.

— В этом случае коммунист должен быть выше личного, Сережа. Отец это или жена... Знаешь, наверно: в гражданскую войну бывало — сын против отца воевал. Классовая борьба не кончена еще. Наоборот, она обостряется. Если поколебался — моральная гибель, конец...

И Сергей понял: это была тихая, но беспощадная атака на уничтожение — Свиридов верил каждому слову Уварова. Было четыре года затишья, звучали случайные редкие выстрелы, устойчивая оборона, белый флаг висел над окопами — расчетливый Уваров выждал удобные обстоятельства, и силы, которым Сергей теперь не мог сопротивляться, окружали его, охватывали тисками, как бывало во сне, когда один, без оружия попадаешь в плен,— немцы тенями касок вырастают на бруствере, врываются в блиндаж, связывают, и нет возможности даже пошевельнуться...

В эту секунду он осознал все — он в бессилии отступал. И вдруг его недавняя унизительная улыбка, фальшивое, непроизвольное рукопожатие показались ему взяткой, которую он, растерянный, впервые за все эти годы дал Уварову за лживый между ними мир.

— Не знал,— проговорил Сергей хрипло.— Не знал... Почему я не знал? А что я должен говорить об отце? Подозревать отца? За что? В чем? Отец делал революцию... Он старый коммунист... Подозревать отца? Ты что

говоришь? Что ты мне советуешь? Так только фашистские молодчики могли...

Он взглянул на Уварова, на его мужественный, крутой подбородок — стол разделял их, Уваров сидел неподвижно, полуприкрыв глаза, и утомленно-сожалеющим было его лицо.

— Вохминцев! — крикнул Свиридов, хромая к столу.— Молчи! За эти слова — знаешь? Гонят из партии! Ты... коммунист коммуниста! Как смеешь?

— Он уже не коммунист,— печальным голосом произнес Уваров.— Жаль, но он в душе уже не коммунист. Разложился... Очень жаль! Хороший был парень.

— Я плевать хотел на то, что ты думаешь обо мне. И не вам, Свиридов, судить. Потому что вы верите не себе, а ему, вот этому «принципиальному» парню... с душой предателя! — проговорил Сергей, как в холодном тумане.— Вы верите ему, я буду верить себе!

— Достаточно! Прекратите! Можете идти, Вохминцев. Когда будет нужно, вам сообщат. Идите, идите...

Был это голос Морозова, и Сергей, все время ожидавший вмешательства, искоса посмотрел на него: то, что Морозов в течение этих минут как бы не участвовал и не замечал боя, который шел рядом, и то, что он сейчас неуклюже и не вовремя оборвал этот бой, уже ничего не решало.

— Вам, Вохминцев, необходимо в партбюро заявление... в связи с отцом. Все, что нужно. Можете завтра принести. Это вам ясно?

И Сергей нехотя и упрямо ответил:

— Заявление, Игорь Витальевич, я писать не буду. Отец не осужден. А то, что он арестован, знаете сами.

— Идите! — Морозов полоснул глазами в сторону двери.— Слышите вы? Идите! Немедленно!

— Жаль. Очень жаль,— сказал Уваров задумчиво.

Он вышел из кабинета, в горле жгла металлическая сухость, ломило в висках, головные боли в последние дни стали повторяться,— и все туманилось в сером песочном свете: приемная, солнце на паркете, кожаный диван, столик с телефоном; и голос Иннесы тоже был вроде бы соткан из серого цвета:

— Как, Сергей?..

Он машинально посмотрел на ручные часы, хотя безразлично было, сколько прошло времени, и машинально улыбнулся Иннесе.

— Вам не хочется холодного пива или мороженого? В жару это идея, правда?

Не разобрал, что ответила она, помешал звук открываемой двери — Уваров со Свиридовым выходили из кабинета Морозова,— и, повернувшись к ним спиной, Сергей договорил нарочито спокойно:

— Вам не хочется выпить, Иннеса? Закатиться куда-нибудь в ресторан — великолепная идея! Разлагаться так разлагаться.

Он затылком почувствовал, как, замедлив шаги, они проследовали в коридор, он был рад, что они услышали его. В конце концов было ему все равно.

— Серьезно, Иннеса,— сказал он иным тоном, через силу естественно.— Не хотите ли вы куда-нибудь пойти со мной? Ну в ресторан, в кафе, в бар — куда хотите. Мне хотелось бы...

— Я не могу. На работе, Сережа.

— Какие формальности, Иннеса! Институт пуст, никого нет, одни уже на практике, другие на каникулах, черт бы их драл. Морозов сейчас уйдет. Что ему тут делать? Идемте, Иннеса! Вы ведь говорили, мужчина должен все время улыбаться.

— Потом. Ладно? Завтра. Ладно? Но завтра ты не захочешь.— И, заглядывая ему в глаза, спросила: — Замучился... Плохо тебе?

Она сильно, по-мужски взяла его за шею и слегка прикоснулась губами к щеке — это был особый дружественный знак понимания,— снова спросила:

— Замучился, Сережа?

Она больше ни о чем не спрашивала.

— Нет,— сказал он и зачем-то тронул щеку, где коснулись ее губы, усмехнулся: — Нет. Счастливо, Иннеса.

— Сч-частливо-о! — ответила она.— Завтра ты не придешь, нет?

— Я не знаю, что будет завтра.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Он вернулся домой поздно.

Долго не попадал ключом в отверстие замка, а когда открыл дверь, в первой комнате был полумрак, светил

над диваном зеленый почпик, и прямо перед порогом стоял Константин, покусывая усики.

— Ты? — спросил Сергей, пошатываясь.

— Я.

— Как Ася?

— Ты готов? — спросил Константин серьезно.

— Я спрашиваю, как Ася? Какого... ты еще?

— Все так же. Был профессор и врач из районной. У нее что-то нервное. Нужен покой. Ты где надрался? И в честь какого торжества?

— Ася, Ася...— сказал Сергей, нетвердыми шагами прошел к дивану, сел, сутуло наклонился, расшнуровывая полуботинки.— Пьют от слабости,— заговорил он шепотом.— Я понимаю. Я не от слабости... Я никогда ничего не боялся... даже смерти... Ни-че-го...

Сергей ниже склонился к ботинкам, дергая шнурки, и вдруг согнутая, обтянутая рубашкой спина его затряслась, и неожиданно было слышать Константину глухие, сдавленные звуки, похожие на проглатываемый стон. Он будто давился, расшнуровывая ботинки, все не разгибаясь, и Константин, в первый раз увидев его таким, заторопился с неистовой энергией:

— Сережка, идем в ванную, старина! Надевай тапочки. Пошли! Душ — великолепная штука. По себе знаю. Надирался как змей. Обдает свежестью — и ты как огурчик. Ко всем дьяволам философию! Истина в душе, за это ручаюсь! Где эти тапочки? Сейчас ты узнаешь, что человечество недаром выдумало душ!

— Не зажигай света,— шепотом попросил Сергей.— Я сейчас... подожди.

— Пошли, Серега. Поверь мне. Примешь душ — увидишь небо в алмазах. Пошли! Жизнь не так плоха, когда в квартире есть цивилизация.

Он обнял его, осторожно довел до ванной, задевая за развешанное в кухне белье, пахнущее сыростью, сказал:

— Давай! Выход из всех положений.

Этот благостный душ был ожигающе свеж, колкие струи ударяли по плечам, по груди: сразу озябнув, Сергей подставил лицо, крепко зажмурясь, навстречу льющемуся холодному дождю, и в этом водяном плену, перехватывающем дыхание, вспомнил, трезвея, о тех солнечно-морозных утрах зимы сорок пятого года, когда после пота, грязи передовой он был влюблен в эту воду,

в эту ванну — ни с чем не сравнимое чудо человечества, как тогда счастливо казалось ему.

— Теперь растирайся до боли! Почувствуешь себя младенцем! — Константин приоткрыл дверь, подал мохнатое полотенце, затем крикнул из кухни: — Я сейчас крепкий чай сочиню. И все будет хенде хох!

Сергей не отвечал, растираясь колючим полотенцем,— тишина была в доме, как на степном полустанке, и шагов Константина на кухне не было слышно.

В распахнутое окошечко ванной прохладно тянуло ветерком летней ночи, чернело звездное небо за близкими силуэтами лип, и слабо доносились далекие паровозные гудки с московских вокзалов.

Когда Сергей вышел из ванной, Константин курил около плиты, незнакомо застывшими глазами смотрел на закипавший чайник, на тоненько дребезжащую крышечку.

— Я тебя ждал сегодня,— сказал он.

— Дай сигарету.

— Я тебя ждал. Хотел поговорить. Очень...

— Сейчас ничего не буду рассказывать. До смерти устал. Дай сигарету и спички.— Сергей ногой подволок к столу табуретку.— Ася меня ждала?

— Сначала была Эльга Борисовна, потом я. Ты ничего не знаешь?

— Я многого не знаю, Костька...— вяло сказал Сергей.— Но меня ничем уже не удивишь.

— Н-да...

Константин полотенцем снял крышку чайника, прищурился на булькающий кипяток, проговорил непрочным голосом:

— Трудно мне сказать это тебе...

— Тогда не говори.

Было молчание. В ванне щелкали, отрывались от душа капли.

Константин, по-прежнему глядя на бурлящую воду, на пар, с тихой решимостью сказал:

— Слушай, Серега... Вот что. Я люблю Асю. Я хотел, чтобы ты... Я люблю ее. И вообще...

Константин со всхлипом затянулся дымом сигареты так, что колыхнулась грудь под полосатой ковбойкой, и договорил с длинным выдохом:

— Я должен был тебе сказать. Я люблю Асю. С сорок пятого. Когда ты был еще в армии.

— На кой черт ты мне говоришь это? — Сергей хмуро посмотрел на Константина.— То есть как любишь? В каком смысле?

Никогда он всерьез не думал об этом, но порой все же появлялась мысль, что, наверное, когда-нибудь вечером зайдет за Асей совсем незнакомый парень, лица которого он не мог представить, ее однокурсник, наделенный теми качествами, что могли бы понравиться в семье; он всегда был спокоен за нее, ибо была непоколебимая уверенность, что не мягкий отец, а он спустит с крыльца любого, кто попытается хотя бы намеком оскорбить его сестру. Он считал, что обладает силой покровительства старшего брата в семье, и то, что Константин нежданно открылся ему, вызвало в нем не удивление, а чувство чего-то неправильного, не имевшего права быть. Он знал Константина со всеми его слабостями, и если бы он сказал сейчас о некоем очередном увлечении своем, только не о любви к Асе, это было бы вполне естественно и закономерно.

— Вот что,— проговорил Сергей,— с меня хватит всего... Я всем сыт по горло. Не понимаю тебя. Ты прошел огонь, и воды, и черт-те что, а Ася святая. Ей нужен парень... ее поколения. Что у вас общего? На кой черт ты говоришь это? Я хочу спать. Мне надо выспаться. Основательно выспаться, Костька. У меня что-то часто стала болеть башка. Я устал.

— Все-таки выпей чаю,— посоветовал Константин и замолчал с мрачным, замкнутым лицом; смуглые пятна проступили на скулах, в темно-карих глазах пригасло обычное выражение иронически настроенного ко всему человека, раз и навсегда осознавшего опытом зыбкость истины.

— Считай, что этого разговора не было,— сказал он, и, показалось Сергею, голос его чуть дрогнул.— Кстати, тебе... звонили... Звонила Нина. В десять вечера. Забыл передать. Я с ней очень мило поговорил. Возьми чайник.

Ручка чайника была невыносимо горячей, Сергей ощутил его ошпаривающую тяжесть и мгновенно перебросил чайник на подставку.

— Спасибо. Уже не нужно.

— Что?

— Спасибо. Уже не нужно. Будем чай пить?

— Я ужинал. Пойду к себе. На верхотуру. Сверху, как говорят, виднее. Завтра утром — тю-тю! — уезжаю на

практику. Под Тулу,— сказал Константин.— А все же, Серега, ты считал и считаешь меня за пижона. Так? Откровенно...

— Брось! Ты знаешь, как я к тебе отношусь!

— Нет! Но ведь кто понимал друг друга, как не мы с тобой, кто? И уж если откровенно... ты всегда был серьезный малый, и меня тянуло к тебе, а не тебя ко мне. И я у тебя кое-чему научился, а не ты у меня. Так?

— Брось сантименты, Костька. Я просто был «чересчур смелым человеком» и ничему не научился. А жаль.

— Будь здоров! И не городи ерундовину перед сном — вредно.

Константин взбежал по лестнице на второй этаж.

Здесь, наверху, он прошел сквозь темноту коридора в свою комнату, ощупью нашел выключатель, зажег свет, и его окружил давно привычный ему хаос холостяцкой обстановки — пыльные книги в громоздком шкафу, иллюстрированные, затрепанные донельзя журналы, повсюду раскиданные на стульях, порожние бутылки из-под пива на подоконнике, кинофотография Дины Дурбин над письменным столом, пепельница-раковина, переполненная окурками; на тумбочке — портативная с пластинками мировой «джазяги» радиола, по случаю купленная в сорок пятом году у летчика, приехавшего из Венгрии. Но чего-то не хватало здесь. Он не находил себе места. Ему не хотелось спать.

Он включил радиолу на тихий звук, полулег в мягкое облезлое кресло, вытянулся в нем — пластинка раскручивалась, шипела, возникли точно отдаленные пространством звуки джаза,— и он, слушая, хрипловатый низкий женский голос, потирая лицо и горло, морщась, напевал шепотом: «О Сан-Луи, ты горишь вдали...»

Ночью Сергея разбудил телефонный звонок.

Минут сорок назад, чтобы уснуть, он принял люминал, найдя снотворное в аптечке отца, и сон тяжело потянул его во тьму. Он чувствовал, как засыпал, и чувствовал, как нарастает что-то неспокойное, смутное, то приближаясь, то удаляясь,— как человек, как летящее тело между небом и землей. Но это не было ни человеком, ни телом. Что это было, он не мог понять.

...Потом появились какие-то темные, как туннель, ворота, а позади — он видел — под луной блестела каменная площадь. И он вбежал под арку — его преследовал, настигал, бил остро в спину грохот подкованных сапог.

Этот грохот раздавался на весь город, а людей нигде не было на пустынно мертвенных улицах. Только стучали, приближаясь, железные подковы сапог, отдаваясь тоской в сердце.

Он бежал через арку, через черный туннель, он заметил впереди светящееся под луной отверстие выхода, но мысль о том, что он совсем один в городе, что у него нет оружия, кидала его как сумасшедшего из стороны в сторону. Хватая пустую кобуру, выбившись из сил, он домчался до выхода. Как спасение, как передышка, открылся этот выход... Четыре силуэта вышли навстречу ему, загородив проход из туннеля. Он не видел их лиц, не видел их мундиров, но знал, что это немцы, и в то же время его настигал металлически ударяющий цокот подков за спиной. И он понял, что пропал, что его окружили и нет выхода из смертельной ловушки,— это конец, его предали...

Отступая, он еще напрасно рванул пустую кобуру на боку — и тут жестокое, душное, цепкое навалилось на него, ломая тело, выкручивая руки. Вырываясь из тисков, он осознавал, что это последнее в его жизни, что он погибнет сейчас, и почему-то особенно ясно успел заметить за спинами людей в черном чье-то очень знакомое огромное лицо с усиками, но кто это был — никак не мог вспомнить. И вдруг узнал это лицо по крутому подбородку, по улыбающимся губам и, узнав, крикнул, задохнувшись: «Уваров? Уваров!.. Где, сволочь, твой партбилет? Сжег?» И от удара, падая под сапоги, уловил радостный знакомый рев: «В сердце! Бейте его в сердце! В сердце... Он сейчас умрет!»

Сергей очнулся от этого крика, от назойливого постороннего звука.

Открыл глаза — огромная, тяжелая, раскаленная, во все окно луна светила низко, душно, нацеленно прямо в зрачки ему. Он лежал, боясь оторвать взгляд от нее, боясь пошевелиться, скачущими рывками билось сердце; казалось — оно разорвется. «Это сон, неужели сон?» — спросил он себя и приподнялся: настойчиво звонил телефон, накрытый подушкой.

И этот придавленный настойчивый звук стряхнул с него одурманивающий кошмар забытья.

Он вскочил с постели, снял трубку.

— Да,— сказал он хрипло, глядя на отсвечивающие под луной часы на столе. Шел второй час ночи.

— Прости, пожалуйста, я разбудила тебя? Ты спал? Сережа, я хочу тебя увидеть! Обязательно! Сегодня, сейчас!

— Кто это? — Он еще плохо соображал; колотилось сердце и после сна, и после торопливого этого голоса.— Кто?

— Не узнаешь? Это я... Я тебе звонила! Я тебе вчера звонила, сегодня звонила...

— Кто это? Ты мне звонила? — переспросил он.— Нина?..

— Да, да! Я вчера вернулась, я тебе звонила. Послушай... Я звоню из автомата. Я сейчас приеду к тебе... Ты слышишь, Сережа?

— Я не могу сейчас,— выговорил он.— Я не могу... И не надо мне звонить.

— Сере-ежа!..

Он прервал разговор и, накрыв подушкой телефон, с тоской почувствовал, что не так говорил, не так ответил, что не думал все это время о ней, о ее муже, который вернулся в Москву. И как только опять лег и увидел висевшую в квадрате окна чудовищно красную душную луну, почудилось — оборвались все реальные нити с миром.

Снова затрещал под подушкой телефонный звонок, похожий на задушенный крик. Он оглянулся на дверь в комнату Ася, затем схватил свою подушку и накрыл ею телефон — так было легче.

Телефон трещал слабым, жалобным звонком, задавленный подушками. Его звук походил на прерывистый комариный писк. Потом он замолк. С ударами крови в висках Сергей лежал, не испытывая облегчения. Предметы в комнате сместились, потонули в тени — луна заметно сдвинулась над железными крышами к краю окна, был виден из-за рамы багровый раскаленный кусочек ее. И стояло в мире такое безмолвие, какое бывает, когда в лунную ночь переползает через бруствер на нейтралку разведка — туда, в сторону немого гребня немецких окопов...

Он услышал с улицы легкий шум подвывающего мотора, потом четкий и сильный щелчок дверцы, и сейчас же побежал стук каблуков во дворе.

«Неужели она? Не может быть»,— подумал, еще сомневаясь, Сергей и потянул со стула брюки, от волнения не попадая ногами в штанины; робкий, просящий звонок забулькал в коридоре.

Он бросился к двери по темному коридору, нажал, открыл замок и, не говоря ни слова, быстро вернулся в комнату, оставив дверь открытой.

— Сергей!

— Здесь спят.

— Сергей!

В сумраке забелел плащ — она вошла, затихла, остановилась за порогом комнаты.

— Зачем ты приехала? — спросил он нерассчитанно громким голосом.

— Сережа,— сказала она и с робостью выступила из сумрака на лунный свет.— Я не могла ждать. Ты послушай...

— Зачем ты приехала? Для чего? — спросил он холодно.

— Сере-ежа-а, я ничего не понимаю...

Она как-то неумело, не по-женски заплакала, приложив руки к груди, и, плача, опустилась на стул, сжавшись, локтями доставая колени. Он смотрел на нее растерянно.

— Идем,— сказал он.— Асю разбудим. Идем. Я провожу тебя.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Я сегодня узнала все...

— Что ты узнала?

— От Аркадия... от Уварова. Он не был два года и зашел сегодня...

— Ну и что? Что ты узнала?

— Послушай, Сергей, я жалею, что хотела помирить тебя с ним! Жалею! Думала, все проще... Я просто верила Тане. А он притворялся, ждал. И дождался.

— Ты это хотела мне сказать?

— Послушай, Сережка, перестань! Как все мелко, ужасно мелко по сравнению... что случилось с твоим

отцом! Это самое страшное, что может быть. И еще смерть.

— Это он рассказал?

— Будь осторожен! Пойми, он не шутит, он пойдет на все. Не горячись на партбюро, будь доказателен. И взвесь все — это главное. Уваров не так прост! Знаешь, что он сказал? «Ну все, конец, ваш Вохминцев испекся!» И какое было лицо — спокойное, лицо победителя! Сережа, послушай... Он сказал: завтра или послезавтра будет партбюро. У тебя есть время. Если оно тебе нужно. Знаю, ты можешь быть сильным, но ты... Пойми, они не шутят! Они не шутят!

— Что ж, спасибо... Я проводил тебя до Серпуховки.

— Подожди! — попросила она.

Они стояли на углу, в густой тени каменного дома, возле наглухо закрытого подъезда.

— Еще...— сказала она.

— Что «еще»?

— Еще проводи. Мне страшно.— Она поежилась.

Пустынная Серпуховская площадь с темным прямоугольником универмага, низким зданием шахты строящегося метро была огромной, безжизненно-синей; металлически блестели под луной дальние крыши, и маленькая фигурка постового милиционера посреди пустой площади казалась неподвижной, неживой. Луна будто умертвила город, и даже не было ночных такси, обычно стоявших на углу.

— Сергей...

— Пойдем,— прервал он.

Она замолчала. Он не смотрел на нее.

Но когда свернули на узкую Ордынку, стало темнее на тротуаре от застывших теней лип, тихая мостовая за ними лежала мертвенно-гладкая, полированная под лунным светом. Он взглянул на Нину сбоку.

Она шла, двигалась рядом, изредка касаясь его плащом, и он видел ее всю — от этих стучащих по асфальту каблуков, этого коротенького старого плаща до молчаливо сжатых губ,— и все было знакомо, тепло, нежно, но одновременно не исчезала ревнивая горькая неприязнь к ней после того, как в этом же плащике он встретил ее с мужем возле метро, и муж, самодовольный, уверенно и нестеснительно обнимал ее за плечи. Он хотел спросить просто: зачем тот приехал, почему она не сказала об этом, но боялся сейчас снова сбиться на отврати-

тельный самому себе, неприятный тон, каким разговаривал, когда она вошла в его комнату: что бы ни было между ними, он не имел права унижать ее.

Ее каблуки стучали медленнее. Затихли.

— Мы почти дома,— послышался ее осторожный голос, и он увидел: она повернулась грудью, руки засунуты в карманы плащика, в глазах — ждущее выражение.— Спасибо. Ты меня проводил.

Он уловил этот взгляд и хмуро посмотрел вверх. Над аркой ворот, под тополем эмалированная дощечка с номером дома была, как прежде, мирно освещена запыленной лампочкой. Вокруг желтого огня хаотично мелькали ночные мотыльки, стукались, трещали о стекло, роились легким шорохом в листве.

— Я не имел права,— сказал он,— разговаривать так с тобой...

— Еще,— попросила она, несмело улыбаясь, и робко сняла мотылька, упавшего ему на плечо.— Упал к тебе,— сказала она,— прости...

— Что, Нина?..

— Скажи что-нибудь еще. Я прошу...

Она раскрыла ладонь, поднесла к глазам, внимательно рассматривая белого мотылька, который полз по ее пальцам, и Сергей видел ее наклоненный лоб, брови, и в эту минуту ненужное внимание к этому мотыльку вдруг показалось ее правдой, ее естественностью.

— Ну, теперь все,— сказала она и стряхнула мотылька.

— Что «все»? О чем ты говоришь? — спросил он и так порывисто обнял ее за плечи, что у нее безвольно-жалко откинулась голова.— Я не понял, что «все»?

— Я люблю тебя, Сере-ежа... А ты? Ты?

Она качнулась к нему, повторяя: «А ты? Ты?» — и он, чувствуя близко ее почти родные губы, неистово прижался к ним, как будто хотел ей сделать больно.

— Я хочу тебе объяснить. Да, мой муж был в Москве. Ты знаешь, что с ним случилось?

— Нет.

— У него неудача с экспедицией. Его отзывали в Москву, а он не ехал. Он боялся встречи с московским начальством. Ему могут больше не дать экспедицию.

— Он воевал?

— Да. Он майор, командовал саперной ротой.

— Ну и любил тебя?

— На второй месяц сказал, чтобы я не ограничивала его свободу. Потом узнала, что он ездил в районный городок к одной женщине. Я собрала чемодан и перевелась в другую экспедицию. Позже — в Москву. Не будем говорить об этом...

Они помолчали.

— Я только сейчас вспомнила... Знаешь, что он сказал? «Сергей — декабрист, а наше время не для декабристов».

— Кто это сказал?

— Уваров. Ты понимаешь, что это значит?

— То, что сволочь, для меня не открытие. Но он забыл, что наше время не для таких подлецов, как он.

— Он сказал, что ты уже не коммунист, что тебя выгонят из института, Сережа. Но я не хочу верить...

— Если даже со мной что-нибудь случится, я пойду работать шахтером, забойщиком, я могу носить мешки, грузить вагоны. Я все могу... Только... Только бы...

— Что, Сережа?

— Только... Я хотел бы, чтобы никто не собирал чемодан и не переводился в другую экспедицию.

— Сере-ежа-а, ты не должен об этом... Ты никогда не думай, что я могу... Я могу бросить все, понимаешь? И пойти с тобой уголь грузить, что угодно! Я не знаю, как это передать — что я чувствую к тебе... Как это передать?

— Этого не будет, чтобы ты грузила со мной уголь, этого никогда не будет...— говорил он с нежностью и отчаянием, исступленно обнимая и целуя ее в ледяные губы.— Ты увидишь, этого никогда не будет...

В тишине тоненько и звеняще тикали часы на стене. Константин, уже одетый, сидел в кресле, растирая рукой грудь,— зябкость утра, вливающаяся через открытое окно, щекотно касалась кожи лица,— и прислушивался к ранней возне воробьев в дворовых липах. Потом воробьи с резким шумом брызнули под окнами из розовеющих ветвей: стукнула форточка на нижнем этаже — одинокий звук эхом раздался в пустоте спящего двора. Ему представилось отчетливо, что форточку закрыли в

комнате Аси, и Константин, вмиг очнувшись, вспомнил о времени своего отъезда.

«У меня есть четыре часа,— думал он.— Я сначала зайду к ней, потом я пойду *туда*... Успею ли я все сделать, все как нужно, все как надо? А что раньше, коленки дрожали — не мог отнести эти деньги? Вот они, быковские десять тысяч. Что ж, деньги лежали у меня две недели. Долго собирался. Будет вопрос: «А чемоданчик-то с бостоном в Одессу вы привезли?..» Что докажешь? А может, сказать — нашел деньги?.. К черту их! Смотреть на них не могу! Так что же, Костенька, действуй, вперед, милый, подан свисток атаки, хватит лежать в окопах, в тебя стреляют, в Сережу, в Асю... и не холостыми патронами, а бьют наповал, в голову целят!..»

Константин, охваченный холодком, раскрыл чемодан и, раскидав белье, достал со дна завернутую в газету пачку денег, вложил ее, туго надавившую на грудь, во внутренний карман.

Сделав это, он начал бросать в чемодан белье и ковбойки и, захлопнув крышку, щелкнул никелированными замками — все было готово. Он знал, что не вернется сюда до осени: практика на шахтах длилась два месяца. Он оглядел комнату без сожаления — этот когда-то уютный и привычный ему беспорядок — и ничего не тронул, ни к чему не прикоснулся, только накрыл старой газетой ящик радиолы. «Оревуар, старина!»

«Вот и все, Костенька,— сказал он себе,— вперед, милый!»

Когда, заперев комнату, он быстро спустился по лестнице на первый этаж и тут, стараясь не натолкнуться на вешалки, прошел тихий коридор, нигде не было ни звука — дом еще спал. Константин задержался перед дверью Вохминцевых с желанием постучать, разбудить и Сергея и Асю, но, так и не решившись, подсунул под дверь записку в конверте, написанную ночью.

Старый и чистый асфальт двора предстал в этот час зари огромным, пустынным, и было странно видеть в окнах неподвижные алеющие занавески и закрытые двери парадных — везде покой, сон, и лишь стая проснувшихся на рассвете воробьев все сновала, чирикала, возилась в липах над окнами Вохминцевых, и от этой возни дрожала, покачивалась там багровая листва.

Он стоял и смотрел на окна в комнате Аси: в тени они отливали скользким мазутным светом.

Потом, переборов себя, озябнув весь, он подошел и едва внятно, ногтем тихонько притронулся к стеклу три раза.

И с замиранием в горле глядел вверх, ждал.

Он постучал еще — тихонько отдернулась занавеска, за стеклом мелькнуло плечо Аси, распахнулась форточка над его головой, и он расслышал ее голос:

— Костя, Костя, это ты, да?

И Константин, увидев в это мгновение ее лицо в форточке, упавшие па глаза короткие волосы, сказал глухо:

— Я уезжаю в Тулу, Ася. На практику. До свидания. Я уезжаю...

— Костя, Костя, я слышала твои шаги. Ты ходил у себя в комнате. Ты разве не спал, Костя? — проговорила она шепотом в форточку, взобравшись на стул, и глаза ее испуганно увеличились.— Чемодан... Ты с чемоданом?

— Я уезжаю в Тулу, Ася,— повторил он.— Записка Сережке под дверью. Для него. До свидания, Ася, не болей... Ну его к черту — болеть! — Он улыбнулся.— До свидания! До осени!

— Костя, Костя, что же будет?

— Прекрасно будет.

Он прощально поднял руку, пошевелил пальцами, все стараясь улыбаться ей, и тогда увидел, как она прижалась лбом к стеклу и заплакала, со страхом глядя на него сквозь свесившиеся волосы, и стала кивать ему, и тоже подняла руку, приложила ее к стеклу.

И он отошел от окна, не поворачиваясь, пошел спиной вперед по асфальту пустынного двора.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Ася, я в институте задерживаться не буду. Тебе полежать надо. Зачем ты встала к телефону?

— Ты спал.. А из партбюро звонили два раза.— Она перевела на него темные на бледном лице глаза: сидела на кровати, в накинутом на плечи халатике, в тапочках на босу ногу, отвечала слабым шепотом: — Ты ничего не слышал? Приходил Константин прощаться. Он уехал на практику. Оставил тебе письмо. Сережа, ты не вызывай больше врачей. Мне лучше.— Она отвернулась к стене.—

Бедный папа, где он сейчас? Как мы будем без него? И как он без нас? Как он?

— Ася, позавтракай и ложись. Я не буду задерживаться. Я уверен: ошибки потому ошибки, что их исправляют.

Он спал всего часа три (вернулся домой на заре), а когда вышел на крыльцо, на утреннее слепящее солнце, все было, казалось, в песочной дымке, что-то мешало глазам, резало веки, и болели мускулы. Он чувствовал усталость, и долгое, намеренно тщательное бритье и горсть колючего одеколона не освежили его полностью.

— Добрый день, здравствуйте, Сергей Николаевич! — раздался из этого неясного, как бы суженного мира кашляющий голос.— Добрый день!

Возле крыльца, в жидкой тени, Мукомолов в нижней рубахе щеткой буйно чистил, махал по рукавам висевшего на сучке липы старенького пиджачка, в зубах торчала погасшая папироса. Завидев Сергея, он с лихостью потряс щеткой в знак приветствия.

— А вы знаете, она права! — воскликнул он, смеясь одними глазами.— Да, да, женщины часто бывают правы! Могу сообщить вам — меня разбирали!

— Где разбирали? — спросил Сергей, не сообразив еще, и, хмурясь, зажег спичку, поднес к потухшей папиросе Мукомолова.

— В Союзе художников! — Мукомолов заперхал от дыма.— Нацепили столько ярлыков, что будь они ордена — груди не хватило бы! Так и обклеили всего, как афишную будку.— Он закашлялся, щеки стали дряблыми.— Простите, Сергей, я несколько... очень устал, выдохся вчера. На это наплевать. Это все чепуха, мелочи, дрязги... Да, да. Это чепуха! Ниоткуда меня не выгонят, я зубастый!

Он согнал с лица возбужденное выражение — и сразу потух, морщины обозначились вокруг глаз его.

— Простите меня, как с Николаем Григорьевичем? Что известно? А все остальное — чепуха, чепуха. Не обращайте внимания.

— Пока ничего.

— Н-да! А как Асенька?

— Кажется, лучше.

— Это уже хорошо. Заходите вечерком. Буду очень рад, очень рад.

Эта оживленность Мукомолова не была естественной, он за этот месяц постарел, бородка островками заблестела сединой и словно бы согнулась спина, ослабла походка — все это видел Сергей, но в то же время не видел, все это смутно проходило мимо его сознания.

Только на троллейбусной остановке он понял, что торопился, хотя знал: торопиться было бессмысленно.

Он несколько удивился тому, что заседание партбюро проходило в директорском кабинете.

Слои дыма замедленно переваливались в солнечных этажах над столом, и кожаные кресла в кабинете, зеленое сукно стола, графин с водой, белеющие листки бумаги, карандаши на них были неистово накалены июльским зноем. Уличный асфальтовый жар душно и маслено входил в окно, лица лоснились потом.

Сергей сидел в стороне от окна, около тумбочки, вентилятор, звеня тонким комариным зудом, вращался за его спиной. Прохладный ветер от шуршащих лопастей немного освежал его: он то видел все реально, то темная пелена нависала над глазами, и тогда лица Свиридова, Уварова, Морозова за столом не были видны отчетливо. И в эти минуты он пытался всмотреться в насупленное лицо Косова и в не очень хорошо знакомые лица остальных членов партбюро, в углубленном молчании чертивших карандашами по листкам.

— Если он не понял этого, то должен понять. Я говорю прямо, в глаза ему. Обман партии — преступление. Понял ли он? Нет, как видно, не понял...

Сергея удивляло и то, что сейчас он был спокоен, он даже усмехнулся чуть-чуть, разобрав этот сухой голос Свиридова. Тот стоял очень прямой — прямые узкие плечи, ввалившиеся лимонные щеки задвигались, когда, выталкивая изо рта жесткие, бьющие слова, поправил желтыми пальцами толстый узел галстука, застегнул среднюю пуговицу на пиджаке.

«Зачем он поправляет галстук, для кого это? Почему он не снял пиджак — для официальности? Или торжественной строгости? Почему он? Почему именно он?.. У него гастрит или язва? И больная нога... был ранен? Верит ли он в то, что говорит?»

— Я изложил членам партбюро подробно все как

было, когда Вохминцев пришел отказываться от практики. Это только факты.

Сбоку взглянув на Сергея, Косов, мрачно-замкнутый, медленно вынул из кармана брюк трубочку с вырезанной головой Мефистофеля, с железной крышечкой, сосредоточенно начал набивать ее табаком.

«Кто подарил ему эту трубку? Кажется, Подгорный... На подготовительном еще, в сорок пятом...»

— Вохминцев, возьмите пепельницу,— ровным голосом сказал Морозов.

«Он что, успокаивает меня?»

Сергей встал, подошел к столу, взял одну из расставленных на зеленом сукне металлических пепельниц, сел на место. И спокойно поставил пепельницу на подлокотник кресла. Все посмотрели на него: внимательно — Свиридов, мельком, как бы хмуро осуждая,— Уваров, вопросительно, из-под собранного складками лба,— Морозов. Директор института, весь сахарно-седой, подтянув заметное брюшко, этот постоянно веселый профессор Луковский, в чистой крахмальной сорочке, натянутой на округлых мягких плечах, с засученными до полных локтей манжетами (горный мундир висел па спинке стула), молча поерзал на кожаном сиденье кресла в глубине кабинета, тоже достал папиросу, проговорил: «Хм» — и опустил белые брови.

«О чем опи думают сейчас все? Они. Все... О том, что я обманул партию? О чем думает Луковский? И он, кажется, неплохо относился ко мне... О чем думает Косов?»

— Я хочу добавить еще к этому следующее, и мне не даст соврать Аркадий Уваров. Однажды во время встречи Нового года — и я и Аркадий Уваров были в одной компании — Вохминцев демонстративно пытался сорвать тост за Иосифа Виссарионовича Сталина. Да, это было. И, видимо, это, мягко выражаясь, не случайно...

Желтые щеки Свиридова сжимались и проваливались, сухие губы выбрасывали слова, как ржавые режущие куски железа, и Сергей, глядя на высушенное лицо его, почему-то некстати подумал, что ему вредно есть мясо, и представил, как он брезгливо ест, двигая провалами щек, и как жена его (какая она могла быть?) и дети (у него, говорили, было двое детей) глядят на его щеки. О чем оп говорит дома? И как? Или ложится на койку с грелкой и жалко стонет, страдая от болезни?

— И последнее...— Свиридов сухощавой, будто из одной кости, рукой налил себе из графина воды, выпил залпом — заползал кадык над толстым узлом галстука.— И последнее...— Он наклонил сурово окаменевшее лицо, нашел на столе листок бумаги, после чего значительно оглядел всех.— Последнее... Это заявление в партбюро от члена партии и члена нашего партбюро Аркадия Уварова. Я его прочитаю...

С однотонным шуршанием вентилятор вращался на тумбочке, дуя на волосы Сергея теплым ветром, из окна отдаленно доносились шум улицы, гудки автомобилей, крики детей на бульваре, а рядом, здесь, в папиросном дыму, в душной от толстого ковра под ногами, от нагретых кожаных кресел комнате,— здесь настойчиво металлически звучал голос:

— «...назвал меня фашистом. Я считаю, что это самое низкое, самое грязное политическое оскорбление. И я как коммунист прошу партийное бюро разобраться в этом. Член ВКП(б) с 1945 года Уваров».

«В сорок пятом году, значит... Где он вступил в партию, в запасном полку? Конечно, так. На фронте его не могли принять. И впрочем, в запасном полку, если бы знали... Но он знал, где вступать».

— Перед тем как перейти к обсуждению дела члена партии Вохминцева, перед тем как спросить его, как он дошел до жизни такой, хочу добавить: мы, члены партбюро, авангард, мы в первую голову несем ответственность за высокую идейность членов партии и беспартийных, мы виноваты в том, что развели гнилое болото в институте. Заявляю со всей ответственностью: спустя рукава, нечетко работали, без огонька и потеряли принципиальную партийную бдительность! Арест первокурсника Холмина и... это позорное дело члена партии Вохминцева должны быть суровым уроком для всех нас. Прошу высказаться. Думаю, регламент устанавливать не стоит, поскольку дело слишком серьезное.

В тот момент, когда Свиридов произнес «развели гнилое болото в институте», Уваров подтверждающе закивал с серьезным лицом, директор института профессор Луковский опять неудобно, грузно зашевелился в кожаном кресле, строго воздел и опустил седые брови. Весь институт знал: этими косматыми бровями профессор Луковский в официальных разговорах скрывал доброту свою, веселую подвижность маленьких живых глаз, и Сергей

не видел сейчас их — брови низко опущены, косматились белыми гусеницами, и лишь дедовское брюшко профессора, округлые плечи говорили о прежней его домашности. Было тихо, карандаши членов партбюро чертили по листкам.

«Кто будет сейчас выступать? Уваров, Луковский? Ах, Морозов...»

Морозов погладил лоб, бегло глянул на Свиридова, произнес с грустной шутливостью:

— В порядке реплики, Павел Михайлович. Вы уж, думаю, чересчур смело заострили...

Он улыбнулся, обнажая щербинку меж передних зубов, и подумал Сергей, что реплика эта была подана только для того, чтобы как-нибудь разрядить обстановку.

— Гнилой либерализм никогда, Игорь Витальевич, до хорошего не доводит,— жестко отрезал Свиридов.— Мы перед лицом фактов. А факты — упрямая вещь. Когда я шел работать к вам в партийную организацию, надеялся: преподаватели, опытные коммунисты, будут помогать мне. Не всегда помогают. Студенты больше помогают — это тоже факт. Да, факт! Я прямо скажу — могу гордиться Уваровым как коммунистом, который помогал больше всех. И об этом я буду докладывать в райкоме.

— Хм,— полукашлянул, полупромычал профессор Луковский, завозившись в кресле, по-прежнему скрывая глаза косматым навесом бровей.— Мм... Хм...

Все посмотрели на Луковского, но тот молчал, сопел недовольно, скрестив пухлые руки на животе.

— Прошу коммунистов высказываться.

Снова было тихо. Морозов посмотрел вокруг, начал задумчиво водить карандашом по бумаге, и то, что он никак не ответил Свиридову, то, что Свиридов заговорил о помощи Уварова, то, что его слова о беспомощности преподавателей невольно прозвучали как угроза и предупреждение, вызвало в Сергее не злость, не гнев, а какое-то насмешливое чувство к Свиридову и к замолчавшему Морозову.

— Прошу высказываться, время идет, товарищи члены партбюро.

— Что ж вы, дорогой мой, а? Как же это? Не понимаю, голубчик!

Заговорил профессор Луковский, телом наклонясь вперед, к стулу перед креслом, где висел его директор-

ский мундир, с недоумением взглядывая из-под бровей на Сергея, и его голос зазвучал распекающим тенорком:

— Что ж это вы, а? Солгали партбюро... мм... скрыли... о своем отце... и потом отфордыбачили еще такое, что ни в какие уклады не лезет, голубчик. Обругали хорошего студента, партийца, своего однокашника, фашистом. Вы же сами отлично воевали, знаете, что такое фашизм. Вы что же, позвольте спросить... мм... кхм... убежденно оскорбили его этаким политическим обвинением? Или вгорячах, так сказать, ляпнули: на, мол, тебе, ешь!

— Абсолютно убежденно! — ответил Сергей, и при этих словах обмякло, вмиг растерялось лицо Луковского, разом повернулись головы, и Сергей увидел: плечи атлетически сложенного Уварова как-то бугристо напряглись, обтянутые тенниской, но он не обернулся, не изменил позы, продолжал спокойно рисовать на бумаге.— Этим словом не ляпают, Вячеслав Владимирович, я хорошо знаю ему цену, с войны! — сказал Сергей.

— Тогда извольте доказательства, дорогой вы мой... доказательства, если уж... хм!

— Пусть он расскажет вам, за что я бил ему морду однажды в ресторане, в сорок пятом году. Думаю, он это честно не расскажет!

— Да, пусть объяснит. Пусть объяснит Уваров! — на все стороны оглядываясь, вставил малознакомый парень в синей футболке.— Все надо выяснить, товарищи. А как же?..

И только сейчас Уваров оторвался от бумаги, проговорил устало, покойно:

— Почему же ты так уверен, Вохминцев? Я расскажу. Почему же... Что ж, разрешите мне, уж коли так далеко зашло.

Он кивнул Свиридову, аккуратно положил карандаш на расчерченный листок бумаги и, не спеша поднимаясь, печально улыбнулся всем голубыми, покрасневшими глазами.

— Вот видите, получается странно,— заговорил он с мягким удивлением и как бы смущенно пробежал пальцами по светлым волосам.— Я не хотел даже здесь выступать. Почему — я объяснял это Свиридову перед партбюро. Ну что ж, если уж так, я должен объяснить. Хорошо. Коротко расскажу по порядку. Мы знакомы с фронта. Здесь Вохминцев напомнил о ресторане, видите

ли, о нашей встрече в сорок пятом году.— Он в раздумье перекатил карандаш на сукне, уперся в стол кулаком.— Право, не знаю, мне очень бы не хотелось вспоминать одну трагическую историю и... ну... косвенно, что ли, утяжелять вину Вохминцева. И так достаточно. Но уж если он сам затронул, я вынужден рассказать. В сорок четвертом году, да, осенью сорок четвертого года, мы служили в Карпатах, я командовал второй батареей, Вохминцев — третьей. Да, я, кажется, не ошибаюсь — третьей. Ночью нас вызвали в штаб дивизиона, и Вохминцеву был отдан приказ немедленно выдвинуться вперед на танкоопасное направление, мне — прикрывать его орудиями с фланга. Ну, получилось, говоря вкратце, вот что: Вохминцев, то ли не разобравшись в обстановке, то ли еще почему — не буду додумывать,— завел батарею в расположение немцев, в болота, так что орудия нельзя было развернуть, а утром немецкие танки в лоб расстреляли батарею. Да, погибли все, исключая вот...— он с выражением мимолетной боли подумал несколько, показал в сторону Сергея,— Вохминцева. Но и он был ранен. Я прибыл утром к Вохминцеву, и тут случилось странное: он стал обвинять меня в том, что я погубил его батарею, не поддержал огнем. Но дело в том, что я и не мог поддержать его батарею, так как Вохминцев завел орудия на пять километров в сторону, к немцам, а стрелять, как известно, надо было прямой наводкой. Добавлю, что от трибунала Вохминцева спасло ранение и эвакуация в тыл. А потом, как это бывает на войне, затерялись следы. Вот первое.— Он наклонился к столу и, вроде бы отмечая первое, стукнул карандашом по бумаге.

«Вот, значит, как!..— подумал Сергей.— Вот, значит, как он».

— Забыл,— проговорил Уваров и поднес руку к влажному виску,— забыл о главном. Мы случайно встретились в ресторане в сорок пятом году. И там была, как говорят, неприятная стычка между нами. Это еще первое. Второе.— Уваров, словно стесненный необходимостью добавлять подробности, немного помедлил.— Это уж совсем разговор не для партбюро, и стоит ли об этом говорить — не знаю... Второе... совсем личное. И может быть, отсюда постоянная ко мне неприязнь, ненависть, что ли. И здесь я не знаю, что делать. Начиная с фронта, Вохминцев все время испытывает ко мне какую-то странную ревность, совершенно непонятную.— Он удивленно пожал

плечами, оглядел всех с полуулыбкой.— Не знаю — в чем ему завидовать мне? Мы равны. Вот все. Я просто должен был объяснить, почему я не хотел выступать на партбюро. Но я протестую против политического оскорбления, недостойного коммуниста.— Голос Уварова окреп, потвердел и снова зазвучал смягченно: — Часто я думал, прошло много времени с войны. А время меняет людей... Вот и все, — повторил он и сел с неловкостью, точно извиняясь за вынужденное выступление, и, как после принужденного, неприятного труда, утомленно провел ладонями по лицу, будто умываясь, стирая незаметно пот, закончил почти сконфуженно: — Простите, говорил сумбурно, наверно, не совсем убедительно. Здесь много личного...

— А свидетели есть у вас? — донесся из угла комнаты низкий голос парня в футболке, и в тишине слышно было, как заскрипел стул под ним.— Есть?

И голос Уварова ответил с прежней полуулыбкой:

— Для этого нужно искать однополчан, фронтовиков. Но я ничего не пытался доказать.

В эту секунду Сергей, не подымая глаз, совсем неощутимыми нажимами загасил сигарету в пепельнице на подлокотнике кресла — он боялся, что рука дрогнет, столкнет пепельницу, уже наполненную окурками, боялся, что он встанет, шагнет к столу, где спокойно и как бы смущенно, но незаметно вытирал со лба пот Уваров. Ему хотелось сказать: «Подлец и сволочь!» — и ударить, вкладывая всю силу, по этому смущенному, лоснящемуся лицу, как тогда в «Астории», в сорок пятом...

Но он не в силах был встать, не мог подойти к столу,— он сидел, опасаясь самого себя, чувствуя, что может сейчас заплакать от бессилия.

Все молчали. Жужжал вентилятор в духоте комнаты.

«Что я молчу? Что я молчу?..» — мелькнуло в голове Сергея.

— Значит, батарею погубил я, а не ты? — чуть вздрагивающим голосом проговорил Сергей.— Теперь понимаю... Переставил нас ролями: меня на свое место, себя — на мое. Я завидовал тебе? Может, поэтому? — Ему трудно было говорить, он перевел дыхание.— Потому что на твоей совести двадцать семь человек убитых? Если нужно, я многих могу назвать по фамилии... Ты не останавливался ни перед чем. За твое шкурничество в Карпатах ответил твой подчиненный, командир первого взво-

да Василенко. Когда танки расстреливали батарею, ты удрал и отсиживался в каком-то блиндаже, а потом раненого Василенко отдали под суд, хотя в штрафной должен был идти ты. Но на тебя доказательств не было — все погибли. Жаль, что меня ранило... И после я тебя не нашел на фронте...

— И что бы вы сделали, Вохминцев? — оборвал Свиридов, подозрительно косясь на Уварова.— Что?

— Дайте договорить! — громко бросил Косов.— Не перебивайте!

— Ты забыл одну деталь, Уваров. Когда танки добивали твою батарею, Василенко, уже контуженный и раненный, успел позвонить мне, и я приехал. Но среди убитых тебя не нашел. И если бы меня не ранило в тот день, ты был бы в штрафном, а не Василенко.

— Ближе к делу, Вохминцев,— опять перебил Свиридов, в то же время изучающе-внимательно взглядывая на Уварова.— Конкретнее!

— Потом я встретил его в сорок пятом и набил ему морду публично, и он не защищался и почему-то не поднял дела против меня. Ну а потом он заявил, что я еще до ареста должен был сообщить об отце куда следует.

— Как не стыдно, Сергей! — с упреком произнес Уваров, легонько поигрывая на сукне карандашом.— Нельзя же так. Нельзя... Так далеко можно зайти.— Он вздохнул и, по-видимому, этим сокрушенный, потупился в стол.— Может быть, товарищи, мне все же не стоит присутствовать здесь ввиду... исключительного случая? Я бы попросил членов партбюро...— Лицо его стало скорбно-серьезным, он непонимающе поглядел на Свиридова, потом на неподвижно сидевшего Морозова.— Я попросил бы членов партбюро, чтобы это дело разбирали без меня. Есть мое заявление. Секретарь партбюро все факты изложил. Кажется, мое присутствие накладывает на непростое дело нечто личное...

— Это, кстати, умно придумано,— сказал Сергей, усмехаясь.— Молодец! Но ты объясни, где ты вступил в партию, в запасном полку?

— Ну а если так? — без выражения спросил Ува-

— Что же тогда?

— Я это знал. Кто тебе давал рекомендации?

Не повернув к нему головы, Уваров как будто не расслышал этого вопроса, и на миг Свиридов настороженно впился в его лицо замершими зрачками.

— Так кто, кто давал рекомендации? Назови. Забыл? — поторопил Свиридов.— Кто? Помнишь ведь?

— Подполковник Басов и майор Черенков. Но я все же попросил бы товарищей разбирать это дело без меня.

— Они, конечно, не знали тебя по фронту? — все так же резко проговорил Сергей.— Не знали?

— Ну и что же?

— Ничего. Просто на фронте свистели пули — и ты был ясен как на ладони, а в тылу опасности нет — и ты ловко умеешь надеть на себя маску доброго малого. И в бинокль тебя не разглядишь!

Остро пекло солнце, густо плыл дым над столом, смещая, затуманивая лица. Профессор Луковский, насупленный, весь ушел в кресло, белые его руки были сведены на папиросной коробке, лежащей на коленях. Косов смотрел перед собой непроницаемо синими глазами, посасывая трубку; и угрюмо оглядывался на профессора Луковского мускулистый парень в синей футболке, пытаясь, видимо, что-то сказать, но не говорил; и в ту минуту показалось Сергею, что Морозов из-под наклоненного лба все время наблюдает за ним, а карандашом водит по бумаге машинально. «Неужели они не чувствуют все?» — скользнуло в сознании Сергея, и тотчас медлительный строгий тенорок заставил его взглянуть на Луковского.

— Зачем же, дорогой вы мой? Оставайтесь... хм... Вы член партбюро, и мы не вправе вас упрекнуть... мм... в личном. Я только хотел бы, чтобы вы не касались воспоминаний, хотя здесь все запутано и... серьезно, надо сказать. С обеих сторон. Перейдем к настоящему. Павел Михайлович, мы отвлеклись. А у меня, дорогой, полтора часа времени.

И Луковский, засопев, подался телом в кресле, показывая на ручные часы.

С подозрением слушавший до этого и Уварова и Сергея, Свиридов внушительно постучал карандашом по графину.

— Неорганизованно проходит партбюро. Ближе к делу. Конкретно. Факты, всё говорят факты. Мы не можем не верить коммунисту Уварову, поскольку фактов нет против него. Он не обманывал партбюро, не скрыл ареста своего отца, не оскорбил члена партии, товарища, гнусным политическим ярлыком. А так, знаете, Вохминцев, вы завтра на любого — погубил, убил... Для этих

вещей доказательства нужны. Суровые доказательства. А мы тратим время на ваши домыслы и соображения. Факты, факты нужны. Прошу высказываться по существу вопроса. Слушал я, и даже неловко как-то, Вохминцев, знаете ли. Да, неловко, стыдно. Прошу высказываться! А вам посоветовал бы посидеть и крепко подумать над своими ошибками, товарищ Вохминцев. У меня как секретаря партбюро создается впечатление, что вы ничего понять не хотите.

«Значит, ничего не нужно?» — подумал Сергей уже с ощущением, что все гибельно рушится, ломается и он не может ничего изменить. И вдруг впервые в жизни он почувствовал непреодолимую жуть одиночества не оттого, что так просто решалась его судьба, а оттого, что ничего нельзя было доказать, оттого, что не верили ему, не хотели верить.

— Прошу высказываться конкретнее,— проник из духоты комнаты, как через толщу, неумолимо сухой голос Свиридова, и странная мысль о том, что какая-то высшая человеческая справедливость не может остановить этот голос, что он, Сергей, ненавидит эти впалые щеки Свиридова, толстый узел галстука под кадыком, эти подозрительные, щупающие глаза, эту прямолинейность,— и мысль не вязалась с тем, что в руках Свиридова его судьба и он, Свиридов, направляет ее так, как не должно быть.

— Разрешите?

Сергей увидел, как сквозь серый туманец, низкорослую фигуру Косова; трубка, зажатая в кулаке, погасла; возбужденный басок его стал ударять, кругло звенеть в ушах.

— Выступление Уварова для меня — это нежное блеяние оскорбленной овечки. Посмотришь на его «хилые» плечи — и не подумаешь, что он беззащитен. Его пытаются оклеветать, а он только улыбается и объясняет все личными отношениями. Абсолютно не верю в его фронтовые, так сказать, мемуары — рассказал все так, будто в обществе в платочек чихнул скромненько. Чепуха какая-то и, простите, баланда! Какого же святого молчал раньше Уваров, если уж так подробно изложил сейчас преступление Вохминцева на фронте? Хочу спросить и Вохминцева: почему до сих пор молчал и он? — Косов исподлобья повел на Сергея засиневшими глазами, перевалился с ноги на ногу.— Как парторг курса я должен

сказать: Вохминцев совершил ошибку, и она, конечно, требует наказания. Но меня удивляет вот что: Вохминцев, грубо говоря,— подсудимый, и мы все судьи. Так, кажется? И судья — Уваров как член партбюро? А я бы хотел, чтобы мы одновременно поставили вопрос и об Уварове. Павел Михайлович, это и от вас зависит.— Он решительно повернулся к Свиридову.— Я Уварова плохо знаю, кашу с ним вместе не ел, под одной крышей не спал, и сейчас мы на разных курсах. Он выступал здесь, будто не обвинял, а ласкал насмерть Сергея. А я не верю тихоням с плечами боксеров!

— Вот как бывает, товарищи члены партбюро,— дошел до Сергея прыгающий от изумления голос Свиридова.— Парторг курса... Идейную, политическую незрелость вы показали, товарищ Косов! Не о коммунисте Уварове здесь идет речь, как вы знаете. Вы не верите Уварову, так говорите? А почему? Где факты? Как вы можете о своем товарище, коммунисте... Так необоснованно?

Он гневно замолк, в упор вглядываясь в лицо Косова, севшего на свое место; кончики ушей у Свиридова отливали под солнцем восковой желтизной.

Косов, не отвечая, возбужденно набивал в трубку табак, прижимал его крепкими пальцами, неожиданно засмеялся резковато и зло:

— Бог не выдаст, свинья не съест. Меня ведь коммунисты курса выбрали парторгом! Они и переизберут, если надо.

Свиридов привстал, опираясь на костылек, переложил с места на место лист чистой бумаги перед собой, произнес иссушенным, как бы отталкивающим тоном:

— Вы отдаете себе отчет, товарищ Косов, как коммунист понимаете, что разбирается дело политического звучания? Я лично как секретарь партийной организации до последнего вздоха, до последнего... буду бороться за идейную чистоту партии...

Он трудно сглотнул, с гримасой потянулся к графину, но воды в стакан не налил, распрямился за столом:

— Коммуниста Уварова мы в обиду не дадим! Нет, не дадим, товарищ Косов! Кто хочет выступить?

«Он не верит ни одному моему слову, что бы я теперь ни говорил,— снова подумал Сергей.— И не верит уже Косову...»

— Вы говорите о бдительности и принципиальности,

о чистоте говорите,— нашел в себе силы сказать Сергей.— Но рано хоронить моего отца и меня.

— Мы никого не хороним, товарищ Вохминцев! — не дал договорить Свиридов, застучав карандашом по графину.— Мы разберемся в вашем проступке объективно. Прошу не подавать реплики, вам будет предоставлено слово.

В эту минуту все молчали.

Он знал, что, если после всех выступлений признает свои ошибки, как бывало иногда с другими на партбюро, это смягчит многое. И, не в силах уже преодолеть немое чувство отъединенности, слушая глуховатый голос выступавшего Морозова, кажется, мягко защищающего его и в чем-то сомневающегося, затем журчащий тенорок Луковского, вставшего за креслом со сложенными по-домашнему руками на животе, потом вновь различая жесткий голос Свиридова, он почти на ощупь осязал два слова, змеисто поползшие в жарком воздухе комнаты: «выговор» и «исключить»; и «выговор» возникал в его сознании как нечто ватное, извилистое, серое; «исключить» — режуще-острое, со смертельным жалом на конце. И он только думал сейчас о том, что непоправимо проиграл время, что был нерешителен когда-то и теперь не мог, не умел ничего доказать. И как-то все эти секунды, с неослабевающим напряжением ожидая еще чего-то, что должно произойти,— он почувствовал вдруг тишину, надавившую на уши,— сквозь дым в комнате прояснилось лицо Свиридова на фоне белой стены, сбоку от портрета Сталина, и голос Свиридова прозвучал, чудилось, над головой:

— Ну как, Вохминцев, не осознали свои ошибки? Будете говорить?

«И он воспитывает меня? И он считает, что воспитывает? — почему-то удивленно подумал Сергей, и в сознании мелькнуло одновременно: — Сказать? Выступить? Признать? Значит, отказаться от всего? От всего?» И, переборов молчание, он ответил:

— Нет.

И, ответив так, зачем-то взглянул на стучащие в серой пелене часы, и когда вынул сигарету из смятой в кармане пачки, сигарету, на вкус не ощутимую им сейчас, и зажег быстро спичку, подумал еще: «3 часа 21 минута. Все!»

В 3 часа 22 минуты началось голосование. Пятеро проголосовали за исключение, двое за выговор — Морозов

и малознакомый паренек в футболке; Косов и кто-то молчаливый, тихий, на кого он не обратил внимания, воздержались.

— Исключить из членов... из членов Вэ-Ка-Пэ-Бэ... — донесся до Сергея речитативом плывущий голос Свиридова, диктующий в протокол.

Было душно.

«Этого никогда не будет, чтобы ты грузила уголь, никогда не будет...»

Все кончилось. Ему казалось, кабинет давно опустел, а он еще слышал звук отодвигаемых стульев, негромкие голоса выходивших людей и, когда увидел медленной развалкой подошедшего Косова, сказал шепотом:

— Потом, Гриша, потом.

А рядом — шорох надеваемых пиджаков, сдержанный говор, шаги, кто-то рвал листки с записями, но его не интересовало, что делают, говорят эти люди, и он не смотрел на них, он не мог смотреть на них. Ему хотелось одного — чтобы они как можно быстрее, немедля, ушли отсюда, из этой комнаты, где было партбюро: ему необходимо, ему нужно было все сказать этому добряку директору Луковскому. В те длительные секунды, когда происходило голосование, неожиданно появилась мысль: да, нужно что-то делать. И он понял, что́ теперь следовало делать,— ему нельзя было больше оставаться в институте, надо уйти из института... здесь уже не было для него места. Уйти, не раздумывая, потому что немного позже его попросил бы об этом Луковский.

Он курил, и ждал, и еще находил в себе волю, чтобы сидеть здесь и ждать, пока все выйдут из кабинета. У него удушливо давило в горле и мерзко подташнивало от выкуренной пачки сигарет. Потом сразу стихло в кабинете. Тогда он встал, и задетая им пепельница соскользнула с подлокотника кресла, упала мягко, без стука, окурки высыпались на ковер. Он не хотел подбирать их.

— Ну что еще? Что еще?

В опустевшей комнате, перед дверью, выжидая, сложив перекрещенные сухощавые кисти на костыльке, стоял Свиридов, подозрительно и изучающе смотрел на Сергея.

— Что? — спросил он строго.— Обиделся? Ты что ж, на партию обиделся? Ты думаешь, мы против тебя боролись? А? Мы за тебя боролись. Партия воспитывает, а не карает. Чтобы ты понял, что член партии...

— Вы что думаете, партия состоит из таких дубарей, как вы? — выделяя слова, сквозь зубы проговорил Сергей.

— Ты...— Свиридов угрожающе ковыльнул к нему, упираясь в костылек, синева залила впалые щеки, рот стал плоским.— Ты с-смотри!

— «Вы», а не «ты». Я вступил в партию потому, что видел не таких, как вы! А вам бы я и коз пасти не доверил, а не то что возглавлять парторганизацию. Впрочем, когда-нибудь вам и коз не доверят!

— Молчи, Вохминцев!..— Свиридов ударил костыльком об пол.— Ты что? Ты что?

— Я отказался от последнего слова. Это последнее.

И Сергей, боясь не сдержать слезы, жестким комком застрявшие в горле, подошел к столу, взял листок бумаги, карандаш и, не садясь, останавливая рвущийся, скачущий почерк, написал:

«Директору Московского горнометал. ин-та
проф. *Луковскому*

Прошу отчислить меня из ин-та в связи с семейными обстоятельствами.

Студ. 3-го курса *Вохминцев*».

В коридоре, впиваясь в пол, стучал, удалялся костылек Свиридова.

— Вы, дорогой мой, ждете меня?

— Вас. Вот возьмите.

— Что это? Позвольте, дорогой...

Надевая мундир, застегивая пуговицы, профессор Луковский, проворно втискиваясь брюшком между стульями, приблизился к своему креслу за огромным письменным столом со статуэткой шахтера над чернильным прибором, упал в кресло, его косматые брови взметнулись и приоткрыли наконец глаза, добрые, усталые.

— Что ж это, а? Как же это, а? Зачем же вы, дорогой мой? Прекрасный студент, умный ведь вы малый, а что наворотили. Зачем вам нужно было... хм... скрывать,

оскорблять... ммм... Уварова... ведь тоже прекрасный студент, активист, выдержанный человек. Ай-ай-ай, Вохминцев... Горняки, будущие инженеры, властелины земли. И зачем вы это настрочили? Вгорячах? Мм? Ну признайтесь. С обидой махнули: нá вот тебе, ешь!

Луковский качал седой львиной головой своей, читая огорченно заявление на столе, и, весь домашний, доброжелательный, был участлив, расстроен, и это особенно неприятно было видеть Сергею. Он сказал официально:

— Я прошу вас подписать мое заявление, профессор. Я многое делал вгорячах, но это совершенно осмысленно.

— Прекрасные студенты, умницы, вы же станете гордостью горного дела... Надежда, так сказать. Да, убежден. И как же это вы, Вохминцев, а? Сначала от практики отказались... Потом...— Луковский махнул белой маленькой детской ручкой, произнес не без досады: — Партбюро... и исключили ведь. А? Пятерки... ведь пятерки, ведь пятерки у вас. Помню отлично.

— Я прошу подписать мое заявление, профессор.

Он подумал о том, что Луковский искренне не хочет подписывать заявление, но также был уверен, что завтра придет к нему Свиридов, стуча своим костыльком, и он, Луковский, подпишет все, что тот потребует от него.

— Ай-ай-ай, молодежь... Один стишки, другой это вот сочинение принес. А! Читай, мол, старик, как разбегаются студенты. А о жизни, о профессии думаете? Или так всё? Шаляй-валяй? Вы что же, изменяете профессию? Разочаровались?

— Вячеслав Владимирович!

— Как же это... хм! Как же это случилось, Вохминцев, дорогой вы мой? Мм? И что же мне делать, вашему директору?

— Случилось так, профессор, что подлец выиграл бой,— ответил Сергей как можно спокойней.— И во многом руками умных людей. До свидания. Я зайду еще.

Он шел по длинному коридору, он почти бежал мимо пустых аудиторий, бесконечные стены мелькали серой лентой, разрезанной световыми квадратами окон, а его словно что-то гнало, торопило — скорее, скорее выйти, выбежать отсюда...

— Вохминцев!

Он вздрогнул от оклика. За поворотом коридора на лестницу из закутка безлюдной студенческой курилки поднялся со скамейки неуклюже высокий, нахмуренный

доцент Морозов и, не глядя в глаза, кожаной папкой перегородил путь.

— Сергей, слушайте,— выговорил он.— Вечером, часов в десять, зайдите ко мне домой. Сегодня.

— Зачем же это? — не понял Сергей. Морозов был неприятен ему сейчас.— Не ясно, Игорь Витальевич. Зачем?

— Мне надо поговорить с вами. Зайдите. Я буду ждать.

— Благодарю вас. Я не приду.

Он вышел на бульвар.

Свет солнца на песке, пятна теней на аллеях, голоса детей, шумно скользящий поток машин за железной оградой, слитый гул улицы — все это была свобода, ощущение жизни, ее звуков.

Но он еще жил, думал в собранном, как оптическим фокусом, мире и не мог выйти из него. Он пошарил по карманам — осталась последняя измятая сигарета в пачке,— сел на теплую скамью, располосованную тенью, и, кажется, сбоку отодвинулась незнакомая девушка в сарафане, в босоножках, с развернутой книгой на коленях, взглянула на него мельком.

А он смотрел на институт за бульваром, враждебно и пусто блестевший этажами окон.

«Ну что же, как же теперь? Что теперь?» — спросил он себя и неожиданно, как бы чужой памятью, вспомнил о записке Константина, вынул ее из бокового кармана — узкий почерк был небрежен, мелок, неразборчив.

«Серега!

В 11. 30 уезжаю в Тульский бассейн (7-я экспериментальная шахта, последнее слово техники) на лето. Уезжаю с чертом в печенках, но ехать надобно.

Под радиолой найдешь мою сберкнижку с доверенностью на твое высокое имя. Там кое-что осталось — все мои капиталы от шоферской деятельности. Я все лето на государственных харчах, ресторанов там, ясно, нет. Мне эти гроши — до феньки. Тебе с Асей могут спонадобиться. Этот старикан, профессор из Семашки, берет 150. Жужжит, если на рубль меньше. Я его предупредил — пусть заваливается без вызова.

Серега! Я все ж тебя люблю, хотя ты никогда не относился ко мне всерьез, бродяга. И даже не рассказал,

что у тебя. (Хотя знаю — ты в сорочке родился.) Ты просто думал, что в башке у меня — джаз и распрекрасные паненки. Бог тебе судья!

Обнимаю тебя, старик. Привет и выздоровления Асе.

Твой *Костька.*

Если что, стукни телеграмму, и я брошу все и явлюсь перед светлыми очами твоими. Хотя знаю, что телеграмму ты не стукнешь. Я понял это тогда вечером.

Еще раз обнимаю, старик!»

Они вместе должны были ехать на 7-ю экспериментальную...

Как нужен был сейчас ему Константин с его смуглой донжуанской рожей и ернической улыбкой, с его полусерьезной манерой говорить и его набором пластинок, броско-модными ковбойками, яркими галстуками, с его безалаберностью и его привычкой покусывать усики и независимо щуриться перед тем, как он хотел сострить! Нет, ему нужен был Константин, нет, без него он не мог жить.

Он перечитал записку; девушка в сарафанчике закрыла книгу, испуганно взглянула, когда он, застонав, откинулся затылком к спинке скамейки и сидел так, зажмурясь.

— Вам плохо, может быть?..— услышал он робкий голосок.

— Что? Что вы! Жара... Вы видите, какая жара...— Он постарался улыбнуться ей.— Нет, нет, не беспокойтесь...

— Простите, пожалуйста.

Она встала, одернула сарафанчик; поскрипывая босоножками, пошла по аллее, часто оглядываясь.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Целый день он бродил по городу.

Раскаленный асфальт, удушливо горький запах выхлопных газов от проносившихся мимо машин, знойные улицы, бегущие толпы на перекрестках, очереди у тележек с газированной водой, брезентовые тенты над пере-

полненными летними кафе, дребезжание трамваев на поворотах, скомканные обертки от мороженого на тротуарах, разомлевшие потные лица — все это перемешивалось, передвигалось, город жил по-прежнему, изнывал от жары, и ломило в висках от блеска, от гудения, от запаха бензина.

Уехать!.. Куда? У него три курса института. Уехать, да, уехать немедленно, на шахту в Донбасс, в Казахстан, в Кузнецкий бассейн, на Печору! Что ж, он сможет работать шахтером, он неплохо знает горное дело! Новые люди, новая обстановка, новые лица... Работа... Его она не пугает: уехать!.. А Ася? А Нина? Уехать, бросить все? Это невозможно!

Почти инстинктивно он зашел на углу универмага в автоматную будочку, всю накаленную солнцем, снял ожигающе нагретую трубку, механически набрал свой номер и, когда зазвучали гудки, тотчас же нажал на рычаг — что он мог сказать Асе сейчас?

Он постоял, глядя на эбонитовый кружок номеров, потом с мучительной нерешительностью, с заминкой набрал номер Нины. Гудки, гудки. Щелчок монеты, провалившейся в автомат. Голос:

— Алю-у, Нину Александровну? Нету ее...

И он повесил трубку, обрывая этот голос.

Он захлопнул дверцу автомата, сознавая, что недоделал, не решился на что-то, и медленно побрел по размякшему под солнцем асфальту.

«Уехать? От всего этого уехать? От Нины, от Аси? Невозможно. Не могу!.. А как же жить? Что делать?»

В поздних сумерках он сидел в кафе-поплавке напротив Крымского моста, пил пиво, курил — не хотелось есть,— глядел на воду, обдувало предвечерней свежестью, небо багрово светилось над гранитными набережными; городские чайки вились над мостом, садились на воду, визгливо кричали; вокруг скользких мазутных свай причала течение покачивало щепу, пустые стаканчики от мороженого, обрывки бумаги — и уносило под мост, где сгущалась темнота.

«Почему люди любят смотреть на воду? — спрашивал он себя.— В воде перемена, тяга к чему-то? Тяга к счастью, что ли? Но почему человеческая подлость живет две тысячи лет — со времен Иуды и Каина? Она часто активнее, чем добро, она не останавливается ни перед

чем. А добро бывает жалостливо, добро прощает, забывает. Почему? Социализм — это добро, вытекающее из развития человечества. Коммунизм — высшее добро. А зло? Впивается клещами в наши ноги. Как могут быть в партии Уваров, Свиридов, тот старший лейтенант? Может быть, потому, что есть такие, как Луковский, Морозов?.. Морозов, Морозов... «Зайдите ко мне. Надо поговорить». О чем?»

Он не допил пива и расплатился.

— Пришли, Сергей? Очень хорошо, я вас ждал. Очень ждал. Я был уверен, уверен, что вы придете. Садитесь вот здесь. Хотите выпить, Сергей? Вы будете водку или коньяк?

— Благодарю. Я ничего не хочу.

— Ну как же так, если уже... Я бы хотел с вами... Вы можете побыть немного у меня?

— Вы просили, чтобы я пришел?

— Я вас ждал, Сергей. Я вас ждал.

Был Морозов в пижаме, куцей для его длинной сутуловатой фигуры, неудобно как-то торчали кисти рук, видны были безволосые голые ноги в стоптанных шлепанцах. Говоря, Морозов сгибался около низкого столика, на котором в тарелках нарезаны были колбаса, сыр, неловко ввинчивал штопор в коньячную бутылку, казалось, был углубленно занят этим.

Тесный кабинет Морозова в его квартире на Чистых прудах сплошь забит книжными шкафами, тахта со смятыми газетами, письменный стол перед раскрытым окном завален горами книг, рукописей, на тумбочке возвышалась миниатюрная, сделанная из железа модель копра. Тюлевая занавеска шевелилась, легко надувалась ветром над столом, касаясь рукописей, сквозь эту занавесь точками проступали огни над черными Чистыми прудами.

В квартире тишина. Слышно было, как прошумел, поднялся лифт на верхний этаж.

«Нужно ли было приходить? — подумал Сергей, следя неприязненно за неловкой возней Морозова с бутылкой.— Он ждал?»

— Я никогда не думал... Делают пробки! Крошево, шлак! — вскричал Морозов, задергав штопор.— И ни к богу! Протолкнуть ее, что ли?

— Сразу видно, что вы не воевали в конце войны,— сказал Сергей.— Давайте я открою. По вашему умению вижу: часто пьете.

Он выбил пробку ударом о дно, поставил бутылку на стол.

— Я просто хочу с вами выпить, да, выпить! — заговорил Морозов, быстро наливая в рюмки, расплескивая коньяк.— С некоторого времени я пью сухое вино, но хочу дербалызнуть коньяку. С вами.

— А за что именно? — Сергей усмехнулся.— Это странно... Преподаватель пьет со студентом. Завтра Свиридов состряпает личное дело — лишь стоит узнать. Не опасаетесь?

— Пейте, Сергей!

— Я не хочу. Благодарю.

Морозов выпил поспешно, неумело, скривился, ткнул вилкой в кружочек колбасы, торопливо пожевал, снова налил и, чокнувшись, снова выпил как-то по-мальчишески, неаккуратно, будто хотел скорей опьянеть. Сергей наблюдал за ним с насмешливым удивлением, но не выпил, закурил только.

— Дайте, что ли? — сказал Морозов и потянул из пачки на столе сигарету.— Тысячу раз бросаю курить, и никак. У меня в войну после завала на «Первой», в Караганде, легкие малость — да бог с ним! Дайте прикурить.

— Вот спички.

— Пейте. Почему вы не пьете?

— Думаете, Игорь Витальевич, только так можно состряпать откровенный разговор?

— Оставьте, Сергей. Мне просто захотелось с вами выпить. Вы слишком прямой парень, чтоб мне подумать... Не будем банальными идиотами. Вы знаете, как я отношусь к вам,— вы способный человек, и это я всегда ценил. Что уж там — вы сами замечали. Студент чувствует, как относится преподаватель.

— Ну и что? — спросил Сергей.— И что же вы, интересно, думаете об Уварове? То же самое?

— Трудно думаю, Сережа, сложно. Да. Но тактически, если хотите, он был ловчее вас. Опытнее. Не знаю всего, но чувствую, этот парень ловко и неглупо устраивает свою жизнь. Мало кто поверил ему, но чаша весов склонилась в его сторону. Вы понимаете? Все было против вас. Он понял обстановку и выбрал удар наверняка.

— Какую он понял обстановку?

— Пейте, Сережа. Я не могу пить один. Пейте, закусывайте и наматывайте на ус. Еще ничего не кончено.

— Благодарю. Я не хочу. Какую он понял обстановку?

Морозов, похоже, хмелел, лицо его не розовело, а бледнело, он встал и заходил по комнате своей ныряющей неуклюжей поступью, шаркая по паркету шлепанцами.

— Это особый разговор. Есть много причин, которые влияют на обстановку...

— Каких причин? — спросил Сергей.— И почему они влияют?

— Не знаю. Это сложный вопрос. Возможно, тяжелая международная обстановка, могут быть и еще внутренние причины, не знаю. Но идет борьба... И все напряженно. Все весьма напряженно сейчас А в острые моменты у нас часто не смотрят, кому дать в глаз, а кому смертельно, под микитки. И иные поганцы, учитывая это, делают свое дело, маскируясь под шумок борьбы. Здесь мешается и большое и малое. Вот как-то раз после лекции подходит ко мне Свиридов. «Есть сигнал от студентов — не слишком ли много рассказываете о новейших машинах Запада? Считаю, все внимание отечественной технике должно быть, подумайте о сигнале».

— Свиридов! — повторил Сергей и придвинул к себе пепельницу.— Такие, как Уваров и Свиридов, подрывают дело партии, веру в справедливость. А вы понимаете всё, молчите и оправдываетесь международной обстановкой и иными причинами. Неужели вас перепугала фраза Свиридова?

— Нет, не перепугала. Но я ответил, что подумаю,— покривился Морозов.— Хотя, как вы знаете, в моих лекциях западной технике уделено мизерное внимание. Свиридов прям, как линейка. И он тупо, по-бычьи проводит борьбу за идейную чистоту института. «Факты, факты!» Не учитываете, что нашлись бы один-два студента, которые написали бы: да, в лекциях доцента Морозова были космополитические тенденции. И пока суд да дело, очень жаль было бы отдавать кафедру какому-нибудь патентованному дураку, который выпускал бы недоучек. Здесь я приношу пользу, это я знаю не один год. Не будете возражать?

— Нет.

— Несмотря ни на что, человек должен приносить пользу.

— Игорь Витальевич, зачем и к чему говорить здесь прописные истины? Именно для этого вы позвали меня — с воспитательной целью? К черту летит все ваше умное молчание, когда ломают кости! А вы мне вкручиваете что-то похожее на проблему разумного эгоизма. Я это читал еще в девятом классе. На черта она мне!

Морозов зашаркал шлепанцами по комнате, серые небольшие глаза его смотрели на Сергея грустно.

— Хочешь сказать, почему я молчал? — спросил он тихо, переходя на «ты».— Почему?

— Нет. Это мне ясно.

— Не совсем. Тактически создался очень неудобный момент. Поверь, я немного опытнее тебя. Я молчал, потому что весь бой за тебя впереди. Хотя и не знаю, чем он кончится. Если бы ты не скрыл об аресте отца...

— Я уверен и всегда буду уверен, что отец невиновен. Вы же понимаете, что мое заявление об аресте отца — это расписка в моей трусости.

— Все понимаю. Но есть факт, как говорит Свиридов. Объективный факт. И очень серьезный. Беспощадный. Но весь бой еще впереди.

Наступило молчание. Было слышно, как среди безмолвия дома опять прошел с шорохом лифт, на верхнем этаже стукнула дверца.

— Поздно! — проговорил Сергей и внезапно взял рюмку, наполненную коньяком.— Ваше здоровье! — чуть усмехаясь, сказал он несдержанно-вызывающим голосом.— Я все равно знаю, что когда-нибудь буду в партии. Я все же вступал в нее не в счастливый момент. А в сорок втором. Под Сталинградом.

— Что «поздно»? — спросил Морозов.— Не понял. Что «поздно»?

— Я уезжаю, Игорь Витальевич,— сказал Сергей, сильно сжимая в повлажневших пальцах рюмку.— Как говорят — в жизнь. Что ж, поеду куда-нибудь в большой угольный бассейн... Вот вам и ваша польза — горные машины. Не примут забойщиком, не возьмут на врубовку, на комбайн, пойду рабочим, на поверхность — уголь грузить. Посмотрю.

— Куда?

— Еще не знаю. Все равно. Лишь бы шахта. Что ж, давайте за это выпьем, Игорь Витальевич.

Огни над Чистыми прудами по-ночному просвечивались сквозь надуваемую ветром тюлевую занавеску. И эта уютная комната на третьем этаже, с умными книгами на полках, с тахтой, рукописями, коньяком, рюмками на столике и разговор этот — все вдруг показалось отрывающимся от него. Да, были за тесной комнаткой на Чистых прудах другие города, иные люди, лица, в это мгновение все, что он мог вообразить, отчетливо существовало, было где-то, а решение ехать представлялось непоколебимым, единственно верным — и возникло минутное облегчение.

— Что ж, давайте за это, Игорь Витальевич. А не за разумный эгоизм!

Но Морозова не было рядом; он в раздумье сел за письменный стол, отодвинул груду книг, рукописей, горбато ссутулив костистые плечи, стал что-то нервно, скоро писать, не оборачиваясь, ответил:

— Пей. Я мысленно.

Сергей, однако, подержав рюмку, поставил ее обратно, не выпив,— глядел в молчании на Морозова. Странно было: тот сутулился, как человек, привыкший работать над книгами, но громоздкие плечи, спина в несоответствии с этим выглядели грубовато-шахтерскими, не доцентскими.

— Вот,— проговорил Морозов, подходя, провел языком по краю конверта.— Вот! — И он, плотно припечатывая ладонью, поспешно заклеил конверт на столике.— Мой совет тебе: езжай в Казахста́н,— прибавил Морозов отрывисто.— На «Первую». В Милтуке. Передашь письмо секретарю райкома Гнездилову Акиму Никитичу. Здесь все указано: адрес и прочее. Я проработал с Гнездиловым пять лет. Да, был у него главным инженером. Езжай! И вот что еще, знаешь ли...— Морозов с неуклюжестью выдвинул ящик, вытянул из-под бумаг пачку денег.— И вот, знаешь ли, на первый случай... Да, видишь ли, таким образом...

— Не надо. У меня есть. Почему-то все мне предлагают деньги.

— Ну вот... Теперь выпьем, Сергей.

— Что ж, давайте.

Он медленно, поглаживая перила, вдыхая знакомый запах лестницы, поднялся на второй этаж и здесь на площадке под тусклой запыленной лампочкой в сетке,

увидев знакомые до трещинок, старые, обшарпанные стены перед дверью, пережидал немного, не находя в себе сразу решимости нажать кнопку звонка,— все, мнилось, исчезнет, оборвется, упадет куда-то в черноту бездны: и стены, и почтовый ящик, и лампочка в сетке, и ее шаги, и шуршащий звук платья, и всегда обрадованно сияющие глаза навстречу ему, и голос ее: «Ты?» И с тем, что он не будет приходить сюда, не мог, не хотел согласиться и не мог, не хотел поверить, что они расстанутся надолго.

Он знал: это было самым страшным, что могло еще произойти в его жизни.

Сергей нажал кнопку звонка, и, когда дверь открылась, он все еще как будто не в силах был представить, что он по-прежнему здесь.

Нина стояла в передней. Он обнял ее молча и даже зажмурился, ощутив знакомый запах теплых волос.

— Что? Что?

— Я люблю тебя... И больше ничего... И больше ничего...

— Сережа, что?

— Я люблю тебя,— повторял он с сжимающей горло нежностью, чувствуя напряжение ее тела, дрожь ее пальцев на своей спине.

— Что? Что? Мне страшно, Сережа...

— Я люблю тебя. Я люблю тебя!..

— Что, Сережа, что?..

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Это письмо-записку — свернутый, помятый, грязный треугольник без штампа, без печати — он вытащил утром из почтового ящика, и потом, когда читал его, едва разбирая написанные химическим карандашом и рвущим бумагу неузнаваемым почерком неясные слова, он еще не до конца сознавал, что это письмо отца, что это его так неузнаваемо изменившийся почерк, а когда прочитал и разобрал слабую, убегающую вниз, к обрезу грязного листка, подпись отца, он подумал, что за одну встречу с ним, за то, чтобы увидеть его хоть раз, он мог бы отдать все.

«Дорогой мой сын!

Прости меня, если то, что случилось со мной, отразится на твоей судьбе, на судьбе Аси, на вашей молодости.

Верь, что я всегда любил тебя, Асю, мать, хотя ты никогда не хотел простить мне ее смерти. И многое ты не мог простить мне после войны. Я помню твою неприязнь, твой холодок ко мне, а я ничего не мог сделать, чтобы его разрушить. Мы не совсем понимали друг друга, и в этом моя вина, только моя.

Мой дорогой сын Сергей!

Если ты когда-нибудь узнаешь, что со мной что-нибудь случится,— верь, что я и другие были жертвами какой-то страшной ошибки, какого-то нечеловеческого подозрения и какой-то бесчеловечной клеветы.

Что ж, и смерть, мой сын, бывает ошибкой. Ты знаешь это по войне. Нет, самое страшное не допросы, не грубость, не истязания, а то, когда человек не может доказать свою правоту, когда силой пытаются заставить подписать и уничтожить то, что он создавал и любил всю жизнь. Все должно кончиться, как ошибка, в которую невозможно поверить, как нельзя поверить, что все чудовищное, что я видел здесь, прикрывают любовью к Сталину.

Поверь мне, что я невиновен.

Поверь мне, что я коммунист, а не враг народа, как тебе будут говорить обо мне.

Поверь мне, что для меня дело партии — это все мое, чем я жил.

Что бы ни было, мой сын, будь верен делу революции, только ради этого стоит жить! Я верю в твою непримиримую честность.

Люби Асю. И береги ее. Она еще ребенок.

Придет время, и оно, мой сын, само разберется в судьбах правых и виновных.

И прости мне то, что мне не хватало сил быть образцом для тебя. А каждый отец хочет этого.

Помни, что я всегда любил вас.

И последнее... Я понял, что должен уехать очень далеко...

Крепись и не горюй. Смерть — не самое страшное...

Твой *отец*».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В сумерках Сергей вошел во двор института. Огромное здание проступало в сером воздухе, и там было тихо, пусто, сумрачно, лишь за деревьями светилась единственная полоса окон на втором этаже — то был читальный зал библиотеки.

Подняв воротник плаща, Сергей стоял на институтском дворе под тополями, капли пробивались сквозь листву, ударяли по плечам, по лицу его — неприятно холодили брови влагой, и слегка знобило от дождевой сырости.

Целый день он бродил по дождливому городу, без цели шагал по лужам, потом в сумерки начал петлять по мокрым и узким переулкам вокруг института, но, когда увидел со двора яркую электрическую полосу окон читального зала, как бы оборвалось все: лекции, экзамены, разговоры в курилках в конце коридора, горные машины, полуночный треп Косова и Подгорного в общежитии, куда он вместе с Константином заходил иногда поздним вечером, заходил просто так...

«Значит, всё? Это — всё?»

Став под деревьями, он посмотрел в глубину институтского двора, на флигельки общежития, теперь тоже опустевшего,— под желтыми окнами морщилась, лопалась дождевая вода на асфальте.

И не хлопали двери, не звучали голоса — везде было безлюдно.

Он пришел сюда, чтобы увидеть Косова и Подгорного,— знал, что они уезжали сегодня на практику в Донбасс, и он хотел их увидеть.

Когда, миновав двор с прилипшими к асфальту листьями, он на миг заколебался перед дверью общежития, а затем ступил через порог в коридор, освещенный одной матовой лампочкой, остро и едко пахнуло навстречу нежилой обстановкой: темнели сдвинутые к стенам столы, на них — оголенные сетки вынесенных кроватей, зашуршала заляпанная известью бумага под ногами, загремела пустая консервная банка; здесь был сыроватый запах ремонта.

На двери во вторую комнату острием заржавленного рейсфедера было приколото объявление: «Убедительно просим коменданта не беспокоить и не врываться. Уедем сами. У нас час отдыха. Спасибо за внимательность. С почтением — *Косов, Подгорный, Морковин».*

Сергей усмехнулся, толкнул дверь.

В комнате был хаос: всюду чернели кроватные сетки, матрасы вздыблены, свернуты в рулоны, на тумбочках кипами лежали старые конспекты, стол завален обрывками чертежей, на подоконниках валялись пузырьки из-под туши — и здесь был тот же ремонтный беспорядок.

Час отдыха заключался в том, что в дальнем конце комнаты, на голой сетке, навалив под голову стопу учебников, лежал, вытянув ноги в носках, Подгорный и задумчиво курил, на ощупь стряхивая пепел в горлышко бутылки от пива, стоявшей на полу.

Рядом в широких и длинных болтающихся трусах, в майке, потно прилипшей к толстой спине, возился, трещал деревянным, как сундук, чемоданом Морковин, он наваливался коленом на крышку, дышал озлобленно: в чемодане что-то не умещалось. Подгорный не обращал на него внимания.

— Здоро́во,— сказал Сергей.— Час отдыха? А где Косов?

Он остановился посреди комнаты, руки в карманах, с плаща капало, капли шлепали по газетам на полу.

Подгорный быстро повернул лицо к нему, глаза округлились, лоб пошел гармошкой; и приподнялся, уставясь на ботинки Сергея, обляпанные грязью.

— Здоров... Сережка! Ты к нам?..

Морковин вскинулся возле чемодана, переступая толстыми, чуть кривоватыми ногами, учащенно замигал рыжими ресницами и, хлюпнув носом, спросил с изумлением:

— Это как же? Значит, исключили тебя? И ты как? И на практику не едешь?

Подгорный затолкал окурок в горлышко бутылки, оборвал его ядовито:

— Ты бачил, Сережка, морковинский сундук? Думаешь, он горную литературу везет? Заблуждение. Старые галоши, разбитые ботинки, драные рубахи — як собака рвала, а все в сундук кладет. Хозяин! Пригодится на практике. А ты думал! Он знает. Три часа укладывает! Во, погляди, Серега. Да еще на сундуке замок. Он у нас голова-а! Мыслитель! Аж над башкой сияние.

— Отцепись! — Морковин шмыгнул носом, не отводя взгляд от Сергея.— И на практику уже не едешь? — вторично спросил он, съеживаясь.— Значит, всё теперь? Что же тебя, выключили?

Он, видимо, наивно не понимал, как могло случиться это с Сергеем, и Сергей, осматривая комнату общежития, молчал, точно необычным был его приход сюда, куда часто приходил он прежде.

— Вот, заметил? Над башкой нимб мыслей. Сократ! И за что ему четверки ставят, мыслителю калужскому? — съязвил Подгорный.— Садись, Сергей. Ну що стоишь? Григорий по «Гастрономам» бегает. Консервы на дорогу... Сейчас прибудет.— Он вроде раздраженно покачался на кровати, зазвенел пружинами.— Слухай, Морковин, шел бы ты погулять по коридорам. Ну погуляй, погуляй, хлопче!

— Не лезь! — зло огрызнулся Морковин.— Куда ты меня выгоняешь?

И демонстративно сел на чемодан, выставив крупные колени.

— Да! — Подгорный тоскливо перекатил глаза на Морковина.— Бес его возьми, ведь через два часа уезжаем. Слышь, Сережка, через два...

— Значит, через два часа? — проговорил как бы про себя Сергей и, не вынимая рук из карманов, зашагал по комнате; под его ногами шелестела бумага, сырой плащ задевал за угол стола, за спинки кроватей; он, казалось, пьяно, по-больному пошатывался; лицо за эти дни осунулось, похудело. Потом он задержался против окна, вынул одну руку из кармана, зачем-то начал трогать, переставлять на подоконнике пустые пузырьки из-под туши, сказал, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Ладно. Собирайтесь. Мешать не буду. Косова подожду, прощусь и поеду спать.

Голос Подгорного прозвучал за его спиной:

— Ты що думаешь делать?

— Что делать? — повторил Сергей, все переставляя пустые пузырьки. — Уеду на шахту. Буду работать. Это все.

— Шо-о?

— Что тебя удивляет, Мишка?

— Значит?..

— Когда человека исключают из партии, его исключают и из института,— ответил Сергей, подбросил и поймал пузырек, поставил его на подоконник.— Тебе что — это неизвестно? Я подал заявление. Не стоит ждать, когда Свиридов напомнит об этом Луковскому. Я все понимаю, Мишка. И ты все понимаешь. Не надо удивляться!

В ту же минуту он повернулся от окна — раздались шаги в коридоре, дверь распахнулась: Косов в намокшем старом бушлате не вошел, а шумно, отфыркиваясь, ввалился в комнату, держа две авоськи, набитые банками консервов, свертками, бушлат был не застегнут, шея и грудь розовы, мокры, насечены дождем. Он с размаху грохнул авоськи на стол, сдернул флотскую фуражку, отряхивая ее, крикнул весело:

— Братцы, на улицах штормяга! Шлепал по «Гастрономам» каботажным рейсом на полный ход, вгрызался в очереди, что твоя врубовка. Иес, сэр, овер ол![1] А ну кинь кто-нибудь закурить! Сережка? И ты тут?

Он увидел Сергея, веселое выражение стерлось с загорелого лица его, косолапо, враскачку, как ходил по морской привычке своей, не желая отвыкать, ринулся к нему, стиснул его кисть.

— Салага, черт! Я искал тебя два дня! Оборвал в автомате телефон. Где ты пропадал? Мы же сегодня отчаливаем...

— Я знаю, что ты звонил.

— Салага ты. Пакостная морда. Кустарь-одиночка. Вот кто ты! Исчез — и концы обрубил. За это шею бьют! Спасибо, что пришел!

Косов на радостях, не выпуская Сергея сразу, рванул его к себе, как всегда, играя силой, заговорил, всматриваясь в его лицо:

— Неужто все-таки на меня обиделся? Или чихнул на всех левой ноздрей через правое плечо? Этого не знал за тобой. Ты копилка за тремя замками. Копилка. Если обиделся — скажи в глаза, чего крутить?

— Какая обида! Пошел ты... знаешь? — Сергей выдернул руку из маленьких железных пальцев Косова, хмурясь, достал пачку сигарет, проговорил: — За что мне на тебя обижаться? Ну что смотришь? Бери сигарету.— Косов ногтями вытянул сигарету.— Черта в сумку! Я еще не умираю, Гришка.

— Идиотские дела, старик,— сказал Косов.— Все както через Пензу в Буэнос-Айрес. У нас часто зуб дергают через ухо. Вот что я тебе скажу.

— Тут на кровати Холмин спал,— как-то не очень внятно пробормотал Морковин, заворочавшись на своем чемодане.— Вот тут он... Знаешь, Сергей?

---

[1] Да, сэр, все наверх! (*англ.*)

— Здесь? — Сергей покосился на кровать.

— На этой,— мрачно ответил Косов.— Его переселили из третьей комнаты к нам, пожил пять дней — и амба! Тихий был парень, в очках, без конца читал Маркса и Гегеля. Причем на немецком языке. Читал и курил. Две пачки «Памира» выкуривал в день. Был с виду пацаненок.

— Его... здесь арестовали?

— Нет. Но сюда приходили ночью двое с комендантом и перерыли всю тумбочку и весь матрас.

— Между прочим, имел интерес... интерес имел Уваров к стихам цього Холмина,— сказал Подгорный, со стуком высыпал на стол из одной авоськи банки консервов, договорил вроде между делом: — Частенько приходил: ты, говорят, стихи отлично пишешь, дай почитать. А Холмин все любовную лирику Морковину читал. А контрреволюцию он тебе читал, ну?

Жмуря золотистые глаза, он глянул на замершего Морковина — тот, запинаясь, ответил шепотом:

— Какую контрреволюцию?.. Он про природу стихи писал. А никакой контрреволюции не было.

— Понимай шутки, Володька. Без шуток, браток, тяжело будет на свете жить,— серьезно сказал Подгорный, выволок из-под кровати потертый чемодан, стал, как камни, кидать туда банки консервов.— Продукты у меня. Назначаю себя завскладом.

И с такой силой захлопнул крышку чемодана, что задребезжали пружины на кровати.

Подгорный разогнулся, длинное смуглое лицо сумрачно, угольно-черные брови сошлись над тонкой переносицей.

— Ты чего молчишь? — спросил он Косова.

Косов ходил кругами по комнате, в расстегнутом бушлате, покачивая плечами, раздумывая, дым сигареты таял за спиной. Услышав слова Подгорного, спросил рассеянно:

— Что?

— Сережка уходит из института,— неудивленно объяснил Подгорный.— Слышал? И вообще...

— Тебе что — предложили? — спросил Косов, дернув ворот рубашки, словно бы жарко было ему.

— Не предложили, но предложат,— сказал Сергей.— Это ты знаешь.

У Косова что-то дрогнуло в лице.

— Знаю! Но ты думаешь, старик, что так все время будет? Знаешь, я ходил в войну на Балтике, такие ночные штормяги бывали — штаны трещат. Вспомни, чертов хрыч, сколько раз казалось на фронте — все, конец, целовались даже, как перед смертью. И все проходило. Да что я тебя агитирую за Советскую власть! Я тебя лозунгами прошибать не буду! Знаешь, что главное сейчас — бороться, но не наворотить глупостей, не подставлять под удар задницу.

Твердый голос Косова отдавался в ушах Сергея, а Косов, все раскачиваясь, цепкой походочкой ходил странными спиралями вокруг стола, рубил маленьким кулаком воздух. Сергей чувствовал озноб на затылке, он зяб, руки в карманах плаща не согревались, и болью резал по глазам свет оголенной — без колпака — лампы, висящей на шнуре над столом. И черный бушлат Косова, черные окна с потеками дождя, голые кровати со свернутыми матрасами — все было неуютно, тускло, обдавало его сырым сквозняком, и не верилось, что Косову было жарко — грудь обнажена под бушлатом, не верилось, что в этой сырой комнате Морковин в трусах сидел на своем холодном по виду чемодане и затаенно снизу вверх глядел то на Косова, то на Сергея.

Сергей спросил:

— Хочешь сказать — мне не уходить из института? Ждать, когда Луковский попросит? Хватит! Хватит, Гришка! Я не пропаду... Будет время — кончу институт. Думаешь, я с охотой ухожу? Разыгрываю оскорбленную гордость?

— Забываешь про нас! — разгоряченно сказал Косов и качнулся к Сергею.— Я соберу ребят, мы пойдем к Луковскому, в райком...

— Мне Свиридов сказал.— Сергей усмехнулся.— Мое исключение — это борьба за меня. Партия не карает, а воспитывает.

— Партия — это не Уваров и Свиридов, леший бы задрал совсем! — крикнул Косов.— Партия — это миллионы, сам знаешь. Таких, как ты и я!

— Но в райкоме верят Свиридову...

— Мы слишком много учитываем и мало действуем! — не дал договорить Косов.— А надо действовать. Бог не выдаст, свинья не съест!

— Я все время придерживался этого. Но я уже решил, Гришка. Ничего переигрывать не буду. Все уже сделано. Я уже был у Луковского. Поеду в Казахстан.

— Это что — твердо? — спросил Косов.

— Я не пропаду. Разве во мне дело сейчас?

Он чувствовал едкий запах известки из коридора, до боли резал глаза яркий свет лампы на голом шнуре. И лица Косова, Подгорного, стоявшего в одних носках на полу, и похожее на блин робкое лицо Морковина, наблюдавшего за ним со своего чемодана, странно и отдаленно проступали в этом оголенном свете лампы. И в эту минуту он понимал, что знает нечто большее, чем все они.

— Самое страшное, Гришка, не во мне.

Одновременно взглядывая на Морковина, Косов и Подгорный замялись с каким-то недобрым напряжением. И тот, обняв круглые колени, придавив их к груди, растерянный, вдруг густо покраснел и покорно и тихо потянул из-под матраса брюки, начал, не попадая ногой в штанину, надевать их.

— Тю! — произнес Подгорный.— Ты куда ж?

— На вокзал,— уже натягивая рубашку, путаясь в ней, ответил срывающимся голосом Морковин.— Я мешать не буду. Я ведь не партийный... В одной комнате живем, а разговоры врозь. Как же жить вместе? А может, я... как и вы... Сергея тоже понимаю... понимаю.... Может, вы думаете, что я... думаете, что я...

Его пальцы никак не могли найти пуговицы на рубашке, и, когда Сергей увидел его опущенное и будто что-то ищущее лицо и слезы обиды, внезапная жалость кольнула его. И он, как и Косов и Подгорный, недолюбливавший Морковина за его постоянную расчетливость, за его излишнюю бережливость (деньги от стипендии прятал в сундучок на замке, живя иногда впроголодь), сказал дружески:

— Сиди, Володя. Никто из нас не думает...

Тогда Подгорный с нарочитой ленцой поскреб в затылке, сказал: «Ах бес, ну воображение!» — и тут же грубовато-ласково обхватил Морковина, посадил на чемодан.

— Ну шо ты козлом взбрыкнул? И слухать не хочу — ухи вьянуть. На вокзал вместе поедем. Уразумел?

Морковин, съежившись на чемодане, продолжал тормошить пуговицы старенькой черной, приготовленной в

дорогу рубашки,— и Косов выругался, с сердцем отшвырнул носком ботинка кусок ватмана на полу. Сказал:

— Забудь про эти слова! С ума сойти от твоих слов можно. Понял, Володька?

И долго смотрел под ноги себе.

— Это долго не может быть, не может, Сережка. Знаешь,— заговорил он,— мне вчера один тут... знакомый рассказал. Одного журналиста арестовали за то, что у него в мусорной корзине газету с портретом Сталина нашли. Ну за что, спрашивается? Кому это нужно? Бред! Может так долго продолжаться? Нет. Уверен, как черт, что нет.

— Знаю,— ответил Сергей.— Если бы я не был уверен! Не знаю — дождутся ли *там*?

Подгорный, сузив глаза, подтвердил задумчиво:

— От главное. Ой, чи живы, чи здоровы все родичи гарбузовы, есть така песенка, братцы...

Косов, сердито отталкиваясь маленьким кулаком от железных спинок кроватей, кругами заходил по комнате.

— Когда я набирал себе в разведку, то всегда узнавал ребят так. Подходил к какому-нибудь верзиле сзади и стрелял над ухом из нагана. Вздрагивал, пугался — не брал. Пугливых в разведке не надо. И в партии пугливых не надо. Мы что — трусим? Полны штаны? Нет, надо идти в райком, братцы! Сами себя перестанем уважать. Нет, Сережка, надо, надо! Все равно надо! Этот дуб Свиридов под ручку с Уваровым такую чистоту в институте наведут — ни одного стóящего парня не останется! Ну ты как, Мишка? Ты как?

Подгорный ответил после раздумья:

— Дашь сигнал к атаке — пойду. Танки артиллерию поддерживали. И наоборот.— И темно-золотистые глаза его улыбнулись Сергею не весело, не с фальшивой бодростью, а как-то очень уж грустно.

В ознобе Сергей прислонился спиной к косяку двери, стараясь согреться, но чувствовал, как мерзли от промокшего плаща лопатки, а голова была туманной, горячей,— и смутно появившаяся на секунду мысль о том, что он может заболеть, вызывала странное, похожее на облегчающий покой желание полежать несколько дней в чистой постели, забыться, не думать ни о чем. Он знал, что этого не сможет сделать.

— Я провожу вас до автобуса,— сказал он.— Вам, наверно, пора? Собирайтесь — я провожу.

— А! — отчаянно произнес Косов, рубанув кулаком по воздуху.— Деньки, как в бреду... беременной медузы! Собирай, братцы, манатки! И — гайда до осени. А осенью — или пан, или пропал. Или грудь в крестах, или...— Он поднял свой чемодан и резким толчком бросил на стол.

— Пан. Пrо́шу пана — пан,— без улыбки отозвался Подгорный.

Они собрались быстро — студенческое количество их вещей не требовало большого времени для сборов, в пять минут все было готово. Косов сильным нажатием колена на крышку управился и с чемоданом Морковина, сказал, небрежно пробуя на вес: «Чемоданчик ничего себе — аж углы перекосились!» — а Морковин затоптался возле Косова, отворачивая свое круглое конопатое лицо, пробормотал с беспокойством:

— Разве уж тяжелый?

— Ладно! — обрезал Косов.— Пошли. Понесешь мой чемодан, я — твой. Боюсь, для твоего чемодана у тебя слабы бицепсы.

А когда выходили они из общежития и Косов легко перемахнул из одной руки в другую тяжелейший деревянный чемодан Морковина, Сергей почему-то вспомнил известную слабость Косова — везде демонстрировать силу: о нем говорили, что если потребуется перенести все шкафы и столы из аудитории во двор и обратно, то лишь Косов согласится на это с удовольствием.

И хотя Сергей понимал, что и Косов и Подгорный знали то, что знал он, и оба чувствовали, как он, и оценивали многое так же, однако он разительно ощущал свое отличие от них — это письмо отца в нагрудном кармане под плащом — и думал, что они не знали всего так оголенно, больно и так ясно.

Они вместе — все четверо — дошли до автобусной остановки и здесь, остановившись на краю тротуара под фонарем, в стеклянный колпак которого буйно хлестали дождевые струи, стали прощаться.

— Старик, до осени,— сказал резковато Косов, глядя на Сергея угрюмо, исподлобья, не желая быть растроганным в последнюю минуту, но так стиснул кисть Сергея, точно всю силу надежды вкладывал в это рукопожатие.

— Перемелется, Серега, мука буде. Ось поверь, мука буде,— выговорил Подгорный с дрожащей улыбкой и легонько обнял его.— Ось поверь, мука буде...

— Счастливо,— сказал Сергей, скрывая голосом рвущуюся нежность к ним и слабо веря, что они расстаются ненадолго.

И когда взглянул на Морковина, на его как бы замкнутое в поднятый воротник куртки и напряженное лицо, увидел его часто моргающие от дождевых капель веки, он еле внятно услышал его прерывающийся шепот и почувствовал вцепившиеся в его руки пальцы.

— Ведь я тебя всегда... хорошо к тебе... Ты не замечал, а я уважал... И сейчас... Прощай покуда, Сергей.

— Ладно, Володя, ладно,— сказал Сергей.— Счастливо вам.

Они сели в автобус, и теперь не было видно их лиц сквозь замутненные стекла, только неясно темнели силуэты, и эти освещенные окна качнулись, сдвинулись, поплыли в мокрую и жидкую тьму улицы, а потом огни автобуса начали мешаться с огнями фонарей, совсем исчезли, а тут, на мостовой, где только что был автобус, пустынно поблескивал асфальт, усыпанный прибитыми к нему дождем тополиными листьями.

Сергей повернулся и пошел, глубоко засунув руки в карманы промокшего плаща, пошел по темному тротуару. один среди этой безлюдной, шуршащей дождем улицы, а озноб все не проходил, его била нервная дрожь.

«Что ж, и смерть, мой сын, бывает ошибкой...», «Поверь мне, что я невиновен...» — вспомнил он, и синие на листке буквы, написанные химическим карандашом, всплыли перед его глазами.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В начале августа после трех суток езды через сожженные степи в прокаленном зноем металлическом вагоне Сергей сошел с поезда на новеньком вокзале «Милтукуголь» и под моросящим дождем вышел на привокзальную площадь, сладковато пахнувшую углем и каким-то незнакомым южным запахом.

Город начинался за площадью, вокруг которой пораннему редко светились окна, и там меж очертаний домов, меж черными шелестящими карагачами, как показалось ему, в самом центре города проходила одноколейная дорога — свистяще шипел маневровый паровоз, мелькали над крышами багровые всполохи, и там протяжно

пел рожок сцепщика, доносился лязг буферов, глухой грохот по железу.

Нагружался, наверно, уголь, он гремел в бункерах, и не сразу Сергей различал в сереющем воздухе рассвета справа и слева над улицами размытые очертания копров.

Он вдруг удивился тому, что он уже здесь, Ася далеко отсюда, в Москве, под присмотром Мукомоловых, и вспомнил последний разговор их, когда она сказала, что все понимает и поэтому отпускает его; она все поняла, Ася.

На краю площади, до блеска вымытые дождем, виднелись два такси, как в Москве, мирно горели зеленые фонарики. Одна из машин тронулась, сделала медленный разворот по кругу площади, затормозила около Сергея, из окна дверцы проворно высунулась голова молодого парня-казаха в модной кепочке без козырька, он крикнул:

— Салам, начальник! Куда везем?

— Я не начальник,— ответил Сергей и поднял отяжелевший под дождем чемодан.— Вы ошиблись. Нужно в райком.

— Садись, будь любезен, подвезем.— Шофер мастерски, в щелку зубов сплюнул на асфальт, весело и охотно раскрыл дверцу.— Давай! Откуда сюда?

— Из Москвы.

— Э-э, москвич?

— Был.

Он влез на сиденье рядом с шофером и еле успел достать мокрыми пальцами сигарету, как парень круто затормозил машину, облокотился на руль, подмигнул всем своим выпуклоскулым, подвижным лицом.

— Все, начальник!

— Что?

— Приехали. Райком.

— Уже? — не поверил Сергей, плохо понимая, и все-таки полез за деньгами.— Сколько с меня?

— Веселый парень, анекдоты рассказываешь! — замотал кепочкой и озорно, молодо захохотал шофер.— Какие деньги — пятьсот метров ехали! Только сигарету дай, московскую. «Прима» у тебя? Вот райком! Только рано еще. Спят. Может, в гостиницу поедем? Чего думаешь? Давай.

— Нет. Я подожду. Спасибо. Возьми всю пачку. У меня есть.

Двухэтажное здание райкома было темным.

Он присел на чемодан под навесом. Он мог ждать под этим навесом хоть целые сутки.

Только в десять часов утра он увидел секретаря райкома Гнездилова. Невысокий, кряжистый человек в просторном брезентовом плаще, казавшийся от этого тяжелым, квадратным, грузно ступил в приемную, где пожилая заспанная машинистка безостановочно, пулеметными очередями стучала на машинке, задержал взгляд на Сергее, сидевшем на диване, глянул на чемодан, поставленный у его ног, сказал сочным голосом:

— Доброе утро, Вера Степановна. Это ко мне товарищ?

— К вам, Аким Никитич. Сидел, представьте, с ночи под навесом, пока райком был закрыт. Из Москвы.

— Из Москвы? Ну так. Проходите, коли ко мне.

Сергей вошел в кабинет секретаря райкома.

— Так, так,— говорил Гнездилов, уже за столом прочитывая письмо Морозова, характеристики, документы Сергея, изредка взглядывая недоверчивыми глазами.— На шахту? Работать?

— Да.

— Понятно. А отец арестован, так? Осужден?

— Да. На десять лет. Я узнал только это.

— А ты что же — обманул партбюро?

— Нет.

— Та-ак. Понятно. А Игорь Витальевич твой декан?

— Да.

— Что это ты заладил: да, нет, нет, да. Как заведенный. Эдак мы с тобой не договоримся. Будем мекать да бекать. Ты что, злой очень?

— Я жду вашего решения. Я вижу, что вас не обрадовали мои характеристики,— сказал Сергей.

Очень тесный кабинет секретаря райкома, загроможденный большим письменным столом и длинным, закапанным чернилами другим столом, поставленным к нему перпендикулярно, и деревянной вешалкой в углу, где висел брезентовый плащ Гнездилова, представился вдруг серым, неуютным, и вся простота его теперь выглядела неестественной, а простоватый этот разговор ненужно наигранным, нарочитым.

— Вот как ты крепко рубанул: «Не обрадовали характеристики»! Да, с такой характеристикой, дорогой товарищ студент, в золотари не возьмут. Вот таким образом получается.

Немолодое лицо Гнездилова с крупными чертами — мясистый нос, широкие брови, широкий подбородок — было слегка опухшим после сна, задумчиво-хмурым; голова, наголо бритая, наклоненная над бумагами, казалась массивной.

— Эк как ты: «Не обрадовали характеристики»,— продолжал Гнездилов.— Что ж, ты не согласен с исключением? Ошибки не понял? Ну, как на духу говори!

— Нет, с исключением я не согласен.

— Упрямый ты, никак? А это что? Зачетная книжка? На третьем курсе науки проходил. Ну что ж, пятерок много. А это что, тройку схватил? Характер, видать, неуравновешен, так? Ну что ж ты мне скажешь? Что с тобой делать? Что ты будешь делать, если прямо скажу «нет»?

— Что ж, поеду в другое место.

— А если и в другом месте? Пятно ведь везешь. И какое пятно!

— Поеду в третье.

— Неужто на все пойдешь?..

Гнездилов, хмыкнув, пытливо обвел Сергея черными глазами, не спеша поглаживая шею, наголо, до синевы бритую голову.

— В грузчики пойду,— ответил Сергей.— Или рыть землю.

— От отчаяния?

— Нет. Я в войну много покопал земли.

Было долгое молчание.

— Вот что! — наконец сказал Гнездилов, и рука его тяжело опустилась на стол, где лежали документы Сергея.— Ты знаешь, куда приехал? Хорошо знаешь?

— Знаю.

— Так вот что — пойдешь рабочим в комплексную бригаду на «Капитальной». Понял, что это такое? Осваивать в лаве новый комбайн. Изучал у Морозова небось?

— Да.

— Ну вот. Предупреждаю, на третьем участке все сложно. Все вверх ногами. Сто потов с тебя сойдет, ночей спать не будешь, ног и рук не будешь чувствовать — такая работа! Ну?

«Рабочим комплексной бригады? — медленно повторил Сергей.— Что он сказал — рабочим комплексной бригады? Значит, в шахту?» И он немедля хотел сказать, что очень хотел бы этого, но проговорил вполголоса, сдержанно:

— Вы, кажется, забыли, что я...

— Я ничего не забыл! — жестко перебил его Гнездилов и сдернул трубку телефона.— Ты мою память еще узнаешь. Я все дела твои изучу, парень, и запомни: глаз с тебя спускать не буду.

— Значит, вы серьезно?..— почти шепотом выговорил Сергей.— Спасибо... Я ведь... я ведь готов был и в грузчики,— доверительно и тихо добавил он.— Мне уже было все равно, Аким Никитич.

Телефонная трубка издавала длительные гудки, Гнездилов строго покосился из-под бровей.

— А не справишься с работой— в грузчики, в сторожа переведем! Это обещаю.— И нетoропливо набрал номер, заговорил своим густым голосом: — Бурковский? Привет, мученик! Опять горишь? Долго у тебя будет дым без огня? Когда я на твоем месте сидел, у меня, брат, дыма не было! Врубовки? А ты проси и врубовки! Что, я тебе буду ходатайства писать? Нажимай, требуй, из рук выхватывай! Экий у тебя дамский характер! Вот что. Закажи от своей шахты номер в гостинице и давай немедленно на-гора̀. Разговор есть. Ну! — Он бросил трубку, тяжело поднялся, снял плащ с вешалки.— Давай, Вохминцев. А через месяц позову тебя сюда. И спрошу. Спрошу строго. Иди. Гостиница направо за углом. Рядом. Сегодня отдохнешь, а завтра — под начальство к Бурковскому. Твой начальник участка. Если он тебя возьмет. Тут я, знаешь, не виноват.

Только возле самой гостиницы Сергей понял, что́ произошло, но еще не верил в то, что будет жить здесь и что сюда может приехать Нина. Моросило. Расстегнув плащ, откинув капюшон, он стоял около подъезда каменной, повидимому, недавно выстроенной четырехэтажной гостиницы с новенькими вывесками «Парикмахерская», «Ресторан» и не входил в нее,— сдавливая дыхание, билось сердце, и он губами ощущал: дождь был тепел.

А вся неширокая улица перед гостиницей была затянута водяной сетью, мимо домов бежали, скользили мокрые зонтики, и пронесся, шелестя по мостовой, глян-

цевито-зеленый автобус, тесно заполненный людьми в брезентовых комбинезонах. И где-то близко звучал в сыром воздухе рожок сцепщика. Потом с лязганьем буферов, замедленно пересекая улицу, прошли к железному копру шахты, черневшему за крышами, товарные платформы, их тяжко подталкивала «кукушка». Пар от нее с шипением вонзался в туман.

Дождь не переставал, и небо было низким, мутным, а он все не входил в гостиницу, все смотрел на железный копер шахты, на «кукушку», на платформы, на дома,— и по лицу его скатывались теплые капли.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1953

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Такси, стой!

Человек выскочил из пустого арбатского переулка, спотыкаясь, бросился на середину мостовой навстречу машине, и Константин затормозил; человек закоченевшими пальцами начал рвать примерзшую дверцу и не влез, а упал на заднее сиденье.

— До Трубной! Быстрей, быстрей!

Константин из-за плеча взглянул на пассажира — молодое, острое, бледное лицо спрятано в поднятом воротнике, иней солью блестел на мехе; кожаный и будто скользкий от холода чемоданчик был поставлен на колени.

— Ну, а если поменьше восклицательных знаков? — спросил Константин.— Может, тогда быстрей?

— Быстрей — ты не понимаешь? — визгливо крикнул парень.— Оглох?

Ночной Арбат был глух, пустынен, с редкими пятнами фонарей на снегу, посверкивала изморозь в воздухе, на капоте машины, на стекле, по которому черной стрелкой ритмично пощелкивал, бросался то вправо, то влево «дворник».

— Что ж, поехали до Трубной,— сказал Константин.

Когда после синеющего пространства Арбатской площади, без единого человека на ней, с темным овалом метро, пошли слева за железной оградой заваленные снегом бульвары, Константин мельком посмотрел в зеркальце: парень сидел, облокотясь на чемоданчик, шумно дышал в поднятый воротник.

Ночью в опустошенной морозом Москве — среди вымерших зимних улиц, погасших окон и закрытых подъ-

ездов, среди сугробов возле ворот и заборов — машина казалась островком жизни, едва теплившимся в скрипучем холоде, и у Константина появлялось ощущение нереальности ночного мира, в котором люди жили странной, отъединенной от дня жизнью.

Держа одну руку на баранке, Константин зубами вытянул из пачки сигарету, и, когда чиркнул зажигалкой, зябкий голос раздался за его спиной:

— Дай курнуть, шофер!

Константин из-за плеча протянул пачку, замерзшие чужие пальцы тупо выдирали сигарету.

— Огоньку дай!

Ровно шумела печь, распространяла по ногам тепло. Константин поправил зеркальце, мазнул перчаткой по оранжевому в наплывавших фонарях стеклу, сказал лениво:

— Слушай, мальчик, а ты хороший тон знаешь? Имеешь понятие, что такое... ну, скажем, деликатность? Или перевести на язык родных осин?

— Молчи! Огоньку дай — и все, понял?

— Надо научиться слову «спасибо», мальчик.

— Молчи, говорю! — Парень жадно прикурил и отвалился на сиденье, перхая при каждой затяжке.

До Трубной ехали молча, Константин не продолжал разговор, насвистывая сентиментальный мотивчик: за три года работы в такси он давно привык к странностям ночных пассажиров и только на углу Петровки спросил:

— Ну? Где прикажете остановиться?

— Чего? Чего ты?

— Трубная,— сказал Константин и, затормозив на площади, обернулся.— Прошу. Доехали.

И тут же встретился с приблизившимися глазами парня, губы его ознобно прыгали, трудно выталкивали слова:

— Трубная?.. Трубная?.. Ты подождешь меня здесь, на углу, ладно? Здесь... Твой номер запомнил — двадцать шесть семьдесят два... Ты меня обождешь! И дальше... дальше поедем!

Парень, спеша, вытащил из бокового кармана пачку денег, вырвал из нее двадцатипятирублевку, швырнул на сиденье и выскочил из машины, дыша, как голый на морозе.

— Стоп! — крикнул Константин и опустил стекло.— А ну, потомок миллионера, возьми сдачу! Вот держи аккуратненько ладошкой — и привет от тети!

— Ты!..

Паренек затоптался около машины, переступая на снегу модными полуботинками; глаза его сразу стали напряженными, плоскими, он дрожал то ли от холода, то ли от возбуждения; и, мотнув чемоданчиком, вдруг заговорил с бессильной злостью:

— Я за ней, понял — нет?.. Она в Рязань уехала... Чемодан собрала и уехала! Мне в Рязань надо! Я ее из Рязани привез, женился, а она... Ух, догоню ее — убью! Из общежития уехала!.. Понял? Или нет?

— От кого уехала?

— Да не от тебя!..— срывающимся голосом закричал парень.— Я тут на Трубной к матери, а потом в Рязань! Пять бумаг будет твоих. Ну, шофер, ну? Ну, шесть сотен хочешь?.. Всю зарплату отдам! Ну не понимаешь, да? Мать у меня здесь, на Трубной! Скажу ей — и все! Подожди здесь — и в Рязань! Шесть бумаг отдам!

— Шесть бумаг? Все понял. К сожалению, на первом посту за Москвой задержат машину, и меня выпрут из парка. Мои рейсы в городе, парень.

— Трусишь, таксист!— взвизгнул парень.— Трусишь? Да?

Константин со скрипом поднял прилипшее от мороза стекло; парень, размахивая чемоданчиком, побежал через пустырь площади к черной арке каменного дома. Там в студеном пару, в радужных кольцах горел фонарь. Парень вбежал под арку, слился с ее темнотой.

Константин развернул машину на площади, поехал в центр.

Выезжая на Петровку, он оглянулся на заднее стекло, там мелькнуло возле арки туманное пятно фонаря. «Трусишь?» — вспомнил он и грудью и рукой ощутил легкую нагретую тяжесть трофейного пистолета во внутреннем кармане.— Значит, теперь трусишь?»

После участившихся в последнее время случаев ограбления такси и после незабытой недавней встречи с тремя молодыми людьми по дороге в Лосинку, которая едва не стоила Константину жизни, он брал в ночные смены маленький плоский немецкий «вальтер», привезенный с фронта. Так было спокойнее.

В центре он остановил машину напротив «Стереокино», это было удобное место — перекресток путей из трех ресторанов, два из них работали до поздней ночи.

Поворачивая машину от Большого театра к заснеженной площади Революции, Константин увидел возле здания кинотеатра, под мерзлыми тополями, одинокую, поблескивающую верхом «Победу» и, подъезжая, осветил фарами номер такси.

«Михеев,— определил он.— Как всегда, здесь».

Константин вылез из машины, подошел к «Победе» и открыл дверцу, улыбаясь.

— Ну что — покурим, Илюша? Дай-ка огоньку, держи сигарету! Кончай ночевать, сделай гимнастику и подыши свежим воздухом!

Михеев, парень с широким скуластым лицом, сонным, помятым, вытащил из машины плотное, как бы замлевшее от долгого сидения тело; разминаясь, поколотил кулаками себя под мышками, выдохнул:

— Ха! Дерет, шут его возьми! Вздремнул малость, Костя... Пассажиров, чертей, мороз разогнал, без копейки приеду, ситуация, мать честная! Это ты мне — сигарету?

У Михеева чуть-чуть косили к носу круглые, немигающие глаза, и именно это придавало его широкоскулому и губастому лицу нечто птичье — всегда настороженное.

— Прошу, Илюша,— сказал Константин, щелчком выбивая сигарету из пачки.— Вот огоньку, же ву при, мой дорогой, спичек нет.

От этих щелчков вылетели из пачки две сигареты, одну успел подхватить Михеев, другая упала под ноги. Михеев, досадливо кряхтя, подхватил ее, обтер о рукав.

— Брось,— сказал Константин.— Снег, Илюша, не убивает бактерии.

— Так прокидаешься — без штанов ходить будешь. Можно взять, что ль? — Михеев аккуратно заложил вторую сигарету за ухо и зажег спичку, прикрыв ее ладонями, прикурил, после этого дал прикурить Константину.— Миллионщик ты, Костька, честное слово, и откуда рубли у тебя? — заискивающе сказал он.— Дорогие куришь... А я — гвоздики, на жратву еле...

— Ох ты, прелесть чертова! — засмеялся Константин.— Ты же больше меня зарабатываешь, Илюша. В сундучок кладешь? Под матрас? Ну, для чего тебе

деньги? Женщин, Илюша, ты боишься, в рестораны не ходишь. Ну, когда женишься?

— Без порток, а о женитьбе думать? — сказал Михеев.— Жене деньги нужны. Вот тогда...

— Значит, с деньгами женишься, Илюша?

Михеев сделал вид, что не расслышал вопроса.

— Тут рассказывали,— заговорил он,— во втором парке шофера убили! Шпана. Гитарной струной удавили. Сзади накинули и... Триста рублей у него и было-то, видать.— Михеев сплюнул, бережно подул на кончик сигареты, поправил ее пальцем, чтоб не сильно горела.— Удавили-то возле Тимирязевки, а выбросили в Останкине. Машину нашли в Перловке. Вот сволочи... Вешал бы я их своими руками. Вешал бы прямо. Неповадно было бы. Что с нашим братом делают!

— Нашли? — спросил Константин.

— Чего? Кого нашли-то? — презрительно фыркнул толстыми губами Михеев.— Найдут, хрен в сумку. Бывает, невинного скорее найдут. Они только штрафовать умеют. А чтоб преступника...— Он крепко выругался и опять сплюнул.— А третьего дня одного... из третьего парка — молотком. Череп пробили. А у него — ни копья. Только из парка выехал... Что с нашим братом делают!

Вся огромная площадь была в слабом свечении зимней ночи, из синеватой тьмы сыпалась изморозь, роилась вокруг белого света фонарей. За бульварчиком проступали тяжелые, таинственно белеющие клочками снега меж колонн очертания Большого театра со вздыбленной в черноту неба квадригой. И было темным, казалось пустым здание гостиницы «Метрополь». Только одно окно покойно светилось над площадью в высоте этажей. Все стыло в инее, мороз шевелился, трещал на бульваре поблизости от кинотеатра, давно погасшая огромная реклама и бородатое лицо Робинзона Крузо под ней были, чудилось, посыпаны кристаллами.

Константин, присев на крыло михеевской «Победы», оглядел площадь, ее мрачную пустоту, спросил:

— Ну, Илюша? Еще какие новости?

Михеев смотрел на гостиницу «Метрополь», на единственное горевшее окно, глубокие складки тоскливо собрались в изгибах рта.

— Какой-то иностранец коньяки-виски пьет или с бабой... занимается...— проговорил он.— Вот у кого денег-

то! Мне на всяких иностранцев не везет. Ни одного не возил. Я б его пощекотал на счетчик...

Константин задумчиво покусал усики.

— Ну ладно, Илюша, кончай ночевать. Пошли искать пассажиров. Первые — твои, вторые — мои.

— С удовольствием! У тебя ведь счастливая рука! — оживился Михеев, затаптывая в снег докуренную до ногтей сигарету.— Ежели бы ты... я б с тобой всегда на пару работал. Везет тебе! К ресторану пойдем?

— Да.

«Уехал ли тот парень с чемоданчиком? — подумал Константин, идя с Михеевым мимо «Гастронома», мимо огромных стекол магазина «Парфюмерия» к ресторану «Москва»; снег звенел, визжал под ботинками, звук этот разносился на всю улицу.— Может, стоило все же отвезти его в Рязань?»

— Детей травят,— сказал Михеев.

— Что?

— В родильных домах. Родился мальчик — и вдруг — раз! — умирает. В чем дело? Оказывается, врачи. Поймали трех. В Перове... Слышал? А то в аптеках еще — лекарства продают. А в них — рак. Раком заражают. Через год — умирают... Одну аптеку закрыли. В Марьиной роще. Арестовали шмуля. Старикашка, горбатый... Американцы подкупили...

— Что за чепуху ты прешь! — Константин насмешливо взглянул на Михеева.— Ну, что треплешь, сундук?

— Я при чем? — обиделся Михеев.— Послушай, что люди говорят... Не веришь? Какая же тебе чепуха, ежели...

— Ну что «ежели»?

Михеев не успел ответить, они завернули за угол метро. Перед гостиницей морозный туманец рассеивался клубящимся оранжевым светом ярко и широко освещенных окон,— и внезапно слева, с каменных ступенек у дверей ресторана, прорезая тишину, послышался тонкий вскрик:

— Пу-усти-ите!..— И опять: — Пустите-е! Ой, бо-ольно!.. Бо-ольно!..

Михеев, округлив глаза, схватил за рукав Константина:

— Подожди!.. Кричат, что ль?

И, озираясь на ступени, Константин неясно увидел вверху, меж колонн, несколько угловато метнувшихся

людей, непонятно сбившихся в кучу; и сейчас же человеческая фигура вырвалась оттуда, нелепо согнувшись, бросилась вниз по ступеням — человек поскользнулся и упал, покатился по ледяным ступеням, вскрикивая:

— Дима, беги!.. Что же это?.. Дима!.. Не трогайте!

— Что за черт! — сказал Константин.— Драка, кажется?

Оттуда, от колонн, трое ринулись вниз, следом за человеком, прыгая через ступени, зазвеневший голос раздался сверху:

— Сто-ой, мерзавец!

— Морды бьют. Надрались,— хихикнул Михеев.— И откуда деньги?

Упавший человек в черном пальто вскочил, затравленно оглядываясь, позвал шепотом:

— Дима... Дима! Беги! — И закрутился на месте, словно искал шапку вокруг себя.

Он кинулся по тротуару в ту сторону, где стояли Константин и Михеев, не заметив их, и Константин увидел испуганное белое лицо, темную ссадину на лбу, короткие, слипшиеся волосы. На миг человек этот приостановился, хватая ртом воздух, вильнул в сторону, побежал по мостовой к улице Горького.

— Держи-и, держи-и его!..

Трое сбегали по ступеням, поворачивали в сторону мечущегося по мостовой человека, и Константина как будто сорвало с места («блатного хмыря ловят!»), и в несколько прыжков он настиг этого петляющего по мостовой, выкинул ногу, встретив жесткий толчок по голени, и человек с размаху упал плашмя, задохнувшись, и в ту же секунду, когда он упал, Константин услышал топот ног, громкие злые голоса за спиной.

— Молодец!.. Ловко!.. Молодец! — прохрипел, подбегая, невысокий, квадратный в плечах человек (плечи его вздымались), плоское и сильное курносое лицо блестело потом.

С бегу он тыкнул в грудь Константина растопыренными пальцами, отталкивая его, проговорил хрипло:

— Спасибо, помог!

И, наклонясь над лежащим лицом вниз человеком. ударил его ногой в бок.

— Ты с кем, мокрица?.. Я т-тя... произведу в дерьмо!.. Нà! Нà! Нà...

Низенький этот с озверелым лицом бил ногами по безжизненно распластанному телу, при каждом ударе

выдыхая воздух, точно дрова рубил, учащенно, поршнями двигались его локти. Тело на мостовой слабо изогнулось, задранное к лопаткам пальто сбилось бугром, руки уперлись в снег — человек, сделав усилие, вскочил и как-то неловко пнул низенького в подбородок двумя кулачками. А Константин только сейчас ясно успел разобрать вблизи его лицо — юное и бледное лицо мальчишки лет восемнадцати.

— Дима, Димочка!..— умоляюще крикнул он, отступая от низенького.— Не бейте Диму!.. За что?

Набычив шею, низенький грузно рванулся к нему, взмахом кулака сбил на мостовую и затоптался, забегал над ним, носком ботинка с оттяжкой ударяя под ребра.

— А-а, ты у меня попоешь! — выдыхал низенький.— Я те покажу Диму!.. А ну, где этот Дима? Вы нас запомните, гниды!..

Константин почувствовал, что все расплывается перед глазами, все становится нереальным, тусклым, и вдруг ему стало больно и трудно глотать — сразу ссохлось в горле.

Смутно увидел, как справа, сутуло вобрав голову в плечи, растерянно отступал спиной, двигался по мостовой Михеев, а возле метро — двое в расстегнутых пальто молча, старательно избивали, гоняя от одного к другому, высокого паренька в короткой куртке, оттуда доносились отрывистые всхлипы:

— За что? За что? Что я вам сделал? За что? Что я сделал?..

— А ну прочь, подлецы!.. Стой, сволочи! Пр-рочь!..

Константин лишь краем сознания понял, что это был его голос, и, стиснув зубы, достиг низенького в три шага, яростным ударом заставил его пригнуться, закрыться и тотчас подлетел к тем двум в пальто, что гоняли высокого паренька в куртке, и отшвырнул их от него. Эти двое, дыша паром, бросились на Константина, удары в челюсть, потом в грудь оглушили его.

Они наступали с двух сторон, угрожающе и осторожно, один кашлял, сплевывал на снег вязким, тягучим. И в этот миг Константин ощутил тишину. Он почувствовал — вдруг произошло неуловимое, не увиденное им. Двое смотрели куда-то мимо него, и когда Константин инстинктивно взглянул на низенького, тот правой рукой суматошно хватал что-то, лапал у себя под пальто — и он понял все.

— Стой, сволочь! Опусти руку! — крикнул Константин и, в это же мгновение вспомнив о пистолете, торопясь, рвущим движением выхватил «вальтер» из внутреннего кармана, шагнул к низенькому.— Назад! Назад, сволочь! Наза-ад!..

— Оружие? — сипло выдавил низенький отступая.— О-оружие?..

— А ну спиной ко мне — и марш! Бегом!— со злобой скомандовал Константин и махнул пистолетом.— Бегом к Манежу! Бы-ыстро!

Заплетающейся рысцой низенький и двое в расстегнутых пальто побежали к Манежу, но, отбежав метров сто, они остановились. Чернели силуэты на снегу. Потом долгий милицейский свисток просверлил ночь; от гостиницы «Националь» приближалась к ним темная фигура постового.

— Быстрей, ребята! Смывайся отсюда! — подал команду Константин возившимся на мостовой парням.

Тот, первый, подымая лицо в крови, зажимая тонкой рукой нос, пытался встать; другой, в куртке, помогал ему, тянул за плечи, беспрерывно повторял сквозь стоны:

— Гоша, Гоша, бежим, бежим... Ты слышишь, быстрей, миленький!..

— Быстрей, быстрей, ребята! — лихорадочно выкрикивал Константин, с особой остротой сознавая, что все это безумие, что он не хотел этого, но ничего уже нельзя изменить.— Ну что? Что? Вон туда — бегом! На улицу Горького, во двор! Бегом!..

Вталкивая пистолет в карман, он ринулся к угловой станции закрытого метро, возникшего странно пустыми огромными стеклами, резко завернул за угол и мимо безлюдного подъезда гостиницы побежал по тротуару к «Стереокино». Не слышал позади ни милицейского свистка, ни шума погони, ни окриков — все забивало, заглушало собственное дыхание и мысль, колотившаяся в мозгу: «Зачем это? Как же это? Только бы никого не было возле машины!.. Где Михеев?..»

И тут на краю тротуара, потирая потную грудь, увидел: «Победа» Михеева, задымив выхлопными газами, стремительно разворачивалась по кольцу площади, мимо темной гостиницы «Метрополь», где по-прежнему в высоте этажей светило одно окно («иностранец коньяки-виски пил»), а его, Константина, машина, вся в блестках инея, по-прежнему стояла напротив кинотеатра.

Он раскрыл дверцу, упал на сиденье, руки и ноги сделали то, что делали тысячу раз. Он боялся только одного — чтобы не отказал на стуже мотор.

Мотор завелся... Опустив стекло, глядя назад в проем улицы, откуда можно было ждать опасность, он повел машину по эллипсу площади, сразу же набирая скорость.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Он остановил машину в одном из тихих замоскворецких переулков; сеялся снежок. Свет фонарей сузился, сжался, начал падать конусами, стиснутый мелькающей мглой; справа, за железной оградой, чернея, проступала сквозь снег старая каменная церковка, свежая белизна снега не покрывала ее низких куполов.

Машина перегрелась, мотор бился, сотрясая железный корпус.

Левое стекло он не подымал, пока сумасшедше гнал «Победу», петляя по улицам,— внутри машина выстудилась, и Константин весь продрог на ветру, одеревенела левая щека.

«Где был Михеев?.. Видел он или не видел? — спрашивал себя Константин, восстанавливая в памяти, как Михеев растерянно топтался на снегу в тот момент, когда низенький подбегал к пареньку, поваленному на мостовую.— Где сейчас Михеев?..»

И он вспомнил, что уже на Петровке обогнал его, трижды посветив ему фарами, и потом, выглядывая в окно, видел неотступно мчавшуюся следом машину Михеева, желтые качающиеся подфарники. Только перед Климентовским, вплотную притормозив перед светофором, ненужно мигающим в ночную безлюдность улиц, он с нетерпением подождал, когда подойдет «Победа» Михеева; тот притер завизжавшую тормозами машину, опустил стекло, высунул белое испуганное лицо и ничего не спросил, лишь рот его покривился.

— В Вишняковский, к церковке! — глухо бросил Константин.— Там поговорим.

«Видел ли Михеев, когда я?..— думал Константин, ощупывая негнущимися пальцами ствол пистолета в кармане.— Что я должен делать? Могут проверить все ночные такси?..»

Он нерешительно вылез из машины, без щелчка закрыл дверцу. В переулке на двухэтажные деревянные

дома, на навесы парадных мягко сыпался снежок, белил, ровнял мостовую, укладывался на железную ограду, на каменные столбы, на углами торчащее железо развороченных куполов и косо летел в темные проемы разбитых церковных окон.

«Да, в церкви, в церкви спрятать!..» — подумал он и еще неосознанно сделал шаг к закрытым церковным воротам, толкнул их, заскрежетало железо.

Он толкнул сильнее — ворота не поддавались. Тогда он подышал на пальцы, обожженные железом, и, спрятав руки в карманы, стал оглядывать ограду, постепенно приходя в себя: «Спокойно, милый, спокойно...»

Завывающий рокот мотора возник, приближаясь, в переулке, свет фар побежал по сугробам, зеленым глазом светил сквозь снег огонек такси.

«Михеев?..» И он тотчас увидел, как впритык к его машине подкатила «Победа» Михеева — распахнулась дверца, и Михеев, без шапки, почти вывалился на мостовую, побежал к нему на подгибающихся ногах.

— Корабельников!.. Корабельников!.. Ты-и!..

— А шапка, Илюша, где? — как можно спокойнее спросил Константин.— В машине?

— Ты... ты что наделал? — набухшим голосом крикнул Михеев и схватил Константина за плечи, потряс с яростной силой.— Ты... Ты погубить меня захотел?.. Ты зачем пистолетом?.. Откуда у тебя? Ты кто такой? Погубить захотел?

Он все неистовее тряс Константина за плечи, табачное дыхание его смешивалось с кислым запахом полушубка; выпукло-черные глаза дико впивались в зрачки Константина.

— Успокойся, Илюша.— Константин отцепил его руки от своих плеч, попросил: — Ну не кричи. Пойдем сядем в машину, подумаем...— И, подойдя к машине, раскрыл дверцу.— Лезь. Я с другой стороны.

— Что ты наделал, что ты натворил, а? — бормотал Михеев, вытирая кулаком лицо.— Господи, надо было ведь мне поехать с тобой! С кем связался!.. Го-осподи!..

— Успокойся! Илюша, приди в себя,— заговорил Константин медленно.— Как думаешь, кто были те... которые парнишек?.. Не знаешь?

— Почем я знаю! — крикнул Михеев, кашляя в возбуждении.— Люди были — и все!.. Тот, задний, подбежал

ко мне как бешеный, а сам вроде выпимши... Ну я и говорю...

— Что ты говоришь? — быстро спросил Константин.

— Ну и говорю: водители, мол, такси...

— Так,— произнес Константин.— Ну?

— Что — «ну»? Что ты нукаешь? Что ты еще нукаешь, когда делов натворил — корытом не расхлебаешь!.. Что ты наделал? Не понимаешь, что ль? Малая девчонка какая!

Помолчав, Константин спросил:

— Ну а за что они парнишек... как по-твоему, Илюша?

— Мое какое дело! Я что, прокурор? — озлобленно выкрикнул Михеев и дернулся к Константину.— Ты зачем пистолетом баловал? Ты зачем?.. Не знаешь, что за эти игрушки в каталажку? Защитник какой! Какое твое собачье дело? И чего ты лез? И зачем ты, стерва такая, пистолет вытащил? Откуда у тебя пистолет? Жить тебе надоело?.. На курорт захотел?..

Голос Михеева срывался, звенел отчаянной, пронзительной ноткой; он снова вцепился Константину в плечо, стал трясти его, едва не плача. Молча Константин освободил плечо и сидел некоторое время, глядя в широкоскулое лицо Михеева. Тот тяжело задышал носом, подавшись к нему:

— Что? Ты что?

— Слушай, Илюша.— Константин с деланным спокойствием усмехнулся.— Тебе лечиться нужно, Илюша! У тебя, дружочек, нервы и излишне развитое воображение.— Константин засмеялся.— Ну вот смотри — похоже? — И, хорошо понимая неубедительность того, что делает, он нащупал в кармане железный ключ от квартиры, зажал в пальцах, как пистолет, и, показывая, поднес к лицу Михеева.— Не похоже, Илюша?

— За дурака принимаешь? — крикнул Михеев.— Хитер ты, как аптекарь! Глаза у меня не на заднице. Ну ладно, поговорили,— добавил Михеев уже спокойнее.— Я в тюрьму не желаю. Я еще жить хочу. Я не как-нибудь, а чтобы все правильно. Поехал я, работать надо... Я отдельно поеду, ты отдельно... Вот так... не хочу я с тобой никаких делов иметь.

Михеев заерзал на сиденье, нажал дверцу, вынес ногу в бурке, неожиданно задержался, растерянно пощупал голову.

— Эх, стерва ты, из-за тебя шапку потерял. Двести пятьдесят монет как собаке под хвост!

— Слушай, Илюша,— сказал Константин.— Здесь я виноват. Возьми мою. Полезет — возьми. Я заеду домой за старой... Вот померь.

Он снял свою пыжиковую шапку, протянул Михееву, тот взял ее, некоторое время подозрительно помял мех, затем, вздыхая прерывисто, сказал:

— А что же ты думаешь — откажусь, что ль? Нашел дурака! Эх, связался я с тобой!..— И вылез из машины.

Константин подождал, пока Михеев развернет «Победу» в переулке, после тронул машину и неторопливо повел ее, петляя по замоскворецким улочкам, в сторону Павелецкого вокзала. Он не знал, куда ему ехать сейчас: то ли к вокзалу — поджидать утренние поезда, то ли вот так ездить по этим переулкам, до конца продумать все, что случилось...

Не переставая падал снежок, замутняя пролеты улиц.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В конце сорок девятого года Константин перебрался в опустевшую квартиру Вохминцевых, вернее, перенес свои вещи со второго этажа на первый — так хотела Ася; и его освободившуюся холостяцкую «мансарду» немедленно заселили — через неделю комнату занял приятный и скромный одинокий человек, работавший инженером в главке.

Семейство Мукомоловых прошлым летом переехало в Кратово, недорого сняв там половину дачки — поближе к русским пейзажам,— и лишь по праздникам оба бывали в Москве. Константин редко видел их; квартира стала нешумной, казалась просторной, но к этой тишине, к этому простору дома никак не могла привыкнуть Ася.

В новом этом состоянии женатого человека Константин жил словно в полуяви. Иногда утром, просыпаясь и лежа в постели, он с осторожностью наблюдал за Асей, чуть-чуть приоткрыв веки. Она невесомо ходила вокруг стола, ставя к завтраку чашки, звеневшие каким-то прохладным звоном, и Константин, сдерживая дыхание, зажмуриваясь, испытывал странное чувство умиленности и вместе с тем праздничной новизны и почти не верил, что это она, Ася, его жена, двигается в комнате, шуршит

одеждой, отводит волосы рукой и что-то делает рядом; и он не мог полностью представить, что может разговаривать с Асей так, как никогда ни с кем не говорил, прикасаться к ней так, как никогда ни к кому не прикасался. Он вспоминал ее стыдливость, ее неумело отвечающие губы, то, что было ночью, в ее закрытых глазах, в напряженной линии бровей было ожидание чего-то еще очень тайного, не совсем испытанного ею; и он слышал иногда еле уловимый голос ее, пугающий откровенностью вопроса: «А тебе обязательно это?»

Он молчал, боясь прикоснуться к ней в такие минуты, смотрел на ее стеснительно повернутое в сторону лицо, и нечто непонятное и горькое вырастало в нем. Когда же после такой ночи, проснувшись, он смотрел на нее, свежую, опрятно одетую и будто обновленную чистотой, знал: только что стояла в ванной под душем. И Константин тогда со смутной болью как бы вновь слышал в тишине ее слова, зная также: сейчас Ася не будет вспоминать, что говорила ночью, что она радостна ощущением своей утренней свободы. И он ревновал ее неизвестно к кому, не до конца понимал ее стремление по утрам забыть, отделаться от той, другой жизни, без которой она, как мнилось ему, могла обойтись и без которой не мог жить, любить ее, обойтись он.

Он всегда опасался открыть глаза утром и не увидеть Асю.

Тогда сразу портилось настроение, пустота комнат уныло пугала его. Он оглядывал ее вещи, учебники по медицине на столе, поясок на спинке стула, мохнатое влажное полотенце в ванной, которым она вытиралась. Насвистывая, бродил из комнаты в комнату, не находил себе дела.

Ему казалось, что он отвечал за каждую ее улыбку и ее молчание, за пришитую к его кожанке пуговицу, за растерянный подсчет денег перед стипендией, за ее слова: «Знаешь, я еще могу походить год в этом пальто — не беда. Медики вообще народ нефорсистый, правда, правда».

В сорок девятом году он намеренно завалил два экзамена в институте и без сожаления ушел с четвертого курса, устроился в таксомоторный парк — и был доволен этим. Он был уверен, что именно так переживет трудную полосу в своей жизни и в жизни Аси...

Константин пришел домой в одиннадцатом часу утра.

Привычная процедура конца смены: сдача путевки, мойка машины, разговор с кассиршей Валенькой — и он был свободен на сутки. Но он не торопился со сдачей путевки и денег, не торопился с мойкой машины — все делал, как обычно, шутя, но в то же время поглядывал на ворота гаража, поджидал машину Михеева, а ее не было.

Потом, потрепав по румяной щеке Валю, он сказал ей какую-то пошлость о коварстве румянца и легковесно поострил с заступающей сменой шоферов, сидя в курилке на скамье.

«Победы» Михеева не было.

Ждать дальше стало неудобно.

Константин вышел из парка, по обыкновению весело помахал Валеньке и не спеша направился за ворота.

Все настойчивее падал снег. Он уже валил крупными хлопьями, приглушал звуки, движение на улице. Обросшие снегом трамваи — мохнато залеплены номера, стекла — медленно наползали на перекрестки и беспрерывно звенели; вместе с ними побеленные до дуг троллейбусы пробивались сквозь снегопад. Неясными тенями скользили фигуры прохожих.

Снег остужал лицо, пахло пресной и горьковатой свежестью, но было тяжело дышать, как в воде, давило на уши.

«Михеев,— думал он под толчки своих шагов.— Задержался. Это ясно. Не набрал денег за смену... Я позвоню в парк из дома. Ася... Она уходит в поликлинику в десять. Как хорошо, что она ушла! Я все обдумаю...»

В парадном он снял кожаную, на меху, куртку, стряхнул снежные пласты, смел веником с ботинок. В коридоре было сумрачно, тепло, из кухни шел сытный запах вареного картофеля.

Он открыл дверь своим ключом.

С улицы сквозь толпу мелькающей пелены не пробивалось ни одного звука, а в комнате два голоса — мужской и женский — с бесстрастной красотой дикции сообщали придавленному снегом миру о наборе рабочей силы, о том, что в московских кинотеатрах идет новый фильм,— Ася забыла выключить радио. Константин прошел в комнату и выключил. Потом, не снимая ботинок, лег на диван, положил руки под затылок; волосы, мокрые от растаявшего снега, холодили голову.

«А что, собственно, произошло? — попытался он успокоить себя трезво.— А, черт совсем возьми! Тысячи такси в Москве...»

Он пригрелся на диване, тяжелая дремота скосила его, понесла, он начал падать куда-то, и чьи-то лица, подступая из темноты, провожали его в этом неудержимом, ускоряющемся падении, и позванивало от скорости опущенное стекло дверцы, и не было силы поднять стекло, густой снег, летящий в глаза, в ноздри, душил его. И он чувствовал, что произошло страшное, должно было произойти... Телефон, телефон звонит!..

Константин, очнувшись, огляделся еще не проснувшимися глазами. Все так же шел снег. Тикал будильник на письменном столе. Телефон молчал.

Он соскочил с дивана, быстро набрал номер телефона диспетчерской.

— Валенька,— сказал Константин ласково,— как там мой кореш Илюша — вернулся?

— Десять минут назад домой ушел,— посмеиваясь, ответила кассирша.— А что, соскучился?

— Тронут сообщением, Валенька,— сказал Константин.— Ну, пока, красавица!

Он опять говорил пошлость, знал, что это пошлость, но говорил так — это освобождало его от серьезности.

Константин положил трубку.

На столе под стеклом лежала фотокарточка Аси — кто-то «щелкнул» из одноклассников (стоит на полевом бугре, ветер скосил в одну сторону платье над коленями и волосы на одну щеку, лицо загорожено книгой от солнца). Эту фотографию он любил и не убирал, хотя Ася иногда протестовала: «Спрячь ее, я тебе не кинозвезда!»

Константин, помедлив, задернул занавеску на окне и после этого вынул из бокового кармана маленький «вальтер».

Пистолет умещался на ладони весь, со скошенной перламутровой рукояткой; был выбит крохотными цифрами номер на металле — «1763», и рядом — знакомое «Gott mit uns»[1]. Над спусковым крючком — никелированный прямоугольничек: «Вильгельм фон Кунце».

---

[1] «С нами бог».

Изящный, аккуратный пистолетик напоминал игрушку, которую все время хотелось держать в руках, трогать зеркально отшлифованный металл.

«Вальтер» этот попал к Константину в сорок третьем.

Низенький «бээмвэ» без камуфляжа, запыленный, гладко-черный, на всей скорости вкатил в то опустевшее село километрах в двух от левого берега Днепра, откуда утром отошли немцы к переправе.

Всю войну он ползал за немецкую передовую за «языками», ползал не всегда удачно, а эти на машине сами перли ему в руки — и он, стоя у крайнего плетня, первый полоснул из автомата по моторной части, по скатам. Их было трое, немцев. Двоих он почти не помнил, третьего запомнил на всю жизнь. В нем было нечто прусско-театральное, даже виденное уже: сухое лицо, прямая, с ограниченными движениями шея, надменные седые брови, две старческие складки вдоль крупного носа; кресты и медали зазвенели под полами черного глянцевитого плаща, когда разведчик бесцеремонно обыскал его: от оберста пахло духами, он был до бледности выбрит.

Он отдал оружие — «парабеллум» на широком ремне, новенький планшет, и, отдавая все это, нервно пожевывал бескровными губами, но глаза были спокойны, задумчиво-выцветшие. Потом от деревни шли осенними лесами, опасаясь столкнуться на дорогах с оставшимися группками автоматчиков.

А на третьем километре этот оберст коротко сказал что-то другому немцу, и тот, смущенный, с заискивающим потным лицом, залопотал, показывая на ноги, на свой зад, на землю. И Константин понял: просили отдых. Оберст сидел на пне, привалясь спиной к дереву, в распахе непромокаемого плаща неширокая грудь, металлические пуговицы подымались дыханием; вдруг маленькая рука дернулась под плащ к левой стороне груди, стала рвать пуговицы, и искоркой блеснуло там, вроде бы треснуло за его спиной дерево. И он, привстав, откинув на влажный песок крохотный пистолетик, упал лицом вниз, кашляя судорожно, спина туго выгибалась, он будто давился. Лоб был прижат к козырьку высокой, соскользнувшей фуражки, и был виден седоватый затылок с глубокой выемкой шеи.

Он выстрелил себе в рот. Никто тогда не сумел предупредить этот выстрел: при обыске в селе разведчики не нащупали плоского пистолетика под ватной набивкой

мундира, и Константин не мог простить себе этого. Таких «языков» он не брал ни разу.

Через час после допроса пленных и просмотра карт и бумаг начальник штаба вызвал Константина.

— Люблю я тебя, Костя, и осуждаю,— сказал он, довольно подмигивая.— Доставь ты этого оберста — носить бы тебе звездочку. Да ладно, бог с ним. Бумаги и карты распрекрасные приволок ты — цены им нет! Возьми-ка вот этот «вальтеришко», помни оберста. Пистолетик-то не так себе — фамильный. С серебром. Считай своей наградой. Беру это дело на себя. Ну, давай к хлопцам. Водки я там указал выдать.

Таким образом стало у него два пистолета: свой, уставной ТТ и этот немецкий «вальтер»; всякого оружия хватало вдоволь, но этот пистолетик был как бы шутливой наградой.

Он сдал свой ТТ в Германии в дни демобилизации, «вальтер» же не сдал и в Москве: он не мешал ему. Сначала пистолет умещался в любом кармане, потом забыто валялся в книжном шкафу за старыми томиками Тургенева. Но в сорок девятом году было тщательно найдено для него секретное место — в толстом томе Брема он вырезал в серединных страницах гнездо, пистолет вплотную вошел туда, и Брем был спрятан в углу шкафа.

Он начал носить его только после того, как трое парней ноябрьской ночью по дороге в Лосинку ударом сбоку вышибли его из машины, а затем, оглушенного, поставили перед собой (сзади третий железными пальцами сжимал и отпускал сонную артерию на шее), с заученной ловкостью проверили его карманы.

Он не хотел больше испытывать унижающее бессилие и чувствовать чужие натренированные пальцы.

Константин достал из книжного шкафа том Брема — и «вальтер» прочно лег в свое гнездо. Он поставил Брема во второй ряд книг, за старым собранием сочинений Тургенева, и это сейчас почти успокоило его.

«Да что, собственно, случилось? — опять подумал он, пытаясь настроить себя на обычную волну.— Все обошлось и прекрасно обойдется. Предопределять судьбу? Зачем и для чего?»

Сев на край стола, он поглядел на фотокарточку Аси и набрал номер поликлиники. Долго не подходили там, наконец бархатистый профессорский баритон дохнул в трубку:

— Да-а! У телефона.

— Пожалуйста, Анастасию Николаевну. Кто? Представьте себе, муж.

— Узнал по голосу, молодой человек. Сейчас. Если потерпите.

Далекий щелчок — это положили трубку на стол, потом неясный говор в мембране и ее голос:

— Костя?

Неужели так просто можно сказать: «Костя»?

— Я жду тебя,— тихо сказал он, глядя на ее фотокарточку: ветер все прижимал юбку к ее коленям, и жарко, как перед грозой, светило летнее солнце. Сколько тогда ей было лет?

— Ты ужасающий экземпляр,— сказала Ася со смехом, и голос и смех ее имели свое значение, понятное только ему.

— Я жду тебя. Вот... и все,— повторил он, не отрывая взгляда от фотокарточки (о чем она думала тогда, защищаясь книгой от солнца?). Он сказал: «Я жду тебя», вкладывая в эти слова свое значение, которое лишь она могла ощутить и понять по звуку его голоса.— Я жду тебя. И как видишь — немного люблю тебя... Чепуха? Дичь? Сантименты? Позвонил муж, оторвал от работы? И лепечет какую-то чепуху. Идиотство, конечно. Так и скажи этому профессорскому баритону. Я просто соскучился. Я так соскучился, что мне хочется выпить...

— Какой же ты у меня дурачина, Костя! Ужасный! — сказала Ася и снова засмеялась.— Ты просто Баран Иванович, ты понял. Я не буду задерживаться.

— Я жду тебя.

И, уже повеселевший, Константин соскочил со стола, прошел в первую комнату, насвистывая, выудил из глубин буфета начатую бутылку «Старки». Налив рюмку, он выпил, затем сказал: «Есть смысл»,— и закусил кусочком колбасы. А после этой рюмки и пахучего кусочка колбасы вдруг почувствовал, что сильно голоден, и почему-то захотелось яичницы с жареной колбасой,— последний раз ел вчера в четыре часа дня.

В кухне было пустынно, тепло. Методично капала вода из крана.

Константин с грохотом толкнул сковородку на плиту, начал с таким веселым нажимом резать колбасу, что кухонный столик закачался, зазвенели, стукаясь друг о друга, баночки из-под майонеза. И тотчас услышал бормотание, посапывание в дальнем конце кухни — как будто проснулся кто-то там от грохота сковороды.

Константин взглянул, почесывая нос.

— Это вы, Марк Юльевич? Кажется, вы стоите на карачках? Потеряли что-нибудь? Будильник? Ходики? Бриллиантовую «Омегу»?

Марк Юльевич Берзинь, заведующий часовой мастерской, латыш, новый сосед, по какому-то сложному обмену переехавший с семнадцатилетней дочерью в смежные комнаты Быкова, стоял на четвереньках под своим кухонным столом, повернув лысую голову в сторону Константина; хищно поблескивала лупа в глазу, спущенные подтяжки елозили по полу.

— Вы напрасно острите, вы понятия не имеете,— сказал он.— Я всегда говорил: мыши — это позор советскому быту. Мы живем не где-нибудь в Аргентине. Я, как дурак, расставляю мышеловки по всей кухне. Я разорился на мышеловках.— Марк Юльевич вздохнул.— Вы посмотрите. Наклонитесь, наклонитесь.

Константин заглянул под его стол.

— Не очень доходит, Марк Юльевич.

— Дойдет,— кротко сказал Берзинь,— когда пообивает пальцы о защелку. С меня хватит этого опыта. Ползая под столом, я окончательно расстроил нервы.— Он деловито нацелился лупой на мышеловку, поставленную возле мусорного ведра.— Вы только взгляните: аккуратно объела сало — и удрала. Как это действие называется?

— Да черт с ними! — захохотал Константин.— Плюньте на мелочи!

Берзинь вылез из-под стола с возбужденными жестами человека, который должен что-то доказать, движением брови освободился от лупы (она упала ему в ладонь) и закачал лысой головой.

— Это скороспелые выводы! Вы посмотрите — здесь была крупа? Что сейчас?

Он снял с кухонной полки стеклянную банку, поставил на плиту перед Константином. В банке среди шелухи гречневой крупы сидела мышь, ее носик ерзал, обнюхивая стекло, ушки прижаты испуганно, лапки подобраны под себя. Марк Юльевич рассудительно заметил:

— Она сожрала крупу и не смогла вылезти. Вы думаете, это просто мышь? Нет! Разносчик чумы, бешенства и других заболеваний. Я не могу допустить,— в квартире есть женщины и дети. Моя дочь, как ребенок, боится мышей. Я понимаю Тамару. Думаю, что и ваша жена не очень довольна, когда мыши играют в кастрюлях. Надо бороться... Мы — мужчины... Мы это забываем.

— Наверно,— ответил Константин охотно.— Что вы будете делать с этим представителем грызунов? Пристукните ее шваброй. И к черту — мусор!

Берзинь поправил на плечах подтяжки, просунул большие пальцы под них, воинственно ими защелкал.

— Где швабра? — спросил он.— Вы совершенно правы!

Марк Юльевич нашел взглядом швабру, однако все медленнее щелкал подтяжками, раздумывая.

— Мм... Нет,— проговорил он.— Это жестоко.

Вздохнув, он двумя пальцами взял банку, подошел к окну и не сразу открыл вмерзшую форточку,— крупные хлопья залетели в кухню, тая на голой макушке Марка Юльевича. Он поежился, вытряхнул мышь из банки в сугроб за окном, после чего заявил Константину:

— Вот так мы будем делать.

И, храбро выпрямившись своим маленьким круглым телом, подтянув выступавший из просторных брюк живот, похмыкав носом, спросил грозно:

— У вас какие часы? Марка?

— Швейцарские. Еще фронтовые.

— Хм, да... Зайдите как-нибудь. Я уверен — в них килограмм грязи. У меня нет никаких сомнений.

Двадцать минут спустя Константин, опьянев от завтрака, полулежал на диване; тепло разливалось по телу, но спина еще никак не могла согреться, только сейчас внятно чувствовал лопатками знобящий холодок — промерз за ночь.

«Быков... Переехал... Сейчас в его комнате Берзинь с дочерью. Домашний очень. Пригласить бы его сейчас на рюмку «Старки». Но, кажется, пьет одно молоко».

Он поднялся, включил радиолу и заходил, сунув руки в карманы, из одной комнаты в другую, насвистывая. Свист его вливался в сумасшедшие ритмы, возникало ощущение воздушной легкости, игры, удовлетворенности жизнью; у него была Ася, деньги, здоровье, был смешной

Берзинь в квартире, эта радиола, книги, свобода, которую давала ему работа таксиста...

«Что еще нужно человеку, черт побери! Власть, слава? Не создан для этого. Меня тошнит, когда надо командовать людьми. Досыта покомандовал на фронте. Полгода назад предлагали пост начальника колонны. «Три курса института, идейно подкованный товарищ, грамотный, но почему вы не в партии? Такие, как вы...» Они позабыли взглянуть в мою анкету: родители — тю-тю, отец жены — тю-тю...

«Спасибо, я еще не дорос». А что случилось, собственно говоря? Что со мной случилось? О чем это я? Ничего не случилось. Просто фокстротик. Рюмка «Старки»... Легкомысленный фокстротик — и ничего не случилось. А что может со мной случиться? Ровным счетом ничего».

Насвистывая, он подошел к книжному шкафу, в стекле увидел отраженное свое лицо, с интересом всмотрелся и подмигнул себе: «Ну как? А? Живешь?»

«Все прекрасно, конечно. Все отлично будет».

Но вместе с тем его смутно и неосознанно тревожило что-то, будто чувствовал присутствие постороннего живого существа. И, подняв глаза, понял, что это было или могло быть частью *того*: тиснением отсвечивали толстые корешки томов Тургенева, за которыми не виден был том Брема.

«К черту! Выбросить все это из головы! Чтоб не было в памяти! Да что может случиться?»

Он раскрыл дверцы шкафа.

С правой стороны на третьей полке виднелся маленький томик в сером переплете. Уголовный кодекс. Этот кодекс они купили в пятидесятом году и целый вечер листали с Асей, когда узнали, что Николай Григорьевич осужден на десять лет без права переписки.

«Пятьдесят восемь, пункт десять... Прелестная статейка. А что же, интересно, за хранение огнестрельного оружия? Тоже — прелесть? Ах вот... За хранение огнестрельного оружия... Так. Пять лет. Пять лет. Пять лет за этот фамильный «вальтер»? Однако никаких доказательств. Была пустая площадь. Только те двое и те трое... Кто они? Михеев? А что может сделать Михеев? Спокойно, как говорят в Одессе. Ша — и не ходи головами, команда была. Никакой фантазии. Вот так пока и будем жить. И нечего изумляться и поворачивать голову в разные стороны — закрутишь шею винтом».

Он захлопнул дверцы шкафа, иронически подмигнул своему отражению, и, подойдя к буфету, налил еще рюмку «Старки».

Фокстротик кончался, затихал на пронзительной нотке.

Шипела, скользя по черному диску, игла.

Константин перевернул пластинку, поставил рычажок на «громко», рассеянно слушая нарастающую вибрацию труб, придушенный голос джазового певца.

Он не услышал стука в дверь — через порог виновато вдвинулся из коридора Берзинь, сложил на животе руки.

— Костенька, я прошу извинить,— у меня такое впечатление, что у вас в комнате конный базар. Сильно ржали лошади, хрюкали свиньи. Я прошу извинить. Томочка делает уроки. И... не делает, а слушает ваши джазы. Я понимаю, конечно, у каждого свои слабости... но можно чуть-чуть потише, я еще раз извиняюсь...

Константин сделал приглашающий жест.

— Садитесь. Вы знаете, Марк Юльевич, что музыка хорошо действует на сердечно-сосудистую систему?

— Первый раз слышу.

— Вы знаете, что Глинка и Римский-Корсаков воспринимали музыку как цветовые пятна?

— Ай-ай-ай...

— Вы знаете, что Пифагор утверждал, что музыка врачует безумие?

— Немыслимо,— сказал Берзинь.— Разве?

Взглянув на удивленное лицо Марка Юльевича, Константин с веселым видом выключил радиолу.

— Конный базар закрыт. Передайте Томочке, что в ее возрасте джаз разрушающе действует на нервную систему. Скажите ей, что это цитата из солидного медицинского автора.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В седьмом часу он, как обычно, встречал Асю возле метро «Павелецкая».

В наступающие предвечерние часы он не мог оставаться дома — томила бездейственная тишина зимних сумерек,— и Константин испытывал нетерпение скорее увидеть ее, радостно и быстро выходившую в толпе из дверей метро и с улыбкой берущую его под руку: «Костя, дурачина, ты давно меня ждешь?» — и эти почти при-

вычные по интонации слова ее постоянно вызывали в нем какую-то всегда новую и невнятную боль, как только он локтем чувствовал Асину кисть в шерстяной перчатке.

Снег перестал, и была особая молодая чернота в небе, прозрачность и свежесть в воздухе и белизна на тротуарах, на заборах, на карнизах.

Метро весело-ярко пылало праздничным огнем электричества; за ним ровный свет магазинов спокойно лежал на белой пелене, но уже скребли на мостовых дворники, темнея ватниками в пролете улицы. Вместе с теплым паром метро поминутно выталкивало из себя спешащие толпы людей, и все длиннее вытягивались очереди на автобусных остановках и за «Вечеркой» около голой лампочки газетного киоска.

Люди не шли, а бежали мимо Константина, растекались в разные стороны от беспрестанно открывающихся дверей. Куда они спешили? Знали ли они то, что порой испытывали он и Ася? И Константин глядел на лица мужчин и молодых женщин, особенно ясно слышал голоса, смех и торопливое хрупанье снега под бегущими мимо него женскими ногами, иногда замечал короткие встречные взгляды — и, почти мучимый завистью, думал, что все они спешили или должны были спешить к тому, без чего не мог жить он и чего стеснялась и боялась Ася. «Мы заслужили это?..»

— Костя! Дурачок, ты давно?

Он вздрогнул даже, услышав ее смеющийся голос.

Ася сбегала к нему по ступеням, размахивая чемоданчиком. Подбежала, глаза радостно засветились, взяла его под руку, воскликнула:

— Ну, долго ждал, соскучился? Что ты такой... чертик с рожками... прямо не улыбнешься! Не рад? А то возьму и вернусь, буду спать в кабинете главного врача на диване.

Он улыбнулся ей.

— Ты хоть на жальчайший миллиметрик любишь меня?

Она посмотрела снизу вверх, и он увидел только ее молодо сияющие глаза, в глубине которых был смех.

— Ну, если метрически... то на жальчайший километрик! Согласен? Ну пошли, возьми мой чемодан. Мне будет приятно внимание.— Потом спросила чуть-чуть осуждающе: — Почему от тебя, дурачина, пахнет вином?

— Я никак не мог тебя дождаться, Ася.— И сейчас же он полушутливо добавил: — Бывает, когда я не могу тебя дождаться.

— Не оправдался! Сентиментальность не учитывается. Это в последний раз. Есть?

— Слушаюсь,— сказал Константин.

Они шли по Новокузнецкой улице, мимо деревянных заборов, пахнущих холодом метели, мимо глухо запорошенного школьного бульвара за низкой оградой.

Асина рука легонько и невесомо лежала под локтем Константина, и предупредительно сжимались пальцы, когда он делал чересчур спешащий шаг, а он хотел, чтобы ее пальцы сжимались чаще, лежали ощутимой тяжестью под его локтем, хотел чувствовать каждый ее шаг, движение ее рядом. Он думал: «Любит ли она меня?» — и с тревожным вниманием видел и себя и ее как бы со стороны: себя — тридцатилетнего парня с усиками, в щеголеватой кожаной куртке, эдакого видавшего виды опытного малого; ее — тонкую, в узком пальто, с зеркально-черными нелгущими глазами; и, будто глядя так со стороны, улавливал любопытные взгляды прохожих на Асе — и молчал против обыкновения.

Ася тронула его за рукав.

— Почему ты сегодня ничего не спрашиваешь?

— Не могу смотреть на тебя и говорить одновременно. Не получается синхронности.

— Но ты как-то странно смотришь на прохожих. Особенно на женщин. Они улыбаются тебе. Это интересно — почему?

— Я смотрю на тебя и на прохожих. Знаешь, о чем они думают?

— Кто — эти женщины?

— Они думают, что я соблазняю тебя. Они принимают меня за потрепанного донжуана, тебя — за десятиклассницу.

— Но у меня накрашены губы,— сказала Ася.— Теперь я буду их красить еще больше. Это спасет тебя. Согласен?

Он ответил опять полусерьезно:

— Зачем? Пусть будет так. Я просто действительно очень соскучился по тебе. Если бы ты запоздала на десять минут, я бы поехал в поликлинику. За тобой.

— Какой ты странный, Костя, бываешь!

Ее рука выскользнула из-под его локтя. Ася почти машинально слепила на железной ограде бульвара комок пухлого снега, задумчиво подержала его в перчатке и бросила за ограду в косые тени на фиолетовых сугробах. Фонарь невидимо светил там, где-то в высоте деревьев.

— Костя,— негромко сказала она.— Ты веришь, что ты — мой муж! И что я — твоя жена? Веришь?

«Зачем она спросила это?» — подумал он и почувствовал, как стала неприятно горячей колючесть шерстяного шарфа, жавшего шею.

— Нет, Костя, ты ответь,— повторила она.— Ты веришь? Я спрашиваю серьезно.

— Я?

— И я...— вполголоса проговорила Ася.— Я даже не представляю иногда: ты, Костя,— мой муж? — Она стояла перед ним, вся вытянувшись.— Прости, Костя, я никак не привыкну... А ты?..

— Да,— сказал он.

— Вот видишь, Костя, как все ужасно получается... Ты бы вот сейчас просто поцеловал меня, а ты стесняешься. И я. А разве муж и жена этого стесняются! Нет, нет, нет! — заговорила Ася быстро, как будто преодолевая препятствие.— Прости меня. Я даже иногда боюсь идти домой... потому что... потому что... ну ты понимаешь... А разве это должно быть? — Она смотрела ему в грудь.— Господи, я никода не знала... Что-то не так, Костя. Я не умею... не научилась, наверно, быть женой. Я все время помню, что ты друг Сережи, что ты... Почему это? Какая-то глупость, Костя, прости! Я просто не умею, как другие женщины. Я дура, дура — и больше ничего. Ты, конечно, не все понимаешь?

— Да,— повторил он по-прежнему, глядя ей в растерянное лицо.

— Идем, а то на нас оглядываются,— сердито сказала Ася и взяла его под руку.— Мы соберем толпу. Лучше уж играть в снежки или делать какую-нибудь глупость! Пусть тогда смотрят.

Они пошли, но уже не было у Константина того недавнего возбуждения от праздничной чистоты запорошенных улиц, не было той радостной боли ожидания, когда он встречал Асю,— мигом изменилось, точно стерлось все после этих ее слов, которых он всегда опасался. Константин хотел заставить себя сказать просто и ясно то, что не стоит говорить об этом, что он не может и одно-

го дня жить без нее и поэтому не имеет права обижаться.

Но он сказал, выдавливая слова, застревавшие в горле:

— Ася... верь себе и делай, как ты хочешь...

— А ты? А ты? — с досадой перебила Ася.— Ты же старше меня, ты же мужчина... Объясни ты — я выслушаю все.

— Я сам не научусь быть мужем. И я виноват в этом.

— Что же тогда делать? Что же? Это ужасно, если мы начинаем об этом говорить! Счастье, говорят, муж и жена. А ты разве счастлив? — спросила она с той твердостью, как будто ждала ответа: «Несчастлив».

— Я? Да,— глухо проговорил он и, помолчав, спросил резко и фальшиво: — Ну а ты, Ася?

— Самое страшное, что я не знаю...

Они завернули за угол. Сухо поскрипывал снег в переулке.

— Асенька, родная, это просто чепуха невероятная,— с натянутой улыбкой сказал Константин.— Дичь и чушь.

Она ответила нахмурясь:

— Нет, это неполноценность. Я чувствую... Но я никакая не женщина. И никакая не жена, Костя!

— Мы уже дома,— сказал Константин, испуганно как-то взглянув на ворота.— Я должен... Я схожу за сигаретами. Прости, Ася. У меня кончились сигареты. Я сейчас...

Он осторожно высвободил ее кисть из-под локтя, повернулся и пошел назад, ожидая за своей спиной ее оклика, но не услышал. Дуло метельным холодом из темноты бульвара, а весь переулок был в чистой пороше, и отпечатались на ней свежие следы — его и Асины.

«Зачем она говорила это? Зачем?» — подумал он и без всякой цели зашагал к перекресткам, к огням в любой час оживленной Пятницкой, особенно узкой в этом месте, постоянно заполненной народом, уютно горевшей окнами, отсвечивающей зеркалами парикмахерских, стеклами пивных киосков.

Справа, в глубине тихого и провинциального Вишняковского, зачернела полуразрушенная церковка, проступала в звездном небе куполами, и теперь с притупленной остротой мельком он вспомнил то, что произошло прошлой ночью. «А было ли это? Да черт с ним, что было! Главное другое!»

Константин толкался по Пятницкой среди кишевшей здесь толпы, незнакомых лиц, мелькающих под витринами, среди чужих разговоров, заглушаемых скрежетом трамваев, среди этого вечернего, непрерывного под огнями людского потока, старался точно вспомнить причину возникшего между ними разговора, но не находил нити логики, и возникал, заслоняя все, жег вопрос «Не может быть!.. Значит, у нее другое ко мне, чем у меня к ней? «Не знаю». Она сказала: «Не знаю». Страшнее этого ничего нет! Пике... А стоит ли выводить машину из пике?»

Он глотал крепкую свежесть морозного воздуха. Было ему жарко. И саднящe щипало в горле. Он все медленнее и бесцельнее шагал по тротуару навстречу скользящему мимо него течению толпы.

Да, конечно, нужно было купить сигарет. У него были сигареты, но надо, надо было запастись. Обязательно купить.

На перекрестке Климентовского и Пятницкой он зашел в деревянный павильончик — не слишком пустой в этот час, не слишком переполненный,— протиснулся меж залитых пивом столиков к заставленной кружками стойке.

— Четыре «Примы».

— Костенька?..

Он взглянул. И не без удивления узнал в продавщице розовощекую Шурочку, работавшую когда-то в закусочной на бульваре; прежним, пышущим здоровьем несокрушимо веяло от ее лица, только слишком броско были накрашены губы, подчернены ресницы, а халат бел, опрятен, натянут торчащей сильной грудью.

— Костенька, никак ты, золотце? — беря деньги красными пальцами, ахнула Шурочка.— Сколько я тебя не видела! Чего ж ты! Женился небось? И дети небось?..

— Привет, драгоценная женщина, вновь ты взошла на горизонте, солнышко ясное! — сказал Константин, рассовывая «Приму» по карманам, обрадованный этой встречей.— А ты как? Пятеро детей? Парчовые одеяла? Солидный муж из горторга?

Они стояли у стойки, за его спиной шумели голоса.

— Да что ты, Костенька! — Шурочка прыснула.— Какой такой муж? Да никакого мужа, что ты!.. Откуда? — сказала она со смешком, а брови ее неприятно свело, как от холода.— Пьяница только какой возьмет!

— Не ценишь себя, Шурочка. Ты — красивейшая женщина двадцатого столетия.

— Пива хоть выпей, подогрею тебе. Иль водочки... Не видела-то тебя, ох, давно! Посиди. Как живешь-то? Совсем интересный мужчина ты, Костя!

Она торопливо налила ему кружку пива и аккуратно подала, разглядывая его, как близкого знакомого, своими золотистыми кокетливыми глазами, в углах которых заметил Константин сеточки ранних морщин. И вдруг поймал себя на мысли: уверенно считал себя еще совсем молодым, но тут ему захотелось очень внимательно посмотреть на себя в зеркало. Он подмигнул Шурочке дружелюбно и отпил глоток пива.

— Все прекрасно, Шурочка,— сказал Константин.— Знаешь, есть японская поговорка? «Тяжела ты, шапка Мономаха, на моей дурацкой голове». Крупицы народной мудрости. Алмазы. Японские летописи! Найдены в Египте. Времен Ивана Шуйского.— И он сам невольно усмехнулся, повторил: — На моей дурацкой голове.

Шурочка громче прыснула, все так же влюбленно глядя на Константина, сказала, махнув рукой перед своей торчащей грудью:

— Счастливый ты, Костя, веселый, шутишь все!

— Хуже, Шурочка.

— Инженером небось стал?

— Последний раз слышу. По-прежнему приветствую милицию у светофоров.

— Ах, какой ты! — не то с восторгом, не то с завистью проговорила Шурочка и, опустив глаза, тряпкой вытерла стойку.— Водочки, может, а? — И наклонилась к нему через стойку, виновато добавила: — Может быть, зашел как-нибудь, я здесь недалеко живу. За углом. Одна я...

— Александра Ивановна!

Кто-то приблизился сзади, дыша сытым запахом пива, из-за спины Константина стукнул о стойку пустой кружкой; белела кайма пены на толстом стекле.

— Александра Ивановна, еще одну разрешите? — В голосе была бархатная приятность, умиленное, бабьего вида лицо благостно расплывалось, добродушные щелочки век улыбчивы.— Еще... если разрешите...

Шурочка не без раздражения подставила кружку под струю пива, потом подтолкнула кружку к человеку с бабьим лицом, он взял и подул на пену.

— Благодарю, Александра Ивановна, чудесное у вас пиво.— Он ухмыльнулся Константину, извинился и отошел к столику.

— Кто это? — спросил Константин.

— Да не знаю, противный какой-то,— шепотом ответила Шурочка, наморщив брови.— Целыми днями тут торчит.— И договорила по-прежнему виновато: — Может, придешь, Костенька, а?

Константин грустно потрепал ее по щеке.

— Я однолюб, Шурочка. К сожалению.

— Ох, Костенька, одна ведь я, совсем одна...

— Рад был тебя видеть, Шурочка.

С треском дверей, с топотом вошла в закусочную компания молодых парней в каскетках, в обляпанных глиной резиновых сапогах — видимо, метростроевцы; здоровыми глотками закричали что-то Шурочке, загородили спинами, осаждая стойку, и Константин из-за их плеч успел увидеть ставшее неприступным Шурочкино лицо; она искала его глазами, со звоном передвигая на стойке пустые кружки. Он кивнул ей:

— Привет, Шурочка! Всех тебе благ!

Константин вышел из закусочной — из душного запаха одежды, из гудения смешанных разговоров,— жадно вдохнул щекочущий горло воздух, зашагал по Климентовскому.

Пятницкая с ее огнями, витринами, дребезжанием трамваев, беспрестанно кипевшей, бегущей толпой на тротуарах затихала позади.

Климентовский был тих, весь покоен; и была уже по-ночному безлюдной Большая Татарская, куда он вышел возле наглухо закрытых ворот дровяного склада; темные заборы, темные окна, темные подъезды. Лишь пусто белел снег под фонарями на мостовой.

Он пошел по улице — руки в карманах, воротник поднят, шагал нарочито медленно, ему некуда было торопиться сейчас.

«Такую бы Шурочку, кокетливую, красивую и преданную,— думал он, пряча подбородок в воротник.— Жизнь была бы простой и ясной, как кружка пива. Понимание, покой, обед, теплая постель... И все было бы как надо. Но все ли, прости меня, грешного?.. Ася, Ася, что же это?»

— Все спешат, все спешат... Бутафория!

Впереди, за углом дровяного склада, против уличного зеркала закрытой парикмахерской покачивался с пьяным бормотанием черный силуэт человека — он делал что-то, нелепо двигая локтями; похрустывал под его ботинками снег.

— Салют! — сказал Константин.— Вы, кажется, что-то ищете?

Человек этот, неверными жестами поправляя шляпу, вглядывался в зеркало, почти касаясь его лицом, говорил прерывистым сипящим баритоном:

— Ш-шля-ппа — это бутаф-фория!.. Бож-же мой, бутафория! — И качнулся к Константину в клоунском поклоне, едва устоял на ногах.— Добрый вечер, молодой челаэк! Я р-рад...

Лицо было властное, бритое, темнели мешки под глазами; пальто распахнуто, кашне висело через шею, не закрывая крахмального воротничка, спущенного узла галстука.

— Все спешили домой, к очагам и чадам... В объятия усталых жен,— заговорил человек.— В домашней постели в любовной судороге забыться до утра, уйти от насущных проблем. Дикость! Бутафория... Трусость! Философия кротов!..— Он горько засмеялся, его лицо исказилось, и не смеялось оно, а будто плакало.

Константин сказал:

— Банальный конец.

— Как вы?..— внимательно спросил человек.

— У всех бывали банальные концы,— ответил Константин.— Вы где-то здесь живете? Может быть, вас проводить? Я охотно это сделаю из чувства товарищества.

— Где я живу,— забормотал человек, угловатыми движениями обматывая кашне вокруг шеи.— На земле... Частичка природы, познающая самое себя. Когито эрго сум![1] Декарт. Смешно подумать! Сжигание самого себя во имя идеи. Свой дом, стол, кровать, жена... Сжигание! Боимся потерять все это. А он доказал...

— Кто? — спросил Константин.

— Человек. Профессор Михайлов. Он... Один из всего ученого совета... Он в глаза сказал декану, что тот бездарность и, мягко выражаясь, калечит студентов... А мы... мы предали его. Человека... Мы молчали... Во имя собственной безопасности. Мразь! Отвратительные животные.

---

[1] Мыслю, следовательно, существую! *(лат.)*

Молча похоронили светило с мировым именем. А Михайлов был вне себя. Он один декану заявил: «Вы вне науки, вы по непонятным причинам сели в это кресло, вы просто администратор в языкознании... вы... лжец, карьерист и догматик!» А мы... не смогли...

— Какого же черта? — пожал плечами Константин.— А впрочем, ясно. Идемте, я вас провожу.

— Вам незнакома, молодой человек, работа «Вопросы языкознания»? Истина уже не рождается в спорах. Нет столкновения мнений. Есть, мягко говоря, директива.

— Где ваш дом? Застегнитесь хотя бы.

— Простите, я дойду сам... Я должен дойти,— запротестовал человек и начал искать на пальто пуговицы.— Подлость живуча. Подлость вооружена. Две тысячи лет зло вырабатывало приемы коварства, хитрости. Мимикрии. А добро наивно, в детском чистом возрасте. Всегда. В детских коротких штанишках. Безоружно, кроме самого добра... Не-ет, добро должно быть злым. Иначе его задавит подлость. Да, злым! А я ученик профессора Михайлова. Я...

— Дойдете? — прерывая, спросил Константин.

Его раздражали вязкая цепкость слов актерски поставленного голоса, холеное лицо, круглые мешки под глазами этого незнакомого и неприятно пьяного человека.

— Бут-тафория,— выдавил человек, в горле его странно забулькало, лицо вдруг съежилось, и он, бросив под ноги шляпу, стал топтать ее ногами, вскрикивая: — Мы не интеллигенты, нет!.. Мы не интеллигенты. Мы не представители науки. Мы не соль земли. Мы не разум народа. Мы попугаи. Комплекс бутафории!

Константин смотрел несколько удивленно, а человек неожиданно вцепился в лацканы его куртки, прижал трясущуюся голову к его плечу, запахло одеколоном.

— Знаете,— Константин со злостью отстранился,— что я вам — жилетка? Рыдаете в меня? Вы профессору порыдайте! Какой вы там еще... разум народа? Идите спать. Ведь проснетесь завтра, будете вспоминать, что наговорили, тут и сами себя за шиворот к декану отведете. Привет, дорогой товарищ! — Константин сделал насмешливый знак рукой, зашагал по тротуару, не оборачиваясь.

На бульваре среди площади Павелецкого вокзала сел на торчавшую из сугроба скамью, снова подумал с тоской: «Ася, Ася. Что же это?»

Он сидел один на бульварчике, отдаленно скрипел снег, звучали голоса у освещенных подъездов вокзала, под вызвездившим небом разносились мощные гудки паровозов, а он не находил в себе сил встать, пойти домой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В коридоре не горел свет.

Константин в нерешительности постоял за дверью; он был уверен, что Ася спала, он хотел этого; потом вошел и так тихо опустился на диван, что пружины не скрипнули.

Слабый желтоватый ночник в углу распространял по стене сонный круг, и поблескивал кафель теплой голландки; необычным, настороженным покоем веяло от закрытой двери в другую комнату.

Константин разделся, постелил на диване и лежа закурил, поставил на грудь пепельницу. Потемки пластами сгустились под потолком, куда не проникал свет ночника, тишина стояла во всем доме, и доносился однообразный стук капель в раковине на кухне.

Ему нужно было уснуть. И он пытался думать не о том разговоре около метро, а о Шурочке с ее кокетливым лицом, о том пьяном человеке, яростно топтавшем свою шляпу возле парикмахерской, но все это ускользало куда-то, заслонялось пустынной площадью, квадратным низеньким человеком, его сильным курносым лицом, наклоненным над распластанным на мостовой телом,— и Константин сквозь наплывающую дрему услышал, как что-то стукнуло, упало на пол, и с мгновенным испугом подумал, что это пистолет выпал из бокового кармана...

— «Вальтер»...— прошептал он, круто перегнулся на диване, ткнулся пальцами в пол и увидел пепельницу, опрокинутую, блестевшую круглым донышком на полу.

И уже облегченно вытянулся, положил руку на грудь, в ладонь его туго ударяло сердце.

— Костя? — послышался Асин голос.

Он лежал, не снимая руку с груди, красновато-желтый перед закрытыми веками свет ночника колыхался волнами.

— Костя... ты не спишь?..

Он не ответил и не открывал глаз.

— Костя...— Шаги, легкое дуновение сквозняка по лицу.

Красный свет ночника стал темным — и Константин ощутил возле подбородка осторожный мятный холодок поцелуя, дыхание на виске; и молча, не открывая глаз, он протянул руки, с несдержанной нежностью скользнул по Асиным теплым плечам, по материи халатика, ища по ее дыханию губы.

— Ты только ничего не говори,— попросил он.

— Костя... очень злишься на меня? — прошептала Ася и тихонько прикоснулась щекой к его виску.— Я просто сама не знаю, что тебе наговорила!

— Асенька, обними меня. И — больше ничего.

— Костя, ты знаешь почему?

— Что?

— То, что будет...

Разомкнул веки — увидел близко ее неспокойно поднятые полоски бровей, ее оголенную шею и шевелящиеся, как будто вспухшие губы.

— Я боюсь этого... Я не сумею. Я становлюсь какой-то другой. Меня все раздражает. Я сама себя раздражаю.

— Асенька, но ты же врач... Ты должна знать. У тебя перестраивается организм. Я это сам читал в твоем справочнике. Я внимательно читал. Да о чем, Ася, я тебе говорю? Ты знаешь это лучше меня в тысячу раз.

— ...Перестраивается в худшую сторону. Мне кажется, что я не перенесу этого. И вместе со мной он.

— У тебя ничего не заметно, Ася... у тебя даже фигура не изменилась. Ты такая же, как была.

— Мне просто иногда страшно. За него. Очень.

— Ася, поверь, ничего не случится. Я совершенно уверен. Честное слово — все будет в порядке. Асенька, полежи со мной. И мне больше ничего не надо. Ты меня понимаешь немножко? Если бы женщины на этом свете хотя бы слегка любили и понимали мужчин, я бы поверил в бога.

— Зачем ты это говоришь?

— Глупость, конечно, говорю. Полежи, пожалуйста, со мной.

Ася легла рядом, легонько прижалась носом к его шее, сказала полувопросительно:

— Я полежу просто так.

— Да. У тебя холодный нос, девочка.

— Костя, кто такой Михеев? Он звонил два раза, говорил какую-то ужасную ерунду. Какими-то намеками.

Он завтра утром к тебе придет. Почему он должен прийти? Что-нибудь случилось?

— Нет.

— У вас никакого несчастного случая? Ты ничего не скрываешь?

— Нет.

Он приподнялся па локте и долго, задерживая дыхание, разглядывал ее лицо: одна щека прижата к подушке, возбужденные глаза скошены в его сторону ожидающе; и он будто только сейчас заметил, что кончик носа у нее чуточку вздернут — он поразился этому.

— Асенька,— шепотом проговорил Константин,— ты когда-нибудь чувствуешь, что ты...

— Дурак ты мой,— сказала Ася,— ужасный...

Она прикусила губу там, где он поцеловал, не отводя от его лица темных зрачков.

— Потуши свет,— попросила она.— Я тебя прошу.

Константин проснулся с чувством отлично выспавшегося и отдохнувшего человека, радостпый ощущением ясного и теплого утра, которое должно было быть в комнате, и, не размыкая глаз, наслаждался и молодым здоровьем своего тела, и бодрыми трелями трамвайных звонков на улице, и влажными шлепающими звуками за окнами (казалось, сбрасывают с крыш мокрый снег), и поскрипыванием рассохшегося паркета от легких шагов Аси по комнате, и приглушенно тихим голосом радио из-за стены — передавали гимнастику; а когда он открыл глаза, то на секунду зажмурился от совсем весеннего света и воздуха, который имел запах земляничного мыла, тончайшей пыли.

Была приоткрыта форточка над диваном,— едва видимыми тенями струился волнистый парок. Разбиваясь брызгами, позванивали капли по карнизу, и, загораживая низкое водянистое солнце, что-то темное летело сверху мимо оттаявших стекол, и раздавались под окпом плюхающие удары.

— Ася! — громко позвал Константин, потягиваясь.— Асенька, весна ведь, а? Как там у классиков? «Весна берет свои права...» Нет, эти классики — ребята молодцы!

А вся комната была в светлом тумане, и в нем, располосованном лучами, подле тумбочки с телефоном стояла Ася, в строгом рабочем костюме, который надевала

в поликлинику, теребила провод, говорила удивленным голосом:

— Да откуда вы говорите? Не нужно звонить — просто заходите... Опять твой Михеев,— сказала она, вешая трубку.— Представь, звонит из автомата в трех шагах от нашего дома. Он что — стеснительный такой?

— Асенька,— проговорил Константин.— Ты опоздаешь в поликлинику. Половина десятого. Кто стеснительный — Михеев? Чересчур осел, прости за грубость. Все напутал. Наверно, говорил с тобой одними междометиями?

— Я уже к нему привыкла вчера,— сказала Ася, откинув волосы; солнце отвесно било ей в лицо.— Я все же дождусь его... этого Михеева. Он меня заинтриговал. Просто любопытно: зачем он?

— Он неотразимый мужчина, ловелас, холостяк. И конечно, мушкетер. Это все у него есть. В избытке. Милый человек. Правда, Кембридж не кончал.

Константин, уже одетый, только не застегнута была байковая домашняя ковбойка, подошел к Асе, успокоительно поцеловал ее в край рта.

— Ася, я могу поклясться... Ну вот он, черт его подери! Наверно, будет просить подменить его. Как всегда.

Звонок толкнулся в коридоре, затрещал и смолк, и Ася, сейчас же выйдя и не закрыв дверь, звучно, быстро щелкнула в коридоре замком. Донесся как бы натруженный голос Михеева: «К Корабельникову можно?» — и откашливание, топот, и в вопросительном сопровождении Аси Михеев — в бараньем полушубке, шапка на голове — медведем шагнул в комнату, не глядя на Константина, а любопытно, вприщур озирая стены.

— Здоров, Константин. В постелях валялся?

— Привет, Илюша,— сказал Константин.— Поздравляю.

— С чем это?

— С весенней погодкой.

— Какая там весна! Закрутит еще.— Михеев покосился на Асю с явным неудобством от ее внимательного взгляда.— Извиняюсь, с вами это я по телефону?

— Да. Раздевайтесь и садитесь,— сказала Ася.— Давайте я повешу ваши полушубок и шапку.

— Да нет. Мне, значит... вот,— хмуро замялся Михеев и неловко снял шапку, вытер ею лоб.— Разговор... Промежду мною и вашим мужем.

Ася, отвернувшись, сказала:

— Ну, хорошо. Я пошла, Костя, не провожай.

— До свидания, Ася. Я буду встречать.

И когда вышла она и потом бухнула пружиной дверь парадного, Михеев все еще переводил немигающие птичьи глаза с неприбранного дивана на книжные полки, от буфета на коврик в другой комнате; коричневое его лицо словно застыло.

— Культурно живешь,— проговорил наконец Михеев.— Чисто, книги читаешь. А это жена твоя? Цыганочка, что ли? Нерусская? Так глазищами меня и стригла, ровно ножницами. Нерусская, так?

— Француженка,— сказал Константин.— Привез из Парижа до революции. Балерина из оперы, внучка Альфреда де Мюссе. Раздевайся, Илюша. Ты все же шофер такси, культуру, так сказать, в массы несешь!

— Ладно уж...

Михеев не снял полушубка, сел, оперся локтем об угол стола, пристально и заинтересованно продолжая осматривать мебель в комнате, задержал внимание на Асиных тапочках около дивана, заерзал на стуле.

— Если б я женился, покрепче женщину взял,— сказал он завистливым голосом.— Былинка больно — жинка твоя. Оно, конечно, дело понятия. Худенькие да интеллигентные — аза-артные! — И он вроде бы улыбнулся, на миг выказал зубы.— Говорят. Я сам это дело не уважаю.

— А я не уважаю, когда ты бросаешься в философию,— насмешливо проговорил Константин.— Так, дорогой знаток женщин, можно и промеж ушей схлопотать. Это я тебе обещаю.

И, перехватив взгляд Михеева, свернул, сунул постель в ящик дивана, задвинул тапочки под стол, спросил:

— Что новенького скажешь, Илюшенька?

Михеев, мрачнея, притиснул шапку к коленям, произнес, задетый тоном Константина:

— Ох, Костя, не ссорься со мной. Я тебе нужный человек. Насмешничаешь? Как бы не заплакал...

— Я же люблю тебя, Илюша. За широту натуры. За доброту люблю. Завтракать будешь? Есть «Старка».

Подумав, Михеев прерывисто втянул воздух через ноздри.

— Не пью я. Завтракал.— И переспросил угрюмо: — Что новенького, говоришь, Костя? Хорошо. Я вчерась позже тебя с линии вернулся. Туда, сюда, путевой лист,

деньги сдал. Курю. Глядь — начальник колонны выходит. И директор парка. Что-то говорят. У директора рожа — что вон эта стена. Белая. Стали осматривать машины. Ко мне подходят. Посмотрели «Победу». И вопрос: «Вспомните: на каких стоянках бывали?» Отвечаю. А начальник колонны: «В районе Манежной стояли?» — «Нет»,— говорю.

— А дальше?

— А что — дальше! — вскрикнул Михеев, захлебываясь.— Ночь не спал, все бока проворочал. Завтра в смену выходить, а никакой уверенности. Как теперь работать будем? И чего тебе надо было, дьяволу, этих сопляков защищать? Родные они тебе? А ты револьвер вытащил! Откуда револьвер у тебя?

Константин зажег спичку, бросил ее в пепельницу, потом вытянул указательный палец.

— Из этого можно стрелять, Илюша?

— Оп-пять двадцать пять! — с горечью выкрикнул Михеев.— Чего ты мне макушку вертишь? Без глаз я? Или уж за дурака считаешь?

— Думай что хочешь, Илюша,— сказал Константин.— Только представь себя на месте пацанов. Тебя бы дубасили, а я бы рядом стоял, в урну поплевывал. Как бы ты себя чувствовал, Илюша?

— А за что меня избивать? Не за что меня избивать!..

— Да не важно «за что», дьявол бы драл! — Константин вскипел.— Ладно, все это некстати! Не о том говорим!

Он замолк, теперь внутренне ругая себя за бессмысленную вспышку против Михеева, а тот глядел в окно — веки были красны, крупные губы поджаты страдальчески.

— Политика ведь это,— проговорил Михеев.— А знаешь, как сейчас... Во втором парке паренек один книжку в багажнике нашел. Ну и читать стал. А через неделю его — цоп! — и будь здоров. А за твою пушку, ежели раскопают...

— Какая пушка, Илюша? — перебил спокойно Константин.— О чем ты?

Михеев потискал шапку на колене, паклонил мрачное лицо к столу, повторил тоскливо:

— Политика это. Тебе, может, трын-трава, а мне — как же?

— Ты здесь ни при чем, Илюша,— сказал Константин.— Если что — отвечу я. И не думай об этом. Выбрось из головы. Не преувеличивай. Вспомни: никто нас не видел. Никого не было. Ни черта они нас не разглядели. Слушай, я жрать хочу — присоединяйся! Бутерброд сделать?

— Аппетиту нет,— простонал Михеев.— В горло не лезет.

— Заранее объявляешь голодовку? — Константин отрезал себе кусок колбасы, сделал бутерброд.— Тебе не пришлось воевать, Илюша?

— Начальника разведки фронта я возил. Генерала Федичева.

— Так или иначе. Артподготовки нет — сиди поплевывай на бруствер и наворачивай консервы в окопе. Тогда не убьют, не ранят, не контузят. Аппетит потерял — половины башки недосчитаешься. Все мины, брат, тогда летят в тебя. Арифметика войны, Илюша.

— Пропаду я с тобой,— проговорил Михеев.— Ни за чих пропаду. Какое у тебя отношение к жизни? А? Нету его! Беспутный ты, глупый, отчаянный человек! — Михеев вскинул багрово-красное лицо, зло глянул на Константина.— Вот сидит... и колбасу жует. Артиста изображает. И чего я связался с тобой, с дураком культурным! Разве у тебя какое стремление в жизни есть? Разве тебе в жизни чего надо? Вон в квартире все имеешь. С телефоном живешь! — Михеев, завозившись на стуле, презрительно и твердо договорил: — А я, может, в жизни больше тебя понимаю! И мне из-за тебя в каталажку? За красивые глазки твои?

Константин отодвинул стакан недопитого чая, подавляя внезапный гнев, произнес:

— Сопляк, дубина стоеросовая! — «Что я говорю? Зачем я говорю ему это?» — подумал он и, успокаивая себя, спросил иным, уже шутливым тоном: — Слушай, Илюша, ты коров видел? Ответь мне: почему корова ест траву, солому, хлеб, а цвет дерьма одинаковый?

— Ты чего? — испуганно вскинулся Михеев.— Глупые вопросы. Не знаю!

— Не знаешь, Илюша? Я тоже нет. Что выходит? В дерьме не разбираемся, а о жизни судим! Так получается? Значит, оба мы с тобой в жизни мало что понимаем. Только вот что, Илюша: никакого револьвера у

меня нет и не было. Не понимаю, почему ты заговорил об этом? Ну, черт знает что может показаться со страху! Нет, никакого револьвера нет! И прошу тебя, Илюша, успокойся ты!

Всматриваясь в угол куда-то, Михеев вдруг упрямо заговорил, шевеля крупными губами:

— Отнеси ты его... сдай куда надо. Покайся. Ведь простить могут все же: мало что бывает. Как к человеку пришел, посоветовать, может, опыта у тебя нет. Начнут копать это дело. Не таких ловют.

— Знаешь, а мне не в чем каяться и нечего относить,— ответил Константин.— Пойми же меня наконец, Илюша!

— Ну что ж... Я по-человечески хотел посоветовать,— выдавил Михеев и надел шапку, насунул ее плотно на лоб.— Я, видно, политику больше тебя понимаю... Жареный петух тебя еще не клевал, видать! — Расширяя дыханием ноздри, спросил тихо: — Ты что ж, может, меня соучастником считаешь?

— Нет. Ты тут ни при чем.

— Бывай. Ладно. Шито-крыто.

— Ну будь здоров, Илюша! Договорим на линии!— Константин похлопал его по плечу.— Пока! И не думай ты об этом!

Однако он никак не мог успокоиться после того, как с насупленным лицом ушел Михеев, а потом, полчаса спустя, все шагал по комнатам, морщился, подробно, по деталям вспоминая весь разговор с ним, и, чувствуя приступ горечи от совершенной им сейчас ошибки, он вновь начинал подробно вспоминать свои слова, как будто хотел найти неопровержимые доказательства собственной правоты и неправоты.

«Я не так разговаривал с ним? Я должен был его убедить. Он все видел, он все знает,— думал Константин неуспокоенно.— Нет, в этом уже невозможно сомневаться. Нет, не смог я его разубедить, да как это можно было?»

Все окно не по-зимнему горело солнцем, шлепали капли по карнизу, сбегали по стеклу; ударял по сугробам сбрасываемый с крыши снег.

«Хватит. Сейчас я ничего не придумаю. Поздно. Принять ванну, побриться — и все будет великолепно. Все будет отлично! Лучшие мысли приходят потом».

Константин перебросил банное полотенце через плечо, а когда вышел в коридор, из кухни семенящей рысцой выкатился Берзинь в широких смятых брюках, в опущенных подтяжках; шипящая салом сковородка была выдвинута в его руках тараном, от нее шел пар.

— Томочка, Томочка, я иду! Вы посмотрите, Костя, на эту ленивую девчонку. Нет, я шучу, конечно. Уроки, танцы. Пластинки! Я сам в молодости спал как слон. Сейчас будем завтракать! Ох, если бы жива была ее мать, Костя!..

Тамара — дочь его, совсем юная девушка, заспанная, еще не причесанная, золотисто-рыжие волосы спадали с одной стороны на помятую подушкой щеку,— выглянула из двери бывшей быковской квартиры, сделала брезгливую гримасу.

— Па-апа, ну зачем так кричать? Просто весь дом ходуном ходит от твоего крика! Неужели ты не понимаешь?

И, заметив Константина, смущенно спохватилась, откинула с лица непричесанные волосы, ахнула, прикрыла дверь.

— Да стоит ли... в самом деле? — с неестественной беспечностью сказал Константин и, не задерживаясь, прошел в ванную.— Все будет хенде хох, Марк Юльевич...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Стояла оттепель.

В переулках снег размяк, потемнел, протаял на тротуаре лужицами, в них косматo и южно блестело предмартовское солнце, дуло мягким пахучим ветром, и в тени, в голубых затишках крылец осевшие сугробы были ноздревато испещрены капелью. Влажный ветер листал, заворачивал подмокшие афиши на заборах, по-весеннему развезло на мостовых.

Константин возвращался домой после ночной смены, шел по проталинам, под ногами разлетались брызги, голый местами асфальт дымился на припеке, и было тепло — он расстегнул кожанку, сдернул шарф.

Вид улиц, уже не зимних, с оттаявшими витринами магазинов, с зеркалами парикмахерских (сквозь стеклянные двери виден покуривающий швейцар у вешалки),

утренние булочные, пахнущие сухим ароматом поджаристого хлеба; красный кирпич облупленных стен; полумрак чужих подъездов; голуби, стонущие на карнизах, хаотичная перспектива мокрых московских крыш под зеленым небом — все это успокаивало и одновременно будоражило его. Он прочно считал себя человеком города. Он любил город: весеннюю суету улиц, чемоданы у гостиниц, вечерние светы окон в апреле, ночные вокзалы, прижавшиеся пары на набережных, теплый запах асфальта в майских сумерках, людское скопление возле подъездов театров перед спектаклями и поздними киносеансами, любил провинциальный конец зимы в замоскворецких переулках.

Константин дошел до Вишняковского, прищурясь от вспыхивающих зеркал луж, взглянул на старинную церковку, над куполами которой возбужденно носились, кричали галки. Ветер влажно погромыхивал вверху железом, а внизу — запустение, прохладные плиты, темный, старый камень под солнцем в белом помете птиц, почернел снежок на ступенях.

«Вот здесь я хотел спрятать пистолет, в этой церковке,— подумал он вдруг весело.— И кажется, чуть не поторопился. Все идет как надо. Слава богу, все кончилось, все успокоилось, как ничего и не было. Значит, все прекрасно!»

На углу Новокузнецкой он зашел в автоматную будочку — всю мокрую, на нее капало сверху, грязные стекла были в потеках,— быстро набрал номер поликлиники.

— Анастасию Николаевну. Кто спрашивает? Представьте, профессор, муж,— сказал он в трубку, разглядывая натоптанный пол; а когда минуту спустя услышал Асин голос, даже засмеялся.— Аська... Бросай все, скажи, что твой дурацкий муж ошпарился чем-нибудь. Бывает? Конечно. Уважительная причина. Выложи ее профессору — и ко мне. Я брожу по лужам. И доволен. Взгляни-ка в окно. Вы там оторвались от жизни! Окончательно. Ничего не видите, кроме порошков хины. Ты чувствуешь весну?

— Костя, ты с ума сошел! — строго сказала Ася.

— Совершенно съехал с катушек. Бесповоротно. И на вечные времена. От весны. У меня даже температура. Тридцать девять и шесть! По Фаренгейту. По Реомюру. И Цельсию, кажется? — И Константин договорил с

нежным упорством: — Представь, что я соскучился... Я жду тебя.

— До свидания, Костя,— сказала Ася спокойно: видимо, в кабинете была она не одна.

— Целую. Кто там торчит около тебя? Профессор? Судя по голосу — у него довольно дореволюционная бородища и отчаянная лысина. Так?

— Хорошо,— ответила она и помолчала.— Пока! Я все-таки задержусь.

— Все равно я соскучился, как старый пес, Аська! Напиши это крупными буквами на своих рецептах, ясно?

Он вышел из будочки на влажный воздух улицы, на капель, на брызжущее в лужах солнце.

В коридоре против двери стоял деревянный чемодан, рядом — галоши. Войдя в сумрак коридора, Константин задел ногой за этот чемодан, удивленно чертыхнулся, и сейчас же мелькнула радостная мысль: приехал Сергей!

Расстегивая куртку, он вбежал на кухню, но она была пуста, он снова повернул в коридор — и в это время навстречу отворилась дверь Берзиня: Марк Юльевич, излучая сияние, кивал на пороге, делал приглашающие жесты.

— Костя, сюда, пожалуйста, сюда! Я услышал, как вы пришли. К вам гость! Вас не было дома, ждал у нас! Пожалуйста! Я рад! Томочка — тоже.

— Ко мне — гость?.. Кто?

— Заходите, заходите

Константин вошел.

В комнате за столом сидел сухонький человек в помятом пиджачке: полосатая сорочка, немолодое морщинистое лицо с узким подбородком неровно и распаренно краснело после выпитого горячего чая.

Константин вопросительно взглянул на кивающего Берзиня, на Тамару, молча сидевшую в кресле (свернулась калачиком, подперев кулаком щеку), спросил неуверенно:

— Вы... ко мне?

— Вохминцев, значит, ты? — натягивая улыбкой подбородок, проговорил человек и встал, показывая весь свой маленький рост, выставил через стол руку.— Вроде похож и непохож на папашу. Я — Михаил Никифорович,

стало быть. Здравствуйте! Разговор для вас серьезный есть. Издалечка, можно сказать... Вот, значит, в каком смысле. Сынок?

И его высокий, какой-то намекающий голос, взгляд прозрачных синеньких глаз разом кольнули Константина ошеломляющей догадкой, и он, мгновенно подумав о Николае Григорьевиче, сказал поспешно:

— Здравствуйте! Идемте ко мне... Я не сын Вохминцева. Я муж дочери Николая Григорьевича.

— Спасибо за чаек, спасибо.

Михаил Никифорович вышел из-за стола, пожал руку Берзиню, потом Тамаре, которая рассеянно протянула лодочкой пальцы, и семенящей, но уверенной походкой, в поскрипывающих сапогах последовал за Константином.

— Оттуда вы? Давно приехали? — спросил Константин уже безошибочно, когда через несколько минут он усадил Михаила Никифоровича за стол и тотчас достал из буфета водку.— Вы... Откуда вы?

— Паспорток бы, извиняюсь, ваш глянуть одним глазком, значит,— своим высоким голосом сказал Михаил Никифорович, скромно, с руками на коленях, сидя на диване, чуть возвышаясь над столом своей жилистой фигуркой.— Выпить я могу, так сказать, культурно... До шибачки не пью, а так, конечно, ежели нет никаких других горизонтов. А паспорток так... ежели вы зять с точки зрения законного брака.

Константин не без удивления достал паспорт и глядел, как он медленно читал, долго всматривался в штемпель о браке, а затем сказал официально строго:

— Извиняюсь, Константин Владимирович. Дело сурьезное... Я вас никак видеть не должен. Я в командировке здесь, то есть на двое суток...

Константин, не отвечая, чокнулся с рюмкой Михаила Никифоровича, выпил и так же молча пододвинул ему тарелку. Смешанное чувство любопытства и опасения удерживало его от первых вопросов, и он убеждал себя, что спрашивать и говорить сейчас нужно как бы между прочим, случайно, уравновешенно.

Михаил Никифорович прикоснулся к рюмке с воспитанной осторожностью — мизинец оттопырен,— вдруг сурово нахмурился и, запрокинув голову, вылил водку в горло, тут же деликатно сморщился, стал неловко сильно тыкать вилкой, царапая ею по тарелке. И, жуя, полез во внутренний карман пиджачка, из потертого портмоне

вытянул смятый и сложенный вдвое конверт, подал Константину.

— Ежели сына, значит, нету по обстоятельствам, вам письмецо. От Николая Григорьевича. Да-а... Просил передать лично семье. Передайте, говорит, а вас там примут, стало быть. Да-а...

И Константин не мог унять дрожания пальцев, разрывая конверт: положил письмо на стол, медленно разгладил грязный тетрадный листок, испещренный карандашными строчками, падающими книзу, к обрезу листка,— карандаш в нескольких местах прорвал бумагу.

«Дорогой мой сын! Ася не должна этого знать, поэтому я обращаюсь к тебе.

Я все же надеюсь, что через десять лет увижу вас. Теперь я, как многие, жду одного — узнать, что с вами, дорогие мои. Одно слово, что вы живы и здоровы, может изменить в моей жизни многое. Я тогда смогу ждать, надеяться и жить.

И вот что ты должен знать. В Москве 29 января была очная ставка с П. И. Б. Это было нечеловеческое падение и еще одного человека... (зачеркнуто), которого я считал коммунистом... Но поверь мне, что я все выдержал.

Главное — передай Асе, что я жив, и поцелуй ее крепко. Береги ее.

Обнимаю тебя. Твой *отец*.

Сообщать мой адрес бессмысленно.

Напиши несколько слов и передай тому, кто передаст тебе эту записку».

Константин сложил письмо, но сейчас же вновь, будто не веря еще, скользнул глазами по фразе: «В Москве была очная ставка с П. И. Б.» — и помедлил, остановив взгляд на этой строчке, почувствовал, как кожу зябко стянуло на щеках.

— Что ж, выпьем?

Михаил Никифорович, в ожидании пряменько сидевший на диване, только сапоги поскрипывали под столом, отозвался высоким голосом:

— С вами-то чего ж не выпить! Ежели по единой! — И руки снял с колен, волосы пригладил преувеличенно

оживленно.— У нас горькая — страсть редко, по причине далекого движения железной дороги и так и далее. Больше бабы на самогон жмут без всяких зазрений домашних условий. Со знакомством!

И выпил, опять деликатно сморщившись, покрутил головой, понюхал корочку хлеба, передергивая бодро, живо локтями.

— Хор-роша горькая-то!

Константин посмотрел на его повеселевшее личико, на грубые, темные, узловатые кисти, на вилку, которую он держал неумело, но уверенно, и его поразила мысль, что, наверно, человек этот — надзиратель, что Николай Григорьевич находится под его охраной, и, сразу представив это, с усилием спросил:

— Вы охраняете заключенных?

Михаил Никифорович жевал, взглядывая на Константина, как глухой.

— Курил сигаретку-то...— Он вытер под столом руки о колени и взял из пачки сигарету аккуратно.— Сладкие бывают, да-а... (Константин чиркнул зажигалкой.) Эх, зажигалка у вас? Очень, можно сказать, культурная штука. А бензин как?

— Я шофер.— Константин показал удостоверение, раскрыл его затем перед Михаилом Никифоровичем, перехватывая его взгляд, добавил: — Вы не бойтесь, я не трепач. Просто интересно. Ну, много там у вас... заключенных? В общем, если не хотите, не отвечайте. Выпьем лучше. Вот, за вашу доброту.— И он прикоснулся к письму на столе.

Наступило молчание.

— Шофер, значит, ты? — Михаил Никифорович, натягивая улыбкой подбородок, вдыхал дым сигареты, прозрачные синенькие глаза светились блестками.— А вид у тебя ученый... Очки на нос — ну что профессор...— Он тоненько засмеялся.— Вредный народ-то, однако, профессора, знаешь то или нет, Константин Владимыч? Ай тут ничего не знают? С виду соплей перешибить можно, а все против, откровенно сказать, трудового народа. Вот что я тебе скажу, ежели ты простой шофер и должен понимать международную обстановку. Враги народу...

— Кто враги? Профессора?

Михаил Никифорович сделал жестким лицо, на лбу проступили капли пота, заговорил строго:

— Пятилетки, значит, и строительство, подъем рабочей жизни и колхозы, значит. Читают нам лекции, объясняют все хорошо... А они, профессора, прекрасно образованные, против гениального вождя товарища Сталина. Я что тебе скажу, послушай только,— внезапно поднял голос Михаил Никифорович.— Убить ведь хотят, каждый год их ловят. То там шайка какая, то тут. Фашистов развелось в городах-то ваших — плюнуть негде! И везут их, и везут, день и ночь. Местов уже нет, а их везут... Ни сна, ни покоя. Чтоб они сдохли! Вот что я тебе скажу, Константин Владимыч, человек хороший... Каторжная у нас работа! Не жизнь, нет, не жизнь. Убег бы, да куда?

— Сочувствую,— сказал Константин, прикуривая от сигареты новую.

Видно было — Михаил Никифорович сильно захмелел, обильно влажным стало его лицо; его синенькие глаза смотрели не улыбчиво, а искательно, вроде бы сочувствия просили у Константина; узел галстука нелепо сполз, расстегнутый воротник рубашки обнажил темную хрящеватую шею.

— Какая же это жизнь? — снова заговорил он страдальческим голосом.— Ну, чего это я болтаю, а? Ну, чего болтаю, дурья моя голова! — залившись тонким смехом и мотая волосами над лбом, крикнул Михаил Никифорович.— Ну, скажи на милость — интерес какой! Язык болтает, голова не соображает, горькая, видать, в темечко шибанула! Никакого тут интереса нет, Константин Владимыч! Совсем жизнь наша неинтересная!..

— Вы рассказывайте,— сказал Константин.— Я слушаю...

— А чего рассказывать! — перебил Михаил Никифорович, качаясь хмельно и смеясь.— Не жизнь у нас, нет, Константин Владимыч! Звери мы, что ли? А? Ведь не звери мы!.. Вы мои мысли уважаете? Или непонятное говорю?

Легши грудью на стол, Михаил Никифорович потянул Константина за рукав, пьяно замутненные глаза его, короткие серые ресницы заморгали, и Константин в эту минуту с ощущением острого комка в горле невольно отстранился, тотчас же взял свою рюмку и выпил двумя глотками водку, проталкивая ею этот комок в горле, спросил:

— ...А как Николай Григорьевич? Николай Григорьевич...

— Очень, можно сказать, хорошо.

Михаил Никифорович тоже опрокинул в рот рюмку; вздыхая, пожевал корочку хлеба, после высморкался в носовой платок, зажимая по очереди ноздри.

— Люди там, скажу тебе, разные бывают: один — зверем косится, другой — можно сказать, с пониманием.— Тщательно вытер покрасневший носик, затолкал платок в карман.— Когда на даче, то есть, по-вашему сказать, в карцере, сидел, я ему кусок хлеба, а он мне: «Спасибо, вы же от себя отрываете». Как человеку. Мы обхождение понимаем, не звери, Константин Владимыч. Какого заядлого когда и постращаешь, чтобы, значит, не особенно. А кому и скажешь: мол, понимай отношение справедливости жизни: кормят тебя, вражину, поят, одевают — чего же тебе, шляпы на голову не хватает, такой-сякой! А к вашему тестю уважение есть, уважают его: сурьезный, молчит все.

— Как его здоровье? — спросил Константин.

— Очень, можно сказать, хорошее. Два раза в госпитале лечили его,— ответил Михаил Никифорович.— Вернулся — хорошо работал, не отдыхал даже. Об этом, так сказать, сомлеваться нельзя. Месяц назад повел его к пункту, чего-то у него закололо. Фершел, тоже человек сознательный, постукал, говорит: «Ничего здоровье...»

— Он никаких лекарств не просил... чтобы вы привезли?

— Лекарств-то?

Михаил Никифорович встрепенулся неожиданно, выражение пьяной расслабленности сошло с его влажного лица, покрытого красными пятнами. Он обеспокоенно глянул на будильник, отстукивающий на тумбочке, задвигал плечами и локтями, точно бежать собрался, крикнул высоким голосом:

— Это же время-то сколько! Беседа — хорошо, а дело забыл, пустая голова! Опоздаю я в магазины — баба начисто со света сживет! — И захихикал, все двигаясь на диване.— В универмаг мне надо в ваш! Бе-еда! Просьба у меня к вам, Константин Владимыч, вот, значит, совет ваш... По секрету сказать, никакая командировка у меня сурьезная, а в Москву за одеждой и так далее, двое суток мне дали...

Он суетливо вытащил из потертого портмоне зеленый листок бумаги, развернул перед собой на скатерти озабоченно.

— Купить мне надо, можно сказать. Жене — полушалок, куфайку шерстяную, детишкам — ботиночки, пальтишки, брату — сапоги хромовые. Из продуктов: сахару — пять килограммов, чаю — восемь пачек, колбасы — два килограмма, конфет — один килограмм. Где все это закупить можно, Константин Владимыч? Совет прошу. На два дня я из дому только!

— Где думаете остановиться?

Константин, отъединяя слова, спросил это, в то же время думая об Асе, об этом почти необъяснимом присутствии Михаила Никифоровича здесь, в доме, о длинных темных разговорах его, вызывающих тупую боль в сердце; и не отпускало его едкое ощущение удушья.

— Сродственников у меня в Москве никого. А с Николаем Григорьевичем разговор был... Ночку мне только и переночевать, ежели вы...— с заминкой проговорил Михаил Никифорович, виноватой улыбкой натягивая подбородок, и Константин прервал его:

— Хорошо. Одевайтесь. Пойдем в магазин. Я покажу... где купить!

Письмо отца Ася читала не в присутствии Михаила Никифоровича, она с испугом пробежала первую строчку, молча ушла в другую комнату, закрылась на ключ и там затихла.

Константин, не без колебания решивший показать письмо, хмуро прислушиваясь, сбоку поглядывал на дверь и машинально подливал водку Михаилу Никифоровичу — после магазинов ужинали в десятом часу вечера.

Михаил Никифорович, довольный покупками, согретый до пота водкой, которую пил безотказно, устроясь на диване среди разложенных вещей, пакетов с сахаром, кульков и свертков, вытирал платком осоловелое лицо, возбужденно обострял слипающиеся глаза, борясь с дремотой.

— Дети, конечно, за родителев страдают,— говорил, прочищая горло кашлем, Михаил Никифорович.— И женщины, жены то есть. А разве они виноваты? Скажем, отец супротив власти делов наворотил, а они слезьми умываются.

«Каких же делов наворотил Николай Григорьевич?» — хотелось усмехнуться Константину и жестокими, как удары, словами объяснить, рассказать о честности Николая Григорьевича, о давних взаимоотношениях его с Быковым; и когда он думал о Быкове, что-то нестерпимо злое, бешеное охватывало его. «Быков,— думал он, плохо слушая Михаила Никифоровича.— И Ася, и Сергей, и Николай Григорьевич, и я — всё Быков, всё от него... И это письмо и надзиратель. И Николай Григорьевич — враг народа. Что докажешь! Да, Быков... Всё и от него и не от него. Очная ставка — знали, кого вызывали! Ах, сволочь! Что же это происходит? Зачем? Очная ставка? И поверили ему, хотели ему поверить!..»

— Женщины очень уж страдают...— говорил Михаил Никифорович, и размытым серым цветом звучал его голос.— К эшелонам повели колонну, несколько сотен. И тут, значит, такая несуразица случилась. Недалеча от товарного вокзала бабы откуда ни возьмись — из дворов, из закоулков, из-за углов к колонне бросились. Кричат, плачут, кто какое имя выкликает. Они, значит, к тюрьме из разных городов съехались, прятались кто где. Ну, крик, шум, плач, бабы в колонну втерлись, своих ищут... Конвойные их выталкивают, перепугались, кабы чего не вышло до побега. Затворами щелкают... И — прикладами. Командуют колонне: «Бегом, так-распротак». Побежала колонна, баб отогнали прикладами-то. И тут, слышу, один заключенный слезу вслух пустил, другой, вся колонна ревмя ревет — бабы довели, не выдержали мужчины, значит. Кричат: «За что женщин? Дайте с женами проститься!» А разве это разрешено? Не положено никак. А ежели какой побег? Конвойные в мат: «Бегом! Бегом!» Как тут не обозлиться?

— Перестаньте! — послышался ломкий и отчужденный голос Аси.

Она вышла из комнаты, стояла у незакрытой двери.

— Перестаньте! — повторила она брезгливо.

Сухими огромными глазами Ася глядела на сморщенное сочувствием, потное лицо Михаила Никифоровича, сразу замолчавшего растерянно; в ее опущенной руке белел конверт, и Константин особенно отчетливо заметил — как кровь — чернильное пятнышко на ее указательном пальце. И быстро посмотрел ей в глаза, спрашивая взглядом: «Что? Что?»

— Передайте отцу это письмо, если сможете! — сказала Ася холодно.— И, если не трудно, ответьте мне одно: он здоров? Я врач и хочу послать лекарства... с вами. Но я должна знать.

— Очень даже, можно сказать, здоров.— Михаил Никифорович зачем-то незаметно потрогал детское пальто на диване.— Так и велел передать он. А что у нас? У вас газы, автомобили, дышать невозможно, а у нас воздуху много. Очень даже много. Для детей хорошо. Продувает. Скажу вам так. Перед отъездом ходил я тут с Николаем Григорьевичем, то есть папашей вашим, в медпункт...

И Константин, чувствуя, как от слов этих больно начинает давить виски, вмешался:

— Ася, он здоров, Михаил Никифорович мне подробно рассказывал. Нужно обязательно нитроглицерин. В сорок девятом у него болело сердце.

— Это я знаю,— сухо сказала Ася.— У меня на столе, Костя, я приготовила все лекарства.

Она повернулась и вышла в свою комнату, не простившись с Михаилом Никифоровичем даже кивком, и он, ощутив, видимо, ее ничем не прикрытую неприязнь, засовывая оставленное Асей письмо в кожаное портмоне, произнес с ноткой обиды:

— Очень сурьезная... жена ваша.

Он вздохнул глубоко и шумно, потупясь, снова украдкой пощупал, помял полу лежавшего на диване детского пальто и, оставшись довольным, начал тереть колени под столом.

— Лекарствов, можно сказать, не надо бы,— внушительно, солидно заговорил он.— У нас кто этими лекарствами баловать начинает — залечивается до больницы.

— Завтра я отвезу вас на вокзал,— сказал Константин, давя сигарету в пепельнице.— Вот вам подушка, простыня. Устраивайтесь. Спокойной ночи.

Ася уже лежала в постели — ладонь под щекой, возле, на подушке — развернутая книга,— не мигая, смотрела в стену, на зеленоватый круг от ночника.

Константин разделся и лег рядом, после молчания сказал:

— Теперь мне кое-что ясно.

— А мне — ничего, ни-че-го...— шепотом ответила Ася, водя пальцем по зыбкому пятну света на обоях,—

был виден краешек ее напряженного глаза, поднятая бровь.— Боже мой, Быков, очная ставка... И этот надзиратель у нас в квартире. И хоть бы что... Все смешалось. Как же так можно жить? — Она оперлась на локоть; глаза, отыскивая взгляд Константина, требовательно блестели ему в глаза.— Ты слышал, что он говорил! Я не могу это представить. Что-то делается ужасное... Почему, Костя? Для чего?

— Асенька,— проговорил Константин.— Можно, я потушу свет?

Он погасил ночник и опять лег на спину, подложив кулаки под голову, чернота сжала комнату, лишь лунный свет холодной полосой упирался в подоконник, как зеркалом, отбрасывал блик в тень потолка; из-за стены доносилось всхлипывание, свистящее дыхание носом. Где-то во дворе гулким отзвуком хлопнула дверь парадного.

— Он спит,— с отчаянием сказала Ася.— Ты видел, как он трогал руками это детское пальтишко? Неужели у него есть дети?

— Трое.

— Нет. Если так — тогда страшно! Если бы ты знал, как я ненавижу Быкова и тех... кто поверил ему! Нет, хоть раз в жизни я хотела бы посмотреть всем им в глаза! Именно в глаза!..

— Ася...— тихо сказал Константин.

Он прижался лицом к ее груди и, мучаясь от ощущения своей беспомощности сейчас, робко обнял ее и, зажмурясь, лежал так некоторое время, потираясь губами о ее пахнущую детской чистотой шею.

— Асенька... ты плохо меня знаешь. Я знаю, что делать,— убеждающе сказал Константин.— Этот Быков еще пострижется в монахи. Так должно быть на этом свете. Нет, он еще поваляется у меня в ногах. Я знаю о нем все, чего никто не знает. Вот этого только я хочу!

Она быстро отвернула лицо, шепотом сказала в стену:

— Не надо, не надо этого говорить! Не смей! Ты меня не понял. Я не хочу, чтобы оклеветали и тебя. Ты теперь не один! Ты ничего не должен делать, ни-че-го!

В полночь Константин встал; лунный косяк передвинулся по комнате — теперь твердо освещал стену, были

видны цветы обоев. Свет этот был так беспокоящ, вливал такое холодное безмолвие в комнату, что Константин, одеваясь, улавливал дыхание Аси сквозь шуршание своей одежды.

«Не надо, не надо, ты теперь не один!» — звучало в его ушах, как заведенный моторчик. Он никак не мог заснуть, и давящая усталость бессонницы шумела в голове. Тогда, после этих слов Аси, Константин вдруг почувствовал неожиданную отчаянную растерянность, какую-то рвущую душу нежность к ней, к этим словам ее, а после, когда она заснула, он, боясь повернуться, изменить положение, чтобы не разбудить ее, лежал в липко окатившем его поту, замлело, затекло все тело; и когда, измучась, отгоняя лезшие в голову мысли, с расчетом взвесить все, что могло быть, поднялся в полночь, решение было неотступно ясным.

«Еще ничего не случилось,— убеждал он себя.— Она боится за нас. Еще ничего не произошло. Пистолет... Спрятать надежнее пистолет. Немедленно. Сейчас, сейчас. Почему я не сделал этого раньше?»

Он опасался разбудить Асю, заскрипеть дверцами книжного шкафа и, осторожно открывая, приподнял створки — они тоненько скрипнули в тишине комнаты,— отодвинул книги и достал толстый том Брема: как в дыму, гладко поблескивал в нем под лунным светом «вальтер».

Он сунул его во внутренний карман пиджака, колющим холодком ощутил грудью плоскую тяжесть, оглянулся через плечо на тахту — Ася спала. Постоял немного.

И опять, опасаясь скрипа двери, на цыпочках поспешно вышел в другую комнату, но здесь натолкнулся на отлетевший стул, заваленный грудой одежды, поставленный перед порогом. Сразу оборвался храп, и взлохмаченная тень, фистулой свистнув носом, вскочила на диване, из окна высвеченная косым столбом луны,— Михаил Никифорович испуганно вскрикнул:

— А? Кто?

Константин, от неожиданности выругавшись, запутался ногами в одежде, упавшей на пол, торопливо стал подымать ее, в тот же миг тупо зашлепали по полу босые ноги — он, нахмурясь, выпрямился с чужим пиджаком в руках.

Михаил Никифорович в исподней рубахе, в кальсонах, синей тенью возник перед ним, выкатив остекленные страхом и луной глаза, повторил одичало:

— Ты что это? А? Как можешь?

И рванул к себе пиджак из рук Константина, смял его в горстях, проверил что-то, твердой ощупью скользнул по карманам, все повторяя одичалым голосом:

— Ты что же, а? Как можешь? Документ тут был, а? — И охватил Константина за локти.

— С ума сошли, черт вас возьми! — Константин резко перехватил жилистые кисти Михаила Никифоровича и зло оттолкнул его к дивану. Тот с размаху сел, откинувшись взлохмаченной головой.— Вы что — опупели? Сон приснился? — шепотом крикнул Константин.— Какие документы? А ну проверьте их! Какого черта стул у двери ставите? Забаррикадировались?

— А? Зачем? — прохрипел Михаил Никифорович и, уже опомнясь от сна, отрезвев, посунулся на диване, желтые руки замельтешили над пиджаком, достал зашуршавшую бумажку, жадно вгляделся в нее под луной. И затем, странно поджав худые ноги в кальсонах с болтающимися штрипками, потерянно забормотал: — Это что ж я? С ума тронулся? Аха-ха-ха! Извините, Константин Владимыч, извините меня за глупые слова...

— Тише вы! Жену разбудите! — не остывая, выговорил Константин.— Спите лучше! И положите пиджак под голову, если боитесь за документы. А дверь не баррикадируйте!

— Извиняюсь, извиняюсь я...

Константин повернул ключ в двери, вышел в темный коридор, не зажигая света, прошел в кухню, тихую, лунную. Здесь, успокоясь, подождав и выкурив сигарету, намеренно спустил воду в уборной, несколько минут постоял в коридоре.

Затем на носках приблизился к порогу своей квартиры.

Всхрапывание, посвистывание носом доносились из комнаты. «Позавидуешь — он все же с крепкими нервами»,— подумал Константин.

Потом, вслушиваясь в шорохи спящей квартиры, отпер дверь в парадное.

Через двадцать минут вернулся со двора.

Он спрятал «вальтер» в сарае, под дровами.

Утром Константин поймал такси в переулке, повез Михаила Никифоровича на вокзал. По дороге мало разговаривал, зевал, делая вид, что плохо выспался и утомлен, изредка поглядывал на Михаила Никифоровича в зеркальце.

Тот молчал, вытягивая узкий подбородок к стеклу.

Возле подъезда вокзала Константин облегченно и сухо простился с ним.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Когда Константин вошел в насквозь пропахший бензином гараж — в огромное здание времен конструктивизма тридцатых годов, с уклонными разворотами на этажи, вразнобой гудевшими моторами перегоняемых машин, с шумом, плеском воды на мойке, около которой вытянулись очередью прибывшие «Победы»,— он увидел в закутке курилки человек семь шоферов заступающей смены.

Стояли, сидели на скамье перед бочкой, покуривали, лениво переговаривались — как всегда, отдыхали перед линией.

Белое морозное февральское солнце отвесно падало сквозь широкие стекла.

Михеев сидел на самом краешке скамьи, теребил Константинову шапку, заглядывал внутрь ее, казалось — не участвовал в разговорах; круглое, плохо выбритое лицо было угрюмым.

— Привет лучшим водителям! — сказал Константин, здороваясь со всеми подряд, а Михеева еще и ударил весело по плечу.— Как, Илюшенька, настроение? Что ты видишь в донышке моей шапчонки?

Слова эти вырвались почти непроизвольно, однако он произнес их с испытывающим ожиданием, Михеев резко вскинул глаза на него, узко сомкнул пухлые губы, и Константин так же неожиданно для себя сказал оживленно:

— Недавно под настроение махнулись с Илюшей «головными приборами». Он оторвал мою пыжиковую, а я его — заячью. Пришлось ее поставить на комод, как клобук мыслителя. Показываю соседям по квартире. Ажиотаж. Крики «ура». Выломали дверь. Был запрос из Исто-

рического музея. Не успеваю снимать телефонную трубку. Что делать, братцы?

В курилке засмеялись. Михеев, не разжимая губ, молчал, кончики его ушей, полуприкрытые волосами, заалели, ярко видимые под солнцем.

— За мной, Илюша, в воскресенье сто граммов с прицепом и даже с двумя,— произнес Константин, сел между Михеевым и пожилым шофером Федором Плещеем, удобно развалившимся на скамье.

— Его на маргарине не проведешь. Он тебя, Костя, разгуляет на твои деньги! — отозвался Плещей и скосил на Михеева глаза, ясные, независимые.— Ну, выдай-ка, Илюха, последнее сообщение. Стоит ли масло покупать в магазинах и лекарство в аптеках? Ну? Откровенно! Сплеча лупани! Ты хорошо обстановку в стране понимаешь.

Было Плещею лет сорок пять, тяжелый, крупный, даже грузноватый, с уже белеющими висками — от фигуры его, от умного и как бы неотесанного лица веяло самоуверенностью человека, знающего себе цену.

Работал он когда-то в грузчиках и, может быть, вследствие этого и его нестеснительной прямоты, особенно густого баса, звучавшего иногда на все этажи гаража, сумел прочно и независимо поставить себя в парке.

— Так как же, Илюха? — повторил Плещей.— Масло можно покупать — или отравили его... эти самые? Или разве одну картошку можно? Расскажи-ка! Что говорил мне — сообщи всем. Полезно для высокой бдительности. Мы, брат, разных пассажиров возим. Ухо надо пристрелять. Ну, нажми на акселератор — и рубани за жизнь! И все станет ясным!

— Вы всегда разыгрываете и преувеличиваете, Федор Иванович,— сказал шофер Акимов, сдержанно обращаясь к Плещею.

— Добряк! — захохотал Плещей.— Иисус Христос ты, Акимов!

Михеев поерзал, обеспокоенно перевел глаза на Акимова, на лицо Плещея, потом на молча раскуривавшего сигарету Константина.

Акимов — бывший летчик,— без шапки, светловолосый, в короткой, на «молниях» меховой куртке, стоял, прислонясь к бочке, с серьезной задумчивостью покусывая спичку. Сказал:

— Ну что мы все время Илюшу разыгрываем? Зачем?

— Майор милиции вынул лупу и посмотрел на физиономию пострадавшего,— вставил дурашливо Сенечка Легостаев.

С бутылкой молока в руке Легостаев топтался на цементном полу, легонько выбивал щегольскими полуботинками чечетку и в перерывах отпивал из бутылки — подкреплялся перед линией. Младенчески розовый лицом Сенечка выглядел старше своих лет из-за вставных передних зубов, делавших его лицо наглым и отчаянным.

Сенечка кончил выбивать чечетку, навалился сзади на плечи Акимова, ухмылкой выказывая стальные зубы, спросил:

— Слушай, Илюшенька, а не... этих ли отравителей у нас искали? Директор и механик по машинам шастали, опрашивали насчет стоянок и всяких происшествий?

Константин быстро посмотрел на Легостаева.

— Что, всех? — Константин пожал плечами.— Меня нет. Бог миловал от разговора с начальством.

— Да и тебя сегодня кадровик искал,— отхлебнув из бутылки, добавил Легостаев.— И конечно, Илюшу. С самого утра бегал тут Куняев. Но тебя-то наверняка повышают, Костя! И Илюшу — как чикагского детектива. Дадут пару «кольтов». Пиф-паф! Налет на аптеки!

— Уверен — повышают. А почему нет? — сказал Константин.— Давно жду министерский портфель. Но только вместе с Илюшей. Отдельно не согласен.

«Значит, его вызывали? — взглянув на угрюмо молчавшего Михеева, подумал Константин.— Его... Значит, меня и его. Обоих...»

— Сопи, сопи, Михеев,— снисходительным басом произнес Плещей.— Это помогает. А у меня, знаешь, дети масло едят. У меня четверо пацанов. С аппетитом.

«К кадровику? — думал Константин.— Вызывали в отдел кадров? Зачем? Для чего я понадобился?» И уже смутно слышал, что говорили рядом, но, успокаивая себя, по-прежнему сидел, невозмутимо развалясь на скамье между Михеевым и Плещеем, цедил дымок сигареты.

— Да что вы, друзья, атаковали Илюшу? — сказал удивленным голосом Константин.— Парень он — гвоздь. Молоток.

Плещей поддержал Константина своим внушительным басом:

— Во-во, почти все знает, как в аптеке!

— Пресс! — согласился Легостаев и хохотнул.— Сам видел: в пельменной он масло жрет, аж затылок трясется на третьей скорости.

— Что напали, отбоя нет! — внезапно зло огрызнулся Михеев и неуклюже встал, напружив шею.— А ты, Легостай, молчи! Знаю, как пассажиров под мухой с бабами знакомишь! С простигосподями... Чего ощерился? — Обернулся к Плещею: — Говорить с вами нельзя, Федор Иванович! Странно вы как-то разговариваете!

И пошел, раскачиваясь, к машинам, надевая на ходу шапку, оттопыривая ею алеющие уши.

— Обиделся, никак,— за что, кореш? — крикнул Легостаев и зашагал вместе с ним, размахивая бутылкой, стал что-то объяснять, снизив голос.

— Ну что вы сердите парня? — сказал Акимов умиротворяюще.— Есть люди, которые не понимают шуток,— ну и что? Я с ним одну комнату снимаю. Во Внукове. Честное слово, он обижается.

— Молоток, говоришь? — Плещей, точно не расслышав Акимова, двинул плечом в плечо Константина.— Молоток, да не тот. Не обтешется никак. Трепло! — Он постучал пальцем по скамье.— А? В Москве, говорит, мальчиков в родильных домах умерщвляют. Врачи, мол, и все такое. Все знает. Спасу нет. Орел — вороньи перья. Так, Костя, или не так?

— Не совсем уверен, Федор Иванович.

— Вы очень его прижимаете в самом деле, Федор Иванович,— вставил миролюбиво Сенечка Легостаев, подходя.— Больно он злится на ваши слова... Переживает. Ну его в гудок!

— Чихать я на обиды хотел, Сенечка, левой ноздрей через правое плечо! Мещанскую темнотищу из него выколачивать надо! — без стеснения грудным басом загремел Плещей.— В затишках говорить не умею. Не мышь я, Сенечка, чтоб под хвост шуршать!

— Не совсем уверен, Федор Иванович,— повторил Константин.

— Это в каком смысле? — не понял Плещей.

— В том же... Значит, меня вызывали в кадры?

— Я-то тебя не разыгрываю! Давай к Куняеву! — крикнул Легостаев.— Повышают, видать, студентов!

Отдел кадров находился в самом конце коридора.

Сюда из гаража слабо проникал подвывающий рокот моторов, здесь всегда была тишина с запахом пыли, засохших чернил, с таинственным шуршанием бумаг на столах. Здесь шоферы невольно снижали до шепота крепкие голоса — всех овеивало непривычной официальной устойчивостью, стук пресс-папье чудился секретным и значительным, как и поставленная печать на справке.

В то время, когда Константин постучал: «Можно?» — и излишне уверенно дернул зазвеневшую стеклом дверь, начальник отдела кадров Куняев в старом, из английского сукна кителе сидел за простым двухтумбовым столом (на плечах серели невыгоревшие полосы от погон), листал папку, разглаживал листы, скуластое лицо было неподвижным, прямые пепельные волосы свешивались на лоб.

— Вызывали? — спросил Константин и бесцеремонно бросил шапку на облезлый сейф.— Кажется, вы интересовались мной, если я не ошибаюсь!

— А, товарищ Корабельников! — Куняев, весь подтянуто плоский, встал, смягчаясь одними серыми сумрачными глазами.— Все шутки шутите, это даже хорошо. Как работается? Садитесь.

Заученно он правой рукой поправил полы кителя, левая — протезная, в кожаной перчатке — мертво, неудобно уперлась в край стола.

— Это, товарищ Соловьев, наш шофер Константин Владимирович Корабельников,— сказал Куняев, кивнув куда-то в угол комнаты.

Константин, садясь, мельком глянул туда, различил между шкафами, за столиком в нише, сухощавого молодого человека в темном костюме; пальто и шляпа висели на гвоздике, вбитом в стену шкафа. Человек этот, читавший какую-то бумагу, приветливо ответил взглядом,— мягкая улыбка засветилась на его лице,— сейчас же подошел и сильно, дружелюбно потряс руку Константина тонкой и гибкой рукой.

— Очень приятно, Константин Владимирович.

И отошел к нише, снова принялся внимательно читать бумагу под дневным светом окна.

Константин сказал, преодолевая наступившее молчание:

— Слушаю вас.

Куняев положил локоть протеза на стол, опустил глаза к папкам и, поглаживая обтянутый кожаной перчаткой протез, спросил с шутливой фамильярностью:

— Как работается, товарищ Корабельников? Довольны?

— Мм... как вам сказать? Труд в свое время очеловечил обезьяну, товарищ Куняев.

— Хм!..

— Но в наше время является делом чести, доблести и геройства. Следовательно, я доволен. Зарплатой и своим начальством. И отделом кадров,— сказал Константин то ли насмешливо, то ли серьезно — можно было понимать как угодно.

Молодой человек у окна оторвался от бумаги и вынужденно заулыбался, и Куняев тоже слегка раздвинул губы, сказал:

— Ну, ну! Все шутите, товарищ Корабельников! Вот вас в парке за это и любят. Это хорошо. Умная шутка украшает жизнь... создает бодрое рабочее настроение. С шуткой, как говорится, работается веселее.

— Не всегда,— ответил Константин, испытывая смертельное желание закурить, особенно оттого, что на шкафу висело: «Курить воспрещается», оттого, что на столе Куняева не было пепельницы, оттого, что не мог нащупать цель этого вызова.

Его неприязненно настораживало, что Куняев против обыкновения был не один и, казалось, всем телом ощущал присутствие здесь молодого человека, который стеснял его, сбивал с обычного тона.

— Так вот... н-да... зачем я тебя вызывал,— стирая со скуластого серого лица не свою, а точно отраженную, заемную улыбку и сухо, как всегда, заговорил Куняев. И подал при этом Константину анкету из папки.— Уточнить кое-что хотел. Посмотри насчет наград. И насчет родственников. Точно у тебя? Все в порядке? Добавлений не будет? Каждый год анкеты уточняем. Никаких у тебя изменений? Если есть, впиши. Вон ручка.

Куняев сказал это и стал упорно глядеть в другую папку, занятый следующей анкетой, прямые волосы спадали на выпуклый лоб.

— Уточнить?..— Константин прикусил усики, подумал.— Угу.

— Читай анкету, товарищ Корабельников. Читай внимательно.

В голосе начальника отдела кадров прозвучало нечто раздражающе невысказанное, и Константин вопросительно повел глазами по анкете.

Давний почерк, синие домашние чернила, вспомнил: анкету заполнял еще в сорок девятом году. Он быстро нашел графу «Когда и чем награжден» — все ордена, медали были вписаны («Все в порядке, но что же?») — и следом отыскал вопрос о родственниках: «Есть ли репрессированные?» Здесь его почерком было написано: «Отец жены, Вохминцев Николай Григорьевич, арестован органами МГБ в 1949 году». «Так вот в чем дело!» Следствие длилось девять месяцев, и тогда он не знал, что Николай Григорьевич будет осужден на десять лет. Тогда еще не верилось! И он и Ася узнали об этом в пятидесятом...

«Что же — повторяется история с Сережкой? Значит, сейчас разговор пойдет о сокрытии истины? Этот молодой человек уточнил? Зачем он здесь? Так что же они будут говорить сейчас мне? Значит, за этим я и был вызван? Но почему... именно сейчас, сегодня, а не год, не пять дней назад? Почему сегодня?»

— Насчет наград — все правильно. Если, конечно, я не забыл вписать какой-нибудь значок вроде «отличный разведчик» или «отличный парень»,— сказал Константин, заставляя свои глаза блестеть невинно-весело в сторону строго поднявшего лицо Куняева.— Что касается графы о родственниках, то надо уточнить, если это требуется по форме. Отец моей жены, Вохминцев Николай Григорьевич, после девятимесячного следствия осужден особым совещанием на десять лет по статье пятьдесят восемь. Это я узнал в пятидесятом году. Впрочем, это не важно. Про анкеты вспоминаешь в исключительных случаях. Факт тот, что в графе этого уточнения нет. Разрешите вписать?

— Не важно, утверждаешь? Это как раз важно! — сухо произнес Куняев, из-подо лба взглядывая на Константина.— Чего уж тут шутки шутить. Не до шуток. Анкета — твое лицо. А лицо-то каждое утро умывают, а?

Константин с выражением непонимания сказал:

— Что меняет... если я впишу «осужден»?

Выпуклые скулы Куняева отвердели, белыми бугорками проступили желваки, и цветным карандашом он нервозно защелкал по протезу.

— Что — шестнадцать лет тебе? Мальчик?

И сразу посуровел, покосился в угол комнаты на молодого человека, сидевшего незаметно за чтением бумаг.

— Ты что — несовершеннолетний? Ответственности нет?

— Анкеты — всегда стихия,— вздохнул Константин.— Понимаю. Разрешите, я впишу сейчас?

Молодой человек отложил бумагу, провел ладонью по залысинам и, вроде только сейчас услышав разговор, ясным взором поглядел на Константина, на Куняева, сказал мягко, примирительным тоном:

— Бывает. Забыл товарищ Корабельников. Это поправимо. Впишет в анкету, и все в порядке. Правда ведь, товарищ Куняев? — Он с неисчезающей доброжелательностью, вежливо кивнул ему.— Извините, пожалуйста. Не разрешите ли нам поговорить с Константином Владимировичем минут десять? Вы, Константин Владимирович, в пять заступаете? Ну я не оторву у вас время.

Он подвинул стул, гибким движением сел напротив Константина, уже не обращая внимания на выходившего из комнаты хмуро-замкнутого Куняева, подождал, пока затихли шаги за дверью, и потом с той же предупредительностью, с какой тряс, знакомясь, руку Константина, заговорил мягким голосом:

— Надеюсь, вы не подумаете ничего плохого, если я буду с вами доверителен, Константин Владимирович. Пусть вас не огорчает эта пресловутая графа. В отделе кадров без бюрократизма, как говорится, не обойтись. Ну, осужден ваш родственник через девять месяцев следствия. Ну вы запоздали сообщить. Это ясно. Тем более он не ваш отец, только родственник. Простите... Вы, наверно, удивляетесь: «Кто это со мной говорит?»

Молодой человек ловко извлек из внутреннего кармана удостоверение, предложил его посмотреть Константину.

— Чтоб не было недоразумения, представлюсь. Моя фамилия Соловьев. Я инспектор по отделам кадров. Меня интересует, Константин Владимирович, вот что. Вы служили в разведке во время войны?

— Да. Это записано в анкете.

— Ради бога, забудем про анкету. Передо мной вы, живой человек, анкета — это бумага, так сказать.— Соловьев с извиняющейся полуулыбкой кончиком пальцев

прикоснулся к стаканчику, наполненному отточенными карандашами.— Вы всю войну служили в разведке? Именно в разведке?

— Да.

— И, судя по вашим наградам, вы были хорошим и, так сказать, смелым разведчиком, отлично выполняющим задания командования. Вы, наверное, не раз приносили полезные данные, различные сведения о противнике. Я вижу, вы любили свое дело, правда ведь?

— Разведчиком я стал случайно. Как многие на войне стали случайно артиллеристами, пехотинцами, штабистами и прочими.

Соловьев, улыбаясь, ласково перебил его:

— Я понимаю. Но я говорю о результате. Вы же на войне не меняли свою профессию? Значит, она вам нравилась? Константин Владимирович, сколько у вас наград?

— Шесть. Я уже сказал об этом товарищу Куняеву. В анкете — точно.

— Ради бога! — несильным своим голосом и предупредительно воскликнул Соловьев.— Вы опять об анкете. Я хочу говорить о жизни, а вы об анкете! — Он даже оттопырил нижнюю губу.— Я вас не утомил? Мне кажется, вы чересчур скромничаете, Константин Владимирович. Мне почему-то кажется, что у вас больше наград,— какое-то интуитивное, понимаете ли, чувство. Ведь почти каждый офицер-разведчик награждается или холодным оружием, или же... огнестрельным. Я тоже немного воевал, не так, как вы, конечно, по знаком... Приходилось... встречаться и с офицерами разведки.

— Вы хотите спросить, награждался ли я оружием? Это вас интересует?

«Михеев!..» — мелькнуло у Константина, еще не успевшего обдумать ответ, еще не успевшего нащупать все связи этого разговора, но чувствующего эти связи, и мгновенный страх незаметно и тихо надвигающейся опасности ожег его.

Этот приятно воспитанный Соловьев сидел перед ним дружелюбно, уронив на край стола сложенную лодочкой мраморно-чистую, без следов волоса кисть, лицо длинно, бело, интеллигентно, как у людей, имеющих дело с книгами.

Высокие залысины научного работника, доцента, над залысинами чуть курчавились барашком темные воло-

сы — узкий мысок над благородным лбом. И, излучая уважение, доверчивую внимательность к собеседнику, поминутно встречали взгляд Константина его мягко-карие, почти девичьи глаза. В этом лице, в голосе Соловьева не было острой опасности, мрачной темноты, скрытой предупредительными манерами,— а он вдруг представил себя в ином положении и в ином положении Соловьева — и, представив это и глядя на белую слабую руку на краю стола, покручивающую стаканчик с карандашами, он подумал еще: «Да! Он разговаривал с Михеевым...»

— Почему вы задали этот вопрос: награждался ли я оружием? — спросил Константин с наигранным изумлением.— Не понимаю вас, товарищ инспектор. Как говорили на Древнем Востоке: «Слабосильны верблюды моих недоумений!»

— Почему я задал этот вопрос? — корректно повторил Соловьев и смиренно наклонил голову, точно не желая замечать взгляда Константина и обострять разговора.— По долгу службы. Я обязан иногда просматривать старые документы времен войны. Простите, это не проверка, не подумайте лишнего! Это обязанность. Мне случайно попались в архиве ваши документы тысяча девятьсот сорок четвертого года. Мне непонятна ваша скромность, Константин Владимирович. В старой анкете отмечено вашей рукой, что вы награждены оружием, пистолетом «вальтер» за номером... одну минуту...— Соловьев скользнул кистью за борт пиджака, достал из кармана исписанный листочек бумаги.— Пистолетом «вальтер» за номером одна тысяча семьсот шестьдесят три,— добавил он ровным голосом.— Пистолет, разумеется, получен вами за храбрость, за проявленную доблесть. Так зачем же так скромничать, Константин Владимирович? Нужно было внести эту заслуженную награду в анкету. И все было бы кончено. То есть все встало бы на свои места. Вы могли его сдать или не сдать — это уже дело военкомата. Меня интересует чисто человеческая сторона. Зачем скрывать награду, заслуженную кровью?

— Я действительно был награжден пистолетом «вальтер»,— ответил Константин.— Но в сорок пятом году перед отъездом в тыл я сдал его в штабе дивизии в Будапеште. Следовательно, такой награды у меня нет.

Соловьев неслышно заложил ногу за ногу, охватил щиколотку двумя пальцами.

— У вас, конечно, есть документы о сдаче оружия?

— Какие могли быть документы в сорок пятом году, когда началось повальное движение славян на родину?

— Но... дается документ о сдаче наградного оружия. Именно наградного.

— В те времена подобные документы не выдавались. Все было проще.

Соловьев задумался на минуту; свет солнца из окна падал на его опущенные веки, на прозрачное от бледности лицо, четко просвечивал курчавый мысок над чистым высоким лбом, и этот жестко курчавый мысок почему-то бросился в глаза Константину, когда губы Соловьева выгнулись внезапно полумесяцем, блеснула улыбка, но уже насильственная, нетерпеливая — Константин заметил это по странному несоответствию черных волос и белых зубов.

«Михеев!.. Михеев!..» — опять подумал он с ледяным потягиванием в животе.

Соловьев вскинул глаза, спокойно, осторожно погрел ладонь на блещущем стекле, узенькая кисть была на вид бескостной, белела на столе, а он глядел в окно и продолжал улыбаться.

— Константин Владимирович,— заговорил он ласково,— наградное оружие — это ваша биография и это ваше дело. Ради бога, не подумайте, что это меня касается. Ради бога! Я готов забыть свои вопросы, простите великодушно. Но другое касается меня.— Рука Соловьева замерла на стекле.— Меня, как советского человека, и вас, разумеется, как советского человека и, если хотите, как бывшего разведчика, человека в высшей степени бдительного. Разведка — ведь это бдительность, я не ошибаюсь?

— Вы не ошибаетесь.

— Ну вот видите. И здесь, Константин Владимирович, мне бы очень хотелось чувствовать ваше плечо. Я говорю с вами очень откровенно. Вы — уважаемый человек, вас, как я знаю, любят в коллективе. Вы по образованию — почти инженер, начитанны, разбираетесь в людях...

— Не много ли достоинств вы записываете на мой счет? — сказал Константин.— Я ничем не отличаюсь от других. Вы меня мало знаете.

— Я вам верю, Константин Владимирович. Я от всей души... очень вам верю! — проникновенно, с подчеркну-

той доверительностью в голосе произнес Соловьев.— Нет, я не ошибаюсь. Я представляю людей вашего коллектива. Хорошие люди. Очень хорошие люди... Но... в последнее время поступают не совсем хорошие сигналы... Мы, советские люди, не должны смотреть сквозь пальцы на некую легкомысленность, аморальность. Как называют, темные пятна прошлого... Не так ли? Мы должны охранять чистоту советского человека, воспитывать... Вот, например, шофер Легостаев... Сенечка, вы его зовете...— Соловьев при слове «Сенечка», развеселившись, точно оттенил юмором имя «Сенечка», как бы пробуя его на вкус.— Веселый, хороший парень, верно ведь? А ведь что говорят: знакомит пассажиров с девицами легкого поведения, развозит их по каким-то темным квартирам... Правда разве это? Ну просто мальчишеская легкомысленность?.. Ну, что вы скажете об этом?

— Не знаю. Не замечал.

— Да, конечно, это не все знают,— согласился Соловьев очень охотно.— Да, да... С молодежью разговаривать по меньшей мере трудновато, тем более — воспитывать... Ох, молодежь, молодежь! Еще хочу посоветоваться с вами, проверить, что ли, Константин Владимирович. Сигналы тоже бывают ошибочны, неточны... Есть у вас... уже пожилой, уважаемый шофер, старый член партии Плещей Федор Иванович. Правда, что он груб, прямолинеен, резок, понимаете ли? Не так ориентирует коллектив... ну, в некоторых серьезных вопросах,— говорят, конечно, с преувеличением... Мне хотелось бы разобраться. Ну, как это так? Я слышал,— Соловьев беззвучно засмеялся, как смеются в обществе, давясь от услышанного мужского анекдота,— его даже... его ядовитого язычка... побаивается ваш директор... Гелашвили. Верно, а?

— Не знаю. Не замечал,— повторил Константин.

Его обматывала, туго и клейко опутывала паутина слов, тихо и ровно стягивающих, как невидимая сеть: в них не было ни осуждения, ни требовательного допроса — в них был только намек, смешливое, снисходительное любопытство немного знакомого с людскими слабостями человека, который не хочет ничего осложнять, ничего преувеличивать. Но сквозь текучую паутину слов, сквозь эти туманно мерцающие полувопросы Константин напряженно угадывал нечто такое, что не касалось уже его (это он ожидал все время разговора), а было ощущение, что его расчетливо и вежливо прощупывают, про-

щупывают его связи и отношения к Легостаеву, к Плещею; и Константин вдруг, ужасаясь своей смелости, похожей на опасную игру, прямо глядя в мягкие и ясные глаза Соловьева, спросил:

— А можно без езды по проселочным дорогам? Скажите, для чего этот разговор?

— Ну что ж, давайте,— живо и весело согласился Соловьев, а Константин, не ожидавший этого охотного согласия, с зябким холодком и напряжением во всем теле увидел, как зашевелились близкие губы Соловьева, потом услышал конец фразы: — ...понял, что вы достаточно умный человек! И я очень хотел, чтобы вы, именно вы, бывший разведчик, помогали нам...

— Кому — «нам»?

— Мне,— уточнил Соловьев, поправляясь.— Мне. Человеку, обязанному воспитывать людей, Константин Владимирович.

— То есть,— перебил Константин.— Тогда... что же я должен делать?.. Я не понял.

— Вы понимаете, Константин Владимирович,— произнес Соловьев и не спеша носовым платком чистоплотно провел по бровям, по ямочке на подбородке.

— Вы ошибаетесь,— вполголоса сказал Константин.— Должен вам сказать. Я работаю с отличными ребятами и ничего такого не замечал, не видел!

— Константин Владимирович! — с укоризненной мягкостью проговорил Соловьев и сделал расстроенное лицо.— Ай-ай-ай, я с вами разве ссорюсь? Разве был повод?

— Простите.— Константин поднялся.— Мне можно идти? У меня в пять — смена.

— Одну минуточку.— Соловьев тоже встал.— Потерпите одну секундочку.

Он тронул Константина за пуговицу, словно бы в раздумье покрутил, нажал на нее, как на звонок; мягкой доброжелательности не было на его лице, сказал твердо:

— Да, хорошие ребята. Не сомневаюсь. Но как вы относитесь к тому, что у одного из ваших шоферов есть огнестрельное оружие, которое он пускает в ход с целью угрозы? Как вы назовете это, Константин Владимирович? Потом разрешите еще вопрос. После войны вы работали шофером у некоего Быкова Петра Ивановича?

— Да, работал, а что?

— Вы не ответили на первый вопрос.

Безмолвно Соловьев склонил набок голову, точечки зрачков обострились, застыли, прилипнув к зрачкам Константина, этим молчанием и взглядом испытывая его.

— Вы, к сожалению, ошибаетесь, товарищ Соловьев! — глухо проговорил Константин, беря с сейфа шапку.— Вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Вы сами говорили: сигналы бывают ошибочны. Так разрешите мне идти?

Не отводя зрачков от лица Константина, Соловьев проговорил отчужденно:

— К сожалению, я уже ничем не смогу вам помочь. Если кое-что подтвердится! До свидания, Константин Владимирович. На этой бумажке мой телефон. Возьмите. Может быть, пригодится. Желаю вам счастливой смены. Надеюсь, этот разговор был между нами...

«Вот оно что!» — подумал он.

В парке не было ни Плещея, ни Акимова, ни Сенечки Легостаева — выехали на линию.

Знакомый звук моторов, не прекращаясь, толкался в стекло, в цементный пол, в стены; эхом хлопали дверцы; усталой развалочкой шли шоферы от прибывавших из рейсов машин, толпились возле окошечка кассы, считали деньги, бережливо вытаскивая их из всех карманов, держали путевые листы; нехотя переругивались с дежурным механиком, щупающим царапины на крыльях, ударяющим носком ботинка по скатам. Были обычные будни, к которым Константин привык, которые были такими же естественными, как сигареты в кармане.

Но Константин, выйдя из коридора отдела кадров, сразу почувствовал какое-то резкое смещение, какую-то угловатую и тоскливую неверность предметов, испытывая странное отъединение от всего этого, точно и звуки, и голоса, и машины, и лица шоферов, и солнце в окнах — все было временным, непрочным, не закрепленным в своей привычной реальности.

«Михеев! — подумал он, ища глазами.— Да, Михеев!»

И Константин даже обрадовался: «Победа» Михеева ожидала на выезде, и он стоял тут же, была видна спина его, широкий и сильный наклоненный затылок. Чистой тряпочкой он аккуратно протирал капот, закраины крыль-

ев, но локти его двигались сонно, и спина, обтянутая полушубком, чудилось, тоже спала.

«Вот он, не уехал! Вот он...»

— Люблю я тебя, Илюша, и сам не знаю за что! — проговорил Константин и сзади уронил руку на плечо Михееву.

Тот, вскрикнув, испуганно обернулся, длинные волосы щеткой легли на воротник, зеленоватые глаза округлились.

— Ты... зачем меня?.. Ты за что?

И Константину показалось — тот ждал его.

— Ничего страшного. А все же мне кажется, что ты сволочь, Илюшенька! — сказал Константин, не отпуская напрягшееся плечо Михеева.— Очень похоже! Я не ошибся?

Михеев вырвал плечо, ощетинившимся медведем отпрянул в сторону.

— Ты чего пристал? Сильный, что ль? — придушенно выкрикнул он.— Драться будешь? — И суетливым рывком раскрыл дверцу, схватил гаечный ключ на сиденье.— Не подходи! Я тебе — смотри! Оглоушу! Пристал!..

— Предупреждаю, заткнись!

Константин шагнул к нему, взялся за отвороты полушубка Михеева, с силой придавил спиной к дверце, так что тяжко рванувшаяся рука его, в которой был ключ, зацарапала по металлу,— и пошел к своей машине с невылитой, тошнотворной в эту минуту ненавистью к Михееву, к себе, к своему бессилию.

— Константин Владимирович!

Навстречу от курилки пробирался среди машин Вася Голубь, его сменщик, совсем мальчик, с мускулистой фигурой гимнаста; приблизился, сияя весь. Он грыз вафлю и начатую пачку протянул Константину:

— Подкрепитесь! Лимонная. Ждал вас, ждал! Запоздали. Я вам даже записку написал, в машине оставил. С драндулетом все в порядке, немного тормоз барахлит — подтянули. Возьмите вафлю, какие-то лимонные стали выпускать! Как у вас перед сменой?

— Прекрасное настроение,— сказал Константин.— Дай-ка попробую вафлю. Все хорошо, Вася.

Выехав из парка, он откусил кусок от вафли, вкус ее был приторно-вязок, душист, как тройной одеколон. Он выбросил вафлю в окно, закурил терпкую и горькую сигарету.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Нас, пожалуйста, на Тверской бульвар.

Он не взглянул на пассажиров, машинально переключил скорость. Потом донесся молодой басок, разговор и смех за спиной, но Константин не слушал, не разбирал слов — как он ни пытался после выезда из парка вернуть прежнее спокойствие, это уже не удавалось ему. Было ощущение рассчитанной или не случайно поставленной ловушки; он понял, что полчаса назад ему терпеливо, вежливо и настойчиво предлагали выход, однако — почему, зачем и для чего это делали, если знали, что у него было оружие? Тогда с какой целью испытывали его?

«Так ли все это?»

— Ты не смейся! Ну, какое же это зло, Люба? —послышался громкий голос с заднего сиденья.— Это же скорее добро! Поверь. Она поймет, что я не отнимаю тебя у нее...

«Зло?..— думал Константин, глядя на асфальт, мчавшийся под колеса островками блещущего под солнцем льда.— А что же — добро? «Добро»,— с неприязнью вспомнил он сморщенное, плачущее лицо человека, ночью топтавшего свою шляпу возле парикмахерской.— Именно... понятие из Библии. Белого, непорочного цвета.. Ангельской прозрачности голубиного взгляда, божественно воздетого к небу. И венец над головой, черт его возьми! Прав был тот, топтавший шляпу? Да, именно! А добренькое добро наивно, доверчиво, как ребенок, чистенько, боится запачкать руки. Оно хочет, чтобы его любили. Оно очень хочет любви к себе. И я хотел любви к себе, улыбался всем, ни с кем не ссорился, дайте только пожить! Быков... настрочил донос. Очная ставка! И — поверили!.. Но почему он спросил о Быкове?.. Изучал анкету? Наводил справки? Как это понять: «После войны вы работали с Быковым»?»

«Так что же? И с тобой так? Верить в чистенькое добро? И что же? Что же?»

Он очнулся оттого, что невольно глянул на пассажиров в зеркальце — в нем как бы издали дрожал пристальный взгляд девушки и гудел из-за спины убеждающий басок, особенно четко расслышанный Константином:

— Пойми, Люба, мама не будет возражать. Мы скажем ей все. У матери своя комната. Люба, ты должна жить у меня.

— Но я не могу, не могу! Я не хочу ссориться с твоей матерью. Мне кажется, она ревнует тебя ко мне.

— Люба...

В зеркальце возникла юношеская рука, поползла на воротник к подбородку девушки, и рыжая кроличья шапка парня надвинулась на зеркальце, загородила ее лицо, ее рот.

Константин сказал:

— Тверской бульвар.

Когда они сошли, он посмотрел им вслед. Они стояли на тротуаре, парень что-то быстро говорил ей, она молчала.

«А Ася... Ася! Как же Ася?»

Трое сели на Пушкинской площади — один грузный, головой ушедший в каракулевый воротник, щеки мясистые, лиловые от морозца, на коленях портфель с застежками на ремнях.

Отпыхиваясь, тучным своим телом создав на переднем сиденье тесноту, жирным баритоном сказал:

— Прошу нажать, уважаемый водитель!

— Нажму, если выйдет.

Грузный человек рассеянно покопался в портфеле, подал какую-то бумагу двоим на заднем сиденье, потом, мучаясь одышкой, начальственно заговорил:

— Ну и что же, что же, товарищ Ованесов? Вы считаете, что я волшебная палочка, что я вам из-под земли грейферные краны достану? Министр, только министр... Резолюция Василия Павловича — и пожалуйста! Выше Василия Павловича не прыгнешь — портки лопнут! Тр-ресь по швам — и по шее еще дадут!.. Ха, строители-мечтатели! Дети вы, дети! Расчеши вас муха!..

Молодой голос сказал сзади:

— Шахта будет пущена в эксплуатацию в этом году. Вы прекрасно знаете, что шахта союзного значения, с новейшим оборудованием. Шахта без грейферных кранов — чемодан без ручки, Михал Михалыч! Как вы предлагаете — лес вручную разгружать? Рабочим носить бревна под мышками? Ошибаетесь, мы не дети! Мы и зубки

можем показать, Михал Михалыч! Мы будем драться, Михал Михалыч.

В зеркальце — молодые вызывающие глаза с упрямством устремлены на грузного человека; тот захохотал, колыхнул животом портфель на коленях.

— Давай жми, Сизов, грабь, выколачивай, пиши письма! У меня пятнадцать новых шахт на шее, вот где! — Он похлопал себя сзади по каракулевой шапке.— Сроки! План! Проектная мощность! И все требуют, на горло наступают, дерут! Вы что ж думаете — я один решаю? Вам там, в Туле, хорошо, а мне, мне как?

Третий произнес:

— Вам лучше, как видно, Михал Михалыч.

— Что, что? — осерженно пробормотал грузный.— Как это — лучше? Строители-мечтатели!.. Что? Как? Хотите в план анархию ввести?

— Вы, кажется, из Тульского бассейна? — неожиданно для себя спросил Константин.— Как я понял.

— А? — Грузный повел глазами в его сторону.— Что такое? Давай знай, такси, в угольное министерство! Нечего тут прислушиваться, понимаешь!

Не меняя выражения лица, Константин спросил:

— Вы не двоюродный ли брат коммерческого директора Петра Ивановича Быкова? Вы хозяйственник, не правда ли?

— Малахольный... Нас везет малахольный шофер! Вы трезвы, товарищ? — Грузный пыхнул хохотом, придерживая на коленях портфель.— Какой еще Быков, драгоценный мой?

Константин сказал:

— Мне показалось. Извините, если ошибся. Площадь Ногина. Прошу вас. Министерство угольной промышленности. По счетчику. И ни копейки больше.

Он остановил машину у подъезда, насмешливо взглянул на грузного, завозившегося с полой драпового пальто — тот доставал деньги.

Они вышли. Грузный, заплатив точно по счетчику, зашагал по хрустевшему стеклу застывших луж — к подъезду, у широкой двери сердито-удивленно оглянулся, двое тоже оглянулись: Константин с бесстрастным выражением смотрел на серое здание министерства

На бульварах он обогнал «Победу» Сенечки Легостаева и притормозил машину, опустив стекло,— студеный воздух, металлически пахнущий ледком, мерзлой корой зимних бульваров, охолодил лицо. И тотчас Сенечка, заметив притершуюся рядом машину, нагловато ухмыляясь, крикнул в окно Константину:

— Как делишки? Живем?

— Пожалуй.

— Вечером, Костька, время найдешь? Хочу познакомить тебя! Прелестные девушки! — Легостаев сдвинул со лба шапку, моргнул на заднее сиденье.— Как, а? Первый класс!.. Глянь! Убиться можно!

— Знаешь что...

— Так как? А?

К стеклу из глубины сиденья наклонились, прислонясь щеками, два женских напудренных личика — одинаковые пуховые шапочки, кругло подведенные брови, чересчур алые губы выделялись вместе с расширенными вопросительными глазами. Одна из них, оценивающе сощурясь, равнодушно поманила пальчиком в черной кожаной перчатке, Константин усмехнулся, отрицательно покачал головой. И тогда другая, постарше, вздернув черные выщипанные брови, грубовато просунула кисть к щеке молоденькой, ревниво отклонила ее от стекла и, засмеявшись Константину мужским смехом, поцеловала ее в губы.

— Как? Шик! Парижские девочки! — подмигнул Легостаев восхищенно.— И такие по земле ходят! Дурак ты женатый, Костька!

— Я бы тебе посоветовал бросать все это к чертовой матери! — сказал Константин.— Ты это понял?

— Чихать я хотел! К чему придерешься? — крикнул Легостаев.— Пусть план с меня требуют! Чего бояться-то? Я человек честный!

— А я бы тебе посоветовал бросать это к черту,— повторил Константин.— Ты понял, Сенька?

— Живи, Костька!

«Победа» Легостаева свернула в переулок, и Константин, нахмурясь, поднял стекло — машину продуло жестким холодом, выстудило тепло печки; он подумал почти с завистью: «Сенечка живет как хочет. Что ж, когда-то и я жил так, не задумываясь ни над чем. Но тогда не было Аси, тогда ничего не было. Было только ожидание. Что же это со мной? Страх за себя? За Асю? Страх?

Может быть, опыт рождает страх? Привычка к опасности — вранье! Только в первом бою все пули летят мимо. Потом — рядом гибель других, и круг суживается...»

Он вывел машину на Манежную площадь и посмотрел на ресторан «Москва», испытывая щекочущий холодок в груди, затормозил в ряду машин у светофора возле метро, напротив входа в ресторан. Там, за колоннами, откуда от высоких дверей тогда ночью сбегали трое (он тогда увидел троих, как он помнил), сейчас никого не было. Только ниже ступеней толпа спешила к метро, переходила на улицу Горького, выстраивались очереди на троллейбусных остановках — обычная зимняя будничная толпа. И, глядя на толпу, он почему-то успокоился немного.

«Но Михеев... Соловьев...— подумал опять Константин с прежним тошнотным ощущением.— Почему он спросил о Быкове? Почему он напомнил о Быкове?»

Красный свет в светофоре скакнул вниз, перешел в желтый, перескочил в зеленый.

Ряд машин тронулся.

Руки его, от волнения ставшие влажными, вжались в баранку, привычно гладкую, округлую поверхность ее; и в это время кто-то запоздало выскочил из троллейбусной очереди, свистнул («Эй, эй, такси!»), но он проехал через перекресток на улицу Горького с облегчением, что не посадил никого.

На площади Пушкина свернул к стоянке такси — в очереди он был пятый,— вышел из машины купить сигареты. Он сунул деньги в окошечко табачного ларька, и, когда брал сигареты со сдачей, сбоку пьяно навалился, ерзая плечом, молодой парень в кепочке, осипло говоря: «Мне, трудящему человеку, «Беломор». И Константин, теряя мелочь, не увидел, не успел разобрать черты его лица, выругаться.

В десяти шагах от ларька, на углу, около телефонной будочки вполоборота стоял невысокого роста, с покатыми плечами борца мужчина в спортивном полупальто, читал, развернув газету, невнимательно пробегал строчки и одновременно из-за газеты взглядывал на площадь, на близкую стоянку такси,— и Константин почувствовал оглушающие горячие прыжки крови в висках.

Не попадая пачкой сигарет в карман, Константин пошел по тротуару, внезапно свинцовая тяжесть появилась в затылке, в спине, в ногах. Эта тяжесть тянула его

книзу, назад, непреодолимо требовала обернуться туда на угол, но он не обернулся. Он с правой стороны влез в машину, включил мотор и лишь тогда, преодолевая эту тяжесть в спине, в затылке, оглянулся назад. Человека в спортивном полупальто на углу не было.

«Все!..— подумал Константин.— Я не мог ошибиться!.. Что же это, что же? За мной следят? Может быть, я не замечал раньше? Не обращал внимания? Или это мания преследования?»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Квартира тридцать семь — на третьем этаже?

— Кажется.

На площадке третьего этажа, пахнущей едкой кислотой, Константин отдышался, посмотрел в огромное окно, ощущая коленями накаленную паровую батарею. Машина поблескивала внизу близ тротуара, на другой стороне этой тихой и узенькой окраинной улицы; желтели окна в деревянных домах.

И мимо них, мимо фонарей и машины косо летел легкий снежок.

Константин подождал на площадке, успокаиваясь перед темными дверями незнакомых квартир с черными пуговками звонков, почтовыми ящиками; запыленная, в разбитом плафоне лампочка тлела под потолком, на стены сочился свет, как в мутной воде.

— Тридцать семь...

Он вполголоса откашлялся, подошел к двери с номером «37» — массивной, дубовой, какие бывают только в старых домах, и тут же сильным нажимом позвонил два раза.

Звонок заглушенно прозвучал за этой толстой дверью; показалось, смолк где-то в далеком пространстве, и Константин позвонил еще раз — долгим, непрерывным звонком.

Он ждал, притискивая пальцем кнопку; этот раздражающе-серый огонь лампочки на площадке слабо освещал массивную дверь, и железный почтовый ящик, и потускневшую на нем наклейку какой-то газеты.

— Кто там?

— Простите, Быков здесь живет?

— А в чем дело? Кто?

— Откройте, пожалуйста.

Загремели ключом, щеколдой, защелкали французским замком, потом дверь приоткрылась, возникла в проеме, задвигалась полосатая пижама, половина освещенного лица, ежик волос. И Константин, мигом оттолкнувшись от косяка, шагнул в переднюю и сейчас же, не поворачиваясь, захлопнул дверь за собой, услышав позади звонкий стук замка.

— Здравствуйте, Петр Иванович! — проговорил он.— Сколько лет, сколько зим! Не разбудил вас? Не узнали?

— Кто? Кто?

Быков, заметно постаревший, дрогнул опавшим, даже худым, лицом с темными одутловатостями под глазами, отшатнулся к шкафу в передней, не узнавая, стал подымать и опускать руки, выговорил наконец:

— Костя?.. Константин?..

— Угадали? Что ж мы торчим в прихожей, Петр Иванович? — сказал Константин наигранно-радостно.— Проводите в апартаменты, не вижу гостеприимства! А где же Серафима Игнатьевна?

Быков, изумленно собрав бескровные губы трубочкой, попятился, отступил в комнату, из которой розовым огнем светил висевший над столом абажур, и не сумел выговорить ни слова, только хрипло дышал.

— Благодарю,— сказал Константин.

В комнате, громоздко заставленной мебелью, кабинетными кожаными креслами, старинным зеркальным буфетом, отливающим на полочках стеклом посуды, ваз, рюмок, Константин расстегнул куртку, упал в кожаное кресло, бросил на комод шапку и глянул на Быкова.

— Ну вот! — произнес он.— Теперь я вижу, как вы устроились. Кажется, неплохо. Адресный стол дал точный адрес. Прекрасный тройной товарообмен. Соседи не мешают?

— Рад я, Костя, рад... Пепельница... на буфете, Костя,— проговорил Быков и снова поднял и опустил руки.— Ах, Костя, Костя...

— Что же вы стоите, Петр Иванович?

В углу комнаты над диваном малиновым куполом светился торшер; на тумбочке стакан с водой, какой-то порошочек; вдавленная подушка лежала на диване, и Быков сел возле нее, подобрав ноги в тапочках, пижамные брюки натянулись на коленях; все его неузнаваемо осу-

пувшееся лицо пыталось выразить нечто похожее на улыбку.

— Костя... Костя... Да, Костя, вот живу здесь... Коротаем преклонные годы... Далеко от центра, от метро. Сообщение автобусом. И... и магазинов мало,— заговорил Быков слабым, растроганным голосом.— Магазинов мало... Неудобно я обменял, Константин, неудобно... Скучаю по старой квартире. А Серафима Игнатьевна гостит в Ленинграде, у дочки... Верочка замуж вышла... А я вот третий месяц как из больницы, операцию перенес, Костя. Вот как получилось.

Константин намеренно не смотрел на Быкова, смотрел на коробок, по которому чиркал спичкой с нарочитой неторопливостью; сказал:

— А я, признаться...— Константин проследил, как дым сигареты шел к абажуру, струей толкаясь в него.— Признаться, я не думал застать вас дома, Петр Иванович.

— То есть как? Почему же, Костя? — спросил и поперхнулся Быков.— Кончаю ведь в семь часов. В театры, концерты не хожу. Стар. И болен я... Да и никогда не ходил. У меня семья... сам знаешь. Эх, Костя-Константин, вспоминал тебя, все время помнил я. Как же я рад, что заглянул ко мне, обрадовал старика. Вот спасибо. Лады. А то бирюками живем... знакомых никаких нет. Спасибо. А я слышу, звонок, думаю: «Ну кто бы это, ошибся кто?» Пить мне категорически нельзя, а может, ты рюмочку пропустишь? Ах, спасибо, что пришел! Жаль, Серафимы Игнатьевны нет, она тебя... вспоминала...

Константин заинтересованно прищурился на него.

— Признаться, я думал, Петр Иванович,— упорно договорил он,— что вы давно...— Он показал перекрещенные пальцы.— Оказывается, нет. Приятно удивлен. Просто не верится. Ну что ж, видимо, не все сразу.

— Шутишь, а? Неужто не изменился совсем? — Быков качнулся вперед, неспокойно заелозил по полу тапочками.— Ах, не изменился ты, Константин. Вроде вон седина на висках, а не изменился. Весело проживешь жизнь.

— Не верится. Неужели это вы, Петр Иванович Быков? — проговорил Константин.— Не верится.

Быков сидел перед ним, весь седой, отечный, моргая красноватыми припухлыми веками, и Константин видел

его новое опавшее желтое лицо, его странно костистый покатый лоб, открытую волосатую грудь и спущенные на сливочно-белых ногах шерстяные носки, теплые тапочки — эти признаки домашности и семьи; видел ковры на стене, прочно громоздкую, не без претензии на роскошь мебель, как будто стиснувшую со всех сторон его,— и медленно повторил:

— Неужели это вы, Петр Иванович Быков? И я у вас когда-то работал?

— Что? — приоткрыл веки Быков и уперся растопыренными пальцами в диван.— Ты, Костя, вроде не в духе, никак? Ах, шут тебя возьми, всегда ты был парень с шуточкой. Давай-ка,— он устало поднялся, старчески зашаркал, зашмыгал тапочками к буфету,— пропустим малую за здоровье да вспомним старое, мы ведь с тобой, Константин...

Константин покусал усики.

— Что ж, не пропустим, но — вспомним! Вот это ваш письменный стол, уважаемый Петр Иванович? Вот этот ваш? Что здесь — бумаги, деньги?

Быков уже держал графинчик, вынутый из буфета, повернул голову и замер; дверца буфета, скрипя, закрываясь, толкалась в его плечо, собрав складкой пижаму.

— Ты что, Константин? — спросил он и понял: — Никак, за деньгами приехал? Чудак, сразу бы и сказал. Найдем. Вчера как раз получку получил. Да много ли тебе надо? Бери. Ничего, сведем концы с концами! Бери.

С графинчиком он приблизился к широкому письменному столу, выдвинул ящик, отсчитал внутри его несколько ассигнаций.

— На, двести пятьдесят тут, потом отдашь, будет если... Ну садись, выпей маленькую. Где работаешь-то?

— В уголовном розыске,— сквозь зубы сказал Константин и подошел к столу, упрямо и зло глядя в глаза Быкова.— Меня интересуют не водка, не деньги, Петр Иванович! Меня интересуют доносы. Все копии ваших доносов! Вы меня поняли? И если вы сделаете шаг к двери...— выговорил он с угрожающим покоем в голосе.— Я не ручаюсь за себя! Руки чешутся, терпения нет! Ясно? Будете орать — придушу вот этой подушкой. Все поняли?

Быков, болезненно выкатив белки, не закончил наливать из графинчика, синие губы собрались трубочкой, пробормотал:

— Ты — как?.. Как?..

Он стукнул графинчиком о стол около недолитой рюмки; щеки его покрылись пепельной серизной, кожа натянулась на скулах.

— Эх ты, Константин, Константин!.. За кого ж принимаешь меня?.. О чем говоришь?

— Благодетель вы мой, запомните — я вас не идеализирую! — Константин все покусывал усики, твердо глядя сверху вниз в лицо Быкова.— Ну, я жду основное: копии доносов. Первый — на Николая Григорьевича Вохминцева. Второй — на меня. Хочу познакомиться с содержанием — и только. Вы меня поняли?

Стало тихо. Было слышно, как жужжал электрический счетчик на кухне.

Быков отрывисто и горько засмеялся.

— Эх ты, герой, ерой.— Он задергал головой; капельки влаги выступили на покрасневших веках.— Я к тебе как к человеку, Константин, а ты — эх! Герой, а у ероя еморрой! Налетчик! Ты знаешь, что за это тебе будет?.. Знаешь, что бывает по закону за насилие? За решетку посадят! Жизнь на карту ставишь?

— Да, Петр Иванович! Пока вы строчите доносики — ставлю. Пока.

— Значит, что ж — убить меня, Константин, хочешь?

— Может быть. Где копии доносов?

— Какие доносы? Обезумел? — вскричал Быков.— С Канатчиковой сбежал?

— Вот что, Петр Иванович,— сказал Константин.— Вы сейчас сделаете то, что я вам скажу, иначе... Когда у вас была очная ставка с Николаем Григорьевичем? В сорок девятом году? В этом же году вы настрочили доносик на меня после истории с бостоном? Ну? Так? Или иначе?

— Врешь!

— Садитесь к столу! — Константин резко пододвинул бумагу на середину стола.— А ну, берите ручку, пишите! Вы напишете то, что я вам скажу.

— Что-о?

— Вы напишете то, что я вам продиктую! И это будет правдой.

— Да ты что — с Канатчиковой сбежал? — опять испуганно выговорил Быков и отступил к дивану, широкие рукава пижамы болтались на запястьях.— Чего я должен писать? С какой стати? Чего выдумал?..

— Вы это сделаете! — оборвал Константин.— Сейчас сделаете! Садитесь к столу!

Константин с силой подтолкнул Быкова к столу, чувствуя его мягкое, дряблое, незащищающееся тело, но то, что он делал в этой комнате, пахнущей сладковатым лаком старой мебели, и то, что говорил,— все вроде бы делал и говорил не он, не Константин, а кто-то другой, незнакомый, чужой. И вдруг на секунду показалось — все, что делал он, слышал и видел вблизи, происходило как будто бы и существовало в отдалении: и странно малиновый купол торшера, и стол, и деньги на столе, и звук собственного голоса, и ватный, ныряющий голос Быкова, и движения своих рук, ощутивших дряблое тело. Где-то в отдаленном мире жили, работали, целовались, ждали, плакали, любили, гасили и зажигали свет в комнатах люди, где-то медленно шел снег, горели фонари, по-вечернему освещались витрины магазинов, но ничего этого прочно и осмысленно не существовало сейчас, словно земля, предметы ее потеряли твердую реальность, необходимую сущность; и то, что он делал, не было жизнью, а было мутно-серым, отвратительным, водянистым, зажатым здесь, в этой комнате, как в целлофановом мешке.

— Костя!.. Что же ты делаешь?

«Действительно, что я делаю с ним? — подумал Константин.— Так не должно быть? Я делаю противоестественное?..»

Он посмотрел на Быкова.

Быков стоял перед столом в расстегнутой пижаме, пальцы корябали желтую грудь, покрытую седым волосом, зрачки застыли на лице Константина.

— Костенька, это что же, а? Зачем? По какому праву?

«У него не было страха, когда писал доносы? — подумал с отчаянием Константин.— Мучила его совесть?»

— А по какому праву...— произнес Константин, и тут ему не хватило воздуха,— по какому праву вы, черт вас возьми, писали доносы, клеветали — по какому? Если у вас было право, оно есть и у меня! А ну садитесь и пишите: заявление в МГБ от Быкова Петра Ивановича. Что стоите? Поняли?

— Что ты говоришь? Костя! — крикнул Быков и заморгал одутловатыми веками.— Какое заявление?

— Все вспомните. И о доносе. И об очной ставке двадцать девятого января, где вы... вели себя как последняя

б... Двадцать девятого января! Вот это и напишите, что оклеветали невинного человека, честного коммуниста! Напоминаю: двадцать девятого января была очная ставка!

Константин подтолкнул Быкова, подвел его к столу, и тот, выставив короткие руки, этим лишь слабо защищаясь, внезапно обессиленно повалился на стул и, сгорбясь, задергался, заплакал и засмеялся, выговаривая сдавленным шепотом:

— Что ж ты делаешь? Ты думаешь, вот... испугал меня? Да меня жизнь тысячу раз пугала... Эх, Константин, Константин.— Быков на миг замолчал, клоня дрожащую голову.— А если я тебе скажу, что много ошибался я. Если скажу... И на очной... вызвали, коридоры, тюрьма... не помню, что говорил! Ошибся!.. Только в одном не ошибся... Я ж знаю, что у меня за болезнь. Язву, говорят, вырезали! А я знаю...

— На меня тоже, старая шкура, перед смертью донос написал?

Быков запрокинул желтое, в пятнах лицо, жалко отыскал глазами Константина, а слезы скатывались по трясущимся щекам, и он по-детски торопливо слизывал их с губ, повторяя:

— Не писал, не писал! На тебя не писал! Как к сыну к тебе относился. Спрашивали, плохого не говорил... А ты знаешь, сколько мне жить-то осталось? Знаешь? С такой болезнью...

— Хватит! — морщась, перебил Константин.— Хватит проливать слезы, Петр Иванович! Ей-богу, не жалко мне вас!

— Костя, Костя... Помру, небось, вот рад будешь? А не хотел бы я...— вставая и покачиваясь, прошептал Быков и рукавом начал обтирать мокрое лицо.— Защищался я... А совесть у меня тоже есть. Что ж ты будешь делать со мной? Если я сам...

— В монастырь... Если бы можно было — в монастырь. К чертовой матери я отправил бы вас в монастырь, паскуда!

— Серафима Игнатьевна и дочь у меня...

Но когда Быков, обмякший, подавленный, тихонько постанывая, расслабленно опустился на диван, никак не мог раскупорить порошок на тумбочке, Константин не смотрел на него, сжав зубы от жгучего отвращения, от смешанного чувства жалости и вязкой нечистоты, и в это

мгновение едва сдерживал себя, чтобы не выбежать из этой комнаты с одним желанием — глотнуть морозного воздуха, жадно ощутить освежающий снежный холодок.

Он не глядел на Быкова, испытывая ненависть к себе.

«Нет, нет, нет! — подумал он.— Жалость? К черту! К черту!»

Он круто выругался и хлестнул Быкова ладонью по мокрой клейкой щеке.

В машине он, как всегда, привычно очищал перчаткой стекло, смотрел мимо поскрипывающей стрелки «дворника» на полосы фар, но не видел ясно ни скольжения фар по мостовой, ни по-ночному пустых улиц, синеющих новым снежком, по-прежнему падавшим из темноты.

Константин гнал машину, чувствуя горячие рывки сердца при перемене сигналов на светофорах, далеко простреливающих миганием безлюдные пролеты улиц, инстинктивно скашивал взгляд на регулировщиков — и не было момента осмыслить то, что сделал...

После того как загорелся за площадью всеми освещенными залами Павелецкий, и белая полоса окон привокзального ресторана с летящим на эти теплые окна снегом выдвинулась навстречу, унеслась назад, и машина нырнула в сразу показавшийся туннелем переулок, Константин затормозил машину под стеной дома и долго сидел, прислонясь лбом к скрещенным на руле рукам.

В первой комнате света не было.

Зеленый огонь настольной лампы косым треугольником упал под ноги ему, на пол, из полуоткрытой спальни, куда он вошел, и там загремел отодвигаемый стул — Константин остановился.

В проеме двери, загородив огонь, проступала темная фигура Аси.

Она запахивала на талии халатик.

И испуганный, непонимающий голос ее:

— Костя?.. Ты уже вернулся?

Она шарила по стене выключатель; Константин успел увидеть ее напрягшиеся под халатиком голые ноги, и тотчас вспыхнул свет; после темноты он был неожиданно

ярок, и Константин отчетливо увидел лицо Аси, бледное, залитое электричеством, яркой чернотой блестели глаза.

— Ты уже вернулся?

— Нет. Я заехал по дороге,— преодолевая хрипоту, сказал Константин.— Я хотел тебя увидеть.

Она со вздохом опустила плечи.

— Я не ожидала тебя. Ты вошел тихо-тихо, и я почему-то испугалась.

— У тебя было открыто,— сказал он.— Ася, вот что... Я сейчас был у Быкова.

— Что? Что?

— Я был у него,— ответил Константин.

Темные увеличенные глаза Аси перебегали по его лицу, по его кожаной куртке, а пальцы теребили поясок халатика, и брови, и глаза ее никак не соглашались с тем, что сказал он.

— Ты? Был? У Быкова? — отделяя слова, проговорила Ася и отошла от него в сторону, зажала уши.— Слушать не хочу! Ничего не говори мне!

— Ася! — сказал Константин.— Ася, милая, ничего не случилось, я хотел объяснить тебе...

И тронул ее локоть; Ася почти брезгливо отстранилась, сказала шепотом, с гадливым отвращением:

— Ты был? У Быкова? Зачем?

Он растерянно проговорил:

— Ася...

— Зачем ты это сделал?

— Прости, если я...

— Зачем? Что ты наделал, Костя?

«Как объяснить ей все? — подумал Константин.— Как?»

Ася, зажмурясь, откинула голову и молчала. Он виновато приблизился к ней, увидел ее длинную шею, слабую выемку ключиц — и ему страстно захотелось осторожно обнять ее, успокоить, сказать, что он сам до конца не знает, для чего он это сделал; и ему хотелось объяснить ей, что в последнее время он живет точно ухватившись за надломленную ветку над трясиной, что ему не дает покоя, его мучает какая-то неуловимая, скользкая, надвигающаяся опасность, что он живет с ощущением следящего взгляда в спину — и не может преодолеть это, и боится за нее, за себя. Ему хотелось почувствовать успокаивающую тяжесть ее ладони на своих волосах и покаянно прижаться лицом к теплоте ее колен. Он все

время ощущал в себе нервное, злое напряжение, готовый ко всему — к драке, к непоправимой беде, к словам, которые разрушали и еще более усугубляли что-то.

— Ася,— ответил он, стараясь говорить спокойно, но не сделал, как хотел, не обнял ее, услышал свой фальшиво прозвучавший голос: — Честное слово... ничего не случилось.

— Ничего не случилось? Неужели ты не понимаешь? Ты не понимаешь? Он ни перед чем не остановится. Ты подумал о нас? О чем ты с ним говорил?

— Теперь он ничего не сделает. Он уже сделал...

— Что? Что он сделал?

Она взяла его за борта кожаной куртки, спрашивая:

— Что он сделал?

— Ася, родная, мы еще поживем, не надо ни о чем думать,— сказал он, по-прежнему пытаясь говорить спокойно.

— Ты сказал «еще»? Почему — еще?

— Я говорю о Николае Григорьевиче.

— Прошу тебя, скажи яснее, Костя.

Но в эту минуту у него не хватало сил посмотреть ей в лицо, и, медля, Константин легонько снял ее теплые влажные пальцы с бортов куртки, прижал их к подбородку, глухо договорил:

— Может быть, я не должен был, Ася... Но я не мог. Прости меня. Я... поеду.

И тут его поразил неестественно оживленный голос Аси:

— Если ты разрешишь, я сейчас оденусь и поеду с тобой! Хоть один раз в жизни хочу увидеть твою работу. Ты хочешь?..

Константин почти испуганно взглянул на нее — Ася решительно развязывала поясок халатика, торопилась, и по лицу ее он видел: она готова была одеться сейчас и ехать.

Он остановил ее поспешно:

— Асенька, этого нельзя! Ася, это не разрешается, меня просто снимут с работы. Этого нельзя!

Тогда она заложила руки в карманы халатика и так села на стул, сказала тихо:

— Ну иди, Костя.

— Не надо.— Константин наклонился к ней и, едва прикоснувшись, поцеловал в волосы.— Не надо ни о чем плохом думать. Ложись спать, Ася. Со мной будет все в порядке. Я уверяю тебя, со мной будет все в порядке.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

К концу смены он был рассеян с пассажирами, получал деньги не считая, невнимательно и забывчиво переспрашивал, куда везти. Ощущение давящей тоски, неясности, неотпускающего беспокойства, никогда раньше не испытываемого им, заставляло его перед утром бесцельно гонять машину по Москве.

Ему было все равно: выработает он сегодня деньги или нет, и лишь немного проходило напряжение, когда он бесцельно мчал машину по пустынным переулкам без светофоров, неизвестно для чего подгоняя себя: «Быстрей, быстрей!» Но как только подкатывал к стоянке и здесь на холостых оборотах почти замолкал мотор, пустыня ночных улиц с ровным пространством мостовой наваливалась на него. Тогда он слышал, как в машине четко стучали, отсчитывали время часы с настойчивым упорством заведенного механизма.

Смена кончалась в девять утра. Константин ждал конца смены. Он не знал точно, что должен будет делать этим утром.

«Только не ждать, не ждать,— убеждал он себя.— Я хочу ясности... Но какой ясности я жду от него, какой?»

И независимо от того, как пойдет разговор с Михеевым, его мучило это «а дальше что?», и оттого, что он не в силах был полностью представить, что будет дальше, его охватывал нервный озноб, холодок змейками полз по спине.

Мотор был не выключен, печка работала, становилось душно, жарко в машине, пахло нагретым металлом, а он почему-то никак не мог согреться, и было неприятно сухо во рту.

Потом он не выдержал ожидания конца смены, в восьмом часу утра повел машину к парку.

Константин остановился на набережной, в трех минутах езды от гаража,— здесь он хотел перехватить Михе-

сва по пути, и здесь было удобно ждать,— маршрут такси к парку из центра.

Утро начиналось чистое, розовое, со звонким морозцем, с зеркально молодым, хрустким ледком на мостовой. Лопаясь, он брызнул трещинками под каблуками, когда Константин вылез из машины, разминаясь после долгого сидения.

Холодного накала заря надвигалась из-за дальних улиц, краснел лед канавы, подымался парок над незамерзшим стоком бань возле далекого моста. Там, за мостом, над крышами вертикально дымили фабричные трубы; дым не таял, стекленел в небе, и были безмолвны ближние улицы в ранней стуже утра.

Воспаленными глазами Константин оглядывал набережную и небо, хлебнул несколько раз на полную грудь горьковато-холодный воздух — и от глотков этого крепкого студеного воздуха немного закружилась голова. Похрустев каблуками по ледку, он залез в машину, и теперь не было желания напряженно думать — вот так только сидеть, расслабив тело, ощущая эту пустоту, зябкость морозного утра, в котором, словно на краю света, занималась дымящаяся зимняя заря.

«Вот так хорошо»,— подумал он.

Вместе с напряжением уходила грубая острота реальности, исчезала, покачиваясь, как на мягких рессорах, усталость, вся прошедшая ночь, разговор с Асей... И тут же как вспышка в темноте: «Михеев!.. А что Михеев? Что я должен делать с Михеевым?»

— Машина? Зачем машина? Кто водитель? Эй!

«Не заметил знак!» — вяло раздражаясь, подумал Константин и в ожидании нудного разговора с дотошным орудовцем разомкнул веки, принял удивленное выражение простецкого парня.

— А что, товарищ, разве?.. А где знак? История повторяется...

— Что?

— Один раз — как комедия, другой раз — как штраф.

И он приготовился зевнуть перед обычной нотацией, но не зевнул — за стеклом увидел досиня бритое лицо, круто выдающийся вперед подбородок; лицо кричало:

— Что? Кто сказал? Что сказал?

— Я,— договорил Константин.— Доброе утро, товарищ Гелашвили!

Он узнал машину директора парка.

Машина стояла впритирку, от работы мотора покачивался штырек антенны, и стекла, внутренность машины были в багровом освещении. Раскрыв дверцу, вынося ногу в хромовом сапоге на мостовую, Гелашвили рассерженно спрашивал:

— Почему? Почему, я интересуюсь? Корабельников!.. Сидишь и спишь? Кто разрешил? На курорт приехал? План перекрыл?

Гелашвили был в новом, белеющем меховыми отворотами полушубке, щегольски сидевшем на его сильной атлетической фигуре, как отлично сшитый костюм; правая кисть толсто забинтована, покоилась на марлевой перевязи,— кажется, вчера поранился в мастерской. Левой рукой он решительно открыл заднюю дверцу Константиновой машины, спросил:

— Что — план перекрыл? Молчишь? Что молчишь?

Гелашвили соединил в прямую линию брови, подозрительно осмотрел пол и сиденья, проверил, нет ли следов цемента или извести; материалы эти для перевыполнения плана шоферы иногда прихватывали частникам на коммерческих складах, а этого Гелашвили не прощал.

— Говори — слушаю! — сказал Гелашвили, проверив и багажник.— Почему не работаешь? Когда смена кончается, в девять? Разучился на часы смотреть? Самый образованный шофер пока, отличный водитель, в пример ставили! Пассажир ждет, скучает, а ты на курорте сидишь? (Это была излюбленная его фраза.) Не дам! Разговор короткий! Надоело — уходи, плакать не буду! Лодырей не надо! Я таких шоферов в каждой подворотне найду! Ну, говори, объясняй — слушаю! Куда смотришь? На меня смотри!

— Может быть, я и уйду,— сказал Константин, глядя на фабричные дымы, плавающие среди утреннего неба.— Может быть.— И посмотрел в глаза Гелашвили, накаленные, неотступные.

— Воевал? — лающе спросил Гелашвили.

— Опять уточняется анкета?

— Ты машину, как винтовку, бросил! — крикнул Гелашвили и хищно сверкнул зубами.— Дезертир!

Константин хмуро сказал:

— Не будь вы директором парка... А впрочем, если вы повторите, я найду не менее крепкие выражения...

— Что повторить? Что? — крикнул Гелашвили.— Может быть... Подумаю!.. Начальства испугался? Струсил? Говори, я от правды не умру, почему стоял? Ну как мужчина говори! Не кисейная барышня,— может, пойму! Ну что, пассажира ждал из этого дома? Объясни!

И Константин понял: он хотел, чтобы было именно так.

— Вы правы, жду,— ответил Константин.

— Завтра перед сменой зайдешь! Всякие дурацкие слухи ходят о тебе — надоело уже слушать!

Гелашвили сурово фыркнул и, сгибая атлетический торс, влез в свою машину.

«Победа» Гелашвили расстелила дымок на багровом ледке асфальта, покатила по набережной в сторону парка.

«Всякие слухи? — подумал Константин, сцепив зубы.— Что ж, кажется, Илюша торопится. Нет, нет, он не так глуп! Нет! Он, оказывается, тертый парень, с виду не скажешь!..»

На часах было пять минут девятого.

Он повел машину к парку.

— Никак, захворал, Костенька? Или ремонтировался на линии? Всегда сверх плана, а сегодня — кот наплакал. Если что — бюллетень бы взял.

— Умница,— сказал Константин.— Я всегда говорил, что без женщин мужчины пропали бы... Принимай деньги, Валенька, какие есть. Михеев вернулся с линии?

Кассир Валенька, курносенькая, вся светленькая, перебирая быстрыми пальчиками тощую пачку ассигнаций — ночную выручку Константина,— не задерживая пересчета, тряхнула кудряшками.

— Друг без дружки жить не можете! Он сдавал деньги — о тебе спросил. У него двоюродная сестра заболела. Торопился как бешеный. А ты, Костенька, у Акимова, у летчика спроси. Он его за мойкой попросил посмотреть.

— Благодарю, Валенька.

И он не спеша двинулся к мойке, мимо машин, пахнущих после рейсов маслом, теплым бензином — привычным машинным потом. Завывание моторов уходило на этажи гаража, и в эти звуки знакомо вплетался прохладный плеск воды мойки, перед которой выстроились прибывшие из ночных смен такси. Когда смолкали моторы,

было слышно, как перекликались там голоса, звучные, как в бане.

— Привет, Геннадий, привет, Федор Иванович! — сказал Константин, еще издали завидев Акимова и Плещея около мойки.

Акимов, голубоглазый, с зачесанными назад белыми, точно седыми, волосами, в летной куртке на «молниях», рассеянно смотрел на мойщиков — два паренька в рабочих халатах, деловито суетясь, били струями из шланга в ветровые стекла. Федор Иванович Плещей посасывал мундштук, прокуренным басом покрикивал, торопил мойщиков: «Бегай, бегай, как молодой в субботу!» — и его крупное, покрытое оспинами лицо было добродушно, массивная фигура прочно стояла на раздвинутых ногах.

— Еще раз здоров, что ли! — прогудел Плещей и в знак приветствия шевельнул косматыми бровями.

Акимов же ослепительно заулыбался:

— Как дела, Костя?

— Тебе известно, Гена, где Илюша? — спросил Константин и подмигнул мойщикам.— Здорово!

— Попросил проследить за мойкой, уехал к сестре — заболела, кажется,— ответил Акимов.— Или день рождения у нее. Что-то в этом роде. Пусть едет.

— Ну а зачем тебе этот долдон? — Плещей кашлянул дымом, ударом о ладонь выбивая сигарету из мундштука.— Нашел балаболку-дружка, знатока масла и аптек. Орел — вороньи перья!

— Да что вы, Федор Иванович! Парень как парень,— обиженно сказал Акимов.— Я ведь его лучше вас знаю, вместе живем. У всех у нас есть слабости. И у меня. И у вас ведь есть, Федор Иванович...

— Видел Иисуса Христа? — сказал Плещей.— А, черт тебя съешь! Тебя, брат, за доброту и наивность и из авиации выперли! — И, заметив, как покраснел и отвернулся Акимов, дружески тиснул его в объятии.— Ладно, я, брат, как грузчик, рубанул, не на паркетных полах воспитывался. Ну, по кружке пивка в честь получки? А? Посидим, помолотим языками за жизнь?

— Пожалуй,— согласился Константин.

— Не вышло, братцы, гляди на выход! Домашняя орава за мной, борщ стынет! Живите, братцы! Варька зорко меня оберегает от пива — толстею!

Он, довольный, крякнул, косолапо, неуклюже загребая ногами, пошел от мойки между машинами. Навстречу

ему в окружении четырех мальчишек стройно шла женщина средних лет, в пуховом платке с цыгански смуглым, когда-то очень красивым, тонким лицом, узкие глаза обрадованно блестели Плещею.

— Варька, молодец! Держи монеты! Есть свидетели — не выпил ни кружки! — Плещей беззастенчиво, на весь гараж чмокнул жену в щеку, отдал ей деньги, затем сгреб одного мальчишку, усадил верхом на толстую, бычью шею, приказал смеясь: «Держись за уши»,— остальных подхватил на руки, зашагал, обвешанный семейством, к выходу в сопровождении жены, смущенно следившей за ним из-под платка. Говорили, она была цыганка, Плещей увез ее из табора, когда работал грузчиком на волжских пристанях.

— Завидую ему,— задумчиво проговорил Акимов.— За такую жену и таких пацанов жизни не жалко.

— Да,— подтвердил Константин.— А ты не женат, Геня?

— Не вышло. Так пошли, Костя? Мне на метро до Таганки. До вечера буду в Москве, а потом к себе, во Внуково. Кстати, что передать Михееву? Мы с ним вдвоем по дешевке снимаем комнату в поселке. Скажи — я передам.

— Ты говоришь, ничего парень Михеев? — спросил Константин.— Ты это серьезно считаешь, Геня?

— А что, Костя?

— Знаешь, Геня, а что, если я с тобой поеду во Внуково?.. Если можно, я поеду. Ты не против? Мне нужен Михеев. Подожду его. Принимаешь в гости?

— В авиации говорят: не задавай глупых вопросов.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Дачный поселок находился в лесу, в двадцати минутах ходьбы от станции, заметенные улочки были скупо освещены фонарями, огни в окнах горели редко.

Двухэтажный деревянный дом стоял на окраине, среди гудевшего массива елей; и когда миновали калитку и пошли по тропке, едва заметной меж сугробов, сбоку сыпался колюче-сухой снег, сбрасываемый ветром с крыши сарая, обдавало пресным холодком дачной глуши, запахом мерзлых дров.

— Сейчас,— донесся спереди голос Акимова.— Сейчас отогреемся!

Пока Акимов на крыльце возился с ключом, Константин, продрогнув, оглушенный зимним шумом деревьев, смотрел в потемки, на тени елей, махающих лапами перед стенами дома.

В непрерывном гудении леса угадывались другие звуки: ветер бросал, комкал над поселком отдаленный лай собак.

— Ну и в глухомань вы забрались,— сказал Константин.

— Чем дальше от Москвы, тем дешевле,— ответил голос Акимова.— Тем более что хозяева здесь зимой не живут. Заходи. Да осторожней. Береги голову. Тут бочки, тазы, какие-то кастрюли — зачем, сам дьявол не поймет. А, бог мой! Я уже сбил ухом корыто. Нагибайся!

Послушно нагнув голову, Константин последовал за Акимовым через промерзший тамбурчик, вонявший бочоночной плесенью, затхлой кислотой капусты, наугад перешагнул порог в сплошную тьму, почувствовал, как наступил на что-то мягкое, живое; угрожающе сиплое мяуканье раздалось под ногами, затем сверкнули две зеленые искры из темноты.

— А, черт! — выругался Константин.— А кошки, кошки зачем у вас?

— Оставили хозяева, ловить мышей.

— Ловит?

— Слишком нежно воспитана. Спит в книгах, а мыши погрызли все ножки столов. Нам наверх...

Акимов пошуршал по стене, щелкнул выключателем — вспыхнул в передней свет в пятнистом обгорелом абажурчике, стала видна дверь на первом этаже, забитая наискось доской, старые, облезлые обои, крутая, с перилами лестница на второй этаж.

На нижних ступенях, взъерошив шерсть, хищно шипела на Константина огромная худая кошка.

— Зверь,— заметил Константин, подымаясь следом за Акимовым по ветхой деревянной лестнице на второй этаж. Скрип ступеней, шаги отдавались в даче, в нежилой пустоте забитых комнат, обдуваемых ветром.

...Минут через пятнадцать сидели за столом, застеленным газетами, в маленькой комнате второго этажа, пили из граненых стаканов портвейн, закусывали яичницей, поджаренной Акимовым на электрической плитке.

В печке, разгораясь, постреливали, жарко закипали в огне березовые поленья, тянуло деревенским дымком, было уже в комнате теплее, веселее, и Константин не без интереса глядел на запыленную этажерку, заваленную книгами, чужую старомодную и обветшалую мебель, на потертый ковер перед диваном, гипсовую голову Вольтера возле высокой лампы под абажуром юбочкой — и почему-то показалось, что неожиданно задержался в этом старом, пропахшем плесенью доме, случайно обретя уют, огонь, а на рассвете надо двигаться к Висле в сыром тумане утра.

— Ты здесь с Михеевым? — спросил Константин, подливая вина Акимову и себе.— А это чей китель?

— Дачу сдает профессорская вдова,— ответил Акимов.

— А это твой китель, Геня?

На вешалке висел новый габардиновый китель с летными петлицами, но без погон, с полосой орденов и нашивками ранений — китель, словно недавно сшитый; приготовленный для парада, ни разу не надетый.

— Глаза мозолит. Демонстрация получается, леший его дери! — Акимов снял китель с вешалки, кинул его на диван, вниз орденами, сказал: — О чем ты хочешь поговорить с Ильей? Если нет смысла отвечать — вопроса не было. Мы иногда, как оглоблей, лезем в чужую душу.

Константин после колебания спросил:

— Слушай, Геннадий, значит, ты считаешь Илью честным парнем? Только откровенно.

— А что ты называешь честностью?

— Знаешь что... пошел ты! Честность есть честность со времен... когда человек стал человеком.

— Понимаю. Подожди.

Акимов лег на раскладушку, сосредоточенно уставясь в потолок, на зыбкую тень абажура, свет лампы падал на лицо его, глаза были ясными; с минуту он будто прислушивался к гудению ветра над крышей, слитному реву деревьев, царапанью и писку в щелях чердака; и Константин невольно посмотрел на потолок — он был низок, крыша, чудилось, вибрировала, где-то хлопал оторвавшийся кусок железа.

— Ты что? — спросил Константин.— Выпьем-ка лучше, Геня.

— ТУ-4, показалось. Реактивный бомбардировщик. Прости, пожалуйста,— виновато сказал Акимов и

приподнялся на раскладушке, взял стакан.— Непогодка. Канитель. Совсем не летная погодка.

— Ты не ответил,— напомнил Константин.— Я о Михееве. То, что я спрашиваю, до черта серьезно, Геня.

— С Ильей? — удивился Акимов.

— Нет. Это касается меня.

Акимов откинул белые волосы со лба, облокотился на стол, взгляд его стал внимательным — исчезло то задумчивое выражение, какое было, когда он лег на раскладушку.

— Я слушаю, Костя.

— Геня, я только хочу спросить у тебя одно. По-твоему, Михеев — честный парень? Вы живете вместе. И ты должен знать его лучше меня. Михеев — честный парень?

Константин уточнял то, что, казалось, было ясно ему, но он хотел услышать от Акимова хотя бы слабое подтверждение своей правоты или неправоты; ему важно было, что скажет сейчас Акимов: его серьезность, его спокойная размеренность и то, что он не до конца открывался, как это бывает у людей, знающих что-то свое, не предназначенное для других, вызывали доверие к нему.

— Я встречался с разной честностью, Костя,— ответил Акимов.

— А именно?

— Положим, было так, что мой бывший командир полка честно предупредил меня...

— Предупредил? О чем?

— Да. Предупредил, что меня готовятся выпереть из испытателей во имя «расчистки кадров». Честно предупредил, но сам на комиссии ни слова не сказал в мою защиту. А знал меня почти всю войну. Считал меня своим любимцем, вместе летали на «Петлякове». Сам вешал мне ордена и обнимал перед строем. Но на комиссии молчал. И меня отстранили от испытаний.

— Но почему?

— Плен. Так я это понял. Но комиссия об этом вслух не говорила. Были только вопросы. «Где был с такого-то периода по такой-то?»

— Ты был в плену?

— В сорок пятом сбили над Чехословакией. В немецком концлагере был три месяца. Словаки помогли. Партизаны. Бежал.

Акимов замолчал, откинув назад волосы.

Крыша загремела под ударами ветра; врываясь в уши, навалился снаружи упруго ревущий гул леса, задребезжали стекла. Ударила ставня. Электрический свет сник, мигнул и вновь набрал полный накал. Константин покосился на лампочку, налил Акимову из уже нагревшейся в тепле бутылки. Акимов неторопливо, но жадно отпил из стакана. Константин спросил:

— И что?

— Думаю, я понимаю командира полка.

— В чем?

— Мы испытывали секретные машины. Его этим и приперли. А у меня подозрительный пункт в анкете.

— Ясно,— сказал Константин.— Твой комполка чересчур застенчив...

— Не осуждай сплеча, Костя. Иногда складываются обстоятельства.

Константин перебил его:

— Когда-то я свято поклонялся обстоятельствам. Мы победили, война кончилась, мы вернулись, пусть каждый живет как хочет! Не совсем получилось, Геня. Я спокойнее бы относился к своей судьбе, если бы без памяти, скажу тебе откровенно, не любил одну женщину! Из-за нее я бросил институт, из-за нее — все... Ты знаешь, что такое счастье?

— Видимо, одержимость... Я, конечно, о деле говорю. Но что у тебя, Костя?

— Ничего, Генька.

— А все же?

— Я встретил своего комполка.

— Я тебе не задаю никаких вопросов. Я не имею права,— сказал Акимов, и пошарил в углу под газетой, где стояли бутылки из-под кефира, и вытянул оттуда начатую бутылку «Зубровки».— Что-то, Костя, не берет меня эта портвейная дребедень. Добавим? — И тотчас обернулся к двери, прислушался.— Кажется, звонок?

— Он? — спросил Константин.

Оба прислушались. Звонка не было. Незатихающие шорохи проникали снизу, из-под пола, из забитых летних комнат, а здесь, наверху, ветер, задувая, свистел в щелях рам, и кто-то скребся, терся о дверь с лестницы.

Снова сник, мигнул свет.

— Кошка, наверно,— сказал Акимов и подошел к двери, открыл ее: пустотой зачерпела площадка лестницы.— А, ты тут скреблась? Что, надоело в одиночестве?

В комнату вошла кошка, взъерошенная, озябшая; на мягких лапах проследовала к печке, к багровому жару в поддувале, села за поленцами березовых дров, притихла там, как в засаде.

— У нас свет иногда дурит,— сказал Акимов.— Ветер провода замыкает, леший бы драл. Ну, добавим? — Он чокнулся с Константином и выпил полный стакан, не закусил.— Вот что, Костя,— сказал он, подхватывая подушку.— Куда сейчас поедешь? Жди Илью. На ночь он всегда возвращается. Я не буду мешать. Пойду спать, здесь есть комнатенка рядом. Можешь лечь на диван.

— Я тебя не стесню?

— Дьявольски воспитан ты.

— Спасибо, Генька. Спокойной ночи. Я посижу покурю.

Он проснулся от какого-то беспокоящего звука, давившего на голову, от внезапно толкнувшейся в сознании четкой и острой, как лезвие, мысли: случилось что-то! — и в первую секунду не сообразил, где он находится.

В темноте гулко гремело железо на крыше, звенели стекла в мутно проступающей раме окна, несло холодом,— и он понял, где он и зачем приехал. Лежал на диване одетый, не помнил, как уснул здесь, и весь закоченел от дующего стужей окна, одеревенело плечо от неудобного лежания. Печь, видимо, давно погасла, одинокий уголек неподвижно тлел, краснея в поддувале.

Ветер обрушивался, бил по крыше, на чердаке тоненько попискивало, и как будто глухо, с перерывами кашлял кто-то под полом,— и вдруг продолжительный звонок рванулся снизу, замер в глубинах дома и вновь настойчиво прорезался на первом этаже бьющимся непрерывным звоном.

«Звонят?»

Константин нащупал на столе спички, зажег, осветил часы, одновременно прислушиваясь: было два часа ночи. «Звонят? Кто это? Михеев?»

При свете огонька зашевелились в комнате предметы: стул, бутылки, тарелки на столе. Забелела газета на полу; неверный свет странно оголял комнату, делая ее заброшенной, мертвой...

Спичка обожгла пальцы, погасла, задушенная темнотой, а Константин все сидел на диване, напрягая слух,

стиснув в кулаке спичечный коробок. Ему послышались людские голоса, возникшие шаги под окнами, и снова продолжительный звонок забился в его ушах.

«Кто это?»

Он знал, что ему нужно встать, включить свет, открыть дверь комнаты, спуститься по лестнице, пройти мимо забитых комнат первого этажа к тамбуру. Но он не мог сдвинуться с места, встать — что-то инстинктивно останавливало его, подсказывало, что это не Михеев, это не мог быть Михеев, что там внизу, за дверями, было иное, и страх морозным холодом пополз по затылку, туго стянул кожу на щеках, отдавались удары крови в голове.

Звонок на нижнем этаже оборвался.

Весь дом был наполнен визгом ветра, шорохами, по двери скребли, как наждаком. И хлипко, ветхо скрипела лестница, приближались снизу осторожные твердые шаги, качали ее...

Он подумал: «Это Акимов»,— и, сжимая в кулаке коробок, смотрел в темноту, ожидая — распахнется дверь, войдет Акимов, зажжет свет. Но дверь на лестницу сливалась со стеной, никто не входил. Только скрипели шаги по ступеням.

— Акимов! Геннадий! — хриплым шепотом позвал Константин.

Никто не ответил.

И тут же в коротком затишье, между порывами ветра, услышал равномерные звуки за стеной, приглушенный храп — Акимов спал в соседней комнате. «Не может быть! Что же это?»

Он, застыв, смотрел в сторону двери, выходившей на лестницу вниз,— в лицо дуло пахнущим морозцем сквозняком, дверь, чудилось, приоткрылась — кто-то в потемках бесшумно входил в комнату с площадки, шурша одеждой.

— Кто?..— крикнул Константин, уже готовый на все, и стал рвать из коробка спички, ломая их, будто не своими пальцами.

Одна зажглась, слабое пламя выхватило на секунду сузившуюся комнату, стол, бутылки на нем, диван... Дверь на лестницу была открыта. Она была широко распахнута в провал лестницы.

Сквозняк шевелил газету на полу.

«Что это со мной?» — подумал он, трудно дыша. И лег на спину, оттягивая воротник свитера, давивший шею,— жаркий и липкий пот окатил его.

— Идиот!..— выдавил из себя Константин и застонал.— Мне показалось...

Он закрыл глаза и в ту же минуту порывисто оперся на локти, напрягая мускулы.

Дом гудел под напорами ветра, и в нижнем этаже — это послышалось ясно — сначала внятно булькнул звонок, затем задребезжал исступленно, непрерывно, нарастая; звонок раздавался на весь дом.

И Константин, оттягивая и отпуская намокший от пота воротник свитера, теперь точно сознавал, что он не ошибался.

«Акимова... Разбудить Акимова!..»

Оглядываясь на окно, он встал, ноги сделали движение по комнате, неся облегченное, словно высушенное, тело. Натолкнувшись на зазвеневшие бутылки в углу, ничего не видя, он хотел постучать в стену, за которой спал Акимов, но охолонутый ледяным ознобом и задохнувшись от какой-то отчаянной решимости, Константин на ощупь по стене выбрался на лестничную площадку и, тут подождав немного, охрипшим голосом крикнул в темноту первого этажа:

— Кто там?..

И с трудом зажег спичку.

Пламя спички колебалось. Лестница ходила под его ногами — под рукой раскачивались ветхие перила, он делал намеренно сильные шаги, спускаясь все ниже.

Он остановился, оглушенный звонком, пронзительно трещавшим над головой.

— Кто там?..— матерясь, крикнул Константин.— Кто?..

Ответа не было. Звонок смолк.

Он стоял вслушиваясь. Спичка погасла.

Тогда, приблизясь на несколько шагов к внутренней двери, он с размаху толкнул ее плечом и, натыкаясь на бочки в тамбуре, еле нашел, отодвинул железный засов и изо всей силы швырнул ногой входную дверь. Она распахнулась — ветер рванул ее к стене тамбура.

Константин мгновенно замер.

— Кто там! Входи!..— крикнул Константин.

За дверью никого не было. Смутно отливали снегом ступени в темноте.

Он усилием заставил себя сделать еще шаг через порог и здесь, на крыльце, в несущихся токах ветра, мерзлого запаха снега и хвои, озирался по сторонам, ослепленный темнотой ночи, чувствуя, как бешеными ударами рвется из груди сердце.

Возле дома никого не было.

— Так! — сказал он.

И внезапно, не закрывая тамбура, Константин повернулся и, расталкивая бочки с капустной вонью, вбежал в дом; потом, хватаясь за расшатанные перила, бросился по лестнице вверх, а в комнате не сразу нашел висевшую на спинке стула куртку, надел шапку и после этого, переводя дыхание, услышал какие-то звуки в коридоре. Приближались шаги. Рука со спичкой вползла в комнату; ничего не понимающее, помятое лицо Акимова смотрело на Константина поверх огонька, голос был заспан, звучал обыденно:

— Что за шум? Свет зажги... Илья приехал? Ты куда?

— Тут звонил кто-то,— проговорил Константин.— Я в Москву!..

— Ку-да-а? Кто звонил?.. Бывает, звонок от ветра работает... Михеев не приехал?

— Я — в Москву.

— Ку-уда в Москву? Электрички нет до утра!

— Доберусь на товарном. Будь здоров!

И, уже не разбирая, что кричал в спину Акимов, он сбежал по лестнице и выскочил, прыгая по ступеням крыльца, на снег, в навалившуюся на него ветреную стужу. И торопливо пошел, побежал к калитке, угадывая ногами скользкую тропку меж сугробов.

В поселке не горело ни одного огня.

Под ветром подвывали в небе провода, иголочки снега, срываемые с деревьев, резали разгоряченное и потное лицо Константина. Он бежал по темным заметенным улочкам поселка — наугад, к станции.

«Это просто я схожу с ума! — думал он, задыхаясь и видя впереди за крышами блеснувшие огни на путях.— Что же это было со мной? Что?»

Он испытывал сейчас такую ненависть к этой ночи, такое злое, презрительное отвращение, что, казалось, все, что он мог уважать в себе, было уничтожено этой ночью,

и не было никакого смысла во всем, что он делал или хотел сделать. В том, что он испытывал сейчас, как бы проступил в нем второй человек, он ощущал его ненавистное вырастание внутри, его неудержимо, до унижения срывающийся, перехваченный голос, его липкий пот...

«Если *это*... если *это*, тогда — конец...»

Под Сталинградом после непрерывных бомбежек, когда в пыльной мгле пропадало солнце, он видел людей, которых называли «контуженными страхом»,— дико бегающие пустые глаза, сизая бледность или не сходящая болезненная багровость лица, внезапный фальшивый смех, жадность к еде, старчески трясущиеся руки, потерявшие силу, и отправление нужды прямо в траншее. Такие не вызывали ни жалости, ни сочувствия. Это были живые мертвецы. Таких убивало на второй день; их убивало потому, что они с животной слепотой цеплялись за жизнь, потеряв способность жить.

«Если *это*...— значит, конец!..»

Проваливаясь в разъеденных ветрами сугробах затемненной улочки под трещавшими над заборами соснами, он во всех деталях вспоминал ночь на Манежной площади, жалкое, опустошенное лицо Михеева в переулке около церкви, где они встретились, его визгливый голос: «Сам ответишь!» — и всплывал в памяти томительный разговор в отделе кадров с Соловьевым, потом человек с газетой возле стоянки такси на Пушкинской, приезд к Быкову — и, сопротивляясь тому, что подсказывало сознание, вдруг впервые ясно почувствовал взаимосвязь всего этого.

«Что же теперь? Что мне делать?.. Но если бы был Сергей... поговорить с ним, решить!..» — сказал он еще себе и сейчас же подумал об Асе, а подумав о ней, представил ее лицо: он боялся его увидеть.

«А как же Ася? Как же Ася? — подумал он опять.— Трус! Сволочь! Храбрился перед этим Соловьевым, перед Быковым, перед Михеевым... Ложь! Обманывал себя, а правда, вот она — дрожание коленок...»

Спотыкаясь, весь потный, он перешел пути под опущенным шлагбаумом, низко над землей басовито звенели телеграфные провода, светящиеся полосы рельсов уходили в раздвинутый впереди коридор лесов.

Отдыхая, поворачиваясь боком к ветру, он поднялся на платформу, по-ночному освещенную тусклым островком вздрагивающих фонарей. Ветер хлопающим громом

налетел на деревянное зданьице, холод пронизал потное тело — и, затягивая шарф, ускоряя шаги, он вошел под крышу станции.

Под крышей теплее было, покойнее, темнели изрезанные, щербатые скамейки, за окошечком кассы занавесочка висела, чуть шевелилась: ветер пробирался и туда. Константин, придерживая поднятый воротник, поискал на стене расписание.

— Ждешь, дядя, никак, электричку? — послышался голос за спиной.

Константин обернулся.

— А?

В дальнем углу на скамье под лампочкой сидел плотный небритый парень в кожаном пальто и рядом другой — узкоплечий, с мальчишечьим лицом, в телогрейке, в ватных брюках. На скамье перед ними — бутылка водки, раскрытые консервы, оба деловито ели ножами из банки. Оглядев Константина, парень в кожанке отпил несколько глотков, передал бутылку узкоплечему.

— Когда... электричка в Москву? — спросил Константин.

— Неграмотный, дядя? — Узкоплечий, жуя, подошел к расписанию, стал водить, как указкой, кончиком ножичка по столбцам, обернул свое подвижное мальчишечье лицо и, смешливо пришепетывая, произнес сквозь щербинку меж зубов: — В пять утра первая... Бабушка, дедушка. Точно запомнил время, усики? Грузин?

— Пошел к черту,— проговорил Константин. «В пять утра... В пять!»

— Иди, Вась. Рубай,— вялым голосом позвал парень в кожанке.

Константин, согревая руки в карманах, прислонился плечом к деревянной стене, лихорадочно соображая, что делать сейчас,— и смотрел на жующих в углу парней, но смутно видел их лица.

Они ели молча.

«Значит, в пять. Значит, в пять утра? Ждать до утра?»

Ветер налетел на платформу, напоры его гулко разрывались вокруг станции, и донесся,— может быть, почудилось,— из ночи, из хаоса звуков слабый свисток паровоза, его тотчас смяло, унесло, как будто струйка ветра беспомощно пропищала в щели.

— Бабушка, дедушка,— хохотнул паренек с мальчишечьим лицом.— Чего, дядя, застыл, спрашивают? Садись в товарняк! Чего смотришь?

Константин почти не разобрал то, что сказал парень, только показалось на миг, что он понял что-то особое, необходимое, страшное,— и даже руки, засунутые в карманы, налились млеющим нетерпением.

«Только бы увидеть Асю... И — больше ничего. Только бы увидеть...»

Парни кончили жевать, узкоплечий вытер лезвие о край скамьи, не отрывая смешливого взгляда от Константина.

— Чего уставился, дедушка, бабушка? Не псих ты?

Константин не ответил.

Близкий свисток паровоза, рвя ветер, несся на станцию; Константин ногами почувствовал сотрясение пола и тут же рванулся к выходу, выбежал из деревянного зданьица в пронзительный, навалившийся паровозный рев, заложивший уши.

По глазам полоснул сноп прожектора, трехглазая железная громада с грохотом, шипением мчалась, надвигаясь из ночи; и налетела на станцию, свистя паром с запахом угля; мелькнуло жаром красное окошко машиниста, Константина обдало теплой водяной пылью — и тяжело забили колесами о рельсы, наполняя станцию пульсирующим гулом, огромные закрытые вагоны.

Это был товарняк.

Константин, оглохший в грохоте, пропустил половину состава и бросился за поездом по платформе, надеясь вскочить на тормозную площадку, но не рассчитал скорости поезда.

С убыстренным ходом пронесся последний вагон, стуча тормозной площадкой. Эту площадку мотало, и мотало там темную фигуру в тулупе, и красный фонарь стремительно удалялся над открывшимися рельсами.

Константин добежал до конца платформы, схватился за перила, упал на них грудью.

«Здесь они не сбавляют скорость... Не вышло! Что же делать? Пешком идти?.. По рельсам идти? Только не ждать до утра. Все, что угодно, только не ждать!..»

Платформа была по-прежнему унылой, ночной. В поселке не светилось ни одного окна. Почти сливаясь с темью станции, проступали две фигуры у стены — оттуда смотрели на него.

«Все, что угодно, только не ждать! Только бы увидеть Асю! Только бы...»

Когда он утром, растерзанный, потный, за сутки обросший щетиной, испачканный мазутом, с полуоторванным рукавом, не вошел, а, пошатываясь, ввалился в комнату и когда чуждо, резко увидел на пороге Асю, растерянно открывшую ему дверь, Константин со спазмой в горле, тисками душившей его, хрипло прошептал:

— Асенька...— И, сдергивая с шеи шарф, точно всю ночь нес на плечах нечеловеческий груз, смотрел на нее, едва держась на онемевших ногах.

— Ты жив, ты жив?.. А я уж не знаю, что передумала!.. Где ты пропадал? Не спала ночь, прозвонила все телефоны, наделала шуму — у Склифосовского, в автопарке... Ты знаешь, что я подумала? Ты знаешь?

— Я тоже... о тебе,— прошептал он, не было сил говорить.

И она еще что-то спросила его, но в эту минуту он ничего ясно не расслышал, казалось — спрашивали не губы ее, а брови, глаза, все лицо, подчиненное им.

— Костя? Костя...

— Я думал о тебе всю ночь. Только об этом. Все время...— снова шепотом выговорил Константин,— и то, что... Я не жил бы без тебя...

А она, прикусив губы, молчала и горько одним взглядом спрашивала его: «Это всё, всё?»

— Ася, нас сняли с машин в конце смены. И отправили разгружать состав с лесом... Вот видишь, такой вид. Вот... Порвал рукав...

Константин падал несколько раз на обледенелой насыпи, сбегал со шпал, когда навстречу неслись товарные поезда, и, оскользаясь, скатывался в кусты сбоку путей; он сел на товарняк только в Вострякове. Но лгал он ей наивно, как говорят неправду не подготовленные ко лжи, видел, что она еле заметно отрицательно качала головой, лишь так отвергая его неправду, и он договорил чуть слышно:

— Я виноват... Я не мог позвонить...

Он глядел на нее, на темную, как капелька, родинку у края губ и со словами, застрявшими в горле, думал, что он ничего не сможет объяснить ей.

— Пожалуйста, скажи мне наконец правду...— Ася

даже привстала на цыпочки, отвела его волосы с потного лба, заглядывая ему в глаза.— Ну, пожалуйста. У тебя ночью... ничего не произошло?

— Нет. Я просто смертельно устал. Ася, послушай меня...

Она, почему-то зажмурясь, перебила его:

— Нет! Ничего не говори. Не надо, Костя. Когда ты найдешь нужным, расскажешь мне все. Сейчас — не надо. Сними куртку. Я зашью. И иди в ванную. Усталость сразу пройдет.

— Я... сейчас, Асенька.

Он покорно снял куртку и, сняв, почувствовал от своего насквозь мокрого свитера запах прошедшей ночи — запах едкого страха, и, отступя на шаг, повторил:

— Асенька, родная моя.

А она молча села на диван, положив его куртку на натянувшуюся на коленях юбку, разглаживая место, где был надорван рукав, опустила лицо, мелко дрогнули брови — и ему показалось, что она могла заплакать сейчас.

«За что она любит меня? — подумал он.— За что ей любить меня?» — опять подумал он, видя прикосновение своей смятой, пропахшей вонью мазутных шпал куртки к ее чистым коленям, к ее чистой одежде — это грубое соединение ее, Аси, с той страшной ночью.

И он уже напряженно искал на ее лице выражение брезгливости.

— Иди же в ванную. Я зашью. Я сейчас зашью,— сказала она с дрожащей улыбкой.

Он выбежал из комнаты. Он боялся, что не выдержит этой ее улыбки.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Константин дремал за столом, клонилась голова, смыкались веки, у него не было сил встать, раздеться, лечь на диван; ранний мартовский закат уже наливал комнату золотистым марганцем, наполнял ее благостной тишиной сумерек, и он подумал: как хорошо не двигаться, не заставлять себя что-либо делать с собой, со своим смятым усталостью телом.

«Вальтер»,— думал он.— Я должен это сделать сегодня, сейчас. Им известен даже номер пистолета. Выбросить. Выбросить! И — ничего не было. И нет никаких

доказательств. Главное — улика. Уничтожить ее! Выбросить эту память о войне!»

Константин встрепенулся, как бы прислушиваясь к безмолвию, в нерешительности встал: тело ломало, болели икры — это не чувствовалось так, когда, опустошенный, сидел он за столом в мутной дреме после бессонной ночи. «Значит,— рассчитывая, подумал Константин,— взять ключ от сарая. Вернуться с охапкой дров. В коридоре не наткнуться на Берзиня, который в это время дома, он рано приходит с работы. Господи, что это я? При чем тут Берзинь? Я иду за дровами, как ходят все. Спокойно, надо спокойно».

Медленно он надел куртку, вышел из парадного, холодом защипало ноздри. Двор был тих, пуст; закат из-за крыш падал на сугробы, был багрово-ярок: еще по-зимнему крепко схватывал вечерний морозец в колючем воздухе. И низко над двором, окутываясь дымом печей, висел над трубами прозрачный тонкий месяц.

Скрип снега, раздавшийся под ногами, мнилось, достигал крыш; отталкиваясь, возвращался с неба — Константин по темнеющей тропке пошел на задний двор.

И вдруг остановился в двух шагах перед сараем.

Дверь сарая была открыта. Звучали голоса, и кто-то возился, покашливая там нервно.

«Кто в сарае? Берзинь? С кем?»

— Вы, Марк Юльевич? — спросил он очень громко, позванивая связкой ключей, узнав покашливание Берзиня.— Добрый вечер! Как говорят...

За порогом на чурбане сидел Марк Юльевич в очках, завязывал кашне, обмотанное вокруг горла, толстое лицо было лиловато-красное от заката, он подтолкнул на переносицу очки, ответил тоном занятого человека:

— Да, да. Это я... Это мы...— Нацелился колуном и, сидя, ударил по березовому поленцу; оно треснуло стеклянным звуком.— Что? — с задышкой проговорил он.— Тома! Подавай мне, пожалуйста, короткие... Я выбился из сил.

За спиной его в углу сарая горела свеча, вставленная в горлышко бутылки; свечу заслоняла закутанная в платок фигура Тамары; она выбирала поленья и, прижимая их к груди, как ребенка, носила к отцу.

— Это дядя Костя? — сказала она и бросила полено, поправила волосы на виске.— Это дядя Костя? — Она,

видимо, сразу не разглядела его в полутьме, подошла вплотную, несмело спросила: — Вы за дровами? Вы?..

Она тихонько опустила чурбачок на землю, напротив Марка Юльевича, все не сводя с Константина спрашивающих глаз, и проговорила опять робко:

— Дядя Костя?..

Берзинь сердито, шумно высвободил колун из полена, отдуваясь, простонал:

— Дети, дети, задают столько вопросов,— можно сойти с ума! Да, я устал слушать вопросы! Да, да! — сказал он в голос и расщепил колуном полено.— Он за дровами, это ясно? Он ничего не потерял в сарае, это ясно? В школе ты учила стихи? «Откуда дровишки? Из лесу, вестимо!» Ты учила эти стихи? А мы берем дрова из сарая!

А Константин, уже не звеня ключами, смотрел не на Берзиня, не на затихшую Тамару — смотрел на слабый и сухой червячок свечи над грудой сдвинутых дров.

Там, в этом месте, был спрятан «вальтер», завернутый в носовой платок, и сверток этот был запрятан им на уровне гвоздя, забитого в стену, где постоянно висела ножовка.

Дров на прежнем уровне не было. Они были разобраны, и он тотчас же вспомнил, что тогда ночью спрятал пистолет в дровах Берзиней, твердо зная, что у них никогда искать его не будут. И, оглушенный внезапным ужасом и стыдом, Константин взялся за покрытую ледяной, скользкой плесенью бутылку со свечой, обвел взглядом Берзиней.

Оба они безмолвно, с каким-то объединенным сочувствующим вниманием глядели на него, на свечу, которую он тупым жестом переставил на другое место; язычок свечи заколебался.

— Вы...— сказал он и замолк, потом глухо договорил: — Не буду мешать. Простите...

Берзинь закивал странно и часто, полукашляя в нос; свеча дробилась в стеклах его очков, и рядом с его лицом белело лицо Тамары,— он видел ее изумленно наползающие на лоб брови. Она откинула платок, выгнув свою еще по-детски беспомощную шею, готовая что-то сказать, но не говорила ничего.

И он почувствовал себя как в душном цементном мешке и быстро пошел к двери; на пороге сказал:

— Простите меня, Марк Юльевич.

— Нет! Мы уходим! Томочка, возьми дрова! Мы мешаем соседу! Мешаем! — Берзинь вскочил, засновал локтями нелепо, как будто собираясь бежать; концы кашне мотались на его груди.— Сопливая девчонка! Что ты сидишь, я тебя спрашиваю! — срываясь на фистулу, крикнул Берзинь, оглянувшись на дверь.— Сопливая наивная девчонка! Куда ты запускаешь глаза? Где твоя вежливость? О-о! Думать! В первую очередь человек должен думать! — Берзинь постучал указательным пальцем себе в лоб.— Мы живем в коллективе. Мы должны уважать соседей. Мы уходим из сарая!

— Папа! — закричала Тамара возмущенно.— Не кричи! Мне стыдно за тебя! Почему ты боишься? Если у тебя не хватает смелости, я сама объясню Константину Владимировичу! Константин Владимирович! — Она перешла на шепот: — Константин Владимирович... Сегодня... мы брали дрова... И вы знаете... у нас...

Константин обернулся.

«Не говори! — хотелось сказать Константину.— Я все понял. Не говори ничего!»

Он молчал, покусывая усики, смотрел на растерянно моргавшего Берзиня, на шатающийся язычок свечи, на Тамару, доказательно прижавшую руку к груди, сказал, наконец, вполголоса:

— Что «знаете»?

Он не мог объяснить сам себе, почему так открыто выговорил «что «знаете»?», и, сказав это, переспросил:

— Не понимаю, что — знаете? О чем вы, Тамара?

— Паршивая девчонка! Что ты говоришь, не слышали бы мои уши!— Берзинь обвязал кашне вокруг воротника, грубо потянул Тамару за рукав.— Что ты говоришь Константину Владимировичу! Мы уходим, сию минуту уходим, Константин Владимирович! Вам не стоит слушать ее болтовню. Стоит ее послушать — и можно повеситься!

— Ах так! Так, да? — сказала Тамара зазвеневшим голосом.— Ты трус! Ты боишься самого себя! Вот смотрите, Константин Владимирович, что мы нашли в сарае! Под этими дровами! Кто-то спрятал здесь! Смотрите!

Она отшвырнула поленья, вытащила маленький серый сверток из-под дров, шепча: «Вот-вот»,— и, не сняв варежки, стала торопясь и вместе боязливо разворачивать его. Конец пухового платка мешал ей; путаясь под руками,— и в следующую секунду сверток выскользнул

из ее варежек. Пистолет со стуком упал в щепу. Белые фетровые валенки Тамары стремительно отскочили в сторону от упавшего в щепу «вальтера». Берзинь, страдающе охнув, схватился за голову.

— Что ты делаешь? Он заряжен патронами!.. Можно сойти с ума!

— Он заряжен пулями,— сказал Константин.

— Что? — удивился Берзинь.

— Пулями,— сказал Константин, глядя на «вальтер».

В щепе при огне свечи он тускло, масляно отливал гладким металлом.

Аккуратные валенки Тамары приблизились к пистолету и замерли, она сказала:

— Вот!..

— Пулями,— проговорил Константин.

— Что? — спросил Берзинь потрясенно.

— Пулями,— повторил Константин,— которые убивали на войне.

Усмехнувшись скованными губами, он поднял пистолет, а когда уже привычно держал на ладони этот зеркально отполированный, изящный, точно детская игрушка, «вальтер», на минуту почувствовал, как твердая рукоятка его, тонкая и влитая спусковая скоба плотно входят в ладонь, передавая коже холодную щекочущую жуть, таившуюся, запрятанную в этом круглом стволе,— стоит едва сделать усилие, нажать спусковой крючок...

Он услышал в тишине носовое дыхание Берзиня, скрип щепы под валенками — и на миг увидел в глазах Берзиня и Тамары, как бы вмерзших в одну точку, страх ожидания близкой опасности, исходившей от этого полированного металла; и обнаженно ощутил связь между собой и этим оставленным после войны «вальтером», будто он, Константин, нес опасность смерти — стоило лишь нажать спусковой крючок. И тут особенно понял, что не может ни перед кем оправдаться, объяснить, зачем он оставил пистолет, и ясно представил бессилие своих доказательств.

— Это... немецкий пистолет,— проговорил он наконец.— Старой марки. Лежит с войны...— И усмехнулся Тамаре.— Понимаете?

— Да, да, да! Это чей-то пистолет... лежит с войны!— эхом подтвердил Берзинь.— Да, да, да! Это с войны! Конечно, конечно!..

— Ты, папа, говоришь ужасную ерунду! — досадливо выговорила Тамара.— Эти дрова привезли осенью. Привез Константин Владимирович! — Она обратилась к нему по-взрослому, голос был трезво опытен, как голос зрелой женщины, и эта рассудительность поразила Константина.— Я уверена — револьвер надо сдать управдому или в милицию. Мы не знаем, зачем он здесь, может быть, готовится убийство! Это может быть?

— Н-не думаю,— сказал Константин; струйки пота, щекоча, скатывались у него из-под шапки, он добавил тихо: — Тамара, из этого оружия нельзя убить. Это «вальтер». Игрушка. Поймите — детский калибр. Кто-то привез его с войны как игрушку.

— Из револьвера убивают,— ответила Тамара.— У нас в школе мальчик принес финку. Нашли в парте. Его исключили. Директор сказал, что весь класс потерял бдительность...

Берзинь схватился за виски.

— Какой управдом? Какая милиция? Какой директор? Что у тебя в голове! Какое твое собачье дело? Я повешусь от такой дочери!

— Папа! Перестань! Это стыдно! Я ненавижу твои истерики! Мещанские слова! Я знаю, как ты читаешь газеты, слушаешь радио — зажимаешь виски, закрываешь глаза! Да, я знаю! — Голос ее очень трезво прозвучал в ушах Константина, ошеломив его откровенностью и прямотой.— Разбираешь события со своей мещанской колокольни!

Берзинь, растирая виски, закачался из стороны в сторону.

— Что она говорит! Что она говорит, отвратительная девчонка! Замолчи! — Он весь затрясся и так дернул книзу руку Тамары, точно бы хотел рукав телогрейки оторвать.— Замолчи, глупая! Или я тебя побью раз в жизни!

Он топтался перед ней, маленький, круглый, вобрав голову в плечи — то ли готовый ударить ее, то ли сам головой и плечами ожидая удара, не веря в то, что сейчас она сказала, а лицо было как у ребенка, которому сделали больно.

— Что ты делаешь... с отцом? — обезоруженно произнес он.— Что делаешь?

Испуганно трогая руку, которую грубо дернул отец, Тамара отошла к двери, расширяя глаза со стоявшими

в них слезами, оттуда проговорила упрямым голосом:

— Не смей меня больше трогать, не смей! Я комсомолка, папа. Мы никогда не должны забывать! Мы обсуждали на собрании... Мы советские люди. Разве этот револьвер нужен хорошему человеку? Зачем он ему? А если какой-нибудь вредитель ночью спрятал? Константин Владимирович, скажите же, скажите папе! Он ничего не хочет понимать. Константин Владимирович, скажите же ему! Нужно немедленно сообщить в милицию! Я сама пойду. Я не боюсь!.. Я сама пойду!

— Замолчи! — срываясь на визг, затопал ногами Берзинь.— Я тебя изобью. Ты не моя дочь!

Константин не предполагал этого — Тамара вытерла глаза, решительно перешагнула фетровыми валенками через кучу дров, рванулась из сарая и побежала по тропке к воротам среди сугробов.

— Тамара! Подождите... Тамара!

Константин сунул «вальтер» в карман, увидел на секунду, как Берзинь в отчаянии со стоном опустился на чурбачок,— и бросился к двери, ударившись о косяк, догнал Тамару на середине двора.

Она гибко откинула голову,— бледное лицо в платке, детские глаза выступили из темноты.

— Что вы? Вы — тоже? Тоже? — вскрикнула Тамара.— Что вы... хотите от меня? Вы боитесь, да? Почему вы все боитесь? Вы тоже боитесь?

— Тамара, не делайте этого! — заговорил он, стараясь убедить ее.— Тамара, милая, вы не должны этого делать! Нельзя ничего опрометчиво делать. Никогда не надо. Вы ведь многого не знаете. Вы можете погубить сейчас ни за что человека. Может быть, это все принесет большую беду! Поверьте, все может быть! — Ему стоило усилий улыбнуться ей в расширившиеся глаза.— Ну, если это мой пистолет... Я похож на вредителя? Ну, скажите — похож? Я похож?

— Вы-ы? — протяжно выдохнула Тамара, и кончики бровей ее разошлись в стороны.— Вы?

— Разве это важно? — продолжал Константин.— Но подумайте, что это пистолет такого человека, как я... Кто-нибудь привез с фронта. Спрятал. И забыл про него. Может же это быть? Поверьте, это может быть. Вот он, пистолет, я взял его! Я отнесу его в милицию и сдам! И все будет в порядке. Вам не нужно никуда ходить!

И не нужно вмешиваться. Вы ведь девушка. Зачем вам это? Совсем не женское это дело. Ну? Разве я не прав?

— Вы знаете... вы знаете,— звонко заговорила Тамара и отвернулась.— Когда случилось это с мальчиком, я не сказала. Но на меня стали как-то странно смотреть даже учителя. Я видела ножик, но не подумала. А его исключили. Но я не понимаю: стали говорить, что я из любви к нему забыла о честности. Я не понимаю...

— Идиоты были всегда! И, наверно, еще долго будут,— сказал Константин и прибавил дружески: — Вернитесь, Тамара. Вы обидели отца, но вы оба были неправы. Честное слово. Идите к отцу. Мы часто несправедливы с теми, кто нас любит. И прощаем тем, кому нельзя прощать. Поверьте, я немного старше вас. Я немного опытнее.

Замедленно проведя варежкой по щекам, словно снимая паутину, она спросила удивленно:

— Почему вы со мной... так говорите? Как с ребенком...

Он осекся, хотя ему хотелось говорить с ней.

А двор погружен был в синеющую темноту мартовского вечера с пресным запахом подмороженного снега, открывалась над границей крыш ровная глубина звездного неба, и проступал огонек свечи из раскрытой двери сарая. Все вдруг стало покойно, тихо, как в детстве. Ничего не случилось, не должно было случиться — ночь была закономерной, и закономерными были огонек свечи в сарае, звезды над двором, горький запах печного дымка и то, ужасное, что исправилось в жизни, как только он заговорил с ней. Он не знал, что́ это было, но он говорил с ней и чувствовал себя старше нее на много лет, и опытнее, добрее, чем, казалось, все эти знакомые и незнакомые люди за спокойно освещенными окнами во дворе. Жесткий ком пистолета, давивший на грудь,— комок зла, страха за Асю, за все, что могло свершиться,— было тоже закономерностью.

Он сказал:

— Идите к отцу, Тамара. И помиритесь. Не стоит портить друг другу жизнь. Из-за пустяка. Честное слово, жизнь неплохая штука, если быть добрым к добру и сволочью ко злу. И тогда прекрасно будет.

— Что? — одними губами спросила Тамара.— Какое зло?

— Это вы когда-нибудь поймете. Вы всё поймете. Послушайте меня, идите к отцу и скажите ему, что ничего не было. Ведь он вас любит.

Она посмотрела на него из темноты недоверчиво, шепотом сказала:

— Почему вы так говорите?..

— Томочка! — жалобным голосом позвал Берзинь из сарая.— Константин Владимирович...

— Идите! — сказал Константин, не отвечая на ее вопрос.— Идите.

Взглянув на сарай, она осторожно вздохнула и тихими шажками двинулась по тропке. В оранжевом от свечи проеме двери проступала маленькая, жалкая фигура Берзиня; покашливая, он горбился, в позе его были убитость, желание мира.

Константин пошел к парадному.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Иногда ему казалось — вся квартира была полна звуков: хлопала пружина парадного, Берзинь трубно и мужественно сморкался в коридоре; гулко, но неразборчиво шли волнообразные голоса из кухни, стихали и вновь толкались в стены, и Константин лежал на диване, в полузабытьи различал эти звуки.

Потом голоса замолкли на кухне.

«Почему люди так много говорят? — думал Константин.— Какой в этом смысл? Что это, форма самозащиты?.. Берзинь отлично понял, что пистолет мой. Но он слишком честен. И теперь смертельно перепуган. За себя, за Тамару и, наверно, за меня. Скажите мне, милый Марк Юльевич, зачем я берег этот «вальтер»?.. Почему я, дурак, не выбросил его раньше? Память? Наградное оружие? Да это же глупость! Нервы — ни к черту!.. И тогда, на даче, и сейчас. Я, кажется, болен, нервы, нервы!..»

Константин лежа нащупал во внутреннем кармане куртки пистолет — ему необъяснимо хотелось смотреть на него. «Вальтер» влип в пальцы: никель, кнопка предохранителя, литой спусковой крючок, гладкий ствол. Когда-то, несколько лет назад, в разведке этот «фоновский» пистолет был необходим всегда, легко оттягивал задний карман — запасной пистолет для себя; тогда он сам как угодно мог распоряжаться своей жизнью.

Но здесь, сейчас, в тишине комнаты, при виде этого точеного, как детская игрушка, механизма, здесь совсем по-иному — металлически и щекочуще — запахло смертью. И, со страхом, с ненавистью к этому пистолету, глядя на него, он снова ощутил вокруг себя провал, как тогда ночью, когда шел на станцию во Внукове.

«Нервы,— подумал он.— У меня размотались нервы. До предела размотались...»

Константин медлительно встал с дивана, поскрипывая рассохшимся паркетом, прошел в другую комнату, включил свет. Комната ожила вещами Аси: свитером, домашним халатиком на спинке стула. Окна блеснули черным, превратились в плоские зеркала. Они мертво отразили зеленый парашют застывшего на шнуре абажура и очертания лица Константина, выражение которого он не разобрал, когда задергивал занавески.

Он выложил на письменный стол томики Тургенева, затем том «Жизнь животных» Брема, который необходимо было сжечь. Этот наивный тайник для «вальтера» все-таки был удобным — вырезанный бритвой футляр среди жирных строчек, и в глаза Константину бросилось несколько слов, оборванных выемкой гнезда, он прочитал машинально, не вдумываясь в смысл: «...потрясенные ревом тигра, животные...»

Он вздрогнул — громкий стук раздался в дверь из коридора.

Этот стук возник из шагов, голосов на кухне, из возбуждения в квартире. Стук начался в дверь первой комнаты, он заполнил ее, ринулся, проникая оттуда, из другого мира.

И, отчетливо услышав этот сумасшедший стук, Константин быстрым и сильным рывком охватил, сжал плоский и холодный как лед металл пистолета, а когда он оборачивался к двери, что-то знакомое, темное кинулось в лицо, мелко задрожало в тумане, жирная линия букв, смысл которых он теперь не понял; лишь в сознании его завязла мысль: «Вот оно, вот оно!»

За дверью гремели шаги. Стучали непрерывно.

И он понял, что это все — за спиной дышит пустота, в которой ничего нет, кроме угольного бесконечного провала. И еще он успел подумать, что сейчас, когда они войдут, исчезнут мать и отец, которых он уже забывал, почти не помнил, и незабытая война, и Сергей, и сорок пятый год, и Николай Григорьевич, и Ася, и ее радостно

сияющие ему глаза («Прости меня, Асенька, прости меня!»), и Михеев, и Быков, и вся злость, и его мука, и его страх за Асю, с которым невозможно было жить.

«Вот и все, Костя...»

И, одним движением толкнув руку с «вальтером» в карман, глядя на дверь в другой комнате, он крикнул:

— Кто?..

В дверь прекратили стучать. Шагов не было, и только возбужденный голос сквозь дыхание:

— Константин Владимирович! Константин Владимирович!.. Вы спите? — Это был голос Берзиня.

— Кто там?.. Вы, Марк Юльевич?..

— Константин Владимирович! Откройте! Вы слышали? Вы спите? Радио... включите, пожалуйста, радио!

— Что? Какое радио?

С испариной на лбу, очнувшись, он застонал, протер лицо, словно разглаживая на нем напряжение мускулов. И после этого повернул ключ в двери.

— Радио... радио! Вы слышали радио? Это второе сообщение... Вы слышали?

Берзинь на коротеньких ногах вкатился в комнату, волосы встрепанно торчали с боков лысины, подтяжки спущены, били по ягодицам, как вожжи.

В руках Берзиня была мышеловка, и несоответствие этой мышеловки и выражения несчастья в глазах его, во всей его фигуре удивило Константина. Он, не понимая, еле выговорил:

— Вы что? Что?

— Вы послушайте... послушайте! Вы не слышали? Не слышали? Передали о Сталине... И сейчас передают. Вы спали, да? Вы не слышали? Включите радио! Где у вас радио?

— Что — Сталин?

— Включите радио. Включите радио! — повторял Берзинь, суетясь по комнате.— Где, где у вас радио? Передают. Сейчас!

Константин вбежал во вторую комнату; дергая зацепившийся шнур, включил репродуктор, который размеренно ронял чугунные слова:

— ...и Совет Министров Союза ССР сообщают о постигшем нашу партию и наш народ несчастье — тяжелой болезни товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.

В ночь на второе марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло крово-

излияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга.

Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания...

На Горбатом мосту тихой канавы Константин достал «вальтер» из внутреннего кармана и резко бросил его через железные перила в неподвижную вечернюю, освещенную огнями воду.

И не расслышал булькнувший звук внизу. Вода поглотила пистолет без всплеска — и не было кругов в масленой черноте под мостом.

«Почему я этого не сделал раньше? Надеялся на что-то? Ждал? Не верил? Что ж — вот она, добренькая черта: сомневаться до последнего момента! И я не верил, сомневался?..»

После, скользя по гололеду ступеней, Константин спустился на безлюдную набережную — и здесь слева раздался стеклянный приближающийся хруст ледка под чьими-то ногами. Он со споткнувшимся сердцем глянул из-за поднятого воротника. Темная фигура постового, незаметно дежурившего в тени дома, солидно, неторопливо надвигалась на Константина, голос ударил, как выстрел:

— А ну, что бросил, гражданин? Что в канаву бросил?

— Пистолет. Обыкновенный пистолет,— внезапно с отчаянным спокойствием проговорил Константин.— Этого мало?

— Чего-о? Вы эти шутки бросьте. Вчера одна тоже бросила. Ночью. Утром посмотрели — младенчик на камушках. «Пистоле-ет»! Проходите, проходите, гражданин!

Ночью он сжег в печи том Брема, в котором было вырезано гнездо для «вальтера».

— Ты не спишь, Костя?

— Нет. Не могу.

— Это ужасно.

— Скажи как врач, инсульт — очень серьезно? Это излечимо?

— Да. Но это второй инсульт. Главный врач нашей поликлиники сказал, что это второй. Первый был в

тридцатых годах. Мы не знали. Он без сознания. Поражены важные центры.

— Странно. Не могу представить, чтобы он был без сознания. Мы всегда думали, что он вечен...

— Когда я шла из поликлиники, на улице останавливались люди. Везде включили радио. Все молчат. Никто не ожидал. Знает ли об этом папа... там? И Сергей...

— Наверно.

— ...Письма, которые писал Сергей Сталину... Он писал о папе. Теперь я не знаю, что будет.

— Ася! Тебе неудобно лежать?

— Нет, нет... Что-то стало душно. Горло перехватило.

— Дать тебе воды? Тебе что-нибудь нужно, Асенька?

— Не надо. Ничего не надо. Возьми только руку из-под головы. Не обижайся... Я вот так лягу. И все пройдет.

— Ася!

— Что, милый?

— Ася, все прошло?

— Да.

— Ася... что ты сейчас чувствуешь?

— Этого не объяснишь. Маленького зайца. Лапками копошится за пазухой.

— Я люблю тебя. Одну. Единственную. Я никогда никого так не любил.

— Костя, глупый, ты так сказал? А он возится там и не знает — ни тебя, ни меня. Ни то, что в мире. Он сейчас ничего не знает.

— ...Ничего не знает. Ни о тебе, ни обо мне. Ни о своем деде. Все ему не нужно будет знать. К черту ему знать это!

— Нет! Он должен знать все. Я не хочу, чтобы он вырос комнатным цветком. Нет. Он должен уметь драться, защитить себя. Он не должен давать себя в обиду.

— Я уверен, Ася, он все же будет жить при коммунизме. Кулаки необходимы будут для спорта. Это нам нужны кулаки. Ася... тебе удобно лежать?

— Да, милый. Сколько сейчас времени?

— Два часа ночи.

— Два часа... Костя, ты не выключал радио?

— Нет, радио включено.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На следующий день перед сменой Константин увидел Михеева.

Помедлив, Константин размял сигарету, помедлив, чиркнул спичкой, затянулся, потом аккуратно бросил спичку в металлическую бочку около входа — ждал, пока пройдет первый порыв злой неприязни, возникшей сразу при виде широкой шеи Михеева со щеточкой отросших волос, лежавших на воротнике полушубка, его крепкой, тугой спины, его ватных брюк, заправленных в бурки.

Боком к Константину Михеев стоял в толпе шоферов, собравшихся перед линией в закутке курилки, щеки его темнели плохо выбритой щетиной, угрюмое лицо было непроспанно, одутловато, с похмельной, казалось, желтизной.

«Он был у больной сестры или на дне рождения, кажется? — вспомнил Константин недавние слова Акимова.— Он приезжает с линии раньше или позже меня, избегает встреч со мной!.. Или той ночью он еще где был? Что ж, и это похоже. О чем он думает сейчас?»

— А я тебе говорю — нет! Соображать надо! — донесся из закутка рокочущий бас Плещея.— Слухи, брат, как мяч, скачут!..

И Константин догадался, о чем говорили там.

Все, что задумал он, как бы теряло сейчас свою значительность, растворялось в неспокойной и сгущающейся обстановке, все как бы утрачивалось в последних событиях и незаметно отдалялось в охлаждающий туманец.

«Так что же?» — спросил он себя.

Константин зачем-то выждал минуту подле бочки с водой, отражавшей сквозь нечистые стекла окон фиолетовое мартовское небо, подошел к закутку курилки. Его никто не заметил; увидел один Сенечка Легостаев, как всегда, топтавшийся чуть в стороне с бутылкой кефира; несмотря ни на что, он закусывал перед сменой. Здороваясь, он открыл, криво улыбнувшись Константину, стальные зубы, спросил:

— Слышал? Что происходит-то на белом свете?

И, большим глотком отхлебнув из бутылки, навалился на чужие плечи, стал не без любопытства заглядывать в середину гудевшей толпы шоферов.

Шли разговоры.

— Что тут предполагать! Все может быть. Иногда и профессора ни шута не могут! — выделяясь, звучал натянутый густой бас Плещея.— Здоровье тоже было немолодое. Но надеяться надо — обойдется, может. Об этом и думать надо. А не о том, что профессора плохие. Всё козлов отпущения хотим найти!

— В войну ни одной ночи небось не спал — думал за всех. Вот тебе и кровоизлияние в голову. Сам все!

— С ним враги не особенно... Боялись. И Черчилль сволочь! И Трумэн... Всех держал. Надорвешь здоровье поди! А тут еще в юбилей письма в газетах: «Родной наш, любимый». Как сглазили!

— Да ты только, Семенов, ерунду не пори, моржовая голова! — раздраженно загудел Плещей.— «Сглазили»! Чего сглазили? Орел ты, вороньи перья! Ты еще у бабушки на самоваре погадай! Тут даже у нас некоторые балабонят, что врачи, мол, виноваты!..

— Я что, Федор Иванович? Я не болтал такое...

— Да ты, может, и нет. Ну а чего ты сразу задом заюлил-то, Семенов? Чего скис? Чего перепугался?

И в это время Константин через головы шоферов увидел повернутое к диспетчеру Семенову грубоватое и заметное оспинками лицо Плещея, сидевшего на скамье; рядом молчаливо сидел Акимов, ресницы опущены, белые волосы зачесаны назад. Плещей сказал грустно Семенову:

— Разно болтают, брат. Это я тебе как коммунист говорю. Чешут языками направо и налево, озлобляют только всех. Всегда виновных ищем! — Он крепким хлопком выбил сигарету из мундштука.— Так, Михеев, или не так? Чего ты на меня из-за Семенова, как на огонь, смотришь? Это ты, что ли, тут утром болтал, что Сталина врачи отравили? Значит, как — профессора в ответе?

— Вы, Федор Иванович, больно уж как-то неполитично говорите,— ответил надтреснутым голосом Михеев, моргнув, как на яркий свет, глазами.

— А ну — конкретно! В чем? — рокотнул Плещей, упираясь кулаками в колени.

Михеев заговорил угрюмо:

— Разве о вожде народов кто болтает? Любили мы его, как отца. И так далее. Вы, как секретарь партийной организации, объяснение людям должны дать. А вы только людей высмеиваете, рты зажимаете. Семенову

вот... Я, как беспартийный гражданин, даже не могу согласиться с вашим объяснением.

Плещей с зорким удивлением коротко остановил взгляд на Михееве и грузно ударил кулаками по своим коленям.

— Сосунок! Теленок вислоухий! — зарокотал Плещей насмешливо.— Ты меня будешь учить политграмоте! Когда ты задуман был на печке, я уже в партию вступил, Ленина видел, пятилетки строил. Ты что же, Михеев, ответственней, значит, коммунист, чем я? Значит, ты патриот и стоишь на страже? А ты, круглая голова, два уха, по-русски слово «правда» знаешь?.. Здорово, Костя! — в наступившем молчании, точно остыв и уже мягче сказал Плещей, заметив Константина, подошедшего в эту минуту сбоку Михеева; и взглянул Акимов обрадованно, поздоровавшись одними бровями; стали оборачиваться к Константину лица шоферов.— Садись с нами, Константин! Где же пропадаешь? В обрез что-то приходить начал, не видно тебя совсем, кореш! — грубовато-ласково проговорил Плещей и раздвинул место на скамье рядом с собой и Акимовым.— Посиди-ка, расскажь что-нибудь, а то тут... мозги растопырились!

— Действительно, пропадаешь где-то, Костя,— сказал Акимов.

Но Константин не успел ответить, кивнуть Плещею, Акимову, знакомым шоферам — на секунду встретился с глазами Михеева, невыспавшимися, красными, стоячими, как у птицы ночью, затем вроде кто-то махнул по глазам Михеева, мгновенно застлал тенью,— зрачки скользнули книзу.

— Здорово, Илюша! — проговорил Константин.— А я тебя искал вчера. Или, говорят, ты меня искал? Простите, ребята! — прибавил он, обращаясь ко всем.— Я одну минуту! Он давно хочет со мной поговорить. Но без свидетелей. Пошли, Илюша! Я готов.

— Заболел? Отстань, дурак! — презрительно сказал Михеев.

И, багровея, заплетаясь бурками, как-то угловато пошел от курилки к машинам, словно бы ожидая удара от Константина, который последовал за ним.

Возле машин Михеев внезапно спросил срывающимся голосом:

— Чего от меня хочешь?

— Ничего, ничего страшного,— обняв его за плечи, ответил Константин.— Только передам тебе несколько слов от одного человека... По его просьбе.

— Какого человека? — нахмурился Михеев.— Врешь все!.. Чего пристал?

— Ты позвонишь этому человеку по телефону — узнаешь. Но тогда будет поздно. Для тебя! — Константин поощряюще пошлепал его по натянутой, как барабан, спине.— Для тебя! Пошли, Илюша. Давай вон туда. За машины. Там никто не помешает. Это секретный разговор. Я при всех не могу.

— Бешеный дурак! — опасливо проговорил Михеев.— Зачем глупость при народе болтал? Что подумают? Тебе за это — знаешь?

— Спокойно. Не надо волноваться, Илюша. Я сделал это для отвода глаз. Я ведь всю войну был в разведке, знаю, что такое вторая игра. И конспирация. А ты еще сопливый мальчик, хотя и хорошо кое-что делаешь...

— Ты что это болтаешь? — угрожающе произнес Михеев.

«Вот оно, сейчас, вот оно!» — подумал Константин не с новью узнавания, а с каким-то жутким, даже сладостным удовлетворением.

— Пойдем, Илюша,— проговорил он.— Я все возьму на себя.

В закутке — в самом дальнем углу гаража, за старой колонкой, за стоявшими там на ремонте машинами, тускло освещенными солнцем сквозь огромные и пыльные окна, Михеев, возбужденно оскалясь, выкрикнул Константину:

— Ну, чего хочешь?

— Давай здесь,— тихо и веско произнес Константин и положил руку ему на плечо.

— Чего ты хочешь? Чего?

Михеев, весь напрягшись, враждебно-настороженно бегал взглядом по груди Константина, широкоскулое, клочковато выбритое, помятое лицо подрагивало, как от тика.

— Чего? Чего ты?.. Что за разговор?

— Разговор очень короткий. Только запоминай,— размеренно сказал Константин.— Запомни, парень... запомни... что на этом свете есть правда. Я давно хотел тебе это напомнить. Очень давно. И так уж, слава богу,

устроен свет, что всяким сволочам бывает конец! Это первое...

— О чем ты? Чего ты? — вскричал Михеев, пытаясь вырваться из-под руки Константина, но не хватило силы.— Пусти!

— А ты потерпи, Илюша.

— Пусти, говорят! — Михеев астматически задвигал широкой шеей, глаза с выражением страха выкатились и будто отталкивали Константина.— Пусти! Пусти!..

— Запомни второе, Илюша,— проговорил Константин, не отпуская его.— Я прошел огонь, вóды и медные трубы, а ты еще — кутенок. Если завтра же ты не перестанешь клепать на меня, Плещея и Акимова, на всех остальных из парка, на кого ты должен клепать, я сделаю так, что в кармане вот этого твоего полушубка найдут оружие, а в твоей машине обнаружат кое-что, от чего можно крепко сесть! Ты меня понял, Илюшенька? Тем более что в парке не найдется ни одного человека, который тебя нежно любит! Запомни, милый: все будет сделано, как в ювелирном магазине. Запомни еще! Не торопись, милый, не рассчитав силы,— можно самому себе к черту спести затылок! Запомнил? И еще, Илюшенька.— Константин, прищурясь, жестко сдавил окаменевшее плечо Михеева.— Я легко могу позвонить Соловьеву по телефону ка-ноль... и доложить о тысяче рублей, которыми ты хотел купить свое молчание. Ты помнишь, как просил у меня тысячу рублей и обещал, что все будет в порядке?

— Пусти! Какие деньги? Сволочь! Пусти-и! — придушенно выдохнул Михеев и вдруг озлобленно, разевая рот, двумя кулаками пнул Константина в грудь, стремясь оттолкнуть его от выхода из закутка, пронзительно крикнул: — Врешь! Пусти, душегуб!.. Бешеный! Не хочу! Уйди, гад! Пусти-и!..

— Заткнись, гнусная морда! — Константин схватил его за бóрта полушубка, всем телом притиснул к стене, подавляя желание ударить, тряхнул так, что в горле Михеева екнуло.— Молчи, харя! И запоминай, что говорят! Отвечай, шкура, запомнил? Запомнил?

Лицо Михеева расплывалось блином; он горячо дышал в губы Константина и, ворочая шеей, прижатый к стене, мычал, зрачки чернели, перебегали точками; и Константин, испытывая отвращение и ненависть, повторил:

— Запомнил, сволочь? Или еще не дошло?

— А-а! Пусти-и! Пусти-и!..

Михеев с неожиданной яростью забился в его руках, ударил коленом в живот, и Константин, превозмогая острую боль в паху, притянул его и, выругавшись, изо всей силы кинул спиной к стене, подальше от себя — он не хотел драки, зная, что не сможет удержаться.

Охнув, Михеев сполз по стене на пол и, раздвинув ноги в бурках, задыхаясь, выдавливал вместе с кашлем:

— Убить захотел? Убить? Я тебя упеку!.. Пистолет у тебя... разговорчики. Я тебя...

— Что-что? — крикнул Константин и бросился к нему.— Что ты сказал?

— Не трожь! — взвизгнул Михеев, засучив бурками по грязному полу.— Я ничего не говорил!.. Не говорил я! Убить хочешь?.. Не трожь!

«Похоже. Очень похоже,— подумал Константин.— Так и Быков».

— Убить?..

— Этого мало, сволочь!

— Чего вас пес надирает? Что за крик? — раздался голос в проходе закутка.

Константин оглянулся и тут увидел торопливо входивших в закуток насупленного Плещея, Акимова и вместе с ними весело изумленного Сенечку Легостаева, как бы всем лицом своим ожидавшего скандала. Константин сказал, сдерживая голос:

— Вот визжит парень непонятно почему...

— Что он еще, Костя? Что этот... упырь на полу загорает? — мрачно спросил Плещей, быстро окидывая глазами обоих из-под сросшихся лохматых бровей.— Разговор? А крик зачем? На весь гараж!

— Был разговор. По душам,— ответил Константин и кивнул на Михеева, медленно вставшего, злобно, со всхлипами сморкающегося в скомканный платок.— Илюшеньке захотелось посидеть на полу, охладить поясницу. Странности у него. Во время серьезного разговора садится на пол. Не удержишь.

Сенечка Легостаев захохотал, нагло показывая стальные зубы; Акимов испытующе поглядел на Михеева, затем на Константина и потупился.

— Бывает,— равнодушно произнес Плещей и сплюнул с непроницаемым видом, как если бы ничего не за-

метил здесь.— Иногда полезно бывает задний мост охладить. Только крика не надо. Лишнее!

Не подняв головы, Михеев по-бычьи протиснулся к выходу между Плещеем и Акимовым, вышел из закутка и заплетающейся походкой заспешил к машинам в сопровождении Сенечки Легостаева, который, ухмыляясь, спрашивал его:

— Чего бараном орал, гудок?

— Ну? — хмуро сказал Плещей и подтолкнул Константина к выходу.— На линию давай. Все должно быть как у молодого в субботу! Идеально. Ни одной придирки в смену! Ясно? Все как надо. И Акимов не понял, и я не понял. Ясно? У нас слух плохой... А Сенечка умом не допер.

— Понял, Федор Иванович,— негромко ответил Константин.— Спасибо. Я все понял.

— Давай, давай на линию!

Вечером, бреясь в ванной, Константин долго разглядывал свое лицо, темное, смуглое, похудевшее, чудилось, обожженное огнем; глаза смотрели устало и ожидающе-незнакомо. Прежде, бреясь и любя эти минуты, он насвистывал и подмигивал себе в зеркало, чувствовал тогда, как молодеет кожа на пять лет. Теперь бритье не так ощутимо молодило его, подчеркнуто открывало тронутые сединой виски, и мысль о том, что Ася видела это его новое лицо, была неприятна Константину.

Потом, ожидая Асю, он приготовил стол к ужину и задумчиво, со знанием дела, будто всю жизнь занимался этим, заваривал чай; теплый пар, подымаясь, коснулся его выбритого подбородка, защекотал веки. И он опять представлял свое лицо темным, усталым, каким видел его в зеркале, и лег на диван, поставил пепельницу на пол.

Тишина стояла в квартире теплой неподвижной водой, и звуки расходились в ней, как легкие круги по воде: приглушенные заборами далекие гудки машин, изредка позванивание застывших луж под чьими-то шагами во дворе. И было странно: то, что произошло с ним в последние дни, и то, что происходило в мире, бесследно тающей зыбью растворялось в тупой тишине, и он почувствовал, что смертельно, до тошнотного онемения устал,

что его охватывает равнодушие ко всему, бездумное расслабление мысли и тела.

Он поморщился, услышав затрещавший телефон.

От неожиданного звонка закололо в висках. Но он не хотел вставать, не в силах разрушить это состояние безнадежного отрешенного покоя; затем с насилием над собой снял трубку — могла звонить Ася.

— Да...

Трубка молчала.

— Да,— повторил Константин.— Да, черт возьми!

— Мне Константина Владимировича...

— Я слушаю. Слушаю! Кто это?

— Добрый вечер, Константин Владимирович,— откуда-то издалека зашелестел в мембране мужской голос, и Константин переспросил раздраженно:

— Да с кем я говорю? Ничего не слышно!

— Слушайте меня внимательно и не перебивайте. И не задавайте никаких вопросов. Я звоню вам для того, чтобы дать только один совет. Я понимаю, что Илья Матвеевич трус и деревянный дурак, но и вы поступаете не более умно, простите за прямоту. Мой вам совет: выбросьте немецкую игрушку куда угодно, чтобы у вас ее не было. Если вы еще не выбросили. И если вам нравится дышать свежим воздухом. Понятно, этого телефонного звонка не было и вы ни с кем не разговаривали. Не говорите об этом и жене. Это все!

Константин вытер обильно выступивший, как после болезни, пот на висках, пошарил сигареты в куртке, и, когда закурил, вобрал в себя дым, обморочно закружилась голова.

«Ловушка? Это ловушка? Но зачем она? Соловьев... У него был Михеев? Озлобился и пошел? Что ж — вот оно, злое добро? А как? Как иначе?.. Это был голос Соловьева? Он говорил? Его голос? Неужели он симпатизирует мне? После того разговора? Соловьев? Что ему? Для чего?»

Константин с туманной головой начал ходить по комнате, не понимая, не зная, что нужно делать теперь, но чувствуя, что его удушливо опутало, как сетями, что он не может решиться сейчас ни на что, ничему не веря уже.

«Неужели! Не может быть!.. И это — правда»? — подумал он.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Да, умер...

— Чего сказываешь, гражданин? В платке я, не слышу.

— Умер, говорю, Сталин. Не приходя в сознание.

— Го-осподи! А я слышу — музыка... Из Воронежа ведь я, у сродственников остановилась... Утром встала, брательник на работу собирается. «Плохо»,— говорит. А я-то говорю: «Разве врачи упустят?» Упустили!..

— Мамаша, не мешайте! Если идете — идите! Со всеми... А вы — под ногами!

— Бегут, что ли, впереди?

— Да нет. Стоят. Милиция порядок наводит.

— Когда диктор сообщал, голос так и дрожал. Говорить не мог...

— Как вам не стыдно, товарищ? Со стороны пристраиваетесь! Колонна оттуда идет! Во-он, оглянитесь!

— Это что же, родимые, его смотреть?

— ...Да, не приходил в сознание...

— Сто-ой!.. По трое бы построились! Товарищи, товарищи!

— Оживятся они сейчас... Рады!

— Как же мы теперь без него? Как же мы жить-то будем?

— Кто оживится?

— Да всякая международная сволочь. Как раз тот момент, когда они могут начать войну...

— Американцы соболезнование не прислали.

— Куда же смотрела медицина? Лучшие профессора!

— К сожалению, он был не молод. Здесь, видите ли, и медицина бессильна. Как врач говорю.

— Кто после Аллилуевой был его женой?

— Да кто-нибудь был...

— Что-о? За такие слова — знаете? В такой день — что болтаете языком, а?

— Я ничего не сказал, товарищ...

— Что было бы с нами, если бы не он тогда...

— Впереди есть милиция?

— Когда война началась, выступал. Волновался. Боржом наливал. По радио слышно было, как булькало...

— Иди рядом со мной. Не отставай!

— Верочка, не плачь! Не надо, милая. Слезами сейчас не поможешь. Я прошу тебя.

— Гражданин, это ваш сын? Смотрите, у него спялась галошка! Промочит ноги.

— Я на всех стройках... И в первую пятилетку, и потом...

— Социализм вытащил...

— Когда брата в тридцать седьмом арестовали, он Сталину письмо написал.

— Ну? Что вы шепотом?.. А он...

— Не передали ему, видать, секретари.

— Девочка, где твоя мама? Ты одна? Слушайте, чей это ребенок? Чей ребенок?

— Дедушка Сталин умер, да? Я пойду смотреть. А мамы нет дома.

— Господи! Иди сейчас же домой! Ты потеряешься! Что же это происходит?

— Те улицы оцепили. И проходные дворы. Народу-то...

— От Курского вокзала...

— Неужели Манеж перекрыли? Через Трубную?

— Слово у него было твердое. Много не говорил.

— В праздники на Мавзолее, бывало, стоит, рукой машет... А последнего Первого мая его не было...

— Как это не было? Я сам видел.

— Да, проститься.

— Я с сорок первого... Ничего, дойду на костыльке. Всю войну на ногах.

— Что там? Опять побежали?

— Вы ничего не видите? Почему остановились?

— Какие-то машины, говорят, впереди. Зачем машины?

— Девочка! Ты не ушла? Где мама, я спрашиваю? Это ваша?

— Нет, опять пошли...

— Вся Москва тронулась.

— Где? Где? Ему плохо, наверно. На тротуар сел. В годах. Товарищи, помогите кто-нибудь. Устал, видимо...

— Пошли, пошли! Ровней, товарищи, ровней!

Толпа текла, колыхалась, густо и черно заполняя улицу, с хлюпанием месила растаявший сырой пласт гололеда на асфальте; по толпе дул промозглый мартовский ветер, и никого не защищали спины, поднятые воротники; ветер проникал в середину шагающих людей, выжимая слезы; и зябли лица, отгибались края шляп, полы пальто, отлетали за плечи концы головных платков. Люди не

согревались ходьбой: от обдутой одежды несло холодом — низкое, пасмурное, тяжелое небо клубилось над крышами, вливало резкий воздух туч в провалы кишевших народом улиц. С щелканьем выстрелов полоскались очерненные крепом флаги на балконах, над подворотнями; из репродукторов из Колонного зала приглушенно лились над толпами, над головами людей траурные мелодии, сгибая спины этим непрерывным оповещением смерти, непоправимостью случившегося.

— Музыка-то, музыка зачем? — закашлявшись, сказал кто-то сбоку от Константина.— И так сердце рвет...

— Смотри, женщина одна ведь!.. Из троллейбуса не выберется!

Толпу несло, вплотную притирая к цепочке стоявших под обледенелыми тополями троллейбусов. В гуле движения, в многотысячном шарканье, в липком шуме ног по мостовой не слышно было, как, закрыв лицо руками, плакала, рвалась женщина в замкнутую толпой дверь опустевшего троллейбуса. Но рядом сквозь голоса послышались бабьи вскрики, причитания, заглушаемые влажными комками платков, прижимаемых ко рту. Впереди тоненько заплакала девочка, крича испуганно: «Мама! Мама!» — и тотчас, как бы подхватив этот крик, истерически взвизгнули, зовя детей, несколько женских голосов, несдерживаемые вопли прокатились по толпе, охватывая ее, вырываясь в диком упоенном ужасе горя — и от мелодий Шопена, и от непонятности при виде этой мелькнувшей женщины в пустом троллейбусе. Кто-то крикнул:

— Стойте же! Стойте же, стойте! Она не успела выйти! Она была с девочкой! Я видел...

— Помогите ей!

— Да это кондуктор.

— Какой кондуктор? Ни одного нет!

— Боже мой, Костя, что это? Нас все время сжимают... Откуда столько людей? Ты слышишь — там впереди кричат!

Люди продвигались толчками, будто тяжко раскачивало их, сжимало стенами домов, толкало сзади волнами; впереди усилились крики женщин; крики эти и плач детей захлестывались новым слитным ревом голосов, этот рев катился спереди на людей. Никто не знал, что случилось там,— вытягивали шеи и подымались из плоти толпы, оглядывались растерянные и недоуменные лица.

— Что там? Что?

— Ася! Нам нужно вернуться! — крикнул Константин.— Нам не нужно ходить! Нам нужно вернуться!

Константин шел в середине толпы, охватив Асю за талию, защищая ее от натиска спин и ног все сгущавшейся людской тесноты,— нельзя было понять, почему так плотно сдавило, так закачало толпу, но он еще пытался раздвигать локти, напрягая мускулы плеч, он еще держал их раздвинутыми, и вдруг его локти приплюснуло к бокам. Он сразу ощутил чье-то прерывистое, трудное дыхание на затылке, на щеке, упругое живое шевеление человеческой массы, навалившейся сзади с двух сторон. И уже изо всей силы вырывая свои одеревеневшие локти, охраняя Асю, он с тревогой увидел ее добела прикушенную губу, увеличенно напряженные глаза.

Константин успел прижать ее к себе, успел наклониться к ее побелевшему лицу, крикнуть:

— Ася! Идем отсюда! Здесь нельзя! К тротуару, к тротуару! За мной! Охватывай меня руками за пояс!

«Зачем я послушался ее? Зачем мы пошли? Она хотела посмотреть? Зачем мы в этой толпе?»

Впереди опять закричали женщины. На мгновение разорвало и стремительно понесло в прореху толпу, какие-то цепляющиеся, раздирающие руки, набрякшие, задыхающиеся лица втиснулись между ним и Асей, и тут же их оторвало друг от друга.

— Ася! Ася!..

Константина несколько раз повернуло в круговороте гущи и неистово потащило, поволокло на чужих плечах, ногах куда-то наискосок, боком к оглушительно надвигающемуся реву, это теперь не были человеческие голоса — казалось, рокочущая, вставшая до серого неба волна океана накатывалась на людей, готовая опрокинуть, утопить их.

— Ася!.. Ася!..— Константин уже не крикнул, а крик этот выдавился из его стиснутой чужими телами груди.— Ася-а!..

Он не понимал, не мог понять, что случилось и почему случилось это, он только, вырываясь из тисков человеческих тел, увидел возникшее среди голов бледное родное незащищенное лицо Аси с умоляющими глазами, намертво прикушенной губой и, ожесточенно расталкивая живую стену напирающих плеч, начал протискиваться к ней с необычайной охватившей его силой.

Он видел впереди ищущее лицо Аси, смутно чувствовал бешеные толчки своих рук, он задыхался, и в его сознании билось оглушающим молоточком: «Только бы не упала! Только бы... Только бы не упала!..»

Константин слышал впереди себя возгласы, рвущиеся в уши, но эти удары молоточка в сознании заглушали все: «Только бы не упала, только бы...»

— Что же это... Что же это, товарищи!..

— Кто сделал? Зачем?

— Я не могу!.. Я не могу!.. Я не могу...

— Коля-а!..

— С ума, что ли, сошли?

— Почему это?.. Что устроили!..

— Я упаду... Не могу!

— Зачем взяли детей!..

— Что вам? Что вы делаете?

— О-о-ох!..

— Машины с песком!.. Преградили путь!

— На Петровку!..

— Зачем? Зачем?

— Что ж это такое?.. А?

— С Трубной народ...

— Фонарный столб... Смотрите!

— Витя... держись, родной мальчик!.. Держись! Ручками держись! Потерпи!.. Держись, сыночек!

— Па-па!.. Ми-илый... Папочка!..

«Только бы не упала!.. Только бы... Только бы не упала!..»

— Ася-а! Ася!..

Он уже не видел ее лица, он лишь видел платок Аси среди месива людских голов, и как бы косо вырастая из спертой черноты толпы, закачались слева голые деревья бульвара,— и оттуда вроде бы приблизились кузова грузовых машин, сереющие мешки из-за бортов, столб фонаря с прилипшим к нему телом мальчика. Мальчик, без шапки, в растерзанном пальтишке, с захлестнутым на спину пионерским галстуком, плача, обвивал руками фонарный столб, елозил маленькими, сплошь заляпанными грязью ботинками по растопыренным, вскинутым вверх, как подпорка, ладоням мужчины, человеческой массой притиснутого к столбу. Мужчина в разорванном на плече плаще глядел побелевшими страшными глазами и не кричал, а всем лицом просил о пощаде:

— Витенька, держись, сыночек, крепче!.. Витя! Родной, я здесь... Еще немножечко, упирайся мне в руки! Ну, держись! Ну, держись! Товарищи, товарищи!..

— Па-апочка!.. Не могу... Ми-иленький...

— Ви-итя!.. Сыночек!..

— Господи-и, упал! — воем прокатилось по толпе, шатнувшейся назад.— Мальчик!..

— Товарищи! Товарищи!

Константин, не заметил, как упал мальчик, только что-то темное мелькнуло над головами, и толпа закачалась. Завизжали женщины, донеслись крики: «Остановитесь!»

«Где мальчик? Только бы не упала... Только бы не упала! Только бы!.. — как молитва, проносилось в мозгу Константина.— Ася, не упади. Ася, не упади. Мальчик упал? И что же? Что же?..»

— Асенька!.. Ася! — крикнул он, вывертываясь и выжимаясь из клещей толпы, теперь совсем не чувствуя ногами твердость мостовой. Его приподняло и несло; кто-то, хрипя, лез сзади на плечи, упорно, обезумело упираясь кулаками ему в спину, в затылок, возникло сбоку с пустыми, вылезшими из орбит глазами, с перекошенным ртом, сизое и потное лицо парня. В исступлении колотя кулаками, он лез куда-то в сторону и вверх, на головы людей, и Константин, охваченный внезапным бешенством к этому безглазому лицу, готовому все смять, с ненавистью и злой силой ударил его головой в нависший подбородок и еще раз ударил.

— Сволочь!.. Куда? Не видишь — там женщины, дети!

— Ты-и!..— заревело, мотаясь, лицо.— Один хочешь смотреть? Один?.. А я из Мытищ приехал!..

— Такие сволочи детей давят! — крикнул кто-то рыдающим голосом.— Озверел, дурак?

— Товарищи! Стойте! Остановитесь! Там мальчик! Там женщины!.. Мы не должны!

— Что же это творится?

— Как случилось? Я не могу понять!..

— Дети... Мальчик... А отец, отец где?

— Милиция — что?

— Там.

— Господи! Прости, господи!

— Товарищи, товарищи...

— А ребенок... Мальчонка где? Отец где?

— Женщина кричит... Опять!

«Только бы не упала... Только бы... Какая женщина?»

Уже еле двигая окаменевшими локтями, он пробирался сквозь толпу, плохо слыша голоса, возгласы, придушенные стоны, в ожидании несчастья искал через головы людей знакомый, будто кружащий вблизи фонарного столба платок Аси, задыхаясь, рвался к этому платку, никогда в жизни не осознавая так близко несчастья, которое могло произойти там, впереди; сердце, как вытесненное, билось в горле.

— Ася!.. Ася!.. Я к тебе!.. Я иду!..

— Товарищи! Товарищи! Мужчины, в цепь, в цепь! Сюда, в цепь! — Чей-то крик прорывался слева, хлестал по толпе.— Мужчины, сюда!

Фонарь, милицейские грузовики с песком, загораживающие улицу, голые деревья бульвара колебались перед глазами; толпа шаталась из стороны в сторону, как единое тело. Фонарь, приближаясь, медленно разрезал ее водоразделом. Потом на мгновение стало просторнее, твердая земля появилась под ногами, в разорванной щели меж людей мелькнула цепь милиционеров, правее цепи каких-то штатских, взявшихся за руки.

— Ася-а!..

— Костя!..— услышал он в вое голосов, надсадных командах милиционеров слабый Асин крик и из последних сил ринулся туда, в эту образовавшуюся в толпе щель. И, едва не плача, увидел ее руки, охватившие фонарь, щеку, придавившуюся к столбу, закрытые, замершие веки.

— Ася!.. Ася! Родная моя!..— Он оторвал ее от столба, повернул к себе, заглядывая в ее кричащие, с крупными слезами глаза, капельки крови выступали из прикушенной нижней губы.— Ася... Ася... Ася...— повторял он.— Ася, что? Что?.. Ася...

Он не мог ничего больше выговорить, он инстинктивно обнял ее, пригнул голову к своей потной шее и, резко отклоняясь спиной, потянул ее сейчас же в узкую щель разбившейся перед цепью милиционеров толпы. А она еще пыталась отогнуть голову, оглянуться назад, и он чувствовал своей горячей мокрой шеей ее назнакомый вздрагивающий голос:

— Там... у фонаря... там... мальчика... мальчика... Ты ничего... Ты ничего не видел?

— Сюда! Сюда!.. Прижимайся ко мне! Сюда!..

Толпа в этот миг стиснула их, охватила толщей трущихся тел; люди, сминая цепь милиционеров, кинулись в неширокий проход между стоявшими поперек улиц грузовиками. Константина ударило спиной о кузов, и он успел прижать Асю к себе, страшным усилием всех мускулов, рвя на спине куртку о кузов, успел ее повернуть боком к радиатору.

Почему-то у ската машины зачернела куча галош, огромных, растоптанных, и детских, на красной подкладке, и почему-то непонятно, разноголосо вырывался детский плач из-под машины.

Константин, как в пелене, различал: копошились там, высовывались из-под днища тонкие ножки в чулочках, появлялись возле колес красные ребячьи пальчики, тонущие в месиве грязи; оттуда несся детский вопль:

— Мама! Ма-ма! Ма-амочка!

Константин повторял хрипло:

— Сюда! Сюда!

С трудом он разжал объятия, не выпуская Асю, еще на шаг продвинулся к борту машины — и в ту же секунду толкнул ее на подножку. Она упала на нее, не вытирая слез боли, сбегающих по щекам, прикусывая губы, сочившиеся капельками крови, и молча смотрела в небо.

— Ася! Что? Что? — крикнул он.— Ася, ну что?

Она разжала губы:

— Ничего, милый... Ничего, мой мил...

— Ася! Что? Ну скажи же, скажи — больно? Живот?..

Она глотала душившие ее рыдания.

— Там... у фонаря... Мальчик!.. А люди, люди... что с ними! Мне кажется... я наступила на него. Его не успели...— Сдерживая стук зубов, она закрыла лицо руками.— Что же это... милый? Что же это? Почему это случилось? Почему? Здесь дети под машиной... Они залезли под машину. Зачем здесь дети? И тот мальчик...

Оглушенный детским воплем из-под машины, рокотом толпы, напирающей в проходе, Константин, глядя на Асю, испугался этих ярких капелек крови на губах, ее странно поднятых к животу колен и, увидев это, едва сумел выговорить:

— Его успели... Асенька. Его спасли. Ты ни на кого не наступила. Тебе показалось, родная...

Толпа чугунными катками давила на спину Константина, все плотнее притискивая его к машине, к ее крылу, к подножке, на которой полулежала Ася. Людской вал

неистовым напором прорывался к проходу, наваливался сзади на машины, на Константина. А он, напрягая мускулы спины и рук, упершихся в железную дверцу грузовика, старался удержать всем своим телом натиск толпы, охрапить этот уголок подножки с Асей. И видел лишь ее огромные, молящие глаза, раскрытые на половину лица от боли. Он почти не слышал крики и гул толпы, темными кругами шло в голове. «Сколько так будет — секунда? Минута? — туманно мелькнуло в его сознании.— День? Год? Всю жизнь? Я не выдержу так пяти минут... Я не чувствую рук. Что же делать? Что же делать? Я ничего не могу сделать! Неужели я не могу!.. Вот легче, стало легче...»

Сквозь пот, разъедающий глаза, он вдруг заметил под ногами цепляющиеся красные пальчики, они поползли у ската машины, и, как из серого тумана, поднялось грязное, дурное лицо девочки — она захлебывалась слезами, высовывая голову из-под машины, и, царапая ногтем по рубчатой резине колеса, звала тоненьким, комариным голосом:

— Мама... Мамочка... Я хочу к маме... Я хочу домой...

Константин увидел ее в тот момент, когда толпа, оттиснутая цепью милиционеров, качнулась назад. Он оглянулся. Знал — сейчас толпа, напираемая сзади, снова качнется вперед, забьет трещину, в нее ринутся что-то орущие милиционерам, лезущие сбоку по головам парни с ничего не видящими сизыми лицами, и приплюснут его, и сомнут девочку около ската грузовика.

Он крикнул пересохшим горлом:

— Под машину! Под машину!

Растягивая в плаче большой рот, икая, девочка повела на Константина глазами; пуговицы на ее обтрепанном пальтишке были вырваны с мясом, белые нестриженые волосы растрепанно спадали на плечи.

— Мама!.. Мамочка!.. Домой!.. Я хочу домой!..

Отжимаясь одубевшими руками от железной дверцы, он хотел еще раз крикнуть: «Под машину!», но голоса не было, и в эту минуту краем зрения увидел Асины протянутые к девочке руки, оттолкнулся всеми мускулами от дверцы, сделал шаг к скату, только на миг ощутил беспомощно слабенькую детскую ключицу и почти швырнул девочку к Асе на подножку. Успел заметить, как Ася прижала ее светлую голову к коленям,— дверца машины темной зеленой стеной повернулась перед глаза-

ми, он сделал обратный шаг к ней. Но в эту минуту страшным напором толпы его крутануло возле подножки, ударило левым боком о крыло грузовика. Он услышал удар о железо, оно, чудилось, вошло в его тело и оглушило, ожгло пронзительной болью. «Неужели? Меня? Меня? Неужели? Меня? — огненно скользнуло в его сознании.— Меня? Не может быть! Не может быть!..»

Он почувствовал, что не может шевельнуться, и опять услышал жесткий железный хруст. Он хотел привстать на цыпочки, стараясь высвободиться, вдохнуть воздух, но тотчас его сдавило дышащими, рвущимися вокруг машины телами, откинуло на радиатор, мотнуло головой на железо. Готовый закричать от боли в боку, он схватился за радиатор, через текущий туман еще пытаясь найти лицо Аси, прикрытые ее руками светлые волосы девочки. Но не увидел их, ужасаясь тому, что он ничего не может сделать, даже воздух вдохнуть. И прохрипел, ощущая губами соленое железо радиатора:

— Под машину... Под машину, Ася! С девочкой... Под машину!

Он улавливал воющий, нечеловеческий крик, и как будто в зрачки ему лезло лицо женщины с развалившимися на два крыла черными волосами, ее раздирающий вопль:

— Сам ушел и детей моих унес! А-а!..

И голоса сквозь звон в ушах:

— Товарищи! Товарищи! Назад! Мы не пойдем! Милиция! Остановите!

— Людей... что сделали с людьми?

— Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват во всем?

И еще голос:

— Стойте! Стойте!..

Потом все исчезло, и пустота помчала его.

Он хрипел в эту пустоту:

— Ася... Ася... Под машину! Под машину!..

А из сплошной темноты накатывался, ревел шум моря, и он ногами чувствовал удары в сотрясающиеся от грохота камни, и ноги скользили по камням к краю высоты. Он хотел отклониться назад, найти точку опоры, но его подхватило потоком, как шерстинку, понесло между грифельным небом и бурлившей пустыней океана в ревущий хаос каких-то разорванных немых голосов, в месиво приближающихся из какого-то темного коридора лиц, раскрытых ртов, воздетых рук. И в этом каменном

коридоре что-то кишело, двигалось, падало, задыхалось в судорожных рыданиях: «Остановитесь!»

Он знал, что сейчас умрет — чувствовал теплую солоноватую струйку крови, стекающую у него изо рта, он глотал ее, закрыв глаза, силясь спокойно понять, кто виноват в его смерти, кто это сделал и почему он должен умереть. Он лежал, истекая кровью, среди сумеречного поля под трассами крупнокалиберных пулеметов, различая близкие голоса немцев, шагающих к нему. Надо было немного отклонить тело, собрать усилием расслабленные мускулы, вытащить пистолет из нагрудного кармана, затекшего сплошь липким, вязким. Он нащупал скользкий пистолет, который был словно обмазан жиром, пальцы нашли спусковой крючок — последнюю пулю всегда оставлял для себя, и теперь не страшно было умирать.

Он остался один на нейтралке, не дополз к своим — и все ближе, все громче раздавались над головой шаги немцев. И он слабыми рывками приближал пистолет к виску, напрягаясь опереться на локоть и выстрелить точно... рука подкосилась — он упал лицом в жесткую землю, и в эти минуты чьи-то знакомые, прохладные ладони повернули его голову, стали гладить по щекам, по лбу, кто-то плакал, кричал и звал его на помощь из каменного коридора, из хаоса голосов, из опрокинутого пепельного неба:

— Костя!.. Костя!..

А он не мог уже ответить никому. Его качало, волокло куда-то, затем нечто серое, тусклое разверзнулось перед ним, и там зазвенело тягуче и непрерывно по железу, и он подумал, что смерть — это железное, бесконечное, с набегающим в уши звоном.

Но то, что показалось ему, не было смертью. Он лишь на несколько минут потерял сознание от удара боком и головой о железо машины.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

«Где Ася? Где же она? Где Ася?..»

Он раскрыл глаза, приподнялся, застонал — и сейчас же ощутил затылком подушку. Он лежал, чувствуя колючую живую боль в боку, слышал добрые звенящие звуки, легкие, брызжущие, и сначала подумал, что это обморочный звон в ушах. Но сознание было ясным.

«Я жив? Я дома? Как я очутился дома? Меня ударило о машину? А Ася, Ася?» — спросил он себя и, мучительно вспоминая, обвел взглядом комнату.

Весь белый, квадрат окна был широко залит солнцем. Раскаленной белизной оно висело над мокрыми крышами двора, и за стеклом мелькали струи, вкрадчиво стучали по карнизу; и где-то внизу бормотало, шепелявило в водосточных трубах, плескало в асфальт.

«Это утро? Идет дождь? — подумал он.— И я один? И я дома?» — снова подумал он и тогда вспомнил все, ужасаясь тому, что вспомнил.

«Она была со мной. Я помню, мы шли... Я помню — она была со мной...»

— Ася! Ася! — позвал он чужим голосом.

И, замирая, встал на ноги, пошатываясь, сделал несколько шагов и толкнул дверь в другую комнату, от слабости держась за косяк, и здесь, не в силах выговорить ни слова, уловил ее шепот сквозь шум струй по оконному стеклу:

— Костя... Я здесь.

Ася сидела на постели, поднятое навстречу лицо бледно, смертельно утомлено, брови дрожали, и выделялись лихорадочным блеском глаза, устремленные на Константина.

— Ася... ты не спала? — Он передохнул, нашел ее растерянно блестевшие ему в глаза зрачки, но не хватило дыхания сказать в полный голос, спросил шепотом: — Что, Ася, милая? Ничего не болит?.. Ася... Как ты себя чувствуешь?

Константин не узнавал ее за одни сутки похудевшего лица, ее искусанного рта и, подавленный дикой, отчаянной мыслью, что именно он непоправимо виноват перед ней, готовый плакать, упасть перед тахтой на колени, повторял:

— Что?.. Ася... моя Ася...

Он обнял ее, приник переносицей к ее напряженной, пахнущей детской чистотой шее, трогая ее теплые волосы.

— Ася, Ася...

— Костя, что делать? — Она порывисто уткнулась носом в его висок.— Я не знаю, что я должна делать. Как мы теперь будем?

— Что ты говоришь?

— Как жить?

— Ася, не говори так. Нас трое. Ты понимаешь, нас трое.

— Костя... Я должна идти на работу? Ты должен идти на работу? Как будто ничего не случилось? Ну вот.— Она оторвалась от него, ладонями взяла его голову, всматриваясь неспокойно.— Ну вот, слава богу, только синяк. И на боку у тебя синяк. Слава богу, слава богу, что так.

— Я знаю, как жить. Я все знаю, Асенька,— заговорил Константин.— Поверь мне. Ты хочешь поверить мне? Ты веришь, что я люблю тебя?

Она, вздрагивая, гладила, ерошила его волосы на затылке.

— Не могу представить — и мы и *он* могли погибнуть...

— Ася, послушай меня... И он с успокаивающей нежностью поцеловал ее.— Ася, все будет прекрасно. Все будет как надо. Ты должна сейчас встать и приготовить завтрак, понимаешь меня, Асенька? Так у всех начинается жизнь, правда? С завтрака. Все люди начинают день с завтрака. И мы...

Она сказала тихо:

— Костя, что же будет?

— Прекрасно будет. Главное — вот ты, и мы дома. И я здоров как бык. И я хочу есть.

— Я одну секундочку... Ты не обращай внимания. Это просто нервы...— Она чуть в сторону повернула лицо, и он увидел: слезы поползли по ее щекам полосами. Она попыталась улыбнуться.— Я не буду. Я секундочку. Я просто не могу. Ты не смотри на это. Вот, уже. Видишь? Уже прекратилось. Я сама не люблю...— Она виновато взглянула на него влажной чернотой глаз.— Хорошо. Пусть так. Выйди на минуточку, я оденусь. Ты готовь на стол. Хотя бы поставь чашки. Я постараюсь взять себя в руки. Я сумею. Ты знаешь, что я сумею.

— Я знаю, Ася. Я знаю.

Потом он закрыл дверь своей комнаты, присел к столу и так сидел, ослабли колени, не было сил убрать постель с дивана — ломало, стягивало все тело, как будто целую ночь спал в раскаленных железных тисках, его подташнивало, и неотпускающая боль отдавалась в голове.

Ему надо было перевести дыхание, отдохнуть несколько минут, он ждал, что эти минуты отдыха и слабости кончатся, как только послышатся из другой комнаты

шаги Аси, и Константин, прислушиваясь к шорохам в соседней комнате, уперся лбом в сжатый кулак, зажмуриваясь.

Низкое утреннее солнце, прорываясь из-за крыш через мелькание дождя, входило в комнату желтовато-белыми столбами.

Дождь плескал в тротуары, с мокрых перекрестков доносились гудки машин, отрывистая трель трамваев, и Константину вдруг показалось — запахло, как в детстве: теплым паркòм влажного асфальта, сладковатой сыростью тротуаров, дождевых озер, и в лицо ему ощутимо повеяло свежестью намокшей одежды прохожих, пережидавших грозу под каменными арками, в чужих подъездах.

«Вот и дождь,— подумал он.— Я всегда любил дождь...»

Шаги в коридоре, внятный стук в дверь заставили его поднять голову, он подумал, что это Марк Юльевич, и, пересиливая себя, сказал негромко:

— Да, войдите.

И все точно легонько сместилось, все отстранило возникшее в дверях знакомое крупное лицо с влагой дождя на лохматых бровях, затем выдвинулась из коридора массивная фигура, огромные плечи неуклюже натягивали рукава брезентового плаща.

— Федор Иванович...— сказал Константин.

Федор Иванович Плещей, косолапо переваливаясь, шел к нему от двери, грубоватый голос его загудел, казалось, наполняя комнату воздухом гаража:

— Ну, здорóво! Не знаешь, что в утреннюю заступаем? Ну, почему молчишь — заболел без бюллетеня?

Константин, медленно вставая навстречу Плещею, проговорил:

— Я не мог... Я был вчера там...

— А я вот к тебе, на пару слов, если разрешишь.— Плещей снял плащ, взглядывая на Константина, небритого, осунувшегося, в незастегнутой на груди нижней рубашке.— Водки бы с тобой сейчас не мешало, конечно, лупануть для хорошего русского разговора, да на машине я. Был, значит? Давай сядем, что ли. А то стоим, как-то неудобно вроде...

—Да,— хрипловато выговорил Константин.— Вы всё знаете, что было?

— Не один я, вся Москва знает. Да вон вижу — фо-

нарь на виске, не объясняй,— сказал Плещей густым басом.— Ну? Поэтому на работу не вышел? Или другие причины?

Константин после молчания заговорил:

— Да, Федор Иванович... Я бы очень хотел, чтобы вы видели тот момент, когда на бульваре началась давка. Я этого не забуду. Нет, не об этом я хотел... Можете ответить мне откровенно?.. Только откровенно. Как теперь будет?

— Врать бы научиться можно было, да не смог, таланту не хватило.— Плещей продул мундштук и усмехнулся.— Вот ты жив-здоров, вот я с тобой здесь сижу, а не где-нибудь. Это главное. Понял ты, Костя? Время-то, дружище Константин, на месте не стоит. Не может оно стоять. Время — оно умнее нас... А синяки, брат, скоро пройдут! Скоро!..

И Константину в эту минуту показалось, что Плещей никогда не знал того одиночества, какое познал он за эти последние дни, и еще показалось ему, что в живых глазах Плещея, в его тяжелых плечах, распирающих поношенный пиджачок, были доброта и мужское спокойствие.

Константин проговорил:

— Скажите, Федор Иванович... Ответьте мне на один вопрос. Вы ведь давно в партии?

— С тридцать второго. А что?

— Нет, ничего. Просто так... — Ася! — позвал Константин, глядя на дверь в другую комнату.— Я голоден, как тысяча чертей! Ты слышишь, Ася? Мы ждем тебя. У нас гость.

— Я иду. Я готова.

«Что было бы со мной, если бы не она? — опять подумал он.— За что она любит меня?»

Из другой комнаты приближались шаги.

1962—1964

РОДСТВЕННИКИ

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он пошевелился, открыл глаза и увидел чужую комнату, до знойной духоты нагретую солнцем. В раскрытое окно тек сухой жар июльского утра. Прямо над головой на солнцепеке, за подоконником, постукивая когтями, ходили по карнизу сизые голуби и в поисках тени дышали раскрытыми клювами. Потом где-то в глубине двора с напором зашелестели о листву струи воды, послышались невнятные голоса, заработал мотор поливальной машины.

«Что это, где я? — подумал Никита, вытирая испарину на груди.— Я не дома? Мама умерла — и я здесь?..»

Во время сна ему припекло голову, и, наверно, поэтому звенело в ушах, была неприятная расслабленность в замлевших мускулах. Весь потный, Никита с отвращением сбросил прилипшую к телу простыню, опустил ноги с дивана и медленно оглядел комнату.

Здесь, в комнате этой, видимо, не жили давно: старые обои добела выгорели, было неприбрано, тесно от потертых кожаных кресел, от просиженных стульев, от неуклюжих, загромоздивших углы книжных шкафов; и пахло теплой, горьковатой пылью.

А незнакомая квартира за дверями, казалось, была выжжена горячим солнцем: стояло уже полное утро, но никто не стучал, не входил к нему. И все-таки там, в коридоре, кто-то затаенно и тихо передвигался, шепотом разговаривал по телефону, и Никита догадывался, что шептались о нем, о смерти матери, и растерянно взглянул на себя в зеркало над диваном.

В пыльной желтоватой его глубине замерло бледное, заспанное лицо с красной на щеке полосой от подушки, серые глаза смотрели настороженно. Никита провел по щекам пальцами и отдернул руку.

Он представил, что такое же выражение, вероятно, было у него и вчера, когда, приехав с вокзала, он сидел за столом в окружении незнакомых, сочувствующих ему людей, когда на чей-то вопрос глухо ответил, что мать в больнице ничего не просила, никого не хотела видеть, хотя умирала в сознании.

И по тому, как они с горьким участием взглядывали в его сторону, он подумал, что эти люди, скованно ужинавшие вчера в длинной, старомодной столовой, были либо его родственники, либо знакомые его матери — он всех видел впервые. В середине ужина хозяин дома профессор Георгий Лаврентьевич Греков нервно покашлял в ладонь, проговорил: «Да, она была мужественной женщиной»,— и, поднявшись, излишне решительной походкой, часто свойственной людям маленького роста, вышел из столовой.

После его ухода никто за столом не проронил ни слова, все, склоняясь над тарелками, с вежливым пониманием постукивали вилками, и Никита вопросительно покосился на Ольгу Сергеевну, жену Георгия Лаврентьевича. Она сидела рядом в скорбном молчании, неспокойно комкая салфетку; в пунцовых мочках ее ушей покачивались серьги, молодили ее когда-то красивое, теперь уже увядающее лицо. Поймав его взгляд, она с ласковой сдержанностью тронула его руку, сказала вполголоса:

— Вы, кажется, устали, Никита? Вы, очевидно, плохо спали в вагоне. Если не возражаете, я покажу вам вашу комнату.

И он проговорил, ни на кого не глядя: «До свидания»,— и последовал за ней, ощущая взгляды на своей спине. Но как только закрыл дверь комнаты, безмолвие затопило квартиру: чудилось, гости разошлись из столовой на цыпочках, и даже не слышно было, как прощались они.

«Что они говорят сейчас обо мне? — вспомнив вчерашнее, хмуро подумал Никита и прислушался.— Почему они не входят, не стучат, а стоят в коридоре? И кто жил в этой комнате? Чьи тут боксерские перчатки?»

Он встал, долго смотрел на тренировочную грушу, висевшую в углу, на затянутые слоем пыли боксерские перчатки (они валялись на стуле). Перчатки ссохлись, покоробились — видно, лежали здесь давно. Он тихонько сдул с них пыль, натянул корявую, до скрипа прокаленную солнцем перчатку на правую руку и, не зная зачем, слабо ударил по груше. Она с тупым звуком метнулась на подвеске, закачалась. Никита ударил еще раз и стиснул зубы.

В дверь внезапно постучали. Никита стряхнул, отбросил в угол перчатку и торопливо натянул ковбойку.

— Да, пожалуйста...

— Доброе утро, Никита. Можно к вам? — В комнату осторожно вошла Ольга Сергеевна, послышался шорох платья.— Простите, ради бога, я вас не разбудила?..

Не подымая головы и не отвечая, он судорожно нащупывал пуговицы на ковбойке, видел совсем рядом ее освещенные солнцем полные колени, выступавшие под коротким белым платьем, ее сильные, с высоким подъемом ноги, золотистые волоски на них, будто высветленные солнечными лучами.

— Какое же это несчастье, какое несчастье!..— негромко заговорила Ольга Сергеевна.— Поверьте, я понимаю ваше состояние. Потерять мать... Как я все понимаю! Я сама пережила такое три года назад.

Ольга Сергеевна стояла так близко, что он явственно чувствовал терпковато-теплый запах ее платья. Она вдруг неуверенно и робко погладила его по голове, от ее руки повеяло свежим запахом туалетного мыла, и он мгновенно ощутил свои жесткие волосы, еще не причесанные, и, дернув головой, сказал шепотом:

— Спасибо, Ольга Сергеевна, не надо...

— Я понимаю, Никита. Я все понимаю.

Она внимательно всматривалась в него, глаза были размягчены состраданием, жалостью; белое летнее платье — такие никогда не носила мать — стягивало ее высокую грудь, блестящие каштановые волосы собраны на затылке, в алых мочках ушей поблескивали серьги.

— Бедный, бедный,— сочувственно отыскивая глазами его взгляд, проговорила Ольга Сергеевна, и ее пальцы щекотно прикоснулись к его груди, помогая ему застегнуть пуговицу.— Вы все время думаете о ней? Я тоже никогда не забуду свою страшную потерю.

Никита угрюмо глядел в пол, на рассохшийся, старый паркет, отчетливо видел завязший в пыли голубиный пух, грязные пятна раздавленного пепла; еле слышно спросил:

— Он... тоже умер? Боксерские перчатки... Это его?

Она отошла на шаг, подняла оголенные полные руки к измененному испугом лицу.

— Нет, нет! Это комната нашего сына... Он только теперь не живет здесь! У него своя семья... Вы меня не так поняли! Три года назад, Никита, я тоже пережила смерть матери. Какая нелепость! — вскрикнула Ольга Сергеевна и опустилась в кресло, прикрыла лоб рукой.— Как мы все стали суеверны! Какая нелепость!

— Извините, я не знал,— пробормотал Никита.— Я подумал только, когда вы сказали...

Вздохнув, Ольга Сергеевна отняла пальцы ото лба и через силу закивала ему:

— Да, да... Я понимаю ваше состояние. Как все это невыносимо! Но я хотела сказать вам, что Георгий Лаврентьевич придет из института в первом часу и хочет сегодня же встретиться с вами.

— Хорошо, Ольга Сергеевна.

— Через полчаса я вас жду к завтраку.

— Спасибо. Я не хочу.

— Но так нельзя. Вы должны есть. Вы совсем ослабнете. Я вас непременно жду.

Она вышла из комнаты, а он опять лег на диван. И тут вся стена перед ним, с унылыми вензелями обоев, бессмысленно освещенных солнцем, покрытая пушком безразличной ко всему пыли, слилась во что-то однообразно-серое, душное, давящее, и он испугался, что может заплакать сейчас от пустоты и одиночества.

— Очень хочу с вами поговорить, оч-чень!.. Вчера, к сожалению, не смог. Да и вы были только с поезда.

Георгий Лаврентьевич Греков ходил по кабинету нервной, танцующей походкой; подпоясанный халат был длинен ему, извиваясь, мотался вокруг обнаженных сухих ног в домашних шлепанцах, они быстро двигались, мелькали по ковру.

— Оч-чень хочу! — повторил Георгий Лаврентьевич.— Садитесь в кресло поудобнее. Итак, начнем с того, что я ваш родной дядя, а вы мой племянник. И вот при каких

горьких обстоятельствах мы с вами впервые встретились, дорогой вы мой!

Никита сел в кресло, как бы еще сомневаясь, что этот маленький, широкоплечий, тщательно выбритый, закутанный в халат старик может быть его родственником, его дядей, известным профессором истории, живущим здесь, в Москве.

Но, успокаивая себя, он вспомнил адрес на привезенном им письме, слова на конверте «профессору Грекову», написанные и подчеркнутые рукою матери. И, невольно улавливая вчерашнюю настороженность в тоне Грекова и вместе с тем испытывая стыд после неуклюжего разговора с Ольгой Сергеевной, подумал: «Нет, они не знали, что мать умерла».

— Значит, вы приехали? — спросил Греков и остановился перед книжным шкафом, приподнялся на цыпочки, забросил руки за спину, хрустнул пальцами.— Как вы спали? Удобно вам было? Вы впервые в Москве?

— Спасибо.

Никита с неудобством переводил взгляд с домашних, непонятно почему приковавших его внимание профессорских шлепанцев на шевелящиеся в широких рукавах пальцы за спиной, на его седой до нежной серебристости затылок. А Греков стоял, выпрямив спину, лицом к книжному шкафу, и показалось Никите, что профессор в стекло, как в зеркало, наблюдал за ним, все похрустывая пальцами.

— Так. Значит, это письмо? Письмо...

— Да,— сказал Никита.

— Да, да, да... Но это могло быть ошибкой, невероятной, страшной ошибкой! — зазвеневшим голосом заговорил Георгий Лаврентьевич, подойдя к двери, и задернул портьеру.— Все это может быть ужасной ошибкой!..

— Вы о чем говорите? — не понял Никита.

— Нет, никому не сообщить о болезни... Умереть в одиночестве! Надо быть немыслимо сильным человеком! И вы один, конечно, были с ней? И она никого из родственников не хотела видеть в больнице?

Георгий Лаврентьевич шагал по кабинету, по толстому ковру, мимо дубовых книжных шкафов, кожаных кресел, и волнами колыхался перед глазами Никиты его длинный халат.

— Не хотела...

Греков со страдальческой гримасой сел к письменному столу, повозился в кресле, с медлительной осторожностью вытянул из-под книг какую-то бумагу и пристально стал глядеть на нее. Он не читал, а только, казалось, смотрел в одну точку.

«Это письмо матери»,— подумал Никита.

— Она... страдала? — хрипло спросил Греков.— То есть как она умирала? Тяжело? Нет, я не хотел у вас этого спрашивать. Но я старик, я на пять лет старше своей сестры. В моем возрасте уже ничему не удивляешься. В некрологах каждый день читаешь знакомые фамилии. Наше поколение уходит... Роковой круг суживается. Эти модные беспощадные болезни — инсульт, инфаркт, рак — это ужасно! И всем, почти всем нам суждено умереть от этих страшных болезней двадцатого века...

Он, зажмурясь, покачал головой.

На столе зазвонил телефон. Греков открыл глаза, повторил: «Да, от этих болезней»,— и, как бы отталкивая от себя что-то, махнул рукой в широком рукаве халата, потянулся к аппарату.

— Да, милый мой,— слабым голосом заговорил он.— Да, да. Через два часа. Начинайте без меня. Ах, здоровье? У людей моего возраста да еще накануне юбилея уже нетактично спрашивать о здоровье.— Он вяло улыбнулся Никите.— Спрашивают, как анализы, как электрокардиограмма. Да. Спасибо, мой друг, спасибо.

Он опустил трубку, задумчивое лицо его порозовело, прозрачно-голубые глаза заскользили по столу, испуганно остановились, опять замерли на листе бумаги.

Никита молчал.

— Самое естественное и самое непоправимое — это физическая смерть,— заговорил Греков печально.— Мелькнула в мироздании, вспыхнула материя и погасла, растворилась во вселенной. Как будто ее и не было. Каждый доходит до своей вехи, и время беспощадно сталкивает его в небытие. Навсегда. И так со всеми. Закрыты все двери. И окончены все счеты с жизнью. Скажите... что она в последние часы говорила вам? О чем думала? Что говорила о прожитой жизни? Я ее не видел в последние годы. Я ее давно не видел...

Греков произнес последние слова затухающим голосом, потирая переносицу; он слегка покачивался в кресле, как в дремоте. И было непонятно, успокаивает ли он

себя или страдает оттого, что не видел мать перед ее смертью, или так странно думает вслух — и, все больше испытывая неудобство, Никита сказал:

— Она ничего мне не говорила.

Георгий Лаврентьевич широко открыл глаза — в их прозрачной голубизне мелькнул ужас, какой бывает у человека, разбуженного резким толчком.

— Моя сестра, моя сестра...— пробормотал он.

И, откинув голову, затих на секунду с жалким, удивленным лицом, но сейчас же, легонько переведя дыхание не на полную грудь, ощупью выдвинул ящик стола, достал коробочку с валидолом.

— Вам плохо? — Никита неловко привстал.— Может быть... воды?

Сделав неопределенный жест, Греков глубоко вдохнул воздух ртом.

— Ничего... Это звонки,— успокаивающим шепотом сказал он.— Звонки. Возраст. Не беспокойтесь. Ничего, ничего. Она... в этом письме...— после молчания заговорил он уже несколько громче,— просит меня, чтобы я посодействовал вашему переводу. Из Ленинграда. В Московский университет. Вы этого хотели? Я постараюсь это сделать. Незамедлительно.

Никита задвигался на теплом краешке кожаного кресла, ничего не понимая, машинально полез за сигаретой.

— Зачем же? — спросил он.

— Что вы? — Греков перевел дыхание и, заметив сигарету в пальцах Никиты, умоляющим взглядом попросил не курить. Никита смял сигарету, сунул ее в спичечный коробок.

— Вы сказали: «Зачем?» — проговорил Георгий Лаврентьевич.— Позвольте... Вера также просит, чтобы я помог вам обменять ленинградскую квартиру на московскую. Я помогу вам, хотя будет нелегко... Но я попытаюсь...

— Я не хотел, это не так,— ответил удивленно Никита, стараясь понять, почему мать в предсмертном письме просила о его переводе в Москву.— Мать сказала мне в больнице, что я должен буду поехать к вам. Когда передавала письмо, она просила только об этом...

Греков наблюдал за ним с выжидательно-ощупывающим выражением.

— Ваша мать была известным ученым... И в Ленинграде у вас, должно быть, большая квартира.

— У нас не было большой квартиры,— возразил Никита.— Две комнаты в общей... Нам с матерью не было тесно. Потом, когда мать положили в больницу, я сдал комнаты полковнику. Соседу, у него четверо детей... А сам только приходил ночевать. После смерти матери я попросил койку в общежитии. В университете. Мне обещали.

— Но для чего, для чего вы сдали свои комнаты?

— Мне нужны были деньги.

Греков спросил суховато:

— Разве вы не получали стипендии?

— Получал. Но мать долго лежала в больнице, — сказал Никита и, сказав это, увидел заалевшие, как от внутреннего жара, щеки Георгия Лаврентьевича.— И я хотел, чтобы... Разве вы не знаете, для чего нужны деньги, когда кто-нибудь болеет?

Георгий Лаврентьевич молчал, пристально глядя в стол, сутулясь; его нависшие белые брови подрагивали, он будто прислушивался к своему дыханию. Это прислушивающееся, углубленное выражение удивило Никиту, и удивил голос, ослабленный, разбитый:

— Я, кажется, уже спрашивал... Скажите, Вера... моя сестра говорила что-нибудь перед смертью о своей молодости? Она страдала, жалела о чем-нибудь?

— Нет,— сказал Никита.— Я не знаю.

— И у нее были слабости,— безжизненно выговорил Греков и утвердительно прикрыл глаза.— И у нее...

На письменном столе снова зазвонил телефон. Греков, вздрогнув, невнимательно и брезгливо поднял и опустил кончиками пальцев трубку, но телефон вновь затрещал требовательным звонком, отдаваясь в ушах.

В дверь тотчас постучали.

— Георгий, можно? К тебе пришли из комитета. И звонят из газеты. Прости уж, пожалуйста.

Греков неприязненно повернулся к двери, затем, колыхая широкими рукавами халата, суетливо выскочил из-за стола и своей нервной танцующей походкой подбежал к двери, отдернул портьеру.

— Оленька! — решительным и вместе умоляющим тоном крикнул он в приоткрытую дверь.— Из комитета в два, в два часа, я предупредил! Я занят. Кто там? Пискарев? Пусть подождет! И прошу, пожалуйста, или выключить телефон, или всем говорить, что я болен. Неужели нельзя меня избавить от телефонных разговоров

по утрам? Опять консультация? Я не стол справок. Есть другие специалисты, наконец!

— Ты должен принять Пискарева,— с вежливой настойчивостью ответила Ольга Сергеевна.— Ты обещал и должен. Ты забыл? И подойди, пожалуйста, к телефону.

— Я никому ничего не должен, это немыслимо! — Греков в отчаянии схватился за виски.— Скажи, что у меня стенокардия, что я болен...

И ровный, спокойный голос Ольги Сергеевны:

— Подойди, пожалуйста, к телефону. Это неудобно, Георгий.

Дверь кабинета захлопнулась. Греков задернул портьеру, сердито и вроде бы беспомощно обернулся к молчавшему Никите, и тут же в каком-то нарочитом негодовании стремительно побежал к телефону (замелькали белые щиколотки под халатом) и, фыркая носом, сорвал трубку, крикнул звонким фальцетом:

— Скажите, милейший, могу я спокойно поболеть или уж, позвольте... Кто? Не имел чести! Да-с, мой день рождения на носу, а вам, собственно, что?

«Он больной человек, со странностями,— вслушиваясь в то, как с веселым бешенством кричал Греков по телефону, думал Никита, смущенно водя ладонью по кожаному подлокотнику.— Сколько ему лет? И сколько Ольге Сергеевне?»

— Что вы там написали юбилейное про меня, я не знаю! Нельзя, молодой человек, говорить «нет», когда не знаешь, чем подтвердить свое «да». Именно! Привезите гранки статьи, я завизирую. А может быть, и нет. Я должен прочитать, что вы там написали! Я терпеть не могу фантазий корреспондентов! Да-да! Так... Так на чем же мы остановились?

— Что? — Никита поднял голову.

— Так на чем же мы?..

Греков уже не разговаривал по телефону, однако еще не выпускал трубку, поглаживая ее, а из прозрачной голубизны глаз уходила весело-мстительная, как у злорадного ребенка, улыбка, с которой он отчитывал кого-то по телефону. И теперь растрепанные кустики седых бровей наползали на высокий лоб лохматыми уголками, и весь вид его выказывал в эту секунду сосредоточенное изумление.

Он рассеянно смотрел пустым взором и с этим же отсутствующим выражением сделал несколько шагов от стола к нише меж книжных шкафов, медлительно вынул из кармана халата ключик. Вложив его в замочное отверстие маленького, вмонтированного в нишу домашнего сейфа, он так же медленно открыл дверцу. И после этого спросил расслабленным голосом:

— Вам, вероятно, нужны деньги? Вы, кажется, сказали, что вам нужны деньги на расходы? В вашем возрасте всегда нужны деньги.

— Я не просил,— отказался Никита.— У меня есть. Для матери были нужны, когда болела...

— Да, да,— вспоминающе перебил Греков, и круглое, выбритое лицо его дрогнуло в беззвучном смехе.— Конечно. Странно... Это рефлекс. Когда я вижу молодые, именно молодые, так сказать, лица родных и своих аспирантов, я открываю этот сейф. К сожалению, деньги, как и слава, приходят к человеку слишком поздно, когда все радости бытия, которые даются деньгами, становятся лишь прошлым... Лишь воспоминанием. Как они нужны мне были когда-то, лет сорок назад! Как нужны!.. Был бедным и к тому же без ума влюбленным в чьи-то русые косички студентом. Теперь даже не помню, какой цвет глаз был у этих косичек. А она была подругой Веры. И Вера была тогда красавицей. И вдруг это...

Никита увидел, как письмо матери, вынутое Грековым из-под бумаг, забелело, замелькало в его пальцах, он рассматривал, теребил его, точно не знал, что делать с ним. Затем, потоптавшись, наклонился к открытому сейфу, положил его туда и долго никак не мог закрыть замок, поворачивая ключик вправо и влево, нелепо оттопыривая локти; бледные по-стариковски, аккуратно выбритые щеки его дрожали.

— Идите, идите, умоляю... я все сделаю, я все, что смогу, сделаю,— заговорил Греков и весь сразу как-то обмяк, доплелся до стола, упал обессиленно в кресло, закрыв глаза, жалко закивал Никите.— Мы еще поговорим. Мы еще, конечно... Простите, я устал. Я чрезвычайно сегодня устал.

Никита неуверенно поднялся и, зажимая в потных пальцах пачку сигарет, которую во время разговора все мял в кармане, направился к двери, отдернул портьеру, обдавшую его горьким запахом, и вышел.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В полутемном коридоре Никита вытер пот со лба и закурил наконец сигарету.

«Интересно,— подумал он, пожав плечами.— Значит, Георгий Лаврентьевич — мой родной дядя?»

Никогда раньше мать не говорила ему о своих московских родных, никогда не получала ни от кого писем (во всяком случае, он не видел их) и никогда на его памяти не общалась ни с кем из живущих в Москве. И Никита ясно вспомнил день приезда, многозначительные, что-то понимающие взгляды незнакомых ему, но, видимо, когда-то очень давно встречавшихся с матерью людей, которых вчера за ужином представила ему Ольга Сергеевна, и весь этот непоследовательный, раздерганный разговор с профессором Грековым — и вдруг почувствовал стыд от своего нового, унизительного положения объявившегося в Москве незваного родственника. Он вспоминал фразу: «Вера просила», но сам он в кабинете у Грекова не нашелся толком возразить, зачем-то стал невразумительно объяснять причины жилищного уплотнения, хотя совсем не намеревался говорить об этом и тем более о деньгах.

«Как же так? Неужели могло показаться, что я искал от письма матери какой-то выгоды?» — подумал Никита с отвращением к себе, и тесная, надетая утром ковбойка жестко сдавила под мышками. Он стоял в нерешительности и, точно сжатый душной тишиной квартиры, видел, как в конце коридора, в проеме двери солнечно, жарко, пусто блестел паркет. Там была столовая, где вчера вместе с молчаливыми гостями сидел и он.

Его комната была в той стороне огромной квартиры.

И сейчас, чтобы попасть в дальнюю комнату, ему нужно было пройти через эту просторную столовую, мимо других комнат, но он опасался встретить там Ольгу Сергеевну с ее участием, с ее ласково-скорбным взглядом, он не знал, что сказать ей.

«Только бы они не чувствовали, что чем-то обязаны мне,— подумал Никита.— Только бы не это!»

Он подождал немного и быстро пошел по коридору.

Все окна столовой, светлой и горячей, были распахнуты в сверкание полуденного солнца, в жар накаленных крыш, в оглушительно радостное, летнее чириканье

воробьев, возбужденно трещавших крыльями где-то под карнизами, и этот базарный воробьиный крик звенел не за окнами, а в самой столовой, длинной и пустынной, будто ресторанный зал утром. Никита прищурился от белизны солнца, и сейчас же рвущийся, как при настройке приемника, свист, потрескивание, короткие строчки музыки вплелись в воробьиный гомон. Боковая дверь в столовую распахнулась, звуки музыки хлынули оттуда и оглушили хаосом, свистом разрядов.

— Привет, родственник! — услышал он обрадованный голос.— Хинди, руси, бхай, бхай!

На пороге улыбался высокий парень с забинтованной шеей и в поношенных кедах, узкое лицо загорело, белокурые волосы подстрижены ежиком, яркие глаза насмешливо оглядывали Никиту. Парень этот наугад крутил настройку транзистора, а транзистор буйно гремел музыкой, скользили нерусские голоса, взрывы смеха, всплески аплодисментов. Не выключая приемника, парень театрально-церемонно поклонился.

— Я вас горячо приветствую, родственничек! Не успел вчера представиться: был на дачах,— сказал он сиплым, ангинным голосом.— Заходи ко мне. Садись. Будем, что ли, знакомиться. Валерий. Сын уже известного тебе Георгия Лаврентьевича. А ты — Никита?

— Да, не ошибся.

— Виноват! — ворочая забинтованной шеей, воскликнул парень, с любопытством разглядывая Никиту яркими глазами.— Даю сразу задний ход: по рассказам родительницы вообразил тебя тютей! Накладка! Ты скорее похож на юного медведя с флибустьерского брига! Ну, ладно, обмен нотами закончен, давай лапу!

Он, улыбаясь, крепко стиснул неохотно протянутую руку Никиты и бесцеремонно втянул его, шагнувшего неуклюже через порог, в маленькую комнату, жаркую, блещущую натертым паркетом, сплошными, во всю стену, стеклами книжных полок. Здесь на широкой тахте, покрытой полосатым пледом, грудой валялись магнитофонные кассеты, вокруг журнального столика, где царствовал импортный магнитофон, беспорядочно теснились низкие кресла, и было пестро, светло, даже ослепительно от многочисленных цветных репродукций в простенках, от

большого зеркала, вделанного в дверь, от множества стеклянных пепельниц, предупредительно расставленных повсюду. И тут не веяло запахом теплой пыли, сухим ветерком запустения, как в комнате, где поселили Никиту,— все было протерто, вычищено, все пахло уютной чистотой.

— Садись, что ли. А, к черту эту хламидомонаду! — весело сказал Валерий и, подтолкнув Никиту к креслу, бросил невыключенный транзистор на тахту среди магнитофонных кассет.— Трещит, как обалдевший жених на свадьбе. Наивно думал, что приобрел в комиссионке модернягу, а мне бессовестно всучили дубину времен Киевской Руси. Располагайся, покурим. У тебя какие?

— «Памир».

— Самые дешевые? Ясно. Это что, принципиальный демократизм? Теперь модно. Предлагаю свою «Новость»,— выщелкивая из пачки сигарету, просипел простуженным горлом Валерий.

Он стоял перед креслом Никиты, был мускулист, худощав, дешевые брюки обтягивали «дудочками» длинные ноги, цветная рубашка навыпуск, на тыльной стороне запястья поблескивали на широком ремешке плоские часы — весь поджарый, гибкий, похожий на баскетболиста.

— Можно выключить? — сказал Никита, кивнув в сторону транзистора.— Эту дубину...

— О, удержу нет! Обнаглели!

Валерий кудахтающе засмеялся, выключил транзистор — воробьиный крик сразу заполнил тишину — и сел в кресло напротив Никиты, удобно и вольно вытянув ноги, кеды его были в пыли и довольно поношены.

— Извини за ангельский голосок,— сказал он дурашливо и оттянул бинт на горле,— хватил неделю назад колодезной воды на Селигере, и горло сказало «пас». Не приходилось бывать в этих русских местах?

— Нет.

— Какую обещаешь подарить стране профессию?

— Геолог, если получится. А что?

Валерий округлил рыжие, выгоревшие брови и сипло закашлялся, заговорил с оттенком удивления:

— Ладно. У меня к тебе вопрос детективного характера: ты где скрывался, в Ленинграде? Почему я не

знал, что ты существуешь? Просто археологическая находка!

— Я тоже не знал, что существует такой остроумный парень,— сказал Никита.— Привет, познакомились.

— Н-да, нет слов,— дернул плечами Валерий.— Чрезвычайно интересно. Значит, тебя поселили в комнате Алексея?

— А кто такой Алексей?

— О, черт! Неужели не знаешь? Представь, что это твой двоюродный брат, как и я.— Валерий покачал длинной ногой, обутой в кед, повращал кедом, потом не то вопросительно, не то иронически прищурил один глаз на Никиту.— Что, был разговор со стариком? Была какая-то просьба с твоей стороны?

— Я ничего не просил,— резко сказал Никита.

— Ого! — Валерий оттолкнулся от спинки кресла, пощелкал пальцем по сигарете, стряхивая пепел. Вся поза его, глаза, подвижное лицо выражали насмешливое и нестеснительное любопытство, и Никита почувствовал раздражение к его ангинному голосу, к этой его самоуверенной манере держать сигарету на отлете.

— Я ничего не просил,— спокойно повторил Никита.— А о чем я, по-твоему, должен просить?

Валерий развел руками.

— Этого, представь, не знаю. И не хочу знать: у каждого свое. В чужую жизнь стараюсь нос не совать. Как тебе понравился старик? Речей не произносил?

— Он рассеян,— ответил Никита и замолчал, намеренно не желая продолжать этот разговор.

— Ну, я Георгия Лаврентьевича знаю чуть получше тебя,— сказал Валерий добродушно.— Старик любит МХАТ. Это та рассеянность, когда человек приходит в одной галоше в институт, но другую держит в портфеле. Причем завернутую в газету. Но, в общем, он добрый малый, твой маститый родственник.

Никита, нахмурясь, сказал:

— Я рад был узнать, что в Москве у меня оказалось столько родственников. Больше, чем надо. Тем более не предполагал, что всем необходимо считать меня бедным сиротой из провинции и все хотят мне помочь, а мне

ничего не надо! Я только привез письмо своей матери. Это была ее просьба.

Валерий запустил руки в карманы брюк, начал подрагивать ногой, узкое, с облупившимся от загара носом лицо стало сонным.

— Милый! Сейчас все хотят трясти друг другу руки и все в поте лица суетятся, размахивая категориями добра. Никто не хочет быть, так сказать, черствым в наше время. Для тебя это новость?

— В какое наше время?

— В противоречивую эпоху переоценки некоторых ценностей,— ответил Валерий, смеясь.— Улыбки, вежливость, демократическое похлопывание по плечу — модная форма самозащиты. Люди изо всех сил хотят оставить о себе приятное впечатление. Надо знать это, не надо быть наивным. Реализм не должен убивать прекрасную действительность.

— Валя... Вале-рий!..— послышался из столовой ласково-певучий голос Ольги Сергеевны, и легонько, будто ногтем, два раза стукнули в дверь.— У тебя Никита, голубчик? Прости, пожалуйста. Я жду тебя. И отец ждет. Прошу тебя, прошу, милый. Извините, пожалуйста, Никита, я вам помешала?

— Иду, иду, уважаемая мама! Одну минуту! — вставая, крикнул Валерий в тон ей таким же ласково-певучим голосом и, наморщив обгоревший на солнце нос, сказал Никите: — Вот видишь, моя мама, добрейшая женщина, опасается очень, что ты обидишься. Мир соткан из условностей, Никитушка. Ну ладно, я должен ехать с уважаемой мамой в Столешников и как любящий сын изображать грузчика — таскать сухое вино и укладывать в машину. У нашего старика какая-то знаменательная дата — именины или полуюбилей, понять невозможно. Это знает один он.

Валерий взглянул на себя в зеркало, поправил бинт на горле.

— Ну, скоро увидимся. Всегда делай допуски: плюс — минус. Тогда средняя продолжительность жизни будет соответствовать статистике. Покеда! Располагайся у меня, полистай прессу и учти: в холодильнике на кухне — холодное пиво. Впрочем, не хочешь ли прокатиться с нами?

— Нет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Сейчас я поеду на телеграф и позвоню...»

Как только он вышел из подъезда старого шестиэтажного дома, вышел на солнце, на обдающий жаром светоносный воздух летнего дня и как только увидел в тени деревьев на троллейбусной остановке нежно-белые островки тополиных сережек, с невесомой легкостью летевший над тротуаром пух, Никита почувствовал облегчение, будто навсегда кончилось все неприятное и тяжкое. Он знал, что впереди длинный свободный день и до вечера не нужно ни с кем против воли разговаривать, испытывая какую-то странную зависимость; видеть принужденное сочувствие, подчеркнутую скорбность, объяснять то, что никому невозможно объяснить.

Вся противоположная сторона заарбатской улицы с шершаво-облупившимися домами тонула в коридоре сплошной тени. В густоте зеленого полусумрака тополей темнели арки ворот, прохладно отблескивали стекла старинных подъездов, проступали белыми пятнами под полуразваленными балкончиками выгнутые торсы кариатид. И веяло от каменных арок, от затененных листвой окон устоявшимся покоем, тихой, размеренной, уравновешенной жизнью.

Троллейбус показался наконец в глубине улицы; он шел с мягким шумом, почти касаясь своими дугами веселой нависшей зелени, и Никите было приятно видеть по-летнему открытые окна, лица людей в них, наблюдать, как на круглых синеватых стеклах (стеклах аквариума) слепяще вспыхивали, перебегали солнечные радиусы, брызгавшие сквозь листву.

Троллейбус остановился, знойно дохнул пылью; теплый ветер от колес поднял с мостовой тополиный пух, облепил брюки Никиты, и он вскочил в раскрывшиеся двери.

...На многоголосом, душном, наполненном движением людей, беспрестанно звенящем вызовами звонков Центральном телеграфе на улице Горького он заказал срочный разговор с Ленинградом и, томясь в ожидании вызова, стоял возле названного ему номера кабины.

В тесной кабине потный, распаренный пожилой мужчина — соломенная шляпа сдвинута на затылок,— начальнически выкатив глаза, угрожающе стучал кулаком по столику; шляпа съезжала с круглой обритой головы;

он поправлял ее плечом, сиплым голосом кричал в трубку:

— Я т-тебе не сделаю, я т-тебе не побегаю, Курышев! Ты у меня попьешь водочки в номере! Не-ет, я не из базы звоню, я на свой счет из телеграфа звоню! Теперь-то досконально все понял. Я тебе враз распомидорю характер дурацкий!.. Ты у меня другие арии запоешь!

Около соседней кабины высокая девушка с хвостиком черных волос на затылке вынула из сумочки зеркальце, тщательно всматриваясь, провела мизинцем по растянутым, подкрашенным губам и вдруг, услышав сиплый крик из будки, фыркнула смехом в зеркальце, взглянула на Никиту, но сейчас же отвернулась, независимо тряхнув хвостиком. Он успел улыбнуться ей и в то же время подумал:

«Я могу не застать ее дома. Она не знает, что я в Москве».

В тот день после кладбища он, как в темных провалах, шел по Дворцовой набережной, подняв воротник пиджака, щекой прижимаясь к жесткому ворсу,— дуло предвечерним холодом с Невы, его знобило, и он еще физически ощущал мертвый холодок материной щеки, к которой в последний раз прикоснулся губами, как сделали другие и сделала Эля, перед тем как все должно было быть кончено и двое незнакомых парней с лопатами, подойдя, равнодушно стали смотреть вниз.

Он смутно видел свежую землю, край чего-то узкого, темного, с покачиванием уходящего вниз, и, понимая, зачем эта земля и это темное, прикусив губы, поднял голову и на миг встретился с огромными, умоляющими глазами Эли.

После какая-то золотистая мгла была в небе над Васильевским, там расплавленно горели окна в размытых закатом силуэтах домов, вспыхивали стекла еле видимых трамваев на далеких мостах, тонкими палочками равномерно и стеклянно взмахивали длинные весла гоночных лодок на Неве, и все буднично говорило о том, что ничего не изменилось в городе, а он слышал за собой то отстающий, то догоняющий цокот каблуков, знал, что все время от кладбища сзади шла Эля, но не останавливала, не окликала его.

Потом он, замерзая, облокотился на парапет, упорно глядя на враждебно покойную багровость воды, боясь

повернуться к Эле. А она приблизилась совсем неслышно, облокотилась рядом и молчала, не шевелясь.

С неотпускающей спазмой в горле он глянул на Элю из-за поднятого воротника, и она сразу почувствовала это — чуть-чуть вздрогнули брови, сказала шепотом:

— Ты только ничего не говори... И я не буду, если не помешаю...

— Ты мне не мешаешь,— ответил он с усилием.

— Почему люди любят смотреть на воду? — тихо спросила она.— И еще на огонь... В детстве я любила, когда вечером топили голландку.

— Ты мне не мешаешь,— повторил он.

— Смотри, сколько чаек на Васильевском,— сказала она и вдруг заплакала, и Никита увидел, как она со страхом тронула пальцем прыгающие губы.

А он, дрожа от озноба, подумал, что она тоже помнила тот тлепный холод материной щеки, и почти судорожно обнял ее, словно защищая от того, от чего не мог защитить себя.

— Этого не надо, — сказал он.

— Нет, нет... Я не плачу. Не обращай на меня внимания. Я в первый раз была на кладбище. Я не знала...

И, не подымая глаз, осторожно потрогала пуговицы на его пиджаке, сказала тихонько:

— Если ты хочешь, мы можем пойти к тебе. Делай, как считаешь лучше.

— Мы не можем ко мне.

— Тогда, если хочешь, пойдем к нам. Я скажу, и мои поймут.

— Я не знаю твоих.

— Они поймут, они должны понять.

— Они не знают меня.

— Тогда пойдем по набережной? — сказала она, но не тронулась с места, а он старался сдержать дрожь озноба, и эта дрожь передавалась и ей.

...Она училась на первом курсе филологического факультета в том же университете, где учился и он, но Никита ни разу не встречал, не видел ее в коридорах, даже в студенческом буфете, до того как зимой они случайно познакомились в автобусе.

Она стояла в тесноте возле кассы в облепленном снегом пальто и, сдернув перчатку, дуя на ладонь, ждала мелочь — сдачу — и на остановках жалобно поглядывала на входивших. «Не опускайте, пожалуйста, копейки!» Но,

видимо, к счастью, копеек ни у кого не было, и Никита из-за спин увидел ее взмахивающие, влажные от растаявшего снега кончики ресниц и влажные брови. И тогда, набравшись решимости, он сделал вид, что не брал билета, достал мелочь, позвенел ею в горсти, смело протискиваясь к кассе; а она, как бы поняв, благодарно улыбнулась ему.

На остановке против университета они сошли вместе.

— Пятнадцатый, срочный, Ленинград, вторая кабина.

Высокая девушка, которая только что подкрашивала губы, уже разговаривала в соседней будочке, задумчиво чертила пальцем по стеклу; исчез распаренный мужчина в соломенной шляпе, сипло кричавший в трубку на Курышева, эта кабина была свободна,— и Никита понял, что вызывали его.

Он вошел, захлопнул за собой дверцу, поспешно схватил трубку, шумевшую слабыми шорохами пространства: на том конце пространства несколько секунд молчали.

— Молодой человек, говорите! Ленинград, говорите!

— Москва, Москва...

— Говорите...

— Эля...

— Да, да, кто это?

Ее голос задрожал в текучих шорохах, он был еще бестелесен, странно отъединен от нее, от выражения ее лица, глаз, губ, но звук этого голоса вдруг приблизился и повторил:

— Кто это? Кто это?

— Здравствуй, Эля,— проговорил Никита и заторопился, уловив упавшую тишину на том далеком конце провода.— Это я, Никита. Здравствуй. Не думал застать тебя дома. Хорошо, что я тебя застал. Эля...

— Кто это? Никита? — обрадованно вскрикнул ее голос и заговорил изумленно: — Ничего не понимаю, куда ты исчез? Тебя плохо слышно! Откуда ты звонишь? Москва, при чем здесь Москва?

— Я звоню из Москвы.

Она испуганно спросила:

— Ты не в Ленинграде? Я так и подумала, что ты уехал. Но ведь тебя освободили от практики. Ты давно уехал?

— Нет.

— Но зачем ты в Москве?

— Мне нужно, Эля. Обязательно нужно.

— Хорошо, я не буду спрашивать. А что ты делаешь сейчас?

— Стою в кабине на Центральном телеграфе на улице Горького. А что ты делаешь?

— Я ужасно обалдела после экзаменов, лежу на диване и читаю «Трех мушкетеров». И слушаю Эдит Пиаф. По радио...

— Значит, у тебя все хорошо?

Никита не услышал ответа, лишь невнятный шорох тек по разделяющему их пространству. Сжимая трубку, он ждал, когда прервется это ее молчание.

— Эля, ты меня слышишь?

— Да, я в августе уезжаю в колхоз. Весь наш курс посылают куда-то в Ивановскую область. Когда ты приедешь?

— Скоро, Эля. Я тебя еще застану в Ленинграде.

— Когда?

— Не знаю. Видимо, дня через три-четыре. А знаешь, это все-таки неплохо — лежать па диване и читать «Трех мушкетеров». В этом есть смысл. И знаешь, Эля, я рад, что в нашем двадцатом веке существует телефон.

— Вы говорите три минуты,— сквозь щелчок в трубке вмешался в разговор, прервал их чужой голос.— Заканчивайте.

— До свидания, Эля,— быстро сказал Никита.— Уже три минуты. Я рад, что застал тебя дома. Спасибо «Трем мушкетерам». Я скоро приеду.

— До свидания, Никита. Я буду ждать тебя.

Он повесил трубку, вытер со лба пот.

На улице Горького, широкой, людной, все в этот час было оживленно, шумно, по-июльски жарко и пестро: добела выцветшие над витринами полотняные тенты; настежь открытые двери в глубину прохладных кафе, где перед зеркальными стенами люди пили соки и ложечками ели мороженое; металлические автоматы на тротуарах, бьющие в стаканы струями газированной воды; повсюду короткие светлые платья, обнажающие загорелые ноги женщин, та особая, кажущаяся праздной московская толчея, которая говорила о городе большом, шумном, перенаселенном.

Никита шел в этой толпе мимо переполненных кафе, мимо нависших тентов и подстриженных лип, мимо автоматов с газированной водой; возле одного из них четверо спортивного вида молодых людей, весело толкаясь, передавали друг другу стаканы; рыжеволосая девушка в узких брючках взяла стакан, кипящий пузырьками, и отпила глоток, смущенно встретясь с Никитой суженными от прямого солнца глазами. И он с непонятным удовольствием видел, как она, не допив, захлебнулась и водой и смехом, скосив чуть раскосые брови на загорелого, будто только с юга, парня, передразнивающего ее: сделав томный вид, он показывал, как она пьет, держит стакан двумя пальцами, оттопырив мизинец.

— Оставь, Володька! — притворно сердясь, крикнула девушка.— Я захлебнусь. Ты будешь отвечать...

Никите были приятны эти летние голоса и летние лица, встречный скользящий под витринами водоворот людей, смешанные запахи открытых парикмахерских, разогретого асфальта, веселая, солнечная испещренность тротуара. Этот разнообразный поток улицы, сложный ее шум властно вбирал в себя Никиту, и появлялось ощущение, что все это давно знакомо ему, что он давно живет здесь, но одновременно было легко думать, что все-таки скоро он уедет отсюда...

Никита подошел к сверкающему пластиком табачному киоску, достал деньги, бросил их на резиновый кружочек в затененный полукруг окошечка. В эту секунду что-то толкнуло его,— и точно в пустоту упало, остановилось сердце... Он, задохнувшись, не поняв, что произошло, с мгновенной испариной быстро повернул голову, как если бы рядом случилось несчастье и его звали на помощь.

«Мама!..» — с ужасом мелькнуло у Никиты.

Сбоку скользящей по тротуару толпы в тени лип несколько расслабленной, утомленной походкой шла маленькая женщина, как ходят пожилые, не совсем здоровые люди. Бросились в глаза сахарно-седые волосы, аккуратно сколотые в пучок на затылке, наивный, кружевной, белый воротничок на темном платье и в худенькой опущенной руке кожаная сумка, тяжесть которой ощущалась им...

Но, сопротивляясь самому себе, говоря самому себе, что это похоже на наваждение, он чувствовал, что не хочет, не может этому сопротивляться, и в тот момент, еще не увидев лица женщины, подталкиваемый в необо-

римом порыве, вдруг пошел за ней с желанием зайти вперед, посмотреть в лицо, но в то же время боясь увидеть его.

«Это не она, нет... Этого не может быть!»

Он то отставал, то шел в трех шагах от женщины, теперь особенно отчетливо различая заколки в чисто-седой белизне волос, тонкие синеватые жилки на висках, и угадывал необъяснимо родное, слабое в ее худенькой спине, в шее, в плечах, в ее маленьких ушах, видимых из-под собранных на затылке волос. И казалось, даже вдыхал знакомый запах ее платья.

Тогда, в мартовский вечер, мать вошла к нему в комнату, накуренную, холодноватую. Он сидел за столом, свет настольной лампы падал на развернутые конспекты, на пепельницу, полную окурков, но она ничего не сказала и мягко, неслышно опустилась на стул возле окна, застыла там в тени, долго смотрела на него, руки на коленях, голова чуть наклонена, и ему стало как-то неспокойно.

Окна были незанавешены, чернели огромными провалами, а среди сплошной черноты неба слабо белел неподвижный силуэт ее головы, и потому, что она молчала, ему вдруг представилось, что мать бестелесно растворяется в этой тьме, невозвратимо уходит куда-то за черные стекла.

— Мама! — позвал он и вскочил, зажег свет, шагнул к ней с охватившим его предчувствием опасности, оттого что мать так долго, беспомощно молчала, и тут увидел: в глазах ее, не проливаясь, блестели слезы.— Ма́ма, ты что? — повторял он.— Ну что с тобой?

— Тебе никогда, сын, не бывает страшно... одному в комнате? — спросила она, и ему стало жутко оттого, что мать спросила это.

— Не понимаю, мама, о чем ты?

— Страшно быть совсем одному, правда?

— Я не думал об этом...

— Да, конечно, конечно.

И мать встала и внезапно исступленно и сильно прижала его голову к груди, так сильно, что пуговица на ее кофточке больно врезалась ему в щеку. А он, обняв ее, опасаясь пошевелиться, снова увидел черный провал окна и почему-то редкие капли вечернего тумана, косо

ползущие по стеклу, и услышал ее вздрагивающий голос сквозь подавляемые рыдания:

— Ты у меня один...

— Нас сейчас двое, мама...— прошептал он с грубоватой мужественностью.

— Ты мягок, сын... Ты не можешь ничего скрыть в себе.

Она отпустила его голову и испытующе, будто хотела разгадать нечто неясное ей, вглядывалась в его лицо, ладонями сжимая его виски. И ему почудилось — от нее запахло вином. Но в эту минуту мать пыталась улыбаться, а слезы блестели в ее напряженных и васильково-синих сейчас глазах, и она договорила странно:

— Скажи, ты снисходителен к людям? Ты им прощаешь?

— Мама, зачем ты говоришь так? — сказал он, понимая, что не имеет права раздражаться на нее, и сдержанно добавил: — Я не люблю давать себя в обиду... У меня достаточно крепкие кулаки. Я не божий одуванчик, мама.

— Кулаки? — слабым криком отозвалась мать.— Никита... Мальчик ты мой! .

И опустилась на стул, покачивая из стороны в сторону головой.

А он с тревожной ясностью вспомнил о периодических приступах ее болезни в последнее время и о том, что она уже неделю проходила обследования у врачей, его испугал этот ставший фальшивым ее голос.

— Мама, что они сказали?

— Прости меня, пожалуйста,— повторила мать тем же измененным голосом и, непонятно зачем торопясь, пошла к двери в свою комнату, а когда закрывала дверь и оглянулась, на лице ее мелькнуло выражение обнаженного страха.

— Прости меня,— разбитым голосом повторила она в третий раз, за уже прикрытой дверью, и там скрипнули пружины дивана: она, видимо, легла.— Я отдохну немного. Не входи, пожалуйста, я разденусь.

Никита стоял перед дверью, прислушиваясь, и в бессилии ожидал возможного приступа болей, с которыми мать теперь так часто боролась, и представлял, как она лежит там, в соседней комнате, на диване, в окружении книжных стеллажей, возвышающихся над широким

письменным столом, на уголке которого белели мелко исписанные листки,— здесь вечерами она всегда писала конспекты к своим лекциям.

— Мама,— твердо сказал Никита,— почему ты все время уходишь от разговора? Ты ни в чем не виновата ни передо мной, ни перед кем! Что тебе сказали?

— Ради бога...— отозвался из-за двери высокий захлебнувшийся голос матери.— Ради бога, Никита!..

Это «ради бога» умоляло не продолжать разговора, не напоминать о том мучительном и противоестественном физическом ее состоянии, которое она всеми силами скрывала, а он уже обо всем догадывался.

Иногда ночью его будили заглушаемые подушкой стоны за стеной, внятный, но осторожный скрип пружин, шаги, еле уловимое в тишине позвякивание ложечки о пузырек, полоска света желтела под дверью. И тогда он тихо, настороженно окликал ее: «Мама, ты что?» Все смолкало в другой комнате, гасла полоска света под дверью, и тут же чрезмерно спокойный голос матери отвечал: «Совершенно замучила бессонница, извини, если разбудила». Но после повторявшихся пробуждений Никита подолгу не мог заснуть, в беспокойстве ждал, что мать все-таки позовет, попросит воды или хотя бы открыть форточку в ее комнате. Никита знал, что у нее не бессонница, а что-то другое, серьезное, потому что мучения ее стали повторяться все чаще, были все длительнее, однако мать, перетерпев приступ, говорила со слабой улыбкой, что хроническую бессонницу современная медицина лечить не научилась. Она обманывала и себя и его, оттягивала время, не хотела показаться врачам, боялась вернуться от них с окончательным приговором.

Раз ночью, разбуженный стонами за дверью, каким-то, как под пыткой, мычанием, он вскочил с постели и, не зажигая у себя свет, вошел к ней. Мать, прозрачно-бледная, в пижаме, сидела, отклонясь к стене, на диване, белой дрожащей рукой наливала в большую рюмку водку, дверца тумбочки была открыта, горела настольная лампа на краю стола, под светом белела развернутая книга, исписанные листки бумаги; стеллажи в полутьме уходили к потолку. Увидев Никиту, его непонимающие глаза, мать замерла и обнаженным, пронзительно-синим, полным боли взглядом посмотрела на него снизу вверх. Безмолвно она умоляла его ничего не говорить, ни о чем не

спрашивать. И он, впервые до спазмы в горле захлестнутый страхом, осознанно, молча смотрел на ее по-девичьи тонкую руку, на рюмку, на этот болезненно исходивший от ее взгляда синий свет, лучащийся молчаливой мукой. И, готовый не поверить, что именно так каждый раз мать чудовищно обманывала свою боль, так успокаивала ее, Никита лишь сумел выговорить:

— Мама... ничего... если это помогает тебе...

Опустив веки, мать отвернулась, чтобы он не видел ее лица, не видел, как она пьет, поднесла рюмку к губам и сквозь сжатые зубы, с отвращением выцедила водку. Потом, откинув голову, попросила слабым движением губ:

— Выйди, Никита... Не хочу, чтобы ты подумал не так... У меня всегда хватало сил. Но сейчас — нет...

И он, впервые оголенно прикоснувшись к непоправимому, к тому, что происходило с ней, прошептал:

— Мама... Ну чем помочь? Чем? Скажи... Вызвать «неотложку»?

— Не надо. Выйди, Никита,— снова попросила она.

Он с усилием над собой вышел и всю ночь просидел в кресле, придвинув его к двери в комнату матери, и опять слышал ее придушенные стоны, дрожащее позвякивание горлышка бутылки о рюмку, жадные, как ожидание облегчения, глотки. Под утро там затихло, успокоилось. Он заглянул в комнату. Мать спала, не погасив настольной лампы, и бледное лицо ее было страдальчески-детским, брови подняты, сдвинуты, губы искусаны, но дышала она ровно.

Ранним утром, чуть забрезжило за окном, он вышел из дома на сырые от осевшего тумана улицы. И, весь продрогнув в мартовском холоде, два часа ждал открытия районной поликлиники, где сбивчиво и возбужденно говорил с главным врачом, заспанным, с погасшей папиросой в зубах, некстати механически мывшим руки под краном, точно готовился осмотреть самого Никиту, и не сразу понявшим, в чем дело.

— Она не жаловалась на боли,— сказал он после мытья рук, садясь к столу, небрежно рассыпая пепел на историю болезни и сдувая его.— Нет, она не жаловалась на боли. Она говорила о приличном самочувствии, хотя анализы не совсем хороши. Но мы не можем сразу...

— Почему вы не можете? — крикнул Никита.— А что вы можете? Я знаю ее лучше, чем вы!

Через два дня мать положили в больницу. Странно было: она, вероятно, знала, что уже не вернется, хотя в тот день не было болей, с утра приняла ванну, была аккуратно причесана, лучше обычного выглядела, сама позвонила в институт, спокойно, ласково объяснила кому-то, что ее кладут в клинику и с этим ничего не поделаешь, закончила разговор так: «Прощайте, милая, не знаю, когда мы еще увидимся!» Затем сели к завтраку, мать выпила стакан чаю; на миг поймав невыпускающий беспокойный взгляд Никиты, тихонько и нежно погладила, потеребила его руку, сказала, что пришло время собираться, и ушла к себе.

Когда же через полтора часа Никита на такси привез ее в больницу и, распахнув дверцу, держа сверток с взятыми матерью из дому книгами, помог ей вылезти из машины, когда от подъезда нетерпеливо подошла в белом халате встречающая их сестра из приемного покоя, торопя мрачновато-строгими глазами, он понял, что в эту минуту они расстаются надолго, если не навсегда.

Зажмурясь, он обнял мать, окорябав щеку о ее жесткую нелепо-старомодную шляпку, которую она зачем-то надела, и мать так страстно, так судорожно заплакала, так прижалась к нему, впилась в него, что он с ужасом почувствовал ее слабые позвонки на детски худенькой спине под старым осенним пальтецом.

— Ты только ничего не жалей. Продай все... продай мою библиотеку. Там, в столике, мои часы... Как же ты будешь жить теперь без меня, Никита?

— Мама, ничего... Мама, ничего, ты не беспокойся,— повторял он, пряча лицо.— Мы еще с тобой... Еще все хорошо будет...

— Прости, я чувствовала это давно...

Потом дома, не находя себе места, он долго шагал по комнате матери. За окном по-мартовски моросило, отовсюду веяло пустотой, холодом, стылой, непроницаемой тишиной, и веяло страшным сиротством от прибранного дивана возле широкой, мертво блещущей кафелем голландки, от сумрачно-темных стеллажей, и порой чудилось: откуда-то пробирался в комнату ветер, как бумагой шуршал в углах, тайно полз под дверью, шелестел в поддувале голландки, и Никита явственно ощущал ногами этот сырой ползущий холод. У матери было мало своих вещей: почти не было одежды, обыкновенных жен-

ских безделушек; все деньги тратила она на книги; и только на туалетном столике перед зеркальцем давно забыто валялась французская губная помада, привезенная два года назад из Парижа и подаренная каким-то доктором наук, знавшим мать в тридцатые годы молодой и красивой. Но лишь два раза мать притронулась к ней — и в первый раз, когда этот же доктор пригласил ее на защиту диссертации своего ученика.

В ящике туалетного столика, откуда пахло сладковатым теплом, лежали ее часы. Они тикали одиноко и тоненько, со странной механической нежностью, шли, показывая половину второго, и, суеверно не притронувшись к ним, оттягивая воротник свитера, чтобы дышать было легче, Никита выдвинул ящики письменного стола, где всегда пачкой лежали мелко и неразборчиво исписанные матерью листки, конспекты лекций, письма. Ящики были пусты.

Тогда он открыл чугунную, тяжелую дверцу голландки. Оттуда черной пылью посыпался пепел, горько, траурно запахло сгоревшей бумагой, и он отыскал среди пепла несколько скрученных огнем страниц из разорванной записной книжки, но прочитать что-либо было невозможно.

Устало откинув назад голову с пучком снежно-белых волос, женщина, разбито передвигая ноги, шла медленно в жидкой тени под липами; и Никита шел в трех шагах от нее, все сильнее, отчаяннее испытывая мучительный порыв близости и узнавания, то ощущение, какое бывает у человека, когда он улавливает отблески недавнего сна. Он не мог объяснить себе, что происходит с ним.

Ему неудержимо хотелось взять из ее руки сумку, пойти с ней рядом, со сладкой мукой увидеть бы на ней ту нелепую старомодную шляпку, то старое осеннее пальтецо, которое мать зачем-то надела в больницу, ощутить то судорожное объятие возле такси и опять почувствовать под рукой слабые позвонки, которые как бы просили о помощи.

«Я сейчас подойду к ней, я сейчас подойду...»

И он увидел: женщина приблизилась к низенькой, свежепокрашенной зеленой скамейке на троллейбусной остановке; утомленно поставила сумку и вынула плато-

чек; с перерывами вздыхая, обтерла лоб, влажное лицо. И внезапно, как на голос, оглянулась, замирающе опустила руку с платочком, приоткрыла рот.

Стоя вблизи, он натолкнулся в ее светлых выцветших глазах на мгновенный испуг, и тотчас она с подозрительностью переставила сумку вплотную к спинам сидящих на скамье людей и заслонила боком.

— Вы чего это, гражданин? А? Чего надо?

У нее было плоское лицо с узеньким подбородком, с поджатыми, недобрыми губами.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Население земного шара катастрофически растет. И науке, знаете ли, стоит задуматься над этой новейшей проблемой. Через сто двадцать лет на земле уже будет, позвольте вам назвать цифру, пятьдесят миллиардов людей.

— Откуда у вас эта цифра? Фантастика какая-то...

— Арифметика. Элементарная арифметика. На каждом квадратном километре будет жить семья из четырех человек. Вот так-то.

— А? Да, да, да. Однако...

— Нет, уход от реальности — это не странность интеллектуала, это вместо черного хлеба в протянутую руку положена пустота.

— Простите, почему вы не пьете? Сердце? Ерунда. Как говорят врачи, коньяк расширяет...

— Вам положить селедочку в собственном, так сказать, соку? В этом доме чувствуется связь с «Арагви». Не подумал бы, что Георгий Лаврентьевич в некотором роде гурман, гастроном.

— О, это все его жена! Не брякните вслух: старик слишком серьезен для подобного юмора.

— Да, после этих испытаний цепь разрушений в физическом мире началась!..

— Ну что вы мне, господи боже мой, одно и то же талдычите, именно талдычите! Кто вам сказал? Двадцатый век — это еще и переоценка ценностей нравственного порядка! И век небывалой ответственности перед будущими поколениями.

— Атомная бомба, профессор?

— Не только, не только. Хотя и она...

— Ваша статья? В каком журнале? Нет, я не ответил: я не занимаюсь рыбной ловлей. Не занимаюсь. Мне некогда, коллега, удить рыбок. О чем вы, право? Какие там еще спиннинги? Понятия не имею! Убийство времени!

— Простите, как вы сказали,— наш институт должен помнить о реальной истории? Что значит «реальной»? И что значит «помнить»?

— Наука, лишенная правды,— вдова. Я это хотел вам напомнить.

— Но вдова тоже надеется выйти замуж. Правда, не всегда удается, но все-таки...

— От этого брака часто не бывает детей.

— Послушайте, вы опять? При чем тут спиннинги?

— Минуточку, вы, кажется, погрузили свой рукав в мой салат. Ха-ха! Пожалуйста. Вот салфетка, коллега.

— Натуралисты утверждали, что знают о человеке всё, мы должны говорить: когда-нибудь узнаем всё! Теория наследственности — второе великое открытие после открытия энергии, а мы эту теорию считали чепухой, лженаукой.

— ...И академик Волобуев ищет не науку в себе, а себя в науке.

— Да, да, на каждом квадратном километре будет жить семья из четырех человек. Пятьдесят миллиардов людей заселят землю!

— Знаете, слушая вас, я вспомнил пресловутого Мальтуса. Кого вы пугаете? Нас?

— А вы, профессор, занимаетесь рыбной ловлей? Или и вам спиннинги ни к чему? Рыбная ловля — невеста на выданье! Все остальное ни к чему, поверьте!

— Критерий истины — мораль, вы говорите? А что же критерий морали?

— Истина.

— Не понимаю. Сколько же Георгию Лаврентьевичу стукнуло? Шестьдесят пять? Не круглая дата. А, тридцать лет преподавательской и научной деятельности! Тогда я хочу сказать тост.

— Уже говорили. Много говорили. Подождите несколько.

Звуки смешанного разговора, смех с разных концов стола, все эти обрывки фраз, серьезных и несерьезных умозаключений, голоса гостей хаотично жужжали, колыхались в столовой. После первых же рюмок потянулись

дымки папирос, задвигались над столом покрасневшие лица, стали расстегиваться пуговицы, незаметно распускаться узлы галстуков, и теперь исчезла натянутость, заметная при съезде гостей, при первых пустопорожних вопросах о здоровье, о жаре, о детях, при необходимых замечаниях о том, что Ольга Сергеевна и «наш» выглядят великолепно, исчезли та обязательность и необязательность ничего не значащей вежливости, когда воспитанному человеку надо выказывать принятое в этих случаях внимание к окружающим.

Голоса гостей уже возбужденнее, уже громче звучали за столом, сначала разговор был общим, как были вначале общими и тосты, но скоро стол разделился, и гости, занятые своими разговорами, казалось, забыли про только что читанные из великолепных папок почтительно-уважительные и хвалебные адреса разных факультетов, профессуры, редакций академических журналов, про телеграммы, горой наваленные на тумбочке за спиной Георгия Лаврентьевича.

Профессор Греков сидел во главе стола между Ольгой Сергеевной, заметной своей красивой белой шеей, своими оголенными полными руками, и сдержанно-серьезным молодым белокурым человеком, одетым в безупречно сшитый костюм; молодой человек этот один из первых, глубокомысленно поиграв в пальцах бокалом, немногословно произнес тост «за нестареющий талант виновника торжества» и был внимательно выслушан всеми.

— Кто это? — тихо спросил Никита.— Физик какой-нибудь?

— Чуть выше. Современный малый и ловкий зять,— ответил Валерий и возвел глаза к потолку.— Уже членкор. Ты посмотри, Никитушка, по-моему, наш старик ожидает орден. Умилен, как все юбиляры.

Никита бегло покосился на лица гостей, раздались возгласы, аплодисменты: Георгий Лаврентьевич, растроганный, кланяясь большой седой головой, весь торжественно черно-белый — в вечернем костюме и белой рубашке с бабочкой под короткой шеей,— обнял молодого человека, и они расцеловались.

— Спасибо, спасибо... Мне дорого от талантливой молодежи. Спасибо от всей души.

Он, взволнованно покашливая, усадил молодого человека возле себя, выказывая незамедлительное желание поговорить с ним, и тут же Никита заметил: на лицах

некоторых гостей, обращенных к этому молодому человеку, появилось вроде бы ироническое выражение, какое было во время тоста на лице Валерия, а незнакомый, тучный, профессорского вида сосед его, сопевший над тарелкой, крупполицый, бритоголовый, с салфеткой на животе, заговорил игривым баском человека, любящего пошутить:

— Если переиначить высказывание Менандра, то как это звучит, а? Тот, кого любят боги, делает сокрушительные успехи в молодости. Учтите, мой дорогой студент, и делайте зарубки на носу. Юные академики всегда претендуют на окончательное и безапелляционное знание истины. Смотрите и учитесь, как этот молодой человек носит в себе это самосознание истины. А? М-м? Он даже не пьет. Питие разрушает четкую гармонию мироздания.— И, не дожидаясь ответа, выпил, пыхтя наклонился над тарелкой, угрожающе багровея гладко выбритой головой.

Шли разговоры.

— Нет, я за науку, которая безумна, но не настолько, чтоб быть правильной.

— Какое отношение, позвольте, имеет история к физике?

— Вы говорите: наука история — правдивое исследование жизни человеческого общества? История — помощь и предупреждение потомкам? Но где у нас в исторической науке Нильс Бор? Этот Рембрандт физики. Где, ответьте мне!

— Позвольте, позвольте, коллега! Во-первых, не кивайте уж так старательно на Запад, у нас в отечественной науке достаточно и своих имен, и Рембрандтов. Во-вторых, конкретнее...

— Ах, оставьте, профессор, эти устаревшие упреки в низкопоклонстве! Ну хорошо. Где наш Андрей Рублев? Соловьев? Ключевский хотя бы. Но дело не в этом даже. Дух современной физики — бесконечное обновление. Возьмите новейшую теорию элементарных частиц, свойства вакуума. Разум физиков ищет и постигает такую глубину материи, которую, казалось бы, не в силах постичь человеческий разум? А что постигаем мы, историки? Подчас мы не только не ищем истину, но опрощаем, подтасовываем исторические факты под готовую схему, которую, извините уж меня, профессор, можно назвать прокрустовым ложем. А потом удивляемся: почему это

часть нашей молодежи так равнодушна к нашей науке? Порок некоторых наших ученых — пьедестальное мышление в истории!

— Вы уж только не апеллируйте к молодежи, коллега, убедительно прошу вас! Я тоже некоторым образом имею к ней отношение. Да, в работе нашего института, в наших исторических работах, разумеется, есть недостатки, но...

— Начинается! От этого ортодокса у меня диспепсия,— сказал своим простуженным голосом Валерий и, толкнув Никиту, скучающе поправил бинт на горле.— «Есть недостатки, но...» Скажите, Василий Иванович, а нельзя без «но»? — спросил он громко с притворной гримасой наивного удивления.— Вы, конечно, извините бедного студента...

Эта нестеснительная самоуверенность Валерия неприятно покоробила Никиту, но в это время сидевший напротив него пожилой, узкоплечий, с глубоко посаженными глазами профессор, холодно возражавший своему соседу, замолчал, и сосед его, без пиджака, лысеющий ото лба, румяный доцент, задиристый, вызывающе взъерошенный, призывно улыбнулся Валерию, узкоплечий профессор спросил тоном сдержанного раздражения:

— Как вас прикажете понимать, Валерий? Может быть, вразумительно объясните?..

— По-моему, все ясно, если вы говорите не о теннисе,— сказал Валерий, чиркая спичкой и глядя на сигарету яркими, насмешливыми глазами.— И если вы, профессор, говорили об этом «но», которое, простите, осточертело! Абсолютно! До посинения.

Собрав губы в вежливую улыбку, профессор сжал и разжал на столе худые гибкие пальцы, тихонько постучал ими о стол.

— А можно ли не так грубо, без этого студенческого арго?

— Можно,— с веселой ядовитостью согласился Валерий.— Разрешите, я буду вас цитировать. Я ведь ваш студент... Вы не обидитесь?

— Нет, почему же, пожалуйста...

— Простите, профессор, почему вы так неизменно любите это «но»? «Но» и «еще»? Если вы говорите о недостатках или там ошибках и прочее, то за этим обязательно «но». «У нас есть недостатки, но...» Если уж об успехах, то всегда прибавляете «еще». «Еще больший

подъем». И тэдэ и тэпэ. Не замечали? Да сколько же можно, батюшки?

— Далее, далее. Я вас слушаю...— сказал профессор, неподвижно глядя тяжелыми глазами.

— Подождите,— подняв руку, продолжал Валерий.— Для чего, простите, стоять на цыпочках, восклицать и хвастаться? — Он засмеялся.— Почему нельзя говорить нормальным голосом, без «но» и «еще»? Без эпитетов? Может быть, вы думаете, что студенты не оценят каких-то успехов, не поймут каких-то ошибок? Почему все время восклицательные знаки и оговорки?

За столом между тем постепенно угасал разобщенный на группки разговор, и Ольга Сергеевна, сидевшая в дальнем конце стола напротив молодого белокурого человека, всем одинаково ласково улыбаясь, уже беспокойно поглядывала в сторону Валерия. Молодой человек, никого по-прежнему не замечая, лишь глубокомысленно взглядывал на свою руку, на дымящуюся папиросу, плавно поднося ее к пепельнице. Греков с серьезным лицом слушал его — щеки розовы от выпитого вина,— в утвердительном наклоне его белой головы, в терпеливо опущенных веках выражалось почтительное уважение к собеседнику и вместе некая извинительность за особое внимание к нему перед остальными.

— Валерий! — неожиданно подняв голубые глаза, мягко произнес Греков и дружеским нажатием на локоть молодого человека попросил у него извинения.— Кажется, в передней, голубчик, звонок. Мои гости все здесь. Встречай уж, дружок! К тебе, к тебе!..

— Простите, Василий Иванович, я не договорил... Надеюсь, вы не очень обиделись? — Валерий с иронически-галантным поклоном отодвинул стул и вышел из комнаты...

— Так...— произнес Василий Иванович.— Весьма интересно.

— Вы очень удивлены? —спросил румяный доцент.— Вы это впервые слышите?

После ухода Валерия наступило молчание, гости рассеянно играли вилками, значительно переглядывались, Василий Иванович как бы в нетерпении все сжимал и разжимал на столе гибкие пальцы, затем брезгливо оттолкнул от себя недопитую рюмку, произнес вполголоса:

— Вот вам наши студенты! Примитивнейшее мышление питекантропа, всякое отсутствие логики...

— Вы в этом... вполне уверены? — не без веселого ехидства выкатил рыжие глаза бритоголовый профессор, огромной волосатой рукой взял бутылку коньяку и, посопев, живо толкнул локтем молчаливо сидевшего Никиту.— Ну а вы как полагаете на этот счет, товарищ студент? Как вам точка зрения однокашника?

— Я?..— отрывисто спросил Никита, краснея от неожиданности вопроса.— Да. А что?

Василий Иванович вскинул подбородок, забарабанил пальцами по краю стола, недоверчиво поинтересовался:

— А вы, позвольте узнать, из какого института? Что-то я вас в наших коридорах не видывал.

— Из Ленинграда.

— Чудесно. Значит, и там процветает подобное? Совсем обрадовали, пре-екрасно! — Василий Иванович откинулся на стуле.— Значит, и там?

— Какое же «подобное»? — сказал Никита, испытывая вдруг раздражение и против своей скованности, и против профессора, его тяжелого и самолюбивого взгляда.— Почему вы говорите «подобное»?..

— Вот, вот,— засопел бритоголовый, локтем подталкивая Никиту.— Жмите, жмите. Не стесняйтесь!

В это время возникло какое-то движение за дверью, оттуда донесся простуженный голос Валерия: «Проходите, проходите» — и в сопровождении его длинной фигуры — без пиджака, горло повязано бинтом, галстук распущен — в столовую вошли двое запоздалых гостей, остановились возле порога с тем беспокойно-привыкающим выражением, какое бывает, когда входят из потемок на яркий свет.

— Алешенька! Дина... Ка-акие же вы молодцы, голубчики! — раздался громкий, почти режущий радостью возглас Грекова.— Нет, нет! Нас не забывает молодежь, не забывает!.. Спасибо, родные, спасибо! Какие же вы молодцы! — Он вскочил чересчур возбужденно, суетливо, и при каждом его возгласе растерянность, даже испуг проступали на белом полном лице Ольги Сергеевны.

— Прошу, проходите, дорогие, занимайте же места! Вот, знакомьтесь!.. это мой старший сын Алексей. Его милая, как видите, сверх меры прелестная жена Дина! — восторженно говорил Греков, простирая руки, желая по-стариковски вольно шутить, но в этой его суетливости, в голосе, в жестах его чувствовалось нечто неестественное.— Садитесь же, садитесь!

«Это тот Алексей, в комнате которого я живу? — вспомнил Никита.— Тот, о котором говорил Валерий. Он, кажется, тоже мой двоюродный брат».

— Садитесь, родные, обрадовали, несказанно обрадовали нас!..

Темноволосый парень, потный, в неловко сидевшем на нем спортивном костюме, туго распираемом квадратными плечами, с грубовато загорелым до черноты лицом, коротко-вежливо пожал протянутую руку Ольги Сергеевны, мельком глянул на гостей, сдержанно поздоровался со всеми общим поклоном.

Дина, жена его, тоненькая, длинноногая, взволнованно сияя большими кошачьими глазами на удлиненном лице, быстро поцеловала Ольгу Сергеевну в щеку, затем, махнув распущенными по плечам волосами, по-родственному чмокнула в висок Грекова, погладившего ее по плечу, прощебетала звучным голоском:

— Поздравляю! — И с детской улыбкой закивала всем: — Добрый вечер, добрый вечер! Валерий, я здесь сяду. Можно, я с вами, Ольга Сергеевна? Я хочу с вами,— сказала она полувопросительно, полусмущенно, и смущение это сразу прощало ее кокетливую требовательность.

— Конечно, золотце, конечно! — радушно отозвалась Ольга Сергеевна.— Я так давно не виделась с тобой.

— С дамами дело решилось,— облегченно вздохнул Валерий.— Прошу прощения, Диночка, не успел. Алеша, ты не откажешься, думаю, рядом со мной? Без голосования и дискуссий?

И подмигнул намекающе, подтащил из угла комнаты свободный стул, усадил Алексея рядом, спросил, что он будет пить, не желает ли отведать этого вот произведения искусства — рыбного паштета, привезенного из «Кулинарии», и Никита расслышал негромкий ответ Алексея:

— Во-первых, не ухаживай за мной. Во-вторых, поставь-ка лучше сюда боржом. И все.

— Познакомьтесь же, наконец, братцы,— сказал Валерий.— Это должно было свершиться. Алексей. Никита.

Алексей сидел слева от Никиты и после этих слов глянул внимательно, темно-карие глаза слегка прищурились, и он протянул руку, а Никита, ощутив силу его ладони и словно бы жесткость мозолей при пожатии, подумал: «Отчего у него мозоли? Он боксер? И у него уже седые виски...»

— Я тебе сочувствую, брат,— сказал, нахмурив брови, Алексей и пододвинул к себе пепельницу.— Знаю, почему ты приехал. В общем, прими мое соболезнование, хотя это вряд ли помогает.

— Спасибо.

— Что такое? Почему никто не пьет и не ест? — Ольга Сергеевна обвела улыбкой лица гостей.— Мужчины, я обижена! Что это такое?

— Одну минуту, Оля,— сказал Греков и встал, чуть порозовев, постучал вилкой о край рюмки, все такой же, как и в начале вечера, празднично черно-белый — седая голова, белая сорочка, черный костюм,— заговорил с оживленной проникновенностью: — Друзья! Достаточно сегодня мы пили и, так сказать, в ажиотаже горячо произносили тосты за здравие юбиляра. Я предлагаю чрезвычайно короткий, но неоспоримый тост за молодость. Да, уважаемые мои коллеги, за нашу молодежь!

— Ура и да здравствует!..— крикнул Валерий.— Но только за передовую и сознательную молодежь. И конечно, за футбол, отец...

— Но почему, собственно, за футбол? — сухо улыбнулся Василий Иванович, тот самый профессор, что давеча спорил с Валерием.— При чем тут футбол? Не понимаю корректуру...

— А это, профессор, для равновесия,— ответил Валерий, наливая себе коньяк.— Для равновесия тех же «но» и «еще».

— Что ж... Пусть и за футбол, если уж так хочется некоторым представителям молодежи! — полушутливо согласился Греков и чокнулся с Диной, кокетливо тряхнувшей спадающими на плечи волосами, с молодым белокурым человеком и символически повел бокал в сторону Алексея, но тот, разминая над пепельницей дешевую сигарету, вроде не услышал Грекова, думал о чем-то, искоса глядя на Никиту, и Никита чувствовал взгляд его.

— Уже два дня здесь? — спросил Алексей.— Жаль, поздно узнал. А я не таким тебя представлял, брат.

«Каким он мог меня представлять? — подумал Никита.— Он знал что-нибудь обо мне раньше? Валерий ничего не знал...»

Греков отпил из бокала и сел, по-прежнему оживленный, промокнул рот салфеткой и тут на мгновение опять поднял взгляд в направлении Алексея — и в глазах мелькнуло какое-то мучительное, не соответствующее его

оживлению беспокойство, и это же встревоженное выражение то и дело появлялось на лице Ольги Сергеевны, которая, тихо переговариваясь с Диной, поминутно взглядывала на Алексея и Никиту, как бы пытаясь услышать короткий их разговор.

— Да, Георгий Лаврентьевич, совершенно верно. Мы говорим: молодежь, молодежь, пишем о ней каждодневно, учим, вкладываем в нее светлое и доброе,— с едкой горечью заговорил после тоста Василий Иванович, подвижные пальцы его сжимались и разжимались на столе.— А молодежь... Нет, не вся, Валерий.— Он интонацией выделил эту фразу.— Да, не вся! А незначительная часть молодежи, к сожалению...

— Подвержена...— невинно подсказал Валерий,— чему, Василий Иванович?

— Да, вы угадали,— подтвердил, повысив голос, профессор.— Да, именно подвержена этому отвратительному цинизму, этой заемной иронии! Откуда это? И я уже не могу понять своего студента, способного к тому же студента. Мы что же, постарели или устарели? — произнес он тоном человека, отчаявшегося доказать очевидную правоту, и повторил громче: — Какими же методами убеждать? Какими словами? Может быть, что-нибудь объяснит наш уважаемый член-корреспондент?

— На экзаменах он любит спрашивать даты,—сказал Валерий шепотом.— В каком году, какого числа...

— А в датах ты не силен,— усмехнулся Алексей.

Сдерживая раздражение, профессор говорил отчетливо, округляя слова, все за столом услышали его вопрос, и молодой белокурый человек, вдруг с неудовольствием, рассчитанно-медленно обернулся к профессору. Но тотчас Греков, ерзнув на стуле, задержал обеспокоенные глаза на разгоряченном, опять готовом к спору лице Валерия, с принужденной улыбкой спросил:

— Что там случилось с моим сыном? Кого он там обидел? — И спросил это, соразмеряя в голосе ту меру, которая никого не могла обидеть.— Вы ему, вероятно, Василий Иванович, либерально ставите четверки за красноречие, а он мало готовится к семинарам, ленив, все читает, знаете ли, на диване эти... как их... фантастические романы.

— Я не понял, профессор, смысла вашего вопроса,— устало-надменно сказал молодой белокурый человек.— Извините, не понял.

— Разрешите уж мне ответить, так проще! — заговорил снова Валерий.— Даете мне слово для справки, Василий Иванович?

— Нет, голубчик,— мягко, но настойчиво перебил Греков.— Ты сегодня слишком много говорил, дорогой. Разреши поговорить и другим! Побереги больное горло!

— То, что вы хотите объяснить,— утомленно произнес Василий Иванович,— я заранее угадываю... Вы лучше о футболе.

— Я как раз о футболе,— насмешливо сказал Валерий, навалясь грудью на стол.— Там все ясно: влепил Понедельник гол или не влепил? — Он с вызовом засмеялся.— Ясно, как тыква.

— Валерий!.. Что за тон! — испуганно вскрикнула Ольга Сергеевна и всплеснула руками.— Ты думаешь, прежде чем говоришь? Какой еще Понедельник?

— Разумеется,— закивал Василий Иванович.— Да, разумеется...— произнес он холодно; синеватые его веки были опущены.— В футболе вам все ясно, а что же вам не ясно? Конкретно.

— Многое, профессор. Перечислять — не хватит пальцев. Зачем уточнять?

— Точность идет от веры.— И веки Василия Ивановича поднялись, тяжело блеснули под ними глаза.— Ваша самоуверенность еще не перешла, как я вижу, в твердую веру, Валерий! — упорно, так, чтобы слышали все, закончил он.— Да, именно самоуверенность — ваша вера. Не больше.

— Почему так безапелляционно, Василий Иванович? — рассерженно вмешался тучный, бритоголовый профессор.— Через край хватили!

— Боже мой! Нельзя ли прекратить этот ужасный разговор? — взмолилась Ольга Сергеевна.— Василий Иванович, дорогой... Нашли с кем спорить, связался бог с младенцем!

— Олечка,— проговорил сквозь досадливое перханье Греков, прикоснувшись к ее локтю.— Во-первых, не бог, а черт, во-вторых, младенец наш... не такой уж младенец.— И заговорщически шепнул что-то молодому человеку, который недовольно скашивал светлые брови на Василия Ивановича, как бы очень удивленный этой странной настойчивостью профессора.

Упрямый голос Василия Ивановича звучал в тишине:

— Я хотел бы услышать ясный ответ. Во что вы верите, Валерий?

— Слушайте, Василий Иванович, что вы мне учиняете допрос? — горячо заговорил Валерий.— Меня тут назвали младенцем. Вы, может, еще скажете, что вы отец, а я ваше дитя? И мы в извечном конфликте? Чушь и ерунда! Хотите знать, во что я верю? Я верю в молодость и верю в старость. Но в ту старость, которая остается молодостью. Верю в правду. В добро. В любовь! Ненавижу бюрократов, догматиков, карьеристов, туполобых дураков, которые отсель досель!.. Еще добавить?

— Некор-ректно горячитесь,— металлическим тоном выговорил Василий Иванович, опустив веки.— Это уже...

— Василий Иванович, корректно я отказываюсь спорить!

— Ну что ж, и прекрасно! Прекрасно. Я тоже ненавижу эту категорию людей, названную вами. А дальше?..

«Зачем я здесь сижу и слушаю все это? — подумал Никита с внезапным и ясным осознанием своей ненужности за этим столом, глядя на колышущиеся в папиросном дыму лица гостей.— Мама умерла, ее нет, а я здесь сижу, и какой-то юбилей, и какой-то дотошный профессор, и мой брат Валерий...»

— Диночка! — неожиданно позвал Валерий и встал с нестеснительной решимостью, взъерошил жесткий ежик волос.— Давно мы с тобой не танцевали. Может, магнитофон крутанем, а? Составим в соседней комнате свою фракцию, возьмем Никиту...

Валерий, подмигнув Никите, подошел к Дине. А она, не вставая, неуверенно перевела блестящие глаза на Грекова — тот почему-то, прикрыв рот ладонью, трясся от беззвучного смеха,— затем быстро посмотрела на замкнуто-хмурого Алексея и так отрицательно покачала головой, что волосы замотались по щекам, сказала своим детским голосом:

— Нет, нет!

— Жаль,— проговорил Валерий и подергал галстук, выжидательно глядя на Василия Ивановича.— Напрасно, Диночка!

Василий Иванович, плоско сомкнув губы, сидел, выпрямившись над столом, высокий лоб блестел, как влажная кость, и, невозмутимо-корректный, пододвинул тарелочку с салатом, покопался в нем вилкой. Но есть не

стал, произнес с едким сожалением все понявшего человека:

— Нет, порой надобно во все колокола бить! Иначе поздно будет.— Он отложил вилку и тяжело блеснул глазами на молодого белокурого человека, как бы особенно предупреждая его.— Пора бы уже прекратить разрушение идеалов. Да, пора!

— Слушайте, коллега! Милый Василий Иванович! — с яростным сопением завозился на своем стуле тучный бритоголовый профессор в расстегнутом на круглом животе пиджаке и, обращая багровое свое лицо к Василию Ивановичу, воздел крупные руки, потряс ими в комическом ужасе.— Умоляю, коллега, не обобщайте, не рисуйте погребальных картин, не надо, пощадите! Не набирайте номер пожарной команды!

— К счастью, как я давно понял, я — оптимист.

— К счастью? К счастью, вы сказали? Как вы сказали? Хо-хо! М-да! К счастью?

— Это, к сожалению, мое счастье, профессор.

— Сомневаюсь, весьма сомневаюсь, Василий Иванович!

— Друзья, друзья! Минуточку внимания... Разрешите прорваться в ваш спор на правах хозяина дома!..— послышался сейчас же умиротворяющий мягкий тенор Грекова и звон вилки о бокал.— Прошу одну минуточку терпения!

Беззвучно, как давеча, смеясь, с веселым видом показывая, что не желает никого убеждать, спорить, он поднялся, демонстративно налил себе в бокал шампанского и заговорил шутливо:

— Смею надеяться, что мое показательное действо было всеми недвусмысленно понято. Более того, как председатель ученого совета, должен напомнить, что мы, уважаемые коллеги, забываем о прямой и немаловажной задаче на данный вечер. Мы забыли о наиважнейшей цели нашего внеочередного вечернего заседания.— И Греков красноречивым жестом указал на стол и этим жестом дал до конца понять свою шутку.— Но, уважаемый Василий Иванович...— Греков добродушно собрал тонкие лучики морщин в уголках лукаво засветившихся глаз, после паузы продолжал: — Но... возьмите, как говорится, память в руки и, чуть-чуть забыв про свои седины многоопытных ученых мужей, снисходительно вспомните, как очень давно... когда-то в комсомольских ячейках мно-

гих из нас тоже ругали за легкомысленность, за всякие там галстуки, за эти... как их... фокстроты, но никто из нас, простите меня, горячо любимый мною Василий Иванович, не свернул с истинного пути! Ведь молодости свойственна, так сказать, некоторая ересь. Ересь в пределах веры. Ересь во имя веры. Да, правда и доброта! Да, идеал — культ правды! Я за этот культ. Я слушал сейчас своего сына Валерия и, поверите ли, смеялся, вспоминая свою молодость...

— Твой дядя добряк и либерал, он за мирное сосуществование, брат. Посмотри, как ловко он убедил обе стороны.

Никита не сразу понял, что это сказал Алексей, увидел: Валерий, полуиронически улыбаясь и говоря: «Прекращаю холодную войну»,— словно только что не спорил до озлобления с профессором,— наливал коньяк в его рюмку, а Василий Иванович, не возражая, не протестуя, в ответ снисходительно кивал ему.

— Здесь никто никого не вызовет на дуэль,— безразлично договорил Алексей, грубая рука его с сигаретой лежала на краю стола, воротник сиреневой сорочки врезался в твердую, загорелую шею, какая бывает у боксеров, и эта шея, и темная рука на белой скатерти, и эта его манера хмуриться вызывали у Никиты настороженность: он вдруг показался ему нелюдимым, жестким, чужим здесь, за этим столом.

— Вы, кажется, что-то сказали, молодой человек? — различил Никита сниженный голос Василия Ивановича.— Или мне послышалось?

— Я? — равнодушно спросил Алексей.— Вы ко мне обращаетесь?

Рядом бритоголовый профессор шумно сопел, дышал всем своим тучным телом, наклонив багровое лицо к столу. Валерий поставил бутылку, и одновременно с ним Василий Иванович бросил на Алексея острый прислушивающийся взор, и сосед его, молодой, румяный доцент, без пиджака, с деланным вниманием слушавший Грекова, опустил глаза, нервно провел носовым платком по залоснившемуся лбу. А Греков все стоял за столом, держа бокал, и говорил проникновенно-мягким, даже растроганным тоном, позволенным юбиляру, о своих легкомысленных ошибках, о своих поисках и утратах в молодости. И по тому, как он с высоты прожитой жизни грустно смеялся над этими ошибками, похоже было, что он хотел

снисходительностью душевной к тому невозвратимо минувшему разлить некое тихое умиление давно прошедшей юностью, одинаково памятной многим его седым друзьям, ровную и умиротворяющую доброту вокруг себя, которая всегда мудра в силу своей широты и терпелива к чужим ошибкам, ибо, не прощая, мы разрушаем мост, по которому каждый когда-то проходил или когда-нибудь должен пройти.

— Ну и силен отец,— шепотом сказал Валерий, восхищенно подмигивая Алексею.— Обожает асфальтовые дорожки. Мастер. И златоуст.

— Пожалуй,— ответил Алексей.— Помнишь проповедь во Владимирской церкви? Вот тот проповедник был златоуст.

— Да, старушки рыдали и сморкались...

— Как вы сказали? — спросил Василий Иванович, корректно наставя ухо в сторону Алексея.— Какая проповедь? Где?

Алексей, прищурясь, взглянул на профессора, как в пустоту, ответил медлительно:

— Извините, профессор, я хочу послушать юбиляра.

Но Греков уже кончил говорить, промокнул салфеткой влажные виски, подбородок и стал чокаться, после чего, смеясь, трогательно расцеловался с кем-то нелепо лохматым, умиленным, пьяно подбежавшим к нему с распростертыми объятиями, и Никита увидел странно сосредоточенное, будто от боли, лицо Алексея. Он смотрел не отрываясь на Дину, потом выпрямился, размеренно и внятно сказал:

— Дина, нам пора!..

Она смеялась на том конце стола, отбрасывая волосы со щек, однако услышала его, перестала смеяться и, озираясь на Ольгу Сергеевну, на Грекова, по-детски растерянно вскочила, схватив со стула сумочку, и начала прощаться с замахавшей на нее руками Ольгой Сергеевной, подбежала к Грекову, притронулась губами к его виску, извинительно прозвучал ее тонкий голосок:

— Мы будем скучать. Очень! — Она обернулась к Алексею, крикнула притворно-весело: — Я иду, Алеша!..

— Прошу тебя,— резковато сказал Алексей и, покачивая широкими плечами, пошел к двери.

— Что? Алеша! Это прямо-таки невежливо! Так рано! Так скоропалительно? — протестующе закричал Греков.— Нет, друзья, помилуйте!.. То лестное, что я го-

ворил о молодежи,— явная ошибка! Немедленно беру свои слова обратно... Я перехвалил молодое поколение! Куда вы? Неужели так рано вставать?

Возле двери Алексей остановился, медленно поглядел на Грекова, сказал:

— Не надо юмора, отец. Я плохо его понимаю. Но в данном случае ты не ошибся. Да, завтра мне рано вставать. До свидания. Пошли, Дина!

— А, черт подери! Алешка, подожди! — воскликнул с досадой Валерий и, загремев отодвинутым стулом, вышел следом за Алексеем.

— Извините, одну секунду... я только провожу молодежь! — сказала Ольга Сергеевна, слабо улыбаясь дрожащими уголками рта.

Гости молчали. В комнате почувствовалась вязкая пустота. Было неловко и тихо. Потом послышался неестественно бодрый голос Грекова:

— Друзья, что смолкнул веселия глас?.. Как там у Пушкина? Все-таки не будем еще считать себя дряхлыми стариками, хотя нас и покинула молодежь. Мы еще не всё потеряли. Ибо среди нас мой юный племянник, будущность геологии, и самый молодой член-корреспондент, надежда педагогики! Прошу наполнить рюмки!..

Никита подождал с минуту, затем незаметно вышел из столовой: у него разболелась голова.

В конце коридора хлопнула дверь, в передней погас свет, оттуда послышались шаги — Валерий с матерью возвращались в столовую, и Никита, подходя к своей комнате, услышал голос Ольги Сергеевны, видимо, конец фразы:

— ...измучилась с ним, бедная девочка. Он просто нестерпим.

— Мама, не надо Шекспира, ей-богу, надоело! — отозвался раздраженно Валерий.— Ты бы меньше говорила о всяких ужасах! Ты всегда преувеличиваешь и считаешь Алексея исчадием ада!

— Валя, не груби, я люблю Дину, как дочь. Я регулярно помогаю ей деньгами. И сегодня, если хочешь.

— За кого ты их считаешь, за нищих? Зачем ты ей суешь деньги? Это оскорбительно!

Никита намеренно пошевелился возле двери, зажег спичку, прикуривая.

— Вы здесь? — удивилась Ольга Сергеевна.— Но почему вы тоже ушли? И почему у вас такой усталый вид?

— Болит голова. Хотел пройтись по улице, подышать свежим воздухом.

— Дать вам тройчатку? Пойдемте, я посмотрю в аптечке. Мне не нравится ваш вид. Впрочем, можно понять...

— Спасибо, не надо тройчатку.

— Ну хорошо, хорошо... Поступайте как вам удобнее. Валерий! — Она просительно улыбнулась.— Неловко, голубчик. Никита все-таки гость, а ты, так или иначе, хозяин. Тебя ждут. Иди в столовую.

— С ума сойти можно,— поморщился Валерий и, взяв Никиту за пуговицу, покрутил ее.— Как тебе все это наше?

— Я спать. А завтра — в Ленинград. Как тут с билетами? В тот же день можно купить?

— Чушь! Никуда ты завтра не уедешь! Потом — тебя приглашает к себе Алексей. И как раз завтра. Возражения есть?

— Есть. До сих пор я распоряжался собой сам. Так будет и дальше.

— Но ты в гостях, братишка, существуют законы гостеприимства. Тем более что ты — таинственный родственник! Парень из тайги.

— Вот тут истина. Дремучий провинциал.

— А! Все геологи в душе провинциалы. Ладно, поговорим завтра. Детских тебе снов. А я пошел в поте лица размахивать картонной рапирой. За что уважаемый Василий Иванович наверняка закатит в семестре тройку.

— Тогда зачем размахивать? Лучше пятерка в кармане. А по-моему, с профессором у тебя все в порядке. Пятерка обеспечена.

— Иронизируешь? А впрочем, какая разница — пятерка, двойка? Условности, Никитушка. Главное, делай полный вдох и полный выдох. Делай физзарядку под радио.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Да, мне нечего здесь делать,— думал Никита, спускаясь в лифте, мучаясь от боли в виске, которая не отпускала после вчерашнего вечера.— Куда это еще меня приглашает Валерий? К Алексею? Но зачем к нему?»

Он вышел из парадного. Перед подъездом, насвистывая, слегка раскачиваясь на длинных ногах, обтянутых брюками, ходил под тополями Валерий, задумчиво играл ключом от машины — наматывал и разматывал цепочку вокруг пальца; бинта вокруг горла уже не было, расстегнутый воротник тенниски свободно открывал шею; влажные волосы тщательно причесаны и блестели. Увидев Никиту, он подкинул ключ на ладони, с улыбкой сказал:

— Если заявить, что у тебя счастливая физиономия,— это бессовестная лакировка действительности! Голова болит?

— Вот что. Мне нужно на вокзал. В справочное бюро. Узнать насчет билета,— хмуро проговорил Никита.— Как это сделать?

— Не волнуйся, все беру на себя. И бюро и вокзал. Только не сегодня. Сегодня я тебе покажу чудо — необыкновенный уголок Москвы — Замоскворечье. И заедем к Алексею. В Ленинграде, надеюсь, у тебя братьев нет?

— Это что, твоя машина?

— Хочешь сказать, что избалованный профессорский сынок имеет свою машину? Пошло и банально, как в фельетоне о перевоспитании тунеядца. Нет, эта взята напрокат, что может сделать каждый смертный. Я за государственную собственность. Я член ВЛКСМ и против обогащения. Теория прибавочной стоимости изучена по первоисточникам, а не по конспектам. Садись, братень.

— Зачем мы должны ехать к Алексею?

— Он хочет с тобой познакомиться.

— Мы ведь уже...

— Что значит «уже»? Никаких «уже». Алексей — это Алексей. Садись и не задавай вопросов. Поехали.

Машина стояла в тени тротуара — это была довольно старая, заезженная, но еще крепкая «Победа» грязно-стального цвета, капот и крылья покрыты налетом пыли, левое крыло заметно помято, наспех и грубо закрашено. Валерий открыл дверцу, влез в машину, распахнул дверцу Никите, не без удовольствия откинулся на горячем сиденье, сказал:

— Два года назад освоил эту механику под идейным руководством Алексея и зауважал себя. Это все-таки неплохо придумано, Никитушка: руль, колеса, педаль газа — все тебя слушается. Знакомо это тебе?

— Нет.

— Тогда мне жаль тебя. Хотя жалость, как нас учили в школе, унижает человека. Откуда цитата?

— Слушай, почему ты не записываешь свои остроты? Книжку уже выпустил бы.

— А ты знаешь, твоя ершистость, Никитушка, очень мне нравится. Но, по-моему, брат, ты за что-то дуешься на меня? За что?

— Понимай как хочешь. А все-таки тебе нужно было бы сниматься в каком-нибудь фильме. У тебя явные способности.

— Ну уж прости — другим быть не могу. Так запрограммирован.

Они выехали из арбатского переулка, понеслись вдоль бульваров по улице, туго бьющей в открытые окна мягким жаром асфальта, мимо солнечной и густой зелени над железной оградой, мимо летней пестроты тротуаров, зеркал парикмахерских, мимо кривых изгибов тупиков, в этот раскаленный июльский час немноголюдных, с прохладными тенями каменных арок. Мотор, набирая скорость, ровно гудел, сквозняки, охлаждая лицо, шевелили волосы Никиты щекотными прикосновениями, и он думал:

«Зачем я все-таки еду? Я не хочу, но еду...»

От узкого, грохочущего, визжащего трамваями перекрестка Пятницкой повернули в какой-то кривой переулок, затем выехали на просторную, бело залитую солнцем мостовую — и отдалился грохот трамваев, пошли справа и слева разно покрашенные деревянные заборы под тополями, двухэтажные дома с чердаками, низкими окнами; замелькали сквозь давно снятые ворота заросшие травой зеленые дворики, дощатые сарайчики в глубине их, обитые ржавым железом голубятни с сетчатыми нагулами — всюду зелень, солнце, тени, дремотное спокойствие летнего дня.

— А что...— сказал Валерий.— В этом что-то было! Тишина, покой, пуховая постель и жаркие объятия покорной жены на удобной кровати. Завидую замоскворецким купцам. Жили себе, почесываясь. И понятия не имели, что такое бикини или радиация. Ошеломлял лишь размер самовара у соседа. А, старикашка?

— Трепач ты высшей марки,— проговорил Никита, потирая все еще болевший висок.— Я сразу это заметил.

Можешь трепаться тридцать часов в сутки. Неужели не надоедает? Потом, все эти «старикашки» и всякая такая дребедень устарели давно.

— Не следишь за современной литературой, Никитушка. А литература — что? — Валерий засмеялся.— Литература отображает и изображает жизнь.

— Ну, можно все-таки помолчать? Честное слово, как включенный магнитофон. Неужели не устаешь?

— Будущая профессия, милый. Я же историк. Бесконечная тренировка языка. Привык. Язык мой — хлеб мой.

— Именно хлеб! Вчера ты здорово резал правдуматку профессору, заслушаешься! Хорошо, что не полез к нему целоваться. Все к тому шло. Но, скажи, для чего ты начал тот спор?

— Дитя ты, дитя! Наша пикировка с тобой бессмысленна.— Валерий опять засмеялся.— Ты, Никитушка, ходишь еще в детских штанишках наивности. А жизнь не апельсин. Вся соткана из противоречий. Всё. Прекращаю дискуссию. Приехали.

Он круто повернул машину во двор, тесный от деревянных сараев, и, не сбавляя газа, проехал в узком проходе меж оград сочно зеленеющих палисадников, остановил машину на заднем дворике, тихом, знойном, сплошь заросшем травой и ромашками. Низкий одноэтажный дом был едва виден под разросшимися деревьями; на старых его стенах, на скосившемся крыльце, на новой «Волге» под навесом — везде желтели солнечные пятна; и потянуло сразу чуть сыровато от земли, пресно запахло травой, и повеяло чем-то провинциальным, покойным от разомлевших на жаре нежных ромашек в палисадниках, от ветхих, рассохшихся ступеней крыльца дома, в пустых окнах которого стояла прохладная полутьма.

Никого не было здесь. Валерий посигналил дважды, распахнул дверцу и крикнул:

— Привет, провинциалы! Мирно спите? Или все смылись из этого дома?

И Никита, вылезший из машины вместе с Валерием, несколько напряженный от этой деревенской тишины маленького, совсем не московского дворика, увидел, как из-под «Волги» высунулись мускулистые, с задранными

штанинами ноги в кедах, задвигались по траве, затем глуховатый голос спокойно ответил:

— А без ажиотажа можно?

Валерий присел на корточки.

— Привет, Алеша! Вылезай! И принимай гостя.

Мускулистые ноги в кедах не спеша выдвинулись из-под машины, видно было, как задралась рубаха, обнажая плоский сильный живот, и Алексей вылез из-под «Волги», сел на траве — рукава до локтей засучены, руки измазаны маслом; тыльной стороной ладони провел по смуглой щеке, внимательные темно-карие глаза изучающе оглядели Никиту с ног до головы, задержались на его настороженном лице.

— Здорово, Никита,— проговорил Алексей.— Мы ведь с тобой почти незнакомы. Только вчера мельком виделись.

— Здравствуйте,— неуверенно сказал Никита.

— Не здравствуйте, а здравствуй,— поправил Алексей и вытер руки тряпкой, не спуская прищуренных глаз с Никиты.— Пойдем, брат. На крыльце покурим. А ну-ка, Валька,— он строго кивнул Валерию,— возьми масленку да смажь рулевые тяги. Только как свою. Ясно?

Он был среднего роста — не выше Никиты, но крепче, прочнее его; плотная, прямая шея, мускулистые руки, лицо загорели дотемна, лишь узкий треугольник кожи на груди в распахнутом вороте сатиновой рубашки, совсем не тронутый загаром, был неправдоподобно белым.

— Значит, приехал, Никита? Вот теперь, кажется, познакомились.

— Ваша мать, Ольга Сергеевна, сказала мне...— проговорил серьезно Никита.

— Ольга Сергеевна не моя мать.

— Я... я не понял,— пробормотал удивленно Никита.

— Садись сюда,— сказал Алексей, указывая на ступени крыльца.— Хочешь папиросу? Так вот объясняю: Ольга Сергеевна — вторая жена Грекова. Я не ее сын. Валерий — да. Ясно?

Распыленный тополиный пух мягко летел, плыл в воздухе над зеленеющими палисадниками, над тепловатыми деревянными ступенями крыльца, осторожно цеплялся за ромашки, за траву, ложился невесомыми островками. Набухшие тополиные сережки, лопаясь, падали с легким шорохом на полированный верх машины, под которой, насвистывая, проворно елозя кедами по траве, постукивал пневматической масленкой Валерий; он, ви-

димо, делал это не в первый раз. И Никита, чувствуя на щеке скользяще-щекотное прикосновение рассеянного в воздухе липкого пуха, проговорил не совсем твердо:

— Да, ясно...

Медля, Алексей долго разминал в испачканных пальцах тоненькую, дешевую папиросу; чернели каемки масла под ногтями, лицо было пятнисто освещено сквозь ветви иглами солнца, и тогда Никита увидел косой шрам возле его уже тронутого сединой виска, подумал, что он занимался боксом, тотчас вспомнив перчатки, кожаную грушу в его комнате, и хотел было спросить об этом, но сказал иное:

— Никогда не знал, что в Москве у меня столько родственников.

— Ну как же, твоя мать — родная сестра профессора Грекова.— Алексей чиркнул спичкой, не торопясь прикурил.— А у них большая семья. Когда-то твоя мать бывала у всех.

— Разве ты знал мою мать? — недоверчиво спросил Никита, смахнув прилипший к потной переносице назойливый пух, и повторил: — Ты когда-нибудь видел ее?

Знойно сверкало, жгуче сквозило в тополях солнце, и Никита как-то по-особому отчетливо видел вблизи лицо Алексея, этот негородской, заросший травой дворик с палисадниками, ромашки, раскрытые окна в низком деревянном домике, и даже представилось на секунду, что он все это уже давно когда-то видел, что все это было давно знакомо ему. Но нет, он никогда ничего подобного не видел и не мог знать, что здесь, в тихом зеленом дворике Замоскворечья, жил его брат Алексей,— и показалось ему сейчас, что его приезд сюда с Валерием походил на кем-то начатую странную игру, а он как бы насильно был втянут в эту игру. И Никита сказал:

— Странно все-таки... В один день мы все оказались родственниками...

— К сожалению,— ответил Алексей и нахмурился, докуривая.— Почти. Все мы на этой земле родственники, дорогой брат, только иногда утрачиваем зов крови. Ясно? И это нас освобождает от многого, к сожалению и к несчастью. Как кардан, Валерий? — с внезапной строгостью спросил он.— Ты жив там?

— Что освобождает? Кого? — подал голос из-под машины Валерий.— Кого это ты цитируешь?

— Самого себя,— сухо ответил Алексей, и вновь Никите бросился в глаза едва заметный шрам на его виске.

— Я ночую в твоей комнате,— сказал вдруг Никита.— Там остались перчатки и груша. Ты занимаешься боксом?

Алексей сделал вид, что не услышал вопроса, затаптывая окурок в траве.

— Ты боксер? — опять спросил Никита, поглядывая па рассеченную бровь Алексея.

— Ошибся. Боксом я увлекался в прошлом. В институте. Сейчас я инструктор. В автошколе. А этот шрам — война. Царапнуло на Днепре...

— Инструктор?..— повторил Никита, не переставая думать о том, что Алексей не ответил, видел ли он его мать. Никита знал, что мать несколько раз приезжала по своим сложным делам в Москву, но подробно никогда не говорила об этом.

— Я обкатываю машины своим ученикам. Эта вот «Волга» — одного инженера.

— Ты видел когда-нибудь мою мать? — снова спросил Никита, стараясь говорить естественно, но опасаясь выдать напряжение в своем взгляде.— Ты был знаком с ней?

Алексей сошел с крыльца и, сосредоточенный, попрежнему не отвечая Никите, стал поворачивать к солнцу расстеленную на траве брезентовую палатку, сплошь, как гусеницами, усыпанную тополиными сережками.

— Какой золотой день, а? — сказал он.— Чуешь, брат?

— Скажи, ты когда-нибудь...— упрямо повторил Никита,— видел ее?

Алексей отпустил палатку и облокотился на покачнувшиеся под тяжестью его тела перила.

— Да, один раз я видел твою мать.

— И что?

— Помню, она была в телогрейке.

— В телогрейке? — переспросил Никита и сдвинул брови.— Это тогда... Какая тогда она была?

— Она показалась мне суровой. В общем, отец хотел ее обнять, а она сказала: «Прости, я отвыкла от нежностей».

— Что, что она сказала?

— «Прости, я отвыкла от нежностей».

И Алексей, оттолкнувшись от перил, подошел к машине, остановился подле торчащих ног Валерия, приказал грубовато:

— Вылезай! Сам доделаю. А ты вот что. Бери иглу и зашивай палатку. Если уж хочешь ехать в Крым. Тут в трех местах дыры. Все дожди твои будут.

— Алешенька, голубчик, пусть Дина зашьет, ни дьявола я в этом деле не соображаю! — лежа под кузовом, жалобно взмолился Валерий, передвигая на траве длинные ноги.— Не мужское это дело, ей-богу!

— Вылезай, тоже мне историк!— приказал Алексей.— Мужское, женское! Надо уметь — будешь уметь! И без дискуссий.

— В чем дело! Это что, частнособственнические замашки или современное трудовое воспитание? Ты понял, Никитушка, какого брата подкинула мне судьба? — Валерий захохотал, однако послушно вылез из-под кузова и, расстегивая надетую для работы старую Алексееву куртку от пижамы, прислонился плечом к крылу машины, притворяясь обессиленным.— Чтобы рабочий мог восстановить свои силы, эксплуататор должен давать ему ровно столько, сколько нужно лишь для восстановления сил. Это по Марксу, Алешенька. Обед будет? Какой? И с чем?

— Только без тостов,— сказал Алексей с грустно-насмешливым выражением и спросил Никиту: — Ты окрошку любишь? Обыкновенную деревенскую окрошку?

— Мне все равно,— ответил Никита, подходя к разостланной на солнцепеке брезентовой палатке, которую минуту назад осматривал Алексей.— Если нужно, могу зашить, — предложил он. — Если найдется большая игла.

— Так даже, брат? — проговорил Алексей и не без удивления обратился к Валерию: — Ты слышал, пижон? Гомо сапиенс, царь природы... Можешь учиться у геологов.

Валерий дурашливо завел глаза, завалил голову назад, схватился двумя руками за грудь, изображая крайнюю степень сердечного приступа, как бы поразившего его вследствие несказанного восторга.

— О, что происходит! Валидол мне! Валокордин, нитроглицерин! Какого родственника мы приобрели, Алеша! Умеет латать палатки! Идеал домохозяек! Шедевральный парень! Никита, а как насчет глажки брюк? Чтобы найти складку на моих джинсах, не хватило бы и двух

научно-исследовательских институтов! Погладим? А? Сможешь? А бельишко постирать?

— Могу и погладить,— сказал Никита, еще не определив для себя, серьезно или иронически следует отвечать.— Могу и постирать, если хочешь... И повода для твоих восторгов не вижу.

— А-а, понимаю, понимаю...— протянул Валерий.— Понимаю... Прошу прощения.

— Не за что.

— Все ясно! — произнес Алексей.— Сходи-ка, дорогой Валерий, в дом да принеси иглу и суровые нитки. Возьми на кухне. В ящике. И узнай там насчет обеда. Самое время.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Обедали в маленькой комнате с низким потолком, в распахнутые окна тянуло из палисадника теплым травянистым воздухом.

Обед подавала Дина, сдержанная, медлительная, и Никита, помня ее детский щебечущий голосок, блестящие живые глаза на вечере у Грекова, несколько стесненно наблюдал за ней, украдкой разглядывая ее. Худенькая, в узких брючках, в прозрачной белой кофточке с воротничком, открывавшим слабые ключицы, Дина, знакомясь, рассеянно протянула хрупкую руку, и Никита совсем несильно пожал ее, но тонкие пальцы не шевельнулись в ответ, и она, едва взглянув, молча отвернулась.

За столом она тоже не была навязчиво-гостеприимной, никому ни разу не улыбнулась и сидела безразлично, темные прямые волосы спадали на плечи, на щеки, загораживали ее бледное лицо.

«Почему она молчит?» — думал Никита, вспоминая то смех ее, то растерянность, почти испуг вчера у Грековых, когда она встала и вышла за Алексеем.

Валерий говорил за обедом много, ел окрошку с аппетитом, изображая, как истово хлебали ее русские мужики, отдуваясь, крякал, подставляя под ложку кусок хлеба, и щедро хвалил кулинарные способности хозяйки, а Никита чувствовал неудобство от холодного равнодушия Дины и от того, что Алексей молчал, добродушно усмехаясь болтовне Валерия.

Зеленоватый полусумрак стоял в комнате, провинциально пахло сухим деревом в этом тихом, затерянном посреди огромной Москвы, одноэтажном старом домике, где жили Алексей и его жена; и было странно сознавать, что он, Никита, и они прежде не знали друг друга, не были нужны друг другу и, конечно, могли бы прожить так всю жизнь, никогда не встретившись. И Никита, незаметно вглядываясь в Дину и Алексея, старался ощутить в себе какие-то толчки родственных чувств, но испытывал лишь жгучее любопытство и удивление,— неужели это действительно были его родственники?

— Если бы уважаемое человечество уплетало окрошку, черный хлеб и квас,— звучал в ушах голос Валерия,— оно было бы здоровее. Абсолютно убежден... Подумать только: деликатес некоторых богатых американцев — жареные муравьи! В Китае — белые мясные черви и откормленные собаки. В Японии телят поят пивом и массажируют перед убоем — для вкусовых качеств мяса. А французы! Нет, кухня достигла такой утонченности, что человеческий желудок становится не источником жизни, а источником извращенного наслаждения. Человек стал хилым. И вот, пожалуйста, появляются болезни. Римская империя погибла от ужасающего обжорства. Подумать только! Суп из соловьиных языков, миноги, вскормленные человеческим мясом, жареные поросята подавались как сто сорок четвертое блюдо. Диночка, почему вы морщитесь?

— Ну и что дальше? — спросил Алексей.

— А грубая пища делает человека сильнее. Процесс еды должен приносить естественное удовольствие, а не смакование и наслаждение. В Древнем Риме был распространен рак желудка. Вы знаете это, друзья?

«Мать умерла от рака. Потому что не ела грубую пищу? Много лет ее кормили только деликатесами... Откормленные собаки и муравьи. Что за чушь!»

— Нам не угрожает это.

— Что именно, Алеша?

— Нам не угрожает эта опасность. Но твоя эрудиция безгранична,— сказал Алексей, и Никите почему-то стало легче, оттого что его брат не соглашается с тем, с чем не соглашался и он.

Алексей сидел напротив; в проеме окна, среди тополиной листвы, знойно испещренной солнечными бликами,

грубо очерчивались его плечи и шея, а глаза были спокойно-насмешливы, он повторил:

— Нам пока не угрожает сладострастие желудка. Мы еще не развращены пресыщением. Мы физически здоровы. Нам угрожает другое — сладострастие слов. В том числе и тебе. Ты утонешь в потопе слов. В потопе, ясно? Кто возьмет тебя в ковчег?

— Алешенька, сам залезу,— успокоил Валерий, приглаживая выгоревший на солнце короткий ежик волос.— В ковчеге нужны будут аристократы духа. Это ведь соль земли. Куда без нее?

— Ты прав, брат. Интеллигенция всегда была и будет солью земли. Но если все красноречивые говоруны считают себя аристократами духа, то в ковчеге погибнут без соли. Вместо надежды и мысли — лишь игра слов... Сладострастие болтовни. Кто сядет за весла в ковчеге?

— Что ж, Алеша, не вся соль — дерьмо.

Валерий сказал это, извинительно улыбаясь Дине, но тут узкие брови ее брезгливо дрогнули, темные волосы мотнулись по щекам, и, не замечая его улыбки, она гневно сказала своим хрупким голоском:

— Перестань говорить гадости, Валерий! Перестань!

— Ди-иночка! Я материалист,— певуче сказал Валерий, пожимая плечами.— Виноват. Не собирался тебя шокировать.

Алексей словно бы с неохотой посмотрел на бледное лицо жены, проговорил:

— Ты, кажется, нездорова, Дина. Успокойся, пожалуйста. Поди приляг.

И Дина почти выбежала из комнаты, а Никите было больно видеть ее тоненькую, согнутую спину, ее белую блузку и модные синие брючки, обтянутые на слабых бедрах. Алексей закурил, пересел от стола в кресло, утомленно вытянул ноги, заметно расслабил все тело, квадратные плечи опущены, папироса дымилась в руке у самого пола, но от всей позы его веяло жесткой и прочной силой, вызывая сейчас смутную неприязнь к нему. Валерий, молчавший после ухода Дины, удрученно произнес: «А, черт!» — и, махнув рукой, вышел из комнаты вслед за ней.

За дверью было тихо, и тихо было в комнате.

Зной вливался в окна, жарко веяло со двора — пахло нагретым железом сараев, теплой травой; залетевший из палисадника сонный шмель тяжело гудел, бился о низ-

кий потолок, потом в душную тишину комнаты проникли сдавленные звуки, словно кто-то стонал, давился в кухне, и Никита, замерев, внятно услышал из-за двери приглушенный голос Валерия:

— Диночка! Не надо, милая, там посторонний человек. Неудобно!

«Посторонний человек...— подумал Никита, весь внутренне съеживаясь и чувствуя острое и горькое напряжение в горле.— Да, он прав. Мы совершенно чужие. Да, я посторонний для них человек».

И, только что готовый помочь и точно кем-то обманутый, Никита, испытывая едкий приступ одиночества, неловко встал, перевел глаза на Алексея. Тот, не двигаясь, сидел в кресле, смотрел в окно; узкий лучик солнца, покачиваясь на тополиной листве, падал в комнату, иглой скользил по нежной белизне незагорелой кожи на его груди, видной в расстегнутом вороте рубашки.

— Не буду мешать,— глухо сказал Никита.— Наверное, я приехал не вовремя.

Алексей пошевелился, его смуглое в зеленом полусумраке лицо приобрело незнакомое выражение, и, будто преодолевая боль, он снизу вверх посмотрел на Никиту.

— Хочешь, поедем в Крым, брат? Через две недели сядем в машину, баранку в руки, шоссе, ветер — и пошел. Только отщелкивает спидометр. В Крыму у меня дочь. Маленькое белоголовое существо. Она ждет. Мы не видели ее год. Хочешь со мной на неделю в Ялту?

— Нет,— ответил Никита.— Никуда не поеду. Даже в Ялту.

— У тебя каникулы,— сказал Алексей.— А я в Крыму обкатываю машину.

Он сжал крепкими пальцами погасшую сигарету.

— Объясни, брат, зачем ты приехал в Москву? Мать умерла, и ты приехал к родственникам?

— Я привез письмо матери к Георгию Лаврентьевичу. Она написала перед смертью. И просила передать.

— Понятно,— проговорил Алексей и досадливо обернулся к скрипнувшей в кухне двери.

В комнату вошел Валерий, вскинул и опустил плечи с видом бессилия, выдохнув воздух, произнес изнеможенно:

— Дина рассердилась на меня и куда-то ушла. Я виноват. И, по-моему, к тебе, Алеша, клиент рвется. Вот

уж топчется на крыльце. Инженер твой... Ни к селу ни к городу принесло.

Алексей ударил кулаком по подлокотнику кресла.

— Во-первых, у меня нет клиентов,— неприязненно сказал он.— У меня есть в автошколе только ученики. Кто там? Олег? А ну, позови его, чертов звонок! Быстро!

— Представляешь, Никита, как он командовал на войне? — развел руками Валерий.— Сплошной металл в голосе! Деваться некуда, все время воспитывает! Есть, товарищ капитан запаса, выполняю приказ.

— Выполняй,— усмехнулся Алексей.— Старшины на тебя хорошего нет.

Минуту спустя Валерий ввел в комнату невысокого, средних лет, уже полнеющего человека в добротном сером костюме и, несмотря на жару, в галстуке. Он вытирал носовым платком пот с залысин, топтался за порогом в замешательстве.

— Добрый день, я к вам на минуту, извините, пожалуйста, что домой...

— Проходи, Олег Геннадьевич, и знакомься,— сказал Алексей, пожимая ему руку.— Это мой двоюродный брат Никита. С Валерием ты знаком. Что случилось? Правила утром сдавали? Садись. И докладывай.

— Все! Катастрофа, Алеша... Я засыпался на разводке, представь! — сказал Олег Геннадьевич и, со вздохом сев к столу, смущенно засмеялся.— Трехсторонний перекресток, машина, трамвай, мотоциклист, смещенные пути. Не пропустил мотоциклиста, что-то напутал с трамваем, нагородил несусветную ерунду. Инспектор, мрачный такой тип, не запомнил его фамилию, глазел на меня, как на идиота. Тогда я ему говорю: «Вы видели идиота?» А он: «Кого вы имеете в виду?» — «Себя, конечно». И ушел с двойкой. Не ученик у вас, а идиот, Алексей Георгиевич!

Он говорил это, обращаясь к Алексею то на «вы», то на «ты», стесненно-весело посмеиваясь, но это было явное возбуждение расстроенного человека, и Алексей, не перебивая, строго выслушал его; Валерий же, запустив руки за пояс своих джинсов, снисходительно фыркнул:

— Это же примитивный вариант, господи. Главная и неглавная улица. Мотоцикл, видимо, был помехой справа...

— Ну, что же ты, в конце концов, напутал? — спросил Алексей, не обратив внимания на слова Валерия.—

Начерти схему перекрестка, трамвай, мотоцикл... Как было? Нарисуй все!

Олег Геннадьевич поспешно достал записную книжку в кожаном переплетике, автоматический карандаш, довольно-таки нервозно начертил что-то и робко покосился на Алексея...

— Вот так было на перекрестке...

— Ну? — требовательно сказал Алексей.— Разводи.

— Я пропускаю мотоциклиста, трамвай. После этого делаю левый поворот на перекрестке. Так?

— Что же ты не развел так инспектору? — спросил Алексей укоризненно.— Растерялся, что ли?

— Состояние прострации,— убито простонал Олег Геннадьевич и снова обтер платком влажные залысины.— Адская неуверенность, понимаешь, какая-то... Теперь не представляю, как сдам послезавтра практическую езду. Если опять будет принимать какой-нибудь мрачный тип, я пропал!..

— А если ты будешь думать об этом,— прервал Алексей,— я немедленно прекращаю обкатывать твою машину, и можешь завтра же продать ее в комиссионном магазине. Понял?

— М-да.— Олег Геннадьевич искательно поднял на Алексея виноватые глаза, забормотал: — Может быть, все это действительно не для меня, бог к этому делу способностями обошел...

— Чепуху городишь, Олег! — оборвал Алексей.— Ты пересдашь правила и сдашь практическую езду. Ты куда сейчас? Домой? А ну-ка пойдем к машине. Пока не очень ясны причины твоей паники. Рановато отступаешь. Слушай, Валерий, ты можешь ехать. Завтра увидимся. Хватит скучать — челюсти вывихнешь! — Он повернулся к демонстративно зевающему Валерию, затем вопросительно взглянул на Никиту.— А если ты, брат, не против, поедем с Олегом Геннадьевичем, я покажу тебе новую Москву. Юго-Запад. Поехали вместе.

— Как... как это? — выговорил Олег Геннадьевич и привстал, засовывая смятый платок в карман.— Ты хочешь, чтобы я... вел машину? Н-нет, Алексей, я лучше сегодня на такси... Юго-Запад — это через весь город... Собью еще кого-нибудь, упаси боже...

Алексей настойчивым тоном снова оборвал его:

— Я хочу, чтобы ты довез себя домой на своей машине. Ясно? Зачем я тебя учил? Все получится. Я буду

сидеть рядом. Как в учебной. Надеюсь, ты уже вышел из состояния прострации?

— Не знаю, Алеша. Возможно.

— Тем лучше и легче. Пошли к машине.

— Я немного провожу вас,— проговорил сквозь зевоту невинным голосом Валерий и с выражением безразличия намотал и размотал на пальце цепочку ключика от машины.— Я могу вас сопровождать, так сказать, почетным эскортом.

Но как только Алексей с инженером вышли, он иронически покрутил ключиком возле виска, сказал Никите:

— У нашего братца профессиональный заскок. Гвардейская фирма автоинструктора. И одержимость. Каждый по-своему с ума сходит. Поэтому не удивляйся. Значит, ты с ними, братишка?

— Да. Поеду. А что?

— По-моему, этот инженер — полнейшая бездарность в смысле вождения. На кой бес возится с ним Алешка, не понимаю!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В центре города машина подолгу останавливалась на перекрестках, пропуская сверкающий под низким предзакатным солнцем слитно ревущий поток уличного движения, а переждав, с запозданием и рывками трогалась на зеленый свет, набирая скорость, и тогда Олег Геннадьевич, весь напряженный, без пиджака — белая сорочка намокла под мышками,— вобрав голову в плечи, переключал скрежещущие скорости, опасливо косился на Алексея, как бы в ожидании окрика или удара. Но Алексей не говорил ни слова, казалось, не замечал ничего.

Несколько раз на этих перекрестках, то отставая, то обгоняя, вплотную к машине притирал свою обшарпанную «Победу» Валерий, смеясь, махал рукой, поощрительно кричал им:

— Ну, жмите, милые, жмите! Впереди ни одного милиционера!

И, помахав, уносился вперед, лавируя между рядами машин с наглой лихостью матерого таксиста, легко втираясь в этот бесконечно катящийся поток улицы.

Предвечернее солнце сухо жгло, в оранжевой пыли стояло над крышами; в машине было нестерпимо душ-

но, химически пахла кожа новеньких, пропеченных солнцем сидений, и пахло еще теплым маслом, горячей резиной; на перекрестках удушливо врывался в окна выхлопной газ от гремевших, лязгающих кузовами грузовиков; нескончаемо огромный перенаселенный город сиял, вспыхивал стеклами этажей недавно выстроенных блочных домов, лениво чертили по белесому небу железные стрелы кранов над строительными лесами; густые толпы народа хаотично скоплялись, заполняли тротуары, длинные очереди ожидали на остановках; и, огрузшие, отяжелев от пассажиров, шли по расплавленному асфальту троллейбусы — наступали часы «пик», когда город, за день накаленный солнцем и моторами, весь горячий, достигает предельной точки в своем многолюдстве, шуме, визге, грохоте, в своей толчее, в своем убыстренном в эти часы ритме.

— Начался Юго-Запад, Никита, новый район,— сказал, не оборачиваясь, Алексей.— Не похоже на Замоскоречье, верно?

«Зачем он мне это показывает?» — подумал Никита, почти равнодушно, мельком глядя на однообразные, неуклюжие квадраты белых, с узкими балкончиками домов, на те же пульсирующие толпы народа на тротуарах, на жаркий и широкий, как площадь, разделенный пыльными тополями проспект, по которому в завывающем, тесно сбитом потоке двигалась их машина, и устало откинулся на сиденье, изнеможенный жарой, духотой, не понимая, зачем он согласился ехать куда-то на Юго-Запад вместе с Алексеем и его учеником, хотя ему было все равно, куда ехать, и он не мог бы дать себе отчет в том, что́ сейчас для него имело или не имело значение; многое, что раньше представлялось осмысленно логичным и прочным, воспринималось теперь только в соотношении с прежним.

И может быть, поэтому непонятно было и раздражало волнение Олега Геннадьевича, и не хотелось видеть его влажные на затылке светлые волосы, уже тронутые нитями седины, его красную подбритую шею, его суетливые рывки полнеющими плечами и этот каждый раз умоляющий взгляд в сторону Алексея при скрежете скоростей.

«Неужели так важно... то, что он делает? — думал Никита.— Неужели это так ему нужно?»

— Руль! — вдруг скомандовал Алексей и наклонился, выровнял руль одной рукой.— Не кидай его резко, как автомат! Ты не в атаку идешь. Выбери одно направление и не виляй. Спокойно.

— Да, да, Алеша,— сконфуженно пробормотал Олег Геннадьевич.— Ты прав, конечно. Все время забываю. Ты командуй, Алеша.

Алексей сказал:

— Попробуй без команд.— И, помолчав, усмехнулся.— Знаешь, Олег, что я вспомнил? Ночную атаку немцев на «Красном Октябре». Вспомнил вот, не знаю почему. Ты со взводом стоял справа от меня. В стыке с ротой капитана Сероштана.

— Разве? — спросил Олег Геннадьевич, не отрывая внимания от жарко блещущего под солнцем ветрового стекла.— Ты говоришь, капитана Сероштана?

— Мы занимали оборону на границе с цехом номер четыре. Возле баррикад из металлолома. Немцы пошли ночью. Холод был, замерзала смазка на автоматах. Мы услышали, как они запутались в проволоке, и закричали. Тогда была почти рукопашная. Помнишь?

— Да, вспоминаю... Кажется, перед Новым годом. А, Алеша?

— Ну вот. А после ты пришел с флягой спирта. У какого-то убитого немца взял. Прекрасный был спирт! По-моему, авиационный.

— Я? С флягой спирта? — восторженно изумился Олег Геннадьевич.— Взял у какого-то убитого немца?

— Помнишь, сидели в блиндаже, пили спирт, а ты еще о какой-то Тане говорил, однокласснице, что ли. Она писала тебе. Забыл тебя спросить, Олег. Давно хотел... Твою жену Таней зовут?

Машина затормозила в разгоряченном, со всех сторон дышащем отработанным бензином железном стаде, нетерпеливо и густо скопившемся перед огромным перекрестком, залитым солнцем. Ожидая зеленый свет, вибрировали, работали вокруг на холостом ходу моторы, и Никита, выпрямившись после толчка вперед, увидел испуганное, оторопелое лицо Олега Геннадьевича, услышал его виноватый и рассерженный голос:

— Опять я резко нажал, черт возьми! Прости, пожалуйста, Алеша... Я как расплавленный, хоть выжимай.

По его щекам скатывались струйки пота, каплями дрожали на подбородке; Алексей по-прежнему спокойно сказал:

— С нами сидела санинструктор Зоя. А ты уже пьяный был, говорил об этой Тане, а Зоя тебя успокаивала, терла тебе уши и смеялась. Это ты, кажется, о ней сказал: «Колокольчик из медсанбата»?

— Зоя? — Олег Геннадьевич, в усилии напрягая память, повторил нащупывающим тоном: — Зоя, Зоя... Ах да, Зоя! — Он, вспомнив, засмеялся.— Зоя с немецким «вальтером». Кажется, ты ей пистолет трофейный подарил. Синеглазая, тоненькая! В тебя была без ума влюблена. Да, колокольчик, помню, как же, Алеша! Ты ведь был командиром роты. Сначала она бегала к тебе из медсанбата, а потом перешла в роту санинструктором.

— Наоборот,— ответил Алексей, взглядывая на красный зрачок светофора.— Я бегал, а не она. Зоя погибла в сорок третьем. На Курской дуге. Во взводе Рягузова.

— Какого Рягузова? Разве она погибла? Неужели?.. Не может быть!

— Ты это должен помнить. Она погибла у нас на батарее. Под Понырями. Когда в стык прорвались немецкие танки и отсекли нашу роту... Седьмого июля сорок третьего.

— Ах, шут возьми, склероз, склероз начинается! — сказал Олег Геннадьевич и согнутым пальцем постучал себе в лоб.— Сколько лет, Алеша, прошло! Как будто и войны не было. Не верится...

— Не так уж много. Не так уж...

— Ох много, Алеша!

— Не предмет для спора. Просто мы по уши погрязли в повседневных мелочах быта. К сожалению, забываем всё. Прости, Олег, ты не ответил: Таня стала твоей женой?

— Нет, знаешь... Встретились однажды после войны. Я был в какой-то драной шинели. Она вроде меня не узнала. «Здравствуйте, до свидания». А потом, когда в «Вечерке» было объявление о моей защите кандидатской, она все-таки прислала поздравительную телеграмму. У меня жена инженер-химик. Доктор наук. Я, видишь ли, женился поздно...

— Как ее звать?

— Галина. Галина Васильевна.

— Ты хорошо живешь, Олег?

— Живу, в общем, ни на что не жалуюсь. Что ж, пожалуй, все хорошо. Но если бы... Если б еще послезавтра сдать вот это вождение — гора с плеч!..

— Не дергай скорости,— сказал Алексей.— Выжимай педаль сцепления плавно. Пошли. Зеленый свет.

Машина тронулась в сразу неистово помчавшемся железном стаде машин, и Алексей отвернулся к окну, он, наверное, не хотел и не мог сейчас видеть суматошных движений рук Олега Геннадьевича, с металлическим рокотом переводящего скорости, и белой полоски его зубов, прикусивших верхнюю губу.

— Старею, вероятно, Алеша... Живешь как заведенный, в сумасшедшем ритме. К вечеру устаю чертовски. А голова будто кибернетическая машина: даны параметры — и все в одном направлении! — с горячностью заговорил Олег Геннадьевич.— Будь это не ты, никогда не сел бы вот так за руль! По-моему, у меня никаких шоферских данных!.. Если бы такая реакция была на войне — ухлопало бы в первой атаке...

— Прекрати ныть, Олег,— сказал Алексей.— Если уж сел, то прошу — спокойствие. Это для тебя сейчас главное.

Никита смотрел на затылок Олега Геннадьевича и, уже не стараясь подавить в себе неприязнь к нему, завозился на заднем сиденье, и тотчас Алексей посмотрел внимательно, спросил с сочувствием:

— Ты что, брат? Надоело?

— Да, одурел от жары,— проговорил Никита.— Мы скоро приедем?

— Два квартала осталось,— ответил Олег Геннадьевич.— Как в бане. Хоть бы дождь, правда?

— Я не люблю дождь,— сказал с необъяснимым вызовом Никита.— Пусть уж лучше жара.

— Да, в общем, конечно, так,— легко согласился Олег Геннадьевич.— В ваши годы мы думали так же. Помнишь, Алеша, как мы ненавидели на фронте дождь и снег? Слава богу, что ваши ощущения не связаны с войной.

— Слава богу,— раздраженно ответил Никита.

— Ты кого-нибудь встречал в последние годы? — спросил Алексей.— Из роты, из полка...

— В последние годы? Нет. Никого... Нет, ты знаешь, встречал. Да, встречал! — оживленно поправился Олег

Геннадьевич.— Лет пять назад. Ехал в Кисловодск, вижу, в вагоне стоит проводник высоченного такого роста, и, знаешь, вижу — какое-то знакомое у него лицо. Будто во сне видел. Где я его встречал? Когда? Вхожу в купе, говорю жене: «По-моему, с проводником из нашего вагона я вместе воевал, но, хоть убей, забыл его фамилию. Сейчас приглашу его в купе и спрошу». Жена говорит: «Неудобно. А если ты ошибся? Есть ведь похожие типы людей». Так мы с ним, Алеша, и не поговорили. А в Кисловодске вдруг вспомнил: Баранов! Старший сержант Баранов, мой командир отделения! Очень досадно было, да поздно!..

— Ты, пожалуй, не ошибся: Баранов, кажется, откуда-то из Ставрополя. Но откуда точно, тоже забыл.

— А ты кого-нибудь встречал?

— Кроме тебя — нет,— ответил Алексей и, помолчав, добавил задумчиво: — Никого. От нашего фронтового поколения немного осталось. Вообще его уже почти нет. Половина выбита под Сталинградом, остальные — под Курском, потом на Днепре. Наш год призывался в сорок втором. И сразу — под Сталинград. Нам с тобой крупно повезло.

— Конечно, Алеша, ты прав, мальчишками были... Здесь левый поворот? Левый? Но где же знак? — встревоженно заерзал, задвигался Олег Геннадьевич, подаваясь к стеклу.— Почему я не вижу знака?

— Здесь его никогда и не было. Пора знать свои Черемушки. Это Профсоюзная. Какой твой дом?

— Да, конечно, мы приехали,— возбужденно заговорил Олег Геннадьевич, оборачивая к Алексею обрадованное, разгоряченное лицо.— Просто не верю, что я сам вел машину через весь город! Вот этот дом, за магазином «Мебель». Здесь я на пятом этаже.

— Давай к подъезду. Включи сигнал поворота.

Олег Геннадьевич остановил машину напротив каменной арки ворот, вдохнул на полную грудь воздух, с каким-то ребяческим облегчением тихонько засмеялся счастливым смехом совершившего тяжелый труд человека. Алексей выключил сигнал поворота, сказал ровным голосом:

— Ты забыл выключить мигалку. За вождение я бы тебе поставил тройку. Нет плавности. Рвешь скорости. Еще боишься машин. На сегодня все.

— Тройку? Да я сам бы себе двойку поставил, Алеша! Но первый блин всегда комом. В нашем кабэ в таких случаях говорят: приложим силы, доведем до кондиции! Спасибо тебе за все! Подожди! — Олег Геннадьевич перестал смеяться, положил руку на плечо Алексея, потянул к себе, затормошил его.— Подожди, разве ты не зайдешь? Не-ет, прошу ко мне! Сейчас мы уютно посидим, достанем что-нибудь ледяное из холодильника... Правда, нет жены дома. Но мы сами. Есть, капитан? Прошу!

И Олег Геннадьевич, счастливо сияя, вылез из машины, надел пиджак, и при этом в лице его, в том, как он застегивал пуговицу, было удовлетворение собой, некая растроганность даже.

— К сожалению, не могу,— сказал Алексей.— Никогда не пью за рулем. Потом, как видишь, со мной мой брат, недавно приехал из Ленинграда, скоро возвращается, а я еще с ним толком не поговорил. Будь здоров!

Он протянул руку в открытую дверцу, и Олег Геннадьевич крепко схватил ее, удержал и с протестующим упорством потянул его из машины, говоря:

— Что же это такое? Ставишь меня в глупое положение: месяц обкатываешь машину и не берешь деньги... Даже на бензин. Могу я хоть когда-нибудь...

— Не пори, Олег, чепуху! — высвобождая руку, оборвал Алексей.— Во-первых, я получаю зарплату, а бензин — это гроши. Во-вторых, я обкатываю машину фронтовому другу. В-третьих, когда я учил тебя стрелять по танкам из пэтээр, ты тоже платил мне?

— То другое дело. Но это — твой труд. Забудь, что я бывший комвзвода. Ты каждый раз затрачиваешь силы с таким бесталанным учеником, как я! Это ж глупо, Алеша!

— Пошел ты... знаешь куда? — выругался Алексей и, резко посунувшись к рулю, распахнул правую дверцу.— Садись, Никита, рядом. А тебе, Олег, действительно полагается сегодня выпить. И если еще раз заведешь это самое — будешь искать другого инструктора! Все!

Он включил мотор и теперь, казалось, не обращая внимания на Олега Геннадьевича, топтавшегося с растерянной полуулыбкой около машины, подождал, пока

Никита пересядет на переднее сиденье, сам захлопнул за ним дверцу, а когда стал поворачивать машину, проговорил уже смягченным тоном:

— В четверг повторим маршрут, Олег, ясно? Я из тебя выжму все. До предела. И никаких мне простраций. Пока!

— Прости, брат, замотал я тебя с этой ездой. Ты еще жив?

— Еле дышу. Да и не очень понравился мне твой фронтовой друг, если хочешь знать. Всю дорогу нудил.

— Поэтому только не понравился?

— А он кем был на войне?

— Командовал взводом в моей роте. Лейтенант.

— А ты?

— Я? Был старшим лейтенантом. Кончил войну капитаном.

— Что у него за идея фикс непонятная — машину водить. Для чего? Модно стало иметь свою машину? Он инженер? Чем он занимается: кастрюли какие-нибудь в артели штампует?

— Да, вижу, он тебе здорово не понравился, Никита! Но ты глубоко ошибаешься, Олег делает такие кастрюли, без которых самые сверхскоростные самолеты летать не смогут. О его работе газеты не пишут. Но это уж дело другое.

— Может быть. Но почему он трусил перед этим инспектором и перед тобой, твой бывший лейтенант? Он ведь вместе с тобой воевал...

— Опять ошибаешься. Олег не трус. Наоборот. Первоклассной смелости парень. Вот мы ехали сейчас, и я вспоминал один случай на Днепре... Тогда я понял, кто такой Олег. И до конца войны не изменил мнения. А то, на Днепре, многого стоило.

— Ты всех проверяешь войной? А если кто не воевал? Как же тогда? Как ты относишься к таким?

— Не только войной. Но на войне человек раскрывался после первого выстрела. А это кое о чем говорит.

— Так что же это за история? Он какой-нибудь подвиг совершил?

— Подвиг — понятие громкое. Что ж, время есть, могу рассказать. А история вот какая, брат... В сорок

третьем, когда я командовал ротой, приказано было первым форсировать Днепр под Киевом в районе трехъярусной обороны немцев, захватить совсем крохотный плацдарм — песчаную отмель, которую шагами можно было измерить. Триста пятьдесят в глубину, триста в ширину, как сейчас помню. И главное — держаться не меньше пяти суток, а если возможно, и дольше. А в роте у меня было сто сорок человек, по приказу командира дивизии усилили нас десятью пулеметами. Ночью на лодках форсировали, то есть переплыли на правый берег через полукилометровую ширину Днепра, стали окапываться в кустарнике без боя и почти без потерь. Только одну лодку снесло течением во время переправы, прибило к косе левее, к самой обороне немцев. Оттуда крики слышали, пулеметные и автоматные очереди, ракеты взлетели, но на помощь прийти было невозможно. За ночь мои ребята успели окопаться на отмели. До первой немецкой траншеи метров сорок: ручные гранаты свободно можно было добросить с высокого берега до наших ячеек. Ночью нам слышно было, как часовые переговаривались в их окопах. На рассвете они обнаружили нас. Ну а потом началось... Пять дней и ночей непрерывных немецких атак, о которых двумя словами не расскажешь. Немцы знали, сколько нас на отмели, и перед атаками в рупор кричали минут по пять через переводчика: «Сдавайтесь, пощадим вас! Вы обречены, русские Иваны! А у нас будете пить водку, любить женщин! Мы повысим вас в чине!» Мы лишь огнем отвечали. И после каждой атаки хоронили убитых. Рота моя на глазах таяла... На шестую ночь сижу в окопе, голова мутная, в ушах звенит, днем осколками мины ранило в бровь и правую руку. Всеми силами стараюсь не заснуть, наблюдаю... В левой руке держу парабеллум, в моем отечественном пистолете патроны кончились, а этот парабеллум у убитого на бруствере немецкого офицера взял. Так вот, сижу, глаза кулаком разлепляю и только об одном думаю: как бы на правом фланге мои ребятки не заснули — там к той ночи почти никого не осталось... Вдруг, как во сне, слышу: справа от меня — выстрелы, трассы, крики... Беготня какая-то. Потом наша сигнальная ракета. Схватил одной рукой ручной пулемет, бегу со всех ног туда. А когда увидел, что́ там, тогда мне совсем не по себе стало: немцы молча в рост бегают вдоль наших

окопов и в упор солдат расстреливают из автоматов. Сразу понял: или боевое охранение сняли, или все-таки мои ребята заснули. А сон тогда был равен смерти. Я с пулеметом упал на бруствер, выпустил весь диск до последнего патрона по этим немцам, над окопами бегающим, а у самого аж озноб... Слышу — стихло. Отшвырнул пулемет, пошел по траншее, считаю убитых — осталось из роты уже не больше десятка, из офицеров — я да Олег, командир взвода. Иду и, как в страшном бреду, повторяю одно и то же: «У нас еще, ребята, три пулемета и запас лент остались, назад пути нет, а отмель наша. Не спать. Только не спать, ребята». И тут вижу: в окопчике один солдат сидит, пожилой совсем дядька, смотрит на меня и сам вроде без звука плачет, слезы вытирает со щетины. Присел к нему. «Что,— спрашиваю,— отец? Что случилось? Ранило?» А солдат слез удержать не может. «Пропали мы здесь, старший лейтенант. Всем, видно, пришел конец». Встаю с не готовым еще ответом. Что сказать? И говорю, что тогда сам думал и чтоб все слышали: «Не мы, отец, первые на этой земле умираем, не мы последние. До нас умирали люди и будут умирать. Если же умрем здесь, считай, что смерть эта вполне обычная». Он спрашивает меня: «А дети? Как дети без нас?» В те годы мне это трудно было понять, детей, конечно, у меня и не ожидалось. Но все-таки пришла мысль: «У всех дети, у него, у тебя, у всех». — «Да, у всех»,— согласился. А я даже обрадовался этому ответу и снова повторяю: «Кончай, отец, с этим настроением. Ничему это не поможет. Все мы тут в одинаковом положении. Если же раскиселимся и в плен возьмут, никто своих детей не увидит никогда». Других слов тогда не мог найти. В общем, ротой стал командовать в девятнадцать, а некоторым моим солдатам было уже под сорок.

В последний день выстояли еще три атаки. Помню, до этого дня у меня в окопе пятьдесят «лимонок» оставалось и одна граната «эргэдэ» — все до одной «лимонки» по фрицам пошвырял, а эту солидную «эргэдэ» оставил при себе... Так вот, в последнюю ночь после третьей атаки снова проверяю, иду по своей обороне. Везде ни выстрела, слышно только: раненые немцы кричат, стонут за бруствером, а в моих взводах, кажется, и раненых нет: прямые попадания мин в траншею. И пулеметы все

до одного поковерканы. Не пулеметы — металлолом. Всю роту сосчитал, как говорится, по головам: оставалось из ста сорока семь человек со мной. Но я хорошо знаю: ни одного целого пулемета, ни одного патрона в парабеллуме, только моя единственная граната «эргэдэ». Все смотрят на меня, молчат. А меня от усталости и потери крови качает, как пьяного, еле на ногах держусь, а держаться надо... Солдаты мои едва живые, все в бородах, дышат с хрипом, исхудалые, но глаза еще живут, и у каждого в глазах вопрос: «А что дальше, старший лейтенант?»

Я выждал немного, потом вынул свою «эргэдэ». Говорю: «Мы отбили все атаки. И вот у меня одна граната. Последняя. Но если начнется еще атака, встать вокруг меня, головами поближе — и я чеку дерну, чтоб сразу всем. Кто против и сомневается, отойти в сторону! А сейчас — всем раздеться. Приказываю — переправляться через Днепр!»

Все молчат, но снимают шинели. Тогда я говорю Олегу: «А ну, поползи метров десять по отмели, проверь». Тот перелез через бруствер, пополз в сторону воды. А луна как раз из-за облаков выглянула, и очень ясно его нижняя рубаха на песке выделяется белым. Но немцы не стреляют. Зову его назад. Приказываю всем мокрым песком, грязью замазать нижние рубахи. Оглядел солдат, спрашиваю, все ли на воде могут держаться. Оказалось, все. «Так вот, возвращаемся на тот берег. По песку поползем так: в середине лейтенант Кустов с гранатой, все по бокам — если немцы будут окружать возле воды, даю сигнал: «Чеку дергай! За мной!» Потом поползли и поплыли. На том берегу меня почти без сознания вытаскивал из воды Олег — мое ранение и потеря крови сказались. Но семь человек из роты вывели, хотя в штабе дивизии уже и не надеялись, что кто-то из нас уцелел. Уже после госпиталя у Олега спрашиваю: «Скажи, выдернул бы чеку из гранаты, если бы я скомандовал?» А он даже побледнел, как будто я его оскорбил или ударил: «Что за вопрос? И не задумался бы». Вот и вся эта история. Так что, брат, с Олегом у меня особые отношения. Вместе с ним не один пуд соли съели. Ясно, Никита?

— Все же завидую я тебе, Алексей. Вот ты воевал... Все видел. Тебе, наверно, повезло. Твоему поколению. Несмотря ни на что.

— Этому нельзя завидовать. Каждому свое выпало.

— Алексей, можно спросить?.. Почему ты не окончил институт? Ты, наверное, в автодорожном учился?

— Что ж, могу сказать... Это опять о войне. После фронта хотелось самостоятельной жизни. И независимости. Не мог сидеть за столом и с умным видом слушать лекции. Смотрел на профессора и думал: «А вы знаете, уважаемый, как разрывается снаряд на бруствере?» Потом у меня уже была семья. Я рано женился. А снять комнату стоило две стипендии. Но было все-таки веселое время — мы вернулись с ощущением, что весь мир наш. Завоеванный и освобожденный. По вечерам собирались, пили водку, вспоминали фронтовых ребят, живых и погибших, и ждали манны небесной. Потом бросил я институт и, знаешь, почти не жалею об этом. Люблю машину, как живое существо. Сидеть где-нибудь в конторе по восемь часов ежедневно и общаться с бумагами не смог бы. А с учениками возиться люблю. Со всякими — бездарными и способными.

— Ты тогда на Дине женился?

— Нет. Дину встретил потом.

— А первая жена, Алексей... где она?

— Мы разошлись... Ей, как говорят, все надоело. Ну, да это неинтересно...

— Я, конечно, не имею права спрашивать, но... Дину ты по-настоящему любишь?

— А ты без этих «но». Если бы я не любил Дину, она бы не была моей женой. Иначе быть не могло. Вот что. Мы сейчас с тобой выедем на кольцевую. Не будем торопиться. В Москве дышать нечем. Домой успеем.

— Домой?..

— Что ж, я могу тебя завезти к Валерию. Или переночуешь у меня? Раскладушка найдется.

— Мне все равно. Лучше, конечно, к тебе. Если не помешаю...

— Кому ты можешь помешать? Наоборот. Скажи, как ты вообще-то у себя дома живешь, Никита?

— Просто живу. Как все студенты. Хожу на лекции. Корплю над конспектами, сдаю зачеты. Вот видишь — в Москву приехал...

— А если откровенно, как ты живешь в последнее время?

— Мне все время кажется, что мама не умерла. Почему-то я не совсем ее понимал. Помню, как по вечерам

смотрела на меня — сидит, смотрит и молчит. Тогда она была уже больна. Наверно, думала, как я без нее останусь. А я не мог ничего сделать.

— Понимаю. Можешь не объяснять.

Когда выехали на загородное шоссе, солнце садилось в леса, по-предвечернему нежарко дрожало в золотистой дымке над островерхими крышами дач, прохладные тени сосен располосовывали дорогу, ветер с мягким запахом хвои врывался в открытые окна.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вернулись поздно; свет в окнах не горел — Дина уже спала, поэтому легли на раскладушках, вынесенных Алексеем в палисадник, где тянуло свежестью от похолодевшей к ночи травы. Тихий двор был в неподвижном фиолетовом сумраке; над крыльцом слабо серебрились вершины тополей, стояли, застыв в ночной чистоте неба, а там, вверху, было вольно, светло, широко, и пробивались сквозь листву косые лунные коридоры, сетчато рассекали пахнущую сырым холодком тень от дома.

Никита, потираясь подбородком о колючий ворс одеяла, смотрел на сквозные полосы дымчатого света — и эти два дня проходили перед ним, беспокоя, путаясь, бесконечно возникая в памяти, не давая уснуть. Да, он лежал на раскладушке не в Ленинграде, не дома, а здесь, возле темного, давно затихшего домика в незнакомом Замоскворечье. И чувство одиночества сжимало его ознобом.

Вдруг рядом чиркнула, сверкнула огнем спичка, горьковато потянуло дымком, и он услышал голос, сдержанный, чуть хрипловатый:

— А может быть, действительно, Никита, поехать тебе со мной в Крым? Через две недели у меня кончаются занятия в автошколе. Буду на крымских дорогах обкатывать машину и заеду к дочери. Крым — это прекрасно. Сразу чувствуешь себя иначе.

Светлячок папиросы загорелся ярче, и Никита, увидев край губ, блеск Алексеева глаза, почему-то явственно вспомнил сдавленный плач Дины на кухне сегодня днем, болезненно замкнутое лицо брата, повернутое тогда к окну, ответил:

— Нет, я не поеду. Спасибо.

— А в Крыму южные мохнатые звезды. И цикады.

Миллионы цикад ночью. Все звенит. Особенно в лунную ночь.

Никита сказал:

— А здесь сверчок.

— Верно. Завелся под крыльцом. Что ж, неплохо, когда и он.

Никита не ответил. Где-то в темноте крыльца, в трех шагах от раскладушек, по-деревенски просверливал звенящим тырканьем, неустанно раскалывал ночное безмолвие сверчок, на миг замолкал и вновь посылал пунктиры сигналов в пространство, мимо матово синеющих сквозь тополя уличных крыш.

Молчали долго.

— Значит, Вера Лаврентьевна очень тяжело болела? — медленно спросил Алексей.

— У меня были страшные ночи. Полгода.

— Представляю...

Красно разгоревшийся огонек осветил брови Алексея, колыхнулся и, трассой прочертив параболу, упал в траву, мерцая там потухающей искрой.

— А что ты знаешь о моей матери? — вдруг осторожно спросил Никита.— Ты говорил, она приезжала сюда. Ты ее видел у Георгия Лаврентьевича?

— Что я знаю? — помедлив, проговорил Алексей и повернулся на бок, строго и испытывающе вглядываясь в Никиту.— Не много... Но достаточно, чтобы понять, что с ней случилось... Однако, брат, это почти бессмысленно...

Никита приподнялся на локте.

— Что бессмысленно?

— Бессмысленно говорить о том, чему уже ничто не поможет. Ничего не решит. Потом все изменилось, настало другое время. Думаю, ты меня понимаешь.

— Я понимаю... Но что ты все-таки знаешь именно о моей матери? Зачем она приезжала к Георгию Лаврентьевичу? — повторил с настойчивостью Никита, глядя на Алексея сквозь полосы лунного света, которые, дымясь, падали сверху, разделяя их раскладушки, как сетью.— Ты начал... и не договорил. Ты сказал, что она приехала сюда в телогрейке...

— Это было давно, брат, и не хочется шевелить это давнее. Жить прошлым невозможно. Всем нам надо жить настоящим, Никита. Согласен?

— Но ведь она приезжала к вам?.. И разве я не имею права знать, зачем она приезжала?

— Вот что,— произнес Алексей решительно.— Да, ты имеешь право! Но сначала скажи мне: Вера Лаврентьевна что-нибудь говорила тебе раньше о Грекове? Ты раньше слышал о нем?

— Только один раз. Когда передавала письмо. Она раньше никогда не вспоминала о родственниках. Только о своей двоюродной сестре Лизе. Но та умерла два года назад.

— Преклоняюсь перед твоей матерью,— сказал Алексей, и раскладушка под ним закачалась, он лег на спину, заложил руки под затылок.— Маленькая, как девочка, была, только вся седая. А когда она писала письмо?

— За день перед смертью она дала мне письмо. В больнице.

— А в письме что?

— Я передал его Георгию Лаврентьевичу.

— А он что?

— Сказал, что мать в письме просит позаботиться обо мне, перевести из Ленинградского университета в МГУ. Чтобы я жил в Москве. Рядом с родственниками. Больше ничего. Я не читал письма.

Свежий ночной воздух пробирался к его голым плечам, и он чувствовал нервную дрожь и от этого ночного воздуха и от необоримо охватывающего озноба.

— Не может быть,— после паузы проговорил, как бы не веря, Алексей и некоторое время лежал молча.— Не может быть! — повторил он.

Раздробленные световые полосы переместились в палисаднике и теперь ярко, как узкие лезвия, кололи, лезли в глаза Никиты, и он не мог разглядеть лицо Алексея, слышал только удары своего сердца, они отдавались в висках.

— Этого я не предполагал, Никита. Дело в том, что это почти невозможно...— Алексей, раздумывая, помолчал, договорил размеренно: — Нет, мне трудно поверить, чтобы она написала отцу так, как ты сказал.

— Почему трудно поверить? — выговорил Никита ощущая острый холодок ночи и все усиливающийся колючий озноб, который заставил его стиснуть зубы, чтобы не выдать дрожь голоса.— О чем ты подумал?..— глухо спросил он.

— У меня сложные счеты с отцом. И давние,— ответил Алексей с жестким спокойствием.— Но это опять

возвращение к прошлому. Правда, многое я уже простил ему. Нельзя постоянно жить как натянутая струна. Да и он сейчас не тот. И я не тот.

— Что ты знаешь о матери, Алексей?

— Ты непременно хочешь это знать? И выдержишь, если узнаешь правду отношений Веры Лаврентьевны с отцом?

— Я хочу знать. И конечно, правду. И я выдержу.

— Ну хорошо, брат. Тогда слушай, как было.

Алексей сбросил одеяло и в майке, в трусах сел на раскладушке, оперся на ее край; проступали в лунном сумраке его колени; потом его рука стала шарить по одеялу: он, вероятно, искал папиросы. Сказал:

— Когда твоя мать вернулась, десять дней она пробыла в Москве. В августе месяце. Каждый день ходила в Военную прокуратуру и каждый день ждала реабилитации одного профессора, он тоже должен был вернуться *оттуда*. Его фамилия Николаев. А они когда-то шли по одному делу. Твоя мать наводила справки у новых уже тогда следователей, которые занимались реабилитацией, в том числе и этого профессора. В архивах искала какие-то документы.

— Она жила у тебя? Здесь?

— Я снимал тогда комнатку на Садовой. Я женился и с отцом уже не жил, а когда бросил институт, были крупные объяснения: он считал меня неудачником, а я его — великим краснобаем. Но в ту пору я ездил на Арбат чаще, чем сейчас. Вот там однажды я и увидел твою мать: вошла маленькая женщина с рюкзачком, сказала, что ей нужно к профессору Грекову. Была в телогрейке, в каких-то туфлях парусиновых. Я в гостиной сидел, курил... А когда она вышла из кабинета, отец почти в истерике выскочил за ней, едва не рыдал, сам был не свой — таким я никогда его не видел. Помню, он кричал: «Это чудовищно! Это фальшивка! Они обманули тебя! Ну, убей, убей меня, Вера!» Заметил меня и сразу дверь в кабинет захлопнул. А я подошел к ней, спросил, кто она, откуда. Тогда по всему понял: после разговора с отцом, конечно, не останется она на Арбате, а больше ей негде было... она ночевала у меня. В общем, братишка, вот так я ее и увидел.

— И что? О чем они говорили?

— На следствии твоей матери показали одну характеристику. Было на нее состряпано дело по быстренькому

доносу ее коллег, обвинили ее черт-те в чем: в антимарксизме, во всех смертных грехах, в каких можно было в те годы обвинить. Похоже было, сводили счеты под общий шумок, клеветали не оглядываясь. А она просила у следователя только одного: чтобы он обратился к старым большевикам, знающим ее с революции. Надеялась: тогда против нее отпадут все обвинения, тогда все станет на свои места. Следователь, видимо, сам несколько сомневался в составе целой горы туманных преступлений и через неделю объявил, что по ее просьбе обратился, и обратился даже к самому близкому для нее человеку. К человеку весьма уважаемому, к известному профессору. Более того, к ее родному брату. И показал характеристику. И прочитать дал. В общем, ясно, что это было за сочинение?.. Вот тогда твоя мать после возвращения и задала отцу вопрос, как же он мог решиться написать такое... Потом она уехала. А он слег с инфарктом. Пролежал в больнице три месяца. Вернулся домой как тень, даже глаза остекленели. Вот так, брат... И дело, конечно, даже не в том, помогла бы ей эта характеристика или нет... Гнуснейшая сама по себе история, и я до сих пор не пойму — малодушие это было или контузия страхом? И знаешь, все эти годы он суетится этаким добреньким старичком, направо и налево одалживает деньги студентам до стипендии, а вызывает у меня какую-то жалость. Именно жалость. И чувство вроде тошноты, будто воску наглотался. Иногда думаю: может быть, много лет замаливает грехи? В общем, у него теперь такой возраст, когда, как говорят, о душе и боге начинают думать...

Никита уже плохо слышал, что говорил Алексей; металлический непрерывный звон сверчка соединялся с ударами крови в висках, и ему казалось: тяжелая жаркая темнота душно наваливается на него. Он, напрягаясь, смотрел на низкие ветви над головой, на раскаленный до багрового свечения край луны за ветвями и, с трудом проглотив комок в горле, наконец выдавил:

— Но почему?..

Не отвечая, Алексей прикуривал, чиркал спичкой — резко брызнул огонек, полоснул по широко раскрытым глазам Никиты, и он увидел хмуро блеснувший взгляд брата, собранные на лбу морщины.

— Это же самое спрашивал у него я,— странно спо-

койно ответил Алексей.— Он все отрицал, говорил, что его оклеветали, использовали его имя в фальшивке. Но разве бы он сказал мне правду? После этого надо стреляться, брат! — Он швырнул недокуренную папиросу в траву и, телом качнув раскладушку, лег.— Ладно. Все. Кончено с этим. В общем, пора спать!

Он прерывисто через ноздри вдохнул воздух, затих, и в этом наступившем молчании туго выросла давящая тишина лунного воздуха, спящего города, его улиц, дворика; и в этой расширенной молчанием пустоте — сверлящее, как пульсирующий ток в ушах, цвирканье сверчка. И эта особенная, ощутимая пустынность ночи, и эта неожиданная откровенность Алексея, которую Никита не мог еще полностью осознать, и то, что они оба не спали среди давно заснувшего дворика,— все это вдруг сблизило, соединило их, и Никита ждал, что Алексей скажет сейчас еще нечто особенно необходимое, нужное, точно и до конца понятое им, после чего все станет до конца ясным, но тот молчал, и что-то темное, плотное, безмолвное навалилось на Никиту, мешало ему дышать.

О том, что он услышал от Алексея, мать никогда не говорила ему. Он не помнил свою мать молодой, но смутно помнил отца, кадрового полковника, погибшего на третьем месяце войны на Западном фронте.

В начале ленинградской блокады двоюродная сестра матери — тетя Лиза — успела уехать с Никитой в Среднюю Азию, пристроив его к какому-то эвакуируемому детскому учреждению, и там в эвакуации неисповедимыми путями дошел до них сплошь потертый, помятый, весь заугливившийся треугольничек — без обратного адреса письмецо, состоявшее из нескольких фраз, написанных химическим карандашом; это было известие от матери: она была жива. Она сообщала лишь об этом. И больше ни одной вести о ней не было.

И когда Никита, совсем не помнивший ее, знавший ее только по старой фотографии, где она была снята рядом с отцом в форме гимназистки: светлые волосы, гордая высокая шея, нежный блеск огромных глаз (отец тоже неправдоподобно молодой, в новом френче, с портупеей, взгляд весело-дерзкий), когда Никита увидел незнакомую, худенькую женщину, седую до сахарной белизны, плачущую на пороге от радости в объятиях тети Лизы и сквозь неудержимые слезы жадно глядевшую

на него: «Не узнал меня, совсем не узнал, мой сын?.. Это я... твоя мама»,— он в ту минуту еще не поверил, что перед ним его мать, в растерянности не кинулся к ней и не обнял ее, не поцеловал, еще боясь, что это ошибка и что ошиблась она...

Он помнил: после ее возвращения они долгими зимними вечерами сидели в своей квартире на Мойке возле кафельной, на полстены голландки, раскрыв дверцу печи (мать любила смотреть на огонь, ей все время было холодно, никак не могла согреться), и он видел седой пучок волос на затылке, ее тонкую руку, которой она то и дело подбрасывала в огонь поленья. И все с болью сжималось в нем, все обидно протестовало против того, как она, поймав его взгляд, улыбалась чуть-чуть смущенно, будто постоянно думала о какой-то своей вине перед ним.

Как-то он спросил:

— Скажи, мама, в чем же была твоя вина?

Она ответила, легонько касаясь его руки:

— В том, что много лет ты рос без меня. Не знаю, что было бы с тобой, если бы не Лиза. Я всю жизнь буду помнить ее, Лиза стала твоей второй матерью. Я только родила тебя. И то очень поздно. Мы ведь с твоим отцом были чудаки и считали, что в век революций не надо иметь детей.

А он смотрел на ее шею, на нежные голубые жилки на худенькой руке, на морщинки вокруг губ и, сопротивляясь, не соглашаясь, сравнивал ее облик с прежним образом матери, юной, светло глядевшей с фотографии,— та женщина была ближе ему, та женщина была его матерью много лет.

— Ты меня совсем-совсем не помнишь, Никита? — как-то сказала она, всматриваясь в его лицо, с осторожностью двумя ладонями взяла его за голову и так же осторожно, как самое драгоценное, что могло быть в жизни, прижала его голову к груди. Он ощутил мягкий родственный запах ее одежды и, обмерев, впервые после ее возвращения почувствовал, что никого, кроме вот этой седой матери, у него нет.

Никита проснулся от холода — тянуло по лицу резкой и влажной свежестью. В сером сумраке над его головой шелестели тополя, и среди шелеста возникал, колыхался другой звук, похожий на звук сдавленного женского голоса; этот звук стряхнул с него сонное

оцепенение. И, сразу вспомнив ночь, Никита лежал, задержав дыхание,— на востоке за деревьями стекленело, розовело раннее небо, из-под ветвей дуло охлаждающей влагой, наносило запах увлажненной листвы, а совсем рядом звучал и замолкал и вновь доходил до него, как из другого мира, хрупкий голос:

— Я не могу так жить, я измучилась без Наташи... Нет, я не могу без нее. Она целый год у твоей матери. В этой отвратительной Ялте. Мне каждую ночь лезут в голову страшные мысли, Алеша!

Никита не открывал глаз, но не решался пошевелиться и показать, что он проснулся и все слышит.

— Ты напрасно начала этот разговор. В смысле этих денег мы не поймем друг друга. Прости, если я был груб...

— Ты так уж спокоен, Алексей? — громче заговорила Дина, выговаривая слова с ломкой детской интонацией.— Я не могу не думать о Наташе. Ведь эти деньги нужны для нее, а не для нас! Разве я этим унижаю тебя, Алеша?

— Можно потише? — сказал Алексей.— Разбудишь Никиту. Я уже сказал, что не хочу никаких пособий, даже для Наташи. Наташа наша дочь, а не Ольги Сергеевны.

— Значит, все из-за этих несчастных денег? Зачем я их взяла, зачем я их, дура, взяла? Ты ведь знаешь, что почти все деньги мы посылаем твоей матери и Наташе. Да, им нужно, им необходимо, мы сами живем на шестьдесят рублей... И ведь я не жалуюсь, правда? Хорошо, тогда я уйду из института, Алеша. Я пойду работать в конструкторское бюро чертежницей. Я уйду...

— Ты не уйдешь. Я не позволю тебе этого сделать.

— Пойми, Алексей, Ольга Сергеевна сунула мне конверт в сумочку в передней, когда мы выходили, и сказала, что это для Наташи. Я скоро отдам этот долг. Из своих стипендий. Я хотела купить платьица, туфельки Наташе, только это. И ничего себе... Если бы я взяла эти деньги для себя, ты был бы прав! Это выглядело бы унизительно и гадко!

— Дина, ты сегодня же отнесешь ей эти сто пятьдесят рублей. И поблагодаришь за любезность.

— Но это не отец, это Ольга Сергеевна... Ты к ней не совсем справедлив. Нет, невозможно жить так, вдали от Наташи! Я возьму ее сюда, в Москву... Я вся измучилась, думая о ней!

— У Наташи слабые легкие, ей обязательно нужен юг, и ты это знаешь. С этого дня на меня не трать ни копейки. Я еще двадцать лет могу носить ковбойки. И старые гимнастерки. Я обойдусь. Проживу как-нибудь без смокинга.

— Я уже не могу, не могу без Наташи! Я привезу ее. Так будет лучше. Так будет лучше, Алексей! Для нас обоих!

— Мы ни в коем случае не должны этого делать. Мы погубим Наташу.

— Ты всех нас делаешь несчастными! У тебя вместо сердца кусок камня, ты жестокий... Ты живешь как в безвоздушном пространстве. Как будто у тебя нет ни Наташи, ни меня!

— Дина, пожалуйста, успокойся. Я прошу тебя. Ты говоришь глупости! Ближе тебя и Наташи у меня никого нет. И никогда не будет.

— Как же понять тебя, Алексей, как? Чего я не понимаю?

Никита тихо повернул голову в сторону, туда, где была спасительная розовая пустота, где не было голосов, и с закрытыми глазами лежал так, до свинцового онемения в мускулах,— затекло все тело.

Потом стукнула дверь в доме. Трещали крыльями, чивикали, сновали в мокрых ветвях воробьи, холодные капли, сбиваемые их крыльями, сыпались на лицо сверху, с листвы тополей.

«Почему она не понимает его? — подумал Никита.— Неужели невозможно понять друг друга? Но я тоже не во всем понимал мать. А она боялась, что я не пойму ту ее, другую жизнь. И молчала. Если бы сейчас... если бы она была жива, я бы сказал ей, что ни в чем ее не виню, только почему она никогда не говорила со мной о своем прошлом? От чего она меня охраняла?..»

С усилием он открыл глаза: широкое, уже горячее небо просвечивало сквозь красноватую влажную листву, ровно пылало на антеннах, на желобах, на железных крышах домов вокруг маленького, еще заполненного ранней тишиной дворика — рождалось спокойное и ясное, как радость, летнее утро.

И Никита почти через силу повернул голову к Алексею — тот лежал на спине, неподвижно глядел в пронизанный зарей густой навес тополей, потом чуть нахмурился, окликнул:

— Ты не спишь, Никита?
— Нет.
— Опять будет жаркий день. А утро прекрасное.
— Да.
— Откровенно говоря, я уже жалею, Никита, что рассказал тебе все,— сказал Алексей сдержанно.— Думаю, что ты меня правильно понял. Отец, конечно, чувствует свою вину, но в монастыри уходить сейчас не модно, в двадцатом-то веке. В общем, жизнь его тоже до полусмерти ударила. Больной и несчастный старик... Самим временем наказан... И потом, я забыл тебя предупредить: Валерий, конечно, не должен ни о чем знать. Есть, видишь ли, семейные тайны, в которые его не нужно посвящать.
— Мне ты не имел права не рассказать, Алексей.
— Тебе — да. Думаю, ты покрепче Валерия.
— Да... Но я хотел спросить... Тот профессор, который знал мать... он жив? Тот, о котором она хлопотала...
— Да, он живет в Москве. Зачем тебе это нужно?
— Я хотел бы его увидеть. Я почему-то очень хотел бы его увидеть. Просто посмотреть на него.
— Хорошо. Мы съездим.
Через час после завтрака — завтракали без Дины, ее не было дома — они сидели на ступенях крыльца и курили, легкая тишина стояла за полусумраком открытых окон, и ни звука во дворике; на солнце обсыхали отяжелевшие от росы ромашки в палисадниках; мелькали перед глазами, падали в тень под домом тополиные сережки — и всюду тихая благостность утра, жаркий солнечный свет на траве, на стенах дома. Никита чувствовал себя невыспавшимся, непрерывный звон ночного сверчка назойливо плыл в ушах, и лицо Алексея тоже было устало, непроспанно, темно-карие глаза в раздумье щурились на облетающие близ крыльца одуванчики. Никита выговорил наконец:
— Я возьму свои вещи и перееду к тебе. До завтра. Можно?
— Было бы лучше,— сказал Алексей,— если бы съездил за твоими вещами и привез их сюда я. Будешь жить у меня. Сколько хочешь. Меня ты не стеснишь.
— Нет, я сам. Мне надо еще их собрать.
— Ты сказал, что Вера Лаврентьевна просила Грекова в письме о твоем переводе в Москву? Если это так, я поговорю с профессором Николаевым, и он поможет. Думаю, что сделает это с радостью.

— Не надо об этом с ним говорить. Я не стану никуда переводиться.

— А ты как надо подумай, может, и стоит,— ответил Алексей и повторил: — Совсем рано, а уже парит. Жаркое нынче лето.

Он сошел по ступеням крыльца, открыл дверцу машины, еще влажно блестевшей под прохладным навесом тополей, с мокрым, прилипшим пухом на капоте, на подсыхающих крыльях, сказал:

— Я в автошколу. Вернусь часа в три. Твои планы?

Он начал протирать стекло. Никита, не вставая, следил за движениями Алексея, негромко спросил:

— Ты уже сейчас едешь?

— Могу взять тебя с собой. Чтобы не скучал здесь один. Правда, это утомительно. Принимаю экзамены.

— Нет. Лучше подвези меня в центр. На телеграф. Мне надо позвонить в Ленинград.

— Идет. Кстати, у тебя есть какие-нибудь ресурсы на личные расходы? Только прямо и откровенно. Могу подбросить.

— Есть.

— А если по-мужски?

— Есть. И на билет и на все хватит. Я же сказал.

— Ладно. Тогда садись. Сейчас поедем.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«Что же я делал весь день? Ничего. Ничего не сделал. Два раза звонил в Ленинград, никто не ответил. И у меня не хватило силы воли поехать к Грековым за вещами... Что я им скажу? Как я могу встретиться с ним, с Георгием Лаврентьевичем? Написать ему записку и уехать? Уехать сегодня же ночью? Да, поезд в двенадцать часов...»

Он задавал себе вопросы и не находил твердых ответов, не находил в себе определенности и ясности, которые мучительно искал и сегодня утром, и весь этот длинный день, осознанно убивая время на раскаленных солнцем улицах Москвы, около касс на Ленинградском вокзале и в томительно-бесконечном ожидании на Центральном телеграфе с надеждой поговорить по телефону с Элей, квартира которой не отвечала.

— О чем думаешь, Никитушка? Что молчишь?

Был вечер, тяжелый, душный; за бульваром край неба, прижатый облаками, и дальний пролет улицы давно цвел догорающим малиновым закатом, красный металлический отблеск лежал на трамвайных проводах, на высоких карнизах домов, на стеклах трамваев, по-вечернему лениво позванивающих под деревьями. Там по сумеречному тротуару неспешно текла толпа, шумная, летняя, пестрая, от этого казавшаяся, как всегда, беспечной, весело-праздной, шаркали подошвы, смеялись, звучали голоса в нагретом за день московском воздухе.

На бульваре еще не зажигались фонари, и заметно темнело на аллеях, густел синий сумрак под тентом закусочной; на крайних свободных столах, залитых минеральной водой, лимонадом, светились багровые озерца от заката, и лица людей в павильончике проступали размытыми красноватыми пятнами.

Полчаса назад они встретились у Алексея, не застали его дома и по предложению Валерия зашли сюда, сказав Дине, где их искать; теперь они стояли возле круглого столика, потягивали из стаканов пиво, наливая его из запотевших, вынутых из холодильника ледяных бутылок, закусывая соленой, хрустящей соломкой — есть после дневной жары не хотелось. Никита трогал пальцами влажное стекло, пил машинально, ощущая только жгучий холод на зубах, и опять смутно услышал голос Валерия:

— Что молчишь?

Никита невидяще посмотрел на его насмешливо-вопросительное лицо и ничего не ответил.

— Бывает и так — ни одной мыслишки.— Валерий округлил выгоревшие брови, засмеялся.— Это от жары. Пройдет. Поправимо. Давай умно и талантливо помолчим.

Никита молчал, сжимая пальцы на запотевшем стакане; его настораживало, сковывало присутствие Валерия; даже представилось невозможным, что Валерий не знает того, что мучительно не отпускало его целый день, что они пьют пиво за одним столом, и почти необъяснимое возникало раздражение, неприязнь к смешливому самоуверенному голосу брата, к его загорелому подвижному лицу, которое казалось сейчас фальшиво оживленным.

— А все-таки,— вдруг резко выговорил Никита.— Почему все-таки?

— Что «все-таки»? — пожал плечами Валерий. — О чем речь? Что за вопросительные знаки?

— Нет, все-таки почему? — проговорил, злясь на Валерия, на самого себя, Никита.— Почему все-таки мы живем рядом с подлецами, знаем, что они подлецы, и считаем, что так и нужно? И вот спокойно стоим здесь и пьем пиво. И они тоже пьют сейчас чай или кофе. И все хорошо, все отлично. На это ты можешь ответить — почему?

— О, господи, помилуй! — сказал Валерий и скользящим жестом длинной руки чокнулся со стаканом Никиты.— Куда это тебя понесло, Никитушка? Что за пессимизм? Откуда такие мыслишки? — Он отхлебнул пиво, с аппетитным хрустом стал грызть соломку.— Что-то я сейчас далек от того, чтобы копаться в отвлеченных нравственных категориях! А тебя, собственно, почему угораздило?

— Все-таки ты гигантский мыслитель нашего времени,— сумрачно усмехнулся Никита.— Это я понял. Еще в первый день. Впрочем, не отвечай мне. Пей пиво.

Валерий, не обижаясь, возразил с полупоклоном:

— Благодарю. М-да, старик, мы все дружными рядами сражаемся со злом, которое, конечно, нетипично и вымирает,— подмигнул он, делая притворно серьезное лицо.— Ты об этом, Никитушка?

— Если хочешь...— задиристо проговорил Никита.— Если хочешь, об этом! Но это не ответ. Это ерунда! Фразы твоего любимого профессора Василия Ивановича! Я это уже слышал.

— Какие ответы? Они ясны, как вот эта соломка! — Валерий покрутил шеей, потянул книзу распущенный узел галстука, облокотился на стойку.— А что такое подлец? С какой стороны подходить к этому понятию? Какова же платформа? Наказывать подлецов, преследовать, искоренять и прочая и прочая? Тогда, простите меня, мы перейдем к методам зла, от чего упаси боже. Так? Если нет...— Валерий вздохнул и продолжал с легкой игрой красноречия:— Если нет, тогда, братец, хочешь или не хочешь, придется согласиться, что в мире существует более или менее равновесие. Появился Христос — его распяли. Но остались ученики. Опять же равновесие добра и зла. В Австралии уничтожили всех хищников-сов, так кролики расплодились — спасу никакого нет. Пришлось снова разводить сов. Вульгаризатор я, а? Черта с два. И простите, пожалуйста! Появится Христос — ему снова

начнут орать: «Уксусу!» Так и будет. Жизнь — амплитуда маятника. Подлецы — и честные. Мерзавцы — и беззащитные чудаки. Таланты — и бездари. Борются, возятся, но уживаются. Так было, так есть. Когда этого не будет, тогда нас не будет. Все предельно ясно.

— Неужели? — сказал Никита.— Тебе все предельно ясно?

— Эт-то уже что — разъедающий скепсис, Никитушка?

Валерий поправил резинки на рукавах белой нейлоновой рубахи и бегло оглядел постепенно заполняющийся павильончик — белели платья в неосвещенной глубине его, проступали лица над столиками, из сумерек бульвара доносились голоса, звучно скрипел песок под ногами входивших в закусочную. Все столики были уже заняты.

— Распространяемся о высоких материях, а достать две бутылки холодного пива — наиважнейшая проблема в жаркий вечер, когда народ попер. Однако попробуем... Где наша Людочка? — спросил он беспечно-игривым тоном, каким, видимо, обычно разговаривал с женщинами, и, увидев обслуживающую павильон официантку, пригласил ее к столику решительным и вместе с тем ласковым наклоном головы.— Людочка, будьте любезны,— заговорил он мягко, когда она подошла, вся чистенькая, беленькая, в накрахмаленном передничке, светясь готовыми к шутке, чуть настороженными глазами.— Представьте, мы погибнем, если вы не откроете холодильник и не вытащите из того левого уголка еще две бутылки пива! Для директора Горпромбазаторгапошива. Вот для этого мальчика. Если нет, я готов взглянуть на физиономию вашего директора.

— Нет, я бы выпил водки,— внезапно сказал Никита.— Не пиво, а сто граммов! Терпеть не могу пива.

— Вот видите, что делается! — развел руками Валерий.— Он самоубийца-самоучка. Пить водку летом — это все равно что щеголять сейчас по улице Горького в тулупе. Ну так вот. Двести граммов и, конечно, бутерброды не годичной давности. И конечно, две бутылки пива. Антарктического холода. Вы нас вразумительно поняли, Людочка?

— Я поняла вас, мальчики.— Она, улыбаясь, закивала им, как давним знакомым, и отошла, покачиваясь на каблучках.

Валерий посмотрел вслед ей, значительно поднял палец, сказав с грустным восхищением:

— Какие девочки ходят вокруг нас! А мы, олухи, хлопаем ушами и дерем горло, решая никому не нужные проблемы! Чушь!

— Да, чушь! — запальчиво перебил его Никита.— Ты городишь чушь! Подобное красноречие я уже слышал. У нас в Ленинграде слышал. На своем факультете. На дискуссиях. Океан слов. Монблан логики. Все всё знают! Абсолютно все. На всё готовы ответы. Ты говоришь, равновесие! Да? Значит, жизнь — это амплитуда маятника? Вправо, влево — равновесие. А как же тогда честным жить? Качаться на весах, поплевывая вокруг? Увидел гармонию мира на гастрономических весах? Если подлецы почувствуют равновесие, они всегда перевесят. Подлецы — это хищники, это твои совы! Некоторым это выгодно — твоя философия! И знаешь, эти хищники с удовольствием взяли бы тебя в свои теоретики! Предложи свои услуги — будут в восторге!

— Вот это выдал курсивом! — воскликнул удивленно Валерий и опять поправил резинки на рукавах.— Слова не мальчика, но мужа. Подожди...

И в ту же минуту он ласково ужаснулся, выказал улыбкой свои белые зубы подошедшей Людочке («Ах, какое вы золотце!»), ловко снял с подноса овлажненные бутылки пива, графинчик водки, разлил в рюмки и затем, провожая глазами опять заскрипевшую по песку каблучками Людочку, сказал:

— Так или иначе — за скрип каблучков! Пока есть в мире скрип каблучков, все проблемы как-то разрешимы. Ты прости меня, конечно, Никита,— заговорил он, не без наслаждения отдуваясь после глотков холодного пива.— Но я сдаюсь, я подымаю руки, я до одурения устал! А, хватит об этом! До тошноты надоело. Лучше поговорим о Людочке, например. Хороша, а? — Он отпил из стакана, засмеялся, взглянул на Никиту, но глаза Валерия не смеялись, только зубы блестели на загорелом лице.— А не о том, почему да отчего...

— Что «отчего»? — сказал Никита, точно слыша и не слыша Валерия.

После выпитой водки не наступило облегчения, а стало жарко, тесно, колюче сдавливало в горле; и Никита все сильнее чувствовал едкое, тоскливое отчаяние от слов Валерия, от его спокойной ядовитой правоты и неправоты. И он с отвращением потянулся к графинчику

с водкой, но не налил — заранее представил сивушный вкус, запах водки, и его замутило даже.

Поздний закат мерк, потухал за бульваром, за неоновыми буквами назойливо ползающих по крышам кинореклам, над шумящей на аллеях толпой, просачивался сквозь ветви в еще темный под тентом павильончик, черно-багровым пятном горел на влажном пластике стола, на стаканах с пивом, ало вспыхивал на запонках Валерия, зыбкими бликами окрашивал лица за столиками — и в этом освещении было нечто нереальное, отчужденное, зловещее, как в полусне. «Зачем мы говорим все это? — подумал Никита.— Все это бессмысленно и не нужно. А мать умерла. И Валерий знает, что она умерла, и я знаю: ее уже нет. Мамы нет... А все осталось как было, и никто из этих людей не знал ее. И мы вот здесь зачем-то в павильончике, пьем отвратительное пиво, водку, и я пью зачем-то, и закат над домами...» И Никита сказал вслух:

— Не так! Совсем не так...

Разом рассеяв сумерки, зажглись вокруг фонари, загорелись матово-желтые шары в ветвях, электричество брызнуло среди листвы на аллеях бульвара; и под тентом павильончика мигом стало оживленнее, многолюднее, отчетливее зазвучали голоса, везде возникли молодые лица, нежно загорелые плечи девушек, спортивные безрукавки, летние платья; смешанно тянулись над столиками дымки сигарет; и Валерий, с любопытством оглядев своими яркими глазами освещенные столики, сказал:

— Что, не так? Ты напрасно набросился на меня, когда я сказал о равновесии. Хочешь знать, откуда оно?

— Ну? Откуда?

— Наши бабы, к примеру, жалели даже пленных немцев. Вот тебе. А зло, Никитушка, должны ведь люди судить! А у них не хватает на это зла. И может быть, слава богу?

— Нет, не так. Совсем не так. Мы не должны спокойно жить рядом с подлецами.

— Братишка, не надо пессимизма, все само собой придет к лучшему. Последовательно и тихо. Лет через пятнадцать все будет прекрасно. Но моя совесть — моя крепость. С некоторых пор я создал себе новую религию — совесть. Лично я не делаю подлости. Никому. И исповедую это. Но это моя совесть. И если каждый так — все образуется. Кстати, десять заповедей: не убий,

не укради, не воззрись на жену соседа своего и так далее — далеко не глупы!

— Это известно еще из Библии...

— Похожее есть и в моральном кодексе. Но с иной классовой подоплекой. Ну ладно! А Волга меж тем впадает в Каспийское море, лошадки меж тем кушают овес. Еще добавим?

«Он создал себе новую религию — свою личную совесть. И он спокоен и уверен в себе? Неужели он так уверен в этом?» — напряженно думал Никита, уже не понимая, почему Валерий говорит обо всем легко, с оттенком иронии, как бы подчеркнуто не желая никому навязывать своих суждений. И, загорелый, с белокурым ежиком волос, он улыбался, поправлял, сверкая запонками, резинки на рукавах, и все свидетельствовало о том, что он бодр, доволен собой, здоров и вот успел загореть где-то на пляжах и что никакие изменения не смогут изменить его жизненную позицию, которую он тщательно продумал и выбрал.

«Он такой все время? Тогда он тоже спорил и сразу же помирился с тем ортодоксом профессором...— подумал Никита, вытирая пот со лба, поражаясь этому самоуверенному спокойствию Валерия.— И он может любить отца? И разговаривать с ним каждый день? А что, если он услышит и узнает то, что знаю я? Он тоже будет оправдывать его? Говорить о совести? О десяти библейских заповедях?»

— Я хотел... Вот скажи, Валерий, кто ты мне? — после длительного молчания произнес Никита.— Мы считаемся родственниками? Так, кажется?

Валерий высоко поднял брови.

— То есть? Ах да! Кажется, двоюродный брат. Шурин, зять, деверь, тесть — ни бельмеса в этом не понимаю!

— А твой отец, Георгий Лаврентьевич,— мой дядя?

— Твой дядя, насколько я разбираюсь в этом генеалогическом древе,— ответил Валерий.— Короче говоря, не сомневайся, Никитушка, мы оказались родственниками. Могу заверить справку в домоуправлении. С печатью.

— А я почему-то сомневаюсь в этом,— выговорил Никита.

— Это почему же? — удивился Валерий, явно задетый его тоном.— Что за чепуха?

— К черту! Все! Не будем выяснять родственные от-

ношения! — И Никита, едва сдерживаясь, договорил тише: — Это неважно. Это не играет никакой роли. Никакой.

Некоторое время Валерий молча глядел на Никиту с пытливым вниманием, потом заговорил миролюбиво:

— Слушай, братень, тебе не очень понравился, видимо, твой чудаковатый дядя? Вполне допускаю. Старик все время играет под чудака профессора, как в старом МХАТе. Из какой-то классической пьесы.— Валерий улыбнулся.— А в общем, скажу тебе, он вполне современный старикан. Либерал. Дипломат. Обтекаем. Но не так уж плох. Ты знаешь, когда Алексей женился и поссорился с ним...— Валерий не договорил, предупреждающе стукнул ладонью по столу.— К слову! Затормозим на этом. Сам идет, ша! — и приветливо замахал рукой: — Алеша, сюда, мы ждем! Где запропастился?

С бульварной аллеи под тент вошел Алексей, скользнул взглядом по многолюдному павильончику, остановился, рассеянно подбрасывая монету на ладони, и, лавируя меж стульев в проходе, зашагал к столику, издали увидев их.

— Привет, гуляки! Крепко держите оборону, вижу.— Подойдя, он сунул монету в карман.— Заканчиваете или еще нет? К сожалению, сейчас не могу присоединиться. Нам с тобой, братишка, через полчаса надо заехать в одно место,— сказал он деловым тоном Никите.— По моим делам, но беру тебя. Я звонил сейчас. Кто расплачивается?

— Черт возьми, так быстро? Раскошеливаюсь я... Остаток летней стипендии — девять рублей наличными.— Валерий вынул трешки, похлопал ими о край стола.— Где наш обслуживающий персонал в образе Людочки?

— Разгулявшиеся волжские купчики,— сказал Алексей, сердито темнея глазами, и подозвал официантку: — Пожалуйста, счет.

Людочка приблизилась, покачивая белым передничком, заулыбалась всем троим, вырвала из книжечки счет, подала Алексею, сказала нежным голосом:

— Приходите к нам еще, мальчики.

— А вы знаете, я не уйду! — очень решительно заявил Валерий и сделал вид, что не хочет уходить.— Буду торчать здесь до тех пор, пока не выгоните. Если вы против, тогда где у вас жалобная книга?

— Жалобная? — переминаясь на каблучках, наморщила носик Людочка.— Разве вы недовольны?

— Именно. Я впишу туда огромными буквами, что вы вдребезги...

— Простите, нам трудно участвовать в этом разговоре,— сказал Алексей, не принимая шутки, и тронул Никиту за рукав.— Пошли. До завтра, Валерий.

Они вышли из павильончика на освещенный фонарями бульвар и двинулись по аллее сквозь толпу гуляющих на улицу. Город за бульваром еще стоял в дымном вечернем зареве; за деревьями близко позванивали трамваи, мелькали через листву раздробленным светом окон, огненно сыпались искры с проводов, как под точильным ножом.

Перейдя улицу, Никита спросил возле машины:

— Мы едем к нему?

— Да. Он был хорошо знаком с твоей матерью. Его звать Евгений Павлович. Тот самый профессор, за которого хлопотала Вера Лаврентьевна. Сказал, что немедленно хочет познакомиться с тобой.

— Я тоже хочу поскорей его увидеть.

Они сидели в темноватом кабинете на первом этаже старого московского дома в Скатертном переулке.

В квартире профессора Николаева все было запущено, разбросано, загромождено широкими шкафами; отовсюду веяло давним устоявшимся запахом тронутых временем книг; и кабинет профессора тоже был перегорожен стеллажами, безалаберно завален кипами газет, журналов; со стен поблескивали запыленные старинные картины, непроницаемо скорбно смотрели овальные лики икон, зловеще оскаливались в простенках раскрашенные маски, вырезанные из дерева, каменные и костяные статуэтки стояли на полках. Кабинет был густо заселен всем этим; раскладная лестница поставлена сбоку зажатого стеллажами письменного стола, на котором из-за груды папок распространяла зеленый свет настольная лампа.

Однако в разительном несоответствии с этой безалаберностью профессор Николаев был одет строго и аккуратно, как на прием: черный, с широкими старомодными лацканами пиджака костюм, топорщившаяся на груди крахмальная белизна сорочки, булавка в галстуке. Короткая седая бородка подстрижена, лицо чисто той особой прозрачной старческой чистотой, которая бывает

на склоне лет у людей, проведших всю жизнь в окружении книг. Был Николаев не совсем, видимо, здоров. Он, сутулясь, сидел в громоздком кресле, гладя сонно разомлевшую на коленях кошку, то и дело внимательно взглядывал на Никиту, говорил неторопливо, с одышкой:

— Я был знаком с вашей матерью недолго, но никогда не забуду... Это была кристальной... святой чистоты женщина, до конца преданная науке. Ведь ваша мать была весьма талантливый ученый. У нее было уважаемое среди коллег имя. Ее книга о народовольцах — блистательное, принципиальное марксистское исследование, которое и сейчас не потеряло ценности! А она написала его в те годы, когда по некоторым обстоятельствам начинался «плач и скрежет зонбом», простите за цитату церковнославянскую. К сожалению, тогда я занимался эпохой Ивана Грозного, лично не знал Веру Лаврентьевну, знал лишь, что она блестяще преподает в Ленинграде, любимица студентов... А встретились мы в так называемых холодных местах, когда случилось несчастье с Верой Лаврентьевной и также со мной. И тогда я поразился честности и мужеству этой молодой красивой женщины. Она была очень красивой, ваша мать, в те годы...— Николаев закашлялся и, сдерживая кашель, сотрясаясь всем телом, перевел дыхание.— Это пустяки, это астма пошаливает, знаете...— заговорил он, отдышавшись.— Иногда вот этим дурацким кашлем пугаю новичков-аспирантов, со всех ног бегут за водой и краснеют от неловкости. Не обращайте внимания.

«А я не видел ее молодой. Только на фотокарточке»,— хотел сказать Никита, но, стесненный этим отрывистым, бьющим кашлем, сидел в тени стеллажей, молча, без движения наблюдая оттуда за Николаевым, не пропуская ни одного его слова. И, замерев, представил на минуту тусклое, осеннее окошко в незнакомой комнате, безрадостно-серые каменные стены и в той комнате мать — почему-то с руками сзади, стоявшую у стены; представил ее спокойной, еще не добела седой и пугающе худенькой, похожей на старую учительницу, какой она вернулась, а высокой, стройной, молодой, какой помнил ее на той давней фотографии и какой хотел видеть всегда.

И, ясно вообразив мать молодой, Никита даже задохнулся от острой нежности, горько обжигающей и сладкой, не ощутимой им так раньше, и вдруг спросил со щемя-

щей надеждой услышать от Николаева то, что ему хотелось сейчас услышать о той, незнакомой ему матери:

— А потом вы увидели ее уже после реабилитации?

— Да!.. Мы разговаривали с Верой Лаврентьевной вот здесь. Несколько раз. У меня,— сказал Николаев, оживляясь, и обвел рукой комнату.— Меня реабилитировали после. Но она не забыла, вспомнила... И хлопотала... Ходила везде и в ЦК. Наводила справки, узнавала. Я многим обязан Вере Лаврентьевне, очень многим!.. Может быть, жизнью. Это была прекрасная женщина, перед которой хотелось встать на колени.

Никита вздрогнул от трескучего, задыхающегося кашля, заметил, как Алексей, молчавший во время этого разговора, опустил глаза к книге, которую листал на столе; приступ астмы сотрясал и бил Николаева, лицо его стало красным, белели только седые усы да аккуратно подстриженная бородка.

Разбуженная кашлем кошка встревоженно спрыгнула с его коленей, в полутьме фосфорически замерцала снизу зрачками, недовольная, потянулась около ножки кресла, и профессор Николаев короткими глотками вдохнул воздух, смеясь сквозь слезы, махнул рукой.

— Извините, насмерть перепугал Василису. Сиамские кошки не любят шума!

Скрипнула дверь за стеллажами, и в комнату твердой походкой вошла сухощавая, с мужской осанкой, с мужскими чертами лица женщина в белой кофточке, вправленной в черную юбку; строго блеснула стеклами очков в металлической оправе; голос у нее был густой, грубоватый, голос много курящей женщины.

— Евгений Павлович,— проговорила она укоризненно.— Не хватит ли на сегодня? В десять часов у тебя аспиранты. Не превращайся в донора. У тебя все-таки астма. Вы же знаете, Алексей...

— Конечно,— ответил Алексей.— Простите, Надежда Степановна.

— Кстати, наша машина опять плохо заводится, что-то свистит в моторе, и какая-то с ней ерундовина. Мы опасаемся, что она на глазах развалится. После того как вы ее отремонтировали, мы не знали забот, а потом шофер залез в какой-то кювет за городом — и пожалуйста.

— Я посмотрю завтра, Надежда Степановна. Это несложно.

— Нет и нет! Ни в коем случае! — вскочив с кресла, воскликнул Николаев и заходил в маленьком закутке меж стеллажей.— Я их не отпущу! Они ведь не фотокорреспонденты и не иностранные интервьюеры. Я чрезвычайно рад, что они пришли. И Алексею... и... ты знаешь, кто этот молодой человек? — И он, закинув руки за спину, размягченными глазами указал на Никиту.— Это сын Веры Лаврентьевны. Это ее сын! Ты можешь это представить? Ее взрослый сын...

Надежда Степановна неторопливо обратила строгие стекла очков в сторону Никиты, поглядела на него с придирчивым интересом, перевела взгляд на кошку, трущуюся о ее ноги, сказала низким, прокуренным голосом:

— Я возьму к себе Василису. Ее пора кормить. Тем более что она ожидает котят.

— Оставь ее, пожалуйста, у нас. Пусть себе,— попросил Николаев по-детски капризно.— Я больше не буду кашлять, честное слово. Несчастная деревенщина, она совсем не приучена к шуму. Я привез ее из Вьетнама в позапрошлом году. Она иностранка. Можно нам договорить, Надюша?

— Но не увлекайся. Поставьте, Алексей, на место «Новую Элоизу». В этом издании ее не читают. Она рассыплется в ваших руках.

— Извините, Надежда Степановна,— ответил Алексей и послушно поставил книгу на стеллаж.

Надежда Степановна еще раз с ног до головы оглядела Никиту из-под очков и вышла тяжелой, мужской походкой, плотно закрыв за собой дверь. Шаги ее еле слышно звучали за стеной в другой комнате. И как только вышла она, Николаев остановился меж стеллажей, сохраняя на лице то странное, ласково-капризное выражение, какое было у него, когда он разговаривал с этой женщиной, и, как бы оправдываясь перед Алексеем и Никитой, заговорил сконфуженно:

— Эта строгая женщина — моя домоправительница, вернее — помощница. Природа, обделяя человека красотой, часто вкладывает в него красивейшую душу. Она всю жизнь жила вместе со мной и всю жизнь посвятила моим сомнительным исследованиям русской культуры. Она, только она спасла самые ценные книги из моей библиотеки, которую я собирал с юности. Вот эти иконы тринадцатого века, эти картины... Вот на этой полке первое, самое первое издание «Капитала» Маркса. Вот

здесь Ленин — «Государтво и революция», уникальный типографский экземпляр. Здесь вот вся история нашей России. Всех авторов и всех изданий. Вы, Алексей, держали в руках «Новую Элоизу», редчайшее издание с пометками самого Балуа. Эту ценность подарил мне в двадцать восьмом году один профессор Сорбонны на конгрессе историков. Это вот полка Геродота, Светония, Плутарха. Здесь неиссякаемые аккумуляторы человеческого ума, поисков, страданий, опыт многих поколений. Тысячелетий! Я собирал ее по крупицам. Ценнейшие экземпляры первых русских повестей, апокрифы, найденная мною в тридцатых годах переписка декабристов. Письма Герцена, письма Ленина Горькому. Но главное — подробнейшие исследования рефлексов человеческого духа. Как же без всего этого?.. Без истории, без правды истории мы дети, только лишь дети, лишенные душевного опыта, лишенные высокой мудрости, готовые повторить мучительные ошибки, которые уже делались до нас! И мы не имеем права на эти ошибки. Нам историей запрещено делать ошибки, потому что наше общество — это светлейшая надежда человеческая. Тысячи гениальных умов мечтали о таком обществе с начала истории мысли. Вы удивитесь, но, может быть, и Джордано Бруно, совсем не коммунист, сгорая на костре, думал об обществе свободы, науки и гуманизма. Да, как это ни парадоксально, в каждом бунтаре в той или иной степени жила наша революция. И мы не имеем — да, да! — не имеем права на ошибки, на всякие болезненные зигзаги, знаете ли, фигурально выражаясь. Да что там — в конце концов можно преодолеть случившиеся заблуждения и аномалии, как бы ни были они трагичны. Можно, да! И много уже сделано, слава богу! Но черное запоминается надолго, оно поражает и живет в памяти, подобно тому как дьявол — страшнее бога! А в нашей жизни, как ни в одной другой формации, ведь целая гамма красок, прекрасных порывов, энтузиазма. И это тоже истина. О, как я не терплю однолюбов, ведь, в сущности, они равнодушны. Их уверенность не перерастает в веру. А в этих книгах есть страдание за людей, есть вера в истину!

Николаев, неуклюже высокий в своем наглухо застегнутом черном старомодном пиджаке, говорил внятно, с возбужденной хрипотцой, поворачивался в тесном проходе между полками в зеленом световом коридоре от

настольной лампы. А вокруг неподвижно стояли, блестели тиснениями, светились тускнеющей позолотой, по-старинному темнели корешки книг, окруженные плоскими и древними ликами икон,— книги разных столетий, великих мудрецов, когда-то живших, мучившихся, доказывавших, искавших истину, но давно умерших, как умерли и те, кто ничего не доказывал, никогда не мучился и не хотел знать ничего выше простых, как глоток воды, желаний. И может быть, эти люди, не оставившие после себя истинность веры, кто никогда не мучился страданиями других, были довольнее, сытнее, счастливее тех, кто доказывал, боролся и мучился. Неужели счастливее? Нет, наверно, просто спокойнее — спокойствием равнодушия...

Когда-то казалось странным — мать после возвращения, уже преподавая в институте, часто с тихой горечью говорила о сожженной в блокаду своей библиотеке; потом она все время покупала книги, знакомилась с букинистами, тратила безжалостно деньги и как-то однажды сказала: «Так легче думать. Я без них соскучилась. С ними нет одиночества»,— и улыбнулась виновато, кротко, как умела улыбаться, когда разговаривала с Никитой.

И Никита, вспомнив эту ее непонятно робкую, просящую извинения улыбку, глядел на забитые книгами полки в темноватом кабинете Николаева — такие же были и в комнате матери, и в кабинете Грекова на Арбате — и поразился этому противоестественному сходству.

— Кажется, нам пора,— вполголоса напомнил Алексей, и Никита, очнувшись, услышал, будто из зеленого тумана, глуховатое покашливание Николаева.

— Только, ради бога, не жалейте мою астму. Это, как говорят, детали. Это еще преодолимо. Я вас никуда не гоню! Боюсь только, что я вас заговорил. Но я уже далеко не молод и часто думаю об этом после собственного трагического опыта. Да, невымытые стекла не должны подвергать сомнению красоту огромного дома, который всей историей суждено нам построить. Именно нам — модель дома, образец для человечества.

— Нет, вы нас не заговорили,— сказал Никита и поднялся вслед за Алексеем.— Но можно еще вопрос?

— Любой.

— Евгений Павлович, вы знаете профессора Грекова? Вы знакомы с ним?

— Женя, десять часов! — раздался в дверь требовательный стук Надежды Степановны.— Ты слышишь?

— Греков? Вы спрашиваете о профессоре новейшей истории Грекове? Я знаю его, но мы весьма давненько не кланяемся друг другу. Этот человек имеет довольно известное имя, но это имя, мягко говоря, отдает запахом малоароматического свойства, простите за резкое сравнение! — сгорбленно стоя перед стеллажом, проговорил Николаев.— Я прекрасно помню вашу мать, эту святую женщину, и не счел нужным говорить о ее брате! Я жалею, что не виделся с ней в последние годы. Безумно жалею...— Николаев все стоял спиной к ним, горбясь, слепо ощупывая корешки книг.— Я не верю в ее смерть... Никак не верю. Не могу согласиться. Вот здесь была ее книга, не могу найти... Но я рад, бесконечно рад, я счастлив, что вы зашли ко мне и я познакомился с вами, с ее сыном. Я хочу, очень хочу, чтобы вы всегда знали...— Николаев с влажно-размягченными глазами повернулся, кашлянул, потрогал локоть Никиты,— что здесь, в Москве, ее не забыли, нет, нет! Где вы... к слову, остановились?

— Он остановился у меня,— быстро сказал Алексей.

— Обязательно заходите. Я буду счастлив вас видеть, именно счастлив. Не забывайте меня, хотя я и кашляющий и слишком многоречивый субъект. Но я знаю свою слабость. И могу говорить поменьше, если хорошенько постараюсь.

— Спасибо вам за все, Евгений Павлович,— проговорил Никита, несильно пожимая его сухую, костистую руку.— Я хотел узнать у вас о матери...

Когда выходили в тесную, тоже заставленную книжными шкафами переднюю, неярко, желто освещенную бра, с туманным зеркалом в углу, Никита, несколько смущенный, увидел: из-за приоткрытой боковой двери строго поблескивали в полутьме очки женщины с мужским лицом.

Они сели в машину. Во дворе было темно. Фонари горели за тополями на улице.

— Он любил Веру Лаврентьевну,— помолчав, сказал Алексей.— Это ясно.

— Алексей,— глухо проговорил Никита.— Никогда не поверю... После того, что было, она не могла просить Грекова! Чтобы он помог мне... чтобы я жил рядом с ним? Все ведь не так! Это неправда! В письме этого на-

верняка не было! Не верю ни одному его слову! Скажи, Алексей, почему ты жалеешь его? Почему?

Включив мотор, Алексей положил руки на руль и, опустив лоб на кулаки, долго сидел неподвижно; чуть сотрясались стекла от работы двигателя.

— На этот вопрос трудно ответить, брат.— Алексей поднял голову.— Отца я не люблю, но он все-таки мой отец. И он болен. А лежачего не бьют. Это за гранью. Ты понял? Да, я жалею и не люблю его. За его трусость. За то, что не выстоял. На фронте за это отдавали под суд военного трибунала. Но мы давно живем по законам мирного времени.

— Жалеешь? Он лежачий? Не заметил! Дает интервью, полный дом гостей... бегает, смеется, произносит идиотские речи! Ты веришь, что он болен? Какой он лежачий?

— Вся его бодрость — самозащита и камуфляж. А вообще, наверно, рановато, Никита, я рассказал тебе эту историю. Но ты не похож на кисейную барышню, и я не мог тебе врать, когда ты спросил. Когда-нибудь ты должен был узнать. Но что бы ты хотел, брат,— суд над ним, тюрьму? Свершилось бы, как говорят, возмездие — и что? И все были бы удовлетворены? Знаешь, крови и мщения жажду — это уже опять возвращение черт-те к чему, и пошла писать губерния. И пошли страсти-мордасти.

— Значит, равновесие? — усмехнулся Никита.— Значит, теория Валерия? Я уже слышал похожее. И что же?

— Какая, к чертям, теория равновесия! Понятия никакого о ней не имею,— сказал Алексей, тяжело откидываясь на спинку сиденья.— Я говорю, с отцом особый случай. Знаю, что сама жизнь наказала его, когда он лежал с инфарктом.

— А если бы мать не вернулась?

— Вот что. Разреши насчет этого письма вмешаться мне, брат? Завтра я поеду к нему. Но прошу тебя без меня ничего не делать. Тебе остыть надо, братишка, обдумать все. Иначе наделаешь глупостей, понял? Ты меня понял?

— Да, Алексей, я хочу прочитать письмо матери. Я хочу убедиться. Потому прежде всего, что там обо мне идет речь.

— Сейчас ко мне домой,— хмуро сказал Алексей.

Он включил фары; машина выехала со двора.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ему открыла дверь Ольга Сергеевна; заспанная, еще не причесанная, с сеточкой на плоско придавленных волосах, с припухшими от сна глазами, она радостно-изумленно заглянула в самые зрачки Никиты, вскрикнула:

— Да куда же вы исчезли? Слава богу!..— и пропустила его в переднюю, придерживая одной рукой халат на груди, а он в ответ лишь сухо кивнул ей, как чужой, и, не задерживаясь, перешагнул через узлы, через какие-то приготовленные чемоданы в передней, а когда увидел длинный, пахнущий свежей мастикой коридор и в конце его двери кабинета, сумел выговорить только два слова:

— За вещами.

— Пожалуйста, Никита, пожалуйста! Вы разве уезжаете? А мы на дачу собрались, думали: где же вы? Куда исчезли? Куда уезжаете, зачем? Где пропадали эти два дня?

И она, услужливо забегая вперед по коридору, шелестя халатом, постучала в дверь кабинета, крикнула преувеличенно обрадованно:

— Георгий, Никита пришел! Никита к тебе!..

«Да, я все-таки зайду к нему, сейчас зайду...»

Огромный кабинет был полон утреннего солнца, оно стояло в окнах, обнажающе резко и четко освещало на полу толстый, с красными разводами цветов ковер, застекленные шкафы, темные гравюры на стенах, глубокие в белых чехлах кресла, широкий, в глубине кабинета, полукруглый, заваленный грудами книг и папок письменный стол, за которым, выпрямившись, глядя на Никиту, сидел Греков, и Никита сначала не увидел, не различил его лица — лишь прозрачный венчик седых волос светился под солнцем на его голове, легко колеблясь, как шар одуванчика.

— Оч-чень обрадован вас видеть, Никита! Очень обрадован! — донесся из этого солнечного света, из этого слепящего сияния свежий тенорок Грекова, в голосе его была жизнь, приветливость, бодрость, и этот свежий звук голоса особенно резанул слух Никиты.— А мы с Ольгой Сергеевной уже готовы были обидеться на вас! Решили, что вам не понравилось ночевать здесь! Или мы не понравились. Ну садитесь, голубчик. Отлично, отлично! Са-

дитесь в кресло, чтобы я мог вас, так сказать, лицезреть. На полчаса — рукопись в сторону. Прочь ее!

И он положил автоматическую ручку возле толстой рукописи, над которой, видимо, работал.

— Я пришел...— выговорил Никита, не садясь и с мукой и трудом отыскивая в памяти заготовленные по дороге слова о своем отъезде, о том, что он ни минуты не может находиться в этом доме по многим причинам, чувствуя, как эти слова толкались в нем гневом и отвращением и он должен был сказать их в ответ на этот свежий, бодрый тенорок, своей будничностью поразивший его на пороге кабинета.— Отдайте мне письмо матери.

«Отдайте мне письмо матери» была фраза, внезапно вырвавшаяся, и Никита, выговорив ее как бы отдаленным голосом, ужасаясь своей мерзкой нетвердости, повторил громче:

— Верните, пожалуйста, письмо моей матери.

— Не понимаю...

Он увидел лицо Грекова, качнувшееся над столом,— желтовато-розовое, мало тронутое морщинами, чистое, точно утром было тщательно вымыто и смазано детским кремом. Под косматыми, выгнутыми легким удивлением бровями голубели, наивно моргали глаза; округлые плечи поднялись так, что темная рабочая курточка с кармашками сморщилась на груди.

— Не понимаю! — повторил Греков и с наивно-серьезным выражением молитвенно сложил перед собой руки.— Вы меня ставите в неловкое положение. Письмо вашей покойной матери адресовано мне. И не только на конверте мое имя... Но и содержание. По каким мотивам я должен вернуть его вам? Я предполагаю, дорогой, что я не так вас понял... Может быть, вы поясните, голубчик?

Лицо Грекова подергивалось. Двигалась кожа лба, светло-голубые глаза стали туманными, были неопределенно устремлены в угол кабинета вроде бы в задумчивой рассеянности, а пальцы его начали отстукивать по краю стола такты барабанного марша, и почудилось Никите: он, не разжимая губ, мычал в такт этого отстукивания.

— Вы понимаете, о чем я говорю! — прерывая молчание, наконец произнес Никита.— Отдайте мне письмо. Вы положили его в сейф. Я не хочу, чтобы письмо моей матери находилось у вас!

— Мм... м? Что такое? — Греков перестал отстукивать такты марша.— Позвольте, милый, вы меня ставите в

глупейшее положение человека, присвоившего чужое! — сказал Греков, все не возвращая свой нездешний взгляд из пространства, и повторил: — Письмо? Я присвоил чужое письмо? Фантастический рассказ какой-то, Жюль Верн!.. Позвольте, позвольте... Сейчас отлично все выясним. Да, уточним, выясним, затвердим... как там в резолюциях? И все станет на свои места. Эт-то какое-то недоразумение.

Он мягко хлопнул ладонями по краю стола и, опираясь ими, бодро встал, замычав невнятный мотивчик марша, затем несколько рассеянно, вспоминающими жестами похлопал себя по всем карманам курточки, и этот затуманенный его взор, и нелепые жесты, весь его отсутствующий вид и чудаковатый, растрепанный венчик седых волос на голове, говоривший о том, что профессор не от мира сего,— все это показалось Никите фальшивым, неестественным, как и наигранно-ласковые слова его: «милый», «голубчик» — и это раздумчивое его мычание в паузах разговора.

«Уточним, выясним, затвердим...» Догадывается ли он, что́ я знаю о нем? Догадывается или нет?» — возбужденно спрашивал себя Никита, не садясь и ожидая с напряжением.

«Сейчас уточним, выясним, затвердим»,— навязчиво повторялось в его сознании, и, пытаясь сопоставить все, что он знал о Грекове, с этим его реальным обликом — седыми, разлохмаченными волосами, рассеянным взглядом в пространство, с тем, что именно он родной брат матери, Никита слышал это ненужное напевное мычание Грекова и в то же время думал, что он каждый день, много лет живет, двигается в этом своем заполненном книгами кабинете, разговаривает по телефону, читает, работает над рукописями, открывает и закрывает сейф, делает несуразные жесты руками; но это было настолько будничным по сравнению с иным Грековым, которого он хотел увидеть сейчас, что это будничное уже не могло быть реальностью. И он подумал, что не понимает чего-то необходимого, важного, беспощадного, что должен был понять.

«Он почему-то играет передо мной и разговаривает, как со своим студентом, а я знаю, теперь я все знаю о нем. Но почему он так долго достает письмо?»

— Вот, голубчик, письмо Веры Лаврентьевны. Посмотрим, разберемся. Как это сейчас на собраниях гово-

рят: «разберемся, обсудим». Еще есть такое слово — «уважить». Вы не состоите... не коммунист? Ах да... рановато. А я тридцать лет.

Совсем бесшумно захлопнулась дверца сейфа, повернулся в замке ключик. Греков опустил его в карман курточки. И, держа в одной руке письмо, теперь не бодро, а тихонько, боком двинулся к столу расслабленной походкой, шаркая шлепанцами, выговаривая не очень внятно:

— Рак, инсульт, инфаркт косят людей... Ужасно! Это — великое открытие атома в двадцатом веке. Бесконечные радиоактивные осадки. Человечество убьет себя без войны. Вы задумывались над этим? Впрочем, в ваши годы, конечно, никто об этом не думает. Ваша мать умерла от рака, если не ошибаюсь?

— А разве это важно вам? — неожиданно грубо проговорил Никита, презрительно наблюдая за Грековым, видя, как он вяло, будто нарочно протягивая минуты, усаживался в кресло перед столом, разглаживал на стопке своей рукописи письмо и потом, наклонив лоб, начал шарить рукой очки среди шуршащих бумаг.— И может быть, вы скажете, что любили мою мать? — опять неожиданно для себя произнес Никита и почувствовал, как сердце, поднявшись, застучало в висках.— Вы это скажете? Да? — проговорил он осекающимся голосом.

— Я любил ее...— строго сказал Греков, и глаза в надетых очках, как под лупой, подробно увеличились, не моргали, смотрели из-под чуть наклоненного, мраморно-белого лба, изучающе и остро ощупывали лицо Никиты.— Да, я любил ее... Мы были разные люди, но я любил вашу мать, свою сестру... И она любила меня. И верила мне. И тому доказательство это письмо...

— Неправда! — почти крикнул Никита.— Вы не имели права ее любить!

— Как вы сказали? — поднял тенорок Греков и, сорвав очки, блеснул глазами, зло и дико заголубевшими на залитом серой бледностью лице, но тотчас расслабленно осел в кресло, схватился за сердце, прижал маленькой рукой кармашек на курточке.

— Как вы смеете? Как вы могли произнести эти слова?..— замирающим шепотом забормотал Греков, дыша ртом, как при сердечном приступе, и рукой с прыгающими очками в ней указал на кресло.— Садитесь. Немедленно сядьте. И послушайте, послушайте... Вы в ужас-

ном заблуждении. Это преступно по отношению ко мне!.. Это преступно!..

Никита видел пальцы Грекова, они поползли к жестяной коробочке на столе, покопошились, отвинтили крышечку; белая таблетка валидола стукнула о зубы, и Греков некоторое время, откинув назад голову, сосал таблетку, глотал слюну, и опять донеслось то странное мычание какого-то невнятного мотивчика, какое возникало все время в паузах.

«Ему и в самом деле плохо? Или что это с ним?» — подумал Никита, уже потерянно оглядываясь, ища глазами графин с водой; но графина в кабинете не было.

Мычание прекратилось. Греков пошевелил головой, выдохнув воздух, печально улыбаясь.

— Лучше... лучше...— шепотом произнес он, кивая с благодарностью больного.— Отошло... Стенокардия. Я вижу, вы раскаиваетесь в своих словах. Спасибо, спасибо... Что ж, я могу понять.— Он осторожно перевел дыхание.— Я тоже в молодости рубил сплеча. И только потому, что мне не нравились чей-то нос, глаза, уши.

Никита молчал.

— Послушайте, ради бога, письмо... Вы просили, а я не могу вам его отдать,— обесцвеченным голосом заговорил Греков и слабо вздохнул, утомленно опустив молочно-белые веки.— Оно адресовано мне. Но я прочитаю его вам. От первой до последней строки. И вы поймете... Это записка о вас...

Он мягким, щупающим движением, словно и это приносило ему боль, надел очки, с мелким дрожанием пальцев вытянул письмо из конверта. Глядя на строчки, он долго молчал, несколько раз провел ладонью по нагрудному кармашку, успокаивая сердцебиение, потом стал читать скорбным и тусклым тенорком:

— «Не удивляйся этому письму. Все, что было между нами, ушло в прошлое. Все прошло, как во сне.

История, надеюсь, будет справедливым судьей, каждому воздаст должное.

Об одном прошу тебя. Помоги моему сыну Никите, если это в твоих силах. Я не могу обманывать себя, да сейчас и нет смысла, я слишком хорошо знаю, что скоро он останется один, а мы все-таки родственники. Если это в твоих возможностях, помоги ему. Не деньгами, нет, но хотя бы переведи его в Московский университет (в Ленинграде он один) и хоть раз в полгода узнавай, как он

живет, что делает. В его возрасте все может быть, ты понимаешь. Прошу, умоляю тебя. Вера».

Когда Греков прочитал последнюю строчку: «Прошу, умоляю тебя. Вера»,— голос его споткнулся, и увеличенные под стеклами очков глаза, выпуклые, в скорбной неподвижности застыли на лице Никиты. Греков пробормотал:

— Вот оно какое, письмо...

А Никита, глядя на стену поверх головы Грекова, не мог ничего выговорить, сидел, опустошенный, подавленный, готовый заплакать, его разум не верил и, не веря, не соглашаясь, искал страшного тайного смысла в том, что он услышал сейчас, но ничего не было страшнее, неправдоподобнее этих трех слов матери: «Прошу, умоляю тебя». Нет, он не хотел поверить им! Он знал, что у нее не было никакой переписки с родственниками, знал, что в последние месяцы своей болезни она вспоминала только покойную свою сестру Лизу. Но даже в больнице она убеждала его, что у нее не плохое здоровье, она просто невыносимо устала и это вот лежание и чтение на больничной кровати очень похожи на отдых, который ей необходим.

Он понимал, что мать обманывала его. Она чувствовала приближение смерти, как чувствовали ее и другие, кто лежал в этой палате. Он видел: все тоньше, все суше, медлительнее и прозрачнее становилась ее рука, вытянутая поверх одеяла, а глаза, ставшие темнее, углубленнее, наполовину занимали лицо, не выпуская его из поля зрения, беспокойно расширялись, спрашивали о чем-то. Иногда, робко погладив его колено, она отворачивалась к стене, пряча лицо. В те минуты он ожидал увидеть на ее щеках слезы, все сжималось в нем от любви и жалости, от бессилия помочь ей, от неотвратимости самой чудовищной несправедливости, которая может случиться с матерью, но на ее щеках не было слез, лишь дрожало горло.

Уходя из больницы, он подолгу простаивал перед железной оградой, сидел на каменном парапете, курил до сухости во рту, ничего вокруг не видя. Весь мир суживался тогда на этом дрожащем ее горле.

И Никита, готовый заплакать от тоскливого бессилия, посмотрел на Грекова. Греков сутулился, опустив голову, осторожно барабаня по записке матери, пожевывая губами, и прежний звук не то задумчивого мычания, не

то стона дошел до Никиты. И то, что письмо матери три дня лежало у Грекова в сейфе, и то, что сейчас он, убежденный в своей правоте, прочитал его вслух, и то, что письмо это ради него, Никиты, было написано матерью, до последнего дня скрывавшей страдания и боль смертельной болезни,— все это так оголенно и несовместимо представилось ему, что стало трудно дышать.

— Это не так...

— Вы сказали...

— Это не могла написать моя мать...— проговорил с отчаянием Никита, не различая собственного голоса; голос сливался во что-то глухое, отрывистое, темное, и он договорил: — Покажите... Дайте письмо...

— Пожалуйста.

Он неясно видел, как Греков, отодвинув кресло, вышел из-за стола, его вельветовая курточка, длинная, темная, с прозрачными, гладкими, точно леденцы, пуговицами, задвигалась, приблизилась, заслонила световой столб, сбоку падающий из окна; близко зашуршал, заколебался тетрадный листок, насквозь просвеченный солнцем, расплывались чернилами косо и крупно накорябанные строчки, словно бы их писал ребенок. И звучал рядом голос Грекова:

— Мы много спорили с Верой в юности — в двадцатых годах. Были молоды, наивны. До глупости ершисты. Как я жалею теперь! Как жалею! Она никак не могла этого забыть. История давно нас рассудила. Оба были не правы. Не правы.

Тетрадный листок колебался в руке Грекова, темно заслоняя и едва уловимый тихий его голос, и солнечный свет на его курточке, пахнущей чем-то душным и горьким.

«Прошу, умоляю тебя. Вера»,— мелькало перед глазами Никиты. Он прочитал последнюю фразу несколько раз; слова эти были действительно написаны матерью, и этот вырвавшийся ее крик боли сразу вызвал в нем ощущение, которого он испугался. Это было отчаяние, смешанное с отвратительной ему жалостью к необычно косым, крупным строчкам, к этой унизительной мольбе о помощи, будто мать, которой он верил, заставила его присутствовать при чем-то постыдно-страшном, цинично обнаженном, как если бы ее раздевали при нем.

«Не может быть! Она это сделала для меня! Для меня! И ни о чем другом не думала! — начал убеждать он себя.— Она уже не понимала, что делает!»

— Это не так,— опять повторил с упрямством Никита охрипшим голосом.

— Позвольте,— вскрикнул тенорок Грекова, и серебристые «молнии» на кармашках его курточки змеисто заскользили перед лицом Никиты.— Вы забыли почерк своей матери? Что? Здесь подпись! Позвольте, позвольте!

И это неожиданное «позвольте», произнесенное Грековым с возмущением оскорбленного человека, которого неуважительно затолкали в толпе чужими локтями, и эти перекосившиеся на его курточке «молнии», и этот горьковатый запах вельвета, и колеблющийся последним и неопровержимым доказательством в его пальцах тетрадный листок, косо исписанный фиолетовыми чернилами, вдруг со злым отчаянием стиснули что-то в Никите. И с мелькнувшим чувством страха от того, что сейчас сделает, он заговорил, ужасаясь тому, что говорит:

— Вы струсили и предали мать... а хотите, чтобы она вам все простила! Она в бессознании вам... Она уже не знала, что пишет, а вы думаете, что это доказательство. Вы думаете, я не знаю, что вы сделали с матерью... Вы ее предали... Вы ее никогда не любили, вы ненавидели ее!..

Он говорил и слышал дрожь своего голоса, ставшего незнакомым, обрывистым, ватным, чувствовал оглушительные удары крови в ушах, туманно видел искаженное, белым пятном отпрянувшее куда-то в белесую дымку лицо Грекова. Потом кто-то широкоплечий, маленький, с мотавшимися седыми волосами вскочил за столом, трясясь, прижав одну руку к груди, и пронзительно-голубые глаза ищуще метались на молочно-белом лице; и почему-то появилась палка, крепко зажатая в другой сухонькой руке этого человека, стучала в пол, и толкнулся оттуда, от стола, задушенный крик:

— Вон... вон из моего дома, мерзавец, молокосос! Я хотел, как родственнику... Вон!..

— Ошиблись,— проговорил Никита.— Какой я вам родственник!

И, оттолкнув с пути кресло, пошел из кабинета по красно расплывшемуся цветными пятнами ковру, такому толстому, такому мягкому, что увязал в этой мягкости, как в зыбкой густой пыли.

В дверях кабинета он на миг задержался. Возле портьеры, широко расставив ноги, засунув руки в карманы, вошедший на крик Валерий в упор, с изумленным прищуром глядел на Никиту, и Никита, резко отдернув портьеру, вышел из комнаты. Затем в полутьме коридора скользнула вдоль стены знакомая белая фигура Ольги Сергеевны, ее оголенная рука стискивала халат на груди, и вытянутое мраморное горло ее было напряжено, губы шептали исступленно:

— Что вы наделали?.. Он больной человек... Что вы там наделали?

— Он больной человек? — выговорил Никита, не в силах сдержать в себе бешеные толчки разрушения.— Идите спросите у него, кто он. Он, может быть, расскажет, кто он!..

— Я умоляю... Что?.. Что вы с ним сделали?

— Успокойтесь, Ольга Сергеевна!.. Он жив. Он еще всех переживет! А мою мать уже пережил!..

На ходу разрывая пачку сигарет, он прошел по коридору к передней, где стояли приготовленные на дачу чемоданы, ударом распахнул дверь на лестничную площадку и, не вызвав лифта, скачками ринулся по лестнице вниз.

Его горячо окатило палящей жарой утра, солнце ожгло потное от возбуждения лицо, когда он вышел из подъезда, не зная, куда идти, не зная, что делать в эти секунды, и, вынув сигарету, сделал несколько спешащих затяжек.

— Стой! Подожди!..

Он обернулся — из подъезда выбежал Валерий, останавливая его приказывающим криком!

— Стой! Стой, я тебе говорю! Слышишь, ты!..

И, подбежав, схватил за рукав, властно дернул к себе, глядя в глаза Никиты острыми, сумасшедшими зрачками.

— А ну-ка объясни, я тебе говорю! В чем отец виноват?.. Или я не знаю, что с тобой сделаю!

— Если ты этого не знаешь,— запальчиво выговорил Никита,— то и прекрасно! Что дальше?

— Стой здесь! — шепотом крикнул Валерий и опять с силой дернул его за рукав.— Жди здесь! Я выведу машину из гаража. Сейчас мы поедем куда-нибудь, и ты мне все объяснишь!.. Слышишь, ты!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Сначала были в ресторане — среди смутного багрового полусвета мерцали зеленоватой тьмой огромные аквариумы, вялыми щупальцами извивались за стеклами водоросли, сплошные малиновые ковры устилали зал, заглушали голоса, шаги официантов; и было непроницаемо тихо, прохладно, как под землей. Но оба они обливались потом — влажные рубашки прилипли к спинам, к груди,— пили коньяк и бесконечно запивали его минеральной водой; обоих мучила жажда, ни коньяк, ни боржом не утоляли ее; саднило во рту от множества выкуренных сигарет; обоих толкало куда-то непроходящее нервное возбуждение; несколько раз расплачивались, вскакивали, снова садились, бессмысленно заказывая, опять требуя коньяк; и снова пили, словно боясь уйти отсюда, не договорив сейчас нечто жизненно важное для обоих, неотложное, сущее, но уже плохо слушали, плохо воспринимали друг друга и не говорили, а кричали и, на миг опомнившись, оглядывались, едва сознавая, зачем и для чего они здесь.

Старик официант, терпеливо выжидая в красноватой полутьме стены, переминался, наблюдал их издали; иногда мягкой, выработанной походкой, неслышной по ковру, подходил к столику, возникал над ними, беспокойно-вежливо улыбаясь, поднятыми бровями спрашивая, не нужен ли счет, и так же бесшумно отходил, сгоняя предупредительную улыбку с блеклого морщинистого лица.

— Мой отец не мог... не мог! Такого уж он не мог!.. Я его лучше, лучше тебя знаю! — повторял Валерий осипшим голосом, и его потное, искаженное, бледное сквозь дым лицо наклонялось к Никите с фанатичным упрямством человека, пытающегося доказать свое.— Старик мог сделать все, что угодно, все... Я его не идеализирую... К черту ангелов, ведь их нет!.. Он мог как-нибудь по-интеллигентски увильнуть, забить па́мороки, наконец! Но чтобы предать... Свою сестру! Твою мать... Это — нет! Это конец света!.. Этого не может быть... Он не мог этого сделать! Он, в сущности, слабый старик. Только игра! Хотел всегда быть либералом. И сейчас!.. Ты ведь только предполагаешь. А это обманывает! Я тоже иногда предполагаю, а на деле — выходит совсем другое. Нет, Никитушка! Ты говори, честно говори!.. Ты только предполагаешь?..

Его лицо просило, умоляло, требовало, в нем не было того самоуверенного выражения, к какому привык за эти дни Никита, и он назойливо и близко видел подстриженные ежиком выгоревшие волосы, ищущие поддержки зрачки, загорелую шею, белую сорочку, влажные пятна под мышками и вместе с тем реально ощущал красный полусвет вокруг себя, зеленую прохладу аквариумов, какое-то серое, вафельное лицо официанта в полутьме стены, и так же — несоответственно со всем этим — порой вдруг представлял написанную больничными фиолетовыми чернилами предсмертную записку матери, ее незнакомо крупный, детский почерк... Он хотел передать Валерию содержание этой записки, но почему-то мешало его мотающееся, пьяное, требовательное лицо, низко на грудь спущенный узел галстука, это тоскливо раздражало, и все время хотелось сказать, чтобы Валерий подтянул узел: тогда, казалось, многое будет не так ужасно.

— Кто тебе наврал? — крикнул Валерий, вытирая ладонью мокрую грудь.— Кому ты мог поверить? Ну скажи, кому?

— Себе,— отрывисто сказал Никита и влажными пальцами взялся за холодное стекло бокала с боржомом, выпил, глядя в красноватый дым, волнистыми полосами наполнявший зал ресторана, на ядовито-зеленый подсвет аквариумов, где посреди непрерывного колебания водорослей, посреди их щупалец лениво виляли плавниками, механически раскрывали круглые рты огненно-прозрачные рыбы. «Зачем мы здесь? — с тоской спросил он себя.— Я пью и не пьянею. Я все чувствую, все помню, все слышу. Зачем же тогда мы пьем? Для чего мы пришли сюда?..»

— Как он мог спокойно жить? — зло проговорил Никита.— Я этого никогда не пойму. Он ведь знал, что было с моей матерью! Он знал и продолжал жить, юбилеи устраивать! Ты говоришь, игра? Ради чего? Не пошел, черт возьми, в монастырь, не посыпал голову пеплом! Не застрелился! Объясни! Вот ты объясни, а не спрашивай! Как так могут люди жить?.. Он ведь ее знал! Другие могли не знать, но он-то знал. Все знал!.. Он предал ее и жил! Прожил всю жизнь!..

— Ша! Заткнись! — крикнул Валерий, стискивая на столе руку Никиты.— Если еще повторишь «предал», я тебе набью морду Я не намерен выслушивать гнусь об отце... Слышал?

Он придвинулся ближе, судорожной улыбкой обнажая зубы, струйки пота текли по его шее, одно плечо выгнулось, поднялось, и он все сильнее прижимал кисть Никиты к столу, к мокрой, облитой коньяком скатерти. Официант, стоя у стены, по-прежнему издали наблюдал за ними. И Никита с отвращением к своей потной руке, к скользкой ладони Валерия, к этой грязно-облитой скатерти, понимая, что сейчас может произойти что-то отвратительное между ними, не выдернул руку, а проговорил трезво и осмысленно, как можно спокойнее:

— Не глупи. Терпеть не могу идиотства. Ты пьян...

— Не-ет, я не пьян! Я все-таки сильнее тебя, сильнее...— рассмеялся Валерий своим кудахтающим смехом и, милосердно отпустив кисть Никиты, заговорил с ожесточением: — Ты мальчишка, слабак... Борец за справедливость! Да? А сам приехал из Ленинграда к влиятельному родственнику просить помощи! Где она, логика? Борьба за справедливость? Одна рука — ха-ха! — протянута за милостыней, а другая... Мой отец — демагог... Не хуже, не лучше! Но если ты еще скажешь гнусь об отце, я изобью тебя... Застолбил?

— Пойдем отсюда,— глухим голосом сказал Никита.— Мы расплатились? — И, чувствуя, как его начинает неудержимо бить дрожь, полез в задний карман за деньгами.

— Нет, если ты еще что-нибудь...

— Молодые люди, вам счет?

Из багрового, курившегося папиросным дымом, из этого туманного света ресторана, из перемешанного гула голосов в многолюдном зале, из звенящих, металлических ударов джаза, игравшего в другом зале, склонилось, забелело над столом утомленно-старческое лицо официанта, незаметным движением положившего счет на стол.

— Виноват, извините... Я думаю, хватит, молодые люди,— убеждающе сказал он.— Достаточно вам...

— Вы так считаете, папаша? — вроде бы очень удивленный, спросил Валерий, вскинув заострившиеся глаза.— А может быть, нет? А? Почему вы нам советы даете, папаша? Знаете статью в конституции — каждый имеет право на отдых?

Он говорил это нестеснительно громко; за соседними столиками оборачивались; Никите стало душно.

— Уходить вам надо, молодые люди,— с мягким упреком произнес официант, не изменяя утомленного вы-

ражения лица.— Студенты, наверно. Конституцию я знаю, своей кровью завоевал. Я в отцы гожусь вам... Стыдно. Нехорошо.

— Что за стыд! — фальшиво рассмеялся Валерий.— А чаевые, чаевые-то... Как насчет чаевых? Берете или нет?

— Я сейчас... я расплачусь...— испытывая чувство, похожее на унижение, проговорил быстро Никита, взял счет, почти не посмотрев его, и положил деньги на стол.— Спасибо... Мы уходим.

— Ты, Ротшильд! — крикнул Валерий.— Расплачиваюсь я. Слышал? А ты спрячь, спрячь свою жалкую десятку... заработанную пòтом, скажешь!

Он, откинувшись, брезгливо выхватил из кармана брюк смятые комом деньги, бросил на стол две десятки, отшвырнул деньги Никиты — десятка соскользнула со стола, упала на ковер.

— Ты что? — проговорил Никита.— А ну подыми деньги!

— Так думаешь? Ну прикажи, прикажи еще!

— Глупец,— сказал Никита, отодвигая стул.

И тут одновременно он и официант нагнулись к деньгам, внезапно столкнулись пальцами на ковре. Никита увидел чуть отступившие, поношенные, но аккуратно начищенные ботинки, набрякшую, отвислую щеку, седой висок официанта и с прежним стыдом, жгуче кольнувшим его, поднял и протянул ему деньги, а когда выпрямился, притемненный багровый свет дымного зала, зеленые аквариумы с ленивым шевелением рыб, лица за соседними столиками, ожидающе повернутые к ним, хмельное лицо Валерия, молча глядевшего ему в глаза,— все вызвало в нем унижающе-гадливое отвращение. Он посмотрел па трясущиеся руки официанта, с оскорбленной аккуратностью отсчитывающего сдачу на влажной скатерти, на его лицо, застывшее, красное от прилившей крови, с поджатыми по-старчески губами, и слабо услышал его подчеркнуто вежливый голос:

— Вам — пять рублей двадцать четыре копейки...

— Я сказал, без сдачи! — повысил тон Валерий и оттолкнул деньги.— Возьмите, папаша!

— Пошли! Вставай, пошли! — Теряя самообладание, Никита сдернул пиджак со спинки стула и встал.— Дурак чертов! Ты соображаешь что-нибудь?

— Представь, абсолютно все! — вызывающе громко

воскликнул Валерий.— Все! Но я не понимаю, чего ты так трусишь, братишка! В чем дело, милый? Мы еще не договорили.

— Пошли, я сказал.

Никита знал, что им нужно уходить немедленно: он ощущал спиной не только взгляды людей, обращенные в их сторону, не только оскорбленное, дрожащее лицо официанта, а чувствовал, что в эту минуту он не сдержится и сейчас может сделать нечто невероятное, сумасшедшее, страшное для самого себя, для Валерия, для всех, кто смотрел на них из этого багрового, кишащего пятнами лиц полумрака.

— Пошли! — повторил он.— Сейчас же!

Валерий откинулся к спинке стула, положил на край стола кулаки, сощуря воспаленные веки.

— Куда?...

— Ну, тогда я пошел!

— Не-ет, ты один не пойдешь! — Валерий, упершись в стол, решительно поднялся.— Один — не-ет! Мы теперь вместе. Сиамские близнецы,— говорил он, шагая рядом меж столиков к выходу, и шел не покачиваясь, трезво ступал, казался не пьяным, как давеча, а злым, точно уходил, не доделав что-то здесь.— Я думал, милый, ты хоть в малой степени мужественная личность, а ты перепужался скандала! Подумаешь, добродетель!.. Бросился десятку поднимать. Значит, я и мой отец — сволочи? А ты святая невинность — так? Так?

Никита поморщился, понимая, что Валерий в мутном приступе неослабевающей озлобленности упрямо хотел унизить его своей насмешливой и обнаженной циничностью, с какой он только что на виду у всех разговаривал с официантом, потому не без усилия пытался сдерживать себя, не говоря ни слова.

Стояла ночная сырая мгла с размытыми огнями улицы, кругами окон и фонарей в небе, зыбкими отблесками на мокром асфальте — и окатило их влажной свежестью, брызнувшей холодными и редкими каплями накрапывающего дождя, когда они вышли из подъезда ресторана, из жаркой от запахов шашлыка духоты, из неистового ритма джаза и остановились под фонарем на краю тротуара, возле машины, на которой сюда приехали.

Стараясь держаться на ногах прочно, Валерий вынул ключ от машины, открыл дверцу.

— Что же, вместе нам ехать, Никитушка-свет?

— Ты не сможешь,— тихо сказал Никита, поднимая воротник пиджака, вглядываясь в огни редких машин, с шелестом мчавшихся мимо по мостовой.— Сейчас такси возьмем...

— Ах, такси? — переспросил Валерий и, выплюнув размокшую сигарету, повернулся к Никите, с высоты своего роста бросил руку на его плечо, до боли впившись пальцами.

— Я и говорю... трусишь, слабак? Какой же ты борец за справедливость! Зачем же ты мать похоронил и при...

Никита не успел поднять воротник пиджака и, сжав зубы, ударил его не в лицо, а в грудь зло, жестко и сильно, уже не сознавая, зачем он это делает, и, ощутив боль в кулаке от этого неожиданного для себя удара, с удивлением и ужасом увидел, как отшатнулся, хрипло выдохнул, переломившись в поясе, Валерий и упал на асфальт, скользя спиной и затылком по стене около металлической мусорной урны. Она загремела от суматошного, хватающего движения его руки.

— Я тебя предупреждал...— задыхаясь, выговорил Никита, ненавидя в эту минуту и себя, и его, точно оба они были соучастниками чего-то темного, подлого, противоестественного.— Запомни, что я никогда первый...

Запрокинув голову к стене, раскинув ноги, упираясь растопыренными локтями в мокрый, весь грязно масляный под фонарем тротуар, Валерий трудно дышал, облизывая губы, его неморгающие глаза застыли на кисти Никиты, которую тот страдальчески мял, поглаживал, словно бы успокаивал боль.

Валерий смотрел беззащитно и недоуменно, веки его моргнули, и, показалось Никите, слезы блеснули в глазах.

— Ты меня ударил? За отца! За отца? — клокочущим шепотом, изумленно проговорил Валерий.

— Прости... Прости... Я не хотел...— растерянно выдавил Никита и с жалостью, с ощущением своей вины кинулся к Валерию, поспешно, стараясь не глядеть на него, стал подымать с земли, схватив под мышки, но тело Валерия дернулось, вырываясь, сопротивляясь ему: нет, он не желал помощи.

И Валерий уперся спиной в стену, встал, болезненно ссутулясь, потирая грудь в том месте, куда ударил Никита; потом, всхлипнув горлом, он шатко пошел к маши-

не и, уже взявшись за отполированную дождем ручку дверцы, неожиданно выговорил хрипло:

— На твоем месте я бы не извинялся, понял?

— Тогда я не извиняюсь,— сказал Никита.— Я не хотел. Но так получилось...

— Вот так-то лучше, дорогой брат. Так лучше! Садись, братишечка! — И он фальшиво усмехнулся. Его короткие волосы и меловое, без кровинки лицо были мокры от дождя, и зубы блестели под фонарем мертво, как влажная эмаль.

Никита взглянул на часы — было половина двенадцатого.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Никита лежал на тахте не раздеваясь, у него не было сил пошевелиться, снять сыроватый пиджак: состояние тупой расслабленности охватило его, как только вошел в эту бывшую Алексееву комнату, погасил свет и упал на диван под книжными полками.

Было тихо во всей ночной, огромной, как пустыня, квартире — Грековы уехали на дачу. И лишь отдаленно где-то звучали шаги Валерия, затем заплескал душ в ванной и стих.

«Только бы уснуть,— потираясь щекой о подушку, убеждал себя Никита.— Сейчас больше ничего не надо. Утром я уеду. Но почему я лежу вот здесь, в этой проклятой квартире? Зачем я еще здесь? И за что я ударил его? За отца?.. Нет! За то отвратительное...»

И, представив тот момент возле ресторана, когда ударил Валерия и когда тот сел на маслянистый асфальт, глядя с беспомощным изумлением, он застонал в подушку, чувствуя, что не уснет, не сможет успокоиться и уснуть, отделаться от навязчивых мыслей.

«Раздеться... Почему я не раздеваюсь?» Он вяло шевельнул рукой, ощупал теплую сырость пиджака, еще не просохшего от дождя, но и тут не хватило воли преодолеть себя, встать, раздеться, приготовить постель.

«Зачем я ударил его?.. Почему я лежу в этой комнате, а не уехал сразу?.. Завтра утром — на вокзал, только бы утра дождаться!»

Вся комната была погружена в рябящую темноту, исчезли, растворились в ней книжные полки на стенах, старые, выцветшие обои; расплывчато проступил впоть-

мах квадрат окна; по стеклу звонкой усиливающейся дробью стучал дождь, погромыхивало, переливалось в водосточной трубе, и Никита вдруг подумал, что этот дождь надолго, что погода не для дачи и если Грековы вернутся ранним утром, то застанут его здесь.

«Собрать чемодан, сейчас все приготовить! А что, собственно, собирать? Я готов...»

Глухие удары, брызжущий звон стекла внезапно донеслись до него из глубины квартиры, и в первое мгновение он подумал, что это ветер и дождь разбили стекло в соседней комнате, но в следующую минуту послышались бегущие шаги за стеной в коридоре и громкий стук в дверь:

— Никита, Никита!

Он вскочил с дивана, зажег свет.

— Что? Что там? — спросил он и с мыслью, что в квартире что-то случилось, увидел в проеме двери бледное лицо Валерия, его мокрые после душа волосы слиплись на лбу. Валерий стоял на пороге, глаза его, устремленные на Никиту, неподвижно темнели, он прохрипел:

— Не спишь?.. Пойдем... Я нашел...

— Ты о чем? — не сообразил Никита.— Что нашел?

— Смертный приговор! — крикнул Валерий.— А ну пойдем! Одевайся!

Никита успел заметить: везде в квартире горел свет — в коридорах, в столовой, в открытой спальне, пустынно блестел, отражался в натертом паркете, на полированной мебели, и оттого, что все было неожиданно для ночи освещено, на Никиту повеяло холодновато-мертвенной огромностью комнат, залитых электрическим светом, но без людей, без живого дыхания.

Никита быстро взглянул в конец коридора, где был кабинет Грекова, и сразу почувствовал нервный озноб, сразу похолодело и стало пусто под ложечкой.

Дверь ярко освещенного кабинета была распахнута.

Никита осторожно вошел туда вслед за Валерием. В глаза бросились белые листы бумаги, какие-то папки, разбросанные по ковру, разбитый возле окна горшок с цветами; черепки и влажные комья земли чернели на паркете; весь просторный письменный стол был переворошен; ящики выдвинуты; бумаги свалены в одну кучу; сейф в углу за письменным столом открыт — как разинутый рот, чернело квадратное его отверстие.

Озираясь на открытый сейф, Никита уловил взгляд Валерия с застывшим выражением решимости — и холодное, скользкое ощущение опасности и вместе чего-то беспощадно обнаженного, преступного, что не имело права быть, остро кольнуло его.

— Ты... открыл сейф?

— Да, я открыл! — Валерий бешено махнул рукой.— Твое какое дело? Мне все можно в этой квартире! Понял? Не бойся! Я, а не ты знал, где лежит у него ключ...

Некоторое время они стояли друг перед другом, не говоря ни слова, в этом оголенно залитом светом кабинете, где все было передвинуто, разворочено, смещено, как после торопливого обыска; и эти листки бумаги на ковре, кучами сброшенные на пол книги, комья земли и черепки цветочного горшка на паркете в углу, черным ртом зияющее отверстие сейфа — все было выпукло и отчетливо видно под огнями огромной люстры, настольной лампы, зажженного над журнальным столиком торшера. И было ощущение бессмысленного разгрома, какого-то преступления, которое тут совершилось.

Никита ошеломленно посмотрел на Валерия. Лицо у него было замкнуто, веки сужены, лоб блестел от испарины.

— Ну? Что глядишь? А? — Валерий как-то всхлипывающе, точно рыдания сдерживал, засмеялся, не разжимая зубов.— Я все нашел. Вот письмо твоей матери. Читай, читай, братик! Извини уж, я тоже прочитал. Это ведь письмо, которое ты привез. «История рассудит!..» Бож-же мой, как-кие пре-екрасные люди!..

— Замолчи,— плохо соображая, проговорил Никита.— Я тебя прошу, замолчи!

— Садись к столу! Все поймешь! — И Валерий ударом пальцев подтолкнул на край стола пачку бумаг в раскрытой папке, скользнувшей по стеклу.— Читай, а я уж покурю, братишка! С твоего разрешения... Читай все! Подряд!

И Никита, повинуясь, сел к столу.

Перед ним в папке лежала пачка листов, отпечатанных на машинке, и сверху к этой пачке был присоединен скрепкой знакомый тетрадный листок в синюю линеечку, исписанный крупным, вдавленным в бумагу, детски корявым почерком, тем непривычным, неправдоподобно крупным почерком, который появился у матери в

больнице — таким почерком она писала ему записки,— и он, в первую минуту мутно видя от волнения, легонько и осторожно разглаживая ладонью письмо, прочитал начальную строчку, прыгающую, как через белесую дымку, еле понимая смысл: «Это письмо тебе передаст мой сын...» И снова прочитал первую фразу, споткнувшись на ней и одновременно заставляя себя понимать то, что было написано рукой матери, словно сознание отказывалось воспринять, когда второй раз держал он это письмо, прикасаясь к тому, что знали теперь и он, и Валерий, и Греков — ее слабость, ее бессилие, ее фразу: «Прошу, умоляю тебя».

«Нет, она писала это перед самой смертью. От боли была в полусознании...»

Валерий, выжидая, ходил кругами по кабинету, сорочка расстегнута на груди, одна рука глубоко засунута в карман помятых брюк, другую, с сигаретой, держал у рта, жадно и часто затягиваясь, глядел перед собой невидящими, сощуренными глазами.

Он обернулся, громко спросил:

— Прочитал? А? — И, бросив сигарету на ковер, затоптал ее каблуком.— Ах, как все это трогательно! Какие нежные родственные чувства! Значит, квиты? И мы, значит, с тобой, братишка, квиты! История, как там в учебниках... умная бабка-повитуха, рассудит!

— В чем? — спросил Никита с заложившей горло хрипотцой.

— Во всем! Что ты спрашиваешь, как невинная девочка! Пошел к черту! Не ясно?..

Валерий схватил на столике возле окна графин с водой, постукивая горлышком о стекло, налил в стакан и, жадно глотая, торопливо выпил, вода текла по его подбородку. Потом он рукавом вытер губы и сел — обвалился — на край столика, скрестил на груди руки, барабаня пальцами по предплечьям, зло говоря:

— Дальше там... если у тебя хватит смелости... Читай дальше. Потом объяснишь мне, зачем он хранил это, старый дурак. Для меня? Для истории? Ос-сёл!.. Главное — всё вместе и скрепочки. Скрепочками!..

И Валерий грубо выругался, замычал, как от боли, и со скрещенными на груди руками, сжимая ими плечи, опять зашагал по комнате кругами мимо шкафов, массивных кожаных кресел, мимо черных окон, по которым, то усиливаясь, то стихая, вкрадчиво царапал дождь.

Потом быстро вышел из кабинета, шаги зазвучали в коридоре, хлопнула дверь в глубине квартиры... И все то, что чувствовал, видел Никита,— этот огромный освещенный кабинет, мертво стоявшие за стеклом книги, эти темные бронзовые бра, картины в толстых рамах на стенах, разбросанные бумаги на полу, постукивание дождя, открытый сейф в углу и ощущение себя, сидевшего за чужим столом над письмом матери,— все на миг представилось нереальным, отдаленным, увиденным в бреду. Это было то ускользающее, ощутимое, и не им, а будто кем-то другим ощутимое, что он испытывал только в детстве, во время тяжелых приступов малярии в Ташкенте.

И невыносимая тишина сомкнулась в кабинете, заполнила, как стоячая вода, всю квартиру; и, будто тиканье часов, стали вдруг слышны слабые капли по стеклу, мышиное шуршание бумаги, и бой сердца, и собственное дыхание, когда он, спеша, открепил от пачки листков письмо матери, соединенное с бумагами скрепочкой, и открылась первая пожелтевшая по краям машинописная страница, с аккуратностью правленная красными чернилами, педантично округленным, мелким почерком («Это его почерк?»), некоторые слова были ровно, точно по линеечке, зачеркнуты, разборчиво вставлены другие.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директору института тов. Рогозову П. С.
Секретарю парткома тов. Свешникову Я. М.

15 июня арестована моя сестра Шапошникова Вера Лаврентьевна (девичья фамилия Грекова), проживавшая в гор. Ленинграде.

В связи с арестом моей сестры считаю необходимым сообщить следующее:

1. После Октябрьской революции я не имел случая встречаться со своей сестрой в течение 6 лет и, следовательно, об этом периоде ее жизни не имею полного и ясного представления. Мне только известно, что моя сестра вышла в 1918 году замуж за некоего прапорщика царской армии Шапошникова, дослужившегося впоследствии до командира полка Красной Армии.

В 1924 году моя сестра была наездом в Ленинграде, где я жил и работал тогда, и при встрече рассказала мне, что все эти годы после революции по заданиям ЧК она «моталась» с мужем по всей стране, якобы участвовала в подавлении белоказацкого мятежа атамана Дутова в Орске, эсера Савинкова в Ярославле, затем два года была в Средней Азии по ликвидации басмаческих банд на афганской границе.

Рассказ ее в те годы, естественно, не вызывал отрицательного отношения или какого-то либо сомнения, как не вызывал сомнения и тот факт, что муж ее, как я говорил уже, Шапошников, был награжден (как он в частной беседе объяснил мне, за ликвидацию басмаческой банды Ибрагим-бека) орденом Красного Знамени. Однако, повторяю, о том периоде жизни своей сестры я мало что знаю.

В 1927 году я был откомандирован на год в Московский университет, и мои контакты с сестрой, оставшейся работать в Ленинграде, прекратились, тем более что по складу наших характеров, следует сказать объективно, эти общения не всегда были приятны ни мне, ни моей сестре, как бы родственно ни были мы связаны. Чувствую необходимость сказать, что характер сестры отличался вспыльчивостью, несдержанностью, прямолинейностью, и это обстоятельство часто приводило нас если не к ссорам, то к размолвкам, в том числе, разумеется, и по чисто научным вопросам советской историографии. И особенно по вопросу народничества, деятельности народовольцев и эсеров. Характер споров касался отдельных личностей из этих организаций.

Сестра в это время работала в Наркомпросе, стала преподавать в Ленинградском университете и вместе с тем писала работу о народовольцах, вышедшую затем в свет и ныне подвергшуюся критике в прессе и в научных учреждениях за чуждое марксизму, произвольное, даже субъективно-пристрастное толкование развития российского революционного движения, связанного с террористическими организациями «Народная воля», а также «Черный передел».

2. Свое отношение к данной работе, носившей заглавие «Убийство Александра II», я высказывал и на ученом совете Ленинградского университета, что подробно освещено в стенограмме, и на моих лекциях, и в центральной печати (журнал «Историческая мысль», статья «Дилетантизм или марксизм?»).

Нахожу нужным отметить здесь главный порок указанной работы, заключающийся в том, что автор В. Л. Шапошникова, словно бы восхищаясь, не жалея красок, живописует смелую, по ее позиции, и романтическую деятельность русских террористов, их жертвенность, преувеличивая роль Желябова, Софьи Перовской, студента Гриневицкого, «принесшего себя в жертву», бросившего бомбу в Александра II, безудержно восхищаясь романтическим фанатизмом этой организации, то есть той террористической деятельностью некоторой части российской интеллигенции, последователями которой, как известно, были эсеры, которую осудило все развитие марксизма в России.

Мысленно нельзя уйти и от того факта, что книга вышла в феврале 1935 года, и воспевание активной террористической деятельности, овеивание ее романтическим ореолом выглядело странным в тот период, когда выползшие из всех щелей злостные враги народа произвели из-за угла подлый выстрел в Смольном. В современных условиях обостренной классовой борьбы обращение в историческом исследовании к деятельности русских террористов выглядело по крайней мере политической наивностью, близорукостью, могущей неправильно воздействовать на нашу

молодежь, которой и посвящена данная, с позволения сказать, псевдонаучная работа.

Отсутствие марксистского взгляда на исторические факты, однобокий экскурс в историю, безудержное восхищение жертвенностью так называемых сильных личностей в истории того времени и крен таланта автора именно в эту сторону вопроса (смелость, решительность народовольцев, преданность делу), что является сильными страницами данной работы, в то время как страницы, посвященные первым марксистским кружкам в России, выглядят, как это ни странно, недостаточно сильными,— именно все это вызывало и вызывает у меня, человека, отдавшего всю свою жизнь исторической науке и непосредственно многие годы занимающегося воспитанием, чувство протеста и возмущения.

Как я сказал уже, В. Л. Шапошникова является моей сестрой. Сейчас, когда стало известно, что В. Л. Шапошникова репрессирована, со стороны некоторых членов партии, членов партбюро факультета мне брошен общественный упрек, обвинение в потере пульса классовой борьбы, в политической глухоте и близорукости и в том, что по моей письменной рекомендации В. Л. Шапошникова была принята преподавателем на кафедру истории Ленинградского университета, которой я руковожу в течение трех лет. Должен, как это ни тяжело, признаться самому себе, со всей откровенностью и прямотой заявить, что в этом акте я потерял большевистскую зоркость и проницательность гражданина и ученого, и с горечью и с сожалением понимаю, что заслужил порицание. Но, хочу повторить, в моих действиях не было никакой намеренности, никакой обдуманности. Сознавая свой ошибочный шаг и теперь объясняя его себе, я чувствую, что заблуждался. Ведь и у одной матери, казалось бы, вспоенные одним молоком, растут разные дети, а я как бы закрыл глаза на то, что истинные взаимоотношения, принципиальные жизненные позиции, пролетарская убежденность и бескомпромиссность выявляются и со всей строгостью проверяются только в момент обострения классовой борьбы, которая требует от нас высокой и ежеминутной бдительности и всей жизни.

Прошу разобрать мое заявление.

Заведующий кафедрой истории
профессор *Греков Г. Л.*

Никита поднял от стола голову, неясно увидел в оранжевой пустоте перед собой окруженные темными кольцами свечи ламп — и вдруг зажмурился, с силой потер кулаком скулы, будто сдирая что-то липкое, мешающее, произнес шепотом:

— Что же это?..

Все, что он думал в эти дни о Грекове и матери, о ее письме, и то, что он узнал от Алексея, а потом от профессора Николаева,— все это было противоестественно и страшно, и потому, что это было противоестественно, в уголке его сознания инстинктивно сохранялась, не про-

падала надежда естественной самозащиты: невозможно было поверить в простоту доказательств, определяющих судьбу матери, намекающих на что-то преступное, уже предполагаемое в ее прошлой жизни.

И Никита, как бы ища окончательного полного ответа для себя, стал быстро листать другие бумаги. Это были черновики писем, рецензий на книги, наброски выступлений, здесь же лежала пачка вырезанных из газет и журналов статей. Он нашел ту, которую упоминал Греков в заявлении, увидел жирный заголовок «Дилетантизм или марксизм?» и сейчас же начал читать. Но глаза скользили по словам, по абзацам, а сознание не могло сосредоточиться, подчинялось только одной отделившейся мысли: «Зачем он именно так сделал? Он рассчитанно это сделал. Ни одним словом не защитил мать. Нет, я не думал, что так это было...»

И, прислушиваясь лишь к этой мысли, не мог прочитать ни одного слова из статьи, потому что не в силах был понять необходимость этого чудовищно спокойного предательства и вместе равнодушия к судьбе матери.

— ...Чудненькое у тебя лицо! А может, тебе дать чего-нибудь? Валерьянки, может? Или вот боржома? Ледяной, из холодильника! Успокаивает и отрезвляет!..

Никита вскинул глаза на звук резкого голоса: Валерий, видимо, уже несколько минут выжидательно стоял в дверях кабинета, прислонясь плечом к косяку, наблюдая оттуда; в опущенной руке была бутылка боржома.

— Прекрасный слог! Суховатый стиль ученого мужа. Этот стиль убеждает, а?

Голос Валерия был насмешлив, высок, казалось, вот-вот готов сорваться.

Он подошел к столу, прочно, даже решительно ступая, но словно через силу заставляя себя говорить, лицо было влажно, бледно,— и Никита все ожидающе, молча смотрел на него, видел, как Валерий сел на край стола, как,— будто в кино, Никита где-то видел это,— вынул из карманов два бокала и, неторопливо разлив в бокалы пузырящийся боржом, сказал с усмешкой:

— Боржом отрезвляет, Никитушка. Ничего другого более крепкого нет! За двух Шерлоков Холмсов! — И так нерассчитанно сильно стукнул бокалом о бокал, что расплескал боржом на стол.— Будем живы!

Он, запрокинув голову, жадными глотками пил, а глаза были скошены на Никиту и стали напряженными,

осмысленными; чудилось, готовы были сказать что-то. И Никита отвернулся, чтобы не видеть их страшного, немого выражения. Он встал из-за стола так же молча, подошел к окну и прислонился лбом к черному, запотелому стеклу, по которому снаружи с беглым звоном постукивали, сползали капли. Сквозь подвижную эту насечку капель среди мокрой темени двора далеко внизу, на первом этаже соседнего дома, оранжевым квадратом светилось окно. «Там больной, а может, проснулся кто-то или гости сидят...— подумал он, удивляясь ненужности своих мыслей.— Зачем я об этом думаю?»

Никита услышал за спиной шум движения, шаги, стук отодвигаемого кресла, повернулся от приникшей к лицу тьмы, от веющего сырой свежестью окна и в оголяющем электрическом свете, разлитом по кабинету, отчетливо и ясно увидел Валерия.

— И все в сейфе, в сейфе держал!

Ругаясь сквозь зубы, Валерий двигался по белым листкам какой-то рукописи, разбросанной по полу подле раскрытого сейфа, выкидывал оттуда, швырял на пол кожаные папки с монограммами, какие-то коробочки, глухо звеневшие при ударах о паркет, статуэтки, массивные костяные четки; потом достал из глубины сейфа плотную и твердую на вид пачку в надорванном целлофане, содрал целлофан и тотчас же передернулся весь.

— Сумма!.. Ничего не жалел, всем одалживал! Ну, добряк! Ну, молодец!..

Валерий с брезгливой злостью смотрел на деньги, сжимая их, затем швырнул пачку на стол — купюры разъехались по стеклу.

— Ладно! И это неплохо! Не-ет, это отлич-чно! — заговорил Валерий.— И эти с монограммами, почитай: «Уважаемому...», «Дорогому». Прекрасно! Здóрово! Ему дарили папки!.. За всю жизнь ему надарили гору папок. А ты думал, братишка? За заслуги перед наукой! Не-ет! Разве мог он, а?.. Кто поверит, а? Клевета!..

— Оставь это... Сложи все в сейф,— устало попросил Никита, испытывая то чувство, какое бывает, когда происходит вокруг что-то дикое, ненужное в своей бессмысленности, чего нельзя остановить.— Сложи все в сейф. И деньги...— повторил он.— И замолчи! Ты с ума сошел? Слушай... Что ты делаешь? Для чего?.. Глупо это! Не понимаешь? А дальше что? Что дальше?

— Иди спать! — Валерий обернулся, из-за плеча смерил его с ног до головы презрительным взглядом.— Ясно? Ты не имеешь к этому никакого отношения! Я отвечаю за все! Только один я!

— Замолчи! — шагнув к нему, крикнул Никита.— Слышишь!.. Перестань молоть ерунду! Сколько можно говорить!

И тут он уловил звонкое царапанье капель по стеклу, шумное дыхание Валерия; тот со сжатым ртом поднял новую, обтянутую желтой кожей папку, гладко блестевшую монограммой на уголке, подошел к столу и начал собирать в нее бумаги, стал завязывать на папке тесемки. Никита видел, как решительно двигались его руки, и сказал наконец:

— Мы должны позвонить Алексею. Посоветоваться...

— Нет! Хватит с Алексея того, что есть... Я слишком его люблю, чтобы ввязывать его в это! С него хватит!

— Тогда что сейчас будем делать?

— Я знаю, что делать,— заговорил Валерий, стараясь говорить ровно, а пальцы его все рвали тесемки, не могли затянуть узел на папке.— Для меня-то ясно! И, думаю, для тебя. В общем, ты уезжай отсюда. Немедленно. Понял? Собирай чемодан — и привет! В Ленинград. На первый поезд. И к черту! Сегодня переночуешь у Алексея. Вызывай по телефону такси. Номер здесь. В книжке. А утром на экспресс. В Ленинград ходит экспресс.

— Я уеду, а ты?..— Никита мрачновато усмехнулся.— Нет, с меня все началось. Нет, я сейчас никуда не уеду!

— А я говорю: тебе лучше уехать! С тебя началось? Ох, не с тебя! Совсем нет! Впрочем, делай как хочешь, мне все равно. Я-то знаю, что делать!..

— Мы должны позвонить Алексею,— настойчиво повторил Никита.— Он не знает, что мы тут... А потом все решим. Ты куда?

— Лично я? В Одинцово. На дачу. Куда я могу еще? Нет! Алексея не вмешивай в это. Ни в коем случае. Он давно в ссоре с отцом. А думать нечего. Что может быть яснее? Я просто хочу, оч-чень хочу задать уважаемому профессору несколько лирических вопросов! Интимного порядка! Все-таки он мой отец, а Вера Лаврентьевна Шапошникова, как она названа в бумаге, моя тетка. Так? — И договорил с ядовитой насмешливостью: — Ты разве не чувствуешь, что это одна кровь? А я почувствовал. Когда

ты по-родственному двинул меня возле ресторана! Так что? Со мной едешь? Или к Алексею?..

Никита, не ответив, искал и не находил в смятой пачке последнюю сигарету, смотрел на круглые часы над столом, видел металлический в свете люстры циферблат, тупой угол стрелок, стараясь понять, сколько времени, и думал, убеждая себя:

«Сейчас мы поедем к Грекову? Вместе поедем. Но для чего? Что он сможет ответить?..»

— Кончились сигареты.— Никита смял, бросил пачку.— Кончились...

Валерий стоял перед столом, в одной руке держа кожаную папку, другой торопливо раскидывал, как мусор, в стороны листки рукописи, опрокинул стаканчик, наполненный до тонкой остроты очиненными карандашами, которые Георгий Лаврентьевич так любовно трогал, ощупывал кончиками пальцев, когда в первый день разговаривал с Никитой.

— Кому это все нужно, а?.. Ледяной бы воды. Все время хочу пить. Сохнет в горле...

Валерий взял со стола пустую бутылку от боржома, нацеленно посмотрел на свет и, вдруг сказав: «Э, черт!» — с искривившимся лицом изо всей силы швырнул ее в стену — зазвенело стекло, посыпались на пол осколки.

— Ну зачем это идиотство? — остановил его Никита, схватив за плечо.— Хватит!..

Валерий оглянулся неистовыми глазами.

— Что ж, поехали, братишка!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Огромный и притемненный, затянутый дождем город с нефтяным блеском асфальта, с размытыми прямоугольниками ночных витрин, редким светом фонарей в оранжевом туманце переулков, с бессонным автоматическим миганием светофоров, простреливающих перекрестки, на которых в этот час не было видно даже закутанных в плащи фигур регулировщиков, потушенные окна захлестанных дождем улиц с изредка ползущими меж домов зелеными огоньками ночных такси,— уснувший многомиллионный город невозможно было разбудить ни стуком струй в стекло, ни плеском в водосточных трубах, по железу крыш, по карнизам.

Весь город будто огруз в мокрую тьму и спал за тщательно задернутыми шторами, занавесями, разделенный домами, квартирами, комнатами на миллионы жизней, покойно и, мнилось, равнодушно замкнутых друг от друга. И невозможно было представить в этой ночной пустынности, на этих безлюдных, отполированных лужами тротуарах тот знакомый ритм неистощимо объединенной чем-то людской суеты, который называется дневной жизнью Москвы.

И уже казалось Никите, никогда не будет утра, никогда не исчезнет это холодное щекочущее ощущение отъединенности от всех, которое возникло, когда ехали по опустошенным мостовым, и еще раньше, когда он увидел одно-единственное светившееся окно на первом этаже в глубине двора.

По городу двигались долго, хотя и не останавливались у светофоров. После заметил Никита: ушли назад замутненными отблесками последние огни окраины, мелькнули последние неоновые дуги фонарей над головой — и густая чернота сомкнулась, обтекая стекла, ярко рассеченная впереди фарами. В их свет косой, сверкающей пылью несся навстречу дождь. И теперь, казалось, они двигались только по световому коридору пустого шоссе, вспыхивающего лужами вдоль кювета, за которым словно бы обрывалась земля.

Гудел мотор, бросались то вправо, то влево, размывая струи по заплывавшему стеклу, «дворники», уютно был освещен перед глазами щиток приборов. И то ли оттого, что так покойно светились живые стрелки и цифры на приборах, то ли оттого, что сплошная темнота мчалась по сторонам, появилось у Никиты ощущение, что они спешно уезжают куда-то от недавних кошмаров в неизвестное, что должно было прийти как облегчение.

Но это ложное чувство успокоенности появилось и исчезло мгновенно — Никита заглянул на подсвеченное снизу лампочками приборов сумрачно-замкнутое лицо Валерия и ясно представил, зачем и куда они едут.

Молчали, пока ехали по городу. Молчали и сейчас, когда окраины давно остались позади и огни исчезли в потемках.

Никита слышал накалявшееся гудение мотора, дребезжали, вибрировали стекла, стало ощутимо теплее ногам, в то же время тонкие сырые сквознячки резали

острым холодком лицо, свистели, врываясь в щели дверок. Как только началось это загородное шоссе, Никита на минуту закрыл глаза, тоскливо ужасаясь тому, что они бессмысленно в какой-то лихорадочной загнанности, которую не в силах остановить, спешат на эту дачу Грекова, и думал, мучаясь сознанием своего бессилия и тем, что полностью не мог представить: «А дальше?.. Дальше что?..»

— Ты слышишь?

Он очнулся от этого голоса, прозвучавшего чересчур громко, и, прижимаясь к спинке сиденья — было уже неприятно жарко, неудобно ногам,— сбоку посмотрел на слабо озаренное снизу лицо Валерия.

«Что он сказал?»

Валерий говорил, глядя в свет фар сквозь размазанные очистителями полуокружья на стекле:

— Ничего страшного на этом свете не бывает, Никита, кроме одной вещи... Знаешь, в атомный век нет секретов... Ты слышишь?

— Да.

— Как-то в одной компании знакомят меня с одним парнем. Тот, кто представляет, как обычно, ерничает, с улыбочкой: «Потомок знаменитого профессора Грекова». Парень таращится на меня, но тоже улыбается и руку жмет, потом отводит этого ерника в сторону, слышу — смеется, а сам на меня кивает: «Сын знаменитого... Того самого?» Я услышал, но ничего не понял. Ты слышишь? Черт, нет сигарет... Что мы будем делать без сигарет? Нигде? Ни одной? Мы пропали без сигарет, Никита!

— Ни одной. Я слушаю, Валя,— сказал Никита, вдруг почувствовав в неожиданно доверительном тоне Валерия, в том, как он спросил о сигаретах, ничем не прикрытое обнаженное страдание и, почувствовав это, спросил негромко: — И что?.. Ты не договорил...

— Мы пропали без сигарет,— опять услышал Никита сквозь гудение мотора, слитое с мокрым шелестом шин, незнакомый голос Валерия.— Так вот я понял, что нет секретов. Весь вечер тогда полетел к черту. Пил, как дубина. Смотрел на этого парня, видел его улыбочку и думал: «Откуда что? Чья-то зависть к папе? Кто-то имеет на него зуб? Что за намеки?» Ни дьявола не понимаю. В середине вечера вызвал этого парня на лестничную площадку. «Поговорим, как мужчина с мужчиной. Как все, родной, прикажешь понимать?» А он был на

взводе уже. «Не строй из себя орлеанскую девственницу. Все знают, где жена у соседа пропадает, только муж ничего не знает». Ну, я и врезал ему на память! Да так, что обоим пришлось зайти в ванную, умыться, а потом уйти с вечера. Этим тогда и кончилось. А ведь напрасно врезал! Напрасно!..

— По-моему, нет,— сказал Никита.— Я бы не вытерпел тоже. Просто сволочь, исподтишка! Прямо испугался сказать.

— Вот, вот! Ненавижу правдолюбцев из-за угла,— поспешно перебил Валерий.— Шептунов всяких. Режут правду-матку за спиной. Карманные робеспьеры!.. С разбегу по морде не разберешь... Ненавижу!..

— Мы скоро приедем?

— Мы пропали без сигарет, Никита. Не бойся, я знаю, что теперь делать. Только бы одну сигарету!

— Слушай, запомни: я ничего не боюсь. Ты это не запомнил?

— Мы пропали без сигарет. Хоть бы одна где-нибудь! Пересохло в горле. Ты бы хоть по карманам посмотрел. Может, где завалялась.

— Все обшарил — ни одной... Мы скоро?

— Километров пятнадцать. Сейчас будет какой-то поселок. Березовка, кажется. Или Осиповка. Одно и то же. Сейчас... Нам осталось километров пятнадцать, Никита.

— Что мы ему скажем?

— Что я ему скажу?

— Да. Что ты ему скажешь?

— Я хочу все знать. Я скажу ему, что, если он не объяснит, почему он все это сделал, я на его же семинаре прочитаю вслух его заявление — всем. Братцам студентам. Он знает, что я смогу это сделать!

— Вроде огни. Это Березовка? Сколько осталось? Ты сказал пятнадцать километров?

— Не Березовка, а машина. Встречная. Тоже какой-нибудь частник. С дачи. Скажи, ты очень любил свою мать?

Впереди в дожде туманно блеснул дальний огонь, исчез, чудилось, нырнул куда-то,— видимо, там был уклон, и лишь радужное свечение брызгало в воздухе.

— Я ее до конца не знал. Она не говорила о прошлом. Все держала в себе.

— Надо бы в машине иметь запасные сигареты. Не

раз думал об этом и забывал! Значит, ты любил свою мать?

— Зачем спрашивать? Но не совсем понимал. И она меня, наверно, не совсем. А что?

— Просто спросил.

Два огня, брызжущие косматыми шарами, выползли, вынырнули, казалось, из-под земли, приближались из глубины шоссе, липли к размазанным дождевым полосам на стекле. Радужными иглами светились они на сбегающих каплях, летели навстречу. И внезапно ослепил, вонзаясь в машину, прямой свет вспыхнувших фар; свет этот расширился и упал, только желтыми живыми зрачками горели подфарники, мелькнул глянцевито-мокрый, горбатый радиатор — обляпанный грязью бампер с забитым глиной номером — и черный силуэт грузовика пронесся, оглушая железным ревом, дробно хлестнул брызгами грязи по стеклам.

— Что, свет не умеешь переключать, дурак? — крикнул Валерий и, оглянувшись, выругался.— Ах ты, болван стоеросовый!

И ударил ладонью по звуковому сигналу, пронзительно загудевшему вслед промчавшемуся грузовику.

— Вот что я ненавижу! — закричал он и быстро глянул краем глаза на Никиту, удивленного и его криком и этим выражением азартной злости на его лице.— Почему грузовики не любят легковушек? Почему? Прижимают, как танки, к кювету — и хоть бы что! И ничего не сделаешь! Бессмысленность эту ненавижу!

— Не городи ерунду. Это колонна,— сказал Никита, наклоняясь к стеклу.— Смотри, их много...

— Конечно! На кольцевую прут!

По шоссе, выбираясь из-под уклона, колонна шла навстречу, далеко растянувшись, вспыхивали и гасли фары, с грохотом, тяжело и мощно проносились один за другим грузовики, упрямо не сбавляя набранной скорости, обдавая грязью, и Валерий, сощуриваясь, притормаживая машину, кричал нетерпеливо:

— Только бы бензину хватило, не заправлялся сегодня! Застрянешь еще, как идиот!.. Ты чего замолчал, Никита?

— Я думаю, нас не ждут. Ночь — там спят. Сколько сейчас времени?

И вдруг в этом бесконечном мелькании фар, в грохоте, лязге проносящихся мимо огромных грузовиков, в

звуках движения, в голосе Валерия, в его освещаемом на короткие миги лице, готовом к отчаянию,— во всем этом оглушавшем и бесконечном,— представилось Никите, что все, о чем думал он, давно произошло и теперь опять неотвратимо происходило с ним. Ему мнилось, что когда-то уже был кабинет, весь голо освещенный огнями люстры, холодный и чужой, разбросанные по полу папки, белые листы рукописи, черным квадратом зияющий проем сейфа, старые бумаги с аккуратной правкой красным карандашом, и когда-то был дождь, и их поездка, и эта колонна грузовиков, грохочущая в уши. И были слепящие скачки света по стеклам, нетерпеливо-отчаянное и вместе упрямое выражение лица Валерия, гонящего навстречу колонне машину, будто это одно было сейчас необходимо, будто от этого зависело все. В его сознании сейчас ничто не было логичным, последовательным, лишь, как обрывистые удары, толчки мысли: «А дальше что? Что произойдет на даче? Там Греков и Ольга Сергеевна. Мы постучим и разбудим их. Потом он выйдет в халате. И под халатом опять те детские щиколотки. А дальше что? Какое у него будет лицо? Нет, все, что мы сейчас делаем, бессмысленно. А как надо? Алексей... Что сказал бы Алексей?»

— Все! Приветик, сволочи! — услышал он облегченный вскрик Валерия.— Они думали, что, как мальчика, в кювет затрут! Черта вам лысого, болваны! — И Валерий засмеялся.— Они думали, на хмыря напали! Ох, как я ненавижу тупую силу! Ты можешь это понять?

— Сколько сейчас времени? Час, два?

— Плевать нам на время!.. Какая разница!

Никита молчал. Перед глазами неустанно махали «дворники», расталкивая грязные струи по стеклу. Уже не было мчавшегося мимо грохота, назойливого мелькания фар — колонна прошла. Ровный, казалось, в тишине шум мотора был ясно слышен, и упорные налеты дождя, и позванивание капель по кузову. Густая тьма, разрезанная ущельем фар на свободном шоссе, скользила по сторонам за полосой света.

И, не в силах отделаться от ощущения зыбкой нереальности того, что видел точно со стороны, Никита ловил звук голоса Валерия и убеждал себя, что это ощущение нереальности скоро пройдет.

— Больше всего на свете люблю машину: твоя соб-

ственная комната на колесах, свобода — ничего не надо! Что-то умеешь делать — начинаешь уважать себя! — громко и возбужденно заговорил Валерий, еще, видимо, не остыв от злого азарта, испытанного им только что, когда он по краю обочины гнал машину мимо колонны.— Спасибо Алешке за то, что меня научил! Таких парней, как Алешка, мало! Они воевали, они поняли кое-что... А мы, как щенки, тыкаемся в разные углы. Скулим... И суетимся после десятого класса, думаем об удобной, непыльной профессии — зачем сами себе врем, скажи мне? — как через жаркую пелену, доходил до Никиты ныряющий голос Валерия, и Никита, с ожиданием глядя на скольжение фар по мокрому асфальту, хотел ответить ему, но опять, словно в пелене, через вибрирующий рокот мотора дошел голос Валерия: — Ну зачем мне нужно было идти на исторический? Я машину люблю, я, может, прирожденный шофер... Какой из меня историк? Мудрый совет многоопытного папаши! Он мудрый, почтенный, уважаемый, ему стоит одним глазом взглянуть на экзаменационную комиссию — и все в порядке. А я это знал! Многоопытные мудрецы! А Алешка плевал на них! Ты слышишь? Он сильнее их. Он независим. У него есть руки... Своими руками зарабатывает деньги! Вот так надо, вот так. Нет, только так! И об Алешке я все скажу ему. Однажды мы с Алешкой слышали проповедь: «Братья мои, не давайте дьяволу говорить слово божье!» Ты слышишь, Никита, слышишь? Были во Владимире, зашли в церквушку ради любопытства...

«Да, я слышу»,— хотелось ответить Никите, но он уже смутно слышал, почти не различал пропадающие слова Валерия, они угасали в нескончаемом гуле, в одновременном шелесте, и он вновь представил, как они приедут, вылезут из машины, постучат в темный дом, как вспыхнет свет в окнах и в дверях появится фигура Грекова в халате, заспанное, удивленное лицо и его встревоженный голос: «Вы? Ночью? Что такое?» А когда он вообразил это и увидел себя и Валерия, стоящими на крыльце перед ничего не понимающим Грековым, пронзительный, срывающийся крик раздался над его ухом:

— Смотри, что он делает! С ума сошел! Видишь, Никита? Ты только посмотри, посмотри!..

И Никита, вздрагивая, выпрямился, открыл глаза. «Дворники» безостановочно скакали по стеклу, белый поток фар гудевшей сигналами машины упирался в

дождь и опадал. И в этой недостигаемой фарами дождливой дали, зигзагообразно виляя, ползли навстречу два огня, вроде в игре загораживая шоссе — то правую его часть, то левую.

Валерий, переключая свет, с силой ударял по кнопке сигнала, говорил ядовито и зло:

— Отстал от колонны и поиграть захотел? Вот чудачок набитый! — И он резко выругался.— Видишь? Умники какие, что они делают ночью! Обалдевают от езды — и давай!

— Не понимаю, что он...— проговорил Никита, всматриваясь в дорогу мимо скачущих «дворников».— Что он? Взбесился?

В то же мгновение два огня сдвинулись, косо поползли вправо, к середине шоссе, затем к краю левой обочины, точно бы снова желая продолжить игру, и тут же выровнялись, освобождая узкий проезд на середине шоссе. Валерий, выругавшись, сигналя ближним и дальним светом, теперь уже беспрерывно ударял кулаком по звуковой кнопке, требуя освободить дорогу. И, видимо услышав эти сигналы, огни толкнулись влево, ровно пошли по своей стороне.

— Ну, не идиотство ли? Не идиотство?.. Не-ет, не на таковского напал. У тебя нервишки, нервишки слабоваты, дурачок милый! — крикнул Валерий. И Никита, пораженный тем, что происходило, увидел совсем рядом желтый, словно ребристый свет приближающихся фар, черные контуры мчавшегося навстречу грузовика. И с холодной пустотой, млеющей возле сердца, и со злостью к этому невидимому человеку за рулем отставшего от колонны грузовика, занятому непонятной, безумной игрой на пустынном ночном шоссе, он чувствовал по неистовому свисту сквозняков увеличенную скорость машины, мелкое дрожание пола под ногами, накаленный гул мотора, оглушающе рвались, пульсировали нахлесты ветра, гремели по железу кузова. И, замерев, уже понимая бессилие и бешенство Валерия, молча наклонясь вперед, он ждал этих секунд, которые нужны были, чтобы проскочить мимо грузовика.

— Вот так! Вот так, милый!..— опять крикнул Валерий.— Проскочили! Привет! Проскочили!

«Что он?.. Что он?..»

И в ту же секунду ослепительно близкие прямые огни фар вильнули вправо, темная, возникшая в потоке

встречного света, заляпанная грязью громада грузовика неуклюже надвинулась сбоку на стекла, бортом загородила шоссе, и Никита, с окатившим все тело холодным потом, еще не успел заметить какой-то сумасшедший жест руки Валерия, изо всех сил выворачивающего руль от неотвратимо чудовищной громады машины,— и с ревом, лязганьем, грохотом это неотвратимо огромное, смертельное ударило, смяло, несколько раз подкинуло его, бросая обо что-то металлическое, жесткое, острое, и среди грохота и рева звучал во тьме крик, как будто черным и багрово вспыхивающим туманом душило его в пустоте:

— ...Погибли... Мы погибли... Всё!..

И все кончилось.

Чей-то голос, слабый, тоненький, непрерывно звал его из черной жаркой пустоты, и этот голос, родственно близкий, умолял, называл его по имени, но он не мог поднять головы, посмотреть, ответить ему. Он один лежал на спине в пустынном поле, и гигантские бесформенные глыбы, нависая, шевелились, тяжело скапливаясь, жестко и душно сдавливали его. Не было сил двинуть прижатыми к земле руками, столкнуть их с груди, эти тяжко вжимавшие его в землю глыбы, сквозь которые раскаленно вонзался тоненький голос, мольбой дрожавший в его ушах.

Он хотел понять, кто так жалобно кричал рядом, кто мог быть тут, в этом голом осеннем поле, посреди которого он лежал один, придавленный, обессиленный, кто мог звать его, когда никого нет. Но он ведь когда-то видел узкую щель над дорогой — она зловеще и сумеречно пылала на конце земли, плоской, подобно пустыне, уходившей песками до горизонта.

«Кто же это зовет меня? Кто это?» — спросил он.

Но не было никого. И его все плотнее, все удушливее сковывало железной тяжестью, давило на грудь, на горло, потом бесформенные, имеющие в своей глубине огромные человеческие руки, глыбы поволокли его, переворачивая, как осенний лист ветром, по полю, подальше от жалобно зовущего голоса — к краю земли, где над черным провалом холодно клубился туман.

«Куда? Я не хочу!» — еще не веря, хотелось крикнуть ему, но не хватало воздуха в груди, и невозможно было его вдохнуть.

С тайным шуршанием, незримо сговариваясь, глыбы теснили его, все упорнее и ближе подвигали к бездонной пропасти, в этот холодный дымящийся провал, так что край земли жестко, больно впивался в его шею. А бестелесные багровые глыбы стояли над ним, и какие-то вспышки высекались на низком, сером небе.

«Погибли... Мы погибли... Всё!..»

И в последний раз он все-таки поднял голову, увидел за глыбами в бескрайнем осеннем поле нескольких людей без выражения лиц, без жизни, без силы в переступающих ногах. Они медленно, далеко друг от друга шли к нему, немо раскрывая рты; они, эти люди, видимо, готовы были помочь. Они не замечали друг друга, но шли к нему, и он не по лицам, а по одежде догадался, узнал их. Это были его мать, справа от нее Валерий, странно похожий на Алексея, и позади был еще кто-то, весь белый и вместе траурно-черный, у всех у них не было лиц.

«Но почему с ними Греков? И он хочет мне помочь? После того, что было?.. Неужели он хочет мне помочь?..» — думал Никита с горько-мучительной и умиленной до слез радостью, видя, как Греков, траурно-черный, с палкой, своей старческой походкой и беззвучно плача, тоже идет к нему; а он, напрягаясь, ждал всех их и теперь хорошо понимал, что они пришли искать его.

«Я здесь, я здесь!» — крикнул он, но сам не услышал себя, и они не услышали его.

Они, слепые, не видя и не слыша друг друга, остановились, задержанные грозно и враждебно клубящимися глыбами. Дальше идти было нельзя. А они неуверенно протягивали руки. Они не знали, что делать, они беспомощно звали его.

«Еще один шаг! Последний шаг! — жалобно умолял он. — Помогите мне!..»

Вытягиваясь и шурша, зловеще мрачные глухие глыбы угрожающе разъединяли его и их, и тогда он окончательно понял: они не услышат его и уже не помогут ему. Но в эту секунду он понял еще и другое, и это другое было похоже на мелькающие лучезарно-вишневые блики, краски не то заката, не то легкой сказочно яркой и тихой воды, где он видел самого себя, и с неуловимой отчетливостью видел также, как в бреду, свои будущие действия, поступки, слышал собственные слова, которые должен был сказать матери, Алексею, Грекову, но кото-

рые не сказал, потому что раньше не мог точно и твердо ощутить, увидеть, услышать это в себе. И, все дальше подталкиваемый в пропасть, он закричал, застонал, летя туда, и с предсмертным ужасом увидел в последний момент незнакомое, будто спящее лицо Валерия, уткнувшегося виском в окровавленные руки.

...И от этого ужаса при виде окровавленного лица и рук Валерия, от своего стона Никита пришел на минуту в ясное сознание.

«Где я? Что со мной?..»

Он лежал с открытыми глазами.

Какие-то всхлипывающие, прерывистые, напоминавшие хрип звуки отдаленно доносились до него. Серый сумрак рассвета стоял над ним, и нечто беспредельно серое, огромное, кипящее уходило в высоту, двигалось гигантскими дымными глыбами, а он не мог повернуть голову, чтобы полностью увидеть это серое, непонятное, огромное.

Он лежал спиной на мокрой земле; он чувствовал это, хотел пошевелиться, но лишь застонал жалобно, и сразу кто-то, всхлипывая, задыхаясь, бормоча, забегал вокруг него, потом, хрипло дыша, низко наклонился — белое, чужое, с трясущимся подбородком лицо с безумным, остекленелым выражением зрачков заколыхалось над ним, и колыхался, вскрикивал из тишины этого серого неба рыдающий шепот:

— Не виноват я, не виноват... Прости... Разве знал я... Заснул. Не видал. Пропа-ал!.. Все мне теперь! Шофер я... из Можайска. В колонне я ехал... Заснул я. Ты жив, жив ты?..

И в эту минуту, весь охваченный смертельным страхом непоправимо случившегося, вспомнив все вдруг, глядя полными ужаса глазами в это обезображенное отчаянием лицо, Никита замычал, не в силах поднять головы, задвигал бровями, мускулами лица, пытаясь найти взглядом то, что дожен был увидеть, прохрипел еле слышно:

— Валерий... Валерий где?..

— Валерий... Это дружок твой? Имя — Валерий? Да как же это?

Белое прыгающее лицо закивало, отклонилось — человек, всхлипывая, несвязно бормоча, тенью закачался посреди нескончаемого неба, водянистого сумрака. И по звукам его прерывистого всхлипывания, по плачущему

бормотанию Никита, напрягая шею и голову, стал искать его глазами, все ожидая найти то, что искал.

— Валерий... Валерий... Дружок твой,— бормотал человек, потерянно и безумно бегая вокруг чего-то черного, мокрого, искореженного, торчащего в рассветное небо углами железа.— Дружок твой? Дружок?..

И то, что увидел Никита внутри этого черного, растерзанного и железного, и то, что, чудилось, намеревался робко в страхе потрогать руками этот человек, было не Валерием, а кем-то другим — незнакомым, страшным в своей неподвижности и молчании, с застывшим, безобразно окровавленным лицом и грудью, мертво прижавшимся виском к расколотому щитку приборов.

— Дружок твой, дружок?..— вскрикивал человек, так же бестолково суетясь около темной массы железа, и сумасшедше оглядывался на Никиту, то прикасаясь ладонью к голове, волосам Валерия, то бессмысленно силясь вытащить его за плечи из исковерканного невероятной силой кузова.— Что же это, а? Как же это, а? Дружок твой?..

«Это мой брат!» — как бы защищаясь от этих слов, хотелось крикнуть Никите, и он заплакал, задохнулся от резкой боли в сердце, застонал, в тоске ворочая голову по холодной, колющей щеки траве.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Алексей вылез из машины, взял с сиденья тряпку и механически, не сознавая, зачем он это делает, начал вытирать пыль на капоте. Он все медленнее и медленнее водил тряпкой по его гладкой, чистой поверхности, затем вдруг прилег на разогретый мотором и солнцем металл и, стиснув зубы, замер так.

Все, что он узнал, и все, что сказали ему в больнице, было безнадежно и безвыходно, это не укладывалось в его голове. Вчера в приемной, увидев наигранно, привычно успокаивающее лицо дежурного врача, услышав его мягкий баритон, он еще сам себе упорно сопротивлялся и не поверил полностью; и, не теряя веры, с сомнением цеплялся за паузы, за неопределенные интонации в сдержанных объяснениях вызванного потом хирурга, которого он тоже хотел немедленно видеть, чтобы окончательно выяснить, есть ли надежда. Но утренний

вызов в милицию, и сегодняшнее вторичное посещение больницы, и подробности, и детали, которые стали известны, неопровержимо и ясно сказали ему: исход предрешен, никакими силами ничего нельзя изменить, переиначить.

— Алексей! Ты приехал?.. Алеша!

Он ждал, что сейчас его позовут, и с трудом выпрямился, сжимая тряпку, и опять ненужно провел ею по горячему металлу капота. Он оттягивал время, он знал, о чем его спросят.

Шаги застучали на крыльце, приблизился скрип по песку, и — за спиной растерянный, почти испуганный вскрик:

— Алексей!.. Ну что там? Как?..

Он бросил тряпку на капот и хмуро обернулся. Сдерживая дыхание, Дина смотрела на него раздвинутыми мольбой глазами, зачем-то торопила его опадающим от предчувствия несчастья голосом:

— Только не молчи, только не молчи. Почему ты так смотришь? Что?..

И, не дождавшись ответа, проговорила со слезами:

— Я спрашиваю: что тебе сказали? Есть ли какая-нибудь надежда? Почему ты так смотришь?..

Он увидел совсем детское страдание в ее бледном лице, в прикушенных губах и успокаивающе положил руку на ее подавшееся плечо.

— Я говорил со всеми. Есть еще надежда, что Никита выживет. Его спасло то, что толчком выбросило в дверцу. Но Валерий...

— Нет, этого не может быть, я не верю, не хочу верить! — упрямо затрясла головой Дина и порывисто, в неожиданном исступлении прижалась к нему.— Алеша... Он там... У нас,— проговорила она и отстранилась, со страхом озираясь на окна дома.— Сам пришел. Ждет тебя почти час.

— Кто «он»?

— Георгий Лаврентьевич... Не сказал мне ни слова. Сидит на диване и молчит. На него страшно смотреть. Он как будто не в своем уме. Иди к нему скорей, Алеша.

— Подожди, Дина. Сейчас... Подожди...

Он стоял еще с минуту, как бы собираясь с силами, потом осторожным жестом провел ладонью по сделавшемуся смертельно усталым лицу и стал подниматься по солнечным, облепленным тополиным пухом ступеням.

Распахнув закрытую дверь, он шагнул через порог, через жидкие раздробленные полосы света на полу и сразу увидел отца. Маленький, сгорбленный, в помятом чесучовом пиджаке, со съеженными плечами, Греков сидел в углу дивана, неподвижно поставив меж ног палку, подбородком упираясь в скрещенные поверх набалдашника руки, и, старчески пожевывая ртом, тупо глядел в пол, на солнечные пятна остановившимся, обращенным внутрь взглядом.

Когда Алексей вошел и негромко поздоровался с ним, этот родной и давно уже чужой человек, постаревший за два дня будто на двадцать лет, весь седой, не пошевелился, не изменил позу измученного и раздавленного горем старика. Он только поднял опухшие веки, и вдруг пришибленное, какое-то затравленное собачье выражение мелькнуло в глазах; слабо задвигались пальцы под подбородком, и по морщинам щек каплями побежали слезы.

— Что же это такое, Алексей? Что же это такое? — часто моргая, быстрым шепотом выговорил Греков и, дрожа всем лицом, потерся подбородком о руки, скрещенные на палке.— Говоришь, «здравствуй»? Ты мне сказал «здравствуй»?

Алексей молча и ошеломленно смотрел на сморщенное, впервые в жизни на виду плачущее лицо отца, на его седые, неопрятно длинные волосы, на всю его раздавленную, трясущуюся от беззвучных рыданий фигуру, и особенно поразило его это пришибленное, молящее собачье выражение, какое было, когда отец снизу взглянул на него. И Алексей почувствовал удушливую судорогу в горле, и, готовый ничего не помнить, готовый простить все в этом объединяющем их порыве горя, шагнул к дивану, выговорил с жалостью:

— Отец...

— Что же это такое, Алексей? Что же это такое? — повторял, наклоняя голову, Греков тем обессиленным, убитым голосом, почти напевным речитативом, как говорят обычно все люди, растерянные перед непоправимым несчастьем.— Они ж вокруг тебя, как цыплята, крутились... как цыплята...

Алексей не отвечал, испытывая то угнетающее чувство подавленности, когда не было душевных сил искать в словах смысл; нечто неизмеримо большее поглощало его, примиряло его, и все, что он мог сказать, казалось ему мелким, личным, ничтожным, раздавленным этим

огромным, неожиданным и страшным, что подчиняло его себе. И в тоне отца, и в его позе не было ничего от того прежнего, всегда уверенного в себе человека, заученно играющего каждым своим словом, жестом, привыкшего быть постоянно на виду, каким он видел его раньше.

И то, что перед ним на диване сидел сейчас незнакомый и слабый старик, чужой и вместе родной ему, беспомощно бормотавший что-то сквозь клокотанье слез в горле, было ужасно именно тем, что это был другой человек, потерявший прежнее обличье,— как будто, еще не привыкнув, видел Алексей в нем оголенный физический недостаток.

— Отец,— повторил Алексей.— Я понимаю...

«Что я говорю? — подумал он с отчаянием.— Что я понимаю? К чему я это говорю?»

— Подожди, Алеша, подожди...— горько перебил Греков.— Наши отношения сложились ненормально... Чудовищно. Несколько лет. Это мне стоило много здоровья, бессонных ночей. Твое отношение ко мне меня убивало, а я любил тебя, любил, Алеша!.. Моя жизнь прожита. А жизнь каждого, господи,— это цепь ошибок. Я никогда никому не хотел зла, никому...

Греков замолчал, прислонился лбом к скрещенным рукам и некоторое время сидел так, тихо и размеренно покачиваясь на палке меж колен; были видны его белые волосы, жалкая, со старческим желобком наклоненная шея, несвежая каемка на оттопыренном воротнике сорочки.

— Да, Алеша...— проговорил он, поперхнувшись, и с усилием поднял голову,— может быть, я и виноват в том... И ты хотел мне мстить? Мстить за прошлое? И Валерий, Валерий?.. Что же ты наделал, Але-е...

Голова Грекова затряслась, из горла вырвался захлебнувшийся кашель, угловато поднялись плечи, и по его щекам опять потекли слезы, а он зачем-то прижимал подбородок к рукам, и подбородок дергался, упираясь в руки на палке.

— Отец, тебе дать воды? Я сейчас воды...— растерянно заговорил Алексей и, оглядываясь, быстро пошел к двери, но голос отца остановил его:

— Не надо, у меня есть валидол... Не уходи отсюда. Не стоит, чтобы Диночка...

Расслабленно покачиваясь, Греков сморгнул слезы,

тихонько отставил, прислонил палку к дивану, слепым движением пошарил в кармане чесучового пиджака, вынул металлическую коробочку, бросил в рот таблетку, и отпущенная палка его, скользнув по краю дивана, упала, стукнулась об пол; нагнувшись, Алексей поднял ее; на мгновение ощутил теплый, нагретый пальцами отца набалдашник и подал палку отцу, благодарно взглянувшему на него.

— Спасибо, Алеша.— И, маленький, сгорбленный, пожевывая губами, он внезапно засмеялся беззвучным смехом.— Как ты обходителен со мною... Как обходителен! Что ж, спасибо, спасибо... Я благодарен. Но скажи мне, скажи: зачем? Зачем же случилось это страшное, ужасное?.. Глупые, глупые мальчики! Открыли сейф. Разбросали рукописи. Книги. Документы... Ты восстановил против меня Валерия. Ты бесчеловечно... бесчеловечно поступил! — И, передохнув, повторил рыдающим голосом: — Зачем же все так случилось, Алеша?

— Я не хотел тебе мстить,— проговорил Алексей и поразился тому, что против воли оправдывается, и добавил тихо:

— Нам лучше сейчас помолчать. Я прошу тебя.

— Ты? Просишь? Меня? — Греков вскинул влажные глаза с прозрачной блеклой голубизной, глаза нашли что-то во взгляде Алексея и, увеличиваясь, стали наливаться злой мукой.

— Ты... убил меня,— шепотом выдохнул Греков, и на его лице появилось торопливое, сумасшедшее выражение человека, который не может остановиться, справиться с душащим его бессилием.— Ты убил Валерия и меня. Ты убийца, да!

«Что же он говорит?»

— Отец, послушай... Я никого не убивал. Во всем, что случилось с тобой, виноват ты сам. Каждый, в конце концов, отвечает за свои поступки.

— И чего же ты добился, Алеша? Ты доволен? К чему ты пришел? — не слушая Алексея, преодолевая одышку, судорожно заглотнув ртом воздух, выговорил Греков с горечью, часто и мелко кивая.— Это же чудовищно, Алеша! Это чудовищно, чудовищно!..

— Отец, что ты говоришь! Ну зачем ты это говоришь?..

— Нет уж, Алеша, это так. Ты мог все предотвратить. Они каждое твое слово впитывали! Не я для них

был светом в окошке, мой сын Алеша! Я видел, я знал!..— задохнувшись слезами, выкрикивал Греков.— И что же? Я теперь готов только к смертп! Мне уже ничего не осталось, ничего... Даже имя мое втоптано... Я готов только к смерти!

«О чем он? При чем тут имя?»

Алексей, с подрезавшимися, как от болезни, скулами, отвернулся, точно слова эти хлестнули по нему дикой животной болью, до ледяной испарины обдавшей его непоправимым отчаянием, за которым ничего уже не было, кроме черной пустоты и безысходности.

— Можно не так, отец? — не без усилия над собой выговорил Алексей.— Да, я, наверно, виноват. Но не в том, в чем ты меня обвиняешь... Это мои братья, отец, мои братья. И мне тяжело так же, как тебе. Но как я мог мстить тебе, когда ты, прости меня, вызывал жалость... Даже после того, как разошелся с матерью... и женился на Ольге Сергеевне! Хоть ты всегда и бодрился, но я чувствовал... Нет, мы не о том говорим. Мы не имеем права, отец, выяснять сейчас наши отношения.

— Жалел меня? Го-осподи!..— тонко и всхлипывающе засмеялся Греков.— О, спасибо, спасибо! Но я знаю, тогда ты даже любил меня. Когда я разошелся с твоей матерью, ты был еще мальчик!..

И, чувствуя острый, знобящий холодок в груди и в этом холодке гулкие толчки сердца, Алексей сказал тихо:

— Мы не можем сейчас говорить неоткровенно. Тогда лучше молчать.

— Нет, говори все теперь! Я хочу видеть твою душу!..

— Все, что я скажу, теперь бессмысленно. Наш разговор ничего не объяснит сейчас. Какое теперь это имеет значение? — бледнея, проговорил Алексей.— Разве дело в прошлом, отец? Наверно, Никите и Валерию неважно было, когда все произошло между тобой и Верой Лаврентьевной — двадцать лет назад или вчера. Но ведь остались заминированные поля, извини за сравнение. И я не успел их разминировать, не смог предупредить братьев, хотя должен был сделать это. И они нарвались на эти поля...

— Но почему Валерий? Почему именно он? Я так любил его, я так хотел ему добра! Почему?..— с удушливым стоном выдавил Греков и, дрожащей рукой опираясь

на палку, трудно поднялся.— И это ты называешь правдой? Кому же нужна такая правда? Кому? Для чего?

— Отец,— проговорил Алексей туго, как от холода стянутыми губами.— Тебя отвезти домой? Или, может быть, вызвать такси?

— Нет, ты еще обо всем пожалеешь! Ты всегда будешь помнить Валерия... У тебя свои дети, у тебя дочь, Алеша... И ты поймешь меня... поймешь,— упавшим до шепота голосом выговорил Греков и, покачиваясь, пошел к двери неровными, семенящими шагами. Но когда выходил, ноги его внезапно ослабли, вроде бы он вспомнил что-то и хотел обернуться, спина горбато ссутулилась, он наклонил голову, и короткий лающий звук вырвался из его груди. И, беспомощно вытирая слезы на искаженном лице, слепо шагая, согнутый, весь седой, он вышел; палка простучала на кухне, замедлила стук по ступеням крыльца, заскрипела под окном.

Алексей стоял посреди комнаты, слыша шаги отца, удаляющееся от дома постукивание палки, но не смотрел во двор, боясь, что не выдержит сейчас, и стискивал зубы: непроходящая, почти физическая боль обливала его морозным ознобом.

Он не слышал, как из кухни тихо вошла Дина, переводя округленные страхом глаза от окна на него, потом остановилась позади и робко прижалась щекой к его каменному, неподвижному плечу.

— Алеша, родной мой... Он ведь болен, болен! Он просто кричал от боли! Он совсем старик! Ну помоги, помоги ему, Алеша!

Она заплакала. Он ощупью повернул ее к себе и обнял.

— Алеша, ну сделай что-нибудь, сделай...

Он молчал, гладя ее по теплой вздрагивающей спине.

1965

СОДЕРЖАНИЕ

Бондарев Ю. В.
Б 81 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 3. Тишина: Роман; Родственники: Повесть.— М.: Худож. лит., 1985. — 535 с.

Действие романа «Тишина» развертывается в послевоенные годы, в обстоятельствах драматических, которые являются для главных персонажей произведения, вчерашних фронтовиков, еще одним, после испытания огнем, испытанием на «прочность» душевных и нравственных сил.

События повести «Родственники» внутренне тесно связаны с проблематикой романа «Тишина». Здесь тоже ставятся глубокие морально-нравственные проблемы ответственности человека перед самим собой, перед обществом, перед грядущими поколениями.

Б $\frac{4702010200\text{-}039}{028(01)\text{-}85}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОНДАРЕВ

Собрание сочинений
в шести томах

ТОМ ТРЕТИЙ

Редактор В. Борисова
Художественный редактор
Е. Ененко
Технический редактор
Л. Ковнацкая
Корректоры
Н. Усольцева,
С. Колганова

ИБ № 3948

Сдано в набор 10.05.84. Подписано в печать 01.12.84. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Усл. печ. л. 28,14. Усл. кр.-отт. 28,14. Уч.-изд. л. 30,22. Печать высокая. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-1639. Заказ № 163. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.